



ДО УТОМЛЕНИЯ СЕРДЦА



М. Шолохов
А. Твардовский
И. Ефремов
П. Нытин
М. Рощин
В. Чуков
А. Скалон
В. Шукшин
О. Кубаев
А. Плетнев
Г. Немченко
В. Куропатов
А. Ким
А. Кривоносов
В. Мисутинко
В. Маковецкий
Г. Киреев
А. Троханов
Г. Василевский
А. Курчаткин
Н. Шипилов
С. Микошин
С. Рыбас
А. Токкоулин
Г. Екимов
О. Мган
А. Шавкута
А. Трапезников
Ю. Апенченко





рассказы



МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1988

Составители
А. Д. Шавкута, Н. Д. Ткаченко

Художник Г. И. Метченко

До утомления сердца: Рассказы / Сост. А. Шавкута, Н. Ткаченко.— М.: Сов. Россия, 1988.—592 с.

Третья книга рассказов о русском мастеровом отражает нравственный и социальный опыт рабочего человека 40—80-х годов нашего столетия. Это время насыщено событиями великого исторического значения (Отечественная война 1941—1945 гг., послевоенный период, XX съезд КПСС и др.). В рассказах таких писателей, как М. Шолохов, А. Твардовский, П. Нилин, С. Антонов, М. Рошин, А. Плетнев, В. Чугунов и др., оно запечатлено с наибольшей достоверностью. В них показаны: героизм рабочего человека, созидательные основы труда, сложные противоречия нашего движения по пути строительства нового общества.

Д $\frac{4702010200-251}{M-105(03)88}$ 110—88

P2

ISBN5—268—00546—4

© Издательство «Советская Россия», 1988 г., составление.

М. Шолохов



**СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА**

*Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года*



Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольха-

ми пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, выдавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, — часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреновой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбил-ся. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу принаравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть,— я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил:— А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разувирать его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает.

Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горяшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь!— И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал:— Пойди, милко, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный

шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой

и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрёка, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмеле я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне хмельному слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через годá еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошрое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий,

оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйста в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают и я, — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Роденький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете»...

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет

мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искося взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал кручонку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время

было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вон много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагроулили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и basta!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторож-

ность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнего боя тяжелый положил он мне возле машины. Не слышал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, — сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу введешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них

краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в стах от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот,— думаю,— и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается»,— соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу,— а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!»— и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были хорошие, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой

автомата по голове. Упав я, — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнавши нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я свет невзвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист

несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу,— говорит,— осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты — коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступить в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил

семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи,— говорит,— остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлжности. «Нет,— думаю,— не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну,— думаю,— не справится этот парнишка с таким толстым меринком. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежащего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну,— говорю,— держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет, да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рваньё. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли за-

мученные там, в лагерях,— сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадет, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтора ста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую,

немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рваньё, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навывате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так и далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершинничает почему зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, — уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером

приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услышал эти слова, — меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить

за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою гибель». А что мне было терять? «За свою гибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливо вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдете, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана на закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечая, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врасстяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат, и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой

руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, и рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскороosti перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в зад у плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусувает и выпивает; когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с ла-

герем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как громыкает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли.

«Ну,— думаю,— ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и ткнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать досмерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею

майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину напрямик туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попорол пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу, открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сыночек дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуясь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдать: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят,

после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам,— посмотрим, куда тебя определить».

И полковник и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно,

и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я — крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удуше давит.

Мы закурили. В залитом полрой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапятка», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась

у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные 'слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в соб-

ственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сыном, вот с этим, какой в песке играет.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне понравился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему виду, голодный. Высунул я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых вверх ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил,

как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жметя ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка шей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка

даже разругала. «Ты,— говорит,— с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуть, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любишься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец

его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, на коротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командиремся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, — слезает с меня и бегаёт сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогах во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу слышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменял рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...



А. Мгардовский

ПЕЧНИКИ



печниках, об их своеобразном мастерстве, истари носившем оттенок таинственности, сближавшей это чуть ли не со знахарством,— обо всем этом я знал с детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевозможным историям, легендам и анекдотам.

В местности, где я родился и рос, пользовался большой известностью печник Мишечка, как звали его, несмотря на почтенные годы, может быть, за малый рост, хотя у нас вообще были в ходу эти уменьшительные в отношении взрослых и даже стариков: Мишечка, Гришечка, Юрочка...

Мишечка, между прочим, был знаменит тем, что он ел глину. Это я видел собственными глазами, когда он перекладывал прогоревший под нашей печи. Тщательно замесив ногами глину на теплой воде до того, что она заблестела как масло, он поддевал добрый кусок пальцем, запроваживал за щеку, прожевывал и глотал, улыбаясь, как артист, желающий показать, что исполнение номера не составляет для него никакого труда. Это я помню так же отчетливо, как и тот момент, когда Мишечка влезал в нашу печь и, сидя под низкими ее сводами, выкалывал особым молотком у себя между ног, раскинутых вилкой, старый кирпичный настил. Как он там помещался, хоть и малорослый, но все же не ребенок, я не мог понять: когда меня, простудившегося как-то зимой, бабка попыталась отпарить в печке, мне там показалось так тесно, жарко и жутко, что я закричал криком и рванулся наружу, чуть не скатившись с загнетки на пол.

Мне сейчас понятно, что невинный прием Мишечки с поеданием глины на глазах зрителей имел в основе стремление так или иначе подчеркнуть свою профессиональную исключительность: смотрите, мол, не каждый это может, не каждому дано и печи класть.

Но Мишечка, подобно доброму духу старинных вымыслов, был добр, безобиден и никогда не употреблял во зло людям присущие его мастерству возможности. А были печники, причинявшие хозяевам, чем-нибудь не угодившим им, большие тревоги и неудобства. Вмазывалось, например, где-нибудь в дымоходе бутылочное горлышко — и печь поет на всякие унывные голоса, предвещая дому беды и несчастья. Или подвешивался на тонкой бечевке в известном месте кирпич, и, по расчету, бечевка выдерживала первую, пробную топку печи, все было хорошо, а на второй или третий день она перегорает, обрывается, кирпич закрывает дымоход, печь не растопишь, и понять ничего нельзя, надо ломать и класть заново.

Были и другие фокусы подобного рода. Кроме того, одинаковые по конструкции печи всегда разнились в смысле нагрева, теплоотдачи и долговечности. Поэтому печников у нас, по традиции, уважали, побаивались и задабривали. Надо еще учесть, какое большое место в прямом и переносном смысле занимала печь в старом крестьянском быту. Это был не только источник тепла, не только кухня, но и хлебопекарня, и универсальная сушилка, и баня, и прачечная, и, наконец, излюбленное место сладостного отдыха после дня работы на холоде, с дороги или просто когда что-нибудь болит, ломит, знобит. Словом, без хорошей печи нет дома. И мне это досталось почувствовать в полной мере на себе, и я так много и углубленно думал до недавней поры о печках и печниках, что, кажется, мог бы написать специальное исследование на эту тему.

Мне отвели квартиру через дорогу от школы. Это крестьянская изба, подведенная под одну связь с двумя такими же избами, где жили другие преподаватели. Изба разгорожена на две комнаты, и перегородка приходится как раз посередине большой, комбинированной печи, выступающей в передней в виде кухонной плиты, а на другой половине в виде мощной голландки. Эта печь и была долгое время причиной моего крайне угнетенного настроения, тоски и порой почти что отчаяния. Стоило мне в классе на уроке или в любом ином месте, на людях или в одиночку, за любым делом вспомнить о доме, об этой печи,

как я чувствовал, что мысли мои путаются, я не могу ни на чем ином сосредоточиться и становлюсь злым и несчастным.

Эту печь очень трудно, почти невозможно было затопить. Еще плита так-сяк топилась, но плита не имела для меня, живущего покамест без семьи, большого значения. Но как только отваживались затопить голландку, чтобы согреть вторую комнату, где я работал и спал, нужно было открывать форточки и двери от дыма, наполнявшего всю квартиру, как в черной бане. Поначалу, видя растерянность сторожихи, я брался топить печку сам, но и у меня то же самое получалось. Дым валил из-за дверцы, из поддувала, сочился из незаметных щелей вверху печи и даже пробивался через конфорки плиты в передней. Всякий раз со стороны можно было подумать, что люди забывали открыть трубу.

Для растапливания этой печи было применено множество приемов и все богатство опыта и сноровки людей, имевших по должности своей дело с десятком, по крайней мере, действующих школьных печей.

Сторожиха Ивановна и ее муж, одноногий Федор Матвеев, помогавший ей, были настоящими мастерами этого дела. Притом у каждого была своя система или способ, прямо противоположные один другому, но одинаково приводившие к хорошим результатам. Коротко можно сказать, что Ивановна начинала согня, а Матвеев — с дров. Я хорошо изучил эти два способа. Ивановна, маленькая, поворотливая, ухватистая женщина, зажигала в пустой печи трубочку бересты, горсточку стружек, обрывок газеты или несколько тонких лучинок и, добавляя по лучинке, по щепочке — что больше, то крупней — выращивала живучий, сильный огонь, куда оставалось только подбрасывать полешко за полешком, пока дрова, изнутри прохватываемые пламенем, не подпрут под своды так, что уже и сунуть полено некуда.

Матвеев, наоборот, со свойственной ему, отчасти из-за инвалидности, медлительностью и основательностью сначала выкладывал в печи дрова, то в виде обычной клетки, то как-то крестообразно, то вертикально, шалашиком, выкладывал, пристраивал, перебирая поленья одно к одному, обдуманно, тщательно, всякий раз как бы решая некоторую конструктивную задачу. И только потом подводил под это сооружение огонь, используя ту же бересту, стружку или газетную бумагу. Печь вытапливалась быстро, дрова прогорали ровно, никогда не пахло угарным газом, и никогда

печи не остывали раньше того, чем им полагалось. Но моя печь давала одинаково скверный результат при том и другом способе.

Я уже не шутя начинал думать, не устроена ли в этой печи какая-нибудь шутка, вроде тех, что делали мастера в старину.

Столкнувшись с этой бедой, я постепенно вызнал всю историю злосчастной печи. Оказалось, что из-за нее никто не хотел жить в этой квартире. Помучилась, рассказывали, преподавательница истории Мария Федоровна — бежала. Летом жила математичка Ксения Аркадьевна, когда еще была не отделана соседняя квартира, но к осени перебралась туда, едва дождавшись окончания отделки.

Сложена печь была немцами-военнопленными, а потом дважды перекладывалась разными случайными печниками, но все неудачно. Мне было просто неловко поднимать перед директором вопрос о новой переделке печи. Но, так или иначе, ее нужно было переделать, только бы недаром, в четвертый раз.

Есть, говорили, на всю округу один человек — Егор Яковлевич, — он мог бы сложить печь с гарантией, но он последнее время редко и неохотно берется: живет на пенсии как старый железнодорожник, у него свой дом, сад, огород: «Не хочу» — и все. Посылали с его внуком из четвертого класса записку — не удостоил ответом; ходил к нему сам Матвеев раз, а другой раз видел его где-то на поселке — все то болен, то взялся уже работать в другом месте, а что дальше, там, мол, видно будет.

А дальше оттягивать уже было нельзя. Прошли Октябрьские праздники, дело подвигалось к зиме — уже на своей квартире я мог только спать по фронтовой привычке, ребячьи диктанты и сочинения я правил в учительской, когда все расходились. Вдобавок ко всему я очень опасался, что жена моя, Леля, несмотря на мои решительные предупреждения, могла нагрязнать сюда с пятимесячным сыном до приведения квартиры в порядок.

Все эти соображения, решения и оттяжки совершенно изнурили меня. Меня мучила не только сама печка, но и то, что она была предметом разговоров, забот, планов и предположений всех преподавателей, директора, сторожей и, я уверен, учеников: ребята всегда все знают о нашей внешкольной жизни. Да и сейчас, когда вся эта пустяковая история с печкой давно позади, я сам чувствую, что повествую об этом не с легкостью изложения забавного случая, а с вол-

нением и серьезностью, каких это дело, конечно, недостойно. Но спросите у любого, особенно у женщины-хозяйки, пользующейся печным отоплением, что такое дурная печь в ежедневной жизни человека, как это влияет на настроение, как отражается на работоспособности,— вам скажут, что от плохой печки можно в короткий срок постареть. А я именно смотрел на все злоключения с этой печью глазами моей жены Лели, городской, неопытной в трудном быту молодой женщины-матери, которой предстояло жить со мной в этой квартире.

В то утро, когда я проснулся ранее обычного от света, который вступал в окна от снега, выпавшего ночью, мне пришла как бы вместе с этим светом ясная, простая и, казалось, надежнейшая мысль.

Я вспомнил райвоенкома, майора, с которым познакомился и разговорился, когда приходил к нему, чтобы встать на учет как офицер запаса. Пойду, дурак, к нему, он мне поможет: стоит посмотреть по картотеке, у кого из военнообязанных в графе «специальность» указано «печник»,— вот и печник.

Майор принял меня в своем крошечном, как чулан, кабинете с тремя бревенчатыми и четвертой тесовой стенкой, отделявшей его от общей большой комнаты с деревянным барьером.

Простецкое озабоченное лицо майора с морщинами на лбу, которые подкатывались от бровей к густым темным волосам, делали его лоб низким и придавали как бы свирепое выражение,— лицо это участливо выгнулось.

— Как вам сказать...— заговорил он, закуривая сигарету.— Печник — такая профессия, что ее не всегда называют. Сапожник, кузнец — это другое дело. А печник,— вдруг улыбнулся он, обнажая свои большие прокуренные зубы с широким краем верхних десен,— каждый солдат — сам себе печник. Сейчас посмотрим.

Оказалось, есть печники, но один из них инвалид, без руки, другой живет в самом далеком углу района, третий работает председателем большого колхоза — нечего и обращаться, четвертый — двадцать шестого года рождения; это и майор сказал, что печник должен быть постарше. Были и другие кандидатуры, отклоненные нами по тем или иным мотивам.

— Вы вот что,— посоветовал мне майор под конец, уже будучи в курсе всей моей истории,— вы сходите лично сами к этому магу и кудеснику, к Егору этому. Я тоже

слышал, что мастер редкий. Сходите, поговорите. А не выйдет — давайте сюда, что-нибудь придумаем,— улыбнулся он опять своей большезубой улыбкой, исподволь прикрывая рот рукой, как это делают люди с потерянными спереди зубами, особенно женщины.

Это последнее его предложение при всей участливости майора прозвучало для меня как слово простой, ни к чему не обязывающей вежливости.

На другой день я направился к Егору Яковлевичу по грязной, скользкой обочине шоссе, вдоль которого располагается поселок. Снег, выпавший на незамерзшую землю, держался только в садиках и палисадничках, где не было ходьбы.

Было утро, на улицу еще мало кто выходил, и я этому радовался: я не хотел, чтобы все видели и знали, куда и зачем я иду. В то время у меня вообще было такое ощущение, как будто я хожу в тесных, мучающих меня сапогах, скрываю это, а все видят и знают мою беду, жалеют меня и немножко подсмеиваются надо мной. А я больше всего не терплю быть объектом жалости и насмешки. И эта чувствительность, мне кажется, особенно развилась во мне с тех пор, как я стал женатым человеком, главой семьи,— об одном себе такой речи не было.

А тут идешь, и тебе кажется, что все — и эта старуха в резиновых сапогах у колодца, и девочка, несущая хлеб под мышкой и жующая довесок, и два мальчика, поздравившиеся со мной на перекрестке,— все не только знают, что я недавно женатый, неопытный и не уверенный в устройстве домашних дел человек, а, пожалуй, даже знают, что моя теща, городской врач, красивая и совсем еще не старая женщина, с некоторой натянутостью признающая себя бабушкой, относится ко мне не очень уважительно и что я ее не то стесняюсь, не то побаиваюсь. И что у нее в квартире мы с Лелей и ребенком помещались в меньшей, проходной комнатке, а она — в большой, отдельной.

Я мало верил в успех, заранее составив себе представление об этом человеке как обремененном стариковскими недугами и не очень заинтересованном в заработке. Хуже нет просить кого-нибудь сделать что-то, чего он не хочет делать или просто может не делать.

Свернув с наклонно натопанной вдоль штакетника тропинки, где то и дело нужно было держаться за шта-

кетник, чтобы не упасть, я прошел через калитку к застекленной веранде домика Егора Яковлевича.

Дверь на веранду оказалась запертой; через стекло я увидел, что там все завалено кочанами капусты, бурачками и морковью со срезанной ботвой. В одном окне дома показалось длинное строгое лицо со слабой, прозрачной бородкой, и жестом руки мне было указано, что нужно обойти кругом.

Я обошел дом, поднялся по грязным ступенькам открытого крылечка в сени и постучал для порядка в тяжелую, обитую какими-то тряпками дверь.

— Ну, ну! — отозвался изнутри хриплый, но довольно сильный голос. — На себя!

Я вошел в кухню, очень просторную, в два окна. У окна справа сидел за столом старик не старик, но уже в порядочных годах человек с длинным, строгим, нездорового, желтоватого цвета лицом и редкой, когда-то рыжей, а теперь от седины палевой бородкой. На столе стоял самовар, остатки, видимо, вчерашней закуски и пустая поллитровка. Человек спокойно и, как мне показалось, с подчеркнутым невниманием ко мне нарезал яблоко кружочками в стакан — чаевничал. Это и был Егор Яковлевич.

— Не могу, — коротко и с какой-то холодной грустью сказал он, едва я начал излагать свою просьбу.

Я стоял у порога и сесть мог бы либо у самого стола на свободном стуле, если бы меня пригласили, либо устроиться почти у самой двери на деревянном диване, заставленном какими-то ящиками, валенками, цветочными горшками, хламом. Здесь я мог сесть без приглашения, хотя разговаривать отсюда было неудобно, как через улицу.

Все же я сел и стал опять ему излагать дело, стараясь, конечно, вернуть, что наслышан о его славе мастера. Всю свою канитель с печкой я старался представить в нарочито смешном виде, упирая на собственную беспомощность и наивность в этих делах.

Но все это он слушал как нечто само собой разумеющееся и ничуть не интересное ему, не прерывая меня: мол, говори себе что хочешь и сколько хочешь, мне все равно, и так и так чай пить. Он даже и не смотрел на меня, а смотрел больше в окно — на непогожую, слякотную улицу, на свои садовые кустики, на всю эту мокрядь и неприятность надворья, видеть какую даже приятно, когда сидишь за чайным столом, на привычном, излюбленном месте, в тепле,

обеспеченном доброй, безотказной печкой. Да, он, видимо, знал цену этого утреннего стариковского часа с чайком и табаком, с неторопливым, небеспокойным и необременительным созерцанием и размышлением.

Я вскоре почувствовал, что в кухне очень жарко натоплено. «Реклама»,— подумал я и присовокупил к своему изложению еще одно подобострастное замечание насчет того, как тепло и как хорошо с улицы прийти в такое помещение.

— Нет, не возьмусь,— опять прервал он меня, отодвигая стакан с блюдцем и приступая к перекуру.

— Егор Яковлевич!

— Да что Егор Яковлевич, Егор Яковлевич!— вяло передразнил он, явно пренебрегая моим усердным величанием его по имени-отчеству.— Сказал — не могу. Ясно?

Я мог бы утверждать, что с такой крайней недоступностью и ленивым высокомерием со мной не мог бы говорить не только заведующий районным или областным отделом народного образования, но и любой высокопоставленный начальник с секретарями, телефонами и записью на прием. «Не могу, не возьмусь»— и все. Самый суровый и недоступный начальник при этом все-таки должен был бы сказать мне, почему он не может удовлетворить ту или иную мою просьбу.

— Почему, Егор Яковлевич?

— А потому,— отвечал он, не повышая голоса и не меняя своей грустной и значительной интонации,— по тому самому, что Егор Яковлевич один, а людей много: тому надо и тому надо. У меня вот всего две руки,— развел он своими большими, костлявыми руками в коротких рукавах застиранной майки и коснулся высокого лба пальцами.— Две руки и одна голова, больше нету.

В этих жестах, как бы только упрощающих сущность дела применительно к уровню моего понимания, невольно виделось, что Егор Яковлевич далек от того, чтобы недооценивать свое значение.

— Но, Егор Яковлевич,— отважился я намекнуть,— вы, может быть, сомневаетесь относительно оплаты, так я хочу сказать, что я, со своей стороны...

— Да нет, что там оплата!— с небрежностью, слабо махнул он своей тяжелой, большой рукой.— Оплата моя известная, а говорю — не возьмусь. Сделаешь одному — другой придет. А лучше никому, и зато никому не обидно. Вот тоже вчера приходил человек,— указал он левой рукой,

в которой держал папиросу, на пустую поллитровку,— приходил человек, так и сяк просил...

— А все-таки, Егор Яковлевич!..

— Я же вам русским языком говорю,— он опять отнес свою тяжелую кисть руки к пустой поллитровке, уже почти касаясь мизинцем стекла,— вот же человек приходил...

Он с такой убежденностью указывал мне на эту пустую бутылку как на обозначение некоего человека-просителя, что я невольно стал смотреть на нее, как бы видя уже в ней натурального человека, который так же, как и я, нуждался в добром расположении Егора Яковлевича.

И тут меня ожидала простая догадка, которая должна была, подумал я, явиться мне еще раньше, с самого начала беседы.

— А что, Егор Яковлевич,— сказал я решительно, подходя к столу,— может быть, по случаю выходного дня...— Я приподнял легонько за горлышко пустую бутылку для вящей предметности.

Егор Яковлевич поднял на меня светло-голубые со стариковской краснинкой глаза, его губы чуть заметно улыбнулись.

— С утра не употребляю.— И в тоне этого отказа была уже не только недоступность, но и осуждение и назидательность.— С утра не употребляю,— еще тверже повторил он и, опершись о край стола, приподнялся, желая, очевидно, дать понять, что аудиенция окончена.— Правда, вчера был вот человек...

И я решил для себя, что я для него просто «человек», как и тот, что в образе пустой бутылки стоял на столе: нас много, а он один.

Он проводил меня до сеней и, стоя в раскрытых дверях, зачем-то сказал мне вслед, может быть все же тронутый моей огорченностью:

— Буду мимо идти — зайду, может, как-нибудь...

— Пожалуйста,— машинально отозвался я, недоумевая, для чего, собственно, ему заходить ко мне.

От Егора Яковлевича шел я в самом тягостном настроении. Как будто я пытался сделать что-то недостойное, но был упрежден и уличен. В самом деле, зачем мне было ходить к этому Егору, просить его, заискивать перед ним, роняя свое достоинство! Пусть этим занимается кто хочет, не мое это дело. А что же было делать! Ждать, покамест директор «лично займется этим вопросом», покамест освободятся какие-то печники на станции, покамест приедет

жена, не поладив с матерью, решит, что хоть в сарае жить, только вместе, а тут ничего не готово!

Я совсем приуныл, начал представлять себе мое положение в самом наихудшем свете, и так как винить кого-нибудь одного я не мог в этом, то я начал сетовать на несовершенства нашего хозяйствования.

Строим уникальные домны, где укладываются сотни марок кирпича, возводим сооружения, назначенные увековечить наше пребывание, наш труд на земле, донести далеким потомкам образ величия наших дел и стремлений, а сложить печку, обыкновенную печку, какие, наверное, знала еще Киевская Русь, сложить это обогревательное устройство в доме работника интеллигентного труда, преподавателя родного языка и литературы,— задача неразрешимая!

Я шел и развивал все более неопровержимую аргументацию в направлении нетерпимости и ненормальности такого положения. Одна за другой складывались в моей голове фразы, то лирико-патетические, то едко-иронические, проникнутые убедительностью, пафосом правды, ясной как день. Я уже не сам с собой разговаривал, а как бы слагал речь, которую я готовился напрямик сказать с некоей трибуны или в беседе с каким-нибудь большим, руководящим человеком. А может быть, это были строки и абзацы статьи, которая со страниц печати должна была со всей горячностью и прямоотой поставить вопрос о внимании к нуждам сельской интеллигенции. Но этого мне уже было мало. Я уже затрагивал существующие формы и методы преподавания и т. п. и т. п. Постепенно, незаметно я уже оторвался от своей печки...

Мне так захотелось поговорить с кем-нибудь обо всех этих вещах, поделиться своими достовернейшими наблюдениями и неопровержимыми выводами, повторить вслух наиболее удачные места и выражения моей внутренней речи, щегольнуть цитатой, приведенной как бы между прочим, по памяти.

Я пошел к майору, не имея уже в виду его обещания «что-нибудь придумать» относительно печки, а просто так. Он жил неподалеку от райвоенкомата, в одной половине деревянного двухквартирного домика с двумя одинаковыми крылечками.

Мне сказали, что он уже в райвоенкомате, и я нашел его там, где было еще по-утреннему пустынно и тихо, в том же маленьком кабинетике. Он встал мне навстречу,

быстро закрыв и сунув в стол какую-то толстую тетрадь. По моему лицу, возбужденному ходьбой и этими рассуждениями, должно быть, он подумал, что дела мои удачны.

— Ну как?

Я рассказал о своем визите, причем теперь мне все уже представлялось в юмористическом плане, я неожиданно для самого себя изобразил картинно, как важничал Егор Яковлевич, как он пил чай, как отказал мне. Я даже показал его жест, обращенный к бутылке: «Вот приходил человек...» Мы посмеялись вместе.

— Да. Ну что ж,— сказал майор,— придется мне самому вам печь сложить.

— То есть как?

— А так, из кирпичика!— засмеялся он, показывая свои большие зубы и поднимая руку ко рту.

Я только теперь, между прочим, отметил про себя, что в этой улыбке было что-то очень располагающее и отчасти трогательное. Она сразу преображала его озабоченное, не-веселое лицо.

— Так вы лично, что ли, будете класть печку?

— Лично. Заместителю поручил бы, но он не сможет.— Майор не без удовольствия наблюдал мою растерянность.— Завтра суббота. Завтра и начнем с вечера.

Все получалось так просто и в то же время не совсем ловко: как это майору, моему в некотором смысле начальнику, подряжаться ко мне на печниковскую работу?

— Не доверяете? Вы же заходили ко мне на квартиру, видели печку? Моя. Хозяйка довольна.

— Нет, зачем же! Спасибо, конечно! Но тогда уж нужно относительно всего договориться.

— Насчет гонорара?— с веселой готовностью подсказал он.— Не беспокойтесь, сойдемся.

— А все-таки?

— А все-таки оставим этот разговор. Еще не хватало, чтоб райвоенком кладкой печей прирабатывал к основному окладу! Дойдись такое до начальства — хо-хо!

— А если дойдет, что вы печи кладете?

— Это пусть доходит. В этом мне никто не указ. Я, например, сам все это шью,— он обмахнул себя рукой по кителю и брюкам,— получаю отрезы и шью. И на детей все верхнее шью. И вам мог бы сшить...

На другой день под вечер он пришел ко мне со свертком под мышкой; там были старые легние солдатские штаны

и гимнастерка, а также печниковский молоток, железный складной метр, моток проволоки, какие-то бечевки.

Он осмотрел, обошел печку и плиту, потом взял стул, сел лицом к голландке посреди комнаты и стал курить, глядя на нее.

— Да-а...— сказал он после некоторого размышления.

— Что?

— Ничего. Грязи тут у вас много будет.

— Это пожалуйста. Ивановна подмоет.

— А дрова у вас есть?— спросил он.

— Дрова? Есть. А зачем?

— А вот затопить.

— Это когда вы новую печку сложите?

— Нет, сперва эту попробуем затопить.

Мне показалось, что он шутит или ничего не помнит из того, как я ему расписывал эту печку.

— Да вы же только дыму наделаете. Неужели вы мне не верите?

— Верю, верю. А надо затопить. Где дрова?

Дрова нашлись в коридоре, среди них полуобгорелые поленья, побывавшие уже в этой печи.

Майор снял китель и с такой уверенностью приступил к делу, что я уже готов был предположить, что мы с Ивановной чего-то недоглядели и потому нас всякий раз постигала неудача. И вот он сейчас затопит печь, и она окажется нормальной. Это было бы очень хорошо, но тогда вся моя история с этой печью выглядела бы совершенно смешно и нелепо.

Я просто обрадовался, когда увидел, что печь у майора задымила так же, как она дымилась у Ивановны, Федора и у меня.

— Нет, товарищ майор,— сказал я.

— Что нет?

— Не горит.

— Вот и хорошо! Это нам и надо!— засмеялся он.— Как не горит, почему не горит — вот что важно.

Подтопа прогорела; крупные дрова, не занявшись, только потемнели; дыму нашло, как обычно. Майор вышел на улицу посмотреть на трубу. Я тоже вышел. Было еще светло.

Сколько раз я, затопив печку, выбегал так на улицу, напряженно всматриваясь, не покажется ли дымок из трубы! Я еще с детства помню, что если очень всматриваться, хотя бы с целью узнать, ставят ли дома самовар, то над

трубой начинается некоторое дрожание воздуха, вот-вот явится дымок, и так-таки нет его.

Майор вернулся в квартиру, захватил моток бечевки с навязанной на конце тяжелой гайкой и полез по приставной лестнице на крышу. Я следил, как он, встав у трубы, начал спускать гайку в трубу и водит ею там, то опуская глубоко, с рукой, то приподнимая. Это было точь-в-точь, как таскают «кошкой» ведро, оставшееся в колодце.

В это время шедший по дороге высокий мужчина в куртке с рыжим меховым воротником и косыми карманами на груди остановился и, держась левой рукой за козырек фуражки, стал смотреть на крышу. В правой у него была легкая палочка. Когда майор, выбрав бечеву из трубы, спустился, человек подошел поближе, и я увидел, что это Егор Яковлевич. Он кивнул мне и, обращаясь к майору, спросил:

— Ну как?

— Черт ее знает! В трубе вроде ничего нет, а гореть не горит.

Можно было подумать, что они не только давно знают друг друга, но словно бы вместе были заняты этой незадачливой печкой. Мы вошли в квартиру, где еще было дымно, и майор с Егором Яковлевичем заговорили о печи. Они все время говорили *он*, имея в виду неизвестного мастера, клавшего печку.

— Морду ему набить,— с грустной убежденностью сказал майор.

Но старый печник примирительно возразил:

— Битьем тут не поможешь. Тут главное дело, что он не печник, а сапожник. Свести два дымохода — от плиты и от печки — это не его ума дело.— Говоря это, Егор Яковлевич водил по корпусу печи своей палочкой, как указкой, постукивая и точно ставя какие-то знаки.— Одно слово — сапожник.

Это было сказано так же, как если бы мастерство сапожника сравнивалось с чем-нибудь неизмеримо более сложным, например с искусством, как у Пушкина: «Картину раз высматривал сапожник...»

Печники закурили и еще долго обсуждали вопрос. Они вели себя как доктора после осмотра больного, не стесняясь присутствия близких его, понимающих лишь с пятого на десятое их терминологию, недомолвки, пожимания плечами и загадочные начертания в воздухе.

— Не знаешь дела — не берись,— заключил Егор Яков-

левич, как мне показалось, не без намека на присутствующих.

Майор безобидно пояснил:

— А что? Я по домашности и себе печку сложил, хотя какой же я мастер! А если человек в таком затруднении,— кивнул он на меня,— надо, думаю, как-нибудь помочь.

— Конечно дело,— сказал Егор Яковлевич, довольный скромностью майора.— Помочь тоже надо, только чтобы потом еще помощи не просить.

— Егор Яковлевич!— Я вдруг вновь почувствовал в себе прилив некоторой надежности.— Егор Яковлевич, право же! А?..

Майор как нельзя лучше поддержал меня:

— А я бы уж у вас, Егор Яковлевич, за глинотопа. Мне даже не без пользы при таком мастере поработать, ей-богу так!— Он ощерил свою крупнозубую улыбку, прикрывая ее рукой с дымящейся в ней папиросой.

Нет, все-таки простые, заурядные люди в конце концов безошибочно находят пути к сердцам людей необыкновенных с их, казалось бы, безнадежной неприступностью.

— Ну что мне с вами делать? Надо помочь,— сказал мастер, и это «надо помочь» в точности походило на слова обычных резолюций наших начальников из района и области: «Надо помочь в части» того-то и того-то.

Егор Яковлевич сел на стул, как до него садился майор, перед печкой и, всматриваясь опять в нее, забывчиво бормотал себе под нос:

— Надо помочь, надо будет помочь...— И, взмахнув палочкой сперва в сторону майора, потом к печи, заговорил с какой-то нарочитой напевностью:— Так вот, друг милый, к завтраму ты мне эту дыру разберешь до кирпичика, и чтобы бою никакого, кирпичик к кирпичику сложишь. Понял?

Я отметил, что он говорил майору «ты», уже считая его в своем подчинении, хотя не мог не усмотреть висевший на стуле китель с майорскими погонами, и в этом он тоже походил на всякое наше начальство.

Майор сказал, что он сейчас же полезет на крышу; я, конечно, выразил готовность ему помогать, но Егор Яковлевич заявил, что на крышу лезть незачем.

— Труба ни при чем, нам и эта годится, только ее надо подвесить.

Этого не знал не только я, но и майор, как подвешивать трубы. Тогда Егор Яковлевич взял свою палочку

за оба конца и разъяснил задачу с примерной популярностью, обращаясь опять-таки к одному майору:

— Возьмешь два таких брусочка, конечно, понадежнее, не меньше двух вершков. С чердака у трубы подобьешь плечики и вот так под плечики подведешь... Не только трубу, а и всю тебе печку вывесить можно. Как же ты разобрал бы печку в нижнем этаже, если во втором на ней другая? Все ломать из-за одной? Не-ет, брат...

И уже по этому первому практическому указанию я увидел, что старик не без оснований усвоил себе начальническую роль. Я так и не успел завести речь об оплате, как он одним кивком простился с нами и вышел, порядочно наследив на полу своими валенками в самодельных галошах из автомобильной камеры.

К раннему вечеру мы с майором разобрали печку, оставив нетронутой плиту и подвесив трубу указанным способом. Я лично опасался, как бы с этим подвешиванием не случилось беды, но майор справился с задачей так уверенно, как будто ему это было уже не впервые. Вообще он, как я увидел, был из тех хороших мужчин, чаще всего военных, что умеют все и ко всякому делу приступают безбоязненно, исходя из того общеизвестного положения, что не боги горшки обжигают. Бруски, которые нам были нужны, он сделал из обрезка доски-шестидесятимиллиметровки, удачно расколов ее и выровняв топором, как фуганком. Печные дверцы, вьюшки, задвижки он с привычной сноровкой освободил из-под кирпичей и выпутал из концов проволоки, крепившей их в гнездах. Работать с ним было легко и приятно: он не угнетал неумелого и неловкого помощника своим превосходством, не раздражался и не подсмеивался, а лишь пошучивал изредка весело и необидно. Мы заготовили ящик для глины, глину, песок, чтобы все было под рукой, и, покамест умывались и переодевались, на примусе у меня закипел чайник.

— Чайку хорошо, — просто согласился майор, и мы с ним посидели в моей кухне-передней, где было почище, покурили, разговорились.

Майор посмотрел мои книги, перенесенные сюда, чтобы им не так пылиться, и, показав на растрепанный однотомник Некрасова, заметил, что его нужно переплести. И когда я сказал, что переплетчика здесь уж наверняка не найти, он вызвался переплести книгу и даже меня обучить этому делу. Конечно, без настоящего обреза под прессом не то, но все же книга будет сохраннее. Книги он любил

с той нежной уважительностью и бережливостью, какая бывает только у читателей из самых простых людей. Жалкую мою библиотеку он перебрал всю, разглядывая томик за томиком, задерживаясь больше на поэзии. Я сказал, что он, наверно, любитель стихов, а это не так часто встречается среди, так сказать, неспециалистов. Он улыбнулся застенчиво и в то же время с отвагой, подчеркнутой шутливой заносчивостью тона.

— Чего же вы хотите, сам пишу стихи. И даже печатаю. Да!

— Очень хорошо,— сказал я и, не зная, что еще сказать, спросил:— Простите, а вы под псевдонимом выступаете, наверно! Я вашей фамилии что-то не встречал в печати.

— Нет, печатаю под своей фамилией, только не так часто. И потом это окружная газета, ну, еще и журнал «Советский воин», их тут вы не увидите.

С этими словами он как-то погрустнел, что заставило меня проявить больший интерес к его стихам. Я попросил его как-нибудь показать их мне. Он тотчас согласился и стал читать по памяти.

Здесь я хочу сделать оговорку, что не называю фамилии майора именно потому, что он печатается и, значит, кем-нибудь может быть установлено, что он и герой моего рассказа — одно лицо. А этого я решительно не хотел бы допустить, так как описываю его во всех натуральных подробностях. Я пробовал назвать его в рассказе вымышленным именем, но это как-то претило и не шло к нему, и я оставляю его просто майором.

Майор прочел несколько стихотворений, я их не помню: они были очень похожи на многое множество появляющихся в газетах и журналах стихов о целинных землях, солдатской славе, борьбе за мир, гидростройках, плотинах, девушках и маленьких детях — будущих сверстниках коммунизма — и, конечно, стихов о стихах. И они были не просто похожи невольной похожестью подражания, которого автор хотел бы избежать, но казалось, что его усилия как бы к тому только и были направлены, чтобы все у него было как у людей, как полагается быть в стихах. Об этом я ему не мог сказать: уж очень он мне был по душе своей добротой, товарищеской участливостью, умелостью на все руки и не деланной, а подлинной скромностью. Я сказал что-то насчет какой-то неудачной рифмы, замечание было совсем пустяковым.

— Нет,— возразил он тихо,— рифма, что же... Рифма

у меня есть...— И, поправляя стопку книг, выложенных на краю стола, повторил раздумчиво:— Рифма-то у меня есть...— В этом возражении была грустная недосказанность: он сам, может быть, что-то знал о своих стихах такое, чего я не коснулся и, как ему казалось, не понимаю. И вдруг он заговорил, точно оправдываясь и упреждая чью-то оценку и выводы относительно его стихов:— Вы знаете, я не настолько глуп, чтобы считать это уже вполне чем-то таким заслуживающим... Но я не боюсь труда, я упрям, как бык, я могу не спать, не есть и не пить, если мне нужно чего добиться... Я начал писать на войне, то есть не когда был в роте, а когда бывал ранен: как ранение, так и новая тетрадка стихов, как ранение, так и творческий отпуск.— Он засмеялся сам своей шутке и продолжал:— А мне везло: меня ранило четыре раза — и все не то чтобы легко, но и не так тяжело, как раз в меру, месяца на полтора в тыл. Попишешь, считаешь вволю — и опять на фронт. Так и везло. Ну, и теперь у меня должность такая, что выходной день у меня всегда мой. А вечер? А ночь? Тоже мои. И, откровенно сказать, я без этого не могу, я за что взялся, должен постигнуть. Я не отступлюсь, покамест не постигну. Вроде этой печки, знаете. Вы думаете, я когда-нибудь учился на печника, курсы проходил? Но мне нужно было сложить печку, нанять некого, да и нанять мне, сказать откровенно, не по карману: семейка, слава богу, сам-семь. Так я что сделал? Я дважды складывал ее: первый раз сложил начерно, протопил, сообразил, в чем секрет, а потом разобрал, как вот мы с вами эту,— правда, та еще и не просохла,— и уже набело вывел. Топится. Может, Егор Яковлевич найдет что-нибудь, но топится, работает.— И он опять засмеялся, но как-то надвое: тут была и некоторая похвальба своей удачей, но и готовность признать, что все это только забавно.

В разговоре выяснилось, что были мы одно время на соседних фронтах, и этот весьма условный признак соседства в прошлом еще больше сблизил нас, вроде того, как сближает людей столь же условный признак отдаленного землячества. Я вышел проводить его немного, потом долго еще не мог уснуть в своей холодной и пыльной комнате с разобранный печкой. Мне приходило на мысль, что этот милый майор, занятый службой и обремененный семьей, пожалуй, не должен бы изнурять себя еще и стихами. Мне было ясно, что стихи эти не были, в сущности, выражением глубокой внутренней необходимости высказывания именно в этом

роде речи. О войне он писал так, что для этого вовсе не нужно было провести четыре года на фронте и быть четырежды раненным; в стихах о некоем социалистическом ребенке полностью отсутствовал автор — отец пятерых детей; из стихов об освоении целины только и запомнилось мне, что «целина — потрясена»; наконец, и в стихах о стихах было только повторение той истины, что стихи нужны в бою и в труде.

Может быть, он и писал все это только потому, что знал за собой способность освоить всякое новое дело, не только без специальной подготовки, но и без особого к тому влечения души. Но нет, скорее всего позыв к авторству развился у него уже очень сильно; можно было не сомневаться, что на этом пути его ждет еще немало разочарований и горечи.

Проснулся я от стука в окно над моей головой.

Стучали палкой, негромко, но требовательно. Это был Егор Яковлевич, хотя еще стояла настоящая темень. Я включил свет и открыл ему. Он был в той же куртке с воротником и с той же палочкой-указкой. Никакого инструмента и спецодежды с ним не было. Покамест я одевался и прибирался, он курил, кашляя, прочищал нос и плевался, разглядывая все, что было приготовлено для работы.

— Так, значит. Отдыхаем! Так,— говорил он в перерывах кашля и сморкания.

Было очевидно, что он очень доволен, застав меня в постели и придя раньше майора, за которым я уже хотел отправиться. Но майор опоздал против старика не более как минут на десять.

— Выходной же,— с улыбкой оправдывался он, развертывая свой сверток с рабочим костюмом.

— У кого выходной, а у нас с вами рабочий день,— холодно отозвался старик, назвав майора на этот раз на «вы», покамест он был еще в кителе с погонами. Но, может быть, эти слова относились и ко мне заодно с майором.— А вот что глину не замочили с вечера — это напрасно: больше месить придется. Ну, и теплой водички не мешало бы. Не из нежности рук, а чтобы раствор был вязче.— Раствор — так и называл все время глину, размешанную с песком, приравнивая ее к цементу. Кряхтя, он присел на корточках перед фундаментом разрушенной печи, прикинул своей палочкой и сказал:— Четыре на четыре, больше не надо.

— Егор Яковлевич.— Майор протягивал ему свой складной метр.

Старик взмахнул палочкой.

— У меня вот тут все меры, какие нужно. А не веришь — можешь перемерить.

Но перемеривать не стали. Речь шла просто о том, что основание печи будет четыре на четыре кирпича. Егор Яковлевич переложил трость в левую руку, а правой быстро, один за одним, выложил кирпичи насухую, без глины, по намеченному квадрату, встал и показал на них палочкой:

— Вот так будешь вести.— Потом взял из ящика комок замешенной нами с майором глины, размял в руке, поморщился и бросил обратно.— Надо еще чуть песочку. Куда, куда столько! Сказано — чуть. Вот и довольно. Размешай хорошенько.

Мы приступили к работе, и с самого начала для каждого определилось его место. Я замешивал глину, подносил и подавал кирпичи, майор вел кладку, а Егор Яковлевич,— я не могу подыскать более точных слов,— возглавлял все дело и руководил им, по-прежнему действуя палочкой как указкой, присаживаясь, вставая, покуривая и покашливая. Порой он как бы и отвлекался от печи, высказываясь подробно и назидательно о пользе раннего вставания, о необходимости строжайшего воздержания от вина перед работой, о своем кашле, который у него особенно зол бывает к ночи, о качествах кирпича различного обжига и многих других материях. Но я видел, что за работой он при этом следит так, что ни один кирпич не лег на место без его зоркого, контролирующего глаза, а порой и палочки, как бы невзначай легонько стукнувшей по нему. Егор Яковлевич был в своей теплой куртке, и мы с майором, одетые по-рабочему, в одних стареньких гимнастерках, уже разогрелись и вытирали лбы и носы об рукав у предплечья — руки у нас были перемазаны; Егор Яковлевич видел это и не преминул использовать для профессионального назидания.

— Вздохни, друг, закури.— Он с коварным радушием протянул майору свою пачку «Севера». Тот выпрямился и беспомощно развел руки.— Ага! Нечем взять? Должен руки сперва помыть? Так? А это значит, что ты еще не печник, а верно что глинотоп.— Он сунул майору в рот папиросу, дал прикурить и продолжал:— Зачем у меня должны быть обе руки в растворе? Нет, только одна, правая, а левая у меня должна быть всухе. Смотри.— Он отстранил палочкой майора, положил ее в сторону и только слегка,

движением рук вверх, осадив рукава куртки, взял левой рукой очередной кирпич, а правую обмакнул в ведро с водой и захватил его небольшой шлепок глины.— Вот!левой кладу, правой подмазываю и зачищаю. Понял?— Он быстро положил ряд кирпичей, и хотя немного запыхался, но очевидно было, что на это дело он затрачивал гораздо меньше усилий, чем майор.— Левая всегда всухе! И тут не только то, что я свободно могу закурить, и утереться, и нос оправить, но и в работе больше чистоты. Нужен тебе, например, гвоздь — берешь гвоздь, очки или что другое. Ну, расстегнуть что-нибудь, застегнуть — пожалуйста.— Он показал, как он может все это сделать левой рукой.— А ты стой как чучело в огороде.

Мастер наконец улыбнулся, очень довольный своим уроком и потому позволяя свои последние слова считать шуткой. Я очень был рад за майора: он не только не обиделся, но с восхищенной улыбкой следил за ходом изложения и показа, заслоняя рот рукой издали, чтобы не замзаться.

Он попробовал было действовать как Егор Яковлевич, но вскоре же ему почему-то понадобилось переложить кирпич из левой руки в правую, и он сдался.

— Нет, Егор Яковлевич, разрешите уж мне так, как могу.

— Давай, давай,— согласился старик.— Это не вдруг. А другой и мастер ничего вроде, а всю жизнь так вот, не хуже тебя...

Я уверен, что он был бы огорчен и недоволен, если бы майору удалось сразу же перенять его стиль. Пожалуй, что и майор понимал это и не стал состязаться. Затем Егор Яковлевич, видимо разохотившись учить уму-разуму, поставил два кирпича на ребро, плотно, один к одному, и, занеся над ними руку, как бы собираясь их взять, предложил:

— Вот так, подними одной рукой.

Но майор рассмеялся и погрозил Егору Яковлевичу пальцем:

— Нет уж, это фокус старый, это я могу.

— Можешь? Ну, то-то же! А другой бьется-бьется — не может. Случалось, на пол-литра об заклад бились.

Фокус был в том, как мне показалось, что нужно было незаметно пропустить между кирпичами указательный палец, и тогда оба кирпича можно было легко поднять разом и переставить с места на место.

Упоминание о поллитровке заставило меня подумать об организации завтрака, тем более что уже совсем рассвело, было около девяти часов. Я сказал, что мне нужно ненадолго отлучиться, и отправился на станцию, где закупил в ларьке хлеба, колбасы, консервов и водки. На обратном пути я зашел еще к Ивановне и получил от нее целую миску соленых огурцов — от них на свежем воздухе шел резкий и вкусный запах чеснока и укропа. Я был рад пройтись, распрямиться: у меня уже болела спина от работы, и я предполагал, что и майор отдохнет в мое отсутствие. Но, когда возвратился, я увидел, что работа шла без передышки, кладка уже выросла в уровень с плитой, уже были ввязаны дверцы и Егор Яковлевич был без куртки, в вязаной фуфайке, выкладывал первый полукруг сводов, а майор был вместо меня на подаче. Они работали быстро и ладно, майор едва поспевал за стариком, и притом они спорили.

— Талант должен быть у человека один, — говорил Егор Яковлевич, управляясь с делом так, что левая рука у него была «всухе».

Туловище его, обтянутое фуфайкой, казалось чуть ли не тщедушным при крупных и длинных, с тяжелыми кистями руках, похожих на рачьи клешни. Спор у них, должно быть, зашел с того, о чем речь была еще при мне, — с мастерства и стиля в работе, — но он уже выходил далеко за первоначальные рамки.

— Талант должен быть один. А на что нет таланта, за то не берись. Не порти. Вот что я всегда говорю, и ты это положи себе на память.

— Но почему же один? — возражал майор спокойно и с некоторым превосходством. — А Ренессанс — эпоха Возрождения? Леонардо да Винчи?

Егор Яковлевич, очевидно, слышал эти слова впервые в жизни и сердился, что не знает их, но уступить не хотел.

— Этого мы с тобой не знаем, это нам неизвестно, что там когда было.

— Как так неизвестно, Егор Яковлевич! — изумился майор, оглядываясь на меня. — Всем известно, что Леонардо да Винчи был художником, скульптором, изобретателем и писателем. Вот спросите.

Я вынужден был подтвердить, что действительно так оно и было.

— Ну, было, было, — озлился припертый к стенке ста-

рик,— но было когда? До царя Гороха... Когда всяк сам себе и жнец, и швец, и в дуду игрец.

— Это вы уже в мой огород?

— Нет, я вообще. Другое развитие развивается, другая техника — все, брат, другое.

Я прямо-таки подивился историчности взглядов Егора Яковлевича и, высказав это вслух, прервал спор приглашением закусить.

За столом Егор Яковлевич наотрез отказался выпить.

— Это потом, когда затопим... Ты выпей,— обратился он к майору,— тебе ничего.

— Ну, а вы, может, все-таки?..

— А я все-таки не могу: на работе. За меня думать некому.

Майор не настаивал и не обиделся.

— Ну, так я и выпью стопочку. Ваше здоровье!

Мы выпили с майором. Разговор у нас с ним завязался опять о литературе. Коснулись Маяковского, о котором майор говорил с обожанием, то и дело вычитывал из него стихи наизусть с таким увлечением, что даже забывал заслонять рукой свою улыбку. А я думал о том, почему он при такой любви к Маяковскому сам пишет совсем по-другому — ровненько, опрятно, подражая всем на свете, но только не своему кумиру. Но я не спросил его об этом, а сказал только, что ознакомление школьников с поэзией Маяковского часто наталкивается на такие слова и обороты, которые идут вразрез с законами изучаемой ими родной речи. Майор возражал горячо и почти уже раздраженно, называя меня, хоть и в шутку, консерватором и догматиком.

Егор Яковлевич вяло ел, прихлебывая чай, курил и молчал отчужденно и горделиво, пережидая нашу беседу. «Если я этого ничего не слыхал и не знаю,— как бы говорил он всем своим видом, сопением и кряхтением,— так только потому, что все это мне без надобности и неинтересно, наверняка пустяки какие-нибудь». Но когда мы упомянули Пушкина, он сказал:

— Пушкин — великий русский поэт.— И сказал так, как будто это он один только знает, дошел до этого своим умом и говорит первым на всем белом свете.— Великий поэт! Эх! — Он прищурился и тоже прочел с подчеркнутым выражением умиления и растроганности:

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

— Это же Лермонтов,— засмеялся майор.
Но старик только покосился в его сторону и продолжал:

Ведь были ж схватки боевые,
Да, говоря г, еще какие!

— Это же Лермонтова «Бородино»!— с веселым возмущением перебивал его майор и толкал меня локтем.

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Последнее слово Егор Яковлевич произнес громко, раздельно и даже ткнул пальцем в сторону майора: я же, мол, про то самое и говорю. И решительно не давал перебить себя:

— Эх! А «Полтавский бой»? «Горит восток зарею новой...»

— Вот это Пушкин, верно,— не унимался майор.— Только это поэма «Полтава». А так это Пушкин.

— А я говорю, что не Пушкин? Кто же еще так мог написать? Может, Маяковский твой? Нет, брат!

— Маяковского тоже нет в живых. Что бы он еще написал, неизвестно.

— Хе!— Старик с величайшим недоверием махнул своей тяжелой рукой.

— Ну и корень вы, Егор Яковлевич!— Майор озабоченно покачал головой и сдвинул морщины на лбу под самые корни густого черного бобра.— Ох, корень!

Старику, видимо, было даже приятно слышать, что он корень, но он тотчас дал понять, что и это ему не в новинку.

— Слава богу, восьмой десяток распечатал. Поживете с мое, тогда будете говорить.— Это уже относилось не к одному майору, но и ко мне и ко всему нашему поколению.

Но майор и на этот раз не отказал себе хоть в малом торжестве своего превосходства:

— Корень, корень! А «Бородино»-то все-таки написал Лермонтов.

Егор Яковлевич ничего не сказал и, поблагодарив, встал из-за стола заметно подавленный. Я думаю, что он сам смекнул свой промах с «Бородином», но признать это было для него нож острый, как и то, что он не слышал про Леонардо да Винчи. Мне было его жаль, как всегда жаль

старого человека, если он вынужден терпеть поражение от тех, у кого преимущества молодости, знания и памяти.

После завтрака работа пошла еще веселее. Печники оба стали на кладку: Егор Яковлевич — со стороны кухни, майор — со стороны комнаты, а я — на свое место. Но работа шла молча, если не считать односложных замечаний, относящихся только к делу. Может быть, это было следствием их недавних разногласий, в которых верх явно был за майором, но, может быть, сама кладка печи все более усложнялась: пошли разные «обороты», душники, вьюшки, подключение плиты к общему дымоходу, и это требовало особой сосредоточенности.

Я не пытался вывести мастеров из этого молчания, потому что мне теперь, на подаче для двоих, было впору только поворачиваться. А когда они делали перекур, я спешил заготовить, пододвинуть все, что нужно, так, чтобы легче управляться. Корпус новой печи уже поднимался к дыре в поголке, над которой была подвешена старая труба, и он, будучи меньше в объеме, чем прежний, выглядел как-то непривычно и даже щеголевато. Обогревательные стенки печи и зеркало были выложены в четверть кирпича, то есть в один кирпич, поставленный на ребро. Когда Егор Яковлевич начал делать из кирпичей выпуск под потолок наподобие карниза, печь стала еще красивее, я уже мысленно видел ее побеленной: она будет прямо-таки украшением комнаты, когда все приберется и с приездом Лели переставится по-новому. Только бы она топилась как следует.

Для работы вверх нужно было подмоститься, пошли в ход мои табуретки, а затем и стол, который мы кое-как накрыли газетами. Теперь там, вверх, работал уже один Егор Яковлевич, и он был королем положения.

Когда ему понадобилось для карниза несколько кирпичей с выколотой четвертью, то есть с ровно выбитым углом, он велел это сделать майору. Майор испортил одну, другую кирпичину, за третью взялся, уже покраснев и надувшись, но и ту развалил на три части. Я ожидал нетерпения и язвительных замечаний со стороны Егора Яковлевича, но он, казалось, отнесся даже сочувственно к неудачам ассистента:

— Кирпич дерьмовый. Разве это кирпич? Дай-ка сюда...

Он ловко подхватил кирпич левой рукой, которая до сих пор у него так и была «всухе», подбросил его, укладывая на ладони, — точно яйцом об яйцо, ткнув по нему молотком, выколол то, что надо. Так же у него получилось

и с другим, и с третьим, и со всеми кирпичами, только иные он обкалывал не с одного, а с двух и больше осторожных ударов.

— Да-а!— сказал майор.— Вот это да! Ну, черт!

Но старый мастер желал еще быть и великодушным — он отнес завидную лихость своих ударов за счет неодинакового качества кирпичей.

— Попадаетея, что и ничего.— Однако не удержался от хитрой улыбки.— И, гляди, подряд сколько попалось...

Мы с майором расхохотались, посмеялся и сам Егор Яковлевич, и я увидел, что он был с лихвой удовлетворен за свое поражение в другой области. Мы вдвоем обслуживали его и просто любовались, как он кирпич в кирпич подводил кладку под края старой трубы, как потом были выбиты из-под ее пальчиков бруски — и ничего ужасного не произошло, и все было как по шнуру, хотя Егор Яковлевич ни разу и за правило не взялся.

Сумерки уже притемнили комнату, когда Егор Яковлевич, кряхтя, слез со своих подмостков, и наступил торжественный момент опробования новой печи. Я хотел было включить свет, но Егор Яковлевич запротестовал:

— Ни к чему. Огня не увидим, что ли?..

Он опустился перед печью, но не на корточки, а на колени, и сел на задники своих огромных валенок, как сидят обыкновенно мужики в санях, возле костров или вокруг общего котла на земле. Выложив на сырой еще решетке щепочки и легкие чурочки, он вытер спичку, но не поднес тотчас к подтопе, а зажег клоч газеты и сунул его в маленькую дверцу поддувала вниз и только потом сгоревшую до самых его ногтей и загнувшуюся крючком спичку ткнул под мелкие, курчавые стружки. Газета быстро сгорела в поддувале, а в печи костерок разгорался медленно, слабо,— я боялся дышать, глядя на него,— но разгорался. В полном молчании мы все трое смотрели на него. Вот он пошел и пошел веселее, охватывая уже и щепочки покрупнее,— да, поначалу это было так у меня и в старой печке, а вот что дальше будет? Егор Яковлевич подкладывал дровишки, располагая их по методу Ивановны, огонь цеплялся за них все увереннее и живее, и дальше — больше, печь запылала ярко и весело, и это было особенно красиво и приятно в сумерках, заполнявших комнату. Егор Яковлевич тяжело поднялся с колен.

— Ну, с новой печкой вас!— сказал он и стал в рабочем ведре мыть руки.

Так вот почему он не дал мне включить свет: так огонь в печи виднее, красивее. Егор Яковлевич был поэт своего дела.

Когда мы с майором умылись и переоделись, я не без тревоги приступил наконец к вопросу о том, какую оплату Егор Яковлевич желал бы получить. «Моя оплата известная», — помнил я его слова и был готов на все, но меня тревожило то, что я не знал, хватит ли у меня наличных денег для расчета на месте. Печка горела отлично, уже были сунуты крупные дрова, и они занялись, и все было так хорошо, что я забыл выбежать и посмотреть, идет ли дым из трубы: идет, раз печка не дымит.

— Ну, что об этом толковать, — как-то отмахнулся Егор Яковлевич от вопроса, — что об этом толковать...

— Нет, а все же, Егор Яковлевич, я вас очень прошу сказать: сколько вы должны получить?

— Ну, сколько ему, столько и мне, — опять же не то всерьез, не то так просто сказал он, показывая на майора. — Вместе работали. Да и вас еще надо в долю: помогали.

— Егор Яковлевич, — вмешался майор, — тут у нас другие совсем отношения, другие счета, мне ничего не полагается. Я сказал наперед, что ничего не возьму, поскольку не специалист...

— А я ничего не возьму, поскольку специалист. Понятно? Есть о чем толковать! Давайте-ка лучше по случаю запуска печи... Теперь уж и я не откажусь...

Я попытался соврать, что, мол, оплата эта, в сущности, для меня ничуть не обременительна, что большую часть суммы заплатит школа, но тут Егор Яковлевич прервал меня строго и обидчиво:

— Вот это вы уже совсем зря говорите, чтобы я еще со своей школы деньги взял... Не настолько я бедный, слава богу, и этого никогда не позволю...

Может быть, эта обидчивость у него явилась из досады, что майор и в этом вопросе упреждал его, отказавшись от денег заранее, но, так или иначе, разговор этот мне пришлось прекратить.

Майор все это слышал и, когда мы сели за стол, усталый на Егора Яковлевича каким-то странным — веселым и вместе смущенным — взглядом, посмотрел-посмотрел и вдруг спросил:

— Егор Яковлевич, ты на меня сердит ли за что-нибудь? — Вопрос был необычным уже по одному тому, что

майор обратился к старику на «ты».— Ну, может быть, я как-нибудь обидел тебя или что?

— Нет, почему же так?— удивился тот и, точно впервые видя его, в свою очередь осмотрел майора в его кителе с погонями и трехэтажной колодкой орденов и медалей.— Чем вы меня могли обидеть? Работали вместе, все хорошо, ссориться нам с вами незачем вроде...

Теперь Егор Яковлевич говорил майору «вы»: по-видимому, он считал, что тот уже не находился под его началом, как это было во время работы.

— Ну ладно. Хороший ты человек, Егор Яковлевич, не говоря уже, что мастер. Давай выпьем с тобой, будь здоров!

— Будьте здоровы!

Они чокнулись, точно между ними и впрямь что-то было и наступило примирение и взаимная радость.

Потом постучалась Ивановна — она усмотрела дым из моей трубы,— следом приволокся и сам Матвеев; они тоже выпили с нами, хвалили печку и хвалили в глаза Егора Яковлевича. Он выпил три стопки, раскраснелся, расхвастался, что он клал, бывало, и может сложить не только простую русскую печку или голландку, но и шведскую, и круглую — «бурак», и камин, и печку с паровым отоплением и что никто другой так, как он, не сделает, потому что у него талант, а талант — дело не частое. Пожалуй, он маленько стал нехорош, громок, но когда я хотел налить ему еще, он решительно накрыл рукой стопку.

— Норма!— И стал прощаться.

Я вызвался было проводить его — не только из-за его заметного охмеления, но и надеясь все же сговориться с ним по дороге о какой ни есть оплате. Но он церемонно поблагодарил за угощение, нашел свою палочку и раскланялся.

— Провожать меня? Я не девка...

— Корень все-таки!— сказал вслед ему майор.

И мы еще посидели, поговорили. Ивановна принесла новых дров для завтрашней топки и стала прибирать в комнате. Печка подсохла, даже немного обогрела комнату, и на душе у меня было так хорошо, как будто во всей дальнейшей жизни мне уже не предстояло никаких неприятностей и затруднений.



И. Ефремов

БЕЛЫЙ РОГ



бледном и знойном небе медленно кружил гриф. Без всяких усилий парил он на огромной высоте, не шевеля широко распластанными крыльями. Усольцев с завистью следил, как гриф то легко взмывал вверх, почти исчезая в слепящей, жаркой синеве, то опускался вниз сразу на сотни метров.

Усольцев вспомнил про необычайную зоркость грифов. И сейчас, как видно, гриф высматривает, нет ли где падали. Усольцев невольно внутренне содрогнулся: пережитая им смертная тоска еще не исчезла. Разум успокоился, но каждая мышца, каждый нерв слепо помнили пережитую опасность, содрогаясь от страха. Да, этот гриф мог бы уже сидеть на его трупе, разрывая загнутым клювом обезображенное, разбитое тело...

Засыпанная обломками разрушающихся обнаженных скал долина была раскалена как печь. Ни воды, ни дерева, ни травы — только камень, мелкий и острый внизу, обрывисто громоздящийся угрюмой массой вверх. Разбитые трещинами утесы, нещадно палимые солнцем...

Усольцев поднялся с камня, на котором сидел, и, чувствуя противную слабость в коленях, пошел по скрежетавшему под ногами щебню. Невдалеке, в тени выступающей скалы, стоял конь. Рыжий кашгарский иноходец насторожил уши, приветствуя хозяина тихим и коротким ржанием. Усольцев освободил повод, ласково потрепал лошадь по шее и вскочил в седло.

Долина быстро раскрылась перед ним; иноходец вышел

на простор. Ровный уступ предгорий в несколько километров ширины круто спускался в бесконечную степь, затянутую дымкой пыли и клубящимися струями нагретого воздуха. Там, далеко, за желто-серой полосой горизонта, лежала долина реки Или. Большая быстрая река несла из Китая свою кофейную воду в зарослях колючей джидды и цветущих ирисов. Здесь, в этом степном царстве покоя, не было воды. Ветер, сухой и горячий, шелестел тонкими стеблями чия¹.

Усольцев остановил иноходца и, приподнявшись на стременах, оглянулся назад. Вплотную к ровной террасе прилежала крутая коричневатая-серая стена, изрезанная короткими сухими долинами, разделявшими ее гребень на ряд неровных острых зубцов. Посредине, как главная башня крепостной стены, выдавалась отдельная отвесная гора. Ее изрытая выпуклая грудь была подставлена знойным ветрам широкой степи, а на самой вершине торчал совершенно белый зубец, слегка изогнутый и зазубренный. Он резко выделялся на фоне темных пород. Гора была значительно выше всех других, и ее острая белая вершина походила на высоко взметнувшийся в небо гигантский рог.

Усольцев долго смотрел на неприступную гору, мучимый стыдом. Он, геолог, исследователь, отступил, дрожа от страха, в тот самый момент, когда, казалось, был близок к успеху. И это он, о ком говорили как о неутомимом и спокойном исследователе Тянь-Шаня! Как хорошо, что он поехал один, без помощников! Никто не был свидетелем его страха. Усольцев невольно огляделся кругом, но палящий простор был безлюден — только широкие волны ветра шли по заросшей чием степи, и лиловатое марево неподвижно висело над уходящей на восток горной грядой.

Иноходец нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что же, Рыжик, пора нам домой, — тихо сказал геолог коню.

И тот, словно поняв, выгнул шею и двинулся вдоль уступа. Маленькие крутые копыта отбивали частую дробь по твердой почве. Быстрая езда успокаивала душевное смятение геолога.

С крутого спуска Усольцев увидел стоянку своей партии. На берегу небольшого ручья, под сомнительной защитой филигранных серебристых ветвей джиддовой заросли, были раскинуты две палатки и поднимался едва заметный столбик

¹ Ч и й — высокий, растущий пучками злак среднеазиатских степей.

дыма. Подальше, уже на границе степи, стоял толстый карагач, словно обремененный тяжестью своей густой листвы. Под ним виднелась еще одна высокая палатка. Усольцев посмотрел на нее и отвернулся с привычным ощущением грусти.

— Ребята не вернулись еще, Арслан?

Старообразный рабочий-уйгур, мешавший плов в большом казане, подбежал к лошади.

— Я сам расседлаю, а то пригорит у тебя плов... Есть не хочу, жарко...

Узкие темные глаза уйгура внимательно взглянули на Усольцева.

— Наверно, опять Ак-Мюнгуз¹ ездил?

— Нет...— Усольцев чуть-чуть покраснел.— В ту сторону, но мимо.

— Старики говорят — Ак-Мюнгуз даже орел не садится: он острый, как шемшир²,— продолжал уйгур.

Усольцев, не отвечая, разделся и направился к ручейку. Холодная, прозрачная вода дробилась на острых камнях и издавала казалась лентой измятого белого бархата. Звонкое переливчатое журчание было исполнено отрады после мертвых, раскаленных долин и свиста ветра.

Усольцев, освеженный умыванием, улегся в тени под зонтом, закурил и погрузился в невеселые думы...

Сознание поражения отравляло отдых, вера в себя пошатнулась. Усольцев пытался успокоить свою совесть размышлением о признанной недоступности Белого Рога, но это ему не удалось. Глубоко задетый своей неудачей, он невольно потянулся к той, которая уже давно была его неизменным другом, но только... в мечтах.

Сегодняшняя неудача надломил волю. Вопреки давно принятому решению Усольцев поднялся и медленно пошел к высокой палатке под карагачем. Он вспоминал недавний разговор.

«Что пользы говорить об этом?— сказала она.— Все давно глубоко запрятано, покрылось пылью...»— «Пылью?»— гневно спросил Усольцев и ушел, не сказав ничего, чтобы не возвращаться больше. Это было два года назад, а теперь работа снова нечаянно свела их вместе: она заведовала шлиховой партией, обследовавшей район его съемки. Уже больше двух недель палатки обеих партий стоят рядом.

¹ Ак-Мюнгуз (уйгур) Белый Рог.

² Шемшир меч.

Но она так же далека и недостижима для него, как... Белый Рог.

И вот он, избегавший лишних встреч, обменивавшийся с ней только необходимыми словами, идет к ее палатке. Еще одно поражение, еще одно проявление слабости...

Ну, все равно!..

На ящике у палатки сидела и шила полная девушка в круглых очках. Она дружелюбно приветствовала Усольцева.

— Вера Борисовна в палатке?— спросил геолог.

— Да, читает запоем весь день.

— Входите, Олег Сергеевич,— раздался из палатки мягкий, чуть насмешливый голос.— Я узнала вас по походке.

— По походке?— переспросил Усольцев, откидывая полу входа.— Что вы нашли в ней особенного?

— Она у вас такая же угрюмая, как и вы сами!

Усольцев вспыхнул, но сдержался и осторожно заглянул в строгие серые, с золотыми искорками глаза.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось,— поспешно проговорил Усольцев.— Вы ведь скоро уезжаете, я и зашел вас проведать на прощание.

— А у меня сегодня был день приятного безделья. Мои поехали в Подгорный за почтой. Управление телеграфировало еще на прошлой неделе об изменении дальнейшего плана. Должны прислать подробное распоряжение. Работа здесь кончена, и мы на отлете... Вот прекрасная книга, прислали по почте. Я весь день читала. Завтра тоже отдых, а там — в новые места, скорее всего на Кегень. Жаль, что здесь все было так неудачно. Нашли несколько кристаллов касситерита... и все. А месторождение, когда-то бывшее наверху, давно разрушено, снесено!

— Да, если бы уцелели более высокие вершины,— согласился Усольцев.

— Только Белый Рог,— вздохнула Вера Борисовна.— Но он неприступен, а сверху ничего не падает: должно быть, очень крепкая порода. Мой совет — просите сюда пушку, чтобы отбить кусок Рога, а то плохо ваше дело: секрет останется неразгаданным,— весело закончила она.

Усольцев протянул руку к лежавшей на чемодане книге.

— «Восхождение на Эверест». Вот чем вы зачитывались весь день!

— Чудесная книга! На ее страницах лежит отблеск вечных гималайских вершин. Меня захватила... как бы вам сказать... не сама атака Эвереста, а постепенное внутреннее восхождение, которое проделали в душе — каждый — главные участники атаки. Понимаете, борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — ответил Усольцев. — Но ведь они так и не поднялись на самую вершину Эвереста?

Глаза Веры Борисовны потемнели.

— Да, с вашей точки зрения, это было поражением. Они сами признавали это. «Нам нет извинения, мы разбиты в этом честном сражении, побеждены высотой горы и разреженностью воздуха», — прочитала Вера Борисовна, взяв книгу из рук Усольцева. — Разве этого мало — выбрать себе высокую, неимоверно трудную цель, пусть несоразмерную с вашими данными? Вложить всего себя в ее достижение. Я так ясно представляю себе Эверест! Роковая, обнаженная, скалистая гора. На той недоступной вершине ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!

Усольцев молча слушал.

— Но ведь только единицы способны на такие подвиги! — воскликнул он. — И Эверест, в конце концов, он тоже только один в мире.

— Неправда, это просто неправда! У каждого могут быть свои Эвересты. Неужели вам нужны примеры из нашей жизни? А война — разве она не дала героев, поднявшихся выше своих собственных сил?

— Но тот, настоящий Эверест, он безусловен для всех и каждого, — не сдавался Усольцев, — а в выборе своего Эвереста можно ведь и ошибиться.

— Это вы хорошо сказали! — воскликнула Вера Борисовна. Она насмешливо посмотрела на Усольцева. — В самом деле, представьте себе, вы вкладываете все, что у вас есть, в Эверест, а на деле это оказывается маленькая горушка... ну, вроде этих наших. Какой жалкий конец!

— Вроде этих наших? — вздрогнув, переспросил Усольцев.

И в тот же момент с потрясающей отчетливостью вспомнил, как всего несколько часов назад он распластался на крутом каменистом откосе, по которому, как дробь, ка-

тились мелкие угловатые кусочки щебня. Пытаясь удержаться, он прижимался к склону всем телом. Чувствовал, что при малейшем движении вниз или вверх он неминуемо сорвется со стометрового обрыва. Как медленно текло время, пока он, собирая всю волю, боролся с собой и наконец, решившись, толчком бросился в сторону, покатился, перевернулся и повис, вцепившись скрюченными пальцами в трещины камня.

Одинокая молчаливая борьба в смертной тоске...

Усольцев вытер выступивший на лбу пот и, не прощаясь, ушел...

* * *

Четыре головы склонились над придавленной камешками картой. Палец прораба царапал бумагу сломанным ногтем.

— Сегодня мы дошли наконец до северо-восточной границы планшета. Вот здесь эта долина, Олег Сергеевич. Там опять сброс, впритык стоят древние диориты. Следовательно, конец нашего островка метаморфической толщи¹ — последняя точка.

Прораб начал развязывать мешочки, торопясь до темноты показать образцы.

Усольцев разглядывал изученную до мельчайших подробностей карту. За извивами горизонталей, стрелками, за цветными пятнами пород и тектоническими линиями перед геологом вставала история окружающей местности. Совсем недавно — что такое миллион лет по геологическим масштабам! — низкое, ровное плоскогорье раскололось гигантскими трещинами, вдоль которых большие участки земной коры задвигались, опускаясь и поднимаясь. На севере образовался провал; теперь там, в этой котловине, течет река Или и расстилается широкая степь. К югу от того места, где стоят их палатки, поднимается уступами хребет, как гигантская лестница. На самых высоких уступах работа воды, ветра и солнца разрушила ровные ступени, образовав беспорядочное скопище горных вершин. Верхние пласты на этих горах снесены. Они рассыпались и легли рыхлыми песками и глинами на дно низкой котловины.

¹ Метаморфическая толща — пласты осадочных пород, измененных влиянием давления и температуры в более глубоких слоях земной коры.

Но вот этот первый уступ должен хранить под покровом наносов те породы, которые исчезли на горах: его поверхность не подвергалась размыву. Если бы пробить верхний покров уступа шурфом или шахтой — ведь он не более тридцати метров толщины! Но для того чтобы предпринять такую работу, нужно знать хотя бы приблизительно, что обещает исчезнувшая на горах верхняя толща. Ответ на этот вопрос может дать только Белый Рог: на его неприступной вершине уцелел маленький островок верхних слоев. Грань между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась. А гора словно заколдована: сколько ни искал он в осыпях разрушенной породы у ее подножия, он не смог найти ни одного куска, отвалившегося от Рога... Какая-то вечная, несокрушимая порода слагает белый зубец! Но ведь именно у подножия Ак-Мюнгуса были найдены два огромных кристалла касситерита — оловянного камня...

Нет, тайну Белого Рога надо раскрыть во что бы то ни стало! Только на этой вершине лежит ключ к рудным сокровищам, погребенным внизу. Олово! Как нужно оно нашей стране! Это ясно сознает он, геолог. Значит, геолог и должен сделать то, чего не могут другие — те, кто не понимает всей важности открытия.

Уставшие за день помощники Усольцева быстро заснули. Чистый холодный воздух опускался на теплую землю. Лунный свет струился зеленоватыми каскадами по темным обрывам. Усольцев лежал в стороне от палаток, подставляя ветру горящие щеки, и старался уснуть.

Он снова переживал неудачную попытку восхождения на Белый Рог. Он считал чудом свое спасение от неминуемой гибели и в то же время знал, что еще раз повторит попытку.

«Теперь же, на рассвете! — решил он. — Пока не зашла луна, нужно достать зубила».

Усольцев встал, осторожно пробрался между веревками палаток к ящику со снаряжением и, стараясь не шуметь, принялся рыться в нем.

От дальней палатки слышалось тихое пение. Усольцев прислушался: пела Вера Борисовна.

— «Узнаешь, мой княже, тоску и лишения, великую страду, печаль...» — тихо разносился голос по выбеленной луной степи.

Усольцев захлопнул ящик и вернулся на свое место. «Нет, подожду немного, пока не уедет. Если разобьюсь, еще подумает что-нибудь... Будто я из-за нее полез... Тут еще этот разговор об Эвересте... Хорош Эверест — в триста метров высоты!»

* * *

— Куда мы сегодня поедем, Олег Сергеевич?— спросил Усольцева прораб.

— Никуда — планшет окончен. Даю вам два дня на приведение в порядок съемки и коллекций. Потом поедете в Киргиз-Сай за подводой.

— Значит, переберемся поближе к границе?

— Да, в Такыр-Ачинохо.

— Это хорошо, там места куда лучше: горы повыше и рощицы есть, не то что здешнее пекло. А вы сегодня будете отдыхать?

— Нет, проедусь вдоль главного сброса.

— К Ак-Мюнгuzu?

— Нет, немного дальше.

— Знаете, я забыл вам сказать. Когда я был в Ак-Таме, мне рассказывали, что на Ак-Мюнгуз пробовали взбираться альпинисты. Приезжали какие-то спецы из Алматы...

— Ну и что?— с нетерпением перебил Усольцев.

— Признали Белый Рог абсолютно неприступным.

* * *

Облако пыли поднималось за рыжим иноходцем. Усольцев ехал изучать непобедимого противника. Белый Рог повис над ним всей своей выдвинувшейся в степь громадой, словно чудовищный бык, старающийся подняться из захлестнувших его волн каменного моря. Прямо к подножию горы ветер накатывал клубки сухих колючих растений. Здесь когда-то зияла трещина, здесь терлись друг о друга два передвигавшихся горных массива. Следы этого трения остались на груди утеса, поблескивая полированным камнем. Темно-серые и шоколадные метаморфические сланцы, пересеченные тонкими жилами кварца, были наклонены внутрь горы и образовали мелкослоистую поверхность обрыва — стену из тонких, плотно уложенных плиток. Как ни напрягал свое воображение Усольцев, но ни малейшей надежды подняться

вверх хотя бы на полсотни метров с этой стороны Ак-Мюнгуса не было. Восточный отрог горы представлял собою острое, как нож, ребро, глубоко выщербленное в середине. Нет, единственный путь — с юго-западной стороны, из долины, отделяющей Белый Рог от других вершин, там, где Усольцеву уже удалось подняться почти на сто метров, то есть на треть высоты страшной горы. До вершины оставалось еще двести метров, и каждый из них был неприступен.

Закинув голову, Усольцев смотрел на острие горы.

Если бы иметь специальное снаряжение, крючья, веревки, опытных товарищей... Но где же взять все это? Альпинисты и те отказались от подъема на Белый Рог.

Усольцев повернул коня и поехал вокруг Ак-Мюнгуса к устью сухой долины. «Эверест, Номियो, Макалу, Кангченгюнга — высочайшие пики Гималаев, — думал он. — Что Гималаи? Совсем близко отсюда светящийся голубой Хан-Тенгри, алмазные зубы Сарыджаса. Красивые, грозные снежные вершины. Мир прозрачного воздуха, чистого света. Все это как-то невольно настраивает на подвиг. А здесь — низкие, угрюмые, осыпанные обломками горя, тусклое, лиловое от жары небо, пыль и дрожащее степное марево... Нет, не нужно преувеличивать, и этот ветренный палящий простор тоже прекрасен, и в этих обломках старых, полуразваленных гор есть свое особенное, грустное очарование. Даже на висящих у горизонта бледных, простых по очертаниям облаках тоже печать сухой, грустной Азии, страны обнаженного камня и высокого, чистого неба».

В душном зное долины душу окутала тень пережитого здесь... Вот этот столб пегматитовой жилы, похожей на рваное мясо, пересекающей темную массу сланцев... По выступам этого столба с серебряными зеркальцами слюды он тогда добрался до идущей наискось второй жилы. Но дальше — дальше пути не было. Он попытался ползти по крутому склону, извиваясь, как червяк. Склон оказался покрытым мелкими кусочками щебня, катившимися от малейшего прикосновения, как дробь, и не дававшими ни малейшей опоры. Здесь чуть было и не произошла катастрофа...

Усольцев спешил и поднялся на противоположный склон долины. Нет, ничего не выйдет, не обойдешь вот эту крутизну. Если бы одолеть северо-западное ребро, то оттуда почти до самого Рога ровная поверхность склона. А какими силами удержишься на ребре? Кто спустит веревку с самого пика? Усольцев проследил взглядом за протянутым мыслен-

но канатом и вдруг заметил у основания белого зубца небольшую площадку, вернее, выступ нижних черных пород, примыкающий к отвесной белой стенке. Поверхность площадки понижались к зубцу и почти не была видна снизу.

«Странно, как я раньше не видел этой площадки? Правда, сейчас она не имеет значения: добраться до нее — это значит добраться до зубца».

Усольцев устал стоять и, найдя удобный выступ, уселся, не спуская глаз с горы.

* * *

— Какой прохладный вечер! — Прораб лениво развалился на кошке в ожидании чая.

— Так бывает на середине луны, — пояснил Арслан. — Потом пять дней дует сильный ветер оттуда. — Уйгур махнул рукой в сторону Или. — Бывает совсем холодно.

— Отдохнем от жары перед отъездом. Верно, Олег Сергеевич?

Усольцев молча кивнул.

— Товарищ начальник какой стал: сидит, молчит. Раньше почему был другой? — Уйгур засмеялся мелким смешком, но глаза остались серьезными. — Я понимаю: начальник Ак-Мюнгуз любит. Скоро ехать Ачинохо, как бросать будет? Баба лучше — собой тащить можно. Ак-Мюнгуз нельзя!

Молодежь расхохоталась; невольно улыбнулся и Усольцев. Ободренный успехом шутки, Арслан продолжал:

— У нас старый сказка есть, как один батур влез на Ак-Мюнгуз.

— Что ж ты раньше не говорил, Арслан? Расскажи! — воскликнул с интересом прораб.

— Джахши, чай готовлю, потом буду рассказать, — согласился Арслан.

Старый уйгур поставил на кошму чайник, вытащил пиалы, лепешки, уселся, скрестив ноги, и, прихлебывая чай, начал рассказ.

Несмотря на ломаную русскую речь уйгура, Усольцев слушал с жадным вниманием. Воображение его наделяло легенду яркими, горячими красками. Такой она, вероятно, и была на самом деле у этих поэтических жителей Семиречья.

Усольцева поразило, что, по словам уйгура, все это произошло сравнительно недавно — лет триста назад. Ле-

генда так отвечала его собственным мыслям, что геолог не переставал думать о ней, когда все улеглись спать. Сон не шел. Усольцев лежал под яркими, близкими звездами, вспоминая рассказ Арслана и дополняя его новыми подробностями.

...Всея этой областью владел могучий и храбрый хан. Его кочевой народ обладал многочисленными стадами, постоянно умножавшимися благодаря удачным набегам на соседей. Однажды хан предпринял с большим отрядом далекое путешествие и дошел до Таласа. Недалеко от древних стен Садыр-Кургана хан наткнулся на целую орду свирепых джете¹. Завязался кровопролитный бой. Джете были разбиты и бежали. Хану досталась богатая добыча. Но больше всего радовался хан одной из пленниц, женщине необыкновенной красоты, возлюбленной побежденного предводителя. Она была похищена джете в Ферганской долине, на пути из какой-то далекой страны к своему отцу, служившему при дворе могущественного кокандского повелителя. Ее красота, совсем иная, чем у здешних женщин, околдовывала и зажигала сердца мужчин. Хан привез пленницу к родным горам, и здесь она, по древнему обычаю, стала любимой наложницей его и двух его старших сыновей.

Прошло два года. Снега уже высоко поднялись на склонах гор, когда хан раскинул свой лагерь у края зеленой глади Каркаринской долины. К нему съезжались на пир владыки соседних дружественных племен. Все большее количество юрт вырастало на равнине.

Неожиданно к хану прибыл высокий мрачный воин. Он приехал совершенно один, не на коне, а на огромном белом верблюде с короткой, мягкой, как шелк, шерстью. Странен был и наряд его: лицо обвязано черным платком, на голове — золоченый плоский шлем со стрелой, широкая кольчуга спадала почти до колен, обнаженных и стянутых черными ремнями. Меч, два кинжала, маленький круглый щит и большой топор на длинной рукоятке были его вооружением. Приезжий потребовал, чтобы его провели к хану. Неторопливо сложил он на белую кошму свое оружие, опустил на шею платок, закрывавший лицо, почтительно и смело поклонился владыке.

Его суровое лицо было отмечено следами большого и тяжелого жизненного пути — пути воина и начальника, пути

¹ Джете — в древности так назывались крупные разбойничьи отряды или племена.

храбреца, не способного на низкие поступки. Хан невольно залюбовался чужеземцем.

— Великий хан,— сказал приезжий,— я приехал к тебе из далекой жаркой страны, где страшный пламень солнца жжет мертвые пески на берегах горячего Красного моря. Трудны были мои поиски. Целый год блуждал я по горам и долинам от Коканда до синего Иссык-Куля, пока слухи и рассказы не привели меня к тебе. Скажи, у тебя ли находится девушка, прозванная вами Сейдюрush, взятая у джете Таласа?

Хан утвердительно кивнул, и воин продолжал:

— Эта девушка, хан, моя нареченная невеста, и я поклялся, что никакие силы неба и ада не разлучат меня с нею. Три года воевал я на границах Индии и в страшной пустыне Тар, вернулся и узнал, что родные, не дождавшись меня, послали ее к отцу. Снова пустился я в далекий и опасный путь, сражался, погибал от жажды и голода, прошел множество чужих стран — и вот я здесь, перед тобою. Быстро мчится река времени по камням жизни. Я уже не молод, но все по-прежнему бесконечно сильна моя любовь к ней. Скажи, о хан, разве не заслужил я ее этим трудным путем? Верни мне ее, могущественный повелитель,— я знаю, не может быть иначе: она тоже долго и верно ждала моего возвращения.

Легкая улыбка пробежала по лицу хана. Он сказал:

— Благородный воин, будь моим гостем. Останься на пир, сядь в почетном ряду. И после, вечером, тебя проведут ко мне, и сбудется, что начертал аллах.

Суровый воин принял приглашение. Веселье гостей возрастало. Наконец появились певцы. После любимой песни хана о горном орле зазвучали песни, восхваляющие Сейдюрush, возлюбленную хана и его сыновей. Хан украдкой взглядывал на чужеземца и видел, как все больше мрачнело лицо воина. Когда старый певец — гордость народа — пропел о том, как любит и ласкает Сейдюрush своих повелителей, чужой воин вскочил и крикнул старику:

— Замолчи, старый лжец! Как смеешь ты клеветать на ту, у которой недостойн даже ползать в ногах?

Ропот негодования пронесся по толпе гостей. Старшие вступились за оскорбленного певца. Пылких юношей возмутило презрительное высокомерие воина. Двое джигитов яростно бросились на чужеземца. Сильной, не знающей пощады рукой он отбросил нападавших, и вот на пиру хана засверкали мечи. Воин огромным прыжком метнулся

к своему оружию, схватил щит и длинный топор. Прижавшись спиной к стене, встретил толпу врагов. Они разбились о него, как волны о твердый камень, отхлынули, бросились вновь. Два, три, пять человек упали, обливаясь кровью, а воин был невредим. С быстротою молнии рубил он направо и налево, повергая лучших джигитов. Все более грозным становилось лицо воина, все страшнее удары его топора. Но тут хан властным окриком остановил нападавших.

Нехотя отступила разъяренная толпа, сжимая мечи. Опустил топор и чужеземец и стал перед лицом врагов, неподвижный и страшный, обгаренный кровью.

— Чего хочешь ты, чья дерзкая самонадеянность пролила столько крови?— гневно спросил хан.

— Правды,— ответил воин.

— Правды? Хорошо. Так знай же, я, не сказавший никогда лживого слова, говорю тебе: все, что пели певцы,— истинная правда!

Вздрогнул чужеземец, выронил топор и щит. Старым и измученным стало его лицо.

— Что же, ты по-прежнему просишь отдать ее тебе?— спросил хан.

Воин сверкнул глазами и выпрямился, как распрямляется согнутый арабский клинок.

— Да, хан,— был твердый ответ.

В жестокой усмешке оскалил хан зубы:

— Хорошо, я отдам ее тебе, но ты заплатишь за это дорогой ценой.

— Я готов,— бесстрашно ответил воин.

Хан задумался.

— Теперь год быка¹,— обратился он к гостям.— Помните пророчество, написанное над входом древнего гумбеза, который стоит вблизи Ак-Мюнгуса? «В год быка кто положит свой меч на рог каменного быка, пронесет свой род на тысячи лет». Несколько храбрецов погибли, пытаясь выполнить эту задачу, но Ак-Мюнгус остался недоступным. Вот твоя плата, храбрец,— повернулся хан к неподвижно слушавшему воину,— поднимись на Ак-Мюнгус и положи мой золотой меч на его вершину, исполни древнее пророчество, и тогда — слово мое твердо!— ты получишь женщину.

Радость и страх охватили присутствующих. Приказ хана звучал смертным приговором.

¹ Мусульманский календарь солнечного года имеет двенадцатилетний цикл, каждый год которого называется по имени животного.

Но чужеземец не дрогнул. Его мрачное лицо осветилось гордой улыбкой.

— Я понимаю тебя, хан, и выполняю твою волю. Только знайте, ты, повелитель, и вы, его подданные: каков бы ни был конец — я сделаю это не ради своей любимой, не ради Сейдюрш. Я иду защищать поруганную ею честь своей гордой родины, вернуть в глазах вашего народа славу моей далекой страны. Милость всемогущего бога будет вести меня к высокой и славной цели!

По приказу хана оружейники принесли его знаменитый золотой меч, чтобы сохранился он навеки на вершине Ак-Мюнгуга. Залили салом волка ножны, обвили просмоленной тканью. Множество народа поехало к Ак-Мюнгугу. До него был целый день пути, и только к вечеру хан и его гости слезли с утомленных коней на широком уступе у подножия страшной горы. Хан приказал чужеземцу отдохнуть, и тот безмятежно проспал ночь под стражей воинов.

Наутро выдался хмурый, ветреный день. Словно само небо гневалося на дерзость храбреца. Ветер свистел и стонал, обвевая неприступную кручу Ак-Мюнгуга. Чужеземец разделся и, оставшись почти обнаженным, привязал к спине ханский меч, а сверху накинул свой широкий белый бурнус.

И он сделал то, чего не удавалось ни одному храбрецу за все время, пока стоит Ак-Мюнгуг: он положил меч на вершину Рога и спустился обратно. Шатаясь, стоял он перед ханом, весь изодраный, окровавленный. Хан сдержал слово — к чужеземцу привели Сейдюрш. Она испуганно отшатнулась при виде его. Но воин властно привлек ее к себе, открыл ее прекрасное лицо и впился в него мрачным взглядом. Затем, мгновенно выхватив спрятанный за поясом острый нож, он пронзил сердце своей невесты. С яростным воплем сыновья хана бросились к чужеземцу, но отец гневно остановил их:

— Он заплатил за нее величайшей для человека ценой, и она его. Пусть уедет невредимым. Верните ему оружие и верблюда.

Чужеземец гордо поклонился хану, и вскоре его белый верблюд скрылся за далеким отрогом Кетменя...

* * *

Иноходец раскачивался под Усольцевым, копыта скользили по камням. Облака быстро бежали по небу, гонимые могучим напором ветра. Закрытые от солнца, горы выглядели суровыми и хмурыми.

Усольцев спешился и нежно погладил иноходца, поцеловал его в мягкую верхнюю губу. Затем оттолкнул голову лошади, хлопнул по крупу. Рыжий конь отошел в сторону и, изогнув шею, смотрел на хозяина.

— Иди пасись,— строго сказал ему Усольцев, чувствуя, как горло сдавливает волнение.

Геолог снял лишнюю одежду, привязал к руке молоток. Он был нужен для забивания зубил на твердом обрыве Белого Рога и потом — если удастся...

Усольцев сбросил ботинки. Острые камни скоро изрежут ему ноги, но он знал: если он влезет, то только босиком. Геолог повесил на грудь мешок с зубилами и двинулся к красному столбу пегматитовой жилы.

Окружающий мир и время перестали существовать. Все физические и духовные силы Усольцева слились в том губительном для слабых последнем усилии, достигнуть которого не часто дано человеку. Прошло несколько часов. Усольцев, сотрясаемый дрожью напряжения, остановился, прижавшись к отвесной каменной груди утеса. Он находился уже много выше места, откуда повернул направо при первой попытке. От главной жилы отходила тоненькая ветвь мелкозернистого пегматита, пересекавшая склон наискось, поднимаясь вверх и налево. Ее твердый верхний край едва заметно выступал из сланцев, образуя карниз сантиметра в два-три шириной. По этой жилке можно было бы приблизиться к срезу западной грани горы там, где она переламывалась и переходила в обращенный к степи главный северный обрыв Белого Рога. Выше склон становился как будто не столь крут, и была надежда подняться по нему на значительную высоту.

Усольцев предполагал забить в трещинах сланцев выше тонкой жилки несколько зубил и с их помощью удержаться на карнизе.

И вот, прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на ничтожную долю секунды хотя бы одну руку. Положение оказалось безнадежным: чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть на карниз, нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.

Распростертый на скале, геолог с тревогой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубине души поднималось отчаяние. И в тот же миг ярко блеснула мысль: «А как же сказочный воин? Ветер... Да, воин поднялся в такой же бурный день...» Усольцев внезапно шагнул в сторону,

перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и... качнулся назад. С болью, будто разрываясь, напряглись мышцы живота, чтобы задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Схваченное смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев был на карнизе. Здесь, за ребром, ветер был очень силен. Его мягкая мощь поддерживала геолога. Усольцев почувствовал, что он может двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъем ее вверх. Он поднялся еще на пятьдесят метров выше, удивляясь тому, что все еще не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что он может выпрямиться и просто идти по ставшему менее крутым склону. Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощупывал ими кручу и сдвигал в сторону осыпавшуюся вниз разрыхленную корку. Медленно-медленно поднимался он все выше. Ветер ревел и свистел, щебень, скатываясь, шуршал, и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему все новые силы. Наконец Усольцев уперся в гладкую отвесную стену высокого цоколя. На этом цоколе, все еще на большой высоте, стремился в облака острый конец Рога. Усольцев отметил, что белая масса Рога вблизи казалась испещренной крупными черными пятнами. Но это впечатление сейчас же стерлось радостью при мысли о том, что все его двенадцать зубил сохранились неизрасходованными. Стена примерно на высоту десяти метров была настолько плотна и крута, что никакие силы не помогли бы ему преодолеть это препятствие. Опытный глаз геолога легко находил слабые места каменной брони — трещины кливажа¹, места соприкосновения различных слоев. Усольцев забивал сюда зубила поглубже. Он взял с собой только самые тонкие и легкие зубила, а достаточно было одному из них сломаться, и...

Поднявшись по зубилам, геолог был вынужден перейти на южную сторону каменной башни. Головы слоев² образовывали небольшие уступы — возможность дальнейшего подъема. Здесь ветер, бывший до того верным союзником, стал опасным врагом. Только прикрытие скалы спасло Усоль-

¹ К л и в а ж — система трещин разной величины, пронизывающих породу.

² Г о л о в ы с л о е в — края наклонных слоев, срезанных обрывом или какой-либо поверхностью.

цева от падения под ударами ветра. Несколько раз геолог срывался с осыпавшихся выступов и долго висел на руках, обливаясь холодным потом и судорожно нащупывая пальцами ног опору. Все большее число смертоносных метров подъема уходило вниз. Наконец Усольцев в последних отчаянных усилиях, дважды соскальзывая и дважды мысленно прощаясь с жизнью, сумел опять переброситься на западную сторону вершины и, вновь подхваченный ветром, уцепился за края площадки у основания Рога. Не думая о победе, без мыслей, словно оглушенный, он подтянулся на руках и повалился на наклонную внутрь ровную поверхность величиной с небольшой стол. Он долго лежал, изнуренный многими часами смертельной борьбы, слыша только однообразный резкий вой ветра, разрезаемого острым лезвием Рога. Потом в сознание вошли низко летящие над вершиной облака. Усольцев поднялся на колени, повернувшись лицом к загадочной белой породе. Она была теперь перед ним,— упираясь в его плечо, вздымалась еще на несколько метров вверх. Ее можно было ощупать рукой, отбить сколько угодно образцов.

Достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен — измененный высокотемпературными процессами гранит, переполненный оловянным камнем — касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита¹, жирно блестящие топазы, похожие на черных пауков «солнца» турмалинов и главная цель его предприятия — большие, массивные бурые кристаллы касситерита. Этот грейзен обладал особенностью, ранее неизвестной Усольцеву: от самого гранита почти ничего не осталось, его место занял молочно-белый кварц, очень плотный и крепкий.

«Похоже на полностью измененную пластовую интрузию², — подумал Усольцев. — Если это так, то месторождение, скрытое под степью, внизу, может быть огромным».

Геолог взглянул вниз. Гора спадала круто и внезапно; основание ее тонуло в клубящейся пелене поднятой ветром пыли. Усольцев стоял как бы на неимоверно высоком столбе, ощущая беспредельное одиночество. Ему казалось, что между ним и миром там, внизу, оборвалась всякая связь.

¹ Мусковит — белая слюда.

² Пластовая интрузия — вторжение расплавленной лавы между слоями осадочных пород. После остывания сама изверженная порода залегает в виде пласта.

И действительно, между ним и жизнью лежала еще не пройденная смертная грань: спуск был опаснее подъема. И еще он подумал о том, что, если ему суждено будет вернуться в жизнь, он вернется другим — не прежним. Сверхъестественное напряжение, вложенное им в достижение цели, как-то изменило его душу.

С усилием отбросив эти мысли, Усольцев принялся выполнять долг исследователя. Много труда стоило ему обнаружить тонкие, как ниточки, трещины в стекловидной слитности кварца. Вслед за этим под настойчивыми ударами молотка вниз с грохотом полетели крупные куски белой породы. Усольцев внимательно следил за их падением: они подскакивали на гранях горы и, свистя, летели в долину. Геолог отметил места их падения на плане, набросанном в записной книжке, затем аккуратно записал элементы залегания пород вершины, начертил контур предполагаемого месторождения и прибавил несколько слов о направлении поисков.

Он открыл первую страничку и поперек нее крупно и четко написал: «Внимание! Здесь данные об открытом мною месторождении Белого Рога», положил книжку в карман и застегнул пуговицу. На секунду мелькнула картина: как поворачивают его разможенный труп, ищут в карманах документы... Усольцев невольно зажмурился, размотал взятую с собой веревку. Она была коротка, но все же ее должно было хватить на спуск по отвесному основанию Рога до вбитых им зубил.

«Где же закрепить веревку? Вот за этот выступ? Выгоднее бы пониже, на самой площадке...»

В поисках трещины геолог начал разрывать молотком тонкий слой щебня. Ветер был все сильнее, подхваченные им осколки щебня ударяли по лицу и рукам Усольцева. Молоток вдруг звякнул о металл, и этот тихий звук потряс геолога. Усольцев вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья завивались вокруг ножен. Усольцев оцепенел. Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды — встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцева. Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усольцев накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял

драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток...

У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, двигалось облако. В полете огромной белой массы, свободно висевшей в воздухе, было что-то неизъяснимо вольное, смелое. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета. И ветер не обманул человека: с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался все ниже. С бредовой невероятной легкостью Усольцев достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась отчаянная борьба. Усольцев скользил по склону, раздирая тело, кроша ногти, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, осталось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользящие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрывающей от горы, беспощадно тянущей вниз силой. Никогда позже Усольцев не мог вспомнить конец своего спуска с Белого Рога. В памяти сохранился только самый последний момент. Больше не осталось ни сил, ни воли. Усольцев коснулся ногами острого выступа камня, качнулся назад, отпустил изодранные руки и полетел вниз...

* * *

...Он открыл глаза и увидел над собой золотое утреннее небо. В небе, совсем низко, так, что виднелись растопыренные перья крыльев, кружил большой гриф.

Усольцев долго смотрел на птицу, прежде чем сообразил, что гриф спустился на этот раз прямо к нему. Нет! Он не только не погиб — он победил Белый Рог, и гриф не властен над ним.

Усольцев попытался сесть. Что-то мешало ему. Геолог нащупал привязанный за спиной меч, освободился от него и сел. И сразу ему вспомнились переживания вчерашнего дня. У него закружилась голова. С ужасом увидел Усольцев свои обезображенные, почерневшие от крови ноги и руки, изодранную и перепачканную кровью одежду. Сделав не-

сколько движений, он убедился, что кости целы. Тогда, не обращая внимания на рвущую боль в ступнях, геолог встал. Он услышал приветливое ржание своего коня и снова погрузился во мрак.

...Холодная вода лилась на лоб, попадала в рот. Усолецев глотал без конца, утоляя ненасытную жажду. Открыв глаза, он снова увидел над собой голубой небосвод, на этот раз уже дышавший дневным жаром, и испуганное лицо старого уйгура. Геолог поднялся на колени. Уйгур отступил от него с почтительным страхом.

— Чего ты боишься, Арслан? Я живой.

— Где ты был, начальник?— спросил Арслан.

— Там!— Усолецев поднял руку к небу. Над долиной торчал черный с теневой стороны выступ Ак-Мюнгуза.— Вот, смотри!— Он протянул уйгуру меч с золотой рукояткой.

Половина ножен отвалилась при спуске, из-под растрескавшейся бурой корки блестела драгоценная голубая сталь — сталь легендарных персидских оружейников, секрет изготовления которой ныне утрачен.

Старик опустил на колени, не притрагиваясь к мечу.

— Что же ты? Бери, смотри,— повторил геолог.

— Нет,— затряс головой уйгур,— никакой человек не смеет брать такой шемшир, только батуры, как ты...

* * *

Два больших шарообразных карагача, веером расходясь из одного корня, стояли на краю поселка. За ними поднимался затянутый голубой дымкой вал Кетменского хребта. Иноходец Усолецева миновал последний, поросший полынью холм. Узенькая степная тропа влилась в мягкую пыль наезженной дороги. Дорога поворачивала налево и у края зеленых садов соединялась с другой, направлявшейся на юг мимо промоин и обрывов красных глин. Над ней вздымалось облачко желтой пыли — крытая циновкой подвода катилась из Подгорного. Кто-то ехавший по краю дороги верхом вдруг повернул коня и понесся обратно, наперерез Усолецеву. Геолог натянул поводья. К нему подъехала Вера Борисовна.

— Я вас узнала издалека.— Она внимательно присматривалась к нему.— Куда вы едете?

— Я еду в управление. Нужно немедленно организовать тяжелую разведку Белого Рога.

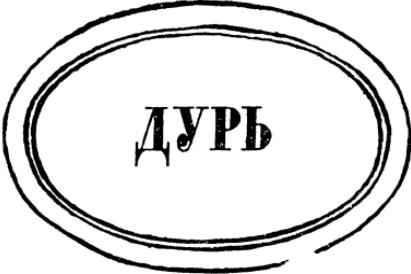
Усолецев впервые смотрел на нее спокойно и смело.

— Я поняла, что совсем не знаю вас...— негромко сказала Вера Борисовна, сдерживая пляшущую лошадь.— Я видела вашего Арслана...— Она помолчала.— Когда встретимся осенью в управлении, я буду очень просить вас подробно рассказать о Белом Роге... и золотом мече... Ну, мои уже далеко.— Она поглядела вслед подводе.— До свидания... батур!

Молодая женщина пришпорила коня и умчалась. Геолог проводил ее взглядом, тронул иноходца и въехал в поселок.



П. Нилин



ДУРЬ



говорят, да я и сам где-то читал, что в человеке чуть ли не каждые семь лет вся кровь меняется. Но интересно: как, при каких обстоятельствах? И надо ли человеку самому принимать какие-то меры, чтобы вроде того что обновиться? Вот, например, я могу рассказать, как со мной получилось.

1

Жениться мне, откровенно говоря, сперва вовсе не хотелось. Женатый, я считал, ведь все равно что связанный. Но на женитьбу меня подталкивала в первую очередь моя мамаша.

— Смотри, избегаешься, Николай,— все время вроде того что предупреждала она меня.— Тем более,— говорила,— ты шофер и женщины поэтому непрерывно тобой интересуются: подвези да прокати и так далее. Избалуетесь ты, боюсь. И если женишься потом, жену уже не сможешь как следует уважать, поскольку тебе и сейчас такой повсеместный почет от баб...

Словом, мамаша стремилась, как обыкновенно, поставить меня на правильную точку. И пилила таким способом, наверно, минимум с полгода. А я еще совсем молодой был лопушок.

Наконец я решил жениться. И не на ком-нибудь, а — на Танюшке Фешевой. Она и тогда работала в кафе на пристани. У нее были, вы представить себе не можете, какие богатые, ну совершенно русые волосы, вот так, по

последней моде, раскиданные по плечам. Одним словом, я раньше даже не мечтал на ней жениться — до того она вроде казалась неприступная, что ли. А вот случилось...

Поженились мы, прожили почти что годик, и она, пожалуйста,— родила девочку. Не плохо? Вот именно.

Протекло еще года полтора. Тут вызывают меня в военкомат. И знакомый военком прямо говорит, вроде того что собирайся, Касаткин, поскольку данная тебе отсрочка по случаю твоих травм на лыжных соревнованиях кончилась. И Родина вроде того что желает увидеть тебя, как положено, на посту. Пора, мол, Касаткин, послужить Родине.

Пора так пора. И разговора никакого быть не может. Не я первый, в таком деле, и не я последний.

Посадили меня в эшелон, как водится, с такими же, как я, новобранцами и повезли аж до самой реки Амур.

Конечно, сперва я тосковал, как тоскует, может быть, всякий, тем более женатый человек. Вспоминал, как провожали меня родственники, в том числе и в первую очередь Танюшка и моя мамаша. Но в конце концов на людях я постепенно развеялся и вроде того что втянулся в эту для меня-то новую, а вообще-то обыкновенную солдатскую жизнь.

Служба, просто скажу, почти что понравилась мне, потому что я с детства любил аккуратность и чтобы все было как следует. В питании я не очень привередливый. Ну, словом, я вскоре же ко всему привык.

Не хочу, однако, ничего сверх нормы преувеличивать. Мне было, конечно, много легче, чем другим солдатам, поскольку я состоял как шофер при начпродхозе и возил его повсюду на четырехместном «бобике».

По тревоге, по ночам — опять же прибавлять ничего не хочу — мне вскакивать не приходилось, как другим. Ведь в солдатах по-разному бывает. Сегодня вечером, например, играли в своем клубе, пели, танцевали или показывали спектакль. Спать легли веселые и чуток попозже. Уснули как убитые. Вдруг среди ночи: «Тревога!»

Учебная она или условная, а бежать солдатам надо по команде в любую погоду — в дождь ли, в ветер ли, в метель ли. И хоть камни-кирпичи с неба будут падать, а бежать все равно надо, куда укажут.

Мне этого, конечно, не приходилось. Мне жилось много более спокойно — по сравнению с другими. И дорого было то, что я все время был в разъездах и мог оглядеть —

ну, правда, не во всей красоте, но хотя бы частично этот необъятный Дальний Восток. Это действительно, я должен сказать, красотища!

И вот я стал мечтать, что, когда окончится моя военная служба, я тут же обязательно переведусь на Дальний Восток на гражданскую работу. И, понятно, перевезу с собой жену Танюшку и дочь Эльвиру.

Вот такая у меня была мечта. Мечта-идея. Пусть, думал я, приедут поглядят и мои родные, какой он есть в натуре этот Великий, или Тихий, океан, какие тут реки и леса!

Реки на Дальнем Востоке, просто, к слову сказать, удивительные, хотя не все их тут хвалят. Одним словом, не все ими довольны. Особенно кто занимается сельским хозяйством. Ведь везде, заметьте, реки разливаются обязательно весной, когда сходят льды и снега. А здесь, на Дальнем Востоке, они другой раз дают разлив аж к осени. И могут такое натворить-наделать, что весь труд человеческий, то есть крестьянский — урожай и все прочее — подвергнется смыву. Надо же! Но уже имеются в настоящее время проекты, нам объяснили, как укрощать эти реки.

И, конечно, не это меня лично заботило, когда я мечтал переехать туда с моей семьей. Я и мамашу свою хотел пригласить с нами, поскольку она так же, как я, обожает ходить по грибы. А грибов там и ягод на Дальнем Востоке, одним словом, грубо сказать — пруд пруди. И кто, как вот я, любитель рыбной ловли или охоты, тому там немыслимое раздолье и благодать.

И, откровенно говоря, я приглядел уже совхоз, где мог бы устроиться после моей военной службы и даже сколотить в лесу свой собственный домик, как давно мечтала моя мамаша.

Но вдруг именно от нее, от мамы моей, приходит письмо. Не ею, конечно, персонально написанное, но, по всей видимости, соседским мальчиком учеником Витей под нее, понятно, диктовку. Так, мол, и так, дорогой сынок, живем бесполезно, смотрим телевизор, слушаем радио, все здоровы, слава богу, на своих местах и в тепле, но Танюшка, имей в виду, Николай, вроде того что тихонько погуливает и как бы она тебе без твоего спроса и ведома вторую малютку не преподнесла, как сурприз, к твоему возвращению. И, главное, некрасиво, диктует мамаша, что дочь твоя, крошка Эльвира, которая уже во всем разбирается, присутствует тут же при своей матери и может

свободно наблюдать совсем не тот пример, какой ей, девочке, будет впоследствии нужен. И ведь все это можно было предвидеть — вроде того что злорадствует и упрекает мамаша. Ведь, мол, говорено было тебе в свое время, что из кафе или из столовой невесту надо брать с особой осторожностью и вниманием. Одним словом, мол, где пьют, там и льют. А позор вроде того что может распространиться на все наше ни в чем никогда не замеченное семейство.

Ну, думаю про Танюшку, приеду, убью ее, тихую дурочку, поскольку, как видно из письма, она, выходит, не мать своему ребенку и не жена своему мужу. Убью, и все. Другого вроде того что выхода не вижу. Не миновать мне, одним словом, думаю, тюрьмы.

И тут старшина вручает мне новое письмо — уже от нее от самой, от Танюшки. Пишет она в том смысле, что, мол, скучаю по тебе невероятно, вижу тебя сквозь все ночи во сне и жду не дождусь, когда же ты обнимешь меня, мой дорогой Коленька. Ведь и пожили-то мы, пишет, с тобой всего ничего из всей нашей молодой жизни. А сейчас я вся извелась, тоскуя по тебе. До каких же, отпиши мне, пор может продолжаться твоя военная служба? Или, может, ты уже нашел себе кого?

На такие слова я, понятно, не мог ответить грубо. Написал ей, что служба, мол, не мной придумана и не я один ее несу. Придется, мол, тебе, моя дорогая супруга, потерпеть сколько надо, а там, мол, видно будет. Никого, ни в коем случае, я не подыскивал тут, как ты намекаешь в своем письме, и не собираюсь в данный момент делать подобных глупостей. Береги, пишу, себя и нашу дочь, воспитывай ее в духе, прививай ей и так далее, как положено в настоящее время.

А сам при этом думаю: ах, погорячилась моя мамаша, дала до такой степени ошибочную информацию. И ведь могла, думаю, по своей женской неосторожности и, грубо говоря, торопыгости, вроде того что разрушить нашу семейную жизнь. И еще думаю: ну, хорошо, ну, даже если бы Танюшка и позволила бы себе что-нибудь такое, все равно горячиться родственникам ни к чему, поскольку одинокая женщина, уже привыкшая к семейной жизни, не может не тосковать. И надо войти в ее положение, а не стучать направо и налево. И не просить малолетнего мальчика-ученика писать в армию огорчительные и тем более непроверенные письма. Пустяки, думаю, все обойдется. Ничего страшного.

Но тут я получаю сразу два письма — от брата Костика и от сестры Манюни. Манюня особенно авторитетно пишет — поскольку она на профсоюзной работе,— что, мол, твоя семейная жизнь, имей в виду, Николай, находится под угрозой срыва, что Танюшка вроде того что в открытую приводит домой с пристани подвыпивших мужчин и что, не дай бог, если об этом узнает мама. А что мама уже все целиком и полностью сообщила мне, ни Манюня, ни Костик не знали.

Ну, ладно, думаю, придется, видно, поступить с этой женщиной, то есть с Танюшкой, по всей строгости, вроде того что вплоть до расторжения брака. Жалко, конечно, Эльвиру-дочку оставить без отца, но другого выхода я уже действительно не вижу.

И тут я прошу моего подполковника-начпродхоза:

— Нельзя ли мне взять отпуск хотя бы на несколько дней?

— А что такое?— очень недовольно пошевелил он усами.

— Так и так,— говорю,— товарищ подполковник, хотел даже с вами посоветоваться, поскольку знаю, как вы хорошо подкованный по всем вопросам.

И объясняю ему все начистоту. Он послушал-послушал меня, потом опять пошевелил усами, как он всегда делал, когда его что-нибудь сердило или затрудняло, и говорит:

— Дело это, товарищ Касаткин, чисто бытовое и его вот этак с ходу нам с тобой не выяснить и не решить. Ездить в отпуск тебе сейчас, я считаю, не надо, поскольку ты здесь нужен до крайности. И скоро к тому же кончается назначенный тебе законом срок службы. А что касается твоей супруги, то могу сказать, что подобные факты, конечно, к сожалению, еще встречаются и имеют место. Девочку-то как зовут? Эльвира? Хорошо зовут. А жену? Татьяна? Тоже ведь не плохо. Не советую,— говорит,— я тебе, товарищ Касаткин, разводиться. Неэтично это — разрушать семью. Не наш,— говорит,— не советский это стиль...

И представьте себе, подполковник этот оказался в конце концов вроде того что прав. Хотя тогда я даже рассердился на него. Про себя, конечно, рассердился, не очень заметно.

От Танюшки я вскоре опять получил почти что печальное письмо. Сил моих женских нет, писала она, жить без тебя. И не могу я понять в данное время, как считаться мне все-таки: замужней женщиной или просто, как все, свободной гражданкой? Даже Эльвира спрашивает:

— Да где же наш папа?

И опять растаял я от этого письма, опять закипела во мне любовь, а не злоба.

И в этот момент в нашем Доме офицеров приезжий лектор читал всех заинтересовавшую, ну, я не знаю как, лекцию «О любви и дружбе и семейной жизни». Исключительно для офицеров. Правда, потом обещано было повторить для солдат.

Был очень сильный мороз. Поэтому лекцию я лично слушал с пятого на десятое, с большими перерывами, потому что все время приходилось выбегать к подъезду — прогревать мотор нашего «бобика». Чтобы не прихватило морозом радиатор. Хотя он и с антифризом, но все-таки надо думать. И кроме того, эту лекцию я слушал из самых задних рядов, поскольку находился в Доме офицеров вроде того что неофициально, только как шофер начпродхоза.

Зато после лекции, когда приезжая поэтесса Шепетухина или Щеголихина читала свои собственные стихи тоже на тему о любви и дружбе, мне выпала, я считал, большая удача: замполит приказал отвезти лектора почти что за десять километров на взморье — в дом отдыха.

Седенький был лектор, на взгляд — еле живой. Хотя из самой Москвы. Все время задремывал, даже всхрапывал, пока я его вез. Но все-таки я решил посоветоваться с ним по моему вопросу. И он, похоже, слушал меня, даже переспрашивал:

— А Эльвире сколько лет? А Татьяне?

Будто-то в годах дело. Потом сказал, когда я уже довез его:

— Почитай, дружок, запиши, писателя Достоевского. Он хорошо входил во все такие тонкости психологии человеческой души. И, в частности, женской души. Или можно даже Льва Толстого почитать, тоже неплохо освещал семейную жизнь.

Достоевского книг я достать не смог, хотя спрашивал в двух библиотеках. Книги писателя на похожую фамилию имеются, даже сколько угодно. А книги самого Достоевского, к сожалению, на руках. Многие, наверно, как и я, хотят разобраться в своей семейной жизни.

— Да зачем тебе Достоевский? — даже обиделась одна молоденькая библиотекарьша. — Это все, — говорит, — уже отошло или вроде того что отходит. Ты, — говорит, — возьми, что-нибудь из современной жизни. Про лосей вон хорошо пишет один писатель, правда, переводной. Или вот про

жизнь в Африке возьми, если тебя шпионы, ты говоришь, не интересуют.

Но меня уже ничего не интересовало, кроме моих домашних дел.

Домой я ехал, когда окончился срок моей службы, как волк в клетке: все ходил по вагону взад-вперед, вроде того чтобы ускорить движение поезда.

2

Приехал я, возвратился в родной свой город. И, конечно, первым делом на автобусе — к себе на квартиру. А Танюшки, оказывается, дома нет. И Эльвира — в детском саду. Я — на пристань, в кафе. И вот, верите — нет, я порог переступить не успел, женщина невозможной красоты кидается мне навстречу и чуть не сбивает меня с ног. Целует и плачет:

— Коленька, цветик-шестицветик мой.

Я гляжу и не узнаю. Волосы свои богатые, с таким золотым отливом Танюшка уже не раскидывала теперь по плечам, — все-таки не девушка уже, а заматывала вокруг головы. По уже самой последней моде. И от этого будто выше становилась, еще осанистее.

Посетители тут в кафе, больше матросы-речники, хорошо поглядывали на нас и улыбались.

А мне отчего-то неловко становилось. И даже вроде того что слегка знобило меня.

Боже мой, да я бы, кажется, все отдал теперь, чтобы еще хоть раз вот так растерянно постоять возле нее. И чтобы вот так же светились ее большие глаза и пахло парным молоком и березовым соком и еще чем-то милым от ее ушей и губ и волос.

— Ну, пойдем, пойдем, — говорила она, почти что задыхаясь. И вела меня по какому-то коридору, где пахло щами, как травами. И всем встречным объясняла с улыбкой:

— Это вот мой муж — Коля. Познакомьтесь. Только что с военной службы, из армии прибыл, возвратился. О, смотрите, у него и медаль какая-то? С ленточкой...

А какая уж там медаль, смешно сказать. Не медаль, а значок. Но она и его осторожно вот так погладила, отчего, казалось мне, и латунный значок должен был просиять.

— За Эльвирой давай сразу поедem, — предложил я отчего-то слегка сконфуженный, когда заведующая с этакой улыбкой отпустила Танюшку домой до завтра.

— Нет,— сказала Танюшка,— сперва ты будешь мой, а потом уж, может быть, я передам тебя Эльвире и всей родне твоей прекрасной...

Дома она мигом разобрала все, как на ночь.

А часа три спустя после нашей встречи, я гляжу, она уже успела не только накрыть на стол, но и полностью приготовиться к приему гостей.

— Как же, как же,— говорила она,— у нас такой большой семейный праздник. Возвращение главы семейства. Сейчас всю родню нашу соберем. И всех знакомых. А за Эльвирой я потом тут мальчика одного пошлю, Витю. Он ее мигом доставит. А ты, Коленька, надень вот эти брюки. И башмаки. И вот этот свитерок. Все это я тебе купила в комиссионке по памяти на твой размер. Думаю, придется...

И действительно — все пришлось, будто я сам примерял в магазинах.

Вышел я уже под вечер в таком виде нарядном к моей родне. Пригласил всех к столу. И внимательно глядел на каждого — и на мать, и на брата, и на сестру,— словом, на всех, кто уселся за стол — поздравить меня со встречей. Ну, думаю, как говорится, друзья, у кого теперь повернется язык что-нибудь такое сбrehнуть про мою супругу или нанести на нее какую-нибудь, тем более нежелательную, мораль.

Из посторонних Танюшка пригласила на тот ужин двух своих подруг — официанток из кафе. Ирину и Фриду, шеф-повара Ивана Игнатъича и еще одного старичка-бухгалтера Костюкова Аркадия Емельяновича с пристани, который, как она объяснила мне, учит ее особо играть на гитаре в струнном кружке при клубе водников. И что вроде того что неудобно было бы его не пригласить. И правда, он явился с гитарой, каких я еще не видывал,— большой, блестящей, будто обшитой пуговицами, а сам — весь какой-то коричневый, с крашеными, как у женщины, волосами и слегка плешивый. Заметно при этом, что и плешь он закрасшивает чем-то, чтобы она не бликовала.

— Я,— сказал он,— сыграю вам сюиту...

Мне эта сюита, откровенно говоря, была ни к чему, но поскольку Танюшке она, может быть, была интересна, я, конечно, не мог возражать. Хотя старичок этот мне сразу не понравился.

Потом пришла сестричка моя Манюня. И с ней был вроде ее жених, некий Журченко Юрий Ермолаич, невысокого роста, очень полный, даже рыхлый блондин, с вы-

пуклой такой спиной. Он тоже мне не сильно понравился: у всякого человека, в первую очередь, грудь должна быть выпуклая, а у него спина. Но Манюня, наверно заметив мой взгляд, намекнула шепотом, что он — большой человек, что он какой-то почти что главный руководитель в каком-то управлении. И что имей в виду, — шептала мне Манюня в ухо, — он куда хочешь тебя устроит.

А у меня и заботы не было особо хорошо устраиваться. В тот момент я мечтал только об одном: поработать где-нибудь хоть с годик, наколотить деньжаток и уехать с семейством на Дальний Восток. Вот только это я держал в голове.

— Ой, мне, наверно, ничего этого нельзя. У меня — сердце и печень, — говорил Журченко, разглядывая закуски. — Словом, это как в том анекдоте, — смеялся он. — Купил один гражданин по случаю живого тигра, а клетки для этого дела в магазине не было. Ну, как быть?.. Ой, да это, кажется, у вас осетрина? — вдруг закричал Журченко. И сию минуту присел к столу.

— Вот и ошиблись, — засмеялась Таня.

— Я сам, на что уж называюсь шеф-повар, тоже ошибся, — засмеялся и Иван Игнатьич. — Я тоже принял треску за осетрину. Молодец ты, Татьяна, — поглядел он на нее и на меня. — Мировая тебе супруга попалась, Николай. Цени это. И помни...

— Я ценю, — сказал я. Но про себя подумал: «А ваше-то какое дело — вмешиваться в мою семейную жизнь и даже, вроде того что объяснять, чего мне надо ценить. Будто я все еще маленький и сам не разберусь».

Но все наши гости, как сговорились заранее, каждый по-своему выхваляли Танюшку, будто старались внушить мне в тот вечер, какая у меня хорошая жена. Или мне так казалось, что они стараются. И от этого мне было не очень приятно.

Потом шеф-повар Иван Игнатьич потрогал Журченко за плечо и спросил:

— Ну, а как дальше-то было с тем тигром?

— С каким это тигром? — удивился Журченко, занятый треской, которую принял за осетрину.

— Ну вы же сейчас рассказывали.

— Ах, с этим? Из анекдота? Сию минуту доскажу, — пообещал с набитым ртом Журченко.

Но так и не досказал. Привели из детского сада Эльвиру.

И Эльвире Танюшка, ведь подумайте, заранее все сообразила, большого ватного зайца преподнесла, говоря:

— Это тебе от твоего папы. Вот он сидит. Поскорее подойди, поцелуй его.

Эльвира, конечно, поцеловала меня и охотно пошла ко мне на колени.

А потом вдруг прыгнула с колен,— увидела у кровати мои сапоги и гимнастерку,— и закричала:

— А дядя Шурик где? Это же его сапожки. И ремень. Разве он приехал опять?

Танюшка и мать моя, как в испуге, притихли. У матери, я заметил, будто разом почернело лицо.

— Какой дядя Шурик, Вирочка?— спросил я.

— Какой, какой,— передразнила она.— Будто не знаешь. Какой у нас всегда ночует, когда приезжает...

— Не болтай, девочка,— остановила Эльвиру моя мать. Но Эльвира продолжала еще что-то рассказывать, когда все притихли, когда наступила, как говорится, мертвая тишина. И слышно было только, как Журченко колет яичную скорлупу.

Иван Игнатьич, шеф-повар, может быть, для того, чтобы разрядить эту мертвую тишину, спросил, глядя на меня:

— А правда ли, я слышал недавно по радио, что тигры только лишь и сохранились разве что у нас на Дальнем Востоке?

— Правда,— сказал я, но каким-то уж очень тихим голосом, как по секрету.

А повар еще спросил:

— А для чего они, собственно говоря, нам нужны, тигры? Ихнее мясо ведь, по-моему, нигде не едят...

— Ну неужели непонятно?— вдруг отозвался Журченко, наконец-то оторвавшись от еды.— Это ж из учебников известно, что тигров ценят исключительно из-за шкуры. И погладел на ручные часики.— Ну я пошел. Мне еще на просмотр надо попасть. Про тигров — в следующий раз,— помахал он нам всем своей пухлой ручкой.

И что это завелся у нас тогда этот глупый разговор, про тигров? И на тиграх как-то неловко закончился вечер, хотя сперва намеревались спеть все вместе «Подмосковные вечера». Но так и не спели, разошлись. И Аркадий Емельянович ушел со своей красивой с пуговицами гитарой.

Осталась только моя мать.

А Танюшка молча убирала со стола, относила грязную посуду на кухню.

Мать сметала со стола крошки и смотрела на меня выжидающе, но не прямо, а как-то сбоку. Ну, вот так-то, сынок, тебе решать, ты — хозяин. Но теперь-то, мол, хоть ты понимаешь, что я не плела ерунду в письмах. А ведь дважды, кажется, я тебе писала. И все это, к сожалению, ты теперь не один знаешь. Даже эта крошка Эльвира, ты гляди, уже много чего лишнего сообщает. Ну решай же, решай.

Так смотрела на меня моя мамаша. Такое я, одним словом, читал в ее глазах. И я все сразу решил под ее взглядом. И тут же ей высказал, когда она, как монашка, со скорбным таким видом повязывала под подбородком свой черный платок.

— Что было, мамаша, то было. Того поменять мы уже не можем и не смеем. А жизнь, тем более, дальше идет.

— Ну, смотри, тебе жить, — сказала она. И как сейчас помню, крикнула уже из сеней: — Татьяна, я ушла. Привет тебе.

Мать у нас, конечно, уж очень даже чрезвычайно нервная, одним словом — сердечно-сосудистая. И неграмотная до сих пор, но очень гордая. Всю жизнь она проработала поденщицей у разных людей — стирка, глажка, полы. Но нам, детям своим, все-таки дала кое-какое воспитание. И каждый из нас получил специальность. У чужих столов мы, одним словом, никогда не стояли с открытым ртом.

Этот Журченко Юрий Ермолаич — Манюнин жених или просто вроде того что кавалер — уже на третий день по моему возвращению, как я получил обратно паспорт, предложил мне на выбор пять должностей, в том числе две очень видных — завхозом в театр или администратором во Дворец культуры. Но опять же мамаша прямо замахала руками:

— Не делай, — говорит, — этого, Николай. Не ударяйся в какую-то высь. Есть у тебя дело, которому ты обучен, держись за него. Не старайся быть похожим на ту ворону с сыром.

И я опять устроился шофером же в свой старый автопарк. Хотя Танюшка меня все время упрашивала отдохнуть месяцок и говорила, что даже через ихний нарпит можно получить путевку в дом отдыха недели на две.

— Если ты не возражаешь, я завтра же зайду к Потапову. Он как-нибудь, надеюсь, не откажет.

— Да я дома лучше всего отдохну, — говорил я. — Тем более я и устал не очень.

И действительно, я устроился в автопарке на ночную работу — возил через сутки с молококомбината в магазин молочные продукты. Целые сутки у меня получались полностью свободные. Я много чего мастерил по дому — починил всем обувь, сделал полки на кухне, да мало ли.

И теперь уже была моя забота — через день отводить Эльвиру в детский сад и забирать обратно.

В детском саду были ею очень довольны. Даже считали, — да, наверно, и сейчас считают, — что у нее большой талант к рисованию, к пению и к стихам, которые она прямо с ходу запоминает.

Мне как отцу это было, конечно, очень приятно. Хотя, скажу вам откровенно, с Эльвирой у меня вроде того что не налаживались нормальные отношения. Ну, например, я зайду за ней в детский садик к вечеру, а она:

— Лучше бы мама пришла. Ты же мне сзади все пуговицы переputyваешь...

Уж чего я не делал для нее, а она все этаким зверьком ко мне. А девочка, между прочим, — все считают, — вылитый я. Даже моя мамаша так считает. Даже уши у Эльвиры, заметно, мои, вот тоже слегка оттопыренные. Отчего я избегаю короткой стрижки.

Но больше всего мне было неприятно, что Эльвира нет-нет да и вспомнит какого-то дядю Шурика, как он во дворе на детской площадке ходил на руках.

— А ты так, — спрашивает, — можешь?

Один раз вечером Танюшки не было дома, я привел Эльвиру из садика, налил ей чаю с топленым молоком, как она любит, и тут же, чтобы развеселить ее, показал вроде фокуса, как будто из уха достаю тульский пряник.

— А из этого уха можешь?

— Могу... Я, Вирочка, — говорю, — все могу. Я же, — ты пойми это хорошо, — бывший солдат.

— А дядя Шурик — сержант.

— Ну, ладно, пес с ним, с этим дядей Шуриком. Не надо сердиться, — приказал я себе. И спросил не своим, а каким-то подхалимским голосом: — А кого ты любишь больше, Вирочка, скажи откровенно: меня, своего папу, или этого, как ты выражаешься, дядю Шурика?

— Потапова, — говорит она.

— Какого, — спрашиваю, — Потапова?

— Какого, какого. Потапова не знаешь? Он всегда духи и конфеты приносит. И катает меня на машине...

Я прямо весь закипаю от таких детских слов. Но все-таки упорно сдерживаю себя.

— А ты,— вдруг спрашивает она меня,— жить теперь у нас будешь? Всегда-всегда?

— Ну, конечно, дурочка ты такая,— объясняю я ей без всякой злобы.— Ты пойми, я прошу тебя, и хорошо запомни: я же есть твой родной папочка. Ну, кто же может быть лучше родного отца?

— Дяди лучше,— говорит она, как будто специально добывает во мне огонь.— Дяди все время чего-нибудь хорошее дарят. А ты всего-всего только зайца подарил. Да и то я его давно знаю. Он,— говорит,— давно тут в комоде лежал, завернутый, этот заяц...

Хорошо, что мне надо было в этот день ехать в ночь на работу. Я не знал бы, куда девать себя,— такая на меня не то что злость, а какая-то злая тоска напала. Я, наверно, напился бы в этот день до потери сознания, если б мне не на работу.

Но утром опять все повторяется по-хорошему.

Танюшка, как всегда после моей ночной смены, веселая, какая-то душистая, в пестреньком легком халатике, встречает меня у дверей. Ей же на работу, в кафе чаще всего — с двенадцати. Уже затопила колонку, чтобы я мог помыться. И щебечет, щебечет вокруг меня:

— Яишенку тебе или картошечки пожарю?— и кладет мне руки вот этак на плечи.— Устал, замаялся?— спрашивает.

Ну как тут будешь сердиться? Это же кем надо быть, чтобы сердиться?

Больше того, я вам скажу, мне даже стыдно бывало в такой момент, что я сердился только что. Ну, словом, тот лозунг, что я вколотил себе в башку и первый раз объявил своей матери, я все время не забывал: что было, мол, то было, того поминать мы теперь не можем, а жизнь дальше идет.

С Эльвирой я больше не заводил посторонних разговоров — про Шурика или про какого-то Потапова, старался, чтобы она их поскорее забыла. Приносил ей игрушки, сладости, ну, что ребенку надо. Играл с ней. Даже на руках два раза перед ней прошелся,— невесть какая хитрая штука. Но сердце к Эльвире,— хотя она и вылитая я,— у меня, откровенно скажу, не лежало. Говорил я себе, что это, мол, дочь твоя, что ты обязан и все такое, а сердце все равно не лежало. Но это уж, наверно, особый разговор.

Делал я все для моего семейства, одним словом, нормально. Как все делают. Как все вроде того что должны-обязаны делать. И не упускал в то же время мою давнюю, уже вбитую мне в память, мечту — идею переехать со всем семейством на Дальний Восток. Даже три письма к верным людям, с которыми познакомился там, я отправил еще летом. Мне, например, интересно было узнать у одного знакомого начальника совхозной автобазы, расширилось ли ихнее дело, как намечалось, требуются ли им шоферы и не изменились ли богатые условия, которые он мне сулил, когда я еще был солдатом, — насчет квартиры и потом приобретения, то есть постройки в лесу, своего домика с огородом и с садом.

Словом, я, как говорится, заболел этим Дальним Востоком. И болезнь моя и теперь не проходила. Ну, скажем, не болезнь, а вот именно — мечта. Хотя живем мы тут почти что под Москвой в общем-то совсем не плохо. Жаловаться, одним словом, не на что. И лес тут у нас кое-какой есть, даже очень густой попадается, в котором иной раз и ягоду и грибы, несмотря на большое многолюдство, можно собрать. Но разве сравнишь эти ягоды и грибы или, скажем, рыбу с тем, что в любое время можно встретить на Дальнем Востоке? Даже в солдатском моем положении я мог добывать там все, что хотелось мне в смысле живности, или, как говорится, растительного мира — в виде, например, грибов. А надо сказать — зверь, рыба, грибы и всякое такое — для моего характера — это, можно сказать, все.

Но главное, что мне хотелось теперь, чтобы на новом месте, на Дальнем Востоке, и Эльвира забыла разных дядей Шуриков и чтобы Танюшка вступила, как это говорится, в самостоятельную, действительно семейную жизнь и чтобы никаких посторонних намерений не было.

И Танюшка вроде того что тоже загорелась, когда я рассказывал ей о реке Амуре и о Тихом океане, где я был почти что мельком.

Танюшка, вообще надо сказать, шла мне во всем на встречу, помогала, то есть, чем могла.

Вдруг приносит теплую такую куртку на ватине и вроде того что с кожаным верхом.

— Надевай, — говорит. — У одной спекулянтки сию мину купила. Если не придется, успею еще вернуть.

Но я надел ее — и как родился в ней.

— Ну, а теперь,— говорит,— пойдём в кино. Только что взяла билеты как раз на час тридцать. «Жестокая любовь», французский фильм...

В кинотеатре перед началом фильма все, как обыкновенно, разглядывали на стенах портреты артистов. А Танюшке казалось, что многие поглядывают и на нас. И больше всего, как она считала, на меня.

— Ну, это, наверно, из-за куртки,— говорю я.— Куртка действительно богатая. Американская.

— Да при чем тут куртка?— говорит Танюшка.— Ты просто я не знаю какой красивый, Коля! И все лучше делаешься. Я когда с тобой иду, всегда радуюсь, что у меня такой муж. Плечи какие! И глаза. У Эльвиры же твои глаза.

— Ну, ладно, давай без культа,— уже немножко сержусь я.

— Да при чем тут культ?— тоже немножко как бы обижается она на мои слова.

И мы входим в зрительный зал какие-то по-новому очень близкие друг другу.

А картина была на редкость печальная. И из семейной жизни. Про то, как муж бросил свою жену.

Танюшка так плакала, что лицо у нее после сеанса сделалось даже черным, поскольку потекла тушь, которой она, как все женщины, слегка подводит глаза.

— Мне,— говорит,— жалко было эту Мадлену, как она умирала. И ведь она, как можно было понять, даже моложе меня. А ты сидел, я даже удивляюсь, как каменный. Неужели,— спрашивает,— тебе было не жалко ее?

— Жалко,— говорю,— но не очень, поскольку она сама была виновата. Живешь — живи. И думай, что делаешь. А она, как женщина, начала вертеться. Это,— говорю,— хуже всего.

— Но нельзя же, Коля, так рассуждать,— не соглашалась со мной Танюшка.— Я сейчас смотрела кино, а думала все время о себе. Ведь это всегда так бывает: читаешь или смотришь в театре про кого-то, а думаешь про свою жизнь. И волнуешься от этого еще больше. Я, например, всегда волнуюсь...

Это она говорила, когда мы после киносеанса уже обедали дома.

И если б я знал тогда, что это наш последний с ней обед.

Потом она, как обыкновенно, собирала меня в ночную

смену. Укладывала в кожаную сумку бутерброды и нали-вала в термос зеленый чай, как я люблю.

И уж когда я уходил, уже в дверях остановила меня, говоря:

— А я тебе забыла рассказать, какой вчера кошмарный сон я видела: как будто я тебя вот так же, как сейчас, провожаю, но уже на аэродроме. Как будто ты уже садишься в самолет, а я плачу. А ты мне говоришь: «Ведь улетаю совсем ненадолго. Всего на годик». И показываешь вот так палец: всего, мол, на один год. А я реву и не могу остановиться. Прямо вся изревелась. Я всегда за тебя волнуюсь...

— А чего волноваться-то, — смеялся я. — Я ж не летчик, не космонавт.

— Ну все-таки, — говорит Таня. — Для меня ты — космонавт. И я прошу тебя: надень новую куртку...

— Что ты, — говорю, — на работе трепать такую вещь.

— Ну, надень, — говорит, — прошу. Эта вещь, — говорит, — все-таки не дороже нас. А на улице вон какая сырость...

Явился в парк в этой новой куртке. И тут же объявили мне, что посылают меня на двое суток в Москву. Пришлось готовить машину в дальнюю поездку. То да се. Прокрутился я так в автобазе почти что до двух часов ночи и тут только трекнул, что книжка-то моя с шоферскими правами осталась в старом пиджаке, да и надо было Танюшку предупредить, что я не вернусь утром.

В третьем часу ночи, таким образом, заезжаю я к себе домой — и что же я застаю? Я застаю свою жену — вы не поверите и ни за что не угадаете с кем. С этим самым Костюковым, Аркадием Емельяновичем, с этим вроде того что пожилым, крашеным дьяволом, шестидесяти, можно сказать, лет. Картина? Вот именно. И этот уже совершенно старый черт, приводя себя, как говорится, в порядок, этак усмехаясь от своего же конфуза и снимая со стены гитару, на которой опять, должно быть, играл тут свою сюиту, говорит мне:

— Извините, — говорит, — если можете, Николай Степанович, но я, — говорит, — не мог не уступить дамскому капризу. Такая, — говорит, — получилась у нас эмоция...

И тут же за занавеской, представьте себе, — кровать Эльвиры.

Ну что бы вы в таком случае сделали?

А я снял новую дареную куртку, надел старый пиджак,

проверил, в нем ли мои шоферские права, сказал: «Счастливым всем оставаться», — и ушел, в чем был.

По возвращении из Москвы я, конечно, поселился уже у матери и сразу заявил о разводе.

3

В коридоре народного суда я издали увидел Танюшку и не узнал. Так изменилась она за какие-нибудь несколько недель — исхудала, пожелтела как-то. Но, заметив меня, опять просияла вся и пошла ко мне, этак весело протянув вперед руки. Будто опять хотела положить их мне на плечи и, по привычке своей, до милой духоты сдавить мне горло, говоря:

— Ну, иди, ну, иди, ну, иди ко мне.

Ничего этого она, конечно, теперь не говорила. Только спросила:

— Отчего, Коля, ты-то как будто веселый? Тебе правда весело? Или ты просто гордишься собой?.. Не гордись, Коленька, — тут же как посоветовала она. — И не сердись. Не расстраивай свою нервную систему. Ну что же теперь делать, если так получилось жестоко?.. Много горя я тебе, наверно, причинила? Но все ведь не со зла, наверно. Наверно, не со зла. И хотя я, наверно, кругом виновата перед тобой, но имей в виду, я любила все время только тебя одного. И никого другого, наверно, уж никогда не люблю. Наверно, никогда...

— Для чего ты все время говоришь одно сорочье слово — наверно? — только и спросил я ее. Хотя хотелось мне спросить другое — для чего же она ночью позвала к себе этого крашеного козла Костюкова, что у нее за интерес, кроме его гитары, был в нем? И как надо понимать это слово — эмоция? Но ничего больше я не спросил, потому что боялся, что не смогу сдержаться и рассвирепею так, что начну ее душить тут же, в коридоре, или, напротив, вдруг заплачу навзрыд, как женщина.

И она вдруг смахнула слезу.

— Наверно? — переспросила она. И, смахнув слезу, опять просияла так, как умела делать только она и больше никто на свете. — Тебе удивительно, Коленька, что я говорю — наверно? А я так говорю, оттого что не уверена. Я многое еще не совсем понимаю. Ни вокруг себя, ни в себе. А врать, как другие, даже самой себе не хочу. Уверена я только, что с сегодняшнего дня ты уже не будешь нужен мне. И алименты твои,

не волнуйся, не нужны. Ни мне, ни Эльвире. Эльвиру я уж как-нибудь сама подниму и поставлю на ноги...

— Или кто-нибудь тебе поможет из твоих друзей, — не стерпел я сказать. — Мало ли разных на твое удовольствие дядей Шуриков, Потаповых, Костюковых...

— Не сердись, Коленька. Не расстраивай себя, — опять сказала она. — И Костюкова не затрагивай. Все это ни тебе, ни мне не понять. Он человек необыкновенный...

— Подумаешь, — сказал я. — Гитарист плешивый, да я бы...

Но в это время зазвонил звонок. Это звали всех в судебный зал.

Я зашел туда и первый сел на первую перед судейским столом скамью, поскольку во всем теперь была моя инициатива. Малость погодя и Танюшка присела рядом со мной.

А судьи еще не выходили.

— Вот и разведут нас сейчас с тобой в разные стороны. И, наверно, уж навсегда. — Это сказала она, чуть наклонившись ко мне.

— Так будет лучше всего. — Это сказал я.

— И все-таки не могу я понять, весело сейчас тебе или ты только напускаешь на себя? — опять заговорила она, помолчав. — Мне-то хорошо понятно, что такого мужа, каким был ты еще недавно для меня, я уже не встречу никогда. Но ведь и ты, Коленька, поймей в виду, бабы такой, как я, беспутной, но честной и чистенькой, не сыщешь тоже. Никогда не сыщешь, хоть и станешь тосковать...

— Это ты-то честная и чистенькая? — взглянул я на нее. И весь было затрясся от ярости.

— А ты еще не понимаешь это? — будто удивилась она. — До сих пор не понимаешь? Ну ничего, потом, может, когда-нибудь поймешь. Желаю тебе...

И отошла, как-то особо аккуратно подобрав юбку, пересела на другую скамью.

После суда я еще хотел заговорить с ней, договориться насчет Эльвиры. Но она уже, как глухонемая, смотрела на меня, и глаза ее, большие, светлые, будто потухли.

В тот же день к вечеру я зашел на работу к Манюне, где сидел этот вечный ее жених Журченко. И он с ходу начал хвалить меня, что я развелся.

— Ну вот, мол, и правильно. Надо, мол, когда-то было разрубить этот узел. Я даже, — говорит, — удивлялся и раньше, что ты такой видный мужчина терпел такой позор с та-

кой женщиной. Не такая, — он говорит, — теперь эпоха, чтобы нам, мужчинам, унижаться перед женщинами...

А уж какой он сам мужчина — это и выразить невозможно. Будто кожаный мешок, набитый салом. Слушать его мне было противно. И я даже хотел ему тогда кое-что сказать в том смысле, что это, мол, не ваше дело. Но Манюня остерегала меня глазами: воздержись, мол, Николай. И повела меня немедленно в их служебный буфет на шестом этаже. Ну, конечно, потому она и повела, что боялась, что я обязательно что-то такое брякну ее жениху. Я же не люблю, когда меня учат или наставляют.

В буфете сидела очень приятная, гладко причесанная девушка. Мне даже понравилось, как она по-особенному деликатно пьет чай.

— Это Наташа, познакомьтесь, — сказала мне Манюня. И девушка эта Наташа привстала, чтобы поздороваться со мной.

Не помню теперь, как это получилось, что после буфета примерно через час я снова увидел ее уже на улице. Она шла к автобусу. Я почти что проводил ее до автобуса. Потом Манюня мне сказала:

— Ты понравился Наташе. Она говорит, что ты человек, должно быть, добрый и, видать, еще не нашедший счастья. И что ей было очень интересно, что ты рассказывал о Дальнем Востоке...

Вот на этой Наташе я и женился вскоре.

Все совпало будто очень хорошо. Дом, который строили лет пять, наконец достроили. И этот Журченко, Манюнин жених, все сделал так, что мне совершенно неожиданно дали в этом доме однокомнатную, маленькую, но со всеми, как положено теперь, удобствами квартиру.

Свадьбу я закатил такую, что все просто ахнули. Всю посуду и закуски брали, не поверите, из ресторана «Памир». Четыре новых «Волги»-такси везли нас с гостями сперва на регистрацию, потом на квартиру. Два гармониста и гитарист, может, не хуже того плешивого, — вот как сейчас их вижу, — играли весь ужин, без перерыва, до двух часов ночи.

И, главное, я скажу, всех просто поразила красотой своей невеста моя. Все так и говорили:

— Ну, Колька Касаткин и выхватил себе жену. Молодая. Образованная. Учительница. Куда там Танюшке Фешевой.

И Журченко на свадьбе мне сказал:

— Вот это действительно супруга. Это не какая-нибудь «подай-унеси».

А Танюшка,— уже дней через несколько мне рассказывали,— всю нашу свадьбу — вернее, весь ужин наш с музыкой — простояла напротив нашего дома и как будто ждала кого-то под дождем. И даже плакала — добавляли женщины.

И вот после этого разговора точно что-то случилось со мной, будто испортили меня, как говорилось в старину.

Ведь и свадьбу такую я устраивал как бы из мести, как бы желая всем показать — и в первую очередь бывшей моей жене,— что я не последний какой-нибудь навозный жук, что я в силе и в средствах взять и красавицу-невесту, и отпраздновать свадьбу всем на зависть и на удивление.

И все будто так и должно было быть. Но я вдруг сон потерял и интерес к моим занятиям, к моей, словом, работе. Хотя меня перевели на дневную смену. Но я что днем, что ночью — как сонная муха.

А у меня молодая жена. Моложе прежней, можно сказать, почти что на четыре года.

И так получилось, что и мамаша моя и вся родня просто прикипели к Наташе. Насколько они не ценили и даже осуждали Танюшку, настолько они теперь превозносили Наташу. И хороша собой. И хозяйка замечательная. И о муже печется. И родню уважает. Ну что еще, кажется, надо?

А я — в расстройстве. Даже не знаю, как объяснить. С работы иду и вдруг замечаю, что вроде не туда иду. То есть не на новую свою квартиру, не к новой своей жене, а туда, где раньше жил, с Танюшкой, с Эльвирой, где они и сейчас живут. И может, даже Танюшка кого-нибудь в этот момент принимает, когда я в ее сторону иду. Может, опять там этот старый крашеный дьявол Костюков. А мне вроде того все равно. И в то же время как будто обиднее даже, чем раньше.

Поставили мы себе на новую квартиру телефон. И Наташа завела порядок — звонить мне, если я дома, когда она кончает работу, и спрашивать, не пообедать ли нам вместе, не пойти ли вместе в кино, ну, словом, как это заведено у всех остальных, как вроде того что положено.

Только после я понял, что получаюсь, похоже, как под контролем.

А мне пришла, например, фантазия зайти к Танюшке навестить мою дочь Эльвиру. Значит, что же, надо докладывать об этом Наташе? А я не хотел докладывать. И врать не хотел.

Просто вечером, никому ничего не говоря, вышел из дому и поехал на автобусе на улицу партизана Зотова, где я раньше жил. В это время Эльвира уже должна была быть достав-

лена из детского сада. И Танюшка чаще всего в эти часы была дома.

Приезжаю, нету их. Туда-сюда. Спросить не у кого. Выхожу на улицу, идет наша бывшая соседка. И в отдалении, вижу, появляется сию минуту моя жена Наташа. Меня это как-то нехорошо кольнуло. Но я все-таки поздоровался с соседкой.

— Татьяна? Так она уж давно, с неделю, наверно, в больнице,— говорит соседка.— А Эльвиру вторая бабушка в деревню забрала.

«Где, в какой больнице?»— надо бы мне расспросить о моей бывшей жене.

А Наташа — вот она, уже подошла к нам. И я при ней постеснялся спросить у соседки адрес больницы. И соседка прошла. А я сам себе стал противен за свою робость. Чего ведь особенного? Это же не секрет, что я тут жил и что живет тут моя бывшая жена. И тем более — дочь моя.

— А я хватилась тебя,— говорит Наташа,— и почему-то подумала, что ты, наверно, поехал сюда, на партизана Зотова. А мне тут к фотографу было надо.— И расстегивает сумочку и показывает конверт с фотографиями. Значит, правильно, ей надо было к фотографу. А я уж думал, не шпионит ли она за мной.— Ну что ты,— спрашивает,— был у них?

И так хорошо она это спрашивает, будто они тоже ее родные или знакомые и она просто интересуется их жизнью.

— Нету,— говорю,— их дома. И где они — неизвестно. Бывшая моя жена вроде того что в больнице...

— В больнице?— как бы испугалась Наташа.— В какой? Не знаешь? Что ж ты не узнал у соседей? Пойди спроси...

В больнице вместо Танюшки я увидел почти что старую женщину с серым лицом. И только по табличке на кровати с моей фамилией можно было определить, что это бывшая моя жена — Касаткина — Фешева Татьяна Гавриловна. Волосы у нее были теперь как наклеенные и на висках даже слиплись.

— Что с тобой?— спрашиваю.

— Ты что, разве сам не знаешь, что бывает с женщинами?— говорит она вроде с улыбкой, но глаза уже как потухшие лампочки. Как потухли они тогда в народном суде, так и остались в таком состоянии.— Спасибо,— говорит,— что пришел, но умоляю тебя: не приходи больше. Не могу, не хочу тебя видеть. Ты противен мне. И этот виноград из твоих рук мне противен...

Уж, кажется, лучше не скажешь. Правда? Уж, кажется,

все сказала. Повернуться бы мне и уйти. Тем более женщины с других коек все это слышали и смотрели на меня. «Ведь женщинам до всего есть дело, даже до того, что их вовсе не касается».

А я говорю:

— Танюшка, неужели ты все, положительно все позабыла?

— Нет,— говорит,— я ничего как раз не забыла. Уйди, умоляю тебя. Будь человеком.

— Ну как хочешь,— говорю. И чувствую, как зло закипает во мне, как тогда, когда я увидел ее с Костюковым. Пусть Костюков и ходит к ней сюда в больницу.

Наташа сперва ни о чем не расспрашивала меня. Только дней пять спустя говорит:

— Надо бы тебе, пожалуй, опять пойти к Татьяне. Или уже выписали ее?

— Не знаю,— говорю.— И не интересуюсь.

— Странно,— говорит Наташа.

— Ничего странного,— говорю,— не вижу. Ну чего я буду к ней ходить? У меня же есть жена...

— Странно,— опять говорит Наташа. И вроде того что еще что-то хочет сказать, но, похоже, стесняется, что ли.

4

В этот вечер я впервые сильно напился и сидя уснул, даже смешно подумать, на площадке у застекленной стены этого самого кафе на пристани, где работает Танюшка. Как я уж попал сюда — не могу понять.

Разбудили меня под утро дружинники. То да се. Восемь рублей за купание в казенной ванне в вытрезвителе. Но главное, что я опоздал на смену.

И, кроме того, в автобазу через несколько дней пришло письмо от начальника милиции с укором нашему начальству, что, мол, не ведете должной воспитательной работы среди водительского и прочего состава.

Милицию ведь тоже надо понять. С нее же, как положено, тоже строго спрашивают, что пьяных многовато развелось и что она, милиция, их вроде того что несвоевременно забирает. А что она может сделать? Она же не может каждому влезть в душу. И не в силах разобраться, кто от чего пьет, кто, скажем, от любви, а кто от глупости, кто от особой чувствительности, или, напротив, от недостатка чувств, когда, кроме вина, выходит, нечем занять душу. А с милиции, понятно, спрашивают порядок. Вот она и пишет на предприя-

тия, что, мол, примите меры, усильте, мол, воспитание.

Я и сам еще недавно и неоднократно разбирал такие письма из милиции, когда одно время был проформом. И никогда не думал, что вот такое может случиться и со мной.

Вообще я всегда смеялся над этими алкоголиками, которые скидываются по рублю у продуктовых магазинов. И вот представьте — сам почти что дошел до этого.

Вечером выпью и как будто забудусь, как будто убегу от самого себя. А утром опять еще с большей силой разламывает башку от стыда и тоски. И весь свет не мил.

Больше того вам скажу. В прежнее время я все к чему-то стремился. Хотел чего-то достичь. Например, добивался сдать испытания на шофера первого класса. Хотел, мечтал, как я уже рассказывал, переехать на Дальний Восток. Получил оттуда даже два хороших предложения. А ничего не получилось. Все пошло побоку.

И теперь если услышу, что какой-то мой знакомый или приятель где-то курсы какие-то закончил, получил какую-то премию или новую должность занял, злоба меня охватывает на такого человека, будто он меня обокрал. Будто все передо мной виноваты, и я всех хочу поскорее и построже наказать.

Иногда теперь я сам пугаюсь этой своей злобы, которая точит исподволь мое сердце. Но освободиться от нее, от этой злобы, уже не могу, как не могу уйти, убежать, уехать от себя лично ни на Дальний Восток, ни куда-либо. Не могу никуда спрятаться от самого себя, вот от такого, с тяжелым, свинцового цвета лицом, которое смотрит на меня по утрам из зеркала.

— У тебя нервы расстроены, — сказала Наташа, видя, как я не сплю по всем ночам, как портится у меня характер. И повезла меня в Москву. И не просто в поликлинику, а к частному и, говорят, очень знаменитому врачу-невропатологу, надеясь, что частник уж просмотрит меня со всех сторон и определит окончательно, что делать со мной.

Врач этот оказался женщиной. Угрюмая такая старушка, лет этак хорошо за семьдесят, на длинных, как деревянных, ногах. Она потрогала меня за нос, почертила что-то такое у меня на груди, постучала молоточком по моим коленкам, велела пройтись с закрытыми глазами, потом — поглядеть искоса на ее мизинец.

— Ничего, — говорит, — особенного я у вас не нахожу. На бюллетень рассчитывать, по-моему, вы не можете...

— Да не нужен нам никакой бюллетень, — прямо с болью говорит Наташа. — Нам спокойствие только нужно в нашей семейной жизни. А его нет...

В довершение всего вызывают меня на днях прямо к самому Татаринцеву — после уже трех прогулов.

Поднимаюсь я к нему на шестой этаж. И в лифте вот так нос к носу сталкиваюсь с этим, вроде моим благодетелем, Юрием Ермолаевичем Журченко. И он прямо с ходу начинает мне вроде того что выговаривать в том смысле, что я неправильно живу. И даже указывает на то, что у меня вид памятный. Моя сестра Манюня будто бы плакала, рассказывая ему, до чего я докатился.

— И ведь все из-за бабы,— говорит.— Из-за какой-то, извини меня, официантки. Теряешь даже облик человеческий...

Тут меня немножко взорвало. Думаю, это еще надо поспорить, у кого облик человеческий,— у меня или у вас, Юрий Ермолаевич. И я хотел ему тут же это высказать. Но мы уже поднялись на шестой этаж, и вот он против лифта вход в приемную и в кабинет с табличкой «Г. В. Татаринцев».

Все-таки Журченко берет меня, как ребенка, за руку, отводит в сторону к окну и продолжает выговаривать уже в том смысле, что я своим поведением навожу некоторую тень и на него, поскольку он связан с нашим семейством. И намекает на свои отношения с моей сестрой Марией Степановной, как он ее называет.

— Подумай, Николай,— говорит он,— женщины, поверь мне, не стоят того, чтобы из-за них доходить до такого состояния. Я,— говорит,— даже не представляю себе...

А я смотрю на стенные часы в коридоре: уже без пятнадцати одиннадцать, а я вызван на десять тридцать. А Журченко все говорит, говорит. И можно подумать, что он правильно говорит. Но мне от этого ни жарко ни холодно. И даже усиливается моя тоска.

Наконец, не дослушав его, я ни жив ни мертв захожу в приемную к Татаринцеву. Ну, думаю, вот он сейчас вытряхнет из меня душу. А Татаринцев, когда секретарша пропускает меня к нему, вылезает из-за стола и так просто говорит:

— Садись, Касаткин. Здравствуй. Что это,— говорит,— я теперь только одно плохое про тебя слышу? Ты ведь был, кажется, на хорошем счету у нас. Намечался даже на доску Почета. Что случилось-то? Рассказывай...

Это же золотой человек и весьма любезный Татарин-

цев Григорий Валерьянович. Ну я, конечно, запираюсь не стал. И вот, как вам сейчас, все по порядку изложил ему.

Слушал он меня, не перебивал. Очень, похоже, внимательно слушал. Потом говорит:

— Значит, в армии ты был, а на войне не был? По возрасту, значит, не успел? На снегу, значит, под пулями не лежал? В весеннюю распутицу по грязи не ползал? И бомбежке тоже не подвергался? Нет? Сухари, значит, в снеговых лужах после пожара не размачивал? Нет? Ага, ну ладно. Живешь-то где, — в подвале, в сырости? Ах, нет. В отдельной, значит, квартире? Уборная-то где, на улице? Ах, тоже в квартире?

К чему это, думаю, он гнет? При чем тут уборная? А он все расспрашивает, какая жена, чем занимается, хороша ли собой? Потом говорит:

— Ну, все понятно. Ты дурью мучаешься, Касаткин, с жиру, так сказать, бесишься. Выбрось все это из головы напрочь и займись делом. А то смотри, Касаткин, как бы худо не было. Иди...

Вот так он закруглил нашу беседу. И, может, правильно закруглил. Может, в самом деле все это дурь, что случилось со мной? Ведь и Журченко так думает.

Но непонятно все-таки, почему меня все сильнее, прямо неудержимо тянет на пристань, где с приступок в застекленную стену мне хорошо видно, как Танюшка, уже не очень молодая и теперь отчего-то совсем некрасивая, будто нехотя разносит по столам еду и выпивку?

Я смотрю на нее и жду, долго жду, чтоб она оглянулась на меня. Но она не оглядывается.

А зайти в кафе, даже пьяному, мне не позволяет вроде того что самолюбие.

Однако все равно и все чаще меня тянет сюда.

И даже не сюда, а куда-то назад, в прошлое, в эту мою прошлую вроде того что несчастную и, кто знает, может быть, очень счастливую жизнь.

Моя родня во главе с моей мамашей, конечно, считают, что во всем виновата Танюшка, что это она, как они выражаются, змея подколодная, испортила меня. Но это же неверно. И даже обидно мне: выходит, что же — что я слабее слабого? И может, мне, в таком случае, уже не выбраться из

моего вроде того что безвыходного положения, что я так и завяну на дне бутылки? Но если правда, что в человеке вся кровь меняется, значит, и я обязан на что-то надеяться. И тут же я думаю, что кровь ведь, пожалуй, тоже не сама собой меняется.

И кто знает, может, я еще не поеду на Дальний Восток.



М. Тощин

**МОЙ УЧИТЕЛЬ
ГРИША ПАНИН**

1

В первые же дни на заводе я нажил себе врагов. И вообще с самого начала все было не так, как я думал. Прежде всего сам цех, куда оформили меня учеником: это был не обычный производственный корпус, стеклянный и гулкий, как полагается, а обыкновенное белое школьное здание, приспособленное под цех. Дальше на территории стояли настоящие закопченные корпуса, но мне, когда я спросил инструментальный, указали идти к этой самой школе. И будто я опять, как десять лет подряд, бежал сентябрьским утром к первому уроку.

Я поднялся на каменное крыльцо, тоже точно такое, как школьное, и очутился в тесном коротком коридоре, вроде вестибюльчика. Справа стояла открытой дверь в просторное — там было светло от желтого утреннего солнца — помещение: сразу можно было понять, что это и есть цех.

В нашем школьном вестибюле обычно висели по стенам плакаты, доски с фотографиями отличников, расписанием уроков, и здесь я тоже увидел красную Доску почета с фотографиями, и точно так же подписи были напечатаны на машинке, и буквы уже выцвели. И были еще плакаты, и еще доска, табельная, утыканная гвоздиками, пока пустая, всего с двумя-тремя жетонами. Мне еще нечего было на нее повесить.

Я постоял, ожидая, что кто-нибудь сейчас появится, встретит меня и, может, ответит куда нужно, но было пусто и тихо. Только крепко пахло холодным машинным запахом цеха.

Я еще раз огляделся и вошел в ту открытую дверь справа.

В цехе тоже было тихо, пусто и очень светло, окна шли в два ряда, одно над другим — видно, здесь просто сняли перекрытие между первым и вторым этажами, чтобы вышло высокое помещение.

Вокруг тесно, так и сяк, будто налезая друг на друга, мертво стояли станки, тянулись вдоль стены верстаки слесарей с круглыми, как для пианино, только замасленными табуретами перед ними.

И — ни души.

По стенам висели пыльные выцветшие плакаты по технике безопасности: рисунки, на которых показано, как не надо работать, перечеркивал жирный красный крест. И еще сильнее пахло металлом и маслом.

Я стоял на одном месте, не зная, что делать, боялся, что сейчас придет кто-нибудь, застанет меня и еще выгонит, пожалуй. Кто его знает, может, мне одному и нельзя сюда?

Потом я услышал, как за станками шаркает метла, и скоро в той стороне появилась старуха уборщица. Она двигалась среди толстых желтых снопов света и махала голяком, насаженным на длинную палку, будто улицу мела. Я посмотрел на пол — он был густо-черный, мягкий, пропитанный маслом и поблескивал въевшейся в него мелкой стружкой, как подошва стертыми гвоздями.

Я снова огляделся. Как я тут буду, где окажется мое место? И почему это никого нет? Выйти мне пока, что ли?

И тут появился еще один человек. Я стоял спиной к двери и вдруг услышал позади густой голос:

— Чего табель-то не повесил, Ваня?

Я обернулся. На пороге стояла толстая тетка в теплом платке и сером халате, она шурилась от света, бывшего ей в глаза, и смотрела сердито. Это была, как я понял, табельщица.

— Глядеть за вами, за каждым! — Она уже чуть сбавила тон — видно, успела окинуть меня взглядом и увидела мои наглаженные брюки (я аккуратно срезал внизу всю бахрому, и штанины еще до сих пор были холодно-сыроваты после моей усердной глажки) и начищенные ботинки. — Чего-то не признаю, новенький, что ля?

Я кивнул.

— Небось десятилетку кончил?

Я опять кивнул.

Она, наверное, еще бы что-нибудь сказала, но там, за нею, в коридоре, стукнула дверь, кто-то вошел, и она повернула туда голову.

— Егоровне — наше! — Мне было видно, как вошедший повесил в коридоре на доску свой номерок.

Табельщица отступила, давая дорогу.

Вошел румяный парень, сразу видно — весельчак, плечистый, бодрый такой, рукава у рубашки закатаны. Они с Егоровной улыбались друг другу, парень ткнул ее походя в толстый живот, Егоровна заколыхалась. Я почувствовал, что тоже улыбаюсь, как они, как будто тоже участвую в их разговоре и хочу, чтобы они увидели мою улыбку. Парень скользнул по мне веселыми глазами — они у него были ярко-голубые, — вот сейчас (я даже подался вперед) скажет что-нибудь, поздоровается, спросит. Но он не задержал шага — прошел мимо, будто меня и нет.

Я растерялся. Стоял, как дурак, глядел ему вслед. Егоровна пошла в коридор — там опять хлопнула дверь. Может, он сейчас вернется? Нет, парень скрылся за станками.

Часы показывали пять минут восьмого, дверь стала хлопать беспрерывно. Мимо меня один за другим пошли рабочие. То молодой совсем, вроде меня, парень в надвинутой на глаза кепке, то свежевыбритый загорелый высокий дядька с мокрыми зачесанными волосами, то какой-то шуплый, небритый, с хозяйственной сумкой. Один прихрамывал, другой был с усами, третий в гимнастерке со споротыми погонами. Почти у всех белели под мышкой или в кармане завернутые в газету завтраки.

Я раньше не заметил, вдоль стены стоял ряд узких длинных ящичков — раздевалка, как в бане. Гремели замки и замочки, у каждого свой, открывались узкие дверцы, за ними переодевались: кто, прыгая на одной ноге, влезает в комбинезон, кто натягивает спецовку, кто башмак, мелькнула чья-то широкая загорелая спина. Громыхали дверцы железных тумбочек — такая тумбочка возле каждого станка, — оттуда доставали инструмент, мятые, захватанные чертежи. Обматывали станки щетками и тряпками.

— Здоров, Вася!

— Иван Ивановичу!

— Ну, как вчера-то?

— Кто сверло тиснул?

— Гляньте, Бабкин-то, Бабкин! Сам пришел!

Цех ожил в пять минут. И только до меня по-прежнему никому не было дела. Я стоял на самом виду у входа, все шли мимо меня, и хоть бы что, будто сговорились, будто я столб какой-то. Я ожидал чего угодно: что меня окружают, станут

рассматривать, может, посмеются, как бывает с новенькими, или заставят силу показать, спросят, что умею. Но меня просто не замечали.

Конечно, все торопились, я видел, что торопились, но все равно... Лишь один сутулый старик кинул на ходу: «Ученик, что ли, опять?» — и тут же отошел, да еще вертялая, с накрашенным ртом молоденькая работница, за эти десять минут раз пять успевшая пробежать мимо меня туда и сюда, с любопытством стрельнула глазами.

Наконец появился человек, который был мне знаком: пожилой, осанистый, лицо выбритое, мясистое — мастер Дмитрий Дмитрич. В кожаной потертой куртке и кожаной кепке, он был похож на старого боцмана, к тому же не выпускал изо рта короткую трубку. Я разговаривал с ним в отделе кадров. Вернее, он присутствовал, когда я говорил с инспектором, сонно, начальственно кивал, а потом сказал нехотя: «Ладно, оформляй, поглядим».

Теперь я обрадовался, шагнул навстречу, но и он всем видом дал понять, что сейчас ему не до меня. Попыхивая трубкой, подошел к большому мраморному щиту — я его тоже раньше не заметил — и, оглядев сразу весь цех, собственноручно двинул снизу вверх здоровенный рубильник. В цехе уже не было суеты, и каждый находился на своем месте — кроме меня, конечно. Мастер включил ток, и сразу как бы подземный гул, живой и сильный, наполнил здание, и тут же оглушительно загредел звонок — мне с моего места видно было, как толстая Егоровна в коридоре, протянув руку, тоже там что-то нажала, кнопку или рубильник, и так стояла в важной позе. И вот уже завывли, набирая обороты, моторы, и заскрипело, завизжало железо.

На часах было семь пятнадцать.

— Товарищ мастер, — сказал я Дмитрию Дмитриевичу, когда он оказался рядом со мной, — а, товарищ мастер?..

Его, наверное, никто так никогда и не называл, он сердито глянул и буркнул на ходу:

— Вижу, подождешь...

Да... А я думал, все будет не так.

Нас, новеньких, оказалось четверо: Титков, Мирошниченко, Володя Беляев и я. В ноябре некоторые ребята из цеха уходили в армию, и нас поэтому взяли на замену. Титков

и Мирошниченко уже отслужили, оба носили еще гимнастерки и сапоги; Володя, вроде меня, пришел из школы, только он успел год поработать: возил на мотофургоне торты по булочным; ему надоело, и он решил идти на завод.

Это был парень что надо! Он сразу сумел себя поставить, не то что я или, например, Мирошниченко. О нем уже все знали, когда я пришел. Его послали сначала на резку, резать заготовки, к Пилипенко. Резальная — отдельная тесная каморка, заваленная круглыми, метра по полтора длиной, тяжеленными стальными болванками. Стоял здесь маленький резальный станок, и вся работа заключалась в том, чтобы заложить в станок стальной брус и отрезать заготовки разных размеров. Станок пилил сам, только присматривай, подвигай брус. Пилипенко в полчаса объяснил Володьке всю нехитрую технику. «Понял, милок?» Он всех так называл: «милок». Он был кругленький, низенький и беспечный; высокий, модно подстриженный Володька головы на две его выше. «Ну, милок, я пошел», — сказал Пилипенко Володьке через полчаса после знакомства, и чуть не до обеда Володька его больше не видел.

Это Володька сам потом рассказывал, как дело было: брус, говорит, неподъемный, его в одиночку и не сдвинешь (он весь размечен мелом, и, когда один кусок отвалится, надо станок остановить и подвинуть заготовку, пока другая белая отметина не придется под пилу). Весь потом обольешься, пока справишься. Хорошо, люди все время в резку заходят брать материал — кто-нибудь помогал. А Пилипенко приходил на минутку, вытаскивал из карманов спецовки латунные пластинки, проволоку, винтики, перекладывал к себе в пиджак и хитренько подмигивал. Володька сразу понял, что это он подмигивает. «Телевизор, что ли, собираете?» — спрашивает. А тот «хи-хи» да «хи-хи»... И вот так покрутится две минутки, спросит: «Ну как, мол?» — и опять: «Ну, милок, я пошел».

И вот Володька (я бы, конечно, ни за что так не сумел) на третий, что ли, день, с утра, пока Пилипенко переодевался у своего железного ящика, быстро запустил станок, отер руки ветошью и небрежно сказал этому старикану: «Ну, милок, я пошел». Тот так и остался с открытым ртом, а Володька — к начальнику цеха.

И в тот же день его прикрепили к Водовозову, хорошему токарю.

Всю эту историю узнал я, к сожалению, много дней спустя.

Но самое интересное, что вместо Володьки послали на резку Мирошниченко, и тот там так и застрял. Мирошниченко был совсем другой человек — долговязый, сутулый, с длинным прыщавым лицом, ходил в распоясанной гимнастерке и шаркал ногами, как старик. Он словно бы ленился даже разговаривать и двигался медленно и сонно. В цехе ему живо приклеили прозвище: Секундомер. Лучше не придумаешь! Другого такого покладистого подмастерья Пилипенко, наверное, в жизни не видел: молчит и молчит.

Лучше всех устроился третий из нас — Титков. Мастер Дмитрий Дмитрич был ему родственником или из одной деревни, и Титкову сразу дали станок, учился он как полагается. И сам старался изо всех сил. Он был здоровый, загорелый, лицо круглое, курносое. «Сразу видно, с чистого воздуха человек», — сказал о нем кто-то. Но подхалим страшный. Стоило только поглядеть, как он вился перед тем же Дмитрием Дмитриевичем. Мастер подойдет, и он тут же руки по швам, глаза выпучит, а сам в одной майке, весь потный от усердия, блеснит, волосы на лбу прилипли. «Ну, чего ты, чего ты? — забормочет мастер. — Работай, я так, поглядеть». И старается побыстрее отойти, а тот еще стоит и вслед смотрит. Я, когда узнал, что он тоже ученик, не поверил: настолько он был здесь свой человек, всех знал, всех величал по имени-отчеству.

Сам я работал на обдирке. В тот первый день меня так и не нашли, куда приткнуть, и только на другое утро Дмитрий Дмитрич подвел меня к двум большим станкам в самом углу, к двум старым, облезлым «вандерерам». Между станками, на ящике, прислонясь к стенке, сидела и дремала белобрысая, полная, лет двадцати девчонка в брезентовом фартуке и растоптанных мужских ботинках без шнурков на босу ногу. Она нехотя разлепила глаза, медленно поднялась. «Покажешь ему!» — пересиливая шум цеха, крикнул мастер. И все, весь разговор. Я с интересом глядел даже на эти старые — видно было сразу, что старые, — гробы, а Тома — ее звали Тома — уставилась на меня и молчала. Станки скрипели и сотрясались, как на привязи. Обливая их, струясь вверх паром, текла из трубочки белая эмульсия, брызгала Тома на фартук и ботинки. Сыпались толстые, обрубленные, как мелкие осколки, стружки. Круглая болванка была зажата в тиски, и толстая фреза со скрежетом медленно ползла по ней. Это и была обдирка — сдирать с куска стали лишний толстый слой, чтобы получалась заготовка. Тома показала мне, как ставить и снимать фрезу, крепить деталь, пускать

станок на самоход. Ничего хитрого здесь не было, и на другой день, запустив станки, мы уже вдвоем сидели на ящике: она дремала, я глядел в одну точку.

Я проходил мимо токарей и видел две склонившиеся над станком головы — голову Водовозова в кепке и Володькину с тонким обручем, чтобы держать волосы: хоть у него была короткая стрижка, но он уже успел завести себе стальной зажим, какие бывают у некоторых парней в цехе. Володька уже что-то вытачивал, сам запускал станок, подмигивал мне издали. Рукава у него были засучены. Я хмуро отворачивался, завидовал. Когда же меня-то начнут учить по-настоящему?

Вообще-то по всяким документам считалось, что меня должен учить фрезеровщик седьмого разряда Панин Г. П., но Панин был в отпуске.

«Панин, Панин...» — только я и слышал. Дня через три, набравшись смелости, я подошел к Дмитрию Дмитричу, а потом к другому, молодому мастеру, которого все звали просто Мишкой, в пиджачке с нарукавниками, как у инженера или технолога, в галстучке, повязанном на ковбойку. Я решил спросить, когда же дадут мне какое-нибудь дело. Дмитрий Дмитрич стоял ко мне спиной, покачивался, попыхивал трубкой и даже не обернулся на мой голос. Отросшие на затылке светло-седые волосы мастера колечками завивались на край кожаной кепки, толстые плечи под кожаной курткой были как стена. Не меняя позы, он пальцем поманил к себе пробежавшего мимо парня с новеньким, еще в бумаге и масле длинным сверлом в руке.

— Второе, что ль, нынче?

— Первое, Дми-Дмитрич, ей-богу, первое. — Парень испугался, залебезил, противно было смотреть.

— Ври!

— Чес-слово, Дми-Дмитрич, хоть у кого спросите...

— Ладно, чеши!

Парень побежал, суетливо оглянувшись, а мастер, хмыкнув, медленно пошел следом. Ко мне так и не обернулся. Ну, не свинство? С кем-нибудь другим так бы не обошелся.

Мишка же, молодой мастер, вечно, в отличие от Дмитрия Дмитрича, спешащий, болтливый, с одним и тем же радостным, оживленным выражением толстогубого лица — он со всеми запанибрата и даже как бы заискивает перед рабочими, — остановился на бегу, весело хлопнул меня по плечу, бодро, ликующим своим голосом объяснил:

— Ну что ты? Тебя же Панину дали-то. Вот вернется Панин, и порядок будет. Не тушуйся. Панин — человек!

Он хлопал по плечу, тараторил, но сам тоже смотрел куда-то по цеху, торопился, и, наверное, спроси его через минуту, какой такой я из себя, он и не скажет. Все спешка, спешка, норма... А мне тоже хочется давать норму, спешить, а не слоняться и не сидеть с Томкой на ящике...

Я носил от Пилипенко к своим станкам на пузе тяжелые заготовки через весь цех, по скользкому полу, а когда заикнулся, что, мол, нет ли какой-нибудь тележки, меня осмеяли. Я сказал, что это нехорошо — гнать металл в стружку, надо выточить какой-нибудь спичечный коробок, а металла берут с почтовый ящик, мне ответили: не твое дело, без тебя знаем, будут еще тут всякие молокососы свои порядки заводить. Я подходил в обед к играющим в «козла» или к какой-нибудь группе, где хохотали и что-то рассказывали, подходил с готовой улыбкой, но все тотчас замолкали и иронически глядели на меня — до тех пор, пока я, краснея, не поворачивал обратно. Один парень подкрался к моей Томе сзади и облапил ее, продев руки под фартук. Она крутилась, молча отбиваясь, я подбежал, крикнул: «Ты что?» Парень обернулся, загоготал, не выпуская Тому, повернул ее и толкнул на меня: «Твоя, что ли? НÁ!» Тот самый голубоглазый, веселый малый, Володька Мороз, которого я увидел в цехе первым и который казался мне вообще-то симпатичным, ни с того ни с сего крикнул мне как-то в спину: «Эй, интеллипуция! Покажь ладошки!» И толсторожий Титков, оказавшийся рядом, подобострастно загоготал. Табельщица Егоровна — она каждого называла Ваня — кричала мне свирепо: «Ты что ж, Ваня, опять табель не снял?» Она стала просто караулить меня — я всякий раз забывал про этот чертов табель.

Я убирал чужие станки и выносил из цеха на горбе в железном ящике стружку. Я поссорился даже с Секундомером: унес какой-то кусок стали, чужой, ему за это попало, он меня обругал, я тоже сказал: «Да пошел ты!» — и самому стало противно.

В обед я выходил из цеха и шел не в столовую, где была давка и все свои, а к проходной. Тут, сразу за заводскими воротами, была обыкновенная улица, торопились прохожие, гремели трамваи, стояла очередь за арбузами и капустой. Все знакомое, все привычное. Тут же, неподалеку за углом, точно спрятавшись от чистого, торжественного входа на завод, тесно стояли, слепившись друг с другом, пивнушки, шал-

манчики, павильончики всякой масти, величины и класса. После работы здесь было не протолкнуться, позади тесного фасада пивных, на задках, среди ящиков и бочек, пили пиво и притаенную водку, колотили о край бочки воблой, вели, размахивая руками, долгие разговоры. Иногда затевался какой-нибудь скандал или драка — ссору разбирали сами, не допускали ни милиции, ни дружинников.

Я покупал в одной из палаток, чинных и скучных сейчас, днем, две теплые пузатые сардельки или тройку мятых, резиновых пирожков с печенкой или повидлом, сидел на скамью в соседнем чахлом скверике и одиноко глядел, как ребята с завода, чумазые, промасленные, вырвавшиеся на перерыв, гоняют по пожелтевшим, замусоренным газонам мяч. Перерыв был сорок пять минут — как раз тайм. Бегали и тоже на ходу жевали. Я бы и сам с удовольствием погонял, постукал, но и без меня было много желающих, да и куда вообще мне лезть? И я сидел один на скамье, осыпанной сухим листом, глядел на чистое небо, исполосованное молочными полосами реактивных, и на новенькие, белые, из силикатного кирпича, длиннющие трубы соседнего завода, из которых шел то черный, то оранжево-красный дым. Старик с девочкой стояли рядом на дорожке, глядя на футбол; где-то неподалеку, гремя, падая, будто низвергаясь, проносилась электричка; тяжело ухало что-то на заводе; за высоким каменным забором железно скрежетал трамвай. Взять вот и не возвращаться больше. Что я, себе работы не найду?.. «Васька, пас!», «Женечка, откинь!», «Сзади, сзади!» — кричали играющие. Я едва проглатывал свои вялые сардельки. Ну отчего так? Всем чужой, никому не нужен. Какая-то женщина катила по дорожке коляску с малышом в розовом чепчике. Она так поглядела, будто хотела спросить: «Что это, мол, паренек, с тобой, чего ты?» Я отвернулся.

Еще этот Панин! Я ждал его не знаю как; казалось, произошло какое-то недоразумение, а вот придет Панин («Панин — человек!»), сразу во всем разберется, все поймет — и все станет на свое место.

3

Пока Панина не было, на его станке работал Филя Зуев. Станочек маленький, аккуратный, новенький, самый точный на всем фрезерном участке, на нем делали особо тонкие и сложные детали. Не дай бог к нему притронуться кому-нибудь! Филя был нервный, крикливый, с ранней лысиной, вид всегда замученный. Я уже через два дня знал, что у него боль-

ная жена, трое детей, живет он за городом на частной квартире — он без конца жаловался и говорил об этом: о своей больной жене, детях и плохом жилье. Он все время отлучался — то в завком, то в партком, вел там переговоры насчет квартиры, детских яслей, пособий. Работал он, как мне казалось, бестолково, неряшливо, суетливо. Я смотрел и думал, что сам, когда научусь, лучше буду работать. Правда, возле этого станка без конца толпился народ, Филю подгоняли. Шел как раз какой-то сложный штамп, и на сборке уже ждали эту деталь, которую Филя вытачивал четвертый или пятый день подряд. Подбегал мастер Мишка, степенно подходил Дмитрий Дмитрич, являлись с четвертого этажа (там за окнами видны были белые рулоны на подоконниках, чертежные доски с кульманами) молодые технологи в галстуках и еще некто самый главный, огромного роста, толстый и чистый, пахнувший одеколоном. Все собирались вокруг станка, отеснив Зуева, тыкали пальцами в деталь, делали замеры микрометрами, лезли под самую фрезу, едва не стучаясь головами, а Зуев суетился за их спинами, заглядывал. После смены на станке оставалась стоять зажатая в тисках, как и вчера и позавчера, плоская круглая матрица, вроде бы обыкновенный кусок металла, а на самом деле сложнейшая деталь: в ней было десятка четыре крупных и мелких отверстий, в отверстия были загнаны сверла, чтобы матрицу не сжало, и это было похоже на крохотный стальной лес. Мастер Дмитрий Дмитрич говорил: «Смотри, Филька, смотри у меня, если запорешь. Панина-то нету...»

«Панин, Панин...» Где же ты, Панин?

А тут вышла со мной перед самым возвращением Панина еще одна глупая история. Я два дня глаз ни на кого потом не поднимал, стыдно было... Дело в том, что как-то утром мастер Дмитрий Дмитрич послал меня в инструменталку — в кладовую, где хранятся и откуда выдают сверла, фрезы, метчики, ключи, напильники и тому подобное. Туда пришла новая партия инструмента, и надо было помочь разложить его из ящиков по полкам, пересчитать и составить списки, сколько чего получено. «Все равно болтаешься», — сказал мастер мрачно, как будто я был виноват, что болтаюсь.

Инструменталка — узкая, длинная комната; кроме полок, там стоял письменный стол и на низком подоконнике электроплитка с чайником. Заведовала всем этим Лена, молодая женщина с накрашенными губами, сильно затянутая в синий халат. «Это я сама попросила, чтобы мне тебя прислали», — сказала она сразу, как только я переступил порог. Она усади-

ла меня за стол, а сама села на него, так что ее обтянутые тонкими чулками колени оказались у меня прямо перед глазами. И она не закрывала больше рта ни на секунду. Рассказала мне всю свою жизнь: и что она выгнала мужа-пьяницу, и что у нее двое детей, а мать-старуха не хочет ехать из деревни в город, и что все ей завидуют и думают о ней бог знает что. Я расчувствовался. Мне тоже хотелось рассказать ей о себе и пожаловаться, только ни словечка нельзя было вставить.

Лена включила плитку, в инструменталке стало жарко, мы пили чай с конфетами-подушечками. Рабочие приходили и стучали в фанерное окошечко, в которое Лена выдавала инструмент, но она не открывала и кричала, что у нее переучет, инвентаризация и все такое.

В конце концов рабочие пожаловались мастеру. Дмитрий Дмитрич явился и стал стучать трубкой в дверь. Лена открыла. Ввалилось сразу человек десять. Лица у нас обоих пылали от чаю, от плитки и наших разговоров, списки лежали на столе пустые, ящики стояли раскрытые, неразобранные, блестели просмоленной бумагой. И еще эти стаканы на столе, конфетки в кулечке... Вошедшие за спиной мастера давились от смеха. «Опять ты мне тут черт знает что устраиваешь?» — сурово сказал Дмитрий Дмитрич Лене, а мне кивнул на дверь, чтобы уходил. Я едва протискался, не поднимая глаз, мне вслед говорили: «Ну как, парень? Как тут насчет инструмента-то, в порядке?»

Потом на другой день Володька Мороз подошел ко мне со старым сверлом и напильником в руке и невинно попросил: «Эй, новенький, может, сходишь сверлышко сменять, а то у меня Ленка не берет. А тебе-то даст небось, а?» И тут же подошедшие как бы случайно вместе с Володькой другие ребята дружно загалдели: «Ему-то? Даст, ясное дело. Даст!» И потом: «Гы-ы-гы! Го-го-го!» Хоть плачь...

Но вот, наконец, появился Панин. Я не ожидал его в тот день, не думал. Он, правда, пришел просто так, как бывает, когда до конца отпуска остается еще два-три дня, но человек уже вернулся в город и заходит на работу узнать, как и что, какие новости. Мы волокли с Томкой от Пилипенко тяжелый ящик с заготовками, и я вижу, у Филиного станка столпились наши фрезеровщики; еще подумал, опять что-нибудь проверяют, но потом смотрю, среди них один незнакомый парень в белой рубашке, невысокий, смуглый, черноволосый, смеется и все вокруг тоже смеются, и понятно, что это они его окружили. Он ладный такой, крепкий, хоть и маленького роста, и на вид лет двадцать пять, не больше. Я и не подумал, что это

Панин, но там, в их группе, когда мы с Томой приблизились, кто-то, видимо, сказал обо мне, все повернулись в нашу сторону, и этот в белой рубашке тоже. Может, еще начальство какое или по комсомольской линии, а я до сих пор на учет не стал?

— Здорово, Томка!— крикнул он издали.

Томка заулыбалась, быстро глянула на меня: мол, видишь, кто пришел-то, и направилась туда, ко всем. Хоть бы сказала, дурища, что это и есть Панин. Я наклонился, выгружаю заготовки из ящика как ни в чем не бывало, но самому интересно, и чувствую, они тоже на меня посматривают и говорят там обо мне. Уже не Панин ли? Все побросали свои станки, стоят, покуривают, и видно, что рады ему. Слышу, кто-то спрашивает:

— Так ты, Гриш, с женой был-то?

Он что-то отвечает, и все опять смеются. Гриша? Неужели Панин на самом деле? И симпатичный такой, нестарый... У меня даже сердце заколотилось. Надо же, Панин!

А тут кто-то из них кричит:

— Э, новичок, поди-ка!

Я еще медлю, не верю.

— Меня, что ли?— спрашиваю.

— Ну да, иди, познакомься.

Я подошел, они расступились, пропуская меня к Панину. Он руку протянул. Я наспех отер свою ладонь от масла, мы поздоровались.

— Ну, здоров!— сказал он.— Григорий меня зовут, Гриша. Мне, значит, тебя дали?

— Да, как будто вам.— Я едва смог пролепетать эти слова, волновался очень. Уже потом Томка рассказывала: «Ты чужак какой-то все-таки, прямо побледнел весь, как будто сейчас заплачешь». И она же рассказывала, что, когда мы подошли со своим ящиком, Панин у ребят спрашивает: «А это что, новенький, что ли?» — «Ну да,— говорят ему,— четверых взяли». — «Мне, что ль, опять?» — спрашивает Панин. «Тебе». — «Вот елки-мotalки. Ну и как малый? Из десятилетки, что ли?» — «Точно». — «Фу ты черт!» Тут Томка вмешалась: «Да вы позовите его, он и так все спрашивает, когда Панин придет. Хоть познакомиться». — «Успеется», — сказал Панин. «Да ладно, позови», — сказал еще кто-то, и тут меня позвали.

Сам Панин маленького роста, а голова, лицо крупные, брови и глаза черные, черты лица точные, и весь он быстрый, живой, заметно отличный от всех, и видно, что крепкий, уве-

ренный в себе человек, немножко небрежный. Когда я сказал ему «вы», тут кто-то сбоку, кажется, Филя, объяснил, посмеиваясь, про меня:

— Он у нас вежливый. Культурный малый.

— Профессор!

Это уже гоготнул Володька Мороз. Он теперь перестал называть меня «интеллипуция», а перешел на «профессора». Я все время таскал с собой в цех книги, читал в трамвае или в перерыв; я ведь мечтал об университете, об истфаке, учил самостоятельно латынь... Тот же Володька небрежно, походя, по-хозяйски взял у меня однажды в обед из рук книгу, стал смотреть обложку. «А ну поглядим, что тут читает наш профессор». — «Ладно, отдай», — сказал я мрачно. «Ладно, не съем», — ответил он мирно, раскрывая книгу. Это были записки Цезаря о Галльской войне. «Ого, даешь! — сказал Володька. — Это который кинжалом там кого-то заporол, Цезарь-то?» — «Это не он, а его». — «А-а, ну да, я помню, я учил. Даешь почитать?» Я пожал плечами. «Ну ладно, не надо», — тут же согласился Володька и, паясничая, с поклоном отдал мне книгу, держа ее двумя руками.

— Чего профессор? — возразил еще кто-то. — Гвардеец!

Это было другое мое прозвище. Я носил оставшийся от отца военный китель с желтыми пуговицами, — он сидел на мне мешком, и рукава я подвертывал, — и синие офицерские брюки с кантом, которые мне подарил сосед-майор, Федор Алексеевич. Брюки перешили, а кант не выпороли. Вот за этот наряд меня и называли гвардейцем.

Они посмеивались сейчас надо мной, но я видел, что на этот раз без злобы, добродушно, и сам тоже робко улыбался.

— Ты в инструменталку сам теперь не ходи, — сказал Панину Юрка Корольков, еще один наш фрезеровщик. — Его посылай, он тебе все достанет.

Все на разные голоса загоготали. Я залился краской. Панин оглядывал ребят с вопросом, ожидая, чтоб ему рассказали, в чем дело.

— Ой, умру! — стонал Володька. — Чаем поила!

— Да ладно вам! — сказал Панин. — Ленка, что ли, опять?

Филя быстро, привирая, рассказал ему, как Ленка со мной заперлась в инструменталке, и вроде уж чуть ли никто в цехе не работал, все бегали в щелку смотреть, как мы там с ней чаи распиваем.

— Да ну, не так это все, — сказал я хмуро.

— А как? А как?— подскочил ко мне Филя.— Обжал ты ее, обжал?

— Да ну вас!— сказала Тома.

— Она сама кого хочешь...— сказал Юрка.— Уж я-то знаю.

— Ты-то что, ты-то конечно!— сказал Панин, и опять все загоготали, глядя на Юрку, вспомнили уже, видимо, какую-то другую историю, насчет Юрки.

Вот так, благодаря Панину, в первый раз стоял я вместе со всеми, участвовал в общем разговоре и почти не чувствовал себя чужаком, не думал мучительно и растерянно, как все время думал, что я будто с луны сюда свалился. И еще я почувствовал, что не до такой уж степени существую здесь сам по себе, никем не замечаемый,— всё, оказывается, обо мне знали, всё видели, приглядывались. Что ж, я был рад. Мне стало легче.

— Я в понедельник выйду,— сказал мне Панин,— в вечернюю. Давай договорись с мастером, выходи в вечер тоже.

Я вечерами сидел в читальне, потом на мне была обязанность забирать в шесть братишку из детского сада, но сейчас я об этом и не вспомнил.

— Хорошо,— сказал я.— Ладно. Обязательно.

И в следующий понедельник вышел в вечернюю смену.

4

Стол Дмитрия Дмитрича стоял на другом конце цеха, у окна, ничем не огороженный, всегда чистый: чернила, ручка, какой-нибудь чертеж на углу, прижатый новенькой деталью, и ничего больше. Мастер редко сидел за столом. Сейчас, пожалуй, впервые за три недели я видел его на своем месте. И к тому же без кепки и в очках. Он подписывал наряды. Привинченная к стене лампа — точно такая, какие укреплены на станках, только на раздвижном штативе, как у чертежников или слесарей,— освещала стол. Мастер перекладывал наряды справа налево, из одной аккуратной горки в другую, исписанным вниз, чтобы никто не заглядывал, какие он ставит расценки. Мы подошли к его столу вместе с Паниным.

— Ну?— строго спросил мастер. Он прикрыл ладонью лежавший перед ним наряд и нетерпеливо глядел на нас.

— Я вот что. На станок надо парня поставить,— сразу сказал обо мне Панин.— Сколько ж ему...

— Поставим!— оборвал мастер.— Знаю.

С этим надо было уйти. Но Панин не ушел.

— Сегодня, Дмитрич, надо поставить,— сказал он терпеливо.

— Ты видишь, да?— мастер кивнул на наряды.

— Понятно,— Панин тоже кивнул.— Там «вернер» пустой стоит, на котором днем этот, тоже новенький работает, как его?..

— Титков,— подсказал я тихо.

— Вот, Титков. Так он пустой стоит. Я его,— Панин кивнул на меня,— на «вернер» поставлю.

— Успеет! Все равно сбежит через год.

Вот оно что! А я-то, дурак, ходил за ним, просил...

— Почему это?— сказал я хмуро.

— А то у нас таких не было, мы не знаем!— Мастер обратился к Панину:— Ты сколько того Валеру своего учил? А где он? В мячик играет? То-то...

Я даже растерялся, непонятно было, почему он говорит так зло и старается меня обидеть. Панин, чуть склонив голову, слушал.

— Придут, понимаешь, на два дня... Больно много учебных развелось, работать ни черта не хотят!— Мастер снял очки, мясистое лицо его покраснело, он перевел теперь глаза на меня и глядел, ей-богу, с ненавистью.— Вот ты? Я тебя насквозь вижу. Книжки в голове. Рабочим, что ль, будешь? Как вот он,— толстым пальцем в Панина,— или как я? Что в колхозе, что здесь. Все учатся, учатся... А горб гнуть,— дядя...

— Ну ладно, Дмитрич, все мы теперь учимся...

— Ты не ладь — учимся! У меня план. А мы на этих цуцках каждый год теряем...

— Ладно, Дмитрич...

Я уже не мог больше. За что он так? Что я-то ему сделал? Если в университет хочу, так все равно на заочное, а на завод я по-настоящему пришел и никакой работы не боюсь. Может, я... Но даже если так, ему-то что? Я уж и без того наслушался всяких таких слов от соседа Федора Алексеевича, довольно. Вот, мол, каждый должен трудиться, руками должен что-то делать, вот этими вот руками своими, ручками, чтобы мозоли и чтобы на чужом-то хлебушке не сидеть... Он мне старые штаны с кантом подарил, и вообще они нам помогали, так что Федор Алексеевич считал себя вправе быть мне вроде бы вместо отца. И я слушал покорно, и кивал, и только молча, про себя, отвечал ему, что надо быть дураком, чтобы гово-

рить всякие такие вещи в двадцатом веке, при современной системе разделения труда... Какие-то ослы просто, честное слово!

А мастер все продолжал насчет «щипаной интеллигенции» и тому подобного.

— Ученые тоже нужны, — угрюмо сказал я.

— А! — он махнул в сердцах рукой. — Ученые! Чужой хлеб жрать вы нужны!

«А врачи? А вот эти станки, а машины, а эта лампа?» — хотел я сказать первое пришедшее в голову и совсем было раскрыл рот, но Панин глянул искоса, молчи, дескать, и я ничего не сказал.

— Так договорились, значит, Дмитрич? — сказал Панин и опять очень терпеливо.

Мастер отбуркнулся и уткнулся в наряды: Панин подмигнул мне, и мы отошли.

Так я получил станок.

Как мне нравилась вечерняя смена! Цех становился красивым: уютно горят лампы над станками, освещая только рабочую часть станка и руки, все на своих местах, никакой суеты, людей мало, чисто. Не видно ни технологов, ни мастеров, никто не останавливается у станка, не глазеет, не говорит тебе под руку, так ты работаешь или не так. Оглядишь весь цех — спокойно, мирно, немного загадочно. Все заняты делом, и ты тоже — что может быть лучше!

За то время, пока я слонялся по цеху, я все-таки понаблюдать, кто и как работает, кое-что заметил, и Грише не пришлось объяснять мне самые азы. Он просто давал мне чертеж, говорил, каким инструментом лучше работать, когда сменить фрезу на сверло или наоборот, на какой скорости резать ту или иную сталь. Если у меня не ладилось, я подходил и спрашивал. И он сам несколько раз за смену отрывался от своего станка, наведывался ко мне. Постоит, посмотрит, скажет одно-два слова и отойдет. Так я выточил свои первые детали: небольшие кубики, пластинки, и все было в порядке, наряд оформили на мое имя, детали принял ОТК, и они пошли дальше в дело.

Мой «вернер» был большой, солидный станок, еще не старый, послушный. Гриша говорил, что опытный человек любую работу на нем может делать, от самой грубой до самой тонкой. Я не меньше часа тратил в первое время в конце смены, чтобы вычистить станок, протереть, смазать, и он стал совсем как новенький. Титков, мой сменщик, как я заметил, гоже оставлял мне станок безукоризненно чистым. Тумбочка у нас

тоже была теперь на двоих, сначала нам нечего было там держать: я клал книги, тетрадки, Титков бутылки из-под молока и чистую ветошь и тряпки, которые он потихоньку собирал по цеху, а потом уносил домой. Через какое-то время нам выписали личный инструмент — ключи, штангенциркули, напильники, и прочее, и тумбочка стала такой же, как у всех: там и инструмент, и чертежи, и масленки, и недоделанная деталь, и пирожок с рисом — все твое хозяйство. Я, как было у Панина, выстелил тумбочку чистой бумагой, все укладывал аккуратно, Титков сначала тоже, но потом опять забил свой ящик тряпками, бутылками, запихивал туда хозяйственную сумку, с которой ходил на работу.

Гриша был чистюля. Стоило только поглядеть теперь на его станок — Филе и не снилась такая чистота. Когда у меня не было работы, я стоял рядом с Гришей, смотрел, как он работает, и он по ходу дела объяснял мне, что и как, иногда просил что-нибудь подержать, поделать, я тут же бросался и подавал, приносил. Но это было редко. Иногда я видел, что он хочет меня за чем-нибудь послать, о чем-то попросить, но как будто стесняется. Один раз я говорю: «Ты устал, давай я тебе станок уберу, все равно ничего не делаю». — «Ну вот еще! — отвечает. — Не вздумай!»

Нравилось мне смотреть, как он работает. Быстро, ловко, легко, не то что Филя. И все время ветошь из рук не выпускает, так и держит комочком в левой руке и отирает то деталь, то станину, то рукоятки. Без конца замеры делает, чтобы все было точно, чтобы ни одной заусеницы на детали не осталось. Иногда ему приходилось минут сорок-час отлаживать станок, устанавливать фрезу, чтобы потом за минуту провести одну какую-то бороздку, — я бы поленился, честное слово, зажал бы деталь в тиски да махнул напильником, а он нет. Маленький, в чистом комбинезоне, сосредоточенный, быстрый — таким я вижу его. И не отмахнется, как ни занят, не зарычит, не выругается. Он очень красиво работал — можно было просто стоять и смотреть.

Я ему без конца что-то рассказывал, меня как будто прорвало, — и о себе, и о школе, об отце, о книгах, которые читал. Он работает, двигается быстро, меняет сверло через каждые пять минут, а сам слушает, улыбается, поддакивает. Я облобочусь о станину поближе к нему и треплюсь, треплюсь, даже самому странно. «Я тебе не мешаю?» — спрашиваю. «Нет, валяй, интересно». Если к слову придется, он тоже расскажет что-нибудь — про армию, как служил, про жену или про дочку — у него уже дочке было шесть лет, а самому не двадцать

пять, как мне показалось, а тридцать два. «Я сам всегда знаешь кем хотел быть?— рассказывал он мне с усмешкой.— Геологом. Очень хотел. Теперь вот, когда там в кино где-нибудь или по радио про геологов, я всегда иду, смотрю, вроде родственное что-то. Но не вышло. Из ремеслухи сразу на завод, потом вроде зарабатывать стал, а там армия, женился, ну вот такая петрушка...»

«Послушай!— подозвал он меня как-то.— Поди-ка, может, знаешь...» Я подошел. Он разложил на своей тумбочке довольно большой чертеж — коричневая синусоида ползла через лист — и тут же на обрывках бумаги что-то высчитывал. Сбоку лежал еще раскрытый на логарифмических таблицах справочник. «Чего-то не соображу»,— сказал Гриша. Мы стали разбираться вместе — это было просто, тригонометрию я любил — и скоро нашли ту цифру, которая была нужна. «Надо же...— сказал Гриша и добавил:— А ты у меня молоток!» Я растаял.

Он показал мне дорогу в опытный цех. Мы, инструментальщики, были, оказывается, как бы частью этого цеха, филиал, что ли, а опытный — главная база. Все «старики» — Пилипенко, Водовозов, Филя, Дмитрий Дмитрич, сам Гриша — там раньше и работали, пока их не перевели в эту школу. И работали мы в основном на заказах опытного — все наши детали шли туда. А там в свою очередь были станки, каких у нас не было, и, например, так называемую разметку, когда надо точно нанести предварительно размеры на ту или иную деталь, делали только в опытном. И термитка была там и многое другое. Гриша как раз отправился делать разметку и спросил, был ли я уже в опытном. Нет, я и знать о нем не знал. «Ну что ж ты»,— сказал он.

Мы шли по заводу, он рассказывал мне, какой где цех: вот этот недавно выстроен, а вот этот горел два года назад, такой пожарище был, дай бог, а асфальт и деревца — это совсем недавно, при новом директоре. Мы поговорили еще насчет того, что наш завод делает, — до этого никто со мной об этом не говорил. Мы шли быстро, деловито, и те, кто нам встречался, тоже двигались так же.

Опытный меня поразил. Вот это был цех! Огромный, чистый, теплый, станки стоят просторно, рядами, под одним углом к проходу. Светло, как на улице. Возле окон кадки с фикусами. Парни и девчата почти все в одинаковых комбинезонах, в беретах — не цех, а картина. Ездят желтенькие немецкие автокары, развозят к каждому станку заготовки, забирают готовые детали. А высота, а воздух! Надо же,

совсем рядом, пять минут ходьбы, наша шарашкина контора — и такая красота! «Год только после реконструкции, — объяснил Гриша. — Поддерживают, видишь. А раньше тоже друг на дружке сидели, грязь по колено...»

Ну и цех! И огромный, из одного конца другой не видно, а главное, эти фикусы! Как будто я в какой-то другой стране побывал, честное слово. «Сюда бы надо попасть, — думал я. — Тут бы по-другому было». Мне казалось, что и люди здесь какие-то другие и работа. Но ничего, теперь у меня Панин, ничего...

После смены мы выходили вместе, нам было по пути: Грише на электричку, мне на трамвай. Уже зарядили дожди, мы торопливо шагали по темной улице, по мерцающим под фонарями лужам, и опять я что-то говорил, рассказывал — я теперь ему все мог сказать. «Да, брат, — задумчиво отвечал он. — Да-а. Ну пока, до завтра». Расстанемся, попрощаемся, и я бегу дальше, и настроение у меня прекрасное. Стою потом в толпе на остановке — народу много, все со смены, — и если увижу кого-нибудь из наших, из цеха, кивну, как своему, или переброшусь двумя-тремя словами. Хорошо все-таки, повезло мне, не зря я столько ждал, он именно такой человек, как я думал, просто отлично, что я к нему попал, просто здорово...

Возбужденный, приезжал домой, нарочно гремел погромче крышками на кастрюлях, отыскивая, что бы поесть, мать просыпалась — у нее прямо-таки условный рефлекс на звон кастрюль, — я присаживался возле нее на пол и быстрым шепотом рассказывал, какой Панин человек... «Ты свой китель и штаны в коридоре повесь, — говорила она, — от тебя очень заводом несет, работяга...» — «Да? — переспрашивал я. — Правда?» Мне было приятно, что от меня пахнет заводом.

Как я вдруг выяснил, он Горького не читал. Я очень удивился: первый раз видел человека, который Горького не читал.

- «Челкаша» не читал?
- Это да, это вроде помню.
- А «Дело Артамоновых»?
- Это в кино, кажется, видел.
- А «Двадцать шесть и одна»?
- Ну, говорят же тебе!
- Ну как же, Гриша!.. А «Фому Гордеева»?

— Ну вот чудак, ей-богу, говорю тебе.

Ему, видно, было неловко. А я никак не мог понять: человеку тридцать два года, а он Горького не читал. И на другой же день я принес ему и рассказы, и «Дело Артамоновых», и «Фому Гордеева». Я сам тогда очень любил Горького.

Гриша аккуратно завернул книги в газету и спрятал в тумбочку.

— Только я медленно читаю, ничего?

— Да пожалуйста, держи, сколько хочешь.

Он опять усмехнулся.

— Вот жена у меня вроде тебя тоже. Она в больнице работает, когда дежурит, делать нечего, тоже читает. Жутко культурная стала. Музыку по радио слушает. Я говорю: выключи ты ее к черту, она обижается. То ли притворяется, то ли вправду что понимает. Теперь стихи даже стала читать. Спать ложимся, а она с книжкой. Ты послушай, послушай, говорит. Я послушаю чуточку и сплю. Она опять обижается...

Я слушал и смотрел на него во все глаза. «Гриша! — хотелось мне сказать. — Да ты что, Гриша!» Ну, пусть бы Володька Мороз так говорил, или Юрка, или Титков, наконец, но Гриша!..

— Не привык я, понимаешь, как-то все некогда, да и книжки попадают муровые... Пока придеешь, пообедаешь, газету прочтешь, с дочкой там поиграешь, а там телевизор или в кино жена потащит — уже и спать надо. А в воскресенье тоже — то сад, то братаны приедут в гости, то там матрас надо перетягивать. Я за все лето на футболе-то всего раза три был, все некогда...

У меня был вид, наверное, ошарашенный. «Матрас перетягивать, на футболе...» — повторил я про себя.

— Ну чего ты? — спросил он, глядя на меня с усмешкой. — Первый раз слышишь, что ли?

Я молчал, не зная, что сказать.

— Так что ты учишь, пока можешь, читай свои книжки, — сказал Гриша весело. — А потом, когда работать всерьез станешь, семейку кормить надо будет, тоже тогда тово... Вспомнишь тогда...

Я долго потом был под впечатлением этого разговора. Мне хотелось что-то сделать, помочь Грише, мне казалось, что это несправедливо — иметь те знания, которые имею я, мальчишка, когда он их не имеет. Или, может быть, думал я потом, здесь они ему не очень-то нужны, как

не нужны они, кажется, здесь и мне самому. В самом деле, разве мне нужна здесь моя десятилетка, мои книги, «Записки Цезаря»? Лучше бы я знал что-нибудь другое, лучше была бы у меня сила, как у Титкова, или нахальство Володи Мороза, или Гришина сноровка, его опыт, его седьмой разряд. Подумаешь, профессор! «Клима Самгина» два раза читал. Ну и что? К мастеру Дмитрию Дмитриевичу не придешь и не скажешь: давайте мне, мол, самые сложные и дорогие шаблоны делать, я «Клима Самгина» читал. Пошел ты, скажет, со своим Климом куда подальше, мне рабочие нужны, а не профессора... Но все равно я постараюсь, я буду носить ему книги, рассказывать то, что знаю сам, помогать.

Я принес Грише книги, но что-то не заметил, чтобы он их читал. Мы перешли снова в утреннюю смену, я опять встретился с Томой, Володькой Беляевым и Володькой Морозом, с Секундомером — до этого мы виделись по несколько минут только на пересменках.

Была середина месяца, заказов шло все больше и больше, даже мне мастер дал работу по четвертому-пятому разряду. Разгуливать и разговаривать было некогда. «Чтобы сегодня сдал», — говорил Дмитрий Дмитрич хмуро, и я старался. Гриша уходил в обед играть в домино, после смены обычно задерживался. Как-то Филя Зуев, Мороз, еще кто-то позвали его с собой в столовую, и он пошел; я стоял тут же, но мне никто ничего не сказал, и Гриша тоже — скользнул взглядом, и все. Однажды я подошел, облокотился на его станок, хотел ему что-то рассказать или спросить. Он суетливо, не глядя на меня, пробормотал: «Ты вот что, ты иди на свое место, сейчас некогда, а то, знаешь, мастер и все такое...» В другой раз я решил его подождать после работы, он уже убирал станок, торопился, а у меня все было сделано. «Я тебя подожду, Гриша».

Он оглянулся: «Чего? Нет, не надо, я тут зайти еще должен...» И я видел, как потом они с Зуевым, мастером Мишкой и Дмитрием Дмитриевичем вместе повернули к одному из наших шалманчиков с пивом. Я постоял, поглядел, пока они не скрылись, и пошел своей дорогой. Что ж, не стоит надоедать, хотя я тоже мог бы в «козла» сыграть и пива выпить, что ж тут такого. С Дмитричем пошел, надо же, тоже мне друг-приятель...

Шестнадцатого мы получали зарплату. Это уже во второй или третий раз давали мне деньги. Мы стояли в очереди в кассу вместе с Володькой Беляевым. Володька совсем

преобразился, ходил в новеньком комбинезоне, держался хозяином. Когда кто-то полез без очереди, он заорал громче всех.

— У тебя наряды были?— спросил он, когда мы получили каждый свои одиннадцать рублей, если считать на новые деньги.

— Были.

— Много?

— Ну, штук шесть, семь, не больше.

— На сотню набегит?

— Не знаю, вряд ли, мелочь всякая.

— Ну все равно, пошли к мастеру.

— Ты что?

— Ничего, пошли. Я сотни на полторы настрогал, где они?

— Брось ты, у нас же ученические.

— Пошли, чего ты боишься? Я ему сейчас скажу, паразиту. Я корочки хотел купить с получки, понял? Такие корочки есть, без шнурков, австрийские...

— Брось, Володь...

Он потащил меня чуть ли не силой. По дороге я спросил — давно хотел его спросить, — думает ли он куда поступать учиться.

— Да ты что. Мне школа-то в печенки въелась. Хватит. А ты что, учиться, что ль, хочешь?

Я пожал плечами, промолчал.

— Учиться!— Володька гоготнул.— Нет уж! Я через пару лет тут больше инженера зашибать буду. Как мой Водовозов или твой этот, как его?

— Панин! Что уж ты, Панина не знаешь?

— Да знаю, забыл! Всех сразу не запомнишь. Он ничего у тебя мужик, да?

Я хмыкнул и показал большой палец.

Мы пришли в цех (зарплату получали в опытном) — и сразу к столу мастера. Но тут уже бушевал Филя Зуев. Красный, растрепанный, щупленький, он наскакивал, махая длинными руками, на Дмитрия Дмитрича и кричал:

— ...она мне поверит, да? Это деньги, да? Пацанам на калоши не хватает, да!

Мастер сидел за столом совершенно спокойный, попыхивал трубочкой и пролистывал толстым пальцем пачку сшитых на уголках черной ниткой нарядов. «Не визжи!» — время от времени повторял он презрительно.

— Я тоже счет веду, не маленький, знаю, сколько положено...

— Не визжи!

— Кому все, а кому — шиш! Кому за счет малолеток мастер делает, а кому...

Тут Володька ткнул меня в бок: слышал?— и решительно шагнул к столу.

— Чего ты так орешь-то!— нахально сказал он лысому Филе.— Мастер небось лучше знает... Точно, Дми-Дмитрич?

Да, с этим Володькой не пропадешь! Мне даже слушать было стыдно, как он говорит с мастером, а ему хоть бы хны. Я держался в сторонке.

— У нас тут нарядики были, Дми-Дмитрич, нам как за них, причитается?— Володька говорил это с небрежной, панибратской улыбочкой, вихлялся, опершись обеими руками на стол, невинно глядел мастеру в лицо.

— Вот, вот!— крикнул Филя.— Вот они, сами пришли!

— Ты не визжи!— опять сказал ему мастер.— А вы, молодой человек приятной наружности, еще малé, понятно?

— Это мы, конечно, понять можем,— тут же игриво ответил Володька.— Но, знаете, ботиночки хотелось купить, просто выйти не в чем, а там нарядики были или это, может, в фонд обороны идет или там еще куда?

— Малé еще!— повторил мастер, усмехаясь. Было видно, что он тем не менее доволен Володькой.

— Ну что ж, малé так малé!— согласился вдруг Володька.— Подождем другого раза. Может, тогда баланс будет в нашу пользу, а?

— Дождитесь!— закричал опять Филя.— Дождетесь вы у него!

— Пока разряда не получите, вам полагаются только ученические, ясно?— сказал нам мастер, даже не взглянув на Филю.

— Вас поняли,— сказал Володька.— Спасибо за внимание.

Мы отошли. Володька закурил и в том же быстром ритме, в каком он вел разговор, сказал:

— Свoločь, жук. А лаяться с ним нельзя. Себе дороже. Понял?

Я ничего не понял. Не полагается — значит, не полагается. И ничего было лезть. И только потом до меня дошло: в самом деле, нам же дают работу по нарядам, и там расценки стоят, и мастер их закрывает, куда же деньги-то идут?

— Ладно, мы свое вернем,— сказал Володька.— Черт с ним пока. Пойду своего Водовоза найду, надо ему поставить.

— Чего?— спросил я.

— Здравствуйте!— сказал Володька.— Ты своему этому... опять забыл... да, Панину, не ставил, что ли?

Я смотрел на него, как дурак.

— Нет, ты тюфяк, просто тюфяк! Беги скорее, позови его, скажи: так и так, айда, отметим с полочки...

— Пить, что ли?

— Нет, кашку манную есть.

— Ты в самом деле думаешь?

— Слушай, не смейся эту самую, как ее... публику. Иди скорее.

Володька открыл свой шкафчик, стал торопливо одеваться, а я, похрустывая деньгами в кармане, пошел искать Панина. Может, в самом деле так надо?.. Я слышал, конечно, что полагается угостить мастера или того, кто тебя учит, но как это? И зачем? Что ж, приду я к Грише и скажу ему?.. Чудно! Да нет, это стыдно просто. И кому, Грише? Нет, это не укладывалось у меня в голове. Я уже заранее краснел, думая об этом... Да! А может, он потому как-то вроде сторонится меня, что я до сих пор этого не сделал, а? Может, я нарушил какое-то правило, традицию?.. Выпить я могу, но вот так, вдруг, ни с того ни с сего? И главное, Панин...

Но теперь эта новая мысль не давала мне покоя: вдруг на самом деле он на меня обиделся, что я его не угостил? С одиннадцати рублей не разгуляешься, конечно, но все равно. Может быть, дело просто в жесте, в символе, так сказать? Вон Володька угощает же своего Водовоза, и тот, видимо, угощается? Нет, надо и мне.

Мы встретились с Гришей у моего станка.

— Ну как, получил свой миллион?— спросил он весело.

Я оглянулся, рядом никого не было.

— Вот он, как же!— Я вынул на ладони деньги из кармана, другой ладонью лихо прихлопнул.— Пойдем выпьем, Григорий Петрович? Что нам, малярам!

— Угощаешь?— Гриша подмигнул.

— Ну, спрашиваешь.

— Ну что ж, давай!

«Батюшки, как все просто-то,— думал я потом по дороге, когда мы действительно быстренько собрались и шли вместе к проходной, а потом через дорогу, за угол.— Как просто, оказывается! Вот так Володька, ну что за парень!» Я оживился, что-то громко говорил, махал руками и старался не ду-

мать, сколько я сейчас должен буду истратить и сколько привезу потом домой: одиннадцать рублей были тогда для нас тоже приличные деньги.

На дворе сыпался дождь, вился ветер, было холодно и уже почти темно — весь народ набился внутрь тесных палаток, туда едва можно было втиснуться. Пивные кружкиплыли над головами на вытянутых руках. Гул и туман стояли, как в бане. Кисло воняло пивом, табаком, мокрой одеждой, колбасой.

— Ты найди место,— сказал Гриша.— Я сейчас.

Он чуть не с каждым здоровался, кивал, все были свои, заводские.

— Давай я,— мне было неловко, что он сам идет к стойке.

— Ладно, ладно, а то до морковкиных заговорен стоим.

— Деньги-то, Гриша?

Но он уже не слышал. Я протиснулся к подоконнику, дождался, пока допьет свое пиво круглый, розовощекий парень, и занял место.

— Эгей, там нету у тебя местечка?

Я оглянулся. Возвышаясь надо всеми, ко мне протискивался с кружками в руках Секундомер. Длинное лицо его было мрачно и красно, он ходил уже в зимней солдатской шапке, сейчас она едва держалась у него на затылке.

— Нету!— ответил я.

— Давай, давай!— Я узнал голос Пилипенко, самого его видно не было.— Ходи!

«Вот вам, пожалуйста,— подумал я,— то же самое, обычное дело».

Секундомер развернулся, и они в конце концов где-то пристроились. Я поднимался на цыпочки и поверх голов глядел, где мой Гриша. Черт возьми, глупо вышло, что ему придется сейчас платить, а мне потом отдавать. В пивной было противно, но я радовался, что попал, наконец, сюда. Пусть кто-нибудь скажет теперь, что я профессор или что-то такое!

— Эй, ты где?— позвал меня Гриша, и я ответил ему:

— Сюда, здесь я!

Он вынырнул из толпы с двумя кружками, с бутербродами, а потом достал из пальто откупоренную и ополовиненную поллитровку: видно, только что разлил с кем-то пополам. И один стакан.

— Водку пьешь?— спросил Гриша.

Я терпеть не мог водку, мы с ребятами пили тогда всякие сладкие вина или ликеры, но я, конечно, не признался.

— Ладно,— сказал Гриша.— Раз в жизни, с получки, сам бог велел.

Я быстро сосчитал, сколько все это может стоить, и старался больше об этом не думать, но все равно думал и думал, сколько мне надо отдать и сколько останется. Даже неприятно было.

Мы выпили, стали есть бутерброды с салом и потягивать пиво. Я даже не поморщился от водки, махнул чуть не целый стакан и хоть бы что.

— Гриш, а деньги-то?— сказал я и полез в карман.

У него рот был полон, он замычал и стукнул меня по руке. Потом прожевал и сказал строго:

— Ты что это, шуток не понимаешь?

— Ну как же, Гриш?

— Да ты что в самом деле?

— Ну... я думал... Я ж сам... Ну и вообще, обычай есть такой...

— Обычай! Ты сначала заработай на водку — понял?— а потом угощай.

Я что-то проямлил. Все равно глупо вышло.

— То-то же!— опять строго сказал Гриша.

Нам стало жарко, мы расстегнули пальто, Гриша сбил кепку на затылок. Народ все подходил, нас сжимали, кто-нибудь выныривал с кружками и подозрительно глядел: допили мы или так стоим, ласы точим без дела. Гриша сказал, чтобы я приезжал как-нибудь к нему в гости, там можно посидеть спокойно.

Потом мы ушли, на улице еще похолодало, и дождь сыпал, но мне было тепло, хмельно и не хотелось домой. Я проводил Гришу к электричке, и мы стояли на платформе под навесом и все разговаривали. Я говорил в запале, что не пойду теперь в институт, буду всегда работать на заводе, научусь и стану зарабатывать как следует, а история — что ж, я и так могу учиться и читать, что хочу, было бы желание, а знать буду не меньше, чем другие, подумаешь! И пусть мастер на меня не косится и не болтает, что я сбегу. Латынь я и сам выучу, и греческий, если нужно, и вообще я не собираюсь быть учителем истории, а меня интересует наука. И например, у меня есть одна идея насчет истории России, и если б мне только добраться до книг, засесть за них по-настоящему...

— Ну ладно,— сказал Гриша.— Ты не кричи, народ смотрит. Я поеду, а то поздно уже...

— Да-да, сейчас.— Я торопился.— Понимаешь, страны, как звезды, понимаешь, они затухают и вспыхивают вновь...

— Хорошо,— сказал он.— Вон моя гудит. Ты давай тоже домой сразу.

Подлетела мокрая электричка, слепя прожектором и шипя тормозами. За мокрыми запотевшими стеклами было светло, люди уютно сидели в тепле, кто книжку читает, кто прислонился к стеклу и смотрит сюда, на улицу, какая станция. Я пошел по мокрым доскам, подняв воротник, сунув руки в карманы.

— Это все ты не выдумывай!— крикнул Гриша, и двери захлопнулись.

— Чего? Чего? — кричал я. Он там делал какие-то знаки за стеклом, крутил головой, но я так ничего и не понял, и электричка ушла. Но он имел, конечно, в виду ученье, так я подумал, что же еще, кроме ученья: все, кто не учился, говорят: учись, а кто учился, бывает наоборот: зачем, мол, это надо.

5

Нас посылали от цеха на картошку — меня, Секундомера, Тому, еще троих ребят. На целую неделю, до ноябрьских праздников. Тогда без конца посылали из города на картошку. Мастер Мишка подошел с двумя списками: в одном — кому ехать, а в другой заносил желающих пойти на оперу «Травиата».

— Чего он там наработает,— сказал про меня Гриша.— Кто это там придумал? Пусть остается, он мне нужен.

— Ну что ты!— сказал я испуганно.— Зачем? Я не отказываюсь.

— Да ты копал ли когда?

— Там копать не надо,— как всегда, весело ответил за меня Мишка,— там картофелекопалка — подбирай только.

— Ты мне не объясняй,— Гриша сердился, видно, недоволен был, что я влез в разговор.— Сам бы и ехал или Титкова вон посылал.

— Только там, наверное, сапоги нужны,— сказал я.— А у меня нет.

— В колхозе дадут,— сказал Мишка и обернулся к Грише.— Ну, писать тебя?

— Ну, пиши, что ли, а что за пьеса-то? Сроду не ходили, надумали!

— А как же,— ответил Мишка,— «Травиата», опера, говорю же, как одна там была вроде дешевки, что ли, а потом завязала это дело. Про любовь, в общем.

— Гм. Почему билеты?

Мишка назвал разные цены. Гриша глянул на меня, повел глазами в сторону, опять хмыкнул.

— А сапоги там ни черта не дадут, не трепись,— сказал он Мишке.

— Конечно, кто ж ему даст,— вдруг согласился Мишка,— откуда там сапогов наберутся? Так писать, что ли?

Гриша смотрел на меня, а я на него. Потом я сказал:

— Это красивая опера, грустная такая.

— Ты видел?

— Да, слушал.

— Оперы еще...— Гриша усмехнулся и махнул рукой.— Ладно, валяй, какие получше, где наша не пропадала!

Мишка стал записывать, примостясь тут же на станке.

— Два?

— Два, конечно, один, что ли, я пойду? А сапоги,— он обратился ко мне,— я тебе свои принесу. Ты какой носишь?

Я сказал.

— Ну, в самый раз. И еще бушлат у меня есть брезентовый.

— Ну вот, видали!— сказал Мишка не то про оперу, не то про бушлат.

— Когда уж это кончится?— Гриша опять хмурился.— Прошлый год ребята ездили, из-под снега ее доставали, и обратно...

— Шефство!— ответил Мишка.— Помощь города селу!

— Пошел ты!— сказал Гриша.

На другой день он принес мне бушлат и сапоги.

Крепко меня выручила Гришина одежда!

Я не буду рассказывать про неделю в деревне — помню, что вернулся я и никак не мог забыть картошку, которую мы действительно выбирали уже из-под снега, из грязи, а потом она смерзалась в ворохах, потому что ее не вывозили: машины буксовали, их самих вытаскивали тракторами, а снег сыпал и за ночь заметал бесконечное белое поле, по которому, словно могильные курганы, стояли белые бурты, которые мы накануне натаскивали, насыпали ведрами... И зачем нас только посылали, отрывали от работы, кормили, гоняли машины?.. Тома у нас там заболела, и ее положили на печь, а до этого все мы спали в избе на полу, и тут же на полу сушилась у хозяев рассыпанная картошка.

Снимая вечером и натягивая утром тяжелые сырые сапоги (Секундомер меня учил, как накручивать портянки), я всякий раз вспоминал добрым словом Гришу.

Мы вернулись под праздник, пятого или шестого, на работу вышли девятого. Я бежал, спешил, оказывается, успел соскучиться, и не терпелось повидать Гришу, Володьку, узнать, как там прошел их культпоход на «Травиату». Мне вроде тоже обрадовались, и особенно Гриша.

Про «Травиату» он сначала не стал много рассказывать, видно, не хотел меня обидеть:

— Да, красивая вообще штука эта опера, — а сам усмехался. А потом сказал: — Поют там, понимаешь, и ничего сперва не разберешь, вроде не по-русски, я только под конец вник, улавливать стал. Вчетвером как затянули каждый свое — где тут понять? Но вообще интересно, конечно...

А про колхоз, когда я стал рассказывать, Гриша слушал хмуро и раза два выругался, хотя редко ругался при мне.

— Я сам два года в эмтээс проработал, знаю это дело, — сказал он. — Но ты ладно, не думай много, мозгов не хватит.

Он даже руку положил мне на плечо — мы сидели рядом на подоконнике — и подержал ее так немного у меня на плече.

— На земле самая тяжелая работа, — добавил он, будто успокаивая меня. — Еще тяжелее, чем наша. (Разве наша такая тяжелая? Я еще не понял в ту пору.) У меня вон три сотни всего, садик вшивенький, и то все время рук требует...

Я молчал. Гриша умолк тоже, и мы еще долго так посидели.

— Ладно, — сказал он потом. — Давай работать.

Я еще сказал ему спасибо за сапоги.

— Да ну, чего там! — Он поднялся и немного постоял, задумавшись. А потом мы пошли к станкам.

Как-то в пересменку, когда все рабочие были в цехе, созвали собрание: дело шло к концу года, годовой план надо было выполнить до срока, выступали с речами начальник цеха, парторг, мастер Дмитрий Дмитрич, люди густо сидели на верстаках, ящиках, прямо на полу, стояли. Потом пошло разное, насчет дисциплины, прогулов, чистоты, спецодежды и тому подобного. Говорили, что мы хуже всех на заводе и когда уже хоть душ нам сделают. Потом о чтке газет. Что

вот, мол, десять раз постанавливали читать в обед газеты, летучки делать, и все равно дуются в «козла» и никакой полнотработы нету. Стали кричать:

— И без того все грамотные!

— Что уж, мы сами газет не читаем!

— Не детский сад!

— Пустой разговор!

Однако постановили: газеты в обед читать и поручить это дело новеньким, грамотеям, это значило,— мне и Володьке Беляеву.

Так появилась у меня общественная нагрузка.

Уже на другой день я, усевшись повыше на верстак, развернув газету, скороговоркой вычитывал самые интересные новости. Вокруг меня собралось человек двадцать: разложив на коленях завтраки, жевали, хрустели бумагой, пили молоко и кефир, слушали. В другом конце, у окна, за столом мастера, все-таки играли в «козла». Володька Мороз был, конечно, там и время от времени, грохнув фишкой о стол, кричал мне: «Ты давай погромче, ты давай нас тоже охватывай!» Его утихомиривали: «Ладно! Помолчи! Тише там!»

Ничего особенно интересного в газете не было, я за пять минут прочел все, что можно было, а люди расположились надолго, по-серьезному и расходиться теперь, видно, не хотели. «Надо других газет штуки две брать»,— сказал кто-то. Потом кто-то еще спросил, вспомнив прочитанное: «А вот как она сейчас вообще, Дания?»— и стали говорить вдруг про Данию. И никто ничего, оказывается, не знал про Данию, а старик Пилипенко и вовсе спросил: «Где это?» Я стал рассказывать, что помнил, меня слушали.

Потом настала очередь Володьки Беляева.

Володька в подробности не вдавался — прочтет заголовок и говорит: «А, это мура, это неинтересно!» — «Да ты читай давай!» — крикнут ему, а он: «Что вы, ей-богу, как маленькие, читай вам, большие, что ли?»

Потихоньку дело с чтением газет заглохло — должно быть, до следующего собрания, но за мной осталась слава, что я много чего знаю и хорошо рассказываю. Когда я заходил, например, потом в резальную и там вдруг почему-то оказывался Пилипенко, то он семенил мне навстречу и говорил: «Ну давай, милок, расскажи чего-нибудь...» — «Да что вы, что я расскажу?...» — «Ну-ну, расскажи-ка давай, расскажи...» — «Да о чем?...» — «Ты ему про американцев давай, — прогудит Секундомер. — Он про американцев любит». — «А может, про русских рассказать?» — говорю я. «А что про

русских?— удивится Пилипенко.— Чего, новости, что ль, какие?..»

И вот однажды, пока Секундомер, втянув в станок болванку, отрезал сталь, которая была мне нужна, я действительно решил рассказать старику о русских: меня распирало в ту пору от прочитанного, я проглатывал том за томом Костомарова, Соловьева, Ключевского, все было не так, как говорили в школе, все переворачивалось в голове.

Почему-то я начал о самом эффектном, должно быть, только что прочел, и картины эти еще стояли перед глазами: как Степан Разин гулял по Каспию, разоряя берега от Дербента до Баку, как вернулся в Астрахань и был так богат, что веревки и паруса на стругах висели шелковые, и как хотел вроде бы повиниться перед государем, но передумал и «учинил дурость» в Царицыне, и как пришел к нему Васька Ус, а потом весной они вместе двинулись на Астрахань, разбив пред тем московских лопатинских стрельцов.

Я рассказывал, как воевода астраханский, князь Прозоровский и митрополит Иосиф ждали Разина, как на валах и раскатах ставили пушки капитан «Орла» Бутлер и полковник англичан Фома Бойль и как от «воров»-разинцев пришли «прелестные грамоты», и в том числе Бутлеру на немецком языке, а Разин стоял в это время у Жареных Бугров с семитысячным войском...

Резальный станок давно отпилил заготовку, вокруг меня, кроме разинувшего рот Пилипенко и Секундомера, появились еще слушатели — каждому, кто входил, говорили «тише!», и вошедший оставался. Мне давно бы надо было вернуться на свое место, но я уже не мог остановиться. Я рассказывал, как изменили астраханцы воеводе, как вместо того, чтобы лить на врагов, приступивших к стенам с лестницами, смолу и метать копыя и камни, принимали их прямо с этих лестниц в объятия, как сами пошли резать и грабить своих «начальных людей». Не забыл я и о последнем оплоте астраханцев, о Капсулате Муцеловиче Черкасском и его девяти пушкарях, которые засели в пыточной башне и стреляли по разинцам, когда вышел свинец, медными деньгами.

Я волновался и словно видел перед собой этот званный обед у митрополита Иосифа, когда Иосиф, друг убитого на паперти Прозоровского, позвал к себе Разина, и ввалилось сто казаков, и Иосиф угощал их, кланялся в пояс, и улыбался, а потом выдал скрывавшуюся у него в кельях жену Прозоровского с княжатами, и княжат повесили за ноги на стене —

одному было шестнадцать, и он смело отвечал Разину, а другому восемь...

— Это еще что здесь у меня такое?— вдруг рывкнули за моей спиной.

Явился Дмитрий Дмитрич. Слушатели мои быстренько потекли в дверь, я тоже бросился за своей заготовкой. Мастер смотрел свирепо, и трубка его пыхтела. Старик Пилипенко засуетился:

— Да это так, милок, это он так, ничего...

— Ты смотри у меня!— сказал мастер.— А то я за ноги-то тебя повешу!

И мне было стыдно, что он опять меня не за делом застал.

Минут через десять Пилипенко проскользнул мимо мастера к нам на участок, уцепился за мой рукав:

— Ну, а дальше-то, милок?

Я уже поставил тиски, заготовку, затягивал болты, мне не до Разина было.

— Как-нибудь в другой раз...— пообещал я ему.

Он подкатил к Панину и стал — я видел издали — хвалить меня, покачивать головой. Грише тоже некогда было, он кивнул раза два, соглашаясь, глянул в мою сторону, подмигнул одобрительно и продолжал работать.

Володька Беляев сказал, что он все выяснил насчет наших нарядов и что все очень просто. Мастер, конечно, не кладет этих денег себе в карман, но он заинтересован, чтобы лучшие рабочие, которые делают основную работу, получали бы больше, чем другие. Они и сами зарабатывают, конечно, но если есть возможность им «подкинуть», то почему не подкинуть? И вот мастер делит наши ученические деньги на тех, кто, по его мнению, этого заслуживает. Там, конечно, не бог весть какие суммы, но все-таки. «Два плюс один,— как сказал Володька,— это уже будет три».

— Что же, выходит, что и Панин, значит?— Я усмехнулся и пожал плечами.

— Вот как раз, наверное, твоему Панину в тот раз и пришлось. Водовоз не получал, Филя — ты сам видел, как орал.— И Володька называл еще три-четыре фамилии семи-разрядников, кто, по его мнению, тоже мог бы получить деньги по нашим нарядам, но не получил.

— Брось ты!— сказал я.— Не поверю.

— Дурак ты, дурак!— сказал Володька.

Нет, этого действительно не могло быть, я не верил: Гриша и какие-то денежные махинации, нет, не может быть. Может,

мастер сам так делает, но тайком от всех? Но если даже и так, я не думаю, чтобы в этом было что-то преступное. Наверное, так надо. От ученика какой толк? А если уйдет, допустим, Гриша или даже Филя Зуев, то кто сможет сделать то, что они делают? Мастер у нас, конечно, крокодил, что там говорить, но за производство он болеет, это все знают. Наверное, он делает как лучше. Панин вообще-то получает раз в шесть-семь больше меня, на то он и Панин. Как-то недавно мы вместе делали шаблоны, он и я, шаблоны почти одинаковые, но ему заплатили за них вдвое больше, чем мне, я сам видел наряды. Ну и что такого? Я ж не обиделся. Он лет двенадцать работает, а я без году неделя. Нет, зря Володька ершится, я, например, не стал бы. Пусть. Интересно только, врет он или нет? Берет Гриша э т и деньги или не берет?

Я потом улучил минуту и прямо спросил:

— Гриш, скажи, пожалуйста, а вот эти деньги, что по моим нарядам и вообще учеников?..

— Да-да,— он быстро перебил меня.— Да, будешь получать теперь, я мастеру сказал. И разряд пора давать тебе. Техминимум сдашь и разряд получишь...

— Правда? Это бы здорово!— Я обрадовался.— А то куда они раньше шли?

— Кто?

— Ну деньги эти. Говорят, будто мастер...

— Ну да, верно, он их р а с к и д ы в а л...

— Как?

— Ну, раскидывал — тому, другому...— Гриша стоял ко мне боком и все хотел уйти, а я каждым новым вопросом задерживал его, и, наверное, потому он отвечал с легкой досадой.

— Но ведь это несправедливо,— сказал я. Сам я не знаю, зачем вдруг так сказал, ведь думал до этого, что, наоборот, справедливо и ничего особенного в этом р а с к и д ы в а н и и нет.

— Да ты не волнуйся, я ж тебе сказал, что получишь...

— Я ведь не волнуюсь, Гриш, я вообще, понимаешь...

— Чего вообще?

— Ну вообще. Так. Не из-за себя, понимаешь. Я и не знал. Нет и нет. Но вообще противно, когда шахер-махер какой-то.

Он хмыкнул и отошел, не поглядев на меня. Я остался стоять, как-то было неловко. Я понял, что Володька не врал. Он не врал, но Грише тоже неприятно, я же вижу, что неприятно. Ну ладно, ничего, пусть. А насчет разряда — это здорово!

Как-то, хоть и случайно, я попал к Грише домой. Не то чтобы в гости, но почти что. В конце смены ему позвонила жена, Галя. Это редко случалось, чтобы кого-то звали к телефону, а тут один слесаренок, из тех, кто поближе к столу мастера, прибежал и кричит: «Панин, к телефону!» Гриша пошел и вернулся сердитый. Я спрашиваю: «Ты что, случилось, что ли, что-нибудь?» — «Да мура! — отвечает, а сам хмурится. — Затеяла тоже!» Оказывается, жена в мебельном магазине стулья купила и ждет Гришу, а Гришин брат Лёха, с которым вместе нести договорились, не пришел, и вот она волнуется, просит, чтобы Гриша кого-то с собой взял, кому до дому по пути.

Тут я, конечно, вызвался помочь, я рад был для Гриши что-нибудь сделать, даже пусть стулья нести, и еще мне интересно было на его Галю посмотреть, а то жена, а какая она, я так и не видел. Сначала Гриша отказывался: «Да ну что, ей-богу, брось ты!» — а потом согласился: «Ну ладно, хоть до электрички поможешь, там недалеко...»

Мы подъехали к мебельному на троллейбусе — большущий магазин на полквартала. Я еще никогда ничего в мебельном не покупал, мне интересно было. Тут, как всегда, стояли вдоль тротуара автофургоны — в один из них человек пять затаскивали голубой диван, модный такой, из двух половинок. Прямо на грязном тротуаре выстроились светленькие шкафы, а улица была серая, осенняя, с растаявшим снегом, и у шкафов был жалкий, озябший вид. Прохожие отражались в зеркалах, и мы с Гришей тоже отразились по очереди раз пять: он сердитый, в кепке и своем коротком полупальто, а я в куртке и все еще без шапки, с синими от холода щеками. Тут толклись все больше женщины, возбужденные, крикливые, и мельтешили «вась-васи», ища, кому что поднести, подвезти, и толкались шоферы, грузчики, сами мебельщики-продавцы в синих халатах, и у них, особенно у мебельщиков, тоже был яро-деловой вид, глаза горели, каждого то и дело куда-то кто-то отзывал, о чем-то договаривался, держал за пуговицу халата, заглядывал в глаза, а они слушали нетерпеливо и уже глядели в сторону — словом, это был настоящий торг, азартный и шумный, и народу толпилось, входило и выходило множество. «Во жуки-то, во жуки», — сказал Гриша даже как будто изумленно.

Галю мы нашли где-то в середине магазина, возле горы обернутых в бумагу стульев, возвышавшейся чуть не до по-

толка. Это была худенькая, очень молодая женщина, щеки ее тоже горели, красное пальто было расстегнуто, и платок съехал с головы. «Гриша, ты погляди только, ты погляди какие, и задешево совсем», — начала она сразу, отгибая бумагу с сиденья стула. «Ну ладно, ладно, вижу», — сказал Гриша сердито, — не могла уж тут кого срядить, вот парня пришлось просить». Он сразу сказал ей обо мне, чтобы она здесь не очень-то распространялась. И она поняла, смешалась, улыбнулась, запахнула пальто и протянула мне руку — знакомиться. Я глядел весело, приветливо, мне не хотелось, чтобы они стеснялись меня.

Стулья были солидные, крепкие, с ярко-красными в крапинку мягкими сиденьями, не какие-нибудь там тонконогие, на трех ножках, чашеобразные модники, а обыкновенные, приличной тяжести, хоть и не отечественные изделия. «Ничего вроде», — неуверенно сказал Гриша и поглядел на меня. «Тебе-то как?» — спросил он потом у Гали. Я бодро сказал, что вполне приличные стулья, а Галя быстро стала объяснять, что она пошьет на них чехлы, что стулья в самый раз для комнаты, что она полдня за ними стояла и взяла чуть ли не последние полдюжины. «Ну, порядок тогда», — сказал Гриша, — давай мотать отсюда. — И, опять обращаясь ко мне, как-то виновато сказал: — Совсем сидеть дома не на чем, люди приходят, неудобно даже». — «Доску кладем, — добавила Галя, — по соседям табуретки собираем», — и тоже улыбнулась, как Гриша.

Мы взяли по два стула и отправились. Гриша хотел найти такси, но Галя сказал, что в легковом не повезут, а грузовое дорого, да и не отыщешь сейчас. Едва мы вышли, к нам бросились сразу два-три типа, но я, пристраивая стулья на голову, сказал, что мы сами управимся. Так мы и пошли, даже в троллейбус не стали садиться. Гриша держался следом за мной, он взял у Гали еще стул и нес три. «Прибарахлились, — смеялся он сам над собой. — Мебелья отрываем!»

На перроне, пока мы ждали электричку, Гриша сел на стул, скрестил на груди руки, надул щеки и стал изображать барина. «Жанá, — дурачился он, — подай мне шаньпаньского!» Я его ни разу еще не видел таким. «Ну, ну, взялся, обалдуй!» — укоряла его Галя и радостно смеялась.

Я поехал с ними, ясно было, что сами они свою мебель не доташат, и они долго извинялись, и Гриша опять нахмурился. Мы ехали в тамбуре, Гриша сказал: «Хорошо, хоть стемнело, а то сейчас потянемся по поселку...» — «Да мы что,

украли, что ли?»— сказала Галя. «Ну ладно, ладно...» И что он так стеснялся этих стульев?

Мы шли потом от станции минут десять, под ногами чавкала грязь, а крыши и деревья в палисадниках белели от снега, фонари стояли далеко друг от друга, и пахло морозцем, прелым листом, вечерним дымом. Теперь Гриша шел впереди, торопился, и Галя сильно отстала от нас. Мы пришли раньше, и, когда сбросили наконец стулья на крыльце маленького, высоко стоящего дома с высокими окнами, светившими уютным красноватым огнем, Гриша тихо выругался и сказал вдруг: «Вот не люблю я это как-то, прямо удавился бы...»— «Да что? Что тут такого?»— сказал я не очень искренне, потому что сам сильно презирал всякие блага жизни. «Да ну, как-то...» Он не умел объяснить, но я понимал, чувствовал, в чем тут дело: мне бы самому, если бы пришлось вот так нести свои стулья, тоже было бы неловко.

На крохотной застекленной терраске, пропахшей яблоками, Галя, быстро скинув пальто, стала раскручивать со стульев бумагу, стружку, вытирала их чистой тряпкой от выступившего на полированном дереве тумана. Ей помогала нестарая еще женщина, которую Гриша называл тетя Поля,— его теща, такая же худенькая, как Галя, и моложавая. Тут же вертелась смуглая, с темными глазами — вылитый отец — девчонка в черных валеночках. Это и была Гришина семья. Все они мне понравились.

Гриша переворачивал каждый стул, постукивая, щупал, рассматривал бумагу и как уложена в ней стружка, покручивал головой и говорил: «Чисто все делают, черти». Потом он сказал строго: «Ну ладно, посмотритесь еще, поесть бы нам дали». И Галя спохватилась, стала приглашать в комнату, сама бросилась на кухню. Минут через десять мы уже сидели за столом.

В комнате было чисто и тесно от вещей. Когда я осмотрелся, переводя взгляд с укрытого вышитой салфеткой телевизора на диванные подушки-думочки, на этажерку с немногими книгами, на большой сундук, покрытый ковриком, на швейную машину и выпиленную лобзиком полку с вазочкой, в которой стояли восковые розы, и на другие вещи, Гриша, потирая подбородок, сказал: «Вот так, значит, и живем, такое наше хозяйство». Я торопливо улыбнулся и сказал, что мне очень нравится, потому что в Гришином тоне опять мне слышалось извинение или досада даже, словно он стеснялся, что я вижу, как он живет.

Обедали все вместе, и было весело и хорошо: Галя рас-

сказывала, как она стояла в очереди и какие там, в мебельном, порядки; тетя Поля все ужасалась, как это я хожу без шапки и больно уж худой, не кормят меня, что ли, совсем; девочка сначала долго, в упор, рассматривала меня, а потом, когда я ей надоел, стала приставать, скоро ли включат телевизор. Все, кроме девочки, выпили по две рюмки вкусной домашней рябиновой настойки, и я с голоду, что ли, или от тепла, от радости, захмелел и был совсем счастлив, что познакомился с такими хорошими людьми, и что Гриша — душа человек, и жена его Галя — славная, и это замечательно, что они купили себе стулья, шесть крепких красных стульев, которых им хватит на много-много лет.

Потом мы с Гришей стали говорить о заводе, и было очень здорово, что мы сходимся во мнении о знакомых нам людях. Титков — барахло? Барахло. Секундомер — чужак, но добрый парень? Да, так оно и есть. Дмитрий Дмитрич — волкодав или не волкодав? Но тут Гриша меня остановил: «Ты не понимаешь,— сказал он,— Дмитрич всю жизнь тут, он с двенадцати лет работает, ему комар носа не подточит. Ты не думай, на нем все больше, чем на начальнике цеха, держится. Чего-чего, а за производство Дмитрич болеет, как за свое, это каждый скажет». — «За производство он болеет! — почти крикнул я. — А с людьми он как обращается? За людей он болеет?» — «Ну, это что... — просто сказал Гриша. — У него главное — план. А люди — что ж... Уж так он привык, не переделаешь...» Галя стояла тут же, собирая посуду, и сказала вдруг: «Барбос он, твой мастер, еле уломала к телефону тебя нынче позвать, прямо рычит, будто ты свое не отработал...» — «Ну ладно,— сказал Гриша,— ты еще! Все stanno звонить, что будет?..» Я понял, что больше не стоит говорить о Дмитриче.

Гриша пошел проводить меня до станции. Прощаясь, тетя Поля все хотела надеть на меня старую Гришину кепку, я еле выскочил на крыльцо. Галя говорила, чтобы обязательно приезжал к ним еще. Когда мы пошли, Гриша тоже сказал: «Похолодало, смотри, мозги-то свои ученые протудишь». — «Черт с ними,— сказал я. — Зачем они мне?» — «Брось, брось,— ответил Гриша,— а то вот будешь, как я...» — «А что ты? Я б хотел, как ты». — «Ладно, хотел!.. Я сам живу, живу, а потом, бывает, подумаю... Ну да что тут!..» Мы проходили как раз под фонарем, я сбоку поглядел на Гришу, лицо у него было огорченное. Чего это он? Я вспомнил, как он сидел на своем обернутом в бумагу стуле на перроне и изображал барина, смеялся. «Ну ладно,— сказал он опять,

будто самому себе.— Жизнь, она еще большая...» Я вроде понимал, о чем он говорит, и не понимал, мне хотелось ему что-то ответить, и я не знал, что и нужно ли, и мы молча прошли остаток улицы. Было десять часов, но улица стояла темная, во многих домах уже спали — завтра рано на работу. Прощаясь со мной, Гриша тоже смачно зевнул, pokrutil головой и опять, уже с какой-то беспечностью, сказал: «Ну ладно, чего там! Бывает! Прости уж за стулья-то эти чертовы, тяжелые ведь были...» — «Всю макушку отбил», — признался я. Мы рассмеялись. «Имущество!» — сказал Гриша. «А как же», — сказал я и пошел вверх по переходной лестнице, потому что вдали засветил огонь и глухой, автоматически включающийся женский голос прогундосил над путями: «Внимание, идет поезд на Москву, осторожнее!»

«А как же?» — повторил я про себя. А что «а как же?», почему «а как же?», черт его знает...

8

Дурацкая зима — снегу почти нет, но холодно, ветер, гололед. Я вместе с остальной толпой — народу много, все со смены, — жду на остановке свою «двойку». Темно, фонари давно погасили, только светятся позади голубая стеклянная витрина «Гастронома» да пустые телефонные будки. Вспыхивают светофоры на перекрестке. В глубине витрины разноцветно горит огоньками крохотная елка. И еще там муляжная колбаса. Сейчас бы кусок колбасы с булкой! Мою куртку насквозь пробивает ветром, перчаток у меня нет. Где этот проклятый трамвай? Надо бы попрыгать, но я так устал и так хочется спать... Я все время сплю: приеду домой, поем — и спать, даже в цехе в обед ухитрюсь прилечь на подоконнике и сплю — хоть двадцать минут, хоть десять. Никогда в жизни так не уставал.

Где же трамвай, а то сяду сейчас на корточках, привалюсь к столбу и засну. Ноги гудят, и в руках все время дрожь, будто я продолжаю сжимать рукоятки станка. Только теперь, когда мне дали разряд и я уже не ученик, я узнал настоящую работу. Нас завалили. Конец месяца, конец квартала, конец года. Аврал. Теперь у нас не две смены, а три. Я сейчас приеду, выплусь после вечерней, а завтра снова выйду в утро. Никаких перекуров, хождений, разговоров, ни одной свободной минутки. В уборную бежишь бегом. И главное, все появилось: и сталь, какая нужна, и инструмент. Даже началь-

ник цеха весь день на глазах, а бывало, неделями его не увидишь. Сегодня Лена сама разносила из инструменталки сверла, а Пилипенко и Секундомер развозили на тележке заготовки — вот до чего дожили! Я еще когда, помню, говорил о тележке! Все умеют найти и организовать, когда надо, когда прижмет! Давай, давай!

Вот, слава богу, наконец, трамвай тащится! Все вокруг задвигались, сбились теснее. Трамвай подошел. Витрина, колбаса, елка... «Жми, жми!.. По одному! Куда прешь?» Влезли. Я плюхнулся на свободное место, мне далеко ехать, и поскорее закрылся воротником, отвернулся к окну, чтобы никому место не уступать. Вот какой обезьяной стал! Но вообще-то если какая-нибудь женщина появится или старик, все равно встану, не усужу. Но пока вроде одни парни рядом. Ладно, поехали. Витрина, елка...

Я прикидывал, сколько получу к Новому году денег, — выходила какая-то небывалая сумма. Но зато мы и работаем! Мы так работаем, что ого-го! Сегодня мы с Титковым стояли на обдирке в опытном — там тоже зашиваются не хуже нас, грешных. Мы не разгибались всю смену. Я даже не поглядел на свой любимый опытный, как всегда, — некогда было.

Титков работал голый по пояс, спина и плечи мокрые, волосы на голове тоже мокрые от пота, как после бани. Мастер подошел, говорит: оденься, не положено, стружкой обожжет или еще чего. Титков, который перед всяким начальником — руки по швам, только оскалился, даже ладони с рычагов не снял. Он здоровый, как бык, и то взмок, а я в два раза тоньше — вот и сплю теперь. Но он только на плитку меня обошел. У него было семнадцать за смену, а у меня шестнадцать. Ну и деньки!..

Трамвай бежит быстро, колыхается из стороны в сторону, колеса бьют. Я совсем сплю. Сплю, а перед глазами мелькает и мелькает облитая эмульсией фреза, летят белые дюралевые стружки... А вчера я запорол одну штуку. Шесть часов провозился и запорол. Дмитрий Дмитрич чуть меня не загрыз, и Гриша тоже подскочил: «Что ж ты, так тебя, делаешь!» Я сам готов был стукнуться башкой о станину, и они еще навалились. «Ну хорошо, хватит!» — сказал я грубо. И метнул эту проклятую железку — отличная была железка, похожая на маленькое лекало, уже отшлифованная по одной плоскости, тонкая и еще теплая, — я метнул ее в ящик со стружкой и пошел за новым куском стали. Начал все сначала, а Дмитрий Дмитрич являлся ко мне через каждый час...

Я сплю, трамвай гремит, народу все меньше. Не проехать бы! Я достаю из-за пазухи книжку. «Между тем вследствие благоприятных известий из Польши Петр решил оставить Пруссию и ехать дальше на запад. К нему навстречу спешили две образованнейшие женщины Германии: курфюрстина ганноверская Софья и дочь ее, курфюрстина бранденбургская Софья-Шарлотта...» Мелькает фреза, летят белые стружки... Перевернул страницу, а что прочел — не помню. Я уже вторую неделю читаю заграничное путешествие Петра и не могу сдвинуться с места... Да, курфюрстины принимают молодого царя... «Очень люблю кораблеплавание и фейерверки». При этом он показал свои руки, ставшие жесткими от работы.

Я тоже люблю кораблеплавание — то, что мы делаем у себя в цехе, у себя на заводе, плывет потом по всем морям и океанам. Я еще не видел моря никогда. И кораблей и фейерверков. У меня руки тоже стали жесткими от работы. Сухие и твердые ладони. Я еду домой. Завтра вот так же, еще в темноте, до рассвета, я опять буду трястись в этом трамвае. Я не могу читать. Я сплю. Мне навстречу спешат две образованнейшие курфюрстины, одна просто Софья, а другая Софья-Шарлотта, ее дочка. Симпатичная такая девчонка с белыми буклями и в платье колоколом. Я показываю ей свои жесткие от работы руки. Она говорит, что это ничего. Она машет веером... Я просыпаюсь, потому что книга валится на пол, мокрый и грязный решетчатый трамвайный пол. Я приникаю к темному стеклу. Слава богу, не проспал, моя следущая...

9

Это было уже в последний день, тридцать первого. Мы успели, мы все сдали тридцатого, и в этот день уже не работали — чистили станки, потом было собрание, начальник цеха читал приказ директора, там нашему инструментальному тоже, среди других, объявляли благодарность. Все похлопали. Собрание было коротенькое, спешили домой. Цех оставался пустой, чистый, и солнце светило в окна, совсем как в то первое утро, когда я пришел. Еще утром, по дороге, я подобрал на улице еловую ветку, приткнул ее на свой «вернер», чтобы было красиво и тоже чувствовался Новый год. Надо мной посмеялись. И вот мы стояли уже одетые, собирались идти, когда появился этот длинный парень, прежний Гришин ученик, Валера.

«Ого-го! — закричали все. — Смотрите-ка, смотрите!»

Парень был как из кино — он, идя к нам, пожимал всем на ходу руки, а мы стояли своей кучкой, глядя на него, и он издал махал Грише, и можно было его рассмотреть. Он и махал так, как машут в заграничных фильмах: подняв ладонь и поводя ею из стороны в сторону. На нем было светлое короткое гороховое пальто, и брюки в струнку, и шарф узлом, и голова не покрыта — красивый такой, длинный парень. «Нет, ты видал?» — сказал Володька Мороз Грише и как-то растерянно и глупо захохотал. Я спросил, кто это. Гриша, словно бы смутясь, ответил: «Да так, он работал здесь у нас, теперь мастер спорта, чемпион». Вон что! А я уж думал, артист какой-нибудь. Эффектный парень.

Наконец он подошел, и те, с кем он здоровался, потащились сюда, за ним, улыбались, переглядывались. «Валера-то, Валера, а?» Валера на голову был выше всех, он долго тряс руку Грише, мы, обступив, смотрели на них, потом они хлопали друг друга по плечам. «Ну, ты даешь! — говорил Гриша. — Ничего так. Пижон». — «Да ладно тебе, Григорий Петрович, — отвечал Валера. — Чего там! Как у вас-то?»

Валера поставил ногу на станину, и мы увидели, какие у него ботинки и какие носки, он расстегнул пальто и размотал шарф, и мы увидели, какая белоснежная у него рубашка, и муаровый галстук бабочкой, и золотая медаль на пиджаке. Как-то и слова ни у кого не шли изо рта, все разглядывали ослепительного Валеру, и он давал себя разглядывать. Закурили. Он всех угостил американскими сигаретами из красной коробочки, и коробочка пошла по рукам, ее крутили, вертели, нюхали, рассматривали со всех сторон — жалко, что Валера был не с коробочку ростом, а то бы тоже можно поддержать его в руках, рассмотреть и ощупать как следует. Разговор шел такой: «Ну, как ты?» — «Ничего, по-старому. А ты?» — «Да вроде тоже ничего». — «Да где ничего, смотри какой!» — «Да ну, чего там!» — «А что? Прямо артист!» — «Да ладно тебе, это все зола. Ну, а вообще-то как вы тут?» — «Да ничего...» Видно, Валере цех казался странным и смешным, он все осматривался, глядя на стены, потом кивнул на мой «вернер»: «Стоит?» — «А куда он денется?» Мне хотелось, чтобы он спросил, кто теперь работает на его станке, но он не спросил.

Валера был баскетболистом, и Володька Мороз завел с ним разговор насчет игр, чемпионата и когда, мол, мы уже выиграем у американцев. Потом подошел мастер Дмитрий Дмитрич, и мы расступились. «Привет мастеру!» — сказал Валера и как бы усмехнулся, и мастер тоже глядел на Валеру

прищурились и с усмешкой, а все вокруг заулыбались — видно, они в свое время не очень ладили. «Ну вот, видал, какой король!» — сказал Дмитрий Дмитрич. «Винovat, исправлюсь», — ответил Валера, совсем как Володька Беляев. Вокруг засмеялись. «Исправишься ты! Небось забыл, какое сверло-то из себя».

«Он долго работал?» — спросил я потихоньку у Гриши. «Года три, что ли». Между тем мастер спрашивал у Валеры, сколько он получает и делает ли еще что-нибудь, кроме того, что бегаёт за мячиком. «Мячик тоже работа», — сказал Валера. «Да уж! — мастер вынул трубочку изо рта и засмеялся. — Работники! А еще есть книжки читают, тоже работа». — «Ну ладно, пошли», — сказал Гриша. — А то Новый год все-таки сегодня».

На улице возле наших шалманчиков уже толпился народ. Валера и Володька Мороз полезли без очереди за водкой. Филя Зуев, мастер Мишка, Дмитрий Дмитрич и еще человек пять пошли занимать места в пельменной, мы с Гришей остались у палатки, ожидая Валеру и Володьку.

«Видал?» — спросил Гриша про Валеру. «Силен», — сказал я. «Вот так и ты когда-нибудь придешь», — сказал вдруг Гриша. — Или не придешь?» Мы стояли в сторонке, на снегу, солнце слепило Гришу, в своем куцем зимнем полупальто и широкой шапке он казался совсем маленьким. «Почему это?» — сказал я. — Чего мне приходится?» — «А что ж ты, весь век здесь будешь?» — «Не знаю. Но я, во всяком случае, не собираюсь...» — «Да ты брось», — сказал Гриша. — Тебе учиться надо, понял?» — «Да ты что?» — «Ничего. Я давно хотел сказать. Ты не втягивайся, понял?» — «Да ты что?» — опять сказал я. Чего это он вдруг? Почему? Наоборот, я привыкать стал, обжился и работаю как будто неплохо, стараюсь, никто не скажет. «Да я и не думаю уходить», — сказал я. «Уйдешь все равно. А не уйдешь, я сам тебя выгоню, понял?» — Гриша засмеялся. «Да ты что?» — сказал я в третий раз. «Ученые тоже нужны. — Он подмигнул весело. — А из тебя лучше ученый выйдет, чем работяга, понял?» — «Что ж, я плохо работаю?» — «Не в том дело...»

В это время от палатки донеслись шум, крики, из толпы вырвались Валера и Володька с бутылками, а за ними коренастый мужик в кепке и замасленном ватнике. Он был уже под хмелем. «Стиляги проклятые! — орал он. — Я две смены отстоял не жрамши и то в очереди топчусь, а вы гуляли, паразиты, всю ночь!» — «Дай ему! — подзуживая, кричал в ответ Володька. — Врежь ему, стиляге! Бей их!» «Посмеешь»

ся!— орал пьяный.— Паразиты чертовы!» Володька даже приседал от хохота, забавляясь. «Брось, пошли»,— сказал Валера. Двумя пальцами, вытянув шею, он поправил свою бабочку. «Чего вы там?»— спрашивал Гриша. «Да так, зола»,— сказал Валера.

Я думал о том, что услышал от Панина. Что это он вдруг? Почему? Я хуже других, что ли? Мне уходить, а Титкову, Секундомеру, Володьке Беляеву? Мы все вместе пришли... Я задавал себе этот вопрос и вдруг понимал, что Титков, Секундомер и даже Володька никуда теперь из цеха не уйдут. Они не уйдут, а я? Вот так, если честно, положи руку на сердце? Не знаю, ерунда какая-то. И зачем он об этом сказал?

«Ну ты что?»— спросил меня Гриша, когда мы входили в пельменную.— Чего надулся?» — «Я не надулся». — «Я тебе точно говорю, летом в институт пойдешь»,— сказал он опять очень уверенно. «Да брось ты, знаешь!» — Я начал злиться. «Чего вы?» — спросил Володька. «Учиться не хочет!» — сказал Гриша. «Профессор, как вам не ай-яй-яй! — Володька состроил дурашливо-строгую мину.— В ученье — свет, как сказал Александр Сергеевич Пушкин...»

Наши уже сидели за столиком, и Филя махал нам оттуда белой карточкой меню. Мы сдали пальто и во главе с шикарным Валерой вступили в зал. Под потолком висели елочные гирлянды и пахло хвоей, шел Новый год...



В. Мухомов

**КАЛЛИСТРАТОВО
БУЧИЛО**



ри недели назад, на зацвет волошника, Миша Закрепов осмотрел Каллистратово бучило. Узкая логовина, забитая гранитными глыбами, меж которых билась пенная, со взрывами брызг вода, тянулась на полкилометра в глубь горных отрогов, но с места, где стоял Закрепов с топором в руках, прижатый к берегу кустарником и густым пахучим разнотравьем, просматривалось метров пятьдесят, потом крутой излом сгонял воду к правому берегу, крутил винтом и скрывался в зарослях. Оттуда, из-за поворота, рвался истошный рев бурлящей воды.

— Беда-то еще, а? — сказал Закрепов, вытирая со лба брызги коричневой ладонью. — Вот беда-то...

Сунув за ремень топор, он выбрался из кустарника по вырубленному коридору и падиной, глухой маральей тропой, пошел вверх по реке, где расширялась логовина и желтое утреннее солнце освещало ртутную гладь воды.

— Беда-то, а? — снова сказал он, подойдя к коню.

Конь потерся головой о крепкое хозяйское плечо, ткнулся в шею мокрыми губами и всхрапнул. Закрепов, раздумывая, почесал выгнутую конскую шею и решительно пошел в тайгу, вытащил из-за ремня топор, сильными злыми взмахами срубил несколько пихт, очистил от сучьев и пустил хлысты в воду. Хлысты медленно и важно потянулись к логовине.

Закрепов видел, как вода швырнула лесины на гранитные глыбы. Один раз, другой. Потом столкнула лесины друг с другом, крутнула их с остервенением и ненавистью и снова бро-

сила на камни. Вместе с брызгами вырвалась из речного нутра серебристая, как рыба, щепка — и все исчезло.

— Беда-то, а? — повторил Закрепов, и на его узком жженом лице с белесыми густыми бровями отразилось беспокойство. — Не было печали, так черты накачали...

Вечером с низовья порогов приехал на лошади Деренков, местный житель, старожил. Он грузно скатился с седла, подошел к Закрепову, сидящему у костра, и сказал:

— Нетути, Миша... Как корова языком слизнула. Даже щепка — и та мелочь...

И, присев у огня, закончил:

— Да и откель иначе-то будет? Нонче воды вовсе нет. Гольцы всю зиму без снегов стояли. Откель вода?

Закрепов смотрел на огонь не мигая, и в его глазах, зеленых, ледяных, застряло мрачное неживое упрямство.

— Я тебе ранее говорил: не сгоняйте наруб к реке, а ты все свое — сплавим, — продолжал Деренков, тыча в землю заскоружлым пальцем. — Вот и сплавил. А за зиму-то подобра тракторами за милу душу через хребтины все постягал бы. А ноне и плавил бы по Тирсьме без заботушки.

— Какой черт знал, что воды не будет, — огрызнулся Закрепов, взметнув на Деренкова взгляд. — Ну, снегов не было — так на дожди надежда была. С водой-то я бы плотами лес прогнал поверх валунов...

— Можя, с водой бы и прогнал, — согласился Деренков, но тут же покачал головой с густыми жесткими нечесаными волосами. — Только и это Дунька надвое сказала. Ешо пятьдесят лет назад Каллистратов, царствие ему небесное, не к ночи помянутый, пытался на леску-то деньгу сшибить, да обсекся. Ни плотов не собрали, ни людей...

— Ты тут, старик, захирел со своими баснями, — недовольно бросил Закрепов и встал. — Я все равно спущу лес, понял?

— Откель не понял? Понял, — ответил Деренков, пожмая плечами. — Только я ведь не супротив, а наоборот, за тебя. Будешь каждое лето лес спущать, а мне веселее будет, при народе-то...

— Вот и договорились. Веди спать...

Утром после затяжного и мертвецкого сна Закрепов обмылся на реке ледяной водой и снова пошел на бучило. Когда возвратился, похлопал Деренкова по плечу, скалясь белыми крепкими зубами, сел на коня и уехал.

Спустя несколько дней у деренковского дома, распугав скотину и кур, опустился вертолет. Парни в брезентухах раз-

грузили во дворе взрывчатку, познакомили Деренкова со взрывником Иваном Кузьмичом Чайкиным, рыхловатым, в годах, мужчиной, с круглым простоватым лицом, и улетели. Взрывник выпил кринку холодного молока, посидел на ящиках с аммонитом, вытянув короткие ноги с заправленными под носки широкими штанинами брюк, огляделся.

— А что, хозяин, у тебя жить можно...

И засмеялся, довольно потирая руки.

— Думаю, слетаю, подышу в тайге,— продолжал он через минуту.— Здоровья поднаберусь. Тут воздух-то у тебя что ни на есть самый целительный. У нас в городе все шахтой пропахло, и от пылищи деваться некуда. А тут любо-мило. И чего это ты, Афанасий, подрывать надумал?

Но тут же забыл, о чем спрашивал, поднялся с ящиков и, переваливаясь на коротких ногах, пошел осматривать деренковское хозяйство с откровенной мужицкой завистью и любопытством. Особенно долго крутился он возле пасеки с высокими белыми ульями. В воздухе над поляной за расцветшим волошником млеял тяжелый медовый запах. Высокое солнце отбеливало травостой. Жужжали пчелы. Было так мирно и уютно, что Чайкин только вздохнул, глядя на хозяина и подошедшую хозяйку.

— Вот ведь как люди живут,— сказал он, когда вернулись во двор.— И на работу не ходят. В ночь там или в день. Поди, о производстве-то и понятия не имеешь, Афанасий?— Чайкин мелко стучал в плечо лесника и заглядывал в глаза.— Да и что тебе производство? Правда? Куркуль мужик. Все есть. Давно в этих краях-то?

Деренков поскреб подбородок и ответил:

— Откель недавно? Давно. Ешо Каллистратова застал.— Это — кабыть не соврать — он лет пятьдесят назад дело здесь зачинал. А уж я на тот год был гульной.

— Славно устроился,— продолжал Иван Кузьмич, мигая широко расставленными глазами на лобастом овальном лице.— Живи — помирать не надо. Поди, свинушку да телушку к зиме подколешь, а потом лежишь в морозы на кровати — табак соеешь да мясо ешь? Ты мне не говори, я вижу. А еще, чего доброго, и медовухи наготовишь. А, Афанасий?

— Мед-то свой — чего же медовушки не изготовить,— стыдливо и нараспев ответила за мужа хозяйка, не зная, куда спрятать большие морщинистые руки.

— Ядрена небось?— наседали Чайкин.

— Откель не ядрена? Ядрена.

— Чего ж не угостишь?

— Угощу,— заверил хозяин.

Так познакомились. А со следующего дня окопались на бучиле и тягучими громкими взрывами пугали осторожное не-людимое зверье.

— Ох, люди,— ворчал Иван Кузьмич.— Чего им пороги помешали?

Деренков наблюдал, как неторопливо Чайкин готовил шашку, поджигал шнур, бросал заряд в воду и ложился. Когда затихало взрывное эхо, таежник усмехался и отвечал подробно:

— Лес ребятам спускать надо. Зиму рубили, а нонче сплавить не могут. Если ты энти шиповины не посбиваешь — хана...

— Дуракам закон не писан,— рассуждал Иван Кузьмич, продолжая лежать и надкусывая стебли пырея.— Я так думаю, что около этих мест только жить надо, как ты живешь. Чего их уничтожать? Я бы этому дураку, который надумал пороги взорвать, лет пяток приспособил на месте Советской власти, да отправил снег разгрести...

— Миша Закрепов не дурак,— возразил Деренков.— Он для людей старается. Потому что там труда положено уйма. А воды нонче нетути. И все прахом выходит.

— Что там за Миша твой? — спросил Чайкин.— Что у тебя с языка не сходит? И все для людей старается?

— Миша — хороший человек,— настойчивее повторил Деренков.— Вот я тебе расскажу. В запрошлом годе у меня конь ногу поломал на урмане. Я уж вовсе хотел его прикончить. Так Миша с тем конем больше месяца возился, отлечил и мне привел. Так прямо — на, старик, как говорят, за здорово живешь. Вот какой Миша! А конь, что думаешь? Меня и признавать не стал — ржет и ржет, со двора убегает. Я так ничего и поделать не мог: пришлось с Мишей конями поменяться. До нонча ездют, не расстаются...

Чайкин недоверчиво махнул рукой, изложил другую шашку, бросил в воду и лег.

— Сказки мне не рассказывай, Афанасий. Я людей больше тебя знаю. Что мне твой Миша? Вот ты себя возьми: ты же спокойненько живешь на порогах, а не идешь лес рубить да сплавлять. А то Миша. О Мише я и сном-духом ничего не знаю, может, он семи пядей во лбу. А может, такой же, как ты,— себе на уме. Ну да ладно, черт с ним, с Мишкой. Ты мне скажи, где у тебя ребяташки? Или не было?

— Откель не было? Было,— ответил Деренков, пода-

вая Чайкину аммонит.— Трое было, а нонче нетути: все разбежались.

— Ах уж эта пацанва,— с наигранным сочувствием подхватил Иван Кузьмич: ему было все равно, о чем говорить.— У меня тоже трое. Тупые, как чуни. Не учатся ни хрена. Да и то вопрос — в кого? От инженера инженер родится, от дурака — дурак. Я уж Ленке-то, бабе своей, говорю: отстань от них, что ты с ними возишься? У меня брат в третьем классе паспорт получил и не пропал. А она все свое (а у самой ноль классов, деревенская): давай чтение проверять. Я лежу на кровати и смотрю, а младший, Колька-то, подлец, косится из-за букваря на нее, на дуру, и околесицу порет, всякую чушь. Я лежу, со смеху помираю.

Деренков как-то странно улыбнулся, посуетился и вдруг напомнил, показывая на аммонит:

— Медленно у нас что-то работа подвигается, Кузьмич. Этак нам с разговорами-то и лета для работы не хватит...

— Мне не к спеху, Афанасий. Взрывное дело спешки не любит.

В конце второй недели снова приехал Закрепов. Был вечер. В логовине быстро темнело, лишь горный окоем отчетливо прорезался в нетухшем небе. Закрепов прошел берегом, сел у костра и уставился ледяными глазами на огонь.

— Сколько же тебе лет, Афанасий?— спросил у Деренкова взрывник. Он сидел, поджав ноги, и его широко расставленные глаза с любопытством смотрели на таежника.

— Нонче шестьдесят пять, а то и поболее,— ответил Деренков, разулся и протянул большие красные ноги к костру.

— Вот что значит природа.— Чайкин почесал лысеющий затылок.— Я тебе сперва лет сорок дал. Морда-то кирпича просит. Иголкой в щеку ткни — кровь на пять метров брызнет.

Закрепов пошевелил горящие сучья и спросил, обрывая пустой разговор:

— Почему работа не продвигается?— Голос его был сух и напорист. Тугие желваки напряженно перекатывались по плоским щекам. Зеленоватые глаза расширились.— Я спрашиваю, почему работа не продвигается?— не дождавшись ответа, повторил неторопливо и громко.

— Взрывать — это тебе не тят-ляп и клетка,— ответил Иван Кузьмич, улыбаясь.

— А надо, чтобы клетка была,— сказал Закрепов и резко, перед собой, махнул рукой.— И как можно быстрее была. А то совсем вода спадет, и весь наш труд насмарку...

— Заплатят, — небрежно протянул Чайкин. — Чего боишься? Заплатят. Воды нет — это природа. Мы, шахтеры, говорим — стихия.

— Мне наплевать, что вы там сдуру говорите. — Закрепов встал и вонзился в Чайкина глазами. — Завтра будем по-другому работать. Чтобы от стихии потом запахло. Понял?

— Это уж как разрешено, так и будем...

— Ничего, я переразрешу.

Закрепов отошел от огня, разулся, положил под голову сапоги и лег. Рядом стал конь, обнюхал хозяина и замер.

В ночи глухо ревели пороги. В просветах неба среди матовых зыбких облаков висел померкший горб месяца. Бочины лога сдвинулись друг к другу, сгустив темноту. Запахло сырыми мятыми листьями, травой и дымом.

— Тяжелый человек — Миша, — со вздохом сказал Деренков, когда Закрепов уснул. — Но опять же иначе нельзя. Надоть людей тормошить, а то они погаснут, как звезды при свете, и будет одно голубое небо. Это и кстати, что напористый и тайгу знает. Хорошо, что спуску не дает. Этот как-то зимой пришел ко мне с лесорубами медовухи попить. Однако под Новый год. Ну, вот — дым коромыслом. А с ними ешо молодой парнишка был, нетесанный. Возьми энтот парнишка и задури: уйду из тайги, в гробу в каком-то, мол, видел, чтобы на морозе стыть. А утром и впрямь засбирался. Энтот Миша во злобе его так утоскал, что тот забыл об уходе и поныне работает. И рад.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросил Деренкова Иван Кузьмич. — Попугать? Я, Афанасий, не из пугливых. Пусть бьет, это даже неплохо: я в милицию на него — раз! — мол, при взрывных работах там-то и там-то вот нападал такой-то Закрепов. На твоего Мишу управа найдется: сядет лет на пятак — десяток...

— От него ты до города не дойдешь, — ответил таежник. — Энтот Миша на своем веку столько людей повидал, в таких передрыгах был, что ай да ну. Тут года четыре назад на Тирсьме Вафламеев жил с дочкой. Забрал дочь Миша, а самого Вафламеева, говорят, чуть в Тирсьме не утопил за то, что тот дочь по доброй воле отдать не хотел. И нонче живет с энтотй девкой: она ему двух ребят народила...

— Горазд ты, Афанасий, на страсти...

— Откель страсти? Я к тому речь веду, чтобы ты не ершился, а то всякое может быть, тогда близко локоть, а не укусишь...

— Двоих ему не одолеть.

— Я тоже за то, чтобы ты ловчее работал,— сказал Деренков, склонив голову.— Оттого и страсти говорю...

Иван Кузьмич посмотрел на него и отвернулся.

— Тогда я совсем не буду палить. Сяду у тебя во дворе и буду начальства ждать...

Деренков махнул рукой и стал укладываться спать.

Утром осел туман. Чайкин проснулся от колющей сырости, поежился: костер погас. Закрепов и Деренков спали, оба босые, оба положили сапоги под голову. Рядом, как вчера, стоял конь Закрепова и дремал. Иван Кузьмич подумал, что черта лысого он больше останется ночевать под открытым небом. До деренковского дома и пяти километров не будет, а тут вертись в сырости. Он разгреб седые истлевшие остатки костра и лег на черную обгоревшую землю.

Туман лежал долго. А когда сполз в низовье лога, из-за горы смотрело оранжевое солнце. Чайкин поднялся и увидел, что ни Закрепова, ни Деренкова не было. Не было и коня. Они появились через полчаса. Закрепов держал моток ржавого троса, а Деренков сумку с завтраком.

Поели торопливо, всухую, молча. Потом Закрепов осмотрел берег, вырубил кустарник, чтобы можно было спуститься к воде, привязал конец троса за пихту, сел на коня и погнал его в воду.

— Что он надумал?— мрачно спросил Иван Кузьмич.

— Заряды твои к шипам привязывать будем,— ответил Деренков, напряженно следя за закреповской лошастью.— Натянем трос, чтоб держаться можно было, и начнем. А то ты швыряешь огонь впустую, бахаешь — ни уму, ни сердцу...

Иван Кузьмич точно очнулся, подбежал к берегу и закричал:

— И даже не думай, Закрепов, даже не думай. Выводи коня. Рвать тебе не дам. Это тебе не тяп-ляп...

Закрепов не оглянулся. Он ободряюще хлопал ладонью по конской холке и что-то шептал. Конь прижал уши и, напрыгавшись грудью, обходил валуны. У него были испуганные, забрызганные водой глаза, а на спине то тут, то там судорожно вздрагивала кожа. Закрепов же сидел прямо, точно все, что он делал, было не столько опасным, сколько торжественным. Он спокойно бросал с руки витки троса.

Поток кипел. Лошадь встала грудью навстречу воде и передвигалась боком: видно, она в первый раз переходила горную реку. Уже прошла середину, уже до другого берега было подать рукой, но вдруг все замерло, остановилось, и лошадь

ткнулась в воду грудью, потом завалилась на зад. Закрепов схватился за трос и упал. Его стремительно протащило к берегу, а лошадь отрывисто проржала, было поднялась, но поток снова сбил ее, перевернул вверх ногами, ударил о камни и зашвырял с глыбы на глыбу.

Мертво держась за трос, весь побитый, Закрепов вылез на берег.

— Ты же лошадь убил,— закричал на него Иван Кузьмич. Широколобое лицо его было бледно.— Убийца, ты лошадь свою убил...

Закрепов выпустил трос, подошел к Чайкину, сверля ледяными глазами, и положил побитые грузные руки на его плечи.

— Беда-то, а?— прошептал он. На бледной щеке кровоточила ссадина.— Беда-то, говорю, а? Ну, готовь снасти, мужик...

— Отойди!— взвизгнул Иван Кузьмич.— Отойди от меня. Ничего я не буду делать. До начальства будем сидеть...

— Я тебе говорю — делай!— с жуткой четкостью повторил Закрепов.

— У меня права ответственности.— Чайкин попытался сбросить закреповские руки, но они лежали, как камни.— В милицию сообщу. Это нападение. Там тебя взгреют.

— Я слышал вчера, как ты мне милицией грозил.— Закрепов тряхнул взрывника и приблизил его к себе.— Я все слышал. А ну, смотри мне в глаза. Или в бучило захотел? Беда-то будет, а?

И, судорожно сглотнув слюну, он потащил Чайкина к воде.

— Ты чего? С ума спятил?— испуганно задергался Иван Кузьмич.— Отпусти, сделаю я тебе шашки...

— Вот так-то. И скорее.— Закрепов толкнул взрывника и отер с лица и волос кровь с водой.

Стоявший в стороне Деренков ухмыльнулся, поднес аммонит и цыкнул на Чайкина:

— Быстро давай, шеря. Шевелись нонче бесом.

И выпрямился. К нему подошел Закрепов, виновато сказал:

— Беда-то, Афанасий Лукьяныч. Люди всю зиму на морозище лес рубили, а теперь сплавить не можем. Понимаешь? Всю зиму впустую. Нельзя мне уйти с бучила, хоть режь.

Деренков растерянно поскреб подбородок.

— Откель же уходить-то? Уходить нельзя. Ешо попробовать надо. Дай-ка, я на своем коне...

— Куда ты... Трос подстраховывай. Я сам, без коня...— дрожащими руками готовил шашку.

— Шевелись давай,— прошипел Закрепов, и Чайкин вздрогнул. Быстро приготовив боевик, он обвязал шашку шпагатом и протянул Мише. Тот взял заряд под мышку, зажал в зубах спички и, держась за трос, пошел в воду.

— Куда ты, сумасшедший, полез?— пронзительно закричал Иван Кузьмич.— Меня под суд отдадут. Не тебя, а меня.

Деренков прикрыл ему рот рукой.

— Чего ты кричишь? Наше дело такое. У нас ещо хуже бывает. Видишь, нонче воды нет, а была бы вода, на плотках поплыли. Лес-то спускать надо...

— Дураки,— не слушая Деренкова, ругался Иван Кузьмич. А сам часто моргал, следя за тем, как Закрепов побарывал воду сильным телом. Наконец он добрался до крайней глыбы, привязал к ней шашку, поджег шнур и крикнул Деренкову, чтобы помогли ему, Закрепову, выбраться на берег.

Скоро раздался взрыв. Там, где торчал мокрый блестящий гранитный осколок, взбурлилась вода и побежала ровнее.

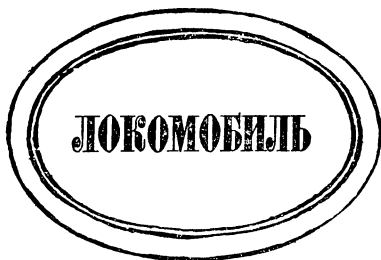
— Давай еще, Чайкин... Давай, милый Иван Кузьмич, еще,— зашептал Закрепов, выйдя на берег. Его глаза светились радостью, побитое узкое лицо было в крупных прозрачных каплях, ко лбу прилипли белесые выюнки коротких волос.— Сейчас дело пойдет, только давай поживее...

Чайкин закрыл лицо разлапистыми руками, но тут же открыл, сел на землю и быстро изладил вторую шашку.

Когда Закрепов снова полез в воду, Иван Кузьмич было подошел к берегу, но его окликнул Деренков, и тогда взрывник опустил перед пачками приготовленного аммонита и стал молча, механически работать.

А через неделю они, все трое — и Закрепов, и Деренков, и Чайкин — стояли не берегу в низовье притихшего Каллистратова бучила и смотрели, как важно мимо них проплыли первые десять пробных лесин. И казалось, друзей вернее и счастливее их, этой тройки, не бывало во всем белом свете.





олнце обжигало плечи.

— Будто за деньги старается,— ворчал Трофимов, сидя на валуне и брызгая на себя водой.— Заморозит насмерть. Не доберемся до двадцатого, тогда гроб, а не заработок. Берег пологий, в гальке, будто блеклое мозаичное полотно, тянулся километра на два. Река обмелела, утихла, лишь ниже на изломе терлась о стену жженого гранитного берега, казалась не голубой, а серой, в мелкой, как дрожь, ряби, и ничто в ней не отражалось: ни небо, ни скалы, ни тайга.

— Басов на нас крест положит с богом и матерью,— продолжал ворчать Трофимов, косясь на проводника.— Снимагься надо, батя...

Кабин молчал, слушая всплески воды у другого берега, где купались жена Трофимова Таня и слесарь Ильменского автохозяйства Семен Бурыкин, потер кулаками маленькие круглые глазки и ответил:

— Мутит что-то меня... Грудь ссохлась...

— А нам, знаешь,— мри, но вперед.— Трофимов резко выпрямился и тут же зло закричал:— Танька, кончай брызгаться, ехать надо!

И, тяжело заноса обутые в сапоги ноги, пошел к тракторам. Кабин проводил его глазами, вздохнул и, склонившись над водой, стал мыть ноги. «Рабочая лошадь,— подумал он о Трофимове.— Баба шуры-муры крутит, а он вбил себе в голову: тащи эту бочку вперед, и баста».

Таня и Семен вышли из воды, неловко ступая по гальке, натянули комбинезоны, сапоги и тоже направились к тракторам. Оттуда долетело бружжание Трофимова.

— Будет лаяться-то,— громко сказала Таня, проходя мимо мужа.

Кабин выпрямился, еще раз потер кулаками глаза, взял под мышку сапоги и пошел к локомотиву.

Через полчаса они тронулись. Воздух задрожал от надсадного гула тракторов, и земля устала гарию. Сани с брезентовой крышей от дождя и солнца тащились медленно, раздирая кусты гибких талин, вдавливая траву и листья в землю, вспаханную гусеницами.

Проводник сидел в санях, смотрел, как выползала из-под полозьев помятая зелень, и думал, что не все человеческое добро да гладко. Есть что-то грубое у людей, дикое, ползучее.

Таня сидела под брезентовой крышей, шила. Кабин оборачивался и урывками следил за ней. Он пытался высмотреть на ее лице затаенное переживание, но она сосредоточенно тыкала иглой, укрыв за приспущенными ресницами глаза, и казалась спокойной.

Кабин положил на колени руки и вспомнил, как позавчера, когда они варили на просеке ужин, Таня поймала Семена за локомотивом и жадно обнимала его, совсем открыто. Кабин испугался тогда, потянул Трофимова пилить лесину и все заслонял от него локомотив.

«Этакий буйвол, а глуп»,— тяжело вздохнул проводник и, потирая кулаками глаза, спросил неожиданно для себя:

— Таня, ты никак с Семеном путаешься?

Она подняла глаза и сухо ответила:

— Вам-то что, дядя Петя? Любовь-то моя...

Резко остановились сани. Где-то впереди протарахтел и задохнулся бульдозер. Хлестнул матерщиной Трофимов. Куда-то побежал — прочавкала под его сапогами болотная жижа. Вернулся и стал торопить Семена:

— Семочка, давай живее... Что тут у тебя? Ах, в гроб тебя положи. Духота... Через часик-то тронемся?

Кабин послушал и продолжил разговор:

— Муж рядом...

— Душа обо мне болит, дядь Петя?— насмешливо спросила Таня.

— Узнает Васька, он же тебя на месте пришибет...

Она поднялась.

— Не узнает... А пригоним локомотив, уйду от него.— И, положив на его плечо руку, заботливо заглянула в глаза.— Грудь-то прошла, дядя Петя?

Он растерянно потер кулаками глаза и ответил:

— Я зався водой смачиваю, пройдет...

И они замолчали.

Ночью Таня разбудила Семена, спавшего в кабине бульдозера, и ушла с ним к реке, а Кабин лежал и со страхом ждал, что проснется Трофимов и спросит его: «Где Танька?» И что тогда станет он, Кабин, делать: притворится ли спящим или все начисто расскажет? И у него сохло в горле, когда он представлял себе, как бросится этот битюг к реке, как завоюет и как будет разделяваться с женой и мальчишкой.

Но Трофимов не просыпался. Кабин успокоился и даже сам сходил к реке. Ночь была светлая, и он увидел их у самой воды на открытом месте, лицом к лицу.

— Устала я быть с плохим,— грустно говорила Таня.— Мама гонялась по тайге за таким же, я гоняюсь. Душа-то, Сема, чахнет.

Кабин вернулся в сани, лег рядом с Трофимовым.

«Да что и говорить,— думал он, лежа с открытыми глазами.— Бабы зався причину свихнуться сыщут. У кума случилось, невестку застали, так она прямо и брякнула, что ее муж мужицкой силы имеет мало и что же ей делать, здоровой бабе?»

На другой день они остановились на ночевку совсем поздно. Трофимов не давал передышку, ворчал, ругался, упрашивал и пугал: «Кожу спущу, а локомобиль доставим. Чуете?» Давно отгорел закат, роились на небе звезды, и только тогда наконец остановились. Таня вылезла из кабины трелевочника, переделась и занялась ужином. Семен разжег костер и залез в сани. Трофимов сходил к реке, принес воды. Таня поставила на огонь котелок, села у костра и запела.

Пела она о перепелке:

Пой мне песни свои-и, перепелка,
Только спа-ать ты меня-а не зови...

Песня была грустная и ласковая. И еще песня была очень одинокая — без локомобилей и тракторов. Но жила в ней кровинка, и дышала песня просторно.

— Красиво она у тебя поет,— сказал Кабин, подойдя к Трофимову.

Тот покосился на проводника, сел на гусеницу трелевочника и ответил, снимая сапоги:

— Бабий голос... Они всегда так поют, когда по кровати забредят.— Трофимов обтер рукавом небритое лицо, прямо посмотрел на проводника и закончил:— Пусть поет — ей же хлебало не заткнешь.

Тот постоял, смущенно потирая кулаками глаза, и спросил:

— Чего ты на нее так?

Трофимов выпрямился.

— Смотрю я на тебя, батя, и думаю, много ты прожил, но дурак дураком...

И, отвернувшись, стал неторопливо расстилать на радиаторе портянки.

Кабин сник и, косолапя, нетвердо отошел к саням. «Одурел мужик,— подумал он.— Или про Таньку догадывается, оттого и злющий». Он тоже снял сапоги, залез в сани, лег, стал жаловаться:

— Вот, Семен... Говорю сейчас Ваське, говорю: жена у тебя хорошо поет,— а он меня обозвал...

Семен потянулся, ответил:

— Васька не понимает: тупой он, как сибирский валенок.

— Будто с цепи сорвался,— продолжал незлобно жаловаться Кабин.

Бурыкин привстал, вытащил из чемодана брюки, гимнастерку и стал переодеваться.

— Законно поет Васькина жена,— сказал он в темноту.— Это вы точно подметили, Петр Васильевич...

Он затянул себя плотно ремнем и добавил:

— Я тоже ему говорил, Ваське. Вот на днях говорил... Песни, говорю, люблю... Здорово, мол, Танька поет, а он хлопал меня по плечу и оскалился как ненормальный.

Проводник устроился поудобнее, вздохнул.

— Я тоже песни люблю,— сказал он.— Помню, на фронте сестра была. Я, правда, на передовой не служил, больше при госпитале, в тылу... Но была у нас сестра. Голос у ей, как у Таньки, был. Женой старшины числилась, а спала, бедная, со всеми. Немец опосля ухлопал девуку.

Семен блеснул в темноте глазами.

— О чем это вы, Петр Васильевич?

— Да я так...

— Я знаю, вы о чем,— приблизился к нему Семен.— Только зря мудрствуете все и следите зря: все равно не увидите, законно делаем...

И выпрыгнул из саней.

«Какие все умные стали!— обидчиво подумал Кабин.— Или психоватые. Ничего-то им не скажи...»

Ночью он проснулся от ругани. «Танька попалась»,— успел подумать и выполз из саней. У костра Трофимов тряс за ворот гимнастерки Семена и кричал:

— Бежать? А мне с этими хлестаться, да? Я из тебя душу вытрясу, понял, а локомотив до двадцатого вместе потянем. Только уродом уйдешь. Так рожу и завинчу.— И он крутнул перед лицом Семена распыленной пятаерней.

Семен бросил к саням мешок, убрал с воротника руку Трофимова, хрипло сказал:

— Урод ты, Васька... Черт с тобой, останусь... Тебе видней...

Трофимов и Кабин снова залезли в сани, где тяжело дышала Таня, уткнувшись в изголовье, будто спала. Трофимов подвинул ее, лег и еще раз предупредил:

— Не вздумай, Семен, бежать — поймаю...

— Никуда он не побегит,— с досадой прошептал Кабин.

— Знаю я их, призывистых... Они жизнь языком мерят. А я трудяга. Мне дело порученное надо сделать. Он смотается, мне с вами и за год эту бочку не докатить.

— Да куда ему бежать?— рассудительно спросил проводник.

Трофимов недовольно заворочался и ответил:

— А ты, и правда, батя, дурак... Спи давай.

Кабин не сомкнул глаз. Сначала его мучила обида, потом он судил каждого из своих спутников, а под утро вспомнил о доме: семенит по огороду Никитишна, прогоняя кур, или дочку на чем свет ругает, раскрылатившись. И захотелось ему домой, защитить свою дочь. «Большая ведь она у нас, мать, совсем большая». А потом вспомнил, как приходили к нему из Совета и просили проводить до места локомотив. И он согласился. Ему было приятно, что люди помнят о нем. Не бог весть какая он был и есть птица, а все ж помнят.

Днем Трофимов позвал его в кабину бульдозера.

— Сердишься на меня, батя?— спросил он.

— Да чего сердать-то?

— Правильно, батя. Дело наше рабочее. Чего не бывает.— И он положил грязную тяжелую руку на плечо проводника.— Я ведь тоже, батя, таежник. С Енисея только, этих краев не знаю, а так таежник. И бабу в тайге нашел, и детей захочу — в тайге собирать буду. До места скоро?

Кабин уклончиво ответил:

— Да кого уж тут, теперь скоро...

— Приедем — отдохнем,— размечтался Трофимов.— Бороду сбреем, отпуск возьмем и на вертолете в город. Размагнититься надо, сдавать стал.

Вечером перебрались через упершуюся в реку горную

грядущую. Таня, управлявшая трелевочником, опустила локомотив к самой бровке и не заметила, как он раздавил барьерчик и съюзил левыми колесами под уклон.

Трофимов побагровел. Тряся огромными кулаками, он рванулся к трелевочнику и заорал:

— Глаза на лоб повылазили, что ли?

— Перестань,— остановил его Семен,— держать надо, а то перевернется локомотив.

— Я ее уделаю!— продолжал орать Трофимов.— У нее свое на уме. Разматывай трос...— И он снова хлестнул бранью.

Таня покорно включила лебедку. Трофимов схватился за конец троса, перекинул через плечо и, набычившись, потащил его, туго упираясь в землю ногами.

Локомотив медленно сползал по глиняному уклону. Его держали тягач и сани, но накренивался он все сильнее и сильнее — грозил перевернуться. Все видели это и суеились. Кабин вылез из саней, тоже смешно трусил от трелевочника к локомотиву и пискливо выкрикивал:

— Таня, приспускай немного, приспускай...

— Я ей сейчас приспущу,— грозил Трофимов, подавая конец троса забравшемуся на локомотив Семену.— Спускай, тебе говорят!..

— Не ругайся ты, Василий,— разозлился Кабин,— что ты на нее ругаешься?

— А ты, батя, скройся...

Когда локомотив вытащили, к Трофимову подошел Семен, попросил:

— Вот что, Вася: устала Таня, замени ее...

Тот молча подошел к трелевочнику, запрыгнул на гусеницу, постоял, заглядывая в кабину,— с другой стороны прыгнула на землю Таня и, не оборачиваясь, побежала к саням.

— Долго еще, дядя Петя?— спросила она, тяжело дыша.

— Да теперь уже нет, Танечка...— ответил ей Кабин и привстал.— Теперь близко... Что он?

— Его дело ясно какое,— горько усмехнулась Таня и опустила глаза.

Ночью она снова была с Семеном, и на другую ночь снова, и на третью, а Трофимов спал, сопя размеренно и глубоко, мирно разбросив ноги. Кабин больше не боялся, что он проснется, лежал с открытыми глазами, думал о доме, думал, как просто и грубо еще отделаны люди. «Возьми хотя бы Семена,— соображал он,— только что из армии пришел: наводственный, подтянутый, дело свое знает, так нет чтобы работе

отдаться, для людей жить — с бабой спутался, для себя тянет... А Васька — тот, наоборот, дурак. Того и вовсе не поймешь».

Тем временем они обогнули Тяжеский кряж и у Красных порогов свернули от реки в лог. Оставалось несколько километров, и Кабин объявил об этом. Трофимов дружелюбно оскалится и вдруг неожиданно предложил отдых: до двадцатого еще целых четыре дня, надо привести себя в порядок.

Они остановились на ночевку.

Ночь выдалась мокрая, прохладная. Но Таня снова ушла с Семеном и вернулась, как обычно, за час до рассвета, легла и, устроившись поудобнее, вздохнула. Трофимов пошевелился и как ни в чем не бывало спросил:

— Что, намял?

От неожиданности Кабина забила дрожь, а Таня смолчала.

— Что, намял, спрашиваю? — повторил Трофимов злее и громче.

— Намял, — согласилась она и повернулась к нему.

— С каких это ты пор? — процедил он сквозь зубы.

— Как ты испугался, что Семен уйдет.

— С каких? — Васька вскочил на колени.

Кабин давно не спал и привык к темноте. Теперь он отчетливо видел разлохмаченного Трофимова, застывшего перед женой со стиснутыми кулаками. Таня тоже поднялась, она гордо держала голову, — видно, знала, что он будет бить, оперлась руками о дно саней и сказала вызывающе:

— Думаешь, я не знала, что ты притворяешься? Тебе Семен был нужен: локомотив к двадцатому привести... Ты же знал, что я с ним хожу.

Он ударил ее, и она замолчала; потом ударил еще, размеренно, точно. Она упала на борт саней, он привалился к ней, сдавил и заскрежетал зубами.

Только когда Таня сдавленно хрипнула, Кабин пришел в себя. Поднявшись на ноги, он схватил Трофимова за плечи, потянул на себя и тоненько завопил:

— Се-ома-а! Семочка-а! Скорее сюда, Семен...

Занималось утро. В логу было сыро и пахло гнилью. Сонно опустили к земле ветви бурые пихты. Трава вздрагивала от редких капель дождя, и молчали птицы.

— Ты одурел, пес этакий, — воинственно кричал Кабин, когда они вместе с Семеном вытолкнули Трофимова из саней. — Я тебе дам...

Тот скривился и зло отер бороду рукавом.

— Разберемся, ладно,— угрожающе прошипел он и сплюнул.

И пока Семен и Кабин возились с Таней, он торопливо обулся, схватил пиджак и, метнувшись к трелевочнику, стал заводить его, а потом встал у саней и, дрожа скулами, приказал:

— А ну, сниматься надо, я вам говорю, разберемся еще!— И погрозил кулаком.

Это был последний день пути.



А. Скрябин

РЮ-РИТА

1



Так прозвали ее в честь знаменитого фокстрота. С девчонок работала она на море: сначала раздельщицей; потом, за красоту, свежесть щек и счастливую улыбку, официанткой (в крахмальном кокошнике, крепдешиновой кофточке, через которую светилось молодое крепкое белое тело, она была и сама в себя влюблена); потом звезда ее выкатилась из зенита: снова раздельщица на краболовной базе; прачка; а вот уже третий рейс ходила она на нашем СРТ 77-77—«четыре семерки» буфетчицей, как принято называть эту должность, то есть: мыла посуду, палубу, подавала на стол, стирала белье — для команды постельное-судовое, капитану все, в том числе и личное.

Это была полнотелая, крикливая до истерики, но в сущности безответная женщина, никогда в жизни не имевшая постоянного мужа, детей, а вот уже лет пять как не делавшая и аборт. По характеру, который она привыкла являть миру, всего этого ей и не требовалось. «Больно надо!» Мужчин она предлагала кастрировать, «чтобы привес был, чтобы лишнего не жрали, чтобы не портили бабам жизнь». Про себя с черным юмором говорила: «Отплавает старая кляча свою норму, запаяют в цинку, так в трюме рейс и добухает».

Моторист Петро был старше Риты лет на пять, он был узок в плечах, мал, сухощав и длиннорук, как бы самой природой приспособлен к изгибистой работе в узлах судовой машины, в огромных дизелях. Работал он хорошо, машину знал в тонкости и по-своему одушевлял, а машина отвечала ему взаимностью — чем-то она его успокаивала, ритмичностью

ли своей, понятностью ли, может, надежностью? Не было семьи и у Петра, остались кое-какие воспоминания о фактах прошлой жизни, при расчетах привычно брал поправку на алименты на двух детей, которых он и забывать стал, но вот и алименты прекратились. По случаю окончания семейных платежей Петро поставил выпивку. Мне повод показался не очень подходящим, и я вскользя заметил это мотористу.

«А сколько я с детьми прожил, ты знаешь или нет? Года два в общей сложности. Не наберется и двух. Я как-то считал, почем мне семейный день обошелся. Море одно. На берегу пьяный да второпях. И невесту нашел второпях, пьяный и женился. Вот уж, думали, денег накопим, поживем как следует. А и с деньгами все море да море. Жили, да и все, как сбежимся. Вот и сделай семью. На потом все, на потом, дескать, само собой. Потом развелись. Я с селедки, помню, пришел — вот тебе и на! Нету жены! За латыша вышла, живет в Риге, они там, говорят, больше трех месяцев в море не бывают. Будто я радуюсь. Я не радуюсь, мне деньги не жалко. Старая жизнь кончилась!»

Он повернул к иллюминатору свою маленькую сухую голову с маленькими острыми хрящеватыми ушами; на свету стало подробно видно самую кожу, поры, редкие глубокие и бесконечные мелкие морщины, пересекавшие небольшие узкое нездоровое лицо во всех направлениях, напоминавшие не столько геометрию паутины, как принято считать, сколько прихотливость тропинок и дорожных колеи в пустынной осенней степи. Бритый затылок производил отталкивающее впечатление белыми голыми рубцами старых шрамов, обилием рытвин, заполненных сивой и ржавой щетиной, выпиравшем до блеска пробритых бугров. В коротких и, по-видимому, жестких волосах седина пробивалась пятнами; носил он короткую челку и стригся под бок с бритьем всего затылка по старинным образцам еще тех лет, когда танцевали фокстроты. Интересно заметить, что прихотливость моториста встречала полное понимание со стороны нашего парикмахера бочмана Глоткина. Петро занимал выборно-общественную должность баталерщика, не пользующуюся симпатией рыбаков; обычно команда выталкивает на этот пост именно таких людей, как Петро, — был он скуповат, да к тому же значительно старше и опытнее молодой команды. (Старше Петра и Риты был только капитан.) Недоразумений в нашей баталерке не происходило, списанными вспученными консервами Петро не торговал, с отчетностью, продуктами, деньгами все было всегда в полном порядке, а слухи о том, что

Петро за долгую рыбацкую жизнь разумностью и бережливостью поднакопил солидный пресс денег, как бы подчеркивал абсолютное доверие к нему, так что при всяких трениях экономического свойства взгляды шумной команды обращались к тихому скромному мотористу, надежно стоявшему на страже товарищеского благополучия.

Похоже, что между Петром и Ритой было что-то раньше, возможно, закончившееся неудачно: они все время были заняты друг другом, довольно болезненно переругивались, подначивали друг друга на глазах молодой безжалостной команды, воспринимавшей это как клоунаду. Обычно подначки сводились к всеобразному конферансу на тему «мужчина-женщина». Петро играл мужчину с определенными взглядами на женщину, а Рита настолько же определенную женщину.

— Это такой народ! — похохатывает Петро. — Такой народ! Просто зверь, и все! Заведет себе бабу человек и становится как зюзя!

— Как кто? — смеясь, переспрашивает Рита, принимая компот из кухни. Петру Рита старается подать, когда он менее всего ожидает: или совсем последнему, или самому первому, раньше капитана, или как-нибудь необычно, со спины, через голову, чем вызывает у команды одобрительный смех.

— Как зюзя, — повторяет Петро, следя за ловкими и приятными движениями Риты, балансирующей в качку с подносом компотов. Петро трактует, что баба стоящему человеку не нужна совсем, и сам он будет опрятен и чист, и все у него будет постиранное всегда: и носки, и нижнее белье, и рубаха; постельное же белье выдается чистое, роба тоже. Суп сварить на берегу не сможет? Вот это да! А рестораны закрывать? Нет, женщина, а полновеснее и страшнее — баба, на стоящему мужчине не нужна. Правда, Петро учитывал, что, кроме рыбаков, изредка встречаются и другие разновидности мужчин, например, слесаря в Дальзаводе, механики, но там ведь мало народу, сравнительно с плавсоставом.

Петро отличался чистоплотностью, все у него было действительно и постирано, и зашито, и даже заштопано. Когда пожилой моторист орудовал иглой, надев очки, картина была презабавная — бабушка с бритым затылком. Всяческой нечистоты, кроме машинной, Петро терпеть не мог. Не переносил общесудовых работ, когда надо было выбираться из геометрически упорядоченного, двигавшего железными углами, сочленениями и валами машинного отделения. К сырой рыбе на палубе он испытывал какое-то особенное, комическое,

почти болезненное отвращение. Если на лицо ему попадалась рыба слизь, он бросал работу и бежал отмываться. Но, разумеется, на авралах он волей-неволей вынужден был заниматься гнусной, скользкой и холодной рыбой, вместо успокоительно чистой и теплой машины. Он даже есть предпочитал рыбу, облагороженную машинным запахом — сам коптил в выхлопной трубе. Селедка его копчения резко и сладостно отдавала соляркой.

— Кто бы о женщине рассуждал, только не ты!— отвечает Петру Рита.— Посмотри на себя в зеркало! Волосан!

— Сама-то красавица!— Петро оглядывается на хохочущих рыбаков и показывает руками перед грудью.— По ведру!

Рита грозно оборачивается от окна кухни.

— Нет, я согласен, Рио-Рита баба ничего! Но все ж таки!..

Петро изображает комический испуг.

— Дурак контуженный!— несется вдогонку выходящему из столовой мотористу.

Рита была тактичней, тоньше, нежнее, а у Петра в однообразных угловатых и неловких шутках-нападениях сильно просвечивало вынужденное, вымученное, было заметно, что часто он хохмит через силу, не находя иной формы для передачи истинных чувств; шутки его иногда выходили за рамки всяких приличий. Рита от этого даже плакала, но потом все опять приходило в норму, пока не произошла история, приведшая отношения Петра и Риты к полному краху.

В банный день Петро исключительно ловко и точно рассчитал время, когда Рита постиралась, начала мыться и намылилась, и перекрыл воду. Это законное развлечение вахтенного в машине. Рита и сама регулярно солила компот Петру. Она и ждала спокойно, даже что-то веселое покрикивала на потеху из душевой — моторист имел право наслаждаться властью над паром и водой. Вода все не шла и не шла, вентиль угрожающе шипел перегретым паром и фыркал кипятком. Рита кричала через дверь, посылала ребят в машину, потом стала грохотать в переборку тазом, потом впала в истерику и уже колотила в стальную дверь голыми пятками и ужасно ругалась, потом слышно стало, что она затихла и плачет навзрыд, вскрикивая не своим, жалобно-детским, тонким голоском. Толпа, собравшаяся посмеяться, разошлась, на Петра прикрикнули и велели открыть воду. Моторист и так чувствовал, что далеко зашел, открыл воду, и сам задраился в машине, предчувствуя осложнения в игре, и сидел там до конца вахты, и после вахты не явился на ужин,

где-то прятался по пароходу. Лицо у него было встревоженное, взгляд бегал, подхихикивания выходили особенно фальшивыми, но для виду он бодрился и искал поддержки у публики.

В толпе, молодой и веселой, никто особенно не вникал в существо отношений Петра и Риты, ну, передержал слегка Петро, а так все нормально, коза да коза. Стармех сказал второму штурману за шахматами:

— Дурачатся как молодые. Все равно ведь не женится, прошлое у нее богатое. Останавливает.

— Морячка, — быстро согласился второй штурман и двинул вперед черного слона. — А с другой стороны, чем не пара? Одному-то лучше, что ли? Одному, голубеночек мой, не сахар. Вот теперь, кажется, все! — второй штурман почувствовал, что черный слон очень хорошо встал на диагонали, и страдания человечества теперь были понятнее ему, чем пять минут назад, когда ферзь стармеха угрожал королевскому флангу.

После бани Рита не вышла на ужин. Добросердечный кондей организовал самообслуживание и сам подавал капитану. Рита долго ревела у себя за занавеской в шестиместке, где, за неимением отдельной каюты, жила она рядом с мужчинами. У нее был там свой запростынный мирок, все было устроено в том мирке по-женски и валялись редкостные сугубо женские вещи, что, в общем, не вязалось с моряцкими замашками той Риты, которая весь день была перед глазами.

При встречах совершенно напрасно изображал Петро ожидание кары, он был бы рад опрокинутому на колени горячему борщу, разрешившему бы ситуацию, выпил бы не моргнув глазом стакан чая, густо сдобренного горчицей. Но произошло нечто более страшное: Рита перестала замечать его, не давала затрецин, не махала ему в лицо шваброй, смотрела мимо потухшим замкнутым взглядом.

Так и закончилось бы все, если бы судьба не сделала в этой партии неожиданный ход, запасенный ею, вероятно, на самый крайний случай.

II

В одно прекрасное штормовое утро, когда ветер был с правого борта и пустой СРТ 77—77 сильно качало, Петро стоял на вахте, а Рита делала уборку. Надо сказать, и особенно это важно при ветре справа, что по конструкции судов такого типа наветренную дверь на палубу нельзя открыть безнаказанно даже при небольшом шторме. Вода, скатываясь со

всей площади палубы в узкие проходы слева и справа от надстройки, на наветренной стороне не успевает выйти в море по ватервейсам, потому что выход этот подпирается другой волной извне. Вода в проходе взбухает и поднимается выше фальшборта, чтобы перевалить через планшир и вернуться в море. Если в это время открыть дверь, вода, действующая на палубе под давлением своих буйных внутренних сил, слепищающая выхода, вкатывается по ногам через порог — комингс, а если дверь правая, как раз рядом с трапом, ведущим в машину, то начинает шарахаться и последними судорожными рывками плескать в машину через еще один маленький комингс. Из машины, из-под решеток трапа внимательно следили за мельканием ног наверху — стоило кому-нибудь по забывчивости повернуть к правому выходу, раздавался визгливый, если на вахте был Петро, голос: «Куда тянешь, гнида? Ветер не чувствуешь?» Ноги останавливались, послушно поворачивались к другим дверям, клацали задрайки, еще клацали задрайки, и все успокаивалось, а моторист зло и удовлетворенно кидал тряпку в железный ящик для ветоши.

Так вот, Рита делала приборку, вымыла палубу в столовой и пошла сбросить воду и прополоскать тряпку. Воду можно было слить в унитаз, а свежую взять в душевой или на кухне, но, разумеется, так чисто, как в море, тряпку не прополощешь нигде и, разумеется так же, что знала она, кто стоит на вахте и стережет наветренную дверь недреманным оком, именно потому она и повернула направо, забыв про шторм. При всем умении ходить по пароходу, открывать и закрывать двери, Рита замешкалась, с тяжелым-то ведром в качку! Пропустив большую порцию воды во внутренности парохода, Рита все-таки вышла на палубу, назло мотористу и прорвавшейся волне. Счастливого взбешенный Петр, определив по мелькнувшей юбке и бесстыдно выставленным в машину трусам, что на палубу вышла Рита, хотел тут же выскочить наверх, но был отозван телеграфом на место. Он приготовил целую речь к встрече Риты. Она долго не возвращалась: особенно старательно прополаскивала свою тряпку, специально играя на нервах моториста. Это предположение показалось Петру весьма заманчивым. Тут Петра отвлек гаечный ключ пятнадцать на семнадцать, завалившийся под пайолы; он некоторое время безуспешно вылавливал его специальным проволочным крюком. Но терпение все-таки кончилось, и, пренебрегши ключом и вахтой, Петро выскочил быстренько наверх, чтобы на месте преступления поймать и как следует оттянуть Риту, пока на языке горело красноречие.

А прошло между тем минут пятнадцать!

Дверь на палубу была задраена на одну задрайку. Петро выглянул наружу, поймав нужный момент: по палубе гуляла волна.

Не было буфетчицы ни на кухне, ни в столовой.

Петро стукнулся в туалет. Ворчанием отозвался стармех.

И тут Петро испугался.

Он крикнул сидевшему с журналами в чисто вымытой столовой матросу Спицыну:

— Рио-Риты нету! Вышла и нету!

Сначала в рубке подумали, что Петро устраивает излишне монументальный розыгрыш, когда, прогремев по всем переходам, тропам, перехлопав дверями всех кают, влетел в рубку с безумными глазами и криком: «Рио-Рита, братцы! Рио-Рита!»

— Рожает!— гаркнул кто-то из угла.

Моторист пытался сначала оттолкнуть вахтенного матроса, чтобы вертеть колесо на полный обратный курс, но тут его схватил в железные объятия вахтенный штурман Ваня Шаров. На гигантской груди Шарова Петро затих, съежился и прошептал: «Рио-Рита за бортом!»

Тут до всех дошло. Посыпали на мостик, забухали по толку рубки сапоги. С мостика ничего не было видно.

Океан угрюмо и бесцельно перекатывал цепи волн, как монах четки.

Мелкие волны сбегали по склонам больших — так стада барашков мирно спускаются с гор, только горы эти на глазах возникали, гряды за грядой, громоздились, росли и оседали, исчезая в бездне. Происходило что-то вроде землетрясения.

Видимость при всем изобилии солнца затруднялась ветром, расплескивавшим, раздувавшим и развеивавшим тонкие острия стекловидных волновых вершин.

Над самой водой носилась густая пыль мелких брызг, пыль эту задувало между волнами, мело как поземку, скручивало в смерчи; и только чтобы сугробами стать, брызгам этим нужно было бы замерзнуть, а так, по всему, они были как снег.

Судно глубоко заваливалось на повороте; многотонные волны с размаху ударяли через нос в лебедку и в рубку и, наконец, прямо в борт. Судно, казалось, вот-вот развалится, как избенка, сметаемая бульдозером, но не разваливалось, переносило и эти удары, отдававшиеся в самом нутре каким-то содроганием и покряхтыванием. Испытывалась сокровенная

сущностная прочность плавсредства СРТ 77—77, подвергавшегося одновременно всем видам качки, сжатия и скручивания.

В кухне у повара полетел на палубу обед: борщ, похожий из-за обилия огурцов (огурцы портились, надо было успеть реализовать) на рассольник, посудина с подливой и компот; в этой мешанине скользили под ногами разоренного кондея толстым слоем обломки двадцати пяти мелких тарелок, летучей стайкой выпорхнувших из шкафа.

Мгновенно вымокнув, через палубу, оседавшую под рушившимися на нее без ритма и порядка водяными оползнями, перебежал сгорбленный тралмейстер и прыгнул в момент, когда внеочередная волна вот-вот могла смыть его, подхватить и швырнуть о лебедку, вцепился в ванты, болтаясь по цирковому, полез на мачту. Так наудачу мог бы невредимым пробежать по наковальне между ударами парового молота панцирно-согбенный черный жук, но мог бы и не поспеть за ритмом удачи. Тралмейстер оказался прав, что сразу полез на мачту — пока остальные бестолково шумели, шарили глазами по морю, возможно, прошло бы судно и раз, и другой, и третий и не нашли бы Риту, — она качалась бы в это время на закрытых склонах соседних холмов, — он далеко увидел с мачты точку, мелькнувшую, поднявшуюся и скрывающуюся один-единственный раз среди зыбей.

Это была Рита.

В суматохе все, конечно, было перепутано. Действия, предначертанные по тревоге «человек за бортом», не следовали в строгой последовательности, шлюпку успели пока что сбросить на палубу, вместо того чтобы вынести ее на таях над водой, и она каталась теперь по ботдэку. Да и не нужна при таком шторме шлюпка. Капитан спросонья сперва плохо понимал, в чем дело, и почему-то забрел на кухню, где над погибшим обедом безумствовал кондей, и принялся пострадавшего же и распекать, пока до него не дошел смысл докладываемых вахтенным событий. Рио-Рита? Капитан, грузно переваливаясь, носорогом пронесся по узким для крупного тела переходам в рубку и присутствовал уже при том, как Ваня Шаров, бледный от волнений, с курсантской лихостью подваливал к «плавающему предмету».

Шаров делал все правильно, и капитан молчал, не ввязываясь.

Предмет плавал в декабрьских тихоокеанских волнах совершенно безжизненно.

На палубе, теперь волна шла с кормы, суетились мокрые

с головы до ног спасатели, кто в чем, но с баграми.

Из вод морских Рита пришла ногами вперед. Шаров подвалил так точно, что океан, как на ладони, подал Риту под багры — одним зацепив за телогрейку, другим за сапог, немножко поцарапав кожу на ноге. Из воды за Ритой тянулся линек; тут же, когда доставали, отхватили линек с тряпкой и ведром на конце, линек затянут был тугой петлей на разбухшем рукаве телогрейки. Когда отхватили линек от руки — белая кисть безвольно повисла. Было что-то смертное в этой повисшей руке, будто матросы перепутали и в спешке отрубили руку, а не веревку.

Капитан вмешался, когда Шаров допустил заминку с утопленницей на лебедке. Дорога была каждая секунда, и капитан приказал втащить буфетчицу в рубку прямо через окно.

— Ногами! Ногами подавай! — свирепо зарычал капитан, сбросив раму и высунувшись по пояс, чтобы схватить за ноги буфетчицу. В этом нашло выражение свойства капитана действовать кратчайшим путем к цели. Пока мы суетились стадно, согласно привычкам, или, как теперь принято говорить, стереотипу — надо было двигаться к двери, а под волной, с грузной женщиной на руках и в узостях вчетвером не разминешься, капитан, укрепленный, но и подстегиваемый сознанием единоначальной власти, а равно и единоличной ответственности, мыслил прямолинейно к спасению. Благодаря тому, что утопленницу подавали вверх ногами, еще при подъеме, когда она переломилась и повисла животом на раме окна, из нее хлынула первая вода.

Откачивали ее в рубку. Капитан разогнал любопытных, руководил искусственным дыханием, показывая мотористу, куда нужно надавливать, и командовал: «И раз, и раз!..» — как на яле гребцам.

Рита застонала. Ее прикрыли и снесли в каюту, чтобы согреть одеялами. Петро оттирал ей руки и плечи спиртом, который принес старпом.

Не очень скоро, но все-таки согрелась Рита и пришла в себя, и осознала, что Петро растирает ей плечи. По лицу Петра бежали видимые миру слезы счастья. Рита медленно, бесильно, но настойчиво оттолкнула его рукой в грудь и попыталась приподняться.

— Гад! Смерти моей хотел! Чтобы я утонула! Гад!

— Что ты, дура! Тю!

— О, дает Рио-Рита!

— Он же тревогу поднял! Тебя же заметил! Если бы не Петро, пропала бы! К рыбам ушла!

Ослабев от порыва ненависти, Рита разрыдалась и, обливаясь слезами и соленой водой, упала на диван:

— Я же назло ему вышла! Я же вышла, когда он видел! Гад! Ждал, чтобы утонула! Он же видел!

— Я к машине отбежал, Рита! Истинный Христос! Время не заметил. Потом, думаю, вернулась! Выскочил посмотреть, ага, нету. Там нету, тут нету! Торкнулся в туалет! Дед, скажи, а? Нету ее там! Тогда я понял, ага! Тревогу поднял! Нет же, кореша, ну как же так! Да я же как раз все обдумал, жениться. А ты такие слова! Истинный Христос! Рита! Слышишь, ну!

После такого саморазоблачения все стало ясно. Тревога сменилась хорошим настроением. Ели кашу, плававшую в масле, подавал сам кондей, пили чай и обсуждали происшествие. Петро в десятый раз пересказывал все события в мельчайших подробностях. «Ага! Пятнадцать на семнадцать ключ — кувырк и в щелочку. Беру крюк, пошарил, сорвался, еще пошарил, опять сорвался! Ну, думаю его, что-то долго она там! Ладно, думаю, полоскай, полоскай свои тряпки! Думаю, она нарочно там время тянет, на моих нервах, а сам ключ ловлю! А она вон что придумала, вредная баба, купается!»

Рита ни с кем не разговаривала, время от времени отворачивалась лицом к стене, начинала плакать от пережитого ужаса.

Только на другой день окончательно разобрались и выяснили в деталях, как Рита вылетела за борт и как она все-таки не пошла на дно, ведь плавать на «четыре-х семерках» умели далеко не все, не умела плавать и Рита.

Дело было в телогрейке! До такого лоска была заносена и замаслена жиром тысяч ошкуренных для кухни рыб телогрейка, что стала непромокаемой и выполнила роль спасательного пояса. А за борт старая морзянка попала из-за жадности. Она кинула воду в море, но волна поднялась и, изполнив, рванула ведро из рук! Через дужку ведра был продет сезале-вый линек, на конце у которого уже полоскалась в море тряпка — прекрасный новый крапивный мешок! Ведро скользнуло по линьку и всем своим весом, умноженным на расходящиеся скорости волны и судна, дернуло! Рита не хотела отдать океану прекрасную новую тряпку и хорошее, почти новое ведро! Она и уперлась, не обратив внимания на заходившую под нее с тылу, с судна, волну — ведь она уже вымокла и беречься было уже поздно. Она бы и не отдала свое имущество, но вода приподняла ее, привычно полагав-

шуюся на свою силу и вес, а ведро и тряпка дернули, и тяжелая толстая женщина, как рыбка, скользнула по волне за борт. В это время она была так зла на моториста — ведь именно из-за него вышла она в шторм на палубу и вымокла, и вот даже попала за борт — нате пожалуйста вам! — что сначала назло ему даже не крикнула. Она кричала потом, но за штормом голос ее терялся, и кричать она перестала.

Тонуть, собственно захлебываться, она начала уже значительно позже, когда СРТ 77—77 перевалил огромный водяной хребет и исчез за ним, до самого мостика провалился! Какой огромной кажется волна, если смотреть на нее не с мостика и даже не с палубы, а с ее собственного ската! Обнажилось заляпанное буро-зелеными пятнами водорослей днище кормы, будто в сухом доке, немыслимо высоко откатнулся мостик с рубкой, стал валиться, падать на нее, а ее куда-то понесло, потянуло, охватило холодом по груди, по горлу...

III

В конце рейса быстро окреп слухок, что Рио-Рита и Петро сошлись и собираются пожениться прямо на пароходе. Капитан и профком помудрили и выделили по всеобщему согласию двухместку под образовавшуюся семью.

При новых условиях жизни ни Петро, ни Рита особенно не изменились. То есть, конечно, в личной жизни все у них стало меняться счастливо и бесповоротно, но для окружающих это было очень мало заметно. Так же посмеивалась над пожилой любовью молодая команда, полагавшая, видимо, что и сошлись-то Петро и Рита для всеобщей потехи, чтобы отмошть козу покапитальнее; так же разгорались баталии между мужем и женой, возможно, эта форма развлечения напоминала им пору жениховства; так же замахивалась Рита мокрой тряпкой на пробежавших по мытой палубе рыбаков; так же смертельным визгливым матом наносило от Петра из машины; но уже в каюте у них возникли скатерки и занавески, хранившиеся долгие годы в чемоданах Риты, вышились какие-то подушечки, у Петра появились прекрасные самовязанные шерстяные носки, наглядный залог противоревматичного семейного счастья. Слышны стали новые нотки в разговорах Петра, негромких, не на публику: поговаривать он стал о том, что вот как славно молотить семейно, какое это полноте счастье, когда при дизелях жена рядом! Это чего еще может желать самый мечтательный человек? Ведь таких счастливцев едва ли один на тысячу, какое там, на десять

тысяч! Где-нибудь на большущих пароходах, на китобазах, может, на краболовах, на рыболовных фабриках! Сначала регистрироваться они не стали, рассчитывали походить в моря до пенсии, а женатым парам трудно устроиться на один пароход — не принято. Но штамп в паспорте! Нежно хранимая девичья мечта! Поднакопленных денег у Петра и Риты хватило на выполнение кое-каких мещанских мечтаний. На двадцать восьмом километре, не доезжая Океанской, ждал теперь возвращения Петра из последних предпенсионных рейсов небольшой, в две с половиной комнаты дом с крыжовниковым садом, где упорно, хоть и неумело хозяйничала Рита.

Самые морские из морских птиц, какие-нибудь гигантские альбатросы, летавшие еще над мезозойским океаном вперемешку с ящерами, какие-нибудь королевские краснозобые фрегаты, которые и всю-то жизнь проводят в поисках корма на воде и над водой, даже если умирают в море — гнездятся все-таки на земле, находя для этого необитаемые прекрасные острова в его безбрежности.

Берег есть нечто особенное, если смотреть с моря. Замечено, что некоторых моряков охватывает какой-то особый страх берега. На море все на месте, раз навсегда заведено и пущено, человек всегда при деле. А на берегу? Вот, например, что говорит об этом Ваня Шаров, наш бывший третий штурман; он лежит в каюте, на пароходе хозяйничают чужие люди, межрейсовый ремонт, в гостинице плавсостава места для Шарова не оказалось, да и чем там лучше; Ваню уже два раза перегоняли из каюты в каюту, теперь он спит в бывшей «женатке», где когда-то жили Петро с Ритой.

— Ты что лежишь, Третий?

— А чего там делать?

— В кабак сходи.

— Был. Позавчера.

— Да вылезай из каюты, пройдишь, подыши! Берег же! Ну, волосан! Бабы шустрят по городу, полным-полно!

— Не видал я баб. Кожи портовые!

— Ну уж! Есть и порядочные, кому что. Посмотришь — идет! Сердце в груди бух-бух!

— В море хочу, — в голосе штурмана звучит глухая обида, — не могу я тут! — и он снова берется за Новикова-Прибоя.

— Да что ты в море потерял?

— В море я человек.

Да, в море Ваня человек, да еще какой! В шторм на спор в столовую на руках пришел. На берегу же пробирается вдоль

стеночки, если трезвый. Отсюда и происходят морские мифы и легенды, необыкновенности с ресторанными кутежами при участии работников милиции. Видел я, как Ваня давал на чай угодливо, но и панибратски приобнявшему его официанту. Зачем? Лучше матери-пенсионерке в Благовещенск отослал бы. Но что такое десятка, если тебя за нее уважают. Сходная цена.

У Петра и Риты берег предвиделся совершенно и абсолютно счастливым, чем-то вроде роскошного лайнера, увозящего героев позабытого кинофильма в далекий-далекий рейс под звуки музыки.

Заканчивая эту морскую сказку типичным хэппи-эндом, я не могу не сознаться, что сам вижу, и даже несколько ущемлен этим, мещанство, в которое погружаются мои герои; океан и тот на глазах превращается из романтичнейшего, даже, я бы сказал, абсолютнейшего романтизма стихии, в болотистый залив всеобщего моря житейского! Но уж больно отчетливо стоит у меня в глазах этот в две с половиной комнаты домишко (не досажая Океанской, через шоссе к сопкам, говорил Петро, минут десять ходу от станции, не больше, да пусть и двадцать, куда пенсионерам торопиться), и наносит на меня муссонным дыханием ритм фокстрота.

Пар-р-рам, Рио-Рита...

И успокаивает и примиряет меня эта картинка. Если бы я был, ну кем? Богом? Раздавал бы такие домишки с крыжовником (или смородиной, если севернее Владивостока), никому бы, разумеется, насильно не навязывал, исключительно на добровольных началах. И жизнь бы за это спрашивал полегче немного, чем была она у Петра и Риты. Божественно стойко сносил бы я презрение к своим мещанским взглядам, набрался бы духу и сносил молча.

А если серьезно, есть одно обстоятельство, омрачающее нарисованную картину, умолчать о котором реалисту нельзя. Случается, что списанный на берег закоренелый моряк через год-полтора умирает. Что-то в нем пресекается, обламывается, будто садятся батарейки. Есть, конечно, и такие, что живут на берегу еще долго и счастливо. Это те, я предполагаю, кто сумел сохранить морской завод, ритм моря?

Может, сохраняют морской завод и Рита с Петром, в два-то закаленных морских сердца?

И пусть айсберг неизбежный подождет, пусть он еще даже не откалывается, не сползает с затерянных в туманах поусторонних берегов!





ил-был в селе Чебровка Семка Рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках... Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до кисти, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не зная таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Что мы тебе, машины? Тогда иди заведи меня — я заглож. Но подходи осторожней — лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.

— Зачем же, Семка? — спрашивали.

— Затем, что так — хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так посмотрелся на вас... Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену — просто не замечал ее.

— Погоди, Семка, на запой наладишься,— устрашали его.— Они все так, запойники-то: месяц не пьют, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.

— Ну так ладно,— рассуждал Семка,— я пью, вы — нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые...

— У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

— А я не хочу как сыр в масле. Склизко.

Он, правда, из дома ничего не пропивал, всю зарплату отдавал семье. Пил на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф «изладить», что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались «подогнать» под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во дурные деньги-то!— изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме. Шестнадцатый век!

— На паркет настелили плах, обстругали их, и все,— даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежит кошма и тулуп, и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили... Шестнадцатый век,— задумчиво говорил Семка.— Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талица, что в трех верстах от Чебровки. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышении, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь,— внезапно увидишь церковь, белую, изящную, легкую среди тяжелой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором, — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров кругом — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу.

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно стала прахом та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или во все — на людную городскую площадь, — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия, — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну, — хорошо, красиво, волнует, радуется... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что — красиво. Что?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Смотрел, смотрел Семка и заметил: четыре камня вверх, под карнизом, не такие, как все, — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась бы светлым огнем, вся, во всю стену —

от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил, — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — хотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель и — где на четвереньках, где согнувшись в три погибели — вошел в придел. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту, внизу вдоль стен идет каменный приладок — примерно в метре от стены у основания и в рост человеческого высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни приладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то четыре — узких — оконца...

Семка сел на приступку, стал думать: зачем этот каменный приладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому внизу положил камни потемней, а по мере того как поднимал приладок и выравнивал его со стеной, высветлял: стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюш-

ка отослал сына, с которым учил географию, и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церковь?— Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты».— Талица, Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!..— воскликнул Семка.— Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Слава богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, не помню. Внизу, кажется?

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту!— Поп сам тоже заинтересовался.— Сходи, а чего? Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я как все. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А где он? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал.
— А я дам, ты откуда будешь-то?
— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...
— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как «от себя»? не понял Семка.

— Сам ко мне-то или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно — съезди! А пока будешь ехать, я позво-
ню — он уже будет знать, что к нему, примет тебя.

Семен подумал немного:

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заехай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой старик, с неожиданно то-
неньким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расскажи,
как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красной чашки горячего чая.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота. А никому не
нужна!..

Митрополит усмехнулся.

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайло-
виче, да. Кто архитектор, пока не знаю... Можно узнать.
А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то
знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек.

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал
владимирские храмы, московские...

— Ведь до чего додумался! — И Семка стал рассказы-
вать, как ему удалось разгадать тайну старинного
мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил:
«Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображе-
ния: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер,
маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цвет-
ные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое
сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный ка-
мень, наверно с примесью слюды... И если еще оранжевые
стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил митро-
полит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтиро-
вать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сде-
лать. Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр

из Чебровки. Только... не разрешат мне ее отремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими силами... даже лучше.

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут — пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!

— Такой мой совет. А что говорил с нами, про то не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми... Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше, пожалуй, иметь дело с властями. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колет-ся, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая полная женщина. И захлопнула дверь. Когда он отделявал здесь «избу XVI века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз!

— Я сама!— услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделявал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой!— негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он дома,— догадался Семка.— И по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделявал твой кабинет»— и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу, и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него.

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дожدهшься. Где остальные?

— Там,— сказал Семка,— идут.

— Идут.— Секретарша вошла в кабинет, побывала там короткое время, вышла и сказала сердито:— Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то!— сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже.— Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви,— сказал Семка, пожимая руку председателя.— Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас... не у нас, в Талице есть церковь семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал.— Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом.— Я говорю, есть в деревне Талице церковь,— стал он говорить медленно, но уже раздражаясь.— Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать — она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм,— сказал председатель.— Сейчас разберемся.— Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша.—

Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, пожалуйста, с товарищем, — по вашей части.

— Пойдемте, — радушно предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору. Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам из Талицы, а точнее из Чебровки, Талица от нас...

— Сейчас, сейчас, — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

«Здесь, вообще-то, время зря не теряют», — подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. Талицкая церковь Н-ской области, Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая — на крови. Предположительно семидесятые-девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга... — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит... погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник

архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не высказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году.

— Вы ее видели?— спросил Семка.

— Видел. Это,— Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке,— ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно!— зловеще сказал Семка.— Что сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там видите какое дело: Борятинские увлеклись захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание,— надписи на прикладке,— в тех местах, где внизу захоронения.

Семка Рысь чувствовал себя полностью обескураженным.

— Но красота-то какая!— попытался он упорствовать.

— Красивая, да.— Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма.— Похоже?

— Похоже...

— Это Владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я што-то не верю...— Семка кивнул на казенную бумагу.— По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке,— повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам... Надо же! Ну, допустим — копия. Ну и что? Красоты-то от этого не убавилось.

— Ну, это уже не то... А главное, денег никто не даст на ремонт.

— Не дадут?

— Нет.

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло. И только здесь, на станции, вспомнил, что не пил дней пять уже. Пошел к ларьку... Обидно было и досадно. Как если бы случилось так: по деревне вели невиданной красоты девушку... Все на нее показывали пальцем и кричали неслухозное. А он, Семка, вступился за нее, и обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью. Но тут некие мудрые люди отвели его в сторону и разобъяснили, что девка та — такая-то растакая, что жалеть ее нельзя, что... И Семка сник головой. Все вроде понял, а в глаза поруганной красавице взглянуть нет сил — совестно. И Семка, все эти последние дни сильно загребавший против течения, махнул рукой... И его вынесло к ларьку. Он взял на поповские деньги «полкилограмма» водки, тут же осаденил, закусил буженинкой и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг выйдет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, то у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем же бередить душу расспросами.



О. Куваев

**ЗДОРОВО,
ТОЛСТЫЕ**



что там потому что! Так и есть!»— это любимая фраза Витьки-таежника. С ее помощью он разрешает запутанные вопросы жизни.

...От реки к поселку ведет извилистая и длинная протока. Ее перегораживают мели, упавшие стволы лиственниц, на дне прячутся камни. Все поселковые проходят протоку на веслах, один Витька — на моторе. И потому его возвращение с промысла угадывается за час по реву врубленного на полную мощность «Вихря», который мечется и негодует среди путаных разворотов.

Витька идиолом застыл на корме, полушубок распахнут, улыбка месяцем. На полном ходу он выбирает узкую щелочку между полувытащенными, в ряд лежащими поселковыми лодками и с ходу втискивает свою с точным до миллиметра расчетом. С минуту он сосредоточенно возится — закутывает мотор, перекладывает шест, забрасывает на ближний куст якорек, потом выпрямляется, и медное, широкое, как таз для варенья, лицо его освещается самой приветливой из улыбок.

— Здорово, толстые!— кричит Витька.

Ему отвечают кто нехотя, кто с усмешкой. В это время года на берегу протоки лишь лодочники-рыбаки из тех, кто постоянно живет в поселке. Лесорубы — в тайге, пастухи — в оленьих стадах, а с поселковыми рыбаками у Витьки счеты: у одного снял винт, у второго как-то забрал бензин из бачка, у третьего стащил весла. На все угрозы и увещевания у Витьки один ответ: «Ты у печки сидишь, а мне в тайгу!» Поселковым крыть нечем,— Витька штатный промысловик, и, больше того, участок его самый дальний, на пределе владений совхоза, куда лишь вертолеты и залетают.

Своего жилья у Витьки в деревне нет. Есть приятели. К одному он относит мотор, к другому — рюкзак, к третьему идет переодеться. Через час Витька выходит в костюме, наодеколоненный после бритья, в белой рубашке и с галстуком.

Я давно уже заметил, что не всем лесным и тундровым людям идет европейская одежда. Она их морщит, кособочит и горбит настолько, насколько красивы они в походных мехах и брезенте. У Витьки наоборот. В телогрейке, сапогах и брезентовых штанах он кажется неповоротливым, громоздким и старше своих лет. Костюм же — пиджак, рубашка и брюки — подходит к нему, как хорошо прокалиброванная гильза к патроннику. Костюм у Витьки легкий и дорогой, галстук неброский, туфли замшевые, носки в тон. Лицо свежее, улыбка ясная, загар сильный и ровный, походка осторожная и уверенная, как у сильного зверя в незнакомых местах. Красив, черт возьми!

Витька идет по деревне и со всеми встречными вступает в беседу. Тропа войны осталась на берегу, здесь он человек мирный. Он сыплет шутки, улыбается, жмет руки, а на все заковыристые или каверзные вопросы отвечает неизменно: «А что там потому что! Так и есть!» И так округляет в дурашливом простодушии синие на загорелом лице глаза, что не хочешь — поверишь, хоть и сам не знаешь чему.

Но вся деревня из конца в конец с полкилометра. С одной стороны — протока, за ней тайга, с другой — посадочная полоса, и за ней тайга, с двух других сторон — просто тайга. В центре деревни магазин. Места эти по нынешним временам вовсе нетронутые. Поселок единственный на реке. Посадочная полоса — вот и вся связь с внешним миром. В тайге живет белка на деревьях, горностаи под заламами, выдра в глубоких водяных ямах, шляется россомаха, ступает медведь, прыгает осторожный соболь и ходит лось. Про рыбу нечего говорить.

Витька проходит деревню из конца в конец раз, другой. Народу мало, со всеми успел поздороваться. Остается зайти в магазин. Летом в поселке «сухой закон», но Витьке требуется шампанское. Какое, к черту, возвращение с промысла без шампанского? Пусть постоит, попенится! А что там потому что!

Продавщица продовольственного следит за ним настороженным взглядом. Но Витька вдруг хлопает себя по лбу — «совсем в лесу одурел», — выбегает из магазина. Возвращается он с рюкзаком. В рюкзаке тяжелый и влажный сверток. Он сует его продавщице.

— Медвежатины просила? Вот! Обернута в бактерицидный мох, свежее живого.

Продавщица ахает и расплывается:

— Не забыл. Сколько стоит?

— Какие деньги?— искренне возмущается Витька.— Подарок тайги.

Из магазина он выходит с шампанским в рюкзаке. Весь поселок это видит, но что поделаешь? Человек с промысла возвратился. Закон.

В поселке есть большая базовая метеостанция. На ней работают несколько девушек. Еще две воспитательницы в детском садике и две учительницы. Все девушки живут в одном доме, вроде как в общежитии, и Витька этот дом называет «Залив Страстей». Он отправляется в «Залив Страстей», запихнув в карман тяжелую бутылку шампанского. Дело к вечеру, серебряная головка шампанского отсвечивает в легких сумерках.

В одиночку к девушкам Витька ходить не любит, чаще всего прихватывает меня. Наверное, потому, что я молчу. Говорит Витька сам.

В комнатах «Залива Страстей» чистота, узорчатые покрывала, фотографии киноактеров на побеленных стенках. Уют, какой бывает только в девичьих общежитиях в глухих местах. Как и положено, поднимается визг, кто-то прячется, кто-то причесывается. Наконец все рассажены в «общей гостиной»— на кухне. Шампанское на столе, чайник на плитке, и капли воды на свежевывмытых чашках. Девушки в новых платьях, причесаны. Они любят Витьку. Во-первых, они знают его много лет; во-вторых, Витька никогда «ничего лишнего не позволит»; в-третьих, он человек из пугающего мира тайги, что подступила к поселку. Я уж не говорю, что Витька просто красивый и интересный парень.

— Что сидим-то?— чересчур оживленно говорит Витька.— Давай стрельнем пробку. Пусть пупырышки побегут.

— Трудно было, Витя?— простодушно спрашивает одна из девушек.

— А что там потому что! Наше дело простое. Стрельнул — и снял шкуру. Из капкана вынул — и снял шкурку. Капкан ловит, не я. Это ему трудно,— красуется Витька.

О господи, господи, думаю я. Все лето ловить рыбу, квасить ее по секретным рецептам и разносить по тайге, чтобы была привада, чтобы зверь держался и не уходил. Потом возня с капканами, которые надо регулировать, чтобы удар не перебил лапку зверя, но и не выпускал ее. Никто тут тебе не

поможет, никто не научит, только собственное чутье. И еще надо завезти запас на зиму, отремонтировать избушки. Целое лето неустанной возни для трех месяцев промысла. А во время промысла ежедневный маршрут от избушки к избушке по кольцу, которое Витька проходил за неделю. Ты приходишь в замерзшую избушку, растапливаешь печь (дрова тоже надо заготовить с лета), и уже морит в сон после целого дня на морозе. Но надо еще снять шкурки, снять осторожно и умело, то скальпелем, то ножом, обезжирить мездру и каждую шкурку натянуть на правилку — ювелирная, не допускающая ошибки работа. К утру в избушке все выстыло, а ты снова идешь в гудящий мороз... И так день за днем.

— Страшно, наверное, одному, — зябко говорят девушки.

— Ну-у! — веселится Витька. — Чудачки! Что там потому что! Вот такой пример: на тишине нынче все помешались. Дурные деньги платят за тишину, за спокойствие. Миллионеры острова покупают для одиночества. А у меня тишины — хоть ложкой ешь, хоть лопатой гребь. Одиночества тоже навалом. Настроение портить некому. Какой же тут страх?

Врешь, Витя. Накатывает. Знаю, что на тебя накатывает. Ты один, и человечество далеко. А опасность рядом... Залома на реке, мерзлотные ямы, медведи-шатуны, бешеный осенний лось — да мало ли что! Но хуже всего мнимые страхи, когда приходят ночью к дверям избушки, или человеческие голоса в шуме воды, или некто, стоящий за порогом зимой. И все-таки, черт возьми, одиночество. Человек создан для общения, у него слух, и речевой аппарат, и ладонь для рукопожатия...

— В лесном одиночестве, — басит Витька и хитро поблескивает глазами, — я постоянно думаю о вас, девочки. Были бы крылья, прилетел бы. Так, на вечер. Посидеть, почесать языком — и обратно в тайгу. А что там потому что!

Выбрав подходящий момент, я ухожу. Ночь. Собственно, не ночь, потому что светло как днем. Но тишина ночная. Поселковые работают с девяти до шести. Им ночью положено спать. От дерева отлепляется фигура. Это Тамара, местная красавица, якутка.

— Витька вернулся, — говорит она.

— Знаю.

— Наверное, опять скоро обратно.

— Не знаю.

Тамара и в самом деле очень красива. Темный горячий румянец на правильном лице, влажные горячие губы и блестящие темные глаза с легкой раскосинкой. Не один приезжий

сох по ней, умолял улететь в сверкающие комфортабельные края. Но Тамара, по-моему, любит Витьку, а тот не воспринимает ее всерьез, потому что знал ее еще школьницей.

Через час приходит и Витька. Он шумно вздыхает, усаживается так, что квадратная тень его загораживает окно, и говорит:

— Наверное, я больной.

— Ты что?

— Душа болит. Хочется совершить что-либо. Чтобы красиво и ярко. И чтобы все видели. Чтобы след жизни, как у упавшей звезды. Сгорел, исчез, а все помнят. Ты знаешь, что я уезжал?

— Знаю.

— А почему, не знаешь. Я тогда еще на метеостанции работал в низовьях. Я же метеоролог потомственный. На метеостанции и родился. После курсов много лет работал. И все в тайге. На охоте мне лось передним копытом врезал. Представляешь? Он этим ударом волка пополам рвет. Володька Кривой меня на горбу приволок на станцию. Вертолет я запретил вызывать. Думаю: помру, так в тайге, в родной обстановке, среди своих. Нас там пятеро было. Всю зиму ребята кастрюльку из-под меня выносили, за меня же вахту несли. Я при исполнении числился. У ребят своих забот выше шапки: вахта и промысел, и жена телеграммы не такие шлет. А тут я на нарах валяюсь, киселя не хочу, хочу чаю с брусничкой и по ночам ору диким матом. Болело, понимаешь.

— Чем кончилось?

— Стал я весной выползать. Сижу на пеньке, солнце светит, башка от слабости набок валится, а собаки мне рожу лижут. И захотел я в места, где солнце все время, народу тыща и собаки тебя не лижут.

— Дальше.

— Решил — сделал. В следующий сезон стал зарабатывать деньги. Оклад у метеорологов небольшой. Обычно хватает. Но раз новую жизнь начинать... Сутки дежуришь, четверо свободен. Взял я обход как раз на четверо суток. Избушек нет, ночью у костра. Четверо суток у костра поспишь, пятые по приборам ходишь и на рации, четверо по кострам. Натерпелся. В результате построил дом. В Туапсе. Море. Юг. Дом хороший. Жена домовитая. Все как у людей. Представь: через полгода звереть начал. В пять, допустим, иду домой. Мне бы бревно какое плечом передвинуть, на лыжах километров

тридцать пройти. А я сижу в чистой рубашке, с газетой в руках, жена мне ужин готовит. Я сам умею лучше, но нельзя. Непорядок. Вечером в кино. Ночью спать. Жена спит, а я смотрю в потолок и думаю: как там мои собаки? Кто с ними сейчас говорит? По лесу тоскую, аж слезы. По морозу. Принял решение. Раз меня в лес тянет и к зверью, значит, надо быть промысловиком. Осуждаешь?

— За что? Работа, она работа и есть. Ты же валютный цех. Мягкое золото и так далее.

— И я так понимаю. Но обидно в отрыве от человечества жить. Вот поставлю я себе базу. Четыре зеркальных окна, с любой сопки отсвечивают. Телевизор поставлю. Говорят, скоро со спутников прямая передача будет — смотри не хочу. Библиотеку куплю тыщи за две. Книги, они ведь тоже люди, как и собаки. Извини, что книгу с собакой сравниваю, но обидного нет. Собака из друзей друг. Промысел налажу культурный. И буду я не одиночка, а истинный член общества.

— Ты и сейчас член общества.

— Нет. Вот в поселке меня не понимают. Каждый о доме на юге мечтает, к примеру. Не могут понять, почему я его завел и подарил жене при разводе. А он мне зачем? А ей жить. Понимаешь? Ну начудишь что от жизненных сил. Так я же не от хулиганства, а от открытой души. По человечеству стосковался.

У Витьки в самом деле сложные отношения с поселком. Впрочем, не у него одного. Каждый промысловик — личность творческая, как и каждый пастух. Они возвращаются в поселок одичавшие, отвыкшие от ежедневного регламента, который мы соблюдаем, не замечая. Кое-кого это коробит.

— Не понимаю, — сокрушенно говорит Витька.

— Что не понимаешь?

— Вот этот особняк, в котором мы сейчас не спим, шабашники ставили. С Кубани. Прижимистый народ. Утром приехали, а вечером один уже сидел у магазина. Хариусом торговал. Полтинник штучка. Кто-то из местных его пожалел, взял за руку, отвел к протоке, вынул из кустов удочку и за полчаса десять хариусов наудил. «Соображаешь, — спрашивает, — коммерцию?» Тот вернулся, рыбу из кошелки на землю высыпал и каждую каблуком раздавил. После них лосей находили. Грудинка вырублена, остальное для мух. Что, скажешь, умный?

Я молчу. Что скажешь о людях, для которых тайга вроде бесплатного универмага, открытого на один день: забегай,

хватай, тащи. А для таких, как Витька, тайга окончательно. Никуда им от нее не уйти. Я знаю десятки людей, которые все уезжают, в каждый отпуск едут «в последний раз», приобретают в теплых краях дома и машины. И возвращаются. Разные есть среди них люди, но тайга всех уравнивает, как строгая мать в многодетном семействе. Надо быть мелким до чрезвычайности человеком, чтобы после нескольких лет, проведенных в тундре или тайге, оставить их без сожаления и сразу. Но что там ни говори, мелкие люди редко встречаются в таежных поселках. Их туда не заносит.

— Давай спать,— говорит Витька.— Утром пойду копытить.

...Утром он идет «копытить», добывать нужное, как олень добывает ягель из-под снега. Он достает запчасти к мотору, набор надфилей, новую цепь для мотопилы «Дружба», три сотни патронов к мелкашке. Он штатный охотник, совхоз обязан давать и дает ему почти все. Но всегда имеет дефицит. Дефицит этот раздобывается сложной системой обмена: десяток капканов второй номер в обмен на запчасти, спрятанная на дальней протоке канистра с бензином на мелкашечные патроны — и так далее. Еще чаще применяется молчаливое согласие «ты меня выручил, я тебя выручу».

Выкладывая вечером добытые богатства, Витька говорит:

— Баню надо поставить — раз. Еще две избушки воздвигнуть за лето. Обход у меня мал. Две избушки поставлю — будет как раз. Обживем помаленьку вверенный район. А что там потому что!

Это значит, что поселок уже начал тяготить Витьку. Промысловик он хороший, и я заметил, что он постоянно думает о своем участке.

Проходит еще два дня. Витька с утра не идет в поселок. Лежит на койке, руки за головой, небрит, костюм валяется на полу.

— Вот ведь умора,— прерывает он неизвестные размышления.— В декабре мороз был страшный. Больше шестидесяти. Все застыло. Я, конечно, сдуру хожу по капканам. И конечно, сдуру поперся на Большую Петлю. Полтора суток. Выхожу на избушку — и чувствую, кровь у меня от мороза обратилась в кристаллы, жилы изнутри колет. Печку растопил — красная вся. В избушке не продохнуть. Открываю дверь. Снаружи деревья заковенели, а я на нарах лежу голый, разглядываю морозную мглу. Смотрю, синицы. У меня там три синицы живут. Одна из этих трех влетает в раскры-

тую дверь — и прямо на печь. А печка-то красная! Я даже глаза закрыл: погибла птица. А она по печке прыг-прыг и обратно в дверь. Смотрю, скачет как ни в чем не бывало. Вот это, думаю, ноги. А она свесим объясняет: да ничего страшного. Все три на пороге. Я лосятины сырой накрошил, хлеба в горсть, открываю кормежку. Они поели и спать на пороге. Тепло же. Верь не верь, даже храпят. Так и зимовали всю ночь с открытой дверью. Не привыкли они еще, чтобы в закрытой избушке сидеть. Утром потеплело, начались трудовые будни для меня и для них.

Раз Витька заговорил о птичках, значит, готов. Пора ему возвращаться. А он, подобрев лицом, уже как-то отмякнув, продолжает:

— Весной прибежал на лыжах охотовед один. Парень хороший. Требовался ему старый снежный баран в конце зимы, чтобы выяснить, как он перемучился зиму. Барана я ему показал. Рога — пуд. Но на то он и старый, чтобы все знать. Сразу догадался, зачем примчался охотовед. Так-то мы с ним мирно живем, рядом ходим. А тут на километр не подпускает. Но держится на одном склоне. Корм там хороший. Склон весь в ложбинах. По одной охотовед ползет на восток, по другой бараны убегают на запад. Охотовед говорит: «Ты, Витька, ложись с биноклем на той стороне распадка. Я за стадом пойду. У меня тоже бинокль, и ты направление бега показывай шапкой». Ладно. Лежу. Бараны вверх бегут, охотовед с винтовкой внизу карабкается. Без бинокля все вижу. Сейчас бараны в ложбину уйдут. Слышу, шуршит. Смотрю, горностаи у меня бинокль в сторону тащит. Отнял бинокль. Смотрю. Бараны из ложбины вынырнули, берут вправо. Ищу шапку, чтобы показать. Нету. Смотрю, горностаи мою шапку под валежину затаскивают и от злости урчит. Отнял шапку, ищу, где бараны, смотрю, он рукавицу попер. Я рукавицу отнял, все под себя подложил, ищу баранов. Чувствую, грызут сапог, тянут из-под меня. Вытянул рукавицу. Где бараны? Бараны вон, на взлобке. Горностаи снова сапог грызет. Отмахнулся. Где охотовед? Вижу оховеда на чистом месте. Баранов же нет, нырнули в другую ложбину. Охотовед в мою сторону бинокль наводит, чувствую, снимают с меня ремень. Я шапкой сигналю. Смотрю, а бараны в другой стороне, не туда сигналю. Горностаи верещит, злобствует. Оторвал ему кусок портянки в качестве выкупа. Он его уволок и требует снова, а баранов уже нету. Где? Не знаю. Вижу в бинокль оховеда, грозит кулаком. Хочу закурить от злости. Хвать-похвать, где папиросы? А вон, дорож-

кой рассыпаны. Охотовед возвращается. В чем дело, Витя? Отвечаю: с биноклем что-то. Фокусировка разладилась. Разве скажешь, что меня один горноста́й в окружение взял. А горноста́й под валежину спрятался, только глаза посверкивают. Не решается против двоих идти. Я ему втихаря кулак кажу: ладно, зимой потолкуем...

— Поедем вместе,— говорю я Витьке.— Я в избушке у Большого Прижима порыбачу. Там долбленка спрятана. На ней и вернусь.

— Поедем,— откликается Витька.— Постой! А ты с чего взял, что я ехать собрался?

— Тоже мне высшая математика.

— Поедем. Только несерьезно все это. Избушка, долбленка... Вот поставлю базу с зеркальными окнами и библиотекой. Приезжай тогда ко мне жить. Вдвоем, оно знаешь...

Вечером Витька возится с лодкой. Лодки он всегда делает сам. Если спросишь, что прислать из Москвы, то ответ один: годовой комплект журнала «Катера и яхты». Вообще Витька многое умеет руками: чинить радио, ковать ножи, доводить до ума мотор, регулировать капканы, стучать морзянку и так далее.

Утром мы грузимся.

— Прыгай, что ли,— хмуро говорит Витька.

Я отталкиваю лодку и сажусь на дно. Витька едва трогает шнур, мотор ревет и на полной скорости — спина за-костенела, взгляд вперед — Витька выводит лодку в протоку. Вдруг сбрасывает газ, встает и кричит на берег:

— Пока, толстые!

— Витька,— говорю я,— опять ты без весел. А как загложнет мотор?

— Мой не загложнет. Однако весла бы хорошо...

Прошлый год мы с ним поднимались вот так по реке. Река здесь дикая, быстрая. По берегам лежат тысячетонные заломы из деревьев, снесенных в паводок. Под заломы бьет струя и может втянуть лодку. У нас тоже однажды заглож мотор, и течение понесло лодку прямо на ошестинившуюся орудийными стволами стену залама. Витька копался с мотором, а я с тоской думал: «Были бы весла». Когда до залама осталось метров десять, я вытащил из-под груза доску и развернул лодку кормой. В метре от залама мотор завелся. Мы вышли на струю, и Витька сказал:

— А ты молодец!

— Ссображаем маленько,— тщеславно согласился я.—

Лодка бы кормой стукнулась, ты бы выскочил. Потом бы ее обязательно развернуло и выпрыгнул бы я. Лодке, конечно, конец.

— Я не о том. Молчал ты, пока я с мотором возился. Под руку с советом не лез.

— Так как же насчет весел?— повторяю я.— Тебе сделать их, что ли, трудно?

— С веслами беспечным становишься. Про мотор забываешь. А так ты должен на него дышать и протирать платочком. Вроде как последний патрон или последняя спичка. Не имеешь права сделать ошибку.

Мы выходим на реку. Течение крутит водовороты, вода отблескивает, как серый шелк. Витька сидит на корме. Мотор неожиданно глохнет. Лодка быстро катится вниз. Но берег тут ровный, неопасный.

— Заводи,— говорю я.— Хоть и не последняя спичка, но...

— Что там потому что,— смущенно отвечает Витька.— Он работать не хочет. Не имеет желания.

— Да ты дерни шнур-то.

— Что я, своего мотора не знаю? Не желает он сегодня работать.

Лежим у костра. Два ствола сушняка ровно горят по всей длине. У комлей закипает чайник. Витька лежит на гальке лицом к огню, мгновение — и я слышу легкий храп. Спит Витька. На реке стоит плеск, журчание, шум кустов, какие-то птичьи и звериные крики, возня — идет ночная жизнь. Не прерывая храпа, Витька медленно переворачивается спиной к огню, спит и снова так же медленно переворачивается лицом к костру, точно сидит на невидимом вертеле. Минута — и я вижу его с открытыми глазами, как будто и не было ничего.

— Профессионал ты у нодьи спать,— уважительно говорю я.

— Внизу за перекатом выдра рыбу гоняет,— говорит Витька.— А на том острове росомаха, наверное. Ищет, что плохо лежит. Горностай на нее сердится.

— Может, лось просто. Или медведь?

— Горностай говорит, что росомаха.

— Профессионал!

— А как же!— соглашается Витька.— Если работаешь — дело знай. А не знаешь — учись. Меня отец пять лет натаскивал, прежде чем доверил капканы ставить. На Полярном Урале то было. Что там потому что!

Утром мотор заводится с одного рывка. У избушки мы расстаемся. Витька — «поднять и резко опустить» — коротко машет рукой, садится в лодку и в реве мотора исчезает за скалистой стеной прижима. На отвесной стене воткнута палка, на палке висят штаны — выходка того же Витьки. Мы встретимся через год, когда он прилетит в отпуск в Москву, как договорились. Или я снова прилечу сюда.

В избушке на нарах горько пахнут ивняковые ветки. Пожарившая за лето железная печь. На столе пачка соли и кружка. В таких избушках не живут, в них только ночуют. А у Витьки такие в двухстах километрах отсюда.

Я раскладываю на столе продукты, собираю спиннинг. Каждый раз насовсем прощаюсь со здешней тайгой и каждый раз возвращаюсь. Но не обо мне речь.

Зимой от Витьки приходят письма. Письма он пишет в редкий свободный день, когда пуржит и нельзя выходить на капканы.

«Вчера ночью собаки залаяли. Лают и лают, держат кого-то. Я из мешка выполз, ноги в валенки, иду. Слышу, кусты трещат, значит, лось держат. Решил: пойду отзову, а то всю ночь будут лаять. Прихожу и вижу (ты там узнай, в чем дело) — кусты все светятся зеленым светом, лось тоже как фосфором вымазан, а собаки нет. Лось прямо горит... Поймал четырех соболей, сорок белок с дерева снял, еще три рыси и волк. Горностаев двадцать. Для начала неплохо...»

Другое письмо:

«У меня тут дятел-туняедец поселился. На лабазе мясо лежит, так он им и кормится. Обленился совсем. Иногда вспомнит, сядет на чурбак, я на нем дрова расшибаю, долбанет чурбак, потрясет головой, еще долбанет. Я ему говорю: «Ты же, несчастный, совсем работу забудешь. Весной мясо кончится, чем будешь жить?» Сидит на чурбаке, думает. Синицы обнаглели, жить не дают щенку. Он с ними уже не играет, так тащат за хвост. Давай, дескать, не филонь. Соболей восемь, рысей шесть, добыл матерую волчицу. В конце декабря обещали вертолет за пушниной. Прилетал, кружил, но я в тайге был, не нашли. Надо рацию поставить в средней избушке. Дам председателю совхоза идею. Пишу впрок, может, вертолет еще прилетит...»

«...Привезли на Новый год бутылку шампанского. Пушнину, письма забрали, получишь все кучей. Встретил Новый год в своей компании: синицы, туняедец-дятел и собаки, конечно. Еще у меня тут лось завелся. Старый самец. С мамонта ростом. Умный. На западе сильно горело, волки к нам на ре-

ку перешли. Очень много. А лось выбрал этот распадок. Сверху волкам в него не попасть, в устье избушка моя отпугивает. Живет как за оградой. Обнаглел до того, что дорогу не уступает. Верь не верь, ношу с собой котелок, чтобы отгонять его бряком. А то врежет, как раньше. Тут Вовки Кривого нет, кто меня на горбу потащит? Волков поймал еще четырех. Три выдры. Соболей теперь десять. Ты там узнай, что с телевидением, с прямой передачей? Позвони так кому: сидит-де в тайге Витька-анахорет, желает посмотреть «Клуб кинопутешествий» про Африку. Если уйти на Приток, вот где участок! Там никто никогда не ловил. Вот где базу с зеркальными окнами. Да избушек десяток. Обход нужен большой, чтобы зверье не искоренять, а снимать излишки. Культурное, в общем, хозяйство. Я тут тебе летом городил что-то насчет души. Ты это всерьез не воспринимай. Это я от лежащего положения на пружинной койке. В лесу все нормально, и руки вместе с башкой соображают. Эта работа для меня, брат. Ты жалуешься, что среди бетона и автомашин скоро засохнешь. Разворачивай руль и врубай газ на новые условия жизни. В тайгу. А, толстый?»

Витькины письма я люблю получать. И собираюсь к нему на сезон уже третий год. Но Витька не знает, что иногда боишься того, что у него-то вышло само собой. Всосет тайга и не отпустит обратно.

...Весна на дворе. И совсем далеко отсюда скоро взломает лед на реке, с дальнего участка спустится на моторе Витька-таежник. С шиком врежется в берег, осмотрится и расплывется медным лицом:

— Здорово, толстые!



А. Плетнев

**ДО УТОМЛЕНИЯ
СЕРДЦА**



Иннокий Кокорин работал в шахте двадцать шестой год. Нечаянно в голову пришла блажь: посчитать, сколько угля добыл он за свою жизнь. Может, и не нечаянно — он всегда много думал. Додумался и до этого. Взял клочок бумаги, карандаш и стал размышлять: «Что это я, дурак? Как тут сочтешь? Если бы за год... Хм, за год-то можно. Да умножить на двадцать пять». И в пять минут сосчитал. Отбросил отпуска, выходные, больничные — а болел он всего два месяца, восемнадцать лет назад сломал ногу, — и больше никогда — ни гриппа, ни хрипа. Даже шесть дней вычел: три дня без содержания на свадьбу и три дня, которые просидел в молодости на городской комсомольской конференции. Уж конференция-то запомнилась, потому как на ней он лишился зуба! Три дня слушал речи и чвакал конфеты «Золотой ключик». И черт его знает, почему ел эти конфеты! Сладкого сроду не любил, а тут набивал в буфете «Ключиком» карманы и упорно давил их, почему-то одной челюстью, клейкие, сладко-молочные — зуб вскоре и разрушился...

Словом, посчитал. Среднюю сменную цифру занизил на всякий случай для ровноты. Первые десять лет лопатой уголь кидал, и вышло двадцать восемь с половиной тысяч тонн; в пятнадцать лет остальных комбайном добыл сто одну тысячу тонн. Сложил. Сто двадцать девять тысяч получилось.

Это число огорчило Иннокентия. Он даже бумажку от себя откинул на край стола. Загляделся через окно веранды на деревья в саду, суставчатые корявые ветки которых занежнели от мая, надулись темно-розовыми почками так, что

полопались с закругленных кончиков, проклюнулись тугой белизной. «Чего эти тыщи? Шахта вон за год по восемьсот тыщ намолачивает,— думал разочарованно.— Вот столько бы мне, так...— Иннокентий даже сморщился от досады, что так неожиданно мал вышел итог.— Суетимся, суетимся, муравьи, а оглянешься...»— Ему зачем-то втемяшилось сравнить свою двадцатипятигодовую добычу угля с годовой добычей шахты, а сравнение было страшно далеко не в его пользу.

Долго сидел с каким-то тоскливым, тяжелым чувством: «Вот живем, брыкаемся... Да. Через три года пятьдесят — пенсия... Туда-сюда — и голубой городок, а там не посчитаешь и не поглядишь вот так на сад. Тьма на веки веков».

Иннокентий длинно вздохнул. Нет, что мало поработал,— это не главная причина его расстройства, а может, и главная, кто знает? Он «задумал». Он часто думал, зачем живет и зачем умирать будет? Ну, живет — это как-то ясно. Или не ясно, но все же видно все: и женщин любил, и поработал, и дочерей вырастил, дом этот, сад... Ну, еще лет пятнадцать, от силы двадцать — шахтеры не долгожители. А что потом? Проваливался сознанием в это «потом», и аж мурашки по спине бежали: «Ведь забудут, собаки. Сто двадцать девять тыщ тоже гора немалая, да еще за три года подвалю. А где она, гора-то? Следом и улетает в трубу. Тьфу! Да что я, один, что ли? Миллионы приходят и уходят. Не от святой же этой самой я клочок. Они меня забудут, а их — другие, так и будет колесо крутиться. Чего об этом думать? От дум счастливей не станешь. Надо о жизни думать. А как о ней думать? Работай, да и все. Ох-хо-хо...»

Открыл книгу Толстого «Казак», но нет, сегодня не читалось.

Закатное солнце арбузной сочностью напитало мелово-пепельную тучу через прореженный проем, а сверху на ее высокий край прилег чистый свод неба, и потому вершины сада чернели серебряной вязью на голубом, а ниже ветви и стволы словно подтаивали в слабом жару.

Положив голову в широкие, точно выточенные из камня ладони, Иннокентий через полуприкрытые веки пропускал мягкий розовый свет, и он, этот свет, будто лился в душу, обмывал сердце теплым и печальным. «Хорошо как, мама моя! Жил бы и жил нескончаемо». Представил плотную голубую россыпь оградок и памятников под этим вот светом на пологом склоне сопки, у сквозной березово-черемуховой рощи. Роща теперь утратила тяжесть для взгляда, взвесилась серо-зеленым дымком младенческой листвы в прозрачном

воздухе. Ниже кладбища — газовой накидкой лужок, а вдаль глядеть-то — долина километров на пятнадцать до четкого волнистого среза сопки, а над всем этим — густой синевы небо и заря через тучу. Боже мой! И сотни, и тысячи лет будет роща, будет лужок, будут долина и сопки, и заря — все будет, только...

Иннокентий как бы из небытия, потусторонним взглядом, с жадностью оглядывал видимое и воображаемое, и в самом деле что-то мутнеть стал свет в глазах и тело будто неметь, остужаться стало под сырой, знобкой тяжестью.

— А-а! — глухо вскрикнул Иннокентий, голову резко вскинул, руки грохнул на стол. Сердце, как язык колокола, в ребра колотилось, воздух тянул с жадным шумом до распорки в груди, словно действительно сбросил с себя лишнюю жизнь тяжесть.

— Ну-у, бра-ат, — сказал дрожливым голосом, — жизнь-то осознавай, да в яму-то живьем не прыгай. Не йега эта самая.

И еще почувствовал: «Вот она, первая прищипка сердца: тесно ему во мне делается. А, ничего. Главное — осознать себя всего до донышка. Смерть всем страшна, да страшатся ее по-разному: одни — этим самым, как его... инстинктом, как скотина, другие — разумом. Скотина-то, кроме страха, ничего с собой не унесет, ничего не потеряет. А что же унесет разумный?..»

Туча снизу и сверху сжалась, уплотнилась, вытянувшись в длинную сизую полосу, очистив место для заката; солнце повисло на ее карнизе алой каплей, и забегали в нем струйки, завихрились, точно из амарантовой питанности тучи натекла в него рудная тяжесть. Земля перетянула каплю к себе и стала быстро ее впитывать. Иннокентий, не щуя глаз, глядел на солнце, будто видел его в последний раз, и не заметил, когда скрылась за тeneвым краем последняя искринка. «Ну, чудеса! Разболтал душу, будто малахольная девка-печальница».

Поднялся, по веранде прошелся, прислушиваясь к покою дома, только с улицы, от соседа Скачеева доносится мягкое тиканье: Пашка гвозди колотит.

Куда что делось? Давно ли дом звенел и своими, и чужими детскими голосами. С ночной придешь — поспать не дадут. А теперь — одна дочь в техникуме, другая в университете, только деньги высылай. И Татьяна будто сбесилась: работу суточную нашла в охране. Кукуй тут один.

Иннокентий сел, потянулся прогонистым телом, в котором где кости, где мышцы, не отличишь — так skipелись они в жаркой и долгой работе.

Татьяна не раз говорила: «Телом — из дуба тесанный, корнями пеленатый, а сердце — невеста из слезной нежности».

Чувствовал за ее словами скрытый укор и даже насмешку над его душой: дескать, баба ты, Кеша, в штанах. Обижала этим страшно, потому что его душевность принималась за слабодушие, и кем принималось! Самым родным человеком на земле. Уж пора понять бы перепонять друг друга за столько-то лет. Правда, не по-мужицки любил ее и дочерей, не сдержанно, до утомления сердца. Бывало, с дочерьми играть заведется, так весь изомлеет от радостного восторга. Успокоятся, на колени их возьмет, прижмет к себе, а сам уж тревогой болючей опаленный; в глазах такое, точно у него детей сейчас отнимут навсегда.

«Опять сошлись тучки в одну кучку, — улыбалась жена. — Чего почудилось-то? Чего забоялся посереде ясного дня, в полном здравии? О себе побольше думай, а с ними, — указывала на детей, — ни беса не доспеется — не в шахте, поди». — «Глупая, мир-то какой стал, а? Вся земля машинами раскатана... Ездим по правилам, ходим по правилам. А вдруг да чуть-чуть ошибся? На малой ошибке жизнь-то повисла. Вон Пашка на рыбалку ездил...» — «Да знаю, — перебивала. — Тыщу раз слышала». — «Нет, не знаешь, — упрямился Иннокентий. — А знаешь, так не сознательно: не дошло до тебя. Волосок на лампочке стряся... Пашка поворачивает, а лампочка не мигает. Грузовик ему в бок и въехал. Хорошо — два ребра, а то... Поняла? Волосо-ок!» — пересказывал настойчиво. «Господи боже мой! — всплескивала жена налитыми белыми руками. — А пастухов в степях громом убивает, а купаются — тонут, а волки в лесу?! Что ж, по-твоему, не родиться теперь? Каркаешь». — «Это же природа, дуреха, а то сами на себя капканы ставим», — возражал вяло, чувствуя правоту жены, а потому и слабея в своем убеждении.

«Кто смерти не боится, тот жизни не любит, — думал Иннокентий. — Однако и вправду что-то я закособочился: надо бы душу по уровню установить, чтоб ни туда, ни сюда не перетекала».

Небо на западе лимонно-светлое, а с востока уж ночь росла, потому и сад был словно затоплен не воздухом, но

темной прозрачной водой, в котором каждая ветка, каждый сучок видятся с четкостью чугунной.

Иннокентий смотрит, как сосед Павел Скачеев влез по лестнице под самую крышу дома, стал приколачивать там какую-то рейку. Потом быстро, по-обезьяньи перебирая короткими руками и ногами, спустился, стал озираться круглыми глазами на широком плоском лице. Нижняя челюсть выдвинута, рот растянутый, тонкогубый, нос маленький с вывернутыми ноздрями — чистый горилла. Схватил лопату, стал что-то копать у фундамента. Скачеев в шахте на минуту не присядет и домой придет, не успокоится: стучит, рубит, копает, пока спать не свалится. Штабель досок пятый год с одного места на другое перекладывает: сегодня доски в саду, завтра — у сарая, а там еще куда упрет.

Всю жизнь мозолит он глаза Иннокентию через метровый заборчик. Само собой Иннокентий тоже не сплошь после шахты расслаживается, особенно в сезон. По ранней весне выстрижет все лишнее из деревьев и кустов, высеет в парник капусту-ранницу, чтоб в июне — вилок, в ноябре — кочан; трава нацелится к выклову, а у него уж картошка высажена в грядки, пухом взнятые, а тут и многолетние цветы нужно окопать, разредить луковицы, однолетки высеять...

— Бабская глупость, — кивал Скачеев на цветы, — мужику совестно этим заниматься. А еще есть — диколоном мажутся. Тьфу!

— Красиво, — возражал Иннокентий.

— Чево, чево? — напрягал Скачеев внимание, хотя слышал отлично.

Павел Скачеев умудрился до наших дней уголь добывать лопатой. Если бы он жил не по соседству с Иннокентием Кокориным, то Иннокентий, наверное, не знал бы, что есть на шахте маленькая бригада, которая до сих пор «лопатит»; достает из старых завалов «заплатки» когда-то брошенных пластов угля.

— Хм, — все равно удивляется Иннокентий. — Как же вы лопатами-то?

— Как. Черпай больше, кидай дальше да почаще. А то сам не кидал?

— Кидал. Да когда это было? Теперь-то лопатить по морали стыдно.

— Работать стыдно? — Скачеев уставлял в Иннокентия совиные глаза. — Ишь как они расфруктились! Стыдно им.

— Перед пенсией-то тяжело лопатой. Шел бы в механизированную бригаду, хоть подручным.

— На комбайн, что ли?— моргал по-совиному, хлопал белесыми веками Скачеев.— Ну, как же! У него электрическая жилка порвется, а я — сиди. Это вы сидеть любители.

Он всегда как-то выворачивал разговор, все старался оскорбить Иннокентия, но тот терпел — ему до души Скачеева продаться не терпелось, поглядеть, чем жив человек.

— Завтра, к примеру, вашу бригаду прикроют, вот и придешь к нам,— пытался запереть его Иннокентий.

— К вам? Нет, не приду,— говорил тот убежденно.— На мой век лопаты хватит.

— Любишь лопату?

— Зачем? Баба она, что ли? Я работать люблю.

Иннокентий, сбитый таким ответом с толку, соображал, что на это сказать. Думал и Скачеев, потом говорил, кривя рот, будто пропиленный в дереве лица:

— По мне, так я бы комбайны те все на-гора поднял, поплавил на лопаты.

— Как?!— Иннокентий аж подскакивал и садился опять, удивленный до крайности.— Жить тебе комбайны не дают, что ли?

— Почему — даю-ют,— отвечал спокойно. И вообще, чем Иннокентий больше волновался, тем Скачеев делался невозмутимее.— Мне комбайны не мешают, они вам, дуракам, жизнь портят. Вы же в шахте шевель-шевели: не вырабатываетесь, а на-гора вам дурь в головы и прет. Вон, цветочки...— показал на кусты золотого шара, перевалившие свое «золото» через забор.

— Цветы — дурь?

— Ну а что ж? Картошку прикупаешь, а землю — под цветочки. Дурь и есть.

— Да-да,— протягивал Иннокентий.— Вот это ду-ух!

Скачеев, приподнимая подбородок, недвижно глядел высоко над землей, и если бы Иннокентий его не знал, то мог бы подумать, что человек погружен в высокую мечтательную думу. Клешнятые ноги Скачеева едва доставали до земли, хоть и скамья низкая, руки выпрямленно уперты чуть на укос в скамью — так коротки они по отношению к широкому и длинному торсу.

Нечеловеческая мощь чувствовалась в кубастом теле Скачеева. И он сам, и его слова заставляли Иннокентия как-то по-особому глядеть и на его огород, и на сад, и на постройки: хотелось обнаружить во всем этом что-нибудь уродливое, мрачное, в соответствии с самим Скачеевым, но все — и молоком белеющая в цвету картошка, и широко-

жие подсолнухи, и ягодные кусты, дом и летняя кухня — все было возделано и слажено по закону полезной красоты. Ни одной дурной травинки и декоративного цветка, но желто-пенно цвели огурцы, цвели семенная капуста и морковь, цвели подсолнухи... Весело и легко стоял дом, обшитый тесом и выкрашенный в небесную краску, большеглазо смотрел окнами на три части света. «Да, дела его... Чего ж плохого? Все прекрасно...— думал Иннокентий.— Главный его труд под землей, а здесь тоже не само собой, не забава...»

— О чем думаешь?— спрашивал у Скачеева проникновенно и сердечно.

— А ни о чем,— помолчав, отвечал тот.— Чего мне думать?— И покачивался туда-сюда, как бы притираясь к скамье, кулаки плотней упирал в доску, точно ожидая напора чуждой ему силы, которая должна была его столкнуть со скамьи.— Это вы все думаете. Политикой занимаетесь и думаете.

В его словах Иннокентий слышал лютую неприязнь. Для Скачеева политикой занимаются все, кто читает книги. А сколько было: трудится Скачеев на усадьбе, а Иннокентий с книгой сидит на лавочке под кустом сирени... Нет, вспоминай не вспоминай хорошее в жизни, а все кажется, не было лучше тех минут, когда оставался с книгой. Когда еще кости не отгудят после шахты, когда сладко истекает из тела усталость от тяжелого напряжения, тогда, зимой ли за столом, при настольной лампе (Иннокентий из-за уважения к книге никогда не читал лежа), летом ли, в шумной тени, осенью ли, когда день в золотом сиянии от края до края, а вокруг, вблизи все замирает в кроткой мечте о будущей весне,— всегда он открывал книгу с какой-то тревожной и радостной опаской, будто перед неведомой дорогой: куда заведет она его, каких людей, какую жизнь покажет?..

Так вот, Иннокентий при досуге — с книгой, а Скачеев — с лопатой... Ну и трудись себе, коли труд в радость. Так нет: потихоньку, незаметно у заборчика оказывался, на лопату опирался и глядел стоялым взглядом на Иннокентия, ждал.

— Чего тебе?— поднимал лицо Иннокентий.

— А так, ничего...

Скачеев тянул руку через забор, травинку срывал и разглядывал ее с ложным интересом:

— Не скажешь ли, что за растение это у тебя? Какой полезности плод родит?

— Это сор и родит сор,— серьезно отвечал Иннокентий, понимая намек Скачеева.

— Вон еще есть,— поводил рукой Скачеев.— У овоща соки тянет. Или не понимаешь?

— Понимаю,— задумывался Иннокентий.— Да огород что мир: в нем все растет.

— Так-так...— Скачеев разминал травинку, брезгливо отбрасывал.— Выходит, всему жить дозволяешь? И вредному?..

— Ишь ты, приспособил: «дозволяешь».— Иннокентий откладывал книгу, как-то напрягаясь весь, точно ему предстояла драка, как в молодости за Татьяну.— Я же пропалываю. А до какой травинки руки не дойдут, так не без этого.

Скачеев, вроде забыв и про разговор и про Иннокентия, долго молчал, оглядывая небо.

— Парит и парит, а дождя нет,— говорил наконец.— В заботе теперь не продохнешь.

— Да-а,— соглашался Иннокентий и тянулся к книге, но Скачеев опережал:

— Я ведь было тоже политикой с мальства...

— Читал?!— удивлялся Иннокентий.

— А как же. Отец, спасибо ему, за уши насилу оттянул.

— Зря,— жалел Иннокентий.

— Чего — зря?

— Да отец-то...

— А-а. Не зря.— Скачеев почему-то смеялся, не меняя лица, только телом тряс да глаза больше округлял.— Сидел бы, как ты, а трава овощ давила,— сказал, отсмеявшись.— Бо-ольшой вред — книжки: они думы в сторону от работы уводят. Их бы собрать да пожечь.

Иннокентий внутренне вздрагивал, будто на сердце кто-то со злом кипятку плескал, и такой гнев охватывал душу, что говорить тяжело было: слова не вылетали, а выполняли через спазму:

— Жгли уже. Ты не первый такой.

— Кто?— Деревянное лицо Скачеева отмякало от интереса.

— Находились. Гитлер, к примеру. Тебе, свинье, рога бог только не дал, а то бы и ты...

— Пожег бы, коль властиска была,— спокойно подтверждал Скачеев и опять оглядывал небо.— Нету дождя, хоть умри,— говорил, уходя,— Илья Пророк разленился вконец, зараза.

— Да ты... это... Как на тебя солнце глядит и не

портится!— вскакивал Иннокентий с лавки, топтался на месте, почти не помня себя. Скачеев, согнувшись, орудовал лопатой, безразлично-глухой к его возмущению. «Все, враг ты мой до гроба,— думал Иннокентий, но сердцем отмякал скоро.— Дурной, бес, да труженик — какой от него вред».

Читал Иннокентий медленно: глаза по строчкам не бежали, словно не читал, а разглядывал, чтобы не упустить пробежкой нужное, возвращался к прочитанному, отрывался от книги и подолгу думал, уходя мыслями в мир книги, и сам не замечал, когда его думы перетекали в его действительность, в его мир. И все дивился: сам знал, чувствовал, видел — и все это умирает в тебе же, тонет, как в болоте, а писатель все высказал за тебя и так просто, как просто идет дождь и мокнет земля или как вот эта заря, простая и тысячелетняя.

Покойный отец говорил: «Если языком не расскажешь, то пальцами не растычешь...» А другой человек, ныне пенсионер, главный технолог шахты Кузьма Евсеевич Холмов, с которым Иннокентий часто встречался в библиотеке шахты, сказал: «Книга красна не письмом, а умом».

А еще Холмов говорил: «Книгочей — он разный: многие читают от скуки или от пустого интереса. Такой читатель глотает что ни попадя, как птица-баклан, которая за день доста килограммов рыбы через себя пропускает. Эта обжора любую макулатуру проглотит, а через час забудет. А ты, я вижу, из редких — читаешь не для утех, а для жизни, и потому советую: читай только великих. Тебе их, дай бог, успеть прочесть — на дребедень времени не трать. В великих книгах, хоть в современных, хоть в тех, что и сто и триста лет назад написаны, ты увидишь свое, наше узнаешь. И знай: книга не только радость, но и боль душе приносит, что совокупно и возвышает человека».

Холмов список книг составил для Иннокентия из двадцати восьми писателей, подсказал очередь чтения. «И вот, пожалуйста, тебе и хватит, а не хватит, тогда вместе подумаем и добавим еще».

Бывало и такое с Иннокентием: держал в руках прочитанную книгу с языческим испугом души — как же в этом прямоугольном брусочке умещается столько времени, столько судеб, столько земли и света? Ведь его, этот брусочек, можно нечаянно обронить в воду, он может сгореть в пять минут, его могут изорвать ребяташки, а взрослые вымести

с мусором. Тот же Холмов, дай бог ему сто лет жизни, такое наоткрывал Иннокентию о книге: «Все, что есть на свете,— говорил он,— все товар, даже мусор товар, только книга не товар. То есть, ее вроде бы продают, но это только так кажется, потому что продают картон и бумагу в виде книги, а содержание невозможно ни продать, ни купить, так же как и невозможно продать и купить вселенную». — «Как же,— неуверенно возражал Иннокентий,— продадут, поди, и вселенную — летают ведь туда уже». — «Ну, если вселенную продадут, все равно книга товаром не станет. Никогда!» — взяв руку над собой, тряс Холмов пальцем.

За Татьяну, холостым был, дрался с Иваном Киреевым не однажды. Дрался до кулачных вывихов, до утраты человеческого подобия. Рожи с полгода оба черно-лиловые носили — на шахте от насмешек проходу не было. Иван был роста с Иннокентием одного, да коренаст и крепок, что дубовый сутунок. Думал: не отобью Таньку — жить незачем. Не силой одолел Ивана, а характером. Сошлись в последний раз, склубились в мордобое, да Иван призвал: «Стой! Стой, стерва жиливая! — Сам стоит, юшку из носа пускает, порыбьи воздух ловит. — Скотина ты дикая, так ли в наше время из-за девок соперничают? Отступишься — нет?»

«Нет. Сам пропаду, но и ты никогда не залечишься». — А у самого один глаз запух, не видит, а в зрячем — земля шатается.

«Ладно, подавись,— сказал Иван без злобы. — Мне еще человеком охота быть».

И ушел навсегда. Позже все комком давило в груди, мешало что-то смутное, а потом отрыгнулось словами Ивана: «...человеком охота быть». Значит, Иван уже тогда знал, что унижительно отстаивать счастье сплошным мордобоем; не зря скотиной назвал: лоб крепкий и бодайся, сила есть, ума не надо. Иннокентий, обвариваясь запоздалым стыдом, понимал: как мало в нем тогда было силы человеческой. Однако если с обратной стороны поглядеть, то что было бы, если бы Ивану Кирееву Татьяну уступил? Ни ее, дочерей и, может быть, ни шахты, ни этого дома с садом — ничего бы не было, то есть было что-то, но все-все не так, а не так Иннокентий жить не хотел. Мороз кожу драл, если представлял, что не так. Значит, правильно, что бился, — по-другому не умел, то хоть так. Знать, Татьяна была Ивану не так нужна, если лапы поднял, сдался.

Выходит, он-то, Иван, и поступал не по-людски, когда сомнение имел, пошел он к лешему, Иван тот.

«А ты почему не выбирала?— допытывался у жены.— Бились за тебя, как за бездушную высоту солдаты. Ведь увечье могло быть».

«А мне чего, когда вы дураки?— усмехалась Татьяна.— Молоденькая была, от лести дух занимался. У других девчонков ни одного, хоть какого-нибудь, нет, а за меня два сокола перья рвали. По глупости и стояла, не разнимала вас».

«Что ж, тебе все равно было: я или он?» — замирал Иннокентий, подавляя в себе ревность.

«Как же — все равно?!— удивлялась Татьяна, при этом ее яблочно-гладкое лицо теплилось изнутри бесхитростным светом.— Не все равно,— заключила со вздохом.— Тебя сразу выбрала. Знала, что Иван не устоит против тебя».

Дочери родились, ну и как водится: то корь, то свинка — болезни какие-то обязательные, детские — а Иннокентию-то! День в шахте, ночь просиживал над кроватками. Чуть клонет носом, призабудется сном петушиным, спохватится: «Проспал, бес такой!» А чего проспал, когда и врачи и лекарства — все вовремя — болезням, не то что в его детстве, распространяться не давали, замаривали их в хилости. И все равно на детское хворое личико часами глядел и, казалось, видел, как бродит болезнь в жарком тельце. И как бессильно хотелось вытянуть, вобрать в себя ихние болезни, теперешние и те, что наперед приключатся! Все думалось Иннокентию, что пока он вот так дежурит, и спящему дитю легче.

— Ты чего дуришь-то?— сердилась спросонья Татьяна.— Без сна износишь сердце, детям же вред принесешь.

— Сердце от насилия изнашивается,— возражал Иннокентий.— Оно спать не желает, зачем мне его заставлять? Не то счастье, что во сне.

...Одним дуракам, говорят, клады даром даются. А тут за что ни возьмишь, все дорогое, что душу радостью томит — все через большой труд, через боль... Только книги на сто процентов задарма. Всего и труда — подняться на второй этаж бытового комбината в библиотеку. Но это куда ни шло: взять книгу в библиотеке и пусть даже в магазине купить — все равно почти даром, ибо, как говорил Холмов, картон да бумага дорого не стоят. Дорого не стоит и прочесть книгу, а потому убивался Иннокентий в думах над этим самым, что не дорого прочесть. В мире ничего, даже самое малое, даром не дается, и если ему такое ценное, считай,

даром, то кто-то платил эту разницу, не может быть, чтобы не платил! Иннокентий подолгу, с каким-то тайным суеверным интересом разглядывал портреты писателей, и все поражало его одно — это их схожесть с обычными людьми. И он понимал, что писатели и есть великие плательщики, они-то и платят за свои книги. Но чем платят? Трудом? Талантом? Жизнью? Тут, должно, все в кучу смешивается. В книге-то, бывает, по сто человек — попробуй-ка за всех перерадуйся, перестрадай, родись и умри за каждого... Богу одному, если бы он был, такое под силу.

Иннокентий на шахте иной раз пытался на людей глядеть так, чтобы все узнать про них, не спрашивая, все понять в них глубоким проглядом ума. Да какое там! Как муха в стекло тыкался: светло и видно, а не проникнуть. Себя-то не знаешь толком, куда еще других познавать?

...Вот и в этот вечер голову мучил: куда жизнь дел? Мало угля добыл или много, но память о себе заработал ли? Откуда и зачем пришел на белый свет, а раз уж пришел, то почему уходить в никуда? Это книги все, точно они, на думы толкают — Скачеев прав, да и без него ясно. Скачеев-то, может, счастливей от незнания. Говорил же Холмов, что книги боль приносят. И о радости он же говорил. Эх, к черту все! До заворотка мозгов додуматься можно.

Затемнело уже. Свет включил и ослеп на минуту. Книгу опять взял и снова отложил — голову нагрел думами разными, гудит. Спать уж пора. В бумажку с подсчетами снова уставился: «Сто двадцать девять тыщ, — думал механически, — сто двадцать девять...»

Мысли разбежались, рассыпались что горох по полу, с трудом собирались к цифре. Та-ак, а если в вагоны-эшелоны уголь ссыплем, что тогда? Шестьдесят тонн в вагон, пятьдесят вагонов... Черк, черк — сорок три эшелона. Ну, елки-палки, что за число-то опять тощее такое!

Расстроился Иннокентий вконец: «Нашел, дурень, дело — считать. Тоже, главбух с руками-копытами, спал бы уж лучше».

Встал, но еще глядел на свою арифметику: что-то не отпускало, тянуло к ней. Какое-то сомнение мутило разум: «Не так, не по тому отвесу «стреляю» в наработанное. Наперекосяк и видится мало... Дай-ка я их сцеплю, эшелоны-то».

Прицепил. Ага! Грубо — в составе пятьсот метров. На бумаге-то как легко! Раз! И сорок три эшелона в один склешил. А что это? Мама родимая! Двадцать один с по-

ловиной километр! Иннокентий откинулся на спинку стула, глаза прикрыл. Он даже ослабел от волнения. Но эта была, так сказать, первая волна удивления. В воображении он пошел прямо от шахты вдоль рыжих махин-вагонов, груженных горушками для утряски, пошел, немного удаляясь в сторону, чтоб побольше было видно вагонов в перспективе. Пять километров прошел окраиной города, четыре — болотистой низиной до электростанции, а дальше разместил свой состав не по железной дороге, а по асфальтовой, потому что по ней он много ездил и знал расстояние до районного села Черновки. Взошел на тягучий перевал и... Нет, не рассказать о чувстве Иннокентия Кокорина! Сперва назад поглядел и не увидел конца состава: он где-то затерялся среди крошечных строений города, а впереди, обогнув широченную долину так, что на противоположной стороне вагоны виделись мелким ожерельем, состав вытянулся в тонкую ржавую проволочку и скрылся в Черновке. А ведь до Черновки восемнадцать километров! Значит, состав дотянется до деревни Стекланухи (до нее от Черновки как раз три километра) да еще за деревню выставится на полкилометра. Но что этот кончик, где-то там, у горизонта! Отбросить можно этот кончик для ровного счета, и не заметишь убытка от состава, всего вагонов пятьдесят. В самом первом вагоне лежит пылинка от общей несметной массы угля — пятнадцать тонн, добытые Иннокентием в свою первую в жизни смену под землей. Что помнится? Что забылось? Но первую смену, умри он теперь и воскресни, все равно не забыть.

Добирались со Скачеевым с километр до угольной камеры — где согнувшись, где ползком. А камера, шириной метров семь да высотой три с половиной, будто нагретая духовка. Иннокентий стал сбрасывать с себя мокрую от пота одежду. Торопился. Казалось, тело кричало: сбрось скорей, а то задохнусь. «Охолодись», — кивнул Скачеев. Во тьме где-то словно большая птица крыльями хлопала — вентиляционная труба. Подошел к трубе, а из нее воздух, точно громадный кто дышит горячим. Над головой трещит, стонет глубинно — кровля усаживает листовенничные рудстойки обхватной толщины.

Иннокентий озибался, шарахался сначала. «Не мешай», — сказал Скачеев. Он уже второй год работал, цепкий, как клещ, всезнающий.

Если бы в забое только уголь брать! Ой, нет, да еще раз нет! Уголь брать — полдела, а может, и того меньше.

Выходит, что если перевести побочный труд на добычу угля, то состав удлинится до сорока трех километров.

Все тогда Иннокентию виделось неправдашным, какой-то глупой и жестокой игрой. Как и зачем попал он в эту преисподню? Неужто по своей воле? Ведь небо, деревья, трава и ветер — все (страшно подумать!) отделено от тебя полукилометровым монолитом пород. Он мысленно возносился на дневную поверхность и оттуда мысленно же глядел через эту толщу на вентиляционный штрек и камеру. Штрек ему виделся трубчатой соломинкой с камерой на конце, похожей на воздушный пузырек с булавочную головку.

А в кровле то весело потрескивало, то глухо и часто гукало, точно кто-то там бегал тяжелый, в кованых сапогах, то удаляясь, то приближаясь. Мнилось, что трубу-штрек уже сплющило, и он живым остался в недоступной людям могиле. Пот льдинками скатывался по желобку спины, а волосы каску шевелили. Лицо остыло, должно, бледнел мертво.

Горного дела не знал, думал, глупый, что все полкилометра сразу и давят. «Эй! — то и дело окликал Скачеев, — чего рот разинул?» Он подходил, кайлом тыкал в щель, и с полтонны угля из борта камеры грохалось на то место, где работал Иннокентий.

Но это с ним было в конце смены, когда кидал лопатой уголь. Основное же слилось в бесконечное одно: штрек — нора, он, распластавшийся в этом штреке, рывками тянет проволоочной удавкой литую, точно колонну, лесину и твердит мстительно и озлобленно: «Скотина, сволочь, сволочь!..» — пока не обволокло всего ослабляющим душу безразличием.

Вот что такое пятнадцать тонн угля, что лежат в самом первом вагоне состава! А он хотел пятьдесят вагонов отбросить для ровного счета.

Нет, не привык Иннокентий к такой работе; он даже возненавидел ее и ушел бы из шахты навсегда, но закрыли камерный способ добычи угля, а лавы открыли. Ну, тут и воздух сквозной, и лес по конвейеру прямо в забой, да лопата осталась все та же: широченная, как кресло. Кидает, бывало, уголь и думает: как бы сделать, чтоб сама лопата кидала? Маленькую такую машину бы, вроде плужка: крути за ручки, а она черпает уголь. Пока думал, туда-сюда и двадцать тысяч тонн накидал. А машину той порой другие умные люди придумали, наверняка не державшие лопаты в своих белых руках.

...Так и сидел Иннокентий с закрытыми глазами, запрокинув лицо в потолок, а мысленно все стоял на перевале. Даль направо и налево, и всю эту даль перехлестнул, опоясался состав.

— Не может быть,— сказал он вслух.— Не может быть.

Осторожно положил руки на стол и долго глядел на них. «Не может быть,— подумал еще.— Выходит, на земле почти все подряд великие? И Скачеев тоже? Вот тебе раз! Да Скачеев много ли меньше за жизнь наворочал, хоть и лопатой? Попробуй угонись за ним».

Открытие этого неправдоподобного состава так потрянуло Иннокентия душу, что он вроде раздвоился: ощущал себя обычным, каким он был всегда, и еще вот этим... Ну, как бы это высказать? Да не высказать никак! Разве так бы сделать, что его напарники по бригаде увидели с перевала тот состав, что видел он. «Вот,— сказал бы им,— моя работа и ваша такая же. Теперь знаете, какие мы?»

Так хотелось поделиться прямо сейчас своими чувствами — терпенья нет! Оно ведь, хоть беда, хоть радость, если на одного навалится — и раздавить может.

У Скачеевых тоже свет на веранде. Ужинают. Бумажку с подсчетами в карман, и пошел к ним.

Скачеев отужинал, сидел, осоловелый, курил. Заметно было, что сон налил неодолимой тяжестью его неугомонное тело: только глаза открыты. Евдокия, облокотившись, в темень окна глядела, думала.

— Садись,— очнулась она.— Татьяны нету, что ли?

— Да нету.

— Тоскливо одному,— посочувствовала Евдокия.

Со стоном подняла оплывшее тело с табуретки, стала убирать со стола, коротко ступая больными ногами:

— И мы тебе не ансамбль, шибко не развеселим. Мой вон, готовый.

— А я на минуточку.

Скачеев затýкал окурок в селедочные объедки, кулаками уперся в край стола, собрался идти спать.

— Слышишь, Павел Тимофеич...

Иннокентия волнение не отпускало, но он понял, что не туда пришел с этим волнением. Опять же, бумажку уже вынул, разгладил на столе. Отступать было неудобно: «Может, этим и такого дуба прошибу»,— подумал. А Евдокия уже заглядывала через плечо:

— Чего это?

— Это?..

Иннокентий, было припустив крылья, опять ободрился. — Это то, что мы не знаем себя. Тут вот ответ, — стукнул по бумажке. — Например, ты мужа знаешь?

— Пашку-то? — Евдокия, засмеявшись, колыхнулась. — Чего его на знать? Вот он сидит, сыч.

— «Сидит». А кто сидит? Павел Скачеев и все? Не-ет, — покачал головой, — не все. Сколько он за жизнь угля добыл? Не знаете? И я не знал.

Иннокентий сделал паузу: вот, мол, сейчас и оглушу, тем более, что глаза Скачеева опять посветлели, выкружились.

— А добыл ты, Павел Тимофеич, столько эшелонов, что если сцепить их в один, то как раз от шахты до Черновки будет.

Иннокентий не много убавил в длине скачеевской состав по сравнению со своим, хоть тот комбайнами уголь не добывал. Но Скачеев работал на год больше и лопатил, дай бог каждому: ты — одну лопату, он — две.

— Зачем сцеплять эшелоны-то? Кто же такой состав повезет? — Скачеев моргнул раза два, по-куриному выбелив веки.

«Как же ему не выбило их углем? — некстати подумал Иннокентий о глазах Скачеева. — Ведь совсем снаружи».

— Да не повезет. Зачем везти? — загорячился он, думая, что до Скачеева не дошел главный смысл. — Это столько ты наворочал! По шестьдесят тонн в вагоне, а вагонов — один к одному — до Черновки. Восемнадцать километров. Понял!

Скачеев еще поморгал, а Иннокентий ждал: «Вот сейчас его разоймет, понижет!»

— А ты не сосчитал, сколько я вагонов хлеба съел? Или мяса? — Скачеев ткнул пальцем в обглоданную кость, поднялся. — Вот она, политика-то... От книжек совсем свихнулся. Хм... Пошел я спать. Потолкуй тут с бабой.

Иннокентий — к дверям, Евдокия — следом.

— Не гляди ты на него, идола, — вроде оправдывалась за мужа. — Что он знает-то? Сыч и сыч.

Уже у калитки был, когда она, высунувшись в освещенный дверной проем, спросила:

— Он что, взаправду столько угля накрушил?

— Правда.

— Подумать только! — удивилась она, но не искренне, а из-за сочувствия к Иннокентию. — Что ж, всю жизнь ведь вы с ним в шахте. Как смолоду занялись, так...

Стоял в саду то ли с обидой, то ли со стыдом в душе. «Такие составы, ой, сколько ребят имеют, а может, и подлиннее,— думал Иннокентий.— Но не слышал ни от кого об этом и сам больше никому ни слова. Каждый о себе знает, сколько ему хочется знать. Мало знает, значит, его время не подошло. Подойдет — задумается, узнает. Конечно, помогать бы надо думать-то. Со знающими жить интересней».

Тьма и покой. Небо в звездных туманностях. Иннокентий долго глядит через сквозную крону яблони на эти туманности, длинно вздыхает, то ли от облегчения, то ли от тяжести, и уходит спать.



Т. Мамченко

**ЭТИ МАМИНЫ
ПЕРЕДАЧИ**



то единственный поезд, в котором с Кубани до Новокузнецка можно доехать без пересадки, и за те семь или восемь лет, что мы прожили в Сибири, он стал своим не только для нас с женой, но и для всех наших родственников на юге.

Каждый год ранней весной забрать маленького отправлялась этим поездом теща. Мама моя, у которой со здоровьем было похуже, сперва добиралась до Армавира проводить ее да что-либо передать, а потом приезжала из станицы еще раз — поглядеть на внука, расспросить, как мы там, да увезти порожние банки из-под варенья. Возвращать эти банки мы должны были непременно, и всякий раз не знали, чем бы таким их наполнить. Кедровые орехи грызть некому, сахар везти очень тяжело, и обратно они так и путешествовали пустыми.

Когда наступал отпуск, домой мы летели самолетом, а на обратном пути садились в этот поезд, и каждые наши проводы в Армавире были похожи на эпизод из переселения народов. Пока обе матери давали последние наставления да потихонечку плакали, пока мы их, как могли, утешали, мужская половина родни — отцы с дядьями — затаскивала в вагон наши вещи, и их всегда было столько, что успокоить проводницу долго не могли ни многоголосые просьбы, ни подаренный арбуз, громадный и полосатый... Я потом полдороги рассовывал по углам картонные ящики да корзинки и очень удивлялся, когда соседи принимались вдруг горячо доказывать, что мешок, о который все спотыкаются, тоже мой. Кроме запланированных яблок да винограда, кроме того самого

варенья да сушеных фруктов, родня наша от собственных щедрот успевала прибавить или тугую вязанку луку, или небольшой и плоский бочонок вина, который поднаторевшие в этом деле дядья хитро маскировали под мирный груз, а в случае чего готовы были перед женщинами поклясться, что это всего лишь абрикосовый сок или свежее подсолнечное масло.

Зимую этот поезд туда-сюда возил наши письма, и бесчувственная стальная дорога была как бы живую ниточкой, по которой в одну сторону торопливо неслись и жалобы, и любовь, и тревога, а в другую неспешно отправлялись бодрые советы, которые тогда нам, конечно, казались очень разумными...

В общем, это был настолько наш поезд, что номера его и названия мы давно уже в телеграммах не указывали, считалось, ясно и так: семьдесят седьмой, Кисловодск — Новокузнецк.

Так было и в тот раз, когда я получил от матери короткую телеграмму: «Встречай тридцатого пятом вагоне передача».

Это мамины передачи...

Я начал получать их с тех пор, как впервые в жизни поехал в пионерский лагерь в соседней станице, и получал потом, пока учился в Москве. И они находили меня, когда я был на практике в Костроме или на целине, под Барнаулом. То приехавший искать правды инвалид, которого я потом водил от одной до другой приемной, вручал мне крест-накрест перетянутую бинтом промасленную коробочку из-под ботинск, в которой были домашняя колбаса и пирожки с капустой, то завербовавшийся на север сосед, от черной телогрейки которого кисло пахло малосольными огурцами, махрой и еще какими-то теплыми вагонными запахами, отдавал мне на вокзале зимние яблоки в пузатой наволочке, и я провожал его от Курского к Ярославскому, бежал с его тридцаткой в ближайший магазин, и вместе с ним ждал потом поезда, и махал ему вслед с черного, уже ночного перрона...

Люди ехали на заработки, на лечение, к родне, переезжали с места на место. И удивительно, как только об этом узнавала мама и как она всякий раз ориентировалась? Сама она уезжала из дома только однажды, в сорок третьем году, в Ростов, когда отец лежал в госпитале. А передачи ее куда только не добирались, и как-то раз, когда я был с геологами в Карелии, мне пришлось просить у начальника «козляк», чтобы по маминой телеграмме успеть к поезду за две с половиной сотни километров... Станция была крошечная, поезд

стоял всего полминуты, и мне почти на ходу сунули в руки похрустывающий целлофановый пакет, в котором оказалась запеченная в тесте курица.

С продуктами у нас в экспедиции вышла заминка, почти две недели все сидели на тухлой рыбе да на мерзлой картошке, и вечером, когда я пытался угостить ребят, никто к моей курице не притронулся. Мне было девятнадцать, многого я еще не понимал, обиделся, и тогда наш суровый начальник вдруг улыбнулся, махнул рукой и послал «козлик» к продавщице на дом, а сам стал разламывать сытно пахнувший каравай и разделявать курицу и все раскладывать на равные части. На его столе, на котором перед этим всегда лежала полевая сумка да образцы пород, появилось двадцать крошечных горбушек пшеничного хлеба с ломтиком куриного мяса сверху — мы потом их разыгрывали, строжайше соблюдая неписанный ритуал честной дележки...

Теперь я задумываюсь: куда только не ехали наши станичники и где только не заставляли меня мамины передачи! Я ничего не получил от нее лишь в Австралии, да и то небось только потому, что полетел туда слишком неожиданно и пробыл там очень недолго...

Весна в тот год стояла в Новокузнецке затяжная, в конце апреля еще не истаяли последние островки графитно-черного снега, лежали неотличимые от асфальта, тоже ноздреватого от истыканной каблуками жирной слякоти. Хорошего дождя пока не случилось, вся комбинатовская копоть, за долгую зиму осевшая на дома да на улицы, еще оставалась в городе, и вид у него был самый безрадостный: ни травинки тебе, ни зелени на неотмытых деревьях, ни солнышка — только низкие глухие дымы над отпотевшими каменными домами.

И все же что-то неуловимо весеннее, что-то майское проглядывало сквозь серый и мокрый облик города — может быть, виделось оно в заметно попестревшей толпе, может, угадывалось в лицах, а может быть, в нас самих возникло предчувствием завтрашнего праздника...

Мы с другом уже бездельничали, неторопливо прогуливались по проспекту Metallургов, и руки у каждого были за спиной — у меня там берет висел на кончиках пальцев, а он придерживал шляпу. Мы то разговаривали, а то шли молча, слегка поднимая голову, шурились иногда на размытое хмарью белесое пятно, ждали, пока солнышко пробьет наконец дым да туман над широкой котловиной, в которой раскинулся город, посмеивались иногда, кивали знакомым, и нам

было уютно и хорошо — и жить в нашем коксом пропахшем городе, и жить на земле...

Мы с ним давно понимали друг друга с полуслова, теперь я только протянул другу телеграмму, и он посмотрел на нее с видом нарочно многозначительным:

— Сало?

— Семечки,— сказал я.— А в них — яички...

— Двести штук.

— Да, две сотни.

— А на базар ты меня тоже позовешь? Постоять рядом?

— Куда я без тебя?

Время у нас еще оставалось, мы зашли в бар при новом нашем кафе-стекляшке, взяли по чашечке кофе, улыбались и неторопливо покуривали.

Друг мой был родом из Новокузнецка, учился тоже в Москве, и ему не хуже меня была знакома система этих передач из дома, но для него она закончилась вместе с возвращением в родной город, а для меня времена студенчества как бы все еще продолжались, и он не упускал случая над этим поиздеваться.

Я представил, как вытащу из вагона тяжеленную корзину, не очень, конечно, новую, аккуратно обшитую сверху белой бязью, как мы с ним развяжем наконец узелок на ручках, для крепости и для удобства обмотанных разноцветными лоскутками, как возьмемся с двух сторон и пойдем по перрону, как независимо будем поглядывать на знакомых, которые увидят нас с этой необычной в центре города ношею...

Где-нибудь в людном месте друг мой нарочно предложит отдохнуть, мы поставим корзину на толстую чугунную решетку, что тянется по проспекту вдоль газонов, оба будем слегка придерживать ее бедром и закуривать, и около нас непременно остановится кто-либо из друзей.

— Что это вы?

— Да вот,— кивнет он в мою сторону.— Специальным решением сельсовета...

И я подниму палец:

— Стансовета!

— Стансовета, да. Человеку выделили пуд старого сала... покажи выписку из постановления...

— Дома.

— Такие документы надо иметь всегда с собой.

— Зачем? Я его в рамку.

— Да, или в рамку!— подхватит друг.— А рядом дарственную казачьего схода.— И обернется к тому, кто к нам

подойдет:— Ты не слышал? Земляки ему вырешили коня, но так как с поставками дело худо, пришлось свести на мясокомбинат, сюда — квитанцию, а он тут получит конской колбасой...

Знаем эти старые шутки.

Потом стояли мы на черном и безлюдном перроне.

Попробуй-ка сесть в этот поезд на юге! Но по дороге все потом сходят и сходят, на Волге, на Урале, за Омском, и к Новокузнецку почти никого не остается. Никто не толпился за спиною у проводников, лица в окнах мелькали лишь изредка, и, если бы не большой букет тюльпанов, промелькнувших за мокрым стеклом, заляпанным грязью, этот поезд был бы совсем под стать нашему хмурому и скучному сейчас городу.

Мы не подрассчитали, и нам пришлось слегка пройти вслед за составом. Из пятого вагона никто не выходил, я заговорил с проводницей, и она молча показала рукой в глубь коридора.

Открытым оставалось только одно купе — это здесь стояли на столике те самые тюльпаны, которые промелькнули за окном. Теперь я увидел, что их было много, добрая охапка, они еле помещались в новеньком цинковом ведре — розовато-сиреневые, тугие, все один к одному.

Друг против друга около столика сидели женщины и мужчина, а на полу стояли только небольшой чемодан да кожаная сумка, но вид у нее был явно не тот, не кубанский.

— Извините, это у вас передача из Армавира?

Женщина положила руку на бок цинкового ведра:

— А вот она. Забирайте.

И только тут до меня дошло, и меня разом растрогали и эти, проделавшие такой длинный путь мамыны цветы, и это, несколько дней поившее их новенькое ведро, и оттого, что не догадался сразу, когда увидел, сделалось неловко — сало ему, видишь, тунейдцу, подавай или яички!

И друг мой тоже растрогался, мы оба что-то такое пытались сказать, благодарили и кланялись и оборачивались потом, когда мимо закрытых дверей остальных купе шли к выходу — я с цветами в руках впереди, он — за мной.

На перроне все останавливались и долго глядели нам вслед, а потом, когда мы уже шли по улице, друг мой как-то по-особенному засмеялся — так он смеялся, когда был чем-то смущен.

— Ты оглянись-ка!

За нами молчаливо и деловито шли несколько человек, обгоняли друг друга, о чем-то озабоченно переговаривались,

на кого-то уже покрикивали, и этих скорым шагом догоняли другие люди, пристраивались позади, поглядывали на передних, вступали в разговор.

Мы остановились, и я только обеими руками придерживал у левого плеча ведро с цветами, а объяснялся мой друг:

— Мы не продаем, братцы... извините, товарищи,— не продаем!

Нас окружили плотным кольцом:

— Куда вам столько?

— А почему не продать? Ради праздничка!

Друг зачем-то стащил шляпу:

— Понимаете, это просто моему товарищу мама передала... Издалека. Поездом.

— Ну хоть парочку — мне в больницу...

— Кто последний? Сказать, чтобы больше не становились?

— И самим останется!

— День рождения у жены...

Из толпы вышел высокий мужчина, полковник милиции, — я его до сих пор хорошо почему-то помню. У него были очень густые и черные, с серебристой сединою усы и светлые, с юношеским блеском глаза. Облик его, и молодежавший, и одновременно строгий, еще долго потом казался мне для чело- века его несладкой профессии символическим, и все мне думалось: то ли, несмотря на молодость, полковник этот уже многое успел повидать, то ли, несмотря на годы, не собирав- ся пока сдаваться.

— Товарищи! — он приподнял крепкую ладонь и немножко подождал тишины. — Мы ставим молодых людей в неловкое положение. Наверное, у них есть свои друзья и знакомые, которым эти цветы, вероятно, и предназначены...

— Девочка у меня...

Полковник вытянул руку, приглашая из толпы немолодую женщину с печальным лицом. И обернулся ко мне:

— Общая просьба.

Друг мой выдернул из ведра несколько тюльпанов. Женщина раскрыла кошелек, но полковник только глянул на нее, и она смутилась и опустила голову.

В толпе опять сказали:

— Так хотелось на день рождения, эх!

Седой ус полковника дрогнул в легкой усмешке:

— Может, еще одно исключение?

— Ну, если день рождения! — друг снова вытащил несколько тюльпанов.

— От спасибо!

Широкоплечий, с борцовскою шеей парень был в новеньком костюме, но через толпу пробирался так, словно боялся кого-нибудь испачкать, и я подумал, что он, пожалуй, только со смены — откуда-нибудь из мартеновского или с коксохима...

Друг мой отдал цветы, и полковник нарочно строго спросил у парня:

— Не обижаете ее?

— Да ну! — удивился парень и прикрыл тюльпаны распотыренной пятерней.

Мой друг снова повозился с ведром, несколько тюльпанов протянул теперь полковнику, но тот громко сказал:

— С большим бы удовольствием. Только боюсь, тогда меня неправильно поймут.

Поднес ладонь к козырьку, улыбнулся, как мне показалось, и грустно, и чуть насмешливо. Четко повернулся и пошел, не оглядываясь.

Друг мой все-таки догнал его, прстянул цветы, и тот взял и что-то сказал ему, а потом посмотрел на меня и все так же молодцевато, но без тени излишней лихости козырнул издалека... Хорошее у него было лицо!

И пусть тогда на улице, покажется вам, все происходило как в кино, мне ничего не хочется тут менять — раз так оно и было на самом деле, и если кто говорил о маленькой девочке или о дне рождения у жены, значит, сущая правда — не такой это город, Новокузнецк, в котором про это стали бы врать.

Мой друг жил тогда недалеко от вокзала, и мы решили зайти к нему. Позвонили еще одному товарищу, который работал в «Скорой помощи», и по тону, каким мы с ним, перехватывая один у другого трубку, разговаривали, тот сразу понял, что нам нужна не только машина... И спирт мы потом не стали разводить, втроем за такое дело глотнули чистого, а потом изрядный пучок тюльпанов — для наших жен — переставили в новое ведро, которое нашлось у моего друга, а с маминым спустились вниз, сели в машину, поехали по городу...

Прекрасный это был вечер! На улицах уже зажглись разноцветные огни, сутолока в центре и около магазинов усилилась, машины нетерпеливо сигналили и резче оседали у светофоров, но наша темно-голубая «Волга» шла медленно и как будто торжественно.

У подъезда, в котором жил кто-либо из наших друзей, она останавливалась, мы брали небольшой, в пять или семь

цветков, букет и все трое неторопливо поднимались наверх. Кто-нибудь нажимал на кнопку звонка, и мы замирали.

Чаще всего открыть прибегали дети, иногда первым появлялся в дверях наш друг, и мы с торжественными лицами переступали через порог, просили пригласить хозяйку дома.

И они только что месили тесто, мыли посуду, разделявали селедку, гладили рубахи, завязывали галстуки, утирали носы... И по дороге с кухни снимали фартуки, незаметно оглядывали себя и невольно выпрямлялись, тыльной стороною ладоней поправляли прически, брали цветы двумя пальцами, и вид у них, прежде не раз и не два непреклонно заявлявших где-нибудь в общей нашей компании, что мы засиделись, что всем нам пора по домам, сегодня был и слегка растерянный и счастливый.

Иногда мы останавливались у края тротуара, и тоже все трое выходили с тюльпанами, и отбирали тяжелую сумку, и подхватывали на руки малыша, и провожали до дома...

Несмотря на свою привычку надо всем издеваться да насмешничать, друг мой был человек сентиментальный, и, после того как дал цветок старому своему учителю, которого случайно увидел в толпе на улице, он окончательно расчувствовался. В который уже раз принялся рассказывать третьему из нас, какие мы с ним, понимаешь, сволочи: решили, что мать передаст, конечно, что-нибудь съестное, как же иначе? А она, простая русская женщина, заботилась как раз не о брюхе... И он незаметно смахивал невольную слезу и клялся, что напишет в станицу такое письмо, такое письмо!..

Но прежде я получил весточку от мамы. Корявые буквы в торопливом ее письме то далеко отрывались одна от другой, а то залезали друг на дружку: «Переволоклась, пока отравила, а теперь не сплю, или дал ты цветов тем людям, что довезли, или нет? Я им говорила на станции, что ты дашь, а потом на автобус обратно кинулась и в телеграмме забыла, а теперь душа болит, а вдруг да не догадался?»

А ведь и в самом деле, как просто: отделить от тугой охапки тюльпанов небольшой букет — спасибо, это вам!

Помешала нам тогда растерянность или что другое — попробуй-ка разберись! Сколько раз мы, уходя, оборачивались, и благодарно кивали, и кланялись уже издалека, и махали рукой... Но цветов дать мы не догадались.

Не скажу, что я тоже перестал тогда спать. Но на сердце у меня было нехорошо.

Вместе с другом мы сходили на вокзал, потом неделю ждали, пока из рейса вернутся проводницы, которые ехали с поездом в тот раз. Разыскали их наконец, стали спрашивать: а помните, из Армавира передавали громадный тахой букет? А пассажиров, которые согласились его взять, — помните? Не знаете, кто они? Не было разговора — откуда?

Тюльпаны они, конечно, помнили. Людей — нет.

Низенькая рыжая проводница, такая толстая, что форменный костюм на ней вот-вот, казалось, должен был лопнуть, тащила к выходу до половины набитый гремевшими пустыми бутылками полосатый матрац, и мы оба отступали и нагибались к ней, пытаясь хорошенько расслышать. Но она только пожимала плечами:

— Кто их там знает, что за люди? Это кабы кто шумный... А этих не видно и не слышно. Зайдешь убрать, а они как мыши. Сидят и на букет на этот все смотря...

Сперва меня не оставляла надежда случайно встретить этих людей где-нибудь на улице, в кино, в электричке... Ничего, что я их не запомнил. Увижу — интуиция подскажет: они!

Ко всем вокруг я теперь присматривался куда пристальнее обычного, но странная получалась штука: временами мне упорно казалось, что эти двое, которые знали теперь обо мне несколько больше многих остальных в городе, очень хорошо меня видят, я их — нет.

Стоило в те дни кому-нибудь на меня внимательно посмотреть, и я начинал лихорадочно прикидывать: он это или не он? Она или не она?

Как-то в трамвае я поймал на себе изучающий взгляд, раз и другой посмотрел сам, и человек, показалось мне, прежде чем отвернуться, едва заме но усмехнулся.

Он стоял на задней площадке, а я впереди, в вагоне было блатком, но я упрямо пробрался к нему, тронул за локоть:

— Извините, это вы тогда привезли мне цветы?

И он сперва молча полез за очками, надел их и только потом, приблизившись лицом, переспросил:

— Цветы... Какие цветы?

Я уже извинился, но он так и не снял очков, так и не отвернулся. И я сошел за остановку до той, где мне надо было сходить...

Скажу сразу, что никого я тогда и не нашел, что острота вины, которую я чувствовал, постепенно притупилась, все стало забываться, как забывается многое другое, что, как мы считаем, нам о себе вовсе не обязательно помнить.

Но вот какое дело: и через год, и через два, и через много лет все вспоминаются мне мамины тюльпаны.

К сожалению, это правда, что мы — не ангелы, и если я успел наошибаться не больше всякого другого, то наверняка и не меньше.

Одним словом, мне тоже есть над чем поразмышлять в минуты самоанализа, но того случая с цветами почему-то до сих пор стыжусь больше, чем многого остального, и часто спрашиваю себя: почему?

Как-то совсем недавно вместе с одним кубанским писателем, тоже моим старым другом, мы поехали на строительство большого химкомбината. К этому времени я уже три года прожил на юге, на своей родине, но память все не уставала настойчиво возвращать меня в сибирские края, в далекий наш город.

Так было и теперь. Стройка только что начиналась, по хорошим масштабам там еще, что называется, и конь не валялся, но в просторном помещении склада, где мы стали примерять резиновые сапоги, я вдруг уловил холодноватые запахи новенького брезента и рабочей обуви, и вдруг притих, и к самому себе начал прислушиваться.

Который день подряд моросил не очень густой, но студёный дождик. Мы шли по раскисшей дороге, и черная жижа хлюстала под ногами и с тугим шелестом косо летела из-под лоснившихся колес тяжелых машин. Колючий ветер жег лоб и хлестал по скулам, и озябшей рукой я сжимал на горле концы воротника, но все тянул и тянул шею...

В серой мжичке прятались вдалеке оплывшие котлованы да еле различимые полосы фундаментов, но в сыром весеннем воздухе я отчетливо ощущал серный душок, и мне было ясно, откуда этот запах, с какого коксохима он сюда прилетел.

Потом сидели мы в сизом от папиросного дыма теплячке, разговаривали со скреперистами, и кто-то из них посетовал, что на стройке пока трудно купить машину: «Посмотришь, и правда,— у ханских огуречников вон сколько мотается «Жигулей».

Я спросил, что это за «ханские огуречники», и один стал объяснять, что это жители соседней станицы, которые раньше других в округе приспособились выращивать огурцы под полиэтиленовой пленкой, а другой усмехнулся и махнул рукой: «Это уже не модно — огурцы. Как говорится, вчерашний день. Сегодня перешли на тюльпаны. Никакой тебе тяжести, ничего. Нарезал их да пару чемоданов набил — это сколько

туда может войти? А потом на самолет, да где-либо на севере стал на углу: пять пара!.. Пять пара!..»

На следующий день утром я шел по улицам городка, рядом с которым строится этот химкомбинат. Многоэтажные здания стоят здесь только в центре, а чуть подальше все как в станице: лавочки у ворот, дома с голубыми ставнями, загородки для кур из металлической сетки, сады, в которых ровными рядами плотно, одна к одной лежат белые колбасы полиэтиленовых парников.

Холодный дождичек все продолжал моросить, было зябко.

Я глядел на голые деревья с черными и мокрыми ветками, глядел на теснившие их парники, за прозрачными стенками которых будто видны были тугие ростки тюльпанов, и вдруг мне стало отчего-то неуютно и грустно.

Я представил, как где-нибудь на проспекте Metallургов те двое, что привозили мне передачу из Армавира, увидят дородную тетку с оранжевым тюльпаном в крепкой руке.

— Почему цветочки?

— Пять пара.

— С ума сойти!

— Не хотите — никто не заставляет...

И эти двое пойдут мимо, и он, словно оправдываясь, скажет:

— Нет, ну есть совесть — три шкуры!

— Как будто ты их только узнал! — И она качнет головой. — У этого, помнишь, сколько было тогда тюльпанов, а догадался он — хоть один?

— Ну, тот-то вообще жлоб...

И на улице, которую я очень люблю, они припомнят не маму, уприсившую их тогда взять ведро с тюльпанами, а припомнят меня...



В. Куропатов

**ТАИНСТВЕННОЕ
СУЩЕСТВО**



ервые ученики идут на экзамен первыми, слабые — последними. Как правило. Мишка Дерюгин зашел последним. Боязливо, чуть исподлобья взглянул на меня.

Он не раздумывал, не выбирал билет глазами, как другие. Взял, который был ближе к нему, крайний.

— Номер?

— А?

— Скажи номер билета и садись готовься.

— Восемнадцатый, — произнес он с такой тоской и обреченностью, что мне стало ясно: завалит.

Впрочем, еще раньше, считай с первых дней занятий, было понятно, что горная электротехника — орешек не по зубам Дерюгину. Я видел: он старался... Внимательно слушал объяснения материала, аккуратно вел конспект, готовился к каждому уроку, но — увы! — проку было немного. Я тайно — как, похоже, и другие преподаватели — жалел Мишку. И чего уж греха таить, немножко благоволил ему. Будь он откровенным лентяем, как его друг, башковитый лоботряс Мокозов, не давал бы я ему спуска. Но Дерюгин старался. Из всех сил.

В электротехнике требуется понимание, умение логически рассуждать. Зубрить же — бесполезно.

— Устройство асинхронного короткозамкнутого двигателя переменного тока. — Я делал паузу. — Вопрос ясен? — И склонялся над журналом. Я старался как можно дольше «искать» фамилию ученика, который пойдет отвечать, чтобы

Мишка Дерюгин мог собраться с мыслями, а то и в конспект заглянуть украдкой и хоть что-то освежить в памяти.— Отвечать пойдет Дерюгин.

Мишка, будто мы с ним заранее условились, с готовностью поднимался, выходил к доске. Строгий, собранный, деловой. Брал указку. Как оратор перед долгой ответственной речью, прокашливал в кулак, как бегун перед стартом, делал глубокий вдох, четко и громко, громче, чем требовалось, начинал:

— Асинхронный короткозамкнутый двигатель состоит из следующих частей...— Поворачиваясь к плакату, поднимал указку.

— Так, хорошо,— торопился я подбодрить его, хотя в произнесенных им словах не было ничего ни хорошего, ни дурного — просто зачин, вступительная фраза, не содержащая никакой информации.— Хорошо. Из каких же?

Мишка держал указку на весу, а глаза его беспокойно бегали по плакату, будто искали что-то такое, что еще только сейчас было на нем и вдруг куда-то исчезло.

— Шу-шу-шу...— доносилось из глубины класса.

Я «не слышал» подсказок. Мишка же резко оборачивался, бросал протестующе:

— Да кончайте вы! Я сам!..

— Не отвлекайся, Дерюгин. Думай. Сначала назови две основные части двигателя.

Мишка усиленно напрягал память, морщился, досадливо вертел головой... Нет, все-таки он не был, как я думал сначала, тупицей от природы. У тупиц взор рассеянный, угасший, глаза — не глаза, а бессмысленные костяные пуговицы. У Мишки они — быстрые, живые, горячие, даже очень горячие. И я думал: может, воображает он не хуже других, ну, хотя бы средних учеников, а все дело в странной организации его мышления. Если у другого мысли как бы выстраиваются в строгую очередь и он их выдает постепенно одну за другой, то у этого они создают толкучку, всем хочется поскорее наружу, а в результате — ни одной: заклинили выход... Впрочем, пойдй пойми, что там в голове и как.

— Ну?... Только спокойнее. Покажи нам первую и назови ее.

— Значит...

— Шу-шу-шу...

— Да перестаньте вы!— уже нервно выпалил Мишка и опять морщился, теребил свободной рукой волосы и с упреком самому себе:— Учил же!..

— Знаю. Возьми себя в руки, не волнуйся.

Переносица Мишки покрывалась росинками пота. Он бросал на меня взгляд, полный отчаяния, потом зло тыкал указкой в плакат.

— В общем, у него есть лапки с дырками для болтов и кожух...

Класс взрывался от смеха. Я оборачивался, делал строгое лицо. Становилось тихо.

— Верно, Дерюгин. Есть у асинхронного двигателя и лапки, и кожух. Но не с них надо начинать. Давай начнем все-таки с основных частей. Одна из них называется ста-а-а...

— Статор!— подхватил Мишка. Глаза его, расширившиеся от восторга и радости, говорили: «Как же! Как же! Конечно, он, статор!» Указка тут же находила на плакате статор и показывала его всему классу.

— Очень хорошо, Дерюгин. А внутри статора вращается?..

— Этот...— суетливо обрывал меня Мишка, мол, теперь-то, когда уже начато, я сам.— Как его...

— Так, так...

— Ну этот...— Мишка снова начинал морщиться, крутить головой.

— Р-р-р...

— Ротор!— и Мишка снова сиял от удовольствия, показывал на плакате ротор.

И так до самого конца, то есть до лапок и кожуха. Делая Мишке намеки, наталкивая его на правильный ответ, я и шипел, и лалакал, и чуть ли песни не пел. Как говорится, и смех, и грех.

— Садись. «Три», Дерюгин.

Он клал на стол указку и сникал. Никакого удовлетворения от полученной оценки не испытывал. Угрюмо шел к своему столу, вяло опускался на стул, прятал склоненную голову в ладонях. И я, и ребята старались не смотреть на него: а что, мол, все было не так уж и плохо. Чувствовалось, в группе его за что-то уважали, во всяком случае, я не замечал, чтобы над ним строили злые шутки, или подтрунивали, или еще что-нибудь. Слабые ученики, как правило, в загоне, к Мишке же было доброе расположение.

В экзаменационной ведомости пустовала только клеточка против фамилии Мишки. В классе остались он да я.

— Ну, готов, Дерюгин?

— Готов,— отозвался Мишка. И пересел за стол для отвечающих.

— Так. Какой там у тебя первый вопрос?

— «Цепь переменного тока с индукционным сопротивлением»,— прочитал Мишка.

Боже мой! Ты, Дерюгин, не только самый слабый ученик в группе, но, наверное, еще и самый невезучий. «Цепь переменного тока с индукционным сопротивлением»! Сколько раз я давал эту тему?! И всегда, не будучи уверенным, что не напутаю что-нибудь в формулах, заглядывал в свой конспект. А уж ты-то...

— Ну хорошо. Отвечай. Только не торопись и не волнуйся.

Мишка подался корпусом вперед, уткнулся в листок, на котором была изображена синусоида без каких-то обозначений и какая-то малопонятная электрическая схема.

— Значит, если цепь переменного тока...— Мишка умолк и от волнения стал тереть под столом ладони.

— Так, хорошо. Только спокойнее, Дерюгин.

— Значит, если в цепь...

В это время дверь чуть приоткрылась, послышался шепот Мокосова:

— Баба Ньюра, не подкачай...

Мишка досадливо ерзнул на стуле.

— Да ну вас!..

— Мокосов, прикрой дверь!— сказал я строго.

— Значит,— повторил Мишка упавшим голосом.

Наверное, с минуту мы оба молчали.

— Где твой конспект?— поинтересовался я.

Мишка поднял на меня встревоженные, но честные, чистые глаза.

— В коридоре. На подоконнике.— И торопливо:— Я не подглядывал.

«Ну и дурак»,— обругал я его про себя. И вслух:

— Я в этом не сомневаюсь.

— Значит...

Эти мне его «значит» напоминали коня-трудягу, который увязнул вместе с возом в болоте по самое брюхо: бесполезно стараться — не выбраться, а он все одно — дерг да дерг.

Уткнувшись в свой листок, Мишка поднял руки на уровень груди и стал нервно ломать пальцы: хрусть, хрусть, хрусть...

На безымянном пальце левой руки яростно сверкнуло кольцо.

- Золотое?
- Что?— не понял Мишка.
- Кольцо, спрашиваю, золотое?

Мишка мельком взглянул на свое кольцо, смутился, покраснел.

— Да это так.— Он снова спрятал руки под крышку стола.

— Покажи.

Мишка снял кольцо, протянул мне. В драгоценностях я, конечно, ничего не смыслил, но кольцо нашел великолепным, и оно показалось мне очень дорогим. «Эту штуку завел, а вот в голове у тебя... Ни тяти ни мамы не знаешь»,— подумал я с осуждением.

— Не рановато?

Мишка дернул плечом.

— Сколько стоит?— я взвесил кольцо на ладони.

— Пять копеек,— улыбнулся Мишка.

— Шутник ты, Дерюгин. А если всерьез?

— Если из пятака сделано, так сколько?

— Так это не золото? Сам, что ли, сделал?

— А то кто же.

— Выходит, ты из меди золото делаешь?! Молодец! Я за настоящее принял.

— Я не смогу ответить на билет.

— И долго ты над ним корпел?— оставил я без внимания Мишкины слова.

— Да так. В мастерской как-то... Между делом.

— Возьми,— вернул я кольцо.— Тебе бы, может, на ювелира надо было идти, а ты пошел на подземного электрослесаря. Не ошибся? Как считаешь?

— Не знаю. Нет, наверно. У меня папка электрослесарь.

— В шахте работает?

— Нет, в трамвайном депо.

Дверь опять приоткрылась.

— Ну как, Баба Нюра?

— Мо-ко-сов!

Дверь притворилась.

— А чего это тебя ребята Бабой Нюрой зовут? Уже который раз слышу.

— Да...— Мишка смутился.— В общем, ставьте мне двойку.

— Это дело простое. Успеем. А все-таки почему — Баба Нюра?

Мишка смутился еще больше.

- Эфирная кличка.
- Ты и в эфир выходишь?
- Это раньше.
- А что теперь?
- Папка запретил.
- Строгий он у тебя?
- Да есть.
- Через приставку работал?
- Ну... Когда можно пересдать электротехнику?

Пересдать! Если по-доброму, Дерюгин, так уж, во всяком случае, не через неделю, как заведено, и не через три тебе надо бы прийти. Спроси закон Ома, святая святых электротехники, ты ведь, уверен, и его не знаешь.

— Договоримся — когда. А после радиохулиганства чем увлекся?

- Мотоциклом.
- У тебя есть мотоцикл?
- «Иж».
- Отец купил?

Дерюгин отрицательно мотнул головой.

— За свои.

— Откуда они у тебя?

— Как откуда? Я каждое лето... Уже три лета работал на лесоскладе. Заработал и купил.

— Новый?

— Да вы что! Разбитый. У одного там. Считаю, раму. Всю зиму перебирал да собирал.

— Работает?

— Конечно, — со скромной гордостью улыбнулся Мишка. — Только вот резину надо новую купить.

— Так, так. Скажи, а как двигатель внутреннего сгорания работает, знаешь?

Мишка посмотрел на меня робко, но насмешливо, будто возразил: «Чудак-человек! Как же бы я собрал?»

— Что, почему, отчего. Принцип действия можешь объяснить? — допытывался я.

— Но я же сделал, — уклончиво ответил Мишка.

Он же сделал! И все тут. Это интересно.

— Слушай, — оживился я, — а приставку, с помощью которой ты выходил в эфир, кто делал?

- Сами, конечно.
- Ты и еще кто?
- Вовка Мокозов.

Я посмотрел в экзаменационную ведомость. Мокозову

я поставил «четыре». Он очень башковитый, дьявол, мог бы стать круглым отличником, но лентяй — поискать надо.

— Главный конструктор — Вовка?

Мишка вдруг рассмеялся, но тут же спохватился, конфузливо опустил голову.

— Он больше по снабжению. Любую деталь хоть из-под земли, а достанет.

— Ясно. Значит, конструировал — ты?

Мишка смутился, как смущаются неиспорченные, совестливые люди, когда их заслуженно хвалят.

— Ну, а...— Это был самый важный вопрос, ответ на который подтвердит или опровергнет зародившееся во мне предположение.— А катушку для приставки? Вовка достал?

— Он проволоки притащил. А намотать — долго ли?

— Вот!..

Все-таки до чего же таинственное существо человек! Сколько в нем необъяснимого, невероятного! К примеру, был у нас в шахте случай. Сидел горняк в лаве, доедал свой «тормозок». Вдруг кровля колыхнулась, заскрежетала и поплыла вниз, прямо на горняка. Подхватился он, а сунуться некуда. Справа забой, слева — органичный ряд — сплошняком, как частокол поставленные, деревянные стойки. Одну стойку еще раньше выдавило — образовалась щель. Горняк — в эту щель. И спасся. Но как?! Как он мог проскользнуть в эту щель, когда ширина ее была не больше тринадцати (да, тринадцати) сантиметров?! Потом в нее пытались пролезть самые щуплые — не получалось. Как объяснить, что в критические и роковые моменты человек в несколько раз превосходит свои силы и возможности?.. Тайна? Тайна.

Умельчество Мишки Дерюгина — другая тайна... Скажем, я при своих каких-никаких, а знаниях не сделаю приставку, а Мишке вели — за ночь сработает. Только чтоб Вовка Мокосов добыл ему проволоки, а уж катушку-то намотать — плевое дело. А что катушка эта как раз и есть то самое индукционное сопротивление, о котором Мишка так и не сказал мне ни единого слова, для него ничегошеньки не значит. Не вдаваясь в теорию, он и мотоцикл соберет, и часы электронные починит... Да все, что понадобится...

— Когда у вас экзамены кончаются?— спросил я у Мишки.

— Все. Это последний.

— Значит, завтра уже можно идти на лесосклад? На резину зарабатывать?

— Можно бы, да... Когда мне прийти на пересдачу?

— А зачем?

— Что?

— Зачем пересдавать? Я знаю: готовился ты добросовестно. Ведь так?

— Готовился...

— А коль так — давай зачетку.

Мишка уставился на меня непонимающе.

— Зачетку, говорю, давай... «Три». И будь здоров...

Он вышел, как и вошел — робко, будто мышонок, считал, конечно, чистоплюй, что не заслужил свою «тройку».

Я же никаких мук совести не испытывал. Я не завысил ему оценку, скорее, даже занизил.

К примеру, в двенадцатом — пятнадцатом веках ведь ни вузов, говоря по-современному, ни даже профтехучилищ, готовящих архитекторов, не было. А храм Василия Блаженного и множество других храмов есть. И считай, каждый — загадка для современных ученых. Кто они были, Постники или Бармы? Мужики, разумеется. Но не простые, не заурядные — народные умельцы. Сродни им, из того же разряда и Мишка Дерюгин. Как и они, он не казус-явление, как и они, он творит не столько по разумению, сколько по наитию, вдохновению, что есть проявление таланта... А, кстати, что такое талант?.. Тайна же? Тайна... Но что талант штука хрупкая — каблуком наступишь — не расцветет — это несомненно...

Когда Мишка закончил училище, мы с ним частенько встречались в городе.

— Здравствуйте,— скажет и смутится.

— Здравствуй. Ну, как твои дела?

— Нормально,— ответит просто, с достоинством, и я не сомневаюсь, что у него действительно все в жизни хорошо, нормально.

— Ну, будь здоров,— улыбнусь я ему.

Мишка, тоже улыбнувшись, кивнет и смутится еще больше.



А. Ким



ПОЛЕТ



е каждому удастся побывать на башенном кра-
не. И хотя водителями этих громадных машин час-
то бывают женщины, работа требует настоящего
мужества.

Но вот я представляю совсем иного склада
женщину. Рукам ее свойственна только нежность,
ими она не может, допустим, схватить кувалду и выбить
заржавленную втулку. И вообще прикосновение к тяжелому
машинному металлу противно ее естеству. Доведись ей,
например, под угрозой гибели надевать соскочивший трос
на блок, она покорно умрет на месте, так и не решив-
шись притронуться к гаечному ключу и монтажке. Работать
она может только там, где ласкающие прикосновения ее
рук обретают жизнеспособность. Например, при выдаче нуж-
ной книги маленькому читателю.

Такова была мамаша Эрика Путрина, служительница
детской районной библиотеки. О ней не очень много, но
вполне достаточно, чтобы представить ее, поведал мне мой
сменщик. Строили школу в поселке, что в двух часах езды
от Москвы. Мы считались в командировке, жили в поселке,
но Эрик почти каждый день ездил домой, к матери. Мы
обслуживали в две смены семитонный кран старой кон-
струкции, типа БКСМ 5—7. Как это бывает, когда люди
очень близки и хорошо друг друга знают, сын рассказывал,
сам не замечая того, все самое главное о матери, из чего
могла бы состояться поэма ее любви и надежд. В огромном
городе, где у них не было родственников, они жили одни,
без отца. Почему его нет, я не стал спрашивать у Эрика,

зная, что по своей юной суровости и сдержанности он не пожелает говорить об этом.

А теперь о самом Эрике Путрине. Это был огромный мальчик с широким плоским телом взрослого мужчины и круглым лицом ребенка. Длинные, как полагается, волосы до плеч. Губы совершенно детские, наливные, усов полное отсутствие, но малоподвижные глаза его неизменно бывали сумрачны и серьезны. Он был страшно силен, этот мальчик, хотя двигался вяло и длинные руки болтались расслабленно. О том, какие примеры подтверждали эту силу и каких задиристых мужиков в бригаде он ставил на место, вдруг разъярившись, упоминать здесь совершенно ни к чему. Скажу только, что держался он среди строителей независимо и отчужденно, и в этой отчужденности я всегда предугадывал начало какой-то опасности для него.

Но самое удивительное в нем я узнал не сразу. Мы давно строили пятиэтажную типовую школу, и уже громоздились под самой кабиной бетонные блоки пятого этажа. Я взобрался на кран, вошел в кабину, где сидел у контролеров Эрик, заканчивавший утреннюю смену. Он встал, мы закурили, и, собираясь уже расписаться в журнале, он вдруг повел пальцем по стеклу бокового окна, отчего там остался еле заметный след. Надо сказать, что мой сменщик содержал рабочее место в удивительной чистоте. Не ленился даже мыть полы в кабине, поднимая наверх ведра с водою на длинной веревке. Его чистоплотность казалась мне трогательной и не совсем уместной в рабочей обстановке, но я с удовольствием поддерживал напарника в его ревности к чистоте и порядку... На этот раз, заметив мою невольную улыбку, Эрик показал мне палец, розовый округлый кончик которого чуть-чуть был испачкан пылью.

— Гляди, что творится, Федя.

— Ничего,— отмахнулся я,— и так хорошо.

— Ты не знаешь,— сказал тогда Эрик,— не видишь, потому что у тебя обыкновенные глаза. А если бы были, как у меня, ты не мог бы на пыль смотреть просто так...

— А какие же у тебя глаза?— спросил я.

— У меня двести процентов зрения, вот какие,— ответил Эрик.— Я даже на особом учете состою. Таких не очень много, Федя. (Он меня звал «Федя», так же как и всех остальных мужчин бригады,— такая была у него высокомерная манера.)

И далее он рассказывал, как сложно ему жить на свете, имея столь сверхзоркие глаза. Он видит все поры на чужих

лицах и кто умыт, кто неумыт. Он видит пыль на ворсинках одежды, на шерсти кошек и собак. Видит жирную грязь на посуде, ложках и вилках, поэтому не может есть в столовой. Он видит фальшивую белизну напудренных женских лиц и потому не может танцевать с девушками, дружить с ними. На что вокруг себя ни обратит взор, всюду он видит пыль, прах. На лестничных перилах. На цементных швах в кирпичной стене. На руках у продавцов в магазине. На сверкающих боках автомобилей. В обыкновенном воздухе, который объемлет нас и которым приходится дышать. Даже иногда внутри запаянных электрических лампочек и медицинских термометров видит он пыль. Я был совершенно поражен. Со жгучей тревогой я подумал, как же непросто быть молодым, сильным, неглупым, гордым человеком и иметь столь беспощадное зрение. Какие можно строить надежды, если всюду вокруг себя видишь следы тихой и непрестанной эрозии жизни. Какое же несчастье быть жертвой подобного зрительного феномена!

— Но как же ты можешь есть обыкновенную пищу?— спросил я.— Например, магазинный хлеб?

— Я ем только то, что мамаша приготовит,— ответил он.

— А у нее-то все без пыли выходит?

— Будь спокоен, Федя,— уверил он меня.— Мамаша знает, что делает. Я ее приучил. Из-за этого зрения я и школу не смог закончить.

— Как так?

— Была химичка одна. Прыщавая, как черт. Злая. Я как-то не выдержал, гаркнул на нее: рожу мыть надо, а не кремом замазывать. Донесла директору. Дальше — больше. В общем, исключили меня. Работать пошел. Где только не пробовав, пока на кран не попал. Здесь в общем-то неплохо, Федя. Сиди один, контроллеры крути. Вира да майна...

— А как ты надумал на кран пойти?

— Это мне матушка идею подала.

Сменщик мой ушел, и я остался в одиноком раздумье. Работы пока не было, и решетчатая долгая стрела крана замерла в воздухе, празднично свесив тяжелый грузовой крюк. В небе плыли светлые облака, и, заглядевшись на них, я вдруг был подхвачен внезапным ощущением свободного тихого полета. Стрела моего крана, кабина, где я сидел, и сам я — мы плавно и головокружительно летели куда-то. И был в этом полете миг ошеломляющего счастья, и красоты, и мгновенной догадки о чудесном устройстве мира.

Но, усилием воли остановив это призрачное парение, я вновь вернулся к раздумьям над тем, что сообщил мне сменщик. Я все же не мог окончательно решить для себя: благо то или несчастье — иметь столь острое зрение. Ведь если даже воздух, которым дышишь, и хлеб, который ешь, вызывают сомнение, то как быть...

И тогда я еще раз представил неведомую мать этого зеленого юнца. Как-то однажды шла она по мосткам вдоль забора, которым была огорожена строительная площадка. Надо было зайти в магазин, купить то и другое, чтобы накормить сына. Мать всегда знает, львенок у нее растет или безответная овца, и поэтому ей порою очень тревожно... Но вот коснулся ее слуха какой-то необычный звук, вроде гудка автомобиля, который шел по странному направлению — с высоты неба. И, подняв голову, женщина увидела решетчатую руку и высокую башню крана. Он нес на растянутых стропях серую плиту перекрытия... И вдруг, словно вострепнувшись в какой-то неуловимый миг, многотонная стальная махина легко поплыла, полетела по голубому и белому небу — против движения запредельных облаков. И в тот же самый миг пришло в сердце матери радостное решение отправить сына в этот высокий тихий полет.



А. Кривоносов

**ИНЖЕНЕР
ГЛОЕВ**



Повый инженер-энергетик Глоев прилетел в геолого-разведочную партию в марте, первым рейсом. Посиневший от холода, прямо с самолета, направился в контору и, войдя в кабинет начальника партии Мироманова, или Миромашкина, как прозывали его за глаза, сказал, что хоть сейчас готов приступить к работе.

Он стоял перед столом, такой весь свеженький, чистенький, в синем берете, демисезонном пальто и туфлях, тогда как здесь, на севере, в эту пору еще и не пахло весной, стоял и ждал, не выпуская из руки кожаный чемодан с застегками.

Мироманов рядом с ним выглядел просто вахлаком: лицо твердое, закрутившее от морозов, точно обсыпанное крошками красного кирпича. Да и одет-обут он был, как того требовали сезон и условия работы: в меховой куртке с немарким брезентовым верхом, на ногах — унты на толстой войлочной подошве и с голенищами из бурой собачины. А когда начальник партии пригласил Глоева сесть, то и голос у него оказался крепким, несбивчивым, таким, каким, пожалуй, и надо было обладать на его должности: народ в геологоразведку валит всякий, прошедший огни и воды, нередко прямо из тюрьмы.

— Садись... Нет, не туда, вон туда, — Мироманов показал на стул, что стоял подальше от стола. — Обещай мне сразу, справишься?

- Мне нужна комната, — смутившись, проговорил Глоев.
- Иди к завхозу. Пусть он найдет место в палатке.
- Извините, но... Мне нужны нормальные условия.

— Какие? Может, тут тебе с ванной?.. 'Э, брат, не туда ты попал. Пока не поздно, поворачивай назад.

— Успех в работе во многом зависит от условий, в которых... В которых ты живешь и работаешь.

Мироманов, усмехнувшись, оглядел Глоева с ног до головы, как бы удивляясь наивности этого человека — неужели до него еще не дошло?— сразу кончая на этом разговор, ответил:

— Я же сказал: иди к завхозу. Он и решит, где тебе жить.

Глоев, вконец сконфуженный, встал и вышел со своим чемоданом на улицу.

Завхоз, которого он отыскал в крохотном домике, срубленном из сырой лиственницы под горюшкой, подальше от конторы, прежде чем что-то ответить Глоеву, принялся ругать начальника партии: давно он предлагал этому Миромашкину, язык уже заболел, давай строить жилье, заложено в смете, чего, спрашивается, тянуть, людей в палатках морозить? У него уже от этих палаток мозоли на глазах! Одних дров сколько за сутки сжигают!.. Потому-то сюда и едут так, последние и те скоро разбегутся. Вы думаете, что-нибудь сдвинулось с места? Мироманов послушался? Вы плохо его знаете! Видите ли, у него есть дела поважнее, первоочереднее. Плотников найти не может, перевелись мастера, топор в руках держать не умеют. Да ты только дай лес, кликни — после работы сами... Столько народа, всегда желающие найдутся. А как платить он будет? А так и платить, как положено...

Потом, выговорившись, завхоз стащил со своей кровати матрац,— он спал на двух, повыше, чтоб меньше несло от пола холодом,— нашлась у него и подушка вторая, выделил из своих запасов наволочку, две простыни, укрываться мог предложить только байковое одеяло, летнее, завалявшееся в углу среди прочего холостяцкого хлама,— и вот когда он собрал все это в кучу, бросил прямо здесь же, на пол, сказал:

— Вот ваша комната!

— Спасибо,— поблагодарил его Глоев, поискал взглядом, куда повесить пальто и берет, и повесил их рядом с телогрейкой завхоза на свободный гвоздь, вбитый в голую бревенчатую стену возле дверей. Все так же молча, став еще тише, расстегнул на чемодане застёжки, принялся было выкладывать на стол книги, но остановился, увидев там остатки засохшей закуски.

— Вчера посидели малость,— перехватив его взгляд, пояснил завхоз.— Отметим мой день рождения.

— Поздравляю...

— А чего поздравлять? Подумать только: уже полвека прожил, а что хорошего? Всю жизнь отираюсь по медвежьим углам, жену, детей раз в году увижу... Не повезу же я их сюда!

Говоря это, завхоз прибрал стол, Глоев постелил газету, сложил на нее аккуратной стопкой книги, достал с самого дна чемодана несколько журналов.

Завхоз полюбостовал — взял один из них, полистал, взглянул на Глоева так, словно бы извиняясь за то, что оценил его не в полной мере, не распознал в нем таких способностей.

— Это самое...— проговорил он, пытаясь с помощью пальцев донести до инженера смысл своих слов.— Что-то не пойму я, вроде не по-русски написано.

— Да, это на французском языке,— издали, мельком глянув на журнал, подтвердил Глоев.

Завхоз еще раз, с пристальным вниманием, просмотрел журнал, точно желая удостовериться в этом, бережно положил его туда, где взял, протянул руку к другому.

— И этот на французском?— спросил он, уставившись на обложку.

— Нет, на английском.

— И вы все это того... без словаря?— поразился завхоз, теперь уже с опаской, как бы даже боясь притронуться, поглядел на книги.

— Они тоже не на русском,— упредил его Глоев.— Это все специальная литература. Если хотите художественной... Вот, пожалуйста, я прихватил с собой в дорогу.

— Про шпионов?

— Не угадали,— улыбнулся Глоев.— Современная индийская новелла.

— Индийская?

— Да.

Завхоз уже подозрительно посмотрел на Глоева.

— Вы что же, не русский?

— Ну, я могу вам предложить нашу, если вы любите...

Завхоз сел с книгой на кровать, немного почитал в одном месте, в другом, заглянул в конец книги, встал, снова подошел к иностранным журналам.

— Разве нам тут, в геологоразведке, много чего надо?—

озадаченно проговорил он. — Мы же не ГЭС строим... Ну, да оно, конечно, если без того-этого... то и никуда.

Глоев умылся, сменил белую нейлоновую рубашку, в которой приехал, на простую, темного цвета, повязал немнущийся капроновый галстук, еще больше стал похож на инженера и отправился на штольню, которая была видна в километре от поселка, чернея на склоне снежной горы.

Он побывал на подземных буровых вышках, для которых, собственно, штольня и существовала, поговорил с бурильщиками, прошел штольню до самого забоя, к горнякам, расспросил и у них, какие и часто ли были по вине энергетиков неполадки, простои, все ли было сделано, чтобы избежать их впредь, а если не все, что вероятнее всего, так уж водится, то что еще нужно для этого сделать, не могли бы ему подсказать, им же польза. Потом переоделся в теплушке в брезентовую робу, как ни подбирал, не мог подобрать по размеру, надел на берет каску, чтобы не подставить под удар голову, смотря что на нее свалится, и спустился в шахту.

Из шахты инженер Глоев выбрался часа через два, совсем загрузил. Никому ничего не сказав, побрел в поселок.

Вернувшись домой, включил электроплитку, поставил подогреться чай и сел писать. О чае он бы и не вспомнил, если бы не пришел с работы завхоз уже тогда, когда вода в чайнике вся выкипела.

На другой день Глоев проделывал то же самое — с утра, не заходя в контору, опять отправился на объект — слово «объект» произносилось здесь с особым значением, — только свой осмотр начал в обратном порядке — с шахты, закончив штольней и буровыми вышками.

Спустя еще день, в который он вроде бы уже ничего не делал, проходил по поселку с видом человека, погруженного в решение трудной задачи, время от времени останавливаясь, скидывая голову к вершинам сопок, а придя домой, не сел, как в первые два дня, писать, едва стемнело, лег на матрац все там же, на полу, — вот спустя этот день он появился в кабинете Мироманова в самый, казалось бы, неподходящий момент, за пять минут до обеда, и доложил, извиняясь и краснея, что с энергохозяйством партии дела плохи. В доказательство не торопясь, подробно, до самых мелочей, перечислил, чем же они плохи и что необходимо в первую очередь, не откладывая ни на один день, сделать: не быть бы беде, с электричеством не шутят.

— Голубчик ты мой!— радостно воскликнул Миromanов, чуть ли не бросившись его целовать.— Молодец! Ну, молодец! Разобрался! Тебе и карты в руки!

— Спасибо за доверие, но...— еще больше смутился Глоев.— Я должен сказать, одних моих усилий будет недостаточно. Мне нужны кадры, специалисты-электрики. А тут, извините, один электромонтер на всю партию.

— Ну, брось, брось,— с ничего не стоившим ему дружелюбием продолжал Миromanов.— Брось скромничать! Мне о тебе все известно. С твоими знаниями ты за десятерых справишься. Ну, действуй! Действуй! Бери, как говорят, быка за рога. Ни на кого не надейся, будь самостоятелен. Вот тебе где полная свобода для творчества!— и поглядел на часы, давая понять, что собирается уходить: пора обедать.

О том, что инженер Глоев знал два иностранных языка, выписывал по своей специальности зарубежную научно-техническую литературу, в конторе уже пошушукивались, усматривая в этом что-то ненормальное. И так рассудить, чего это он сюда, в эту дыру, поехал, когда его с руками и ногами взяли бы везде, в самой столице?

И о вежливости нового энергетика, с какой тот обращался ко всем, без исключения, одинаково, пошли даже смешки. Нашлись таланты, придумали такую историю, якобы Глоев в свои студенческие годы во время уборки урожая в одном украинском колхозе взялся управлять волами и, полоснув неподатливых животных хлыстом, сказал: «Цоб-цобэ, пожалуйте!»

Только завхоз по-прежнему восхищался инженером: образованный, воспитанный, не пьет, не курит... Тише воды, ниже травы, что он есть в доме, что его нету. Тем, кто сомневался в прошлом Глоева, завхоз доказывал, что тот уволился со старого места работы подобру-поздорову, отработав положенный срок после окончания института,— как-то за чаем инженер все о себе рассказал без утайки,— что приехал сюда в надежде найти настоящее дело, в чем, к сожалению, не повезло ему там, куда он был направлен сначала, что иностранные языки его квартирант изучал заочно,— сам, собственными глазами, видел его «корочки»,— словом, парень чист, как стеклышко. «Я в людях разбираюсь,— говорил завхоз в завершение, преподнося свои слова как последний неопровержимый факт.— Редко когда ошибаюсь».

Он привез со склада Глоеву кровать, отчего в домике стало еще теснее, выписал ему одеяло из верблюжьей шерсти (под тем, байковым, инженеру холодно было спать, он укрывался еще сверху своим пальто), провел к его изголовью свет, смастерив из консервной банки оригинальный плафон, чтобы можно было читать лежа,— создал все условия, как не без гордости заявлял завхоз на людях.

Глоев и раньше читал вечера напролет, а теперь мог и до ночи залежаться с раскрытой книгой. Но как бы поздно он ни зачитывался, на работу уходил рано, когда контора была еще закрыта, до начала производственной планерки успевал обойти все рабочие участки, поэтому утром в кабинете Миromanова ему было что сказать.

Но однажды Глоев опоздал на планерку: на штольне, куда он пришел по раз заведенному правилу с ранним визитом, получилось короткое замыкание — коротнуло, как ответили ему горняки, почему они стоят, не работают. В ночную смену обходились без электрика, рубильник включали и выключали все, кому вздумается, нажать вверх-вниз дело немудреное, а вот исправить электросеть знающих не нашлось.

Глоев пришел в контору, когда Миromanов сидел уже один, красный больше обычного: редко когда какая планерка проходила спокойно, без споров, кончавшихся, несмотря на призывающие к порядку окрики начальника партии, ни к чему не приводившей руганью, гвалтом — кто кого перекричит. И, конечно, по красному лицу Миromanова Глоев догадался, что и сегодня пошумели тут, должно быть, воспользовавшись его отсутствием,— при нем, новом инженере, что было сразу подмечено, даже самые несговорчивые воздерживались.

— Ты где был?— с тем, еще не остывшим после планерки, запалом (и тебе, не думай, что избежал, должно достаться) спросил Миromanов.— Производственная дисциплина для всех одинакова.

— Я хочу еще раз напомнить вам о нашем крайне тяжелом положении,— проговорил Глоев, не отвечая на вопрос начальника партии, пропуская мимо ушей его оскорбительный тон: сейчас для него важнее всего было то, с чем он вот пришел прямо оттуда, из самого пекла, в котором работали люди; это то, что нужно сделать немедленно, сию секунду, без каких бы то ни было обсуждений, настолько все очевидно, насущно, что нельзя прожить и дня.— Мне необходимы специалисты: два электромонтера на шахту как

минимум, а на штольне нет даже дежурного электрика.

— Ишь ты, Америку открыл!— усмехнулся Мироманов, все же заметно умирившись, как бы отдавая должное этой настойчивости Глоева.— Послушай, что я скажу: с электриками да монтерами и дурак справится. Но это тебе геолого-разведка, с неба к нам они не падают, должен это понимать. Были бы, что мне их, жалко? Что есть — бери. Не думай, что Мироманов какой-то враг. Если нет, что я могу поделывать? По одежке протягивай ножки!

— Ты лучше вот что,— тут он совсем снизил голос, как если бы теперь имел дело с человеком, которому уже может доверить кое-какие тайны.— Пройдись-ка сейчас по своим штольням да шахтам, наведи там порядок, сам понимаешь, в каком смысле... Чтобы ничего такого не попало на глаза: завтра горный надзор приедет.

— Горный надзор? Откуда вы узнали?— удивился Глоев, зная, что на то он и горный надзор, чтобы держать свои планы в секрете.

— Откуда, это дело мое,— буркнул Мироманов, недовольный уже одним тем, что Глоев спросил его об этом.— Ты делай, что тебе говорят!

— Извините, но...— возразил Глоев, все так же будто бы не замечая, что начальник партии опять повысил тон.— Я думаю, что порядок мы должны наводить не только по случаю приезда горного надзора. Об этом я и...

— Это по твоим книжкам так,— не дал ему договорить Мироманов.— А жизнь диктует другое. Я бы тоже хотел, как ты, да вот... Ну, что мы тут с тобой будем... Учти, время не ждет! Если что, с тебя спрос. А спрос у меня строгий. Здесь не детский сад, нянчиться я не буду. Отправляйся!

От этого окрика Глоев поднял голову, расширил глаза, словно наконец увидел, кто был перед ним, как с ним разговаривал. Посокрушайся, посетуй Мироманов хотя бы для вида, если уж так зачерствел, на невозможность,— он ли не старается?— дать ему, Глоеву, то, чего и просить он не должен был, а чему надлежало быть здесь давно, до его приезда, как ведь были до него и есть же сами по себе земля, небо — все окружающее нас мироздание; или можно было бы сказать, что трудности эти временные,— придумано же этому название, все же оставляется людям какая-то надежда, не было бы хуже,— вот веди себя Мироманов таким, пускай не самым лучшим, образом, и то

стало бы легче, не возникало бы сейчас ощущения не просматриваемой ни при каком напряжении ума длительности такого положения, той самой проклятушей безысходности, на которую бывает нечего ответить.

И Глоев смолчал, ушел от Мироманова, не сказав ни слова, что он намерен делать.

Не на следующий день, как предупреждал Мироманов, а где-то через неделю, но действительно к конторе подкатил залепленный снегом «газик», из которого выбрались почтенные, с надведомственной строгостью люди — члены горной инспекции и, держась друг друга, спаянной кучкой, направились к крыльцу.

— Прошу, проходите! Проходите! Садитесь! Садитесь, товарищи! — встретил их Мироманов на пороге своего кабинета, распростирая руки, улыбаясь, как самым дорогим гостям. — Как дорога? Продрогли? — спросил он и тут же сам ответил: — Да, да! Продрогнуть не мудрено! Не мудрено! У нас вот еще зима! Такие нынче снега! Не мешало бы сначала погреться, а? Прошу в нашу столовую, прошу вас! Сейчас там все горяченькое...

В горный надзор подбирали старых производственников, все повидавших на своем веку. Их трудно было в чем-нибудь провести. Они не отказались отобедать за одним столом с начальником партии — почему бы и не воспользоваться его приглашением? Пока летели из области сюда, в самую глубь материка, в их-то теперешнем пенсионном возрасте, побывав по дороге уже в трех экспедициях, да здесь на «газике» протряслись по бездорожью, очень кстати и подкрепиться, восстановить свои силы: еще предстояло, облачившись в спецовки, обойти штольню, осмотреть шахту, таская на боку аккумуляторные лампы, не снимая с головы пропитанные горняцким потом каски. А пообедав, нисколько не став от этого благосклоннее, избегая каких бы то ни было разговоров, которые побуждали бы их к этой благосклонности, они тут же сели в «газик», что пришлось сделать и Мироманову, поехать с ними туда, куда те сочтут нужным, на штольню или на шахту, с чего уж начнут свою проверку.

Чем кончилась эта проверка, Глоев рассказал вечером завхозу, когда вернулся домой.

С горной инспекцией Глоев столкнулся в штольне, уже когда она, осмотрев забой, направлялась на подземные буровые вышки. Мироманов дал знак, чтобы тот спрятался, не

попался инспекции на глаза. Но Глоев присоединился к ней и проходил со всеми до конца проверки.

— Удивляюсь, как еще шахту не закрыли, — проговорил завхоз, наливая Глоеву чашку чая. — Я давно этому Миромашкину сказал, он не верил, штольня — это только до первого горного надзора. Чего-чего, там даже вентиляции какой надо нету. Теперь неделя простоя обеспечена...

Утром Глоев, когда хотел было, как обычно, до начала планерки, миновав контору, направиться на рабочие участки, неожиданно столкнулся на улице с Миromanовым. Похоже было, что начальник партии специально караулил его здесь, за углом конторы.

— Думаешь, один ты рано встаешь? — сказал он, не здороваясь. — Знаю, куда ходишь. Умнее других хочешь быть? Ладно, ладно! Оправдываться после будешь, на планерке. Сегодня я с вас всех спрошу. Вчера горный надзор с меня спрашивал, а сегодня я — с вас. С меня одну шкуру сняли, а я с вас — три. И тебя это касается. С тобой у меня разговор особый. Зайди-ка сейчас...

— Так что же будем делать? — продолжал Миromanов тем же тоном, когда Глоев вошел в его кабинет. — Не успел приехать... Как же так, а, товарищ инженер? Я считаю, что в закрытии штольни виноват полностью ты.

— Простите, я не совсем вас понимаю. — Глоев говорил тем тише, чем больше Миromanов кричал на него.

— Чего тут не понимать? — убедившись, как уже было не раз, что Глоев не замечал никаких криков, Миromanов изменил тактику — заговорил сострадательно вразумляющим тоном: если он и гневается, то это оттого, что за него же, Глоева, за его судьбу, печется. А судьба-то эта — в прямой зависимости от производственного благополучия, за которое он, как начальник партии, наделенный всеми правами, и борется. — Чего тут не понимать? — повторил он, стараясь придерживаться этой новой тактики; но неприязнь к инженеру стояла за каждым его словом, движением, даже в складках пиджака, казалось, было что-то такое, настроенное против Глоева. — Что я просил тебя сделать? Как человека? Заранее предупредил, все объяснил... Другие сумели скрыть, а ты...

— Почему я должен был скрывать?

— Ну, это же мелочи! А на таких-то мелочах нас и ловят! Горный надзор бы не заметил, а ты сам еще подвел их и показал. Ты дурак или умный?

— Всего этого один я сделать не в состоянии. В который раз я говорю вам об этом...

— Ага!— подхватил Мироманов.— Заступничков нашел! Я так и знал! Думаешь, горный надзор тебе поможет? Его дело: закрыл, да и все. Через неделю приедет, проверит, не устарили — снова закроет.

— И правильно сделает.

— Да ты что! Есть ли у тебя здравый смысл? Ты о плане подумал? Неделю простоит штольня, как потом навестаешь?

— Я не могу в интересах плана замазывать нарушения правил техники безопасности.

— Ну, Глоев! Не знаю, как тебе втолковать, ей-богу! Ты как, черт тебя знает, не у нас жил. Ну, уехал бы горный надзор, тогда бы и предъявлял ко мне свои претензии. Как-нибудь бы договорились. Ты в геологоразведке без году неделя, а я так всю жизнь выкручиваюсь. Чтоб это было в последний раз. Подведешь меня, не погляжу ни на твое образование, ни на твое воспитание. Запомни это!

И жестом давая понять, что никаких возражений не должно быть, он вдруг сделал важное лицо перед тем, как перейти к тому новому, имеющемуся у него поручению, от которого Глоев обязуется повести отсчет иной, с учетом сделанных для себя выводов, работе.

— Сегодня я разговаривал по рации с нашим управлением,— произнес Мироманов так, словно собирался сообщить нечто такое, что не каждому можно доверить.— Нам дано указание срочно проложить электролинию в район будущей штольни. Да, у нас проектируется еще одна штольня. Времени осталось в обрез: голова с плеч, к маю чтоб все было готово. Иди свяжись с геологами и маркшейдером... Посто́й, кажется, они уже здесь, я схожу к ним сам.

Мироманов принес из камералки план месторождения.

— Вот смотри, в этом месте намечается штольня,— сказал он, ткнув пальцем в план.— Нет, не здесь... Вот здесь. Работы, как видишь, много, надо было это начать раньше. Но что нам приказали, мы должны делать. Производство есть производство. Гляди, чтоб потом не говорил, я со всей серьезностью предупреждаю: не вытянешь, провалишься — прощения не будет. На тебе лежит персональная ответственность.

— Я не против ответственности,— проговорил Глоев, приняв все это очень спокойно.— Но я должен знать, как будет с людьми, рабочими. Кроме того, я настойчиво повторяю, пользуясь случаем, что я не могу отвечать за состояние всего энергохозяйства партии, не получив от вас еще ни одного специалиста, которых я прошу.

— Ну что ты заладил... Будет! Будет тебе и рабочая сила! Но через несколько дней Глоев был вынужден снова прийти к Мироманову.

— Подожди еще с недельку, — ответил тот с видом большой занятости.

— Но время идет...

— Я же сказал: будет, все тебе будет!

— Да, но когда? Я требую...

Глоев замолчал, как бы стыдясь, что позволил себе эту несдержанность, тут же поправился:

— Простите, я должен вложиться в те сроки... Я должен нормально работать...

— И работай! Иди и работай, голубчик ты мой! Я ведь все помню, знаю! Хорошо знаю, только я не люблю, когда мне надоедают. Одного рабочего ты можешь даже сегодня взять...

Этого рабочего Мироманов снял со штольни и послал на копку ям под столбы в наказание за пьянку. Так один тот и долбался теперь на склоне сопки, через которую маркшейдер наметил трассу электролинии. Еще кое-где лежал снег: горное солнце к маю расщедрилось на тепло, но тепло это было обманчивое, стоило копнуть грунт, как обнаруживалось, что он еще мерзлый, хотя и побулькивала там, на глубине каменных осыпей, талая вода, стекая к подножью в ручьи.

Когда Глоев заглянул к рабочему посмотреть на его работу, тот сидел на камне у начатой ямы, ничего не делая, воткнув возле себя лом, бросив лопату, со скучающим видом поглядывал по сторонам.

— Здравствуйте, — вежливо поздоровался с ним Глоев. — Как работается?

— Как видите, хоть зубами грызи! — рабочий со вскипевшей вдруг злобой, точно Глоев был в чем-то виноват, сплюнул на неподатливое дно ямы. — Просил сегодня взрывчатки — не дали, всё экономию наводят.

— Хорошо, я скажу. Аммонит вам выпишут, думаю, что не откажут.

— Да и что я один тут сделаю? Это мне на полгода этих ям хватит!

— Потерпите еще немного, начальник партии обещал...

— Обещанного три года ждут!

Рабочий в нервном рывке встал с камня, поднял с земли мокрые рукавицы-верхонки, сунул их в карманы телогрейки: одну — в правый, другую — в левый.

— Пускай Миромашкин сам эти ямы долбит, а с меня хватит,— сказал он, поглядел на свой инструмент, как бы решая, забрать его с собой или бросить тут.— Так ему и передайте.— И шагнул налегке от ямы.

— Пойдите!— попытался удержать его Глоев.— Он ведь вас уволит.

— Э, напугал!— обернулся рабочий, добавил издали:— Такого добра я везде найду!

— Вы уйдете, совсем дело станет...

— Что я, козел отпущения? Ошибаешься! Я человек гордый, этого не люблю!

Когда рабочий ушел, что его не стало видно из-за склона сопки, Глоев с трудом выдернул лом, так тот всадил его меж камней, и принялся долбить мерзлое дно ямы. Он не заметил, как на большом пальце появилась кровавая мозоль, как взмокла спина, мокро было под беретом, пот затекал в глаза, пощипывал всюду, где были ранки, стало непривычно горячо, жарко на ветру всему телу.

Вскоре Глоев совсем выдохся и чуть ли не плача опустил-ся там же, где стоял, опираясь на тяжелый, холодивший горячие ладони лом...

И вот тебе, как гром с ясного неба, бах из управления сам главный инженер и еще трое с ним из техотдела, видимо, горный надзор сделал свое дело — новая проверка. Но и о ней Мироманов наверняка знал заранее, потому что перед самым приездом управленцев без всякой на то просьбы Глоева послал на копку ям сразу трех человек из буровых рабочих, а того рабочего в тот же день выгнал за нарушение трудовой дисциплины, хотя Глоев и просил пощадить этого бедолагу. И выходило, что Мироманов себя вовремя обезопасил, с него теперь, если что коснется электролинии, взятки гладки. По всему ответчиком оказывался Глоев.

Гости из управления приехали на гусеничном вездеходе, выручавшем не раз и не два не одних их во время весеннего бездорожья. Тоже намучились за дорогу, как и те из горного надзора, не отказались от обеда в той же самой столовой и за теми же сдвинутыми вместе столами, прежде чем приступить к делу; но за обедом вели себя иначе, шутили и смеялись, говорили обо всем,— всё же они были люди свои, хотя по должности и выше, кровно заинтересованные, прибывшие сюда не с карательной миссией, какая возлагалась на горнадзор, а с конструктивной, деловой,— взять на пометку имеющиеся недостатки с тем, чтобы, используя свои служебные возможности, помочь их исправить: успех той или другой

геологоразведочной партии, им подчиненной, это и их успех.

С посветлевшими, ожившими лицами они вышли из столовой, сели в вездеход. Разумеется, не без Мироманова, который все же где-то в темной глубине своей души побаивался, — начальство есть начальство, в одном-другом поможет, а за что-то, глядишь, и — выговор, — с виду только бодрился, скрывая это.

Управленцы не спеша, обстоятельно, делая пометки в блокнотах, осмотрели штольню, шахту, уже напоследок, под вечер, при сумерках, заглянули на электролинию, постояли возле тех ям, что были за это время выкопаны, да и то многие из них, оттаяв, успели пообвалиться, заплывть глиной, и, помолчав, как на кладбище, с упавшим настроением вернулись в контору. Посидели в кабинете Мироманова, посоветовались и уехали на том, на чем приехали, к самолету.

Глоеву не удалось с ними встретиться: Мироманов с утра отправил его на лесосеку ускорить заготовку столбов, которые до сих пор вот не стрелевали, не перевезли куда положено, хотя он якобы давно «дал указание». Но, как выяснилось, никто из лесозаготовителей об этом и знать не знал, все первый раз слышат, и поэтому Глоев прямо с лесосеки направился в контору.

— А, как раз ты мне и нужен! Садись, голубчик, поговорим, — встретил его Мироманов, опершись на руки, привстал за столом, вонзил взгляд в инженера. — Плохо твое дело, Глоев! Так плохо, что не знаю, как с тобой и быть. Задание-то не выполнил, сорвал. По плану в мае штольню мы должны начать, а без электролинии ее не начнешь. Сегодня мне пришлось за тебя отдуваться, краснеть перед управлением... погоди, погоди! Никаких возражений! — замахал он на Глоева обеими руками, хотя тот сидел не шевелясь, с опущенной головой. — Давай говорить вот так, начистоту: не сумел? Факт налицо, никуда не попрешь, ты согласен?

— Что же вы обманули? — устало проговорил Глоев.

— Как обманул?

— Вот и со столбами...

— Их еще не вывезли? — грозно напрягся Мироманов, готовый немедленно расправиться с виновными. — Я же приказывал! Лично отдал распоряжение... Ну, я покажу им, как наводить тень на плетень! Подрывать мой авторитет...

— Простите за назойливость, — прервал его Глоев, как бы говоря этим, что он уже не верит ни в какие слова начальника партии, — я неоднократно обращался к вам с просьбой

дать мне специалистов... На штольне и шахте остается по-прежнему... Что же касается электролинии, то здесь еще плачевнее положение. Насчет столбов я договорился с рабочими лесосеки. Они тронули меня своим пониманием, дали согласие поработать сверхурочно. Завтра же столбы будут, но кто их будет ставить? Кто будет тянуть провода, делать всю остальную работу: устанавливать новую дизельную...

— Глоев! — теперь перебил его Мироманов. — Ты меня выводишь из терпения! Тебе что, няньки нужны? Надо самому проявить инициативу. Как сейчас ставится перед нами задача? Подходить к делу творчески. Твор-чес-ки! О чем я тебе уже говорил, как только ты приехал. Не надо ждать подсказок, впрочем, могу подсказать... У тебя же есть на объекте электрики, монтеры... Погоди, погоди! Знаю, что не густо! Но одного-парочку по очереди можешь ведь снять, послать на электролинию...

— Нет, ни в коем случае! Оголять шахту и штольню, и без того оголенные, я не могу.

— Да брось ты, Глоев! Поверь моему опыту: ничего не случится.

— Вы меня не убедите.

— Боишься?

— Нет, не боюсь.

— Боишься! Вижу, что боишься! В нашем деле кто не рискует, тот не выигрывает. В интересах производства я тебе разрешаю это сделать. Да, да, делай, что находишь нужным, я ничего не вижу, ничего не знаю, лишь бы ты достиг того, что нам надо. Получишь у меня награду.

— Нет, я сказал твердо.

— Ну нету у меня людей! Нету! Послал заявку в управление, так просил у главного инженера, когда вот он приезжал сегодня с этими... Обещал иметь в виду, но когда удовлетворят, неизвестно. Но с месяц, сам знаешь, протянут. Я-то тебя понимаю, а они и слушать не хотят: изыскивайте резервы на месте. А какие, ты видишь, у нас резервы. Это тайга, кто сам приедет — спасибо, а нет... На нет и суда нет. Я не бог... Дали еще две недели сроку...

— Это нереально.

— Не мной дан приказ, и отменить я не имею права. Подумай хорошенько над моим советом.

Глоев отрицательно качнул головой, еще ниже опустил ее.

— Ну, тогда как знаешь, — уже с холодной отстранен-

ностью проговорил Мироманов.— Я тебя предупредил последний раз, сорвешь мне линию...

Тут он открыл ящик стола и с какой-то странной извиняющейся улыбкой протянул инженеру что-то вроде брошюрки.

— Это мне из техникума контрольные прислали по электротехнике... Не в службу, а в дружбу сделай, найди времечко. Только не задерживай, мне надо было давно отослать...

В тот же вечер Глоев сделал эти контрольные, а утром еще до планерки принес их Мироманову в кабинет.

— Ну, молоток!— похвалил тот, оставшись довольным.— Тебя за одно это выгодно держать на работе!—И как о чем-то обычном, повседневном, спросил:— Ты ознакомился с приказом?

— Каким?

— Там вот висит, в коридоре...

Глоев вышел в коридор, взглянул на доску, на которой вывешивали приказы по партии, только сейчас увидел там на себя приказ: «...за срыв первоначального срока ввода в строй электролинии энергетику Глоеву В. А. объявляю строгий выговор. Согласно распоряжению главного инженера управления обязываю тов. Глоева В. А. осуществить прокладку электролинии в дополнительный двухнедельный срок...»

Инженер Глоев тут же пошел на штольню, отыскал дежурного электрика, запинаясь и краснея, сказал ему, чтобы он отправлялся помогать проводить электролинию. Тот стал было возражать: кто же останется здесь? Он не может допустить такого, несмотря на чье бы то ни было приказание.

— Я вас прошу... очень,— произнес Глоев с таким страданием, что электрик замолчал, удивленно посмотрел на инженера — что это с ним стряслось?— и согласился.

После этого Глоев пошел на шахту и оттуда снял электрика.

Теперь каждый день он снимал по человеку со штольни и с шахты, посылал на электролинию.

Мироманов, узнав об этом, при первой же встрече одобряюще хлопнул его по плечу, сказал:

— Ну вот, обошелся же собственными силами! Давно бы так, а то боялся! А за строгача не обижайся, ничего не поделаешь: служба!..

...Глоев шел на штольню под проливным дождем. Спешить не было никакого смысла: этот густо струящийся, холодный дождь, всей своей массой обрушивавшийся на

голову, был сейчас даже чем-то необходимым, отвлекал его, возвращал к спокойной и ясной мысли, что ничего уже не поправишь.

Мироманов раньше Глоева выехал на штольню, как только оттуда сообщили, что убило током рабочего, который хотел соединить поврежденный грозой кабель, так как в штольне отключился свет и все стало.

— Миромашкин идет! — слышалось среди горняков, когда из кабины ЗИЛа, остановившегося возле штольни, вылез начальник партии в добротном дождевике и пригибаясь, как будто он мог сразу весь измокнуть, спеша направился к теплушке, где лежал на полу перенесенный со двора мертвый рабочий.

— Кто позволил? — остановившись перед ним, громко спросил Мироманов, оглядывая всех собравшихся. — Я повторяю: кто ему позволил соваться не в свое дело?

— Не он, так другой бы... Тут уж к этому привыкли, все сами... Не стоять же всей смене! — ответил один из горняков.

— А где был электрик? Я вас спрашиваю, где был в это время электрик?

— Как будто не знаете...

И тут все увидели через открытую дверь инженера Глоева, который подходил к теплушке.

Вот он медленно, при всеобщем молчании, вошел в нее, ни на кого не глядя, шагнул к рабочему, словно прилегшему на какой-то часок отдохнуть от тяжелой работы, так же медленно, как бы с каждой секундой начиная верить, что это правда, самая жестокая, ничем не опровержимая правда, снял с головы мокрый берет, — без плаща Глоев весь насквозь, что говорится, до нитки промок, — постоял молча, не отрывая взгляда от мертвеца, и повернул назад.

— Глоев! Куда же ты? — крикнул ему вслед Мироманов.

Начальник партии догнал Глоева уже на половине пути в поселок, выехав со штольни минут на десять позже. Гроза отодвинулась за реку; молнии полосовали уже ту, переднюю часть неба за лесистыми сопками, а здесь дождь, хотя и продолжал идти, намного послабел, выдавал себя, барабана по кабине.

Мироманов кивком пригласил Глоева в машину; но тот, не двигаясь с места, стоял на обочине, куда отошел, уступив дорогу.

— Садись, садись! — настаивал Мироманов на своем. — Я-то при чем? Просто ты, Глоев, невезучий. Бывает же такое раз в сто лет... И надо же было тому дураку сунуться под на-

пряжение! Ох, ох и дела! За это по головке не погладят. Жалко мне тебя, парень, было начал притираться, и вот такая беда, как из-за угла. Не знаю, что и придумать. Это первый в моей партии смертельный случай!

Ну, садись, подброшу,— еще раз пригласил он Глоева, но видя, что тот по-прежнему стоял без движений, весь сжавшийся, безучастный, казалось, ко всему на свете, сказал ему:— Понимаю: хочешь побыть один. Побудь, побудь, осмотрись, все взвесь. До утра я тебя не трогаю...

Глоев дождался, когда ЗИЛ с начальником партии отъедет от него подальше, и еще медленнее, чем шел до этого, продолжал свой путь. На входе в поселок заметил завхоза, который направлялся к нему устремленным шагом.

— А я иду вас искать, думаю: еще чего наберете себе в голову,— произнеся эти слова, завхоз оглядел Глоева, всего мокрого, пожурил:— Что же вы, ни плаща не надели, ни... Так дважды два простудиться, бить вас некому!

Дома завхоз бросил Глоеву свою теплую рубашку, сказал:

— Переодевайтесь, а я сейчас что-нибудь соображу.

Не мешкая, он открыл банку говяжьей тушенки, разогрел ее на сковородке, пригласил:

— Ну, садитесь. После такого душа не грех и выпить.

Но Глоев, вдохнув запах спирта, отказался напрочь от «лечения», как завхоз ни уговаривал его.

— Ешьте тогда хоть тушенку, что ли? А я, так уж и быть, выпью сегодня и за себя и за вас.

И, сделав, как обещал, завхоз посидел молча, не закусывая.

— Хороший вы человек, Виталий Андреевич,— потом проговорил он,— и образованные, и... Даже вот от спирта отказались... И это в такой день, когда другой бы обязательно напился!

Добавив себе еще полстакана, завхоз зажевал хлебной коркой и уже размягченнее, как бы давая волю своим душевным силам, продолжал:

— Значит, я это что? Хороший, говорю, вы человек, да в нехорошее место попали. Чтобы в такой рабочей обстановке уметь выкручиваться, надо сначала стать Миромашкиным.

Глоев на эти слова завхоза лишь умоляюще посмотрел на него: «Этого вы мне не говорите...» Остался сидеть таким же, каким был все это время, как похоронивший сразу отца и мать.

— Ну, то, что убило рабочего, могло быть, могло и не

быть. Могло со смертельным исходом, могло и не со смертельным,— углублялся завхоз в свои размышления.— Если строго по закону, то рабочий сам виноват: нарушил правила техники безопасности. Ну, простояла бы штольня, пока не вызвали бы электрика, черт с ней, не первый раз. Но, это да, на здравый рассудок, в другой ситуации. Рабочего жаль, конечно, вообще, что так случилось. Но я так соображаю: рано или поздно что-то такое все равно должно было случиться, вот не встать мне с этого места. Э-э,— он покрутил перед лицом Глоева растопыренными пальцами, пытаясь изобразить то, что хотел сказать,— тут так все устроено... Будь у тебя семь пядей во лбу, результат один. А вот Миромашкин опять сухим из воды выскочил. А ты теперь иди докажи, что ты не верблюд. Эх, налью-ка я себе еще!.. Что-то меня сегодня не берет...

После третьей добавки завхоз мгновенно стал пьянеть, называть Глоева на «ты».

— Люблю я тебя! Не знаю, за что, а люблю!— он потянулся к инженеру губами, норовя его поцеловать.— Вот сидишь ты сейчас передо мной, ну такой смиренный, славенький... Взял бы да хоть выругался, что ли? Всполошил бы всех, а?..

В полночь Глоев с трудом перетащил завхоза на кровать, уложил поверх одеяла, выключил свет и неслышно, как тень, лег сам. Но полежав немного, поднялся, обулся, надел свое пальтишко, берет и вышел из домика, тихо прикрыв за собой дверь.

Утром его срочно, как было сказано посыльным, вызвал Мироманов.

— Что же ты, голубчик, поторопился, сообщил в управление?— спросил он, как только Глоев вошел в кабинет.— Ну, ты соображал, что делал?— И он ерзнул на стуле так, точно сидел на чем-то горячем, припекающем, однако сдерживаясь от готового прорваться крика.— Как-нибудь тут сами уладили бы... Я бы это дело прикрыл, никто бы там не знал. А теперь что же, приедут, начнут копать... Вот радиограмма, вызывают тебя, требуют подробных объяснений... Ты не полетишь, откажись, придумай что-нибудь. Ну, придумай, Глоев! Ты же грамотнее меня, неужели не найдешь выхода? Ну, ответь, что заболел, сейчас не можешь: такой случай, переволновался, сердце схватило или там еще какая-нибудь холера... Ну, можешь ты хоть раз сделать, как человек? А я за это время тут что-нибудь придумаю, как тебя спасти. Еще не все потеряно, дам тебе

чистый расчет, уедешь отсюда куда-нибудь подальше, и дело с концом...

— Не трудитесь,— спокойно выслушав все это, проговорил Глоев и не спеша повернул к двери.

— Постой! Глоев!— Мироманов всем телом двинул стол, из-за которого не смог сразу выбраться, чтобы остановить инженера, убедить его воздержаться от поездки.— Не горячись, подожди! Подумай о последствиях, подумай о других...

— Не беспокойтесь за себя, вам не придется отвечать,— обернувшись, произнес Глоев с прежней собранностью в голосе и теперь уже вышел из кабинета Мироманова навсегда.

Вернувшись домой, он принялся аккуратно укладывать в свой модный кожаный чемодан все свои книги и журналы. Вот уложил, застегнул застёжки и, выпрямившись, посмотрел на завхоза, который стоял рядом, хмуро глядя на эти сборы.

— Нет, так не положено,— проговорил завхоз, беря из руки Глоева чемодан.— Это должен нести провожающий, чтоб была удача...

Все то время, пока не было самолета, они стояли и молчали так, как будто оба были друг перед другом в чем-то виноваты. А когда в воздухе прорезался знакомый звук АН-2, завхоз торопливо, словно боясь, что не успеет высказать Глоеву все то важное, прибереженное напоследок, начал:

— Ты там все расскажи! Все, как было...

— Что рассказывать?— вздрогнув, отозвался Глоев.— Я виноват.

— Что ты! Если ты там так скажешь... Мироманов поставил тебя в такие условия...

— Все равно я виноват. Рабочий погиб из-за меня.

— Ой, так не надо! Мироманов тебя вынудил...

— Я не должен был поддаваться на его... Я уступил ему.

— Не уступи ты ему, он бы тебя другим способом выжил. Ты еще не знаешь, какой это страшный человек! И если ты все сейчас возьмешь на себя, он снова будет благоденствовать, а ты...

— Я проявил слабость и должен за нее поплатиться.

— Да пойми, святая твоя душа, ты пропадешь в тюрьме!

Глоев выслушал эти слова завхоза, как и все, что тот сказал до этого, точно что-то лишнее, на что они только зря тратили время, которого у них осталось и так очень мало.

— Прощайте, Марк Максимович!— проговорил он, беря чемодан и отступая к подруливавшему самолету.

— Нет, мы еще увидимся!— прокричал завхоз, бросился туда же, вслед за инженером.— Это неправда! Мы еще... Мы еще докажем! Всем докажем! Хочешь, я с тобой полечу?..

Но инженер Глоев уже скрылся в самолете. А вскоре и самолет, взлетев с легкой, короткой разбежки и выйдя на прямую линию в сторону областного центра, стал не виден и не слышен в бескрайнем просторе неба.



В. Мазушский



ХЛЕБ С МАСЛОМ

Б

ыло темно и рано. В доме напротив светилось несколько окон. Проехала развозка, брякнув слабым люком на мостовой, Михаил Максимыч вылез из-под одеяла и пошел на кухню по остывшему линолеуму.

Умылся под краном, не заметив этого. Не снимая шкурки, нарезал колбасы на сковородку, зажег газ. Жир закипел, куски скрючились, покраснели. Он без интереса жевал, глядя в окно на соседний корпус, наполнявшийся огнями. Домина был длинный, загнут пистолетом.

Михаил Максимыч Трофимов получил квартиру три года назад. Вначале, чтобы попасть домой, приходилось хлебать грязюку. Теперь вроде наладилось: глину под асфальт спрятали, под окнами посеяли траву, кустов насажали. Две телефонные будки по углам дома и пивные ларьки, тоже два.

Работал Трофимов помощником бригадира на судоремонтном, очень далеко от нового места жительства. Сегодня он встал не в духе: голова побаливала и тяготила мысль о пенсии. Постучал в стену, чтобы дочь собиралась на фабрику, где делали нитки. Дочь была некрасивая, толстая, и лицо у нее всегда печальное, обиженное. Он жалел ее, но утешать не мог, понимал, что нечем утешить.

Дочь прошла в ванную, не стесняясь, в одной рубашке, помятой сзади. Слышно было, как она стучала зубной щеткой о зубы. Михаил Максимыч вздохнул и стал собираться. Почистил бархоткой носки ботинок, надел тяжелое ватное пальто.

На улице тянул морозный ветер. Трамвай только ушел, но народ постепенно натек на площадку. Все стояли спиной к ветру. Михаил Максимыч поднял воротник, втиснулся в подошедший вагон чуть не последним. Позади нажимала тетка в папаче из чернобурок, от нее несло дорогим одеколоном. Трофимов терпеть не мог сладких запахов. Стараясь не дышать, полез вперед, кося глазами.

Через час он выпихнулся на своей остановке. Ворота проходной с наваренными крест-накрест якорями заиндевели. На территории мерцали тусклые от изморози огни.

В раздевалке его ожидал напарник, Яшка Рожков, который сообщил, что бригада потопала на танкер и Мурыгин велел шевелиться с ремонтом на «Академике», дал три дня, хоть кровь из носа.

— Торопится, не зная куда, — вяло буркнул Трофимов, переодеваясь в спецовку. За стеной уже работали станки. Он влез в робу, затянул штаны офицерским ремнем, на ватник напялил брезентуху.

— Да, Максимыч, тебя начальство просило зайти, за чем — не ведаю, — вспомнил Рожков и, не дожидаясь, двинулся к выходу.

Михаил Максимыч грузно встал с табурета. В конторе никого не было. Он направился в цех. В пролетах путался синий дым от сварки. Гулко ударяли в корабельную сталь. Инженерша Лидия Петровна делала замеры в ступице пароводяного винта, лежавшего на козлах. Месяц назад она вышла замуж, насидевшись до этого в девках, и теперь стала неузнаваема. Халат был отутюжен, на оттопыренном пальце сияло обручальное кольцо.

Рядом околачивался мальчишка в новой каске. Лидия Петровна подняла голову — смотрела, как Трофимов почтительно идет к ней в ржавой одежде.

— Я вам помощника нашла. Парень боевой, десять классов кончил. Прошу любить и жаловать...

Она подтолкнула новичка, назвала имя. Мальчишка зыркнул из-под каски, оглядывая квадратную фигуру помбригадира, и ухмыльнулся. Михаилу Максимычу не понравилась эта тонкая усмешка, но он не подал виду, только спросил, сколько годов парню.

— У него шестичасовой день, — предупредила инженерша.

— Понятно. Ну пошли, добрый молодец, хлеб с маслом зарабатывать, — сказал Трофимов, морщась от боли в затылке, и направился в ворота.

Ветер дул с моря. Они миновали плавучий док, где на кильблоках лежал танкер. Под освещенным днищем ползали маленькие люди в респираторах и чистили пароходное брюхо. Механические щетки пронзительно выли.

Помбригадира размышлял на ходу: куда определить новичка? Толк с него вряд ли будет — сбежит в плавание при первой возможности. Молодежь нынче не любит подолгу сидеть на одном месте.

Порт был огромный. Скрипя литыми бамперами, автопогрузчики возили болванки в склады. Тепловоз с лязгом толкал вагоны. В ковше маневрировал белый корабль, весь в огнях. На корме полоскался флаг с иноземным гербом. Винт шлепал в ледовой крошке.

Трофимов и мальчик вышли на дальний причал, где стояло океанское судно под разгрузкой. Полезли по крутому трапу. Швартовые канаты были туго натянуты. Краны выхватывали из трюмов прессованный каучук. На носовой палубе двое матросов поднимали лебедкой грузовую стрелу. Трос чавкал в густой смазке на барабане. Небо было еще темное, и утренняя звезда дрожала, как свеча на ветру.

Михаил Максимыч поставил сундук с инструментом к ногам, вытащил из него гаечные ключи, сунул в брезентовые карманы.

— Погодь, я за переноской схожу, — строго сказал он и принес на локте свернутый в жгут провод, склонился над пустым трюмом. Там было холодно, как в рефрижераторе, на переборках висел иней.

Трофимов начал спускаться по отвесной стене в чрево трюма, руками приликая к скоб-трапу. Сильное течение с реки несло льдины, грохоча о борт. Шипел пар по трубам.

Мальчишка нехотя спустился следом и подул на скрюченные пальцы.

— Что будем делать? — хмуро спросил он.

— Ты будешь! — прикрикнул Трофимов, разматывая шнур. Воткнул вилку в штепсель у черного люка. — Вскроешь горловину, тут двойное дно. Магистраль нужно менять.

Переноска слабо светила. Он знал, что мальчишка вряд ли справится, гайки еле виднелись под слоем сурика и ржавчины. Но он хотел испытать ученика на черной работе, прежде чем доверить что-нибудь стоящее.

— Я все сделаю, как вы сказали, — неуверенно произнес мальчик, поднял лампу и стал оглядывать лаз. Ему казалось, что помбригадира сомневается в нем. Он нахохлился.

— Работать нужно так, чтоб чуточку хотелось спать,— пошутил Трофимов, вручая инструмент.— Замерзнешь — в машину приходи.

Он ободряюще хлопнул парня по плечу, отвернулся, чтобы не смотреть в льдистые ребячьи глаза, и тяжело вскарабкался наверх.

По палубе он прошел в надстройку, где размещалось дизельное отделение, спустился на три этажа вниз.

Рожков у пульта беседовал со старшим механиком. Они недавно провернули двигатель, оценивая вчерашнюю работу. Механик был доволен.

— Прямо уходить не хочется. Машина — как часы. Молодцы... Ой, молодцы!

— Мы посмотрим девятый цилиндр еще раз. А музыки не надо,— отрезал Михаил Максимыч.

Механик удивленно поднял лоснящиеся брови, потрогал горло, замотанное мохеровым шарфом, вкусно дыша хорошим коньяком и не нашей закуской.

— Я бы помог, да в управление вызывают,— сказал он, будто не заметил грубости помбригадира. И удалился.

Трофимов пожаловался Рожкову, что всучили ему желторотого школьника, он его пристроил в трюме — мол, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Напарник согласно поддакнул, и они принялись за работу.

Насос прокачивал отфильтрованную смазку через главный двигатель. Михаил Максимыч слушал, как горячее масло входит в артерии коленвала, продавливается в подшипники, стекает в картер на решетки. Он видел это мысленно, словно машина была прозрачная, а масло двигалось по стеклянным каналам. Рожков отключил насос и вскрыл стальную дверь. Трофимов протер ветошью подошвы ботинок, чтобы не занести грязи, полез в картер.

Машина еще не остыла. Он стал весь липкий от едких паров и слышал, как струя масла с комариною иглу текла за шиворот. Он не мог отклониться — боялся рухнуть со скользкого мотыля на железо. Внимательно прощупал телескоп, по которому шло охлаждение тронка. Рожков снизу подавал инструмент, как ассистент хирургу.

Копошились они в жирном тумане с кряканьем, тихими, в помощь себе, ругательствами и хрипами.

Наконец Трофимов промокнул промасленное лицо тряпкой и вылез на рифленые плиты. Кровь стучала в висках. Оставляя масляные следы, он прошел до кингстона, сел на него и обождал, пока отдохнет сердце.

Работа осталась теперь легкая, он хотел ее выполнить не спеша, с умом. Топился автоматический котелок, но было прохладно. Железо бортов потело от сырости. Туго ворочалось динамо в магнитах, нагнетая ток в ослепительные лампы. Отделение все блестело медью и белой эмалью.

От затылка немного отхлынуло. Он встал, надел очки, обвязанные ниткой, полез щупом в регулятор.

— Надо же, кулак лезет. Напортачили, сукины дети, — ругнул он фирму, построившую корабль.

Рожков плоскогубцами выдергивал шплинты, как занозы. Трофимов работал рядом с напарником. Оба они присели на корточки, иногда касались головами друг дружки. Дыхание их смешивалось.

Морской хронометр на руке Трофимова блестел никелем. Он был дорог ему — достался при обстоятельствах необычных. Дело было в начале войны. Трофимов служил на морском «охотнике». Они сопровождали в конвое транспорт, набитый тяжелоранеными бойцами, семьями военнослужащих. Бомбили их днем и ночью, от самого Таллина. Немецкие летчики нагло снижались над транспортом, но им все не удавалось утопить пароход, полный народу. Тогда один фашист зашел на бреющем, совсем низко, — видно, хотел попасть в паропроводную трубу, чтобы взорвались котлы. Люди лежали на палубных заклепах, закрывали детей руками. Море кипело от взрывов. В мгновение тишины было слышно, как плачут дети.

Михаил Максимыч, не помня себя, вытащил из пушечной турели убитого номерного, в горячке нажал на спуск и вдул бомбардировщику под жаберные крышки снаряд — даже гайки посыпались из правого мотора. Самолет нырнул под самой кормой, только пузыри пошли. А после наш эсминец у Гогланда подоспел на помощь. Транспорт и тысячи людей на нем уберегли. Командир Егоров выстроил остатки экипажа на обгоревшей палубе, с забинтованной руки снял часы и перед строем вручил Михаилу Максимычу. Не до орденов тогда было. Ходят часы тридцатку лет без ремонта, тютелька в тютельку. Только никель стало разъедать потом от руки.

Рожков тоже поглядывал на боевой хронометр, с иными мыслями — обед не прозевать; намекнул, что сегодня хоккей рано начнется.

Михаил Максимыч хоккей уважал, телевизор ради него купил, с полуметровым экраном. А дочка фигурным катанием заразилась, часами просиживает.

Яшка Рожков за разговором работал неспоро, еле шевелил рогом, болты, гад, ручником забил, резьбу подпортил. Михаил Максимыч обругал напарника крепко, но помпу собрали. Запустили. Внутри, как младенец в утробе, мягко толкался поршень. Трофимов всхлипнул от удовольствия, поваял в керосиновых пальцах папиросу, закурил перед обедом. Рожков тотчас побежал на корму к матросам, харчиться на дармовщину. Помбригадира такой паскудной привычки не имел, а развернул свои бутерброды, сжевал два бледных яйца, во рту ощущая вкус зеленой меди, будто с отравы какой, — даже отложил еду.

Вахтенный моторист мерз, обнимал котел и жаловался, что после тропиков никак не адаптируется. Был он светло-волос и худ. В каюте у него сидела жена, он часто убегал к ней минуты на две, потом слетал вниз, не касаясь ногами трапа, лихорадочно осматривал градусники динамо и спрашивал:

— Никто не приходил?

— Никто.

Трофимов привалился к урчащему теплу и думал свое: вот дочка собирается замуж, да никто не берет, а лет ей — слава богу! И сам плох становлюсь: никогда гриппом не болел — вчера схватил, видно. Полгорода в гриппе валяется. В медпункт брести неохота, и болеть перед пенсией невыгодно.

После очередного заскока в каюту моторист суконкой натирал опрятные трубки. Трофимов отвлекся от невеселых раздумий, похвалил машину:

— Очень у вас чисто, прямо ювелирный магазин.

Вахтенный справедливо возразил, что надраенные медяшки ничего не прибавляют к исправности механизмов и заработку.

— Тоже верно. Но все равно приятно, когда чисто, — повторил Михаил Максимыч, слегка мигая от боли и света. Казалось, двигатель и предметы вокруг вздрагивают и качаются; он не придавал этому значения. Ему было хорошо, что сделал сложную классную работу, — не в чем упрекнуть старика. Повеселел от этой мысли: здоровье позволит — поработает еще год-другой. Направился на палубу проветрить мозги, заодно заглянуть, что творит малый, — небось в кочерыжку превратился от безделья. Хотел вспомнить его имя, названное инженершей, да махнул рукой.

На поверхности и правда была холодина. Ветер дул с нажимом, перехватывал дыхание. Скудное солнце валя-

лось во льдах в холодном обмороке. Дымился аспидный фарватер. Самоходная баржа, груженная лесом, маячила вдали.

Трофимов минуту подышал морским воздухом. Прямоугольные льдины, наломанные ледоколом, пробирались в залив. Башкастые галки клевали объедки, выброшенные с пароходов. В черной воде качался вздутый батон. «Матросня зажралась», — подумал Михаил Максимыч, идя по борту.

Пацана в трюме не оказалось, — где-нибудь грелся. Внизу блестели разбросанные ключи. Трофимов побрел обратно по ледяной палубе, припадая на левую ногу. Опять ему стало не по себе — глядел слезящимися глазами в снеговой свет и почему-то думал о жарком юге, где люди ходят в одних холщовых штанах под маленьким яростным солнцем, а морская вода прозрачная и голубая...

Он прислонился к железному распору, стоял недвижно, дрожа от внутреннего беспокойства, предчувствия болезни. Зазвонил колокол на плившем буксире, и тонкий звук меди тревожно повис над гаванью.

Кто-то окликнул Михаила Максимовича. Он обернулся. Подошел механик. Фуражка с «крабом» заслоняла его глаза, кожа на скулах порозовела от непривычного холода. Он громко, не стесняясь, высморкался на льдину, вытер подбородок заграничным платком и стал говорить про тяжелый тропический рейс, когда мотористы падали в обморок от шестидесятиградусной жары в машине. Команду он отпустил на отдых, а ремонт делать надо.

— Вы посмотрите крылатку в правой динаме, — сказал механик. — Она мне не нравится...

В плане работ этой динамы не было, поэтому Михаил Максимыч категорически отказался от сверхнарядного ремонта.

Механик понимающе кивнул:

— В долгу не останусь. У меня спирт есть...

Трофимов разозлился:

— Не нужен мне ваш спирт. Постыдились бы... Ремонт мелкий, на ходу сделаете.

Механик пожал плечами:

— Извините, я от души. Думал, поладим.

Он недовольно отвернулся и, наклонясь к ветру, пошел, придерживаясь за планшир.

Михаил Максимыч проследил, как захлопнулась за механиком дверь в каюту, и спустился вниз. Там он постоял у динамо, положил ладонь на улитку, стараясь уловить

посторонний свист в сатанинском грохоте. Пламя бушевало в коллекторе.

«Действительно греется, но это еще ни о чем не говорит... В тропиках-то может и полететь... нет, все нормально. Баламут чертов, подъехал со спиртом. Я же не святой, но я его отбрил — носом закрутил, пузатый. Надо, я тебе и так сделаю, только человеком будь...»

Размышляя, он вернулся к разобранной аварийной динамо-машине и тихо двигался, сбрасывая отечные от сажи клапаны в поддон с соляром. Рожков копался под плитами, поджимал фланцы. Иногда высовывал голову в берете, со слипшимися от масла волосами на висках, рассказывал о вчерашней выпивке с молодым зятем. И было видно, что он мучается с похмелья, не вычистил утром зубы, десны бледные.

Михаил Максимыч насильно вслушивался в его речь, старался сосредоточиться на работе; вспоминал жену — сегодня было ровно четыре года, как она умерла. Он отчетливо помнил эти жуткие похороны, как пропихивали гроб с ее телом среди тесных оград кладбища. Могила была короткая, но на дне ямы имелось углубление, сделанное, чтобы не долбить верхний мерзлый слой земли. Гроб втиснули туда узким концом. Михаила Максимыча потрясла эта немыслимая пещерка — слезы не обронил. Смерть Анны понял лишь на третьи сутки, когда наступил нечаянно на брошку, выпавшую из шкафа...

Он очнулся от горестных мыслей и увидел на трапе мальчика. Ему стало совестно, что заморозил человека, — лучше бы в тепле отирался.

Мальчик спустился и протянул озябшие руки к котлу.
— Ох и грохот здесь!

Михаил Максимыч спрятал глаза за очки.

— Разве? Машина тихая, аккуратная. Вот когда кровь из носа плывет у механиков после вахты — тогда да. Есть такие дизеля с газовым наддувом... А тут деревня... Гайки отвернул?

— Сделал.— Мальчик вздохнул, щурясь от света, и показал ссадину на большом пальце.— Ноготь защемил... Там неудобно.

— Ага. Бывает. До свадьбы заживет...

Трофимов встал и вдруг пошатнулся.

Мальчишка испуганно схватил его за локоть.

— Что с вами?

— Ладно, отойди, уже прошло. Мотор вразнос идет...

Михаил Максимыч потрогал грудь, где сердце, и снова склонился над поддоном. Теперь он двигал одними кистями, черными от сажи и графита.

Из-под машины выкарабкался Рожков и заорал:

— А, молодая смена. Приветствую вас! Пахать мал, боронить велик, а за водкой послать в самый раз. Пошлем, Максимыч?

— Не гаерничайте, вам не к лицу,— вежливо обрезал мальчик.

Рожков нахлобучил ему на глаза каску.

— Ишь ты, механик пожаловал! Яйца курицу учат.

Мальчик отдернул голову, поправил каску и ответил с достоинством:

— Вы несправедливый человек.

Повернулся и пошел прочь.

Михаил Максимыч поднял позеленевшее лицо.

— Со своими детьми, наверное, так не обращаешься?

— Что я сказал? Пошутить нельзя. Салага, а гонору вагон.

Рожков разозлился и бросил ключ на плиты. Вахтенный моторист подобрал ключ и вытащил из-за электрошита потные бутылки с пивом.

— Угощайтесь. Не обращайтесь внимания. Парень занозистый, но обкатается...

Рожков раздвинул рот в стертую улыбку подхалима.

— Я и говорю. Терпеть не могу этих хлюпиков, интеллигентные все стали: «Прошу вас...», «Вы несправедливы». Тьфу!..

Он еще долго ворчал, откупоривая бутылки.

Втроем они промочили горло, сидя верхом на пожарном ящике.

— В трюм пойдешь делать настил без своих выгибов. Проследи, чтобы пацан в три часа домой ушел,— приказал помбригадира. Яшка недовольно кивнул.

Они задержались минут на пятнадцать. Рожков давно вернулся из трюма и мысленно честил Михаила Максимыча: «Дьявол железный, поцарствуй последние деньки».

Соляр щипал глаза. Они устали от работы, несмолкаемого грохота и белого сияния машины.

Наконец Трофимов разогнулся и выдохнул:

— Шабаш.

Лицо его осунулось, и ростом он стал будто ниже.

— Можешь быть доволен. Заработали кучу.

Он не сразу двинулся с места, оглядывая машину. Рожков пропустил мимо ушей подковырку помбригадира, собрал инструмент, вытер лоб грязной ветошью.

— Никогда столько не делали. Завтра кончим, если парень снял трубы. Там все заржавело. Пожалуй, он еще сидит в танке,— сказал Рожков и ухмыльнулся.

Трофимов сбывчил голову, медленно плюнул.

— Я что сказал?

— Он сам напросился. Давай, говорит, сниму...

— Тебя бы засадить, паразита!

Трап зазвенел от шагов помбригадира.

С залива дул ветер со стеклянным гулом. В трюмах орали окоченевшие грузчики. Твиндеки уже были чистые и белые от просыпанного талька. Трофимов закрыл потевшую грудь брезентом куртки, обождал, пока кран пронесет сеть, набитую тюками.

Солнце давно зашло. Прожектора голо и жестко светили. У борта копошился буксир с длинной старомодной трубой. Труба чадила коричневым дымом.

«Малец сообразительный, не будет же сидеть там. Небось дома чай с булкой пьет, а может, на камбузе отирается...»— успокаивал себя Трофимов. На всякий случай заглянул на камбуз. Перевернутые кастрюли стояли рядком. Он вышел из коридора. Над темным провалом трюма горела люстра. Внизу у люка валялись каска и разобранные секции.

Михаил Максимыч спустился и пощупал рукой ржавые фланцы: трубы были те самые, какие Рожков отметил мелом.

Помбригадира пропихнул свое тело в лаз и стал прислушиваться. Вдали мелькал огонь переноски. Шуга терлась за бортом, и тонко позванивала сталь.

Он не хотел двигаться дальше, лезть на животе. Когда судно шло в балласте, то в этот танк закачивали для устойчивости воду морей или рек. От стенок несло сероводородной гнилью. Ему стало тяжело дышать. Железо было холодное и липкое.

— Эй, парень!— крикнул он вглубь, голос его задрожал.

Звяканье и всхлипыванье прекратились. Шаркнула отсыревшая одежда, голова свесилась с труб. Тонкий замерзший голос произнес:

— Сейчас.

«Вот упрямый черт!» — подумал Трофимов и раздраженно крикнул:

— Вылезай, дура трехступенчатая!

— Сейчас,— снова пискнул голос.

Михаил Максимыч наливался слабой злобой: «Дура бамбуковая, из-за него я опоздаю на хоккей...»

Он встал на карачки на дощатый настил. Горбыли были жидкие, прогибались под его тяжестью, хлюпали в грязи. Колени тотчас промокли.

Трофимов нащупывал лазы в толстых днищевых флорах. От дифферента вода переливалась. Проход сужался. Грузное тело помбригадира ударялось о железо. Трофимов кашлял и плевался от густого смрада. В темноте зацепил окницу хронометром. Стекло хрустнуло. Накаленный добела, он просунул голову за переборку и увидел распластанного на трубах мальчишку.

— Сейчас,— повторил свою фразу мальчишка и икнул от холода.— Она поддалась.

— Кто поддалась?

— Последняя гайка...

— Бросай к черту. Обрежем автогеном. Слышишь, тебе говорю! Что тебя, выкуривать отсюда?

Мальчик снова икнул.

— Дай поддержку,— вдруг смягчился Трофимов, подполз к нему и пощупал фланец: три болта были отвернуты. Мальчик подвинул локоть, протянул ключ и прошептал:

— Вдвоем мы быстро управимся, верно?

— Верно,— подтвердил Михаил Максимыч. Часы тикали на его руке, но стекло было разбито. Он снял хронометр, завернул в тряпицу, сунул за пазуху.

— Теперь давай.

В утробе корабля глухо рокотал дизель, дрожь его передавалась по трубам. Гайка со скрежетом обдирала соленую ржавчину. Мальчик гнулся от напряжения, стуча коленками.

«Тут и взрослому не под силу,— подумал Михаил Максимыч.— Но мне туда не забраться».

Он мог приказать бросить это дело до завтра, с автогеном здесь пять минут работы. Но что-то удерживало помбригадира.

Труба уже свисала свободно, остался последний оборот ключа. Трофимов приподнял фланец, выдавил болт. Мальчишка засмеялся:

— Я же говорил, вдвоем быстро...

Михаил Максимыч ухмыльнулся. Он мог бы уже побаловать себя пивом на выходе и успеть на матч, а он сидел в затхлом танке с этим несмысленным.

Они вытащили трубу в трюм и полезли через твиндеки,

цепляясь за ледяные скобы. Небо над головой было фиолетовое, маленькие непротертые звезды висели над бимсом.

Мальчик и Трофимов потоптались наверху, дуя на одеревеневшие пальцы. Над трапом горела огромная люстра с рефлектором, освещала маслянистую воду у причала.

— Как тебя зовут-то?— сурово спросил Трофимов, застегивая на груди брезентуху.

— Я же говорил вам, когда шли сюда...

— Не помню, не помню. Заработался, брат...

— Славиком меня зовут...

— Понятно. Святослав. Князь такой был,— зачем-то сказал Михаил Максимыч.

— Лидия Петровна говорила, что вы бог по машинам, научите меня всему...

— Научу, научу, не торопись. А музыки не надо,— вздохнул Трофимов, и непроницаемое лицо его раздвинулось в улыбке.

Они спустились по трапу на берег и пошли, касаясь друг друга плечами.

Вдали гудел ледокол, ломая морские торосы.



В. Маковецкий

НЕ ДАЛЕКО
ОТ ЭЛЬТИГЕНА

I

Всю дорогу Семен Иванович спешил, жал на полную железку и к началу девятого, как и рассчитывал, дошкрябал-таки до Старого Крыма. Но когда повернул с асфальта на гравий и стал подыматься к каменному карьеру, глазам открылась безрадостная картина: впереди на опоясывающей горный склон дороге стояла длинная очередь самосвалов. Журавлев на своем Сивом оказался чуть ли не двадцатым. Он зажмурился, уронил голову на согнутый локоть и произнес несколько подходящих такому случаю слов. Потом спрыгнул на землю.

— Братцы! Какая там раззява села поперек лопаты? Долго будем стоять?

— Экскаватор порвал троса, — отозвался водитель ближайшей машины. — С полчасика позагораем...

Семена Ивановича перекосило.

— Полчаса? Ну, без ножа режут, карьеристы проклятые! Это, считай, они час проваландаются... Лучше бы я, дурак, сегодня отгул взял.

На двенадцать ноль-ноль у него была назначена важная встреча с председателем профкома комбината. Теперь эта встреча могла сорваться. Говорить же Семен Иванович хотел о своем старшем сыне Павле, который месяц всего как отслужил в армии и вдруг надумал вдвоем с невестой уехать по вербовке на Север. Хороший парень, водитель второго класса. Она мастер на аглофабрике. Тут даже не о родительских чувствах речь. Неужто упускать с комбината такие кадры? А чтобы они остались, им, кровь из носа, надо расстараться

хоть какую-нибудь комнатенку. На семейном совете этот разговор был обдуман до мелочей, и, пока ехал, Семен Иванович не выпускал его из головы, а тут... Будьте вы неладны с вашими тросами! Хоть порожняком домой заворачивай.

Он с силой ударил дверцей и, отойдя к обочине, уселся над крутизной — спиной к порвавшему троса экскаватору. Вырвал из пачки папиросу. Привычно хороня огонек в ладонях, хмуро глядел на ровное желтое пламя. Даже здесь, на высоте, ни ветерка. Весна!

Внизу за шоссе пестрел черепичными крышами и скатывался в долину старый тихий городок. Горы по окоему забирали все выше и выше вправо и вдруг расступались, открывая следующую гряду; за нею синела еще одна горная цепь, и едва проступала, теряясь в облаках, самая дальняя, голубая. Уже цвел миндаль. Всюду в садах и на огородах возле шоссе шла работа. Копают, сажают, жгут прошлогодний бурьян. Стареется народ, не теряет попусту дорогого времени!

Подхватившись, Семен Иванович вернулся к машине и свирепо засигналил. Три или четыре машины в разных концах колонны поддержали его. Очередь дернулась. Передние на полкорпуса подались вперед, и ему тоже надо было двинуться, но он... словно бы вдруг выключился. Застыл чуть не в испуге, держась за дверцу своей машины: среди прозвучавших сигналов ему почудилась знакомая нота. Очень, очень знакомая! Живая, с двойным перехватом, похожая на звон пионерского горна, она отозвалась в груди дрожью и долго замирала эхом в окутанных зеленой дымкой весенних горах и распадках. И пока не затерялся последний запоздалый отголосок, Семен Иванович стоял околдованный. Потом перекинул взгляд на дорогу, забитую самосвалами, хлопнул дверцей и быстро, с подбежкой, пошел вдоль колонны. Миновал голубой ЗИЛ, оранжевый КамАЗ, два зеленых молодцеватых КраЗа и возле третьего, тоже с прозеленью, но, скорее, пегого, сильно помятого, задыхаясь, остановился.

Да! Это был его Соколик, его любимая, лучшая в мире машина, шедевр автомобильной промышленности, самосвал, на котором он проработал без малого три года и с которым так неожиданно и горько расстался. Он самый... Но какой! Его сплошь покрывали вмятины и рубцы, а на кузове — с левого борта — зияла рваная дыра непонятного происхождения, будто просадило снарядом. Весь он стал пятнистый, обшарпанный — родной брат Сивому. Видать, один только голос остался от прежнего Соколика, чудом остался. И то лишь

потому, что редкостной выделки медные рожки кто-то догадался упрятать с кабины под капот.

Перекосив лоб страдальческими морщинами, Семен Иванович узнавал любимую машину. Вот бортовые пластины с рудничным номером. Черти, и закрасить-то как следует не сумели... Знаменитый «триста первый»! У всех рудничных самосвалов номера были на кабинах, а он, пригнавши с завода своего. Соколика, уродовать его не захотел и наварил на бортах специальные пластины, объяснив завгару, что на кабине краска, мол, не держится. А краска и вправду не держалась: в тот день, когда девчонка-малярша пришла ставить номер, он схимичил — натер дверцы салом...

— Моя бывшая! — сказал Семен Иванович молодому, с усами и бакенбардами водителю, который меланхолично наблюдал из кабины за этим осмотром. — Как она бежит, ничего?

— Та бежит... — зевнул и потянулся парень.

— А сигнал ты догадался спрятать или кто?

— Это еще до меня... Тут уже было, было хозяев!..

Оно и видать. Внутри кабина прямо-таки поражала грязью и неуютом. Исшарканная резина на полу сквозила щелями и дырами. У Семена Ивановича раньше под ногами был коврик, вырезанный по форме всех выступов: вымолил, выпросил у жены, так потом и оставил в кабине чужому дяде... А выдвижные пепельницы? Такие чистенькие были на каждой двери пепельницы: сыновья всегда прятали в них конфеты, папке в дорогу. Нету пепельниц, выдраны с мясом. Из угла сиденья выпирает пружина, торчит какая-то рвань...

Семен Иванович замычал и крепко потер грудь.

— Ты что? — не понял его жеста водитель.

— Это я так... Ты его моешь хоть иногда?

— Бывает...

— Молодец твой отец, на полу спал, ни разу не упал!

— Чего, чего? — опять не разобрал усаый.

— В хороших руках машина — вот чего! По углам грязи на палец, в скатах камни. Сидит, развалился! Попал бы ты к нам в гараж, там за такую работу тебе ряшку живо начистили бы!

— Ряшку? Мне? — удивился водитель.

Ах как захотелось Журавлеву немного потаскать этого увальня, встряхнуть, чтобы у него клацнули зубы и пропал сон! Но тут очередь машин тронулась, снизу закричали, и Семен Иванович, плюнув, побежал к своему Сивому. Подвигаясь помалу к загрузочной площадке, он не спускал взгля-

да с Соколика. От него не укрылось, как неловко усатый поставил машину под экскаватор,— ему так и насыпали, и он отошел от загрузки с сильным креном на правый бок. «Ах ты ж, подлая твоя душа!»— простонал Семен Иванович.

Он смотрел вослед Соколику, пока тот не скрылся; и потом, уже поворотивши домой, чуть не до самой Феодосии вздыхал, не мог успокоиться: «Сволочи, такую машину загубили!»

II

С тяжелым старческим храпом Сивый греб и греб по шоссе, и пассажиры шустрых «Жигулей», то и дело его обгонявших, морщились, попадая в полосу черного дыма. Некоторые оборачивались, чтобы еще раз глянуть на эту развалину и на водителя. Они выглядели под стать друг другу — старый, обшарпанный КраЗ и водитель, седой, тощий, с большим носом, в надвинутом на глаза рябом от масляных пятен берете. Семену Ивановичу было начхать, как он выглядит. Он спешил, надеясь еще успеть в профком, и старался не растерять в уме приготовленных слов.

И вдруг его как громом ударило: Пашка не потому заволновался и грозитя уехать на Север, что ему в родительском доме надоело тесниться и спать на раскладушке наполовину под обеденным столом,— хотя и это, понятно, не последняя причина. Ему досадно и обидно за отца, за его старую машину и вечное невезенье! Писали же ему в часть: вот-вот должны получить новую квартиру,— и опять отсрочка, неизвестно, последняя ли. Писали, что отца хотят наконец пересадить с калеки Сивого на новый КамАЗ,— и тоже никаких перемен. Ведь как у него давеча прорвалось: «С тобой, отец, здесь не считаются!» Ему, поди, и перед невестой стыдно... И таким несправедливым показался Семену Ивановичу этот сыновний стыд за него, что он в сердцах ударил кулаком по баранке и громко сказал:

— Дурак ты, Пашка!

Дурак, дурак, продолжал он думать, ничего ты не понимаешь. Ну, езжу на Сивом. Что ж, надо кому-то ездить и на нем. Это ли в жизни главное? Ты потолкайся по гаражу, послушай, что обо мне люди говорят. А если на твоей стороне есть какая-то сермяга — допустим такую возможность,— то тем более, какое ты имеешь право уезжать, покидать отца с матерью? Не прав ты, сына, я тебе докажу!..

Навалились на Семена Ивановича думы, отяжелили взгляд. Так и ехал — смотрел вперед, будто читал на бегущем под

колеса асфальте строчка за строчкой свою жизнь. Богатую? Не скажешь... Бедной тоже не назовешь... А что самым большим несчастьем за последние годы была у него потеря Соколика — это факт.

Девять лет назад в конце нежаркого, не скупого на дожди лета вот по этой же дороге Журавлев вел его с Кременчугского автозавода домой в Керчь. Только-только с конвейера! Мелькали вдоль лесополосы островки белых ромашек, гривы зелени, россыпи ярко-красных огоньков; над убранными полями носились стаи голубей. Казалось, все смеются и радуются его обнове — трактористы притормаживали на перекрестках, ждали, пока он проедет. Придерживал лошадь молодой чабан, прогонявший краем дороги свою отару, и даже чабанская собака лаяла вослед, весело махая хвостом... Ехал он не спеша, на второй передаче. Страшно хотелось прибавить оборотов, но он был не враг двигателю, чтобы нагружать его, не обкатав на малых скоростях. «Ничего, ничего, Соколик, потерпи,— приговаривал он,— мы с тобой еще свое возьмем!» А дома ждали сыновья, Пашка с Димкой, в ту пору еще совсем шкеты были. Две недели с отцом не виделись, заскучали. И вот она, эта самая минута... Родной дом! Сыны слетелись с двух сторон, как соколята, один прямо с крыши, другой с дерева — чумазые, глазастые, шальные от счастья. «Папка, папка приехал! Ура! На новой машине! Открой, папка!» Ворвались в кабину, кинулись все хватать и ощупывать, и новый КрАЗ тоже, казалось, радовался — убагаторенно урчал мотором, тихонько ржал, как лошадь под ласковой рукой. Потом все трое поехали в гараж. Улицы после дождя были мокры, а на Соколике, новеньком, блескучем, вода не держалась... Угадали подъехать точно в пересменку: вся бригада была в сборе. Батюшки, что поднялось!

Новый КрАЗ был праздником для всех — и для семьи и для бригады. Пять машин в бригаде; ну-ка кто-нибудь поломался или вдруг соседняя бригада начини дышать на затылок — на кого надежда? Только на Журавлева. Никто, понятно, не хотел, чтобы друзья ломались, но какая это роскошь — воля, когда можно прибавить оборотов и вырваться из нудного ритма вскрышной карусели! Холопов, Черняев, Завалишин, да и сам бригадир Дымов — скоро все оказывались позади. На своем Соколике он их обставлял, как стоячих. «Не путайся под ногами, мелочь пузатая! А ты, экскаваторщик, чего егозишь ковшом, как старая баба поварешкой? Я подъезжаю, у тебя уже ковш должен быть наготове!» Экскаваторщик сердился, рычал: «Замотать меня вздумал,

варварюга? Да я ж тебя первого!..» И шуровал вовсю, да только прыти его хватило ненадолго. В конце концов прижимал руку к груди, умолял о передышке: дай, мол, сойти на землю, справить малую нужду... «К-куда на землю? Скоро перерыв! Грузи давай!»

Да, с новым КраЗом прошли лучшие годы его зрелой жизни. Вполне можно так сказать, никакого тут нету преувеличения. Начинал после армии на сто пятом ЗИСе, потом, уже на руднике, водил «каруцу» с деревянным рулем — так называли тогда самосвал марки ЯАЗ. Потом был разбитый КраЗ, собранный по винтику... Набрался горя с развалюхами! Вечно лазил по свалкам, искал детали. Смену молотишь, даешь план, а потом заляжешь до ночи с переноской под машину, чинишь, и, глядишь, кто-нибудь из пацанов ужин несет. Новый КраЗ всему этому дал отставку. Началась другая жизнь. И не было на всем Камыш-Бурунском комбинате бригады крепче и спаянней, чем их шестая бригада.

Не было, пока не пришли БелАЗы.

До того о БелАЗах, об этих чудищах толстоногих, только слухи ходили. Мол, наработал их Белорусский завод видимо-невидимо, и скоро всем вскрышникам придется пересаживаться на новую технику. Но зачем пересаживаться? Разве КраЗы не успевают открывать руду, свозить вскрышной грунт? Вполне. Никогда за ними не было остановки. Какой же смысл в замене? Смысл, оказывается, был тот, что бедная камыш-бурунская руда слишком дорого обходится государству — БелАЗы ее удешевят. Выигрыш тут — две копейки на кубе грунта, но и копейки приходится считать.

Грянул день, бригадира Дымова послали в Минск за БелАЗами. Оказали честь передовой бригаде. А они, водители никак этого не хотели! Просили Дымова: не езд, тебя ж потом заставят их и обкатывать, рассыплется бригада!.. Так оно и вышло. Бригада распалась. Двое перевелись в бензиновый парк на «газоны», третий уволился, ушел рыбалить в дальние моря, а он, Журавлев, не захотел расставаться со своим Соколиком и начал ездить по разным участкам — с одного карьера на другой, везде, где требовалась подмена. Понятно, такая работа нравилась ему не шибко, но держался он гоголем и старенький свой берет носил лихо сбитым на правое ухо.

— Нет,— говорил он Дымову, который при каждой встрече заманивал его к себе в напарники.— Трусись в блин со своим БелАЗом! Я на таких скоростях не могу. Это скорость

для спанья, а не для работы. Я на нем выплюсь, а что дома буду делать? Нет, Витек, не по нутру мне твоя дуроломина. Не могу!

— А ты попробуй, — не отступал Дымов. — Сделай со мной ходку для интереса. Или боишься перевернуться?

Вот так он спросил однажды зимой на руднике, остановив свой БелАЗ около журавлевского КраЗа, когда Семен Иванович лопатой очищал кузов от намерзшей глины. Спросил и засмеялся. Журавлев посмотрел в разбойные глаза Дымова и хотел его маленько осадить, но что-то в груди дрогнуло ответным задором, и, бросив лопату, он со своего кузова переступил на высокий паровозный трап БелАЗа. Бесцеремонно потеснил бывшего своего бригадира, — очень довольный, Дымов примостился в углу на крохотном, с ладонь, стажерском сиденье.

— Ну что ж, правильно: собачья будка! — сказал Журавлев, с брезгливой миной оглядывая прямоугольное пространство чужой кабины.

Щелкнул по рычажку с правой стороны у кресла:

— Подъем кузова?

— Ну!

Рычажок оказался на удивление легким. Семен Иванович только чуть его двинул, и кузов пошел задираться кверху. У КраЗа рычаг тугой, к концу смены рука отваливается, а здесь — ишь ты!.. Неплох был и переключатель скоростей — как у «Москвича» на рулевой колонке. Зато само рулевое колесо показалось ему страшно неудобным — плоским, без наклона.

— Будто поднос в руках держишь, — пробормотал он. — И приборов... Раз, два, три, четыре...

Дымов кинулся объяснять что к чему, но Журавлев отстранил его руку — сами не маленькие. Он озирает все эти премудрости с брезгливым и скучающим видом, а внутри у него все дрожало и даже как будто подташнивало — то ли от сдерживаемого волнения, то ли и впрямь от страха. Почему-то так пакостно было на душе!

Нет, не принимала душа эту махину!

— Давай трогай. — Дымов зорко следил за руками и ногами Журавлева и не замечал капель пота, покрывавших его лоб. — Стой, стой, не жми! Эта педаль не сцепление — тормоз!

— Как тормоз?

— А вот так: у тебя на КраЗе сцепление, здесь тормоз. Сцепление — вот оно, где твои скорости. Понял?

— Тьфу ты!

— Ничего. Трогай помалу. Езжай под экскаватор.

С застывшей усмешкой Журавлев дал газ и начал потихоньку разворачивать. В управлении эта уродина была на диво послушной. Но именно в легкости управления ему чужалось коварство. Он качнул баранку едва-едва, на пробу, и машина тотчас отозвалась, повела в сторону тупой мордой. Даже не возникло ощущения, что она поддалась его воле — двигалась словно сама по себе. Мягко покачиваясь, переваливала дуrolомными своими скатами через закаменевшую после дождя колею.

— Ну как? Ну как?— ликовал Дымов.— Я же тебе говорил!

Журавлев молчал. Весь в поту, напряженными руками держал, чуть покачивая, рулевое колесо и с опаской глядел на далекую внизу дорогу. Каждую секунду ждал от машины подвоха. Высота! Сидишь, как на голубятне. У такой машины для устойчивости надо бы, чтоб колеса стояли пошире... Он хотел прибавить скорость, нажал на сцепление — в тот же миг машина резко дернулась и встала. Его кинуло вперед, он больно ударился лбом в стекло.

Предательский этот удар оглушил его. Дрожащей рукой потрогал лоб, потом достал из кармана платок и вытер лицо. Дымова в углу от смеха прямо-таки переломило вдвое.

— Я ж тебе!.. Ну, брат!.. Вот оно где, сцепление! Вот, вот, я ж тебе показывал! Но ты духом не падай, Иваныч. У меня поначалу было точно так же: хоть ногу привязывай! Раз а три стукнулся, пока привык. Привыкнешь и ты.

— Нет!— сказал Журавлев.— Чтобы я променял Соколика на этого бегемота? Под расстрелом!

Это было его последнее слово. Напрасно Дымов рисовал завидное будущее водителей-белазистов, превозносил гидравлику и кузов, который не нужно чистить, потому что в нем подогрев и глина не замерзает,— не сумел переломить Журавлева.

— Пожалеешь, Иваныч,— сказал он напоследок.— Рано или поздно твой КрАЗ спишут. Ты это понимаешь?

— Ничего,— отвечал Журавлев.— Спишут со вскрыши, найдется другая работа. Комбинат большой!

Конечно, работы хватало. Когда на вскрыше полностью воцарились мощные БелАЗы, Журавлеву в некотором смысле стало даже интересней: он стал ездить «на подхвате» по всему громадному хозяйству комбината, по всем цехам и участкам,

а иногда удавалось вырваться и на трассу — Днепропетровск, Запорожье, Харьков.

Хороши были рейсы и не слишком дальние — например, как этот, сегодняшний. На Соколике его тоже часто посылали в Старый Крым за щепенкой. Но, конечно, одно дело ехать на развалюхе, поражающей всех встречных своим дряхлым видом и копотью, а другое — на красавце КрАЗике, чистом, умытом, с ковриком под ногами, с занавеской за спиной и с мотором, который на каждый твой намек отзывается, как преданный пес.

Кое-кто из шибко догадливых в гараже считал, что он не хочет менять Соколика на БелАЗ из-за калыма. Дескать, ему во всех этих ближних и дальних рейсах перепадает свежая копейка. Но это была неправда. Сейчас действительно, при случае услужив человеку, он от денег не отказывается, а раньше платы ни деньгами, ни спиртным никогда не брал; хватало того, если насыпали в берет вишен или дарили арбуз. Грела душу людская благодарность.

Однажды, отработав смену на руднике, возвращались они со слесарем Митей Заботиным в гараж. У села Приозерного их остановил бородатый и слегка горбатый старик колхозник, с которым когда-то Заботину довелось гулять на свадьбе, — попросил подвезти кубометра три старых шпал, оставшихся в карьере после ремонта путей. Обычно их сжигали, чтобы не замусоривать территорию. На этот раз шпалы, хоть и продавленные, помятые, еще годились: старик хотел построить сарай и договорился с начальником участка — тот не возражал, дело было вполне законным. Пока погрузили, пока проехали по узенькому сельскому закоулку и кое-как, после нескольких попыток, заехали во двор, а потом из него выбирались, прошло около часа. Хозяин пригласил закусить. Журавлев отмахнулся: «В другой раз!» Когда выехали на главную дорогу и покатили прямиком к гаражу, Заботин, толкнув Журавлева плечом, показал ему новенькую трехрублевку. Журавлев скривился:

— Взял? Зачем? Он же тебе чуть не родич.

— Ну, я и взял по-родственному! — смеясь, отвечал Заботин. — Если совсем не взять, он обидится. Подумает, что мало предложил. И скажет про себя: «Ну и шкура этот Журавлев!» Так что, Семен Иванович, я из чистой заботы о твоём авторитете!.. Раздавим бутылочку при случае.

Журавлев ничего не сказал на эти речи, только головой крутнул — умеет, собака, объяснять! — сплюнул за окно.

Еще минут пять потеряли у переезда, ожидая, пока прой-

дет состав с рудой, и подъехали к гаражу ровно в половине шестого. Выруливая на гаражный светофор, Журавлев привычным глазом окинул пространство за воротами, строй БелАЗов у дальнего края бетонки и группу водителей на крыльце диспетчерской. Среди них, возвышаясь на целую голову, стоял хмурый и насупленный начальник автобазы Синько. Он сошел с крыльца навстречу въезжавшему КрАЗу и поднял руку. Неужто засекли на шпалах? Со страхом и страданием Журавлев вглядывался в суровое смуглое лицо подходившего начальника, готовый тут же повиниться. Следом за Синько шли двое незнакомых — один в черном овчинном полушубке и в зимней меховой шапке набекрень, по всей видимости, свой брат водитель, а другой в красивом кожаном реглане, с цепким, оценивающим взглядом и пренебрежительной усмешкой, какой-то начальник. Синько прогудел:

— Ты где шатаешься? Смена давно кончилась. Сдавай вот им машину.

Журавлев смотрел на него из открытой кабины и не мог вымолвить ни слова.

— Ты что, не слышишь? Сдавай машину! — повторил Синько.

Он был свойский мужик и с Журавлевым всегда разговаривал шутливо, симпатизировал ему. А тут... Да, видать, засекли!.. Ватными ногами Журавлев сошел с машины, захлопнув дверцу. Ватными руками начал свинчивать с кронштейна медные сигнальные рожки.

— Э, нет, уговору не было, не трогайте! — донесся до него голос незнакомца в реглане.

— Пусть берет, — сказал Синько. — Сигналы его личные, за свои деньги покупал.

Руки у Журавлева дрожали, и гайки не свинчивались. Он снова открыл кабину — взять плоскогубцы — и забыл о них. Погладил баранку, осмотрел панель. А мотор продолжал работать тихо и доверчиво. Над сиденьем висел в кобуре пластмассовый пистолет, подаренный Димкой — «обороняться от бандитов». Сорвал его и спрятал за пазухой. Потом осторожно отцепил красный вымпел передовика, висевший у изголовья. Совсем он уже был выцветший, этот старенький вымпелок, много раз стиранный Катей, полученный еще в то благословенное время, когда он работал в бригаде Виктора Дымова, — снял, сложил, сунул в боковой карман. Все молча за ним наблюдали. Захлопнув дверцу и никому не махнув рукой, не кивнув даже, пошагал прочь.

— Потом зайдешь ко мне! — сказал вслед Синько.

Журавлев не ответил. Вышел за гаражные ворота и привычным путем — через переезд, мимо аглофабрики — ноги сами понесли его домой. Кто-то его окликал, здоровался, — он не слышал и не видел. За аглофабрикой на подъеме шоссе остановился: с воем, с натужным ревом его обгонял родной КраАЗ. На половине подъема водитель переключил скорость — машина дернулась и, взревев, поползла вверх. И Журавлев тоже вздрогнул, болезненно перекопился. «Ты ж порожняком идешь, гад, разве можно так врубать скорость?» — чуть не закричал он. Загубят машину чужие руки, ох загубят... Будто от жара, когда случалось пережить у переезда состав с горячим агломератом, замутилась и поплыла перед ним дорога... Так и шел он за своим Соколиком, почти не видя его, пока тот не затих вдали.

Дома в этот час никого не было. Журавлев бухнулся лицом в подушку и лежал без движения, без чувств, отупелый, будто бревно под текучей водой. До тех пор лежал, пока в коридоре не послышались шаги жены. Тяжело, через силу поднялся, отошел к окну.

Она зашуршала плащом, пристраивая его на вешалке; скинула туфли. Потом стало тихо, целую минуту было тихо, и он затылком ощутил ее встревоженный взгляд.

— Что случилось, Сеня?

В пальцах его правой руки, на локте, дрожа, дымила папироса. Смял ее в кулаке, шевельнул плечом:

— Ничего.

— Но я же вижу!

— Ничего ты не видишь!

— Ничего, так иди курить на крыльцо! — Катя со стуком стала выкладывать из сумки на стол купленную по дороге домой провизию. — Иди, иди, я тебе не нанималась каждый праздник потолки белить! Сил у меня нет спорить с тобой. Я тоже небось не гуляла — работала. С кем ты там поскандалил?

— Ни с кем!

— Неправда! Я же не слепая!

— Ну и что? — обернулся он, стараясь не сорваться на крик. — Что ты увидела? С кем это я мог поскандальить? Нашла скандалиста! Ты лучше не доводи меня до скандала, а то я вам действительно такой кордебалет с музыкой устрою, что будете на деревья запрыгивать! — Он был весь белый, перекошенный яростью и страданием. — Командиры, мать вашу!.. Каждый хочет показать нрав, каждый хочет быть сверху!

Какой только ерунды он не молол, облегчая душу. Катя сидела на тахте, молча на него смотрела — ждала, когда выкричится. Наконец он затих. Затих и начал разминать дрожащими пальцами новую папиросу.

— Так что все-таки случилось?— спросила Катя.

— Говорю, ничего! Просто... меня с машины сняли.

— С КраЗика?

— Ну! Откуда еще? Какая у меня была машина?

— И на БелАЗ переводят?

— Мало ли что! А ты уже и рада — на БелАЗ!

— А что же плохого, Сеня? Люди ездят, хорошо зарабатывают.— Он так посмотрел на нее, что она осеклась и быстро прибавила:— Ну, ладно, ладно. Не надо никаких БелАЗов.— Подошла к нему, обняла, усадила на тахту.

Она его гладила и успокаивала, а он, как мальчишка, выговаривал, вышептывал свою обиду:

— Понимаешь, если бы хоть предупредили! Хоть бы за день...

— Ничего, Сенечка, ничего. У людей бывает хуже. Сам знаешь, бывает, получит человек машину, не нарадуется, а на другой день... Не приведи господи! Все ж таки ты на ней три года поездил!

— Да, поездил... Но теперь все, завязано с гаражом! Найду другую работу. Электриком пойду в центральные мастерские — помнишь, как меня уговаривали?

— Да тебя везде с руками и ногами возьмут. Горевать тут нечего.

— Об этом я и не горюю... Сыны! Что они подумают! Не последний же я был человек в гараже!

— Не бойся, ты для них всегда батькой останешься, хоть прав, хоть виноват. Ты-то сам... Тебя, часом, ГАИ не задерживала?

— Катя, о чем ты? Какое ГАИ? Да ведь ясно: Синько с этими варягами, которые увели Соколика, давно был в сговоре! Это точно! А я сперва подумал — из-за шпал!

— Каких шпал?

— Да ерунда... Тут одному старику после смены подбросил.

Катя так и ахнула.

— Боже мой! Чего же ты после этого на людей жалуешься?

— На кого я жалуюсь? На кого?— опять закипело в нем.— Пошли вы все знаете куда? То были списанные шпалы, законные, без никакого калыма. Тоже нашла калымщика!

Сгреб со стула берет и, весь взъерошенный, с тоской в глазах, вышел на улицу.

«Стекляшка» в приморском парке в тот вечер не работала. Он ушел к обрывам и допоздна сидел на кривой стволине, курил, смотрел в черноту. Свет фонарей из-за спины едва очерчивал ближние ветви и камни, а дальше сгушался сплошной мрак, непроглядное пространство. Только редкое мигание буй на далеком фарватере обозначало водную поверхность. Но вот в глубине ночи забрезжило слабое зарево, замерцали огоньки. И теперь по проливу со стороны Черного моря уже скользил целый городок праздничных, в три этажа огней. Должно быть, из дальних краев в Керчь возвращалось рыбацкое судно, большой траулер или даже плавбаза. «Вот оно, мое будущее!» — враз решил он. Уйти от всей этой маеты и нескладухи в море! Мало ли таких, ушибленных на берегу, удаляются в скитания, лечат душу тяжелой морской работой. И помогает! Через два-три рейса, глядишь, все как водой смыло, осталась только ласковая печаль да любовь. Вернусь — здравствуй, семья, такая-рассякая! Соскучились? Вы говорили, батяня ничего не умеет добиваться? Держи, мать, гроши на кооперативную квартиру! Держи на мебельный гарнитур! А вам, охломоны, старшему — мопед, а младшему — африканского попугая в клетке! Потом созвать в ресторан старых корешей, и Витю Дымова, и начальника Синько. Ну, дорогие товарищи, пейте, ешьте и давайте все-таки разберемся, как же это у нас получилось с машиной?

Он потом уже узнал, рассказали ему, как это получилось. Соколика, оказывается, поменяли на автобус. Этот автобус был гаражу позарез нужен, чтобы возить белазистов на рудник и обратно. До той поры ездили каждый на своем БелАЗе — туда четыре с половиной километра да обратно столько же; зря сжигалась прорва горючего. Так что у гаражного начальства не было выхода и оно использовало первую подвернувшуюся возможность... Потом-то все это дошло до ума, а поначалу он своей потерянной головой ничего не мог сообразить. И даже когда ему объяснили, долго не мог взять в толк: зачем отдали именно Соколика? Ведь были другие КраЗы, постарей. Были, конечно. Этим людям, строителям из Феодосии, предлагались даже два старых КраЗа. Не захотели. Им нужен был новый — с гидравликой, для езды по горным дорогам. Они где-то возле Судака строили новый курорт. А что сделали из Соколика те дороги и немилые руки, он сегодня увидел. Это ж надо так запустить ма-

шину! Если бы не подкова на козырьке и не пластины на бортах, мог бы и не узнать...

С загранплаванием, конечно, номер не прошел, Катя не пустила. Три дня он ее молил-уговаривал, а на четвертый, больной и исхудавший, как после холеры, явился в гараж и попросил, чтобы ему дали какой-нибудь подлежащий списанию кразовский мотор.

Да, все-таки пришел он в гараж, никуда не делся. Взял побитый КраЗ, стоявший на колодках в углу гаражного двора. Перебрал его с ног до головы, повесил в кабине свой знаменитый вымпелок, прицепил рядом кобуру с Димкиным пластмассовым пистолетом — и стал ездить.

Чего он только за эти годы не возил на Сивом: песок и гравий для стройки, соль рыбакам, уголь для поселковых жэков и железные костыли для комбинатских путейцев. А сейчас вот уже вторую неделю возил щебень для БАМа, как называли на комбинате новый дизельный гараж по соседству с автобазой. Работа спокойная. Перекат за перекатом ложатся под колеса, уходят назад пологие поля, увалы, извилистые балки, с едва проблескивающими на дне речушками. Все здесь знакомо, а ездить нескучно. Копоти выдаешь на сторону чуть не мешками, зато сам дышишь свежим воздухом. Летит ветер с азовских берегов и, что ни встретит на своем пути, все несет тебе в кабину... Кошарой вдруг запахло, овечьим тырлом! Не сразу ее и увидишь, эту кошару, на далеком скате балки. Там возится бульдозер, величиной с жука, сгребает в кучу перегной, готовит удобрения на поля... Да! Еще же, кроме всего прочего, и в колхозе пришлось поработать...

Месяца через три после того, как он стал ездить на Сивом, послали их в компании с одним пожилым кразистом по арендному соглашению в колхоз — отсыпать гравиевые дороги. Было там, в общем, хорошо, хотя сельский люд встретил командированных, если честно сказать, с прохладцей. Как понял Журавлев, слишком уж стары и неказисты были их машины. Встречают по одежке, а машина для водителя — та же одежда. Но, главное, там никто Журавлева не знал, не было знакомых, которые, видя его на Сивом, спрашивали бы о причине такой печальной перемены.

Для жилья им дали бывшую четырехклассную школу, где все дети когда-то учились в одной комнате. В ней стояло пять чисто застланных коек и стол с графином. Табуретки не было ни одной. «Ну, а как насчет питания?» — спросил Журавлев бригадира, грузного моложавого мужчину, который их при-

вел. «Все будет», — отвечал бригадир. Пытаясь открыть окно, он толкнул створки посильней и чуть не вывалил вместе с рамой. Успел подхватить. Кое-как вправил на место прогнившие завесы и кивнул на аккуратный саманный домик через дорогу. «Вон там живет наша повариха Демидовна. Мы ей выделим продуктов, она и будет вас кормить. Прощевайте покуда!»

На плите стоял большой алюминиевый чайник, но не было ведра, чтобы принести воды. Умывальник тоже отсутствовал. Нет, ну и бог с ними. Семен Иванович лег на первую попавшуюся койку, закинул руки за голову. Старик Федосеев выходил, заходил снова, звякал чайником, трещал щепками. Потом стало слышно, как загудело пламя в плите и Федосеев закрипел койкой, присаживаясь у Журавлева в ногах.

— Семен, ты, часом, не больной?

Журавлев открыл глаза. Посреди комнаты светила голая электрическая лампочка на кривом шнуре. В окнах было уже темно. Он сел, потер ладонями лицо.

— Нет... Просто усталость какая-то... Ну, что тут? как?

Федосеев уже сходил к бабке, к этой самой Демидовне за ведром. Дать-то она дала и яичек отпустила полтора десятка, но о будущем союзе в вопросах питания и слушать не стала — мол, пусть за это дело берется кто помоложе, хотя бы и женка этого самого бригадира, который всегда людям попусту головы морочит. Словом, по всему видно, придется им тут хлебнуть горя.

— Ничего, приведем этого деятеля в чувство, — пообещал Журавлев.

Конечно, поговорили бы с ним по-свойски и чего-нибудь от него добились бы, но в первый день пришлось улаживать дела со строителями-дорожниками, жившими в соседней деревне, а потом, чтобы не простаивал грейдер, сразу же начать отсыпку щебня, — бригадира они так и не увидели. Второй день был уже всюю рабочим, и бригадир опять куда-то запропастился. На обед они варили гороховый суп из пакетов, которые прихватил с собой запасливый Федосеев. Старик приуныл, он был уже пенсионер и болел желудком, у него была плохо залеченная язва. Тогда Журавлев решил принять свои меры. Утром, проснувшись, Федосеев увидел его, сидящего на кровати и большим перочинным ножом вырезающего из куса мягкой кожи какую-то загогулину. На полу валялся старый ботинок с оторванным боком, а на подушке лежали две тонкие полоски красной резины и рогатая ветка акации толщиной с палец.

— Чего это ты делаешь? Уж не рогатку ли?— удивился Федосеев.

— Правильно. Угадал! Видел, сколько здесь шастает голубей? Будем охотиться!

— На голубей? Из рогатки? Ты с ума сошел!

— А что? Околевать с голоду? Шалишь, брат!.. И, между прочим, я этих горлиц ненавижу. Ты прислушайся: только усядется какая-нибудь на дереве, сразу же начинает канючить: «Че-ку-у-шку, че-ку-у-шку!» Очень отчетливо выговаривает. С пути людей сбивает! Только чекушки нам здесь не хватало!..

Ясно было, что голубями Семен Иванович готов заняться всерьез. Доделав рогатку, он попримеривался, пооттягивал резину, подчистил еще немного на держачке, а потом отпихнул рванный ботинок на середину комнаты, достал из кармана гайку, зарядил и с одного маха загнал этот ботинок под самую дальнюю кровать.

— Ставь чай,— сказал он.— Я пошел.

— Сенья! Люди-то что скажут? Мы же с тобой рабочий класс!

— А что скажут? На голубей охота разрешена. Из ружья — пожалуйста, а из рогатки нельзя?

Приехал бы он сюда на Соколике, ему, может, и в голову не пришло бы охотиться на голубей из рогатки, а сейчас на все было наплевать.

Сама-то рогатка тут была не в диковинку. Но здорового мужика, шофера, уже немолодого, с сединой, который всерьез занимался бы таким делом, тут еще не видели. Деревенские мальчишки ликовали. Он показал им класс! За какие-нибудь пятнадцать минут возле бригадного амбара подстрелил пять голубей. Чайник еще не успел закипеть, когда он вернулся и бросил свои трофеи на лист жести перед плитой. Федосеев горестно на него посмотрел.

— Потроши, а я добуду дров,— сказал Журавлев.— Да поживей поворачивайся, живот подвело!

Вскоре снаружи донесся жалобный скрип доски, выдираемой с гвоздями, затем треск. Залаяла собака, лай прервался испуганным визгом. Послышались шаги. Журавлев свалил у плиты охапку топлива и молча начал помогать Федосееву.

Тушки голубей шипели и румянились на проволочных шампурах, когда явился красный, разгоряченный бригадир.

— Граждане дорогие, что же это такое?— с ходу за-

говорил он плачущим голосом. — Приехали, понимаете, шифы и... и... Вы, пожалуйста, это прекращайте!

— Голубей мы прикончим за неделю, — сказал ему Журавлев. — А потом возьмемся за ваших кур. Ты сядь! Я тебе сейчас дам для пробы... Держи! — Протянул шампур. — Только осторожно, не закапай брюки. И подуй, подуй!

— Да ты что? — отшатнулся бригадир. — Не хочу, вы эти штучки бросьте! Вы какие-то странные, ей-богу...

Железными пальцами Журавлев взял его за локоть и усадил на кровать.

— Ты наш гость. Пробуй!.. Вроде бы ничего. А? — сказал он, когда бригадир, сокрушенно качая головой, крепкими зубами оторвал от горячей тушки кусок.

— Угу! Очень даже того... Здорово!

— Здорово, а все-таки чего-то не хватает. Верно?

— Чарки! — догадался бригадир.

— Молодец твой отец, и ты парень с умом. Только мы по утрам не употребляем. Ты нам сперва обеспечь харчи. Хлеба, хлеба печеного нам дай! Ты что себе думаешь? Смотри, бригадир, если мы займемся твоим воспитанием, горькими слезами заплачет вся твоя родня!

После этого разговора снабжение наладилось. Покряхтывая и ворча, старуха Демидовна стала готовить им обеды. Но слава про истребителя голубей разнеслась широко, и местный правдолюб написал в комбинат жалобу на Журавлева. Теперь, мол, все подрастающее поколение на селе вооружилось рогатками...

Да, вел он себя в колхозе, что и говорить, не лучшим образом. Кроме всего прочего, накатило еще одно лихо: бессонница. Как ни убивал себя днем работой, половина ночи проходила без сна.

Началось с того, что приснился Соколик. Почудилось — стоит Соколик во дворе, остывает после работы, и кто-то около него крутится, хочет поднять капот. Семен Иванович босиком выбежал на крыльцо. Ночь была на удивление тихой и ясной. Луна заливала улицы, серебрила крыши, листву. Поперек дороги лежали от столбов и деревьев черные тени. Было так светло, что на запотевших капотах обеих машин, стоявших борт о борт, видны были дорожки от стекающих капель росы — корявые, кривые, и все щербины и вмятины на капотах выглядели в лунном свете еще резче и безобразней, чем днем. Целую минуту Журавлев с каким-то остолбенением смотрел на Сивого, не узнавая его, а потом плюнул и вернулся на свою койку.

•

С этой ночи и пошла маета. От усталости валился с ног, засыпал мгновенно — казалось, из пушки не добудишься, а около двух, в начале третьего будто кто толкнет: глаза открывались и чередой шли неотвязные думы. Ничего путного, сплошная горечь, обиды... И то сказать, раньше в такие командировки, в аренду, посылали только пенсионеров под стать Федосееву, а нынче и он, Журавлев, оказался в стариках...

Из-за бессонницы он и рыбалкой занялся. Привез из Керчи удочки и, едва начинало поутру синеть в окнах, уходил на озеро. К завтраку возвращался. Озеро это, небольшое, с одной стороны заросшее тростником, а с другой вытолоченное скотиной, лежало среди холмов в каких-нибудь трехстах метрах от деревни, и там водились толстые, с ладонь величиною караси. Местные мужики пробовали ловить бреднем — ничего не получалось из-за того, что посредине озера ржавело с военных лет какое-то намертво ушедшее в ил железо, а сидеть с удочкой тут не было охотников. Журавлев протоптал в тростнике короткую стежку на зеркало и с берега закидывал туда удочку. Иногда поутру садились на озеро дикие утки — сначала опускалась серенькая самка, потом дымчато-сизый большеголовый селезень. Прядая головой и покрывая, селезень начинал кружить по воде около подруги. Чтобы их не спугнуть, Журавлев осторожно гасил окурок и сидел как истукан даже при клеве. Любовался... А то, бывало, на ясную, протоптанную им стежку, выйдет водяная курочка, перебежит по плавану, плюхнется у самого поплавка и начинает поклевывать, туда-сюда поворачиваться, будто напоказ... Красавица! Уж ее-то Семену Иванычу и в голову не приходило стебануть из рогатки. Озерных птиц он любил.

Однажды он поймал карпа килограмма на три. Еле выволок на берег. И не думал, что здесь водятся такие. От радости загоготал, пустился в пляс. Ага! Все же не совсем он невезучий — вон какого богатыря подсек! Теряя золотую чешую, карп бил хвостом по траве и зевал огромным ртищем. Журавлев повесил его на кукан и, гордый, с тяжелой своей ношей пошагал в деревню. Конечно, сейчас же набежала ребятня. «О, гляньте, гляньте! Вот дядьке Журавлю повезло!» И все взрослые, кто ни попадался навстречу, тоже останавливались и качали головами. Остановился и колхозный чабан дед Трофим, шедший к своей кошаре. Поднял шалашиком седые брови, поцокал языком: «Так, так, так!.. Матку поймал... Ей-ей, это матка, сыночек! Грех

ее губить». «Такая у нее доля, батя!»— весело отрезал Журавлев. Но прошел еще десять шагов и стало нехорошо, беспокойно. Приостановился, приподнял рыбину, потрогал. Вроде бы не время ей сейчас нереститься, а живот действительно... Правду сказал чабан! И, махнув рукой, повернул Семен Иванович назад, чуть не бегом поспешил к озеру. За ним с радостным голошением неслись мальчишки. Сначала мальчишек было трое или четверо, а когда, вытащив кулан из окровавленной рыбьей пасти, Журавлев опустил карпа двумя руками в воду, на берегу уже теснилась толпа. Карп держаться прямо не мог, его клонило набок; большой, выпуклый, с красным ободком глаз смотрел обреченно. Но вот он, пуская пузыри, раз, другой двинул жабрами, шевельнул хвостом и с малой помощью журавлевских рук обрел устойчивость. «Ну, давай, давай, корешок, шевелись!»— говорил ему Журавлев, легонько поглаживая у плавников и под животом.— Ты нас извини... Но и ты тоже будь поумней. Ну, ходу, ходу! Смелей!» Карп тыкался лобастой головой в руки Журавлева, зевал все шире, все загребистей и вдруг, сильно ударив хвостом, обдав всех брызгами, ушел на глубину. Будто медным тазом блеснуло напоследок из глуби... Мальчишечья ватага радостно возопила. Забрызганный Журавлев смеялся и вытирал рукавом лицо.

Оказывается, как он потом с удивлением узнал, его в деревне сперва посчитали чуть ли не извергом, детей боялись выпускать на улицу. И даже Демидовна, которая его поняла раньше всех, даже она поначалу при нем робела, и, если надо было принести воды, просила не Журавлева, а старика Федосеева.

После колхоза оба командированных почувствовали себя лучше, Федосеев подлечил свою язву. И Журавлев начал потихоньку обретать устойчивость, «шевелить жабрами». В заброшенной той деревеньке ему так понравилось, что стукнула даже мысль: а не переехать ли туда всем семейством? Катя, конечно, и слушать не стала. Но долго он вспоминал своих колхозников — Демидовну, бригадира, мальчишек — и радовался, если в той стороне шли в пору хорошие дожди.

Одно было досадно: пока он там работал, на автобазу комбината выделили по разнарядке четыре новые машины: два БелАЗа и два КамАЗа. Узнай он про это вовремя, очень возможно, один из КамАЗов достался бы ему и он смог бы, наконец, развязаться с калекой Сивым...

Нагруженный Сивый тянул тяжело, прямо-таки тяжело и безбожно дымил. Черный дым из выхлопа отлетал на голую, еще только-только начинающую оживать лесополосу и дальше на умытые дождями зелены. Сидевшая на придорожной абрикосине ворона раз, другой пригнулась, собираясь слететь, потом вроде бы раздумала; но Сивый ударил на подъеме новым зарядом копоты, и ворона сорвалась прочь. Семен Иваныч оглянулся и сокрушенно хмыкнул. Тут не только птицу с дороги, но и, чего доброго, дальнего зайчишку посреди озимых сгонишь с лежки!.. Стыд и позор ехать в ясный весенний день на такой машине. А что поделаешь? Цилиндры отработанные, с сыпью. И форсунки старые. Сколько их ни отлаживай и ни чисть, новыми не станут. Нет машины лучше КраЗа, считал Семен Иваныч, не существует в природе, но если ресурс кончился, если ее доездили до полуживого состояния, никакой доктор не поможет. Так что, товарищ Журавлев, вкалывай на развалюхе и не вини судьбу. Никто в твоих бедах не виноват. Слишком скоро пошла вперед новая техника. Отстал ты от жизни, Семен Иваныч, отстал, а еще хочешь что-то доказать сыну! Что ты ему докажешь? Тут одно только — гляди, как бы сыновья твоих ошибок не повторили... Не секрет: было бы побольше грамотешки, и с БелАЗом поладил бы. Поладил бы, неправда! Пошел бы со всеми вместе на курсы, подучился маленько. Конечно, стыдно стоять у доски неграмотному, под обвальный хохот искать букву в слове... Как бы и тебе, Паша, так потом не пришлось, восемь классов тоже не сад-виноград. А на Севере не учатся. Там деньги зарабатывают. Пройдут годы — спохватишься. Все равно ж на родину потянет. Вон какой здесь простор да красота! Вспомни, сколько вы с Димкой в эту пору тюльпанов приносили из степи. А лето начнется? Маки, ромашки, море синее... Климат! Зря, что ли, едут сюда люди за тысячи верст! Ты, конечно, на это скажешь... Понятно, что скажешь. Но насчет жилья, Паша, давай сперва посмотрим, какой получится разговор в профкоме. Сегодня уже навряд ли успею, дотерпим до понедельника. А в понедельник я нашему председателю скажу. Скажу: учти, Прокопич, мой Пашка — третье поколение рабочей династии Журавлевых, а династии на дороге не валяются. Дымова еще подключу к разговору... Во! Хорошая мысль. Дымов меня уважает, он крепко может помочь. Увидишь, сынок, считаются со мною на комбинате

или не считаются. Уж это я тебе воистину докажу. Только ты шибко не горячись. Не поддавайся Ольгиному заводу, будь мужчиной. Она тебя за рукав, а ты: стой, потерпи, голубка. Деньги мы еще успеем заработать, а родителей оставить не могу. Они у меня единственные. Мол, с отцом мы через год-другой построим на берегу моря гаражик, купим лодку с мотором, будем тебе по воскресеньям бычков привозить. Мидий будем для плова по ведру надирать! Или, еще того лучше, отвезем на Среднюю косу, разобьем на песке палатку и — отдыхай, набирайся сил, сколько душе угодно, хоть весь отпуск. Главное, Оля, не верь сплетням. Может, это когда-то у бати и наблюдалось — выпивал; теперь же, если кто скажет, смело плюнь в глаза! Ты-то сама хоть раз его сильно выпившим видела? Ну вот... Батя наш золотой человек, его понять нужно, а не ехать от него за тридевять земель...

Возле Горностаевки Журавлева грузно обошел старый автофургон для перевозки живой птицы, обошел и почапал впереди, медленно удаляясь и покачивая из стороны в сторону решетчатым кузовом. Из-под фургона вдруг что-то вырвалось и закружило на асфальте — то ли смятая газета, то ли... курица? Ну да! Беспорядочно крутящийся ком обернулся очумелой курицей, стоящей посреди шоссе на широко расставленных лапах. Семен Иванович успел притормозить. Выскочил, схватил курицу и засвистел, замахал вслед фургону: «Эй! Раззява! Остановись, возьми свое добро!» Не остановился. Ушел... Ну и скатертью дорога. Курочка вроде бы неплоха. Килограмма на полтора завесит. Будет жене гостинец!

Смеясь неожиданной прибылью, Семен Иваныч сел в кабину, достал из рундучка бечеву и привязал курицу за лапу к ручному тормозу. Она была явно инкубаторской породы — белая, голенастая, с коротким красным гребешком и огромными когтями. Знать, этот деятель с фургона отвозил партию птицы и одну оставил для себя. Но откуда она могла у него вывалиться?

Удивительно, как мало иной раз человеку надо, чтобы он забыл о своих заботах и горестях. Журавлев вел тяжело хрипящего Сивого по асфальту к маячившим на горизонте керченским холмам и то и дело с улыбкой поглядывал на пассажирку. Держалась она вполне пристойно. Видать, в этой суматошной жизни ее уже не удивляли никакие

перемены. Что-то поклевала на резиновом полу, подергалá привязанной лапой, определяя степень свободы, и, взмахнув крыльями, вскакнула на сиденье.

— Поговорить захотелось, подружка?— спросил Семен Иванович.— Валяй, порассуждаем. Нынче нам обоим повезло. Но никто не знает, что ожидает нас впереди... Жизнь, она полосатая.

Курица смотрела на него и слушала. Подвинулась ближе и вдруг долбанула его в палец правой руки, опущенный на рычаг скорости: как раз угодила по сбитому черному ногтю! Километров пять Журавлев ехал, мотая рукой и дуя на палец, а когда боль поутихла, достал из рундучка еду. Там у него лежал завернутый в газету хлеб с колбасой. Отломил кусок:

— На, жри!

От оставшейся половины откусил сам. Так они некоторое время и ехали — он жевал, покачивая баранку, а она усердно стучала клювом. Подобрала все крошки, ничего не оставила и, раскрыв клюв, опять запоглядывала на Журавлева. Похоже, пить захотела.

— Потерпи, скоро будем дома, напьешься,— сказал он.— Хотя стоп! Где-то здесь должна быть копанка...

Точно, возле поворота на Ивановку справа под деревьями заблестел небольшой квадратный пруд. Семен Иванович остановил машину у обочины и с курицей под мышкой пошел к воде. По другую сторону пруда зачерпывал ведром воду молодой парень в желтой форменной безрукавке — дорожки неподалеку выстлали асфальт. Улыбаясь от уха до уха, парень воззрился на Журавлева. Напоить курицу оказалось не просто. Не понимая, чего от нее хотят, она трясла гребнем и захлебывалась.

— Давай, давай, подруга!— пригибал к воде ее голову Семен Иванович.— Ну, глотай!

Вдруг она вырвалась, взлетела свечой и со страшным кудахтаньем упала посреди копанки. Журавлев кинулся за нею. Глубины там было всего по колено, но дно илистое и скользкое, и пока он с этой мокрой дурой выбрался из копанки, с шоссе уже набежал народ. Парень с ведром, хохоча, подал ему руку.

— Курица, ей-ей, курица!— кричал он.— Ты что, утопить ее хотел?

— Ее утопишь!— Журавлев левой рукой держал спасенную куру, а правой отжимал мокрые брюки.— Она сама кого хочешь утопит. И это не курица вовсе. Это петух.

Болгарский водоплавающий петух! Он, зараза, уже чуть было не занырнул. Если бы занырнул, все, пиши пропало!

— Ври!— смеялся парень.— Ишь, чего выдумал! Болгарский водоплавающий петух! Сам ты петух!

— На, глянь!— Семен Иванович показал парню когтистую курицыну лапу.— Ты когда-нибудь видел такие когти? Он, когда ныряет, ими за дно цепляется. Может до двух часов под водой сидеть. Не веришь, прими за сказку.

Кинув пассажирку в угол кабины, Семен Иванович уселся, отдал тормоза и газанул черным облаком. Посмотрел в зеркало: дорожники смеялись ему вослед. А что? Пусть посудачат добрые люди, недорого стоит!..

— Небось и ты думала, что хочу утопить?— покосился он на мокрую, взъерошенную курицу, прижавшуюся в углу.— Нехорошо, подруга. Глупо так думать о Журавлеве... Да! Но вода-то не летняя. Надо бы посушиться.

Снял набрякшие туфли, выбил об пол. Стащил и выкрутил носки. Тряпкой вытер досуха ноги, прижал ступни к моторной стенке. Тепло, но не очень. Туфли и носки возле такого тепла не просохнут, надо их на воздушшок. И почти до самой Керчи он ехал, придерживая баранку правой рукой, а в левой на отлете то трепались на ветру голубые его носки, то покачивались растоптанные, сорок третьего размера туфли.

На стройку въезжал уже в полном порядке. С ходу развернулся, высыпал на кучу возле бетономешалки свои семь тонн щебня, потом с путевым листом пошел отмечаться в прорабский вагончик.

— Тю! Тю! Гляньте!— услышал он за спиной голоса женщин-подсобниц.— Журавель, что это у тебя за диво?

Он оглянулся. Видно, от удара дверкой забытая кура проснулась и, взлетев, уюстилась на руле. Очень подходяще устроилась — перед смотровым стеклом.

— Это мой Петька,— бросил на ходу Семен Иванович.— Певчий болгарский петух!.. Братцы, где прораб? У меня времени в обрез!

— Какой? Какой петух? Болгарский?

— Ну! Никогда не слышали? Темный народ! Я за него, между прочим, триста целковых отвалил. Редкая птица!.. Эй, Трофимыч, куда ты запропастился?

— Здесь, здесь,— вышел из-за вагончика озабоченный прораб, пожилой, лысый, с очками, вздетыми на лоб.— Чем это ты народ бунтуешь?

— Это они на моего певчего петушка удивляются. У меня

в Старом Крыму живет кореш, привез по заказу из Болгарии.

— И что, хорошо поет?

— Я ж говорю, триста целковых за него отвалил. Не надо соловья! Но поет только с креста. Просто так, с земли или с забора, от него ничего не добьешься.

— С какого креста?— заинтересовался Трофимыч.

— С обыкновенного. Какие на могилах бывают,— сам про себя усмехаясь складной выдумке, честными глазами глядел на прораба Журавлев.— Будь добр, Трофимыч, помоги с этим делом, с крестом, а?

— Можно! Вон Свиридов кончит гнуть трубы, скажешь ему, он тебе из остатков сварит.

— Вы что, Журавля не знаете?— смеясь закричали женщины.— Не слушайте вы его!

— Спасибо,— продолжал Журавлев, не обращая внимания на женщин.— Но, понимаешь, железный крест не годится. Петух нежный, на железе у него лапы мерзнут. Не запоем! Надо буковый или дубовый.

— Ну тебя к черту, балаболка!— рассердился прораб и выхватил у него путевой лист.— Давай подпишу и чеши отсюда, без тебя канители хватает...

Подписал и ушел в вагончик, а Семен Иванович, по виду сильно озабоченный, с некоторой даже досадой стал озираться — нет ли где подходящих для креста плашек. Поднял доску, другую, погнул, пробуя на крепость, и сокрушенно отбросил. Одна из женщин, маленькая, веснушчатая, готова была, кажется, ему поверить — морщила лобик и смотрела то на куру, сидящую на руле, то на Журавлева. Для нее-то он и старался. Но тут откуда ни возьмись выскочил в своем негнущемся брезентовом плаще скандальный сторож Колесников и закричал:

— Эй, эй, кто позволил? Деревя недостача сто кубов, а он еще тащит! А ну, положи!

Семен Иванович бросил доску и пошел к машине. Этот Колесников еще в крепкую свою пору был в составе профкома и разбирал на него анонимную жалобу про голубей. Всем раззвонил: потом об отцовской охоте у Пашки даже в школе спрашивали...

— Дури кого хочешь,— надрывался он, спотыкаясь следом,— а я тебя знаю как облупленного!

Не хотелось Журавлеву с ним связываться, но напоследок не выдержал, огрызнулся:

— Трусись ты со своими досками!

Дома Журавлев привязал курицу к стволу вишенки под окнами и тяжелыми шагами поднялся на крыльцо. Навстречу с полным тазом белья прошла соседка Сазонова, посмотрела и усмехнулась загадочно. Такая ее усмешка всегда была для него плохой приметой. Но сегодня он и без примет знал, что ничего хорошего дома его не ждет. Со вздохом пересек полутемный общий коридор и толкнул дверь своей квартиры.

Катя стояла у раковины, что-то там ополаскивала и на его «здравствуй» не повернула головы. Что ж, дело твое. Он бросил берет на вешалку, ступил из туфель в тапочки, с брезгливым вниманием глянул в зеркало на свою тощую небритую физиономию и прошел в комнату. Катя молчала. Ждала объяснений. Всегда почему-то надо перед ней оправдываться. Ну и жди!.. Достал с подоконника электрическую бритву, пристроил на телевизорном столике зеркало и стал бриться. Во! Тут жена и подала голос из кухни.

— Чего, чего?— переспросил он, выдернув вилку.

— Я говорю, что ж ты бреешься? Там они уже все порасходились. Тебе когда велено было прийти?

— А я виноват?— взвился он, глядя в проем кухонной двери.— Или я не в пять поднялся? Или я там с корешами водку пил? Я думал, первый буду, загружусь и назад, а там уже прорва стоит, черт знает, откуда понабежали.

Снова зашумел бритвой, но сейчас же и выключил, видя, что Катя, вытирая полотенцем полные свои руки, вошла в комнату.

— Сейчас поеду в универмаг, может, достану Павлуше плащ,— сказала она.— Мальчику ходить не в чем. А ты порубишь мясо и поставишь в зеленой кастрюле вариться. А пока будет вариться, переберешь картошку для огорода. Паша из сарая принес, в коридоре вон стоит.

— Ясно, товарищ начальник,— с готовностью отозвался он на такой человеческий разговор.— Значит, едем на огород?

— Да. Вы тут не телитесь! Придет Павел, берите все что нужно, и гайда. Мы с Димкой потом подоспеем. Там и пообедаем.

— Добро!

— Не забудь рыбу разморозить и почистить!

Семен Иванович испуганно на нее уставился.

— Мамочка, да ты что? Когда же я успею? Мне же еще камеру латать на мотоцикле!

— Ничего, вдвоем успеете... Да! Вот еще чего, чуть не забыла. К Паше приходил какой-то мужчина с вашего гаража, незнакомый.

— Сегодня приходил?

— Сегодня утром. Еще до восьми.

— Так! А что Паша?

— А Паша... Не знаю. Я на работу ушла, они остались чай пить.

— Ага! Остались чай пить? Это хорошо. Это очень хорошо, Петровна!

— Будет видно,— сказала она.— Поди, на БелАЗ приходил сватать? Только смотри, с пути его не сбивай.

— Да разве я сбиваю?

— А кто же? «В гробу я видел это чудище мохноное» — не твои слова? Я, мол, кразист, человек трассы!.. Тыфу на твою трассу! Что ему эта трасса даст, молодому, только-только со службы, ты об этом подумал? Она его испортит, как и тебя испортила.

— Ничего она меня не испортила,— миролюбиво возразил Семен Иванович.

— Испортила! И ты мне мальчишку не коверкай, пусть идет на БелАЗ!

— Я не против.

— Ну вот и ладно. И молчи. Жить не умеешь и упрямый как козел!

— Ладно, мамочка. Ты собралась — иди! А то, я вижу, мы с тобой сегодня договоримся! — Семен Иванович похлопал себя по карманам, ища спички, прошел мимо жены и там, сдерживая себя, закурил. — Жить не умею, — пробормотал он, — странные дела. Люди приходят моего сына сватать в бригаду, а я, видите ли, жить не умею! Или мой авторитет здесь ни при чем?

— Начинай хвастать!

— Но это же правда! На вскрыше я уже эвон сколько не работаю, а люди меня помнят, сына моего приглашают.

— Людей нету, вот и приглашают. Ты мне лучше скажи, что ты ему на свадьбу подаришь? Ну? Ну? Чего замолк? Они вон уже наладились расписываться. Что ты ему приготовил? Машину «Жигули»? Мебельный гарнитур? Или квартиру новую? Просила как человека: постарайся, приди сегодня пораньше. И этого не смог!

Хлопнула дверью, ушла. Однако тут же вернулась.

— Что это за курица привязанная?

— Какая курица? А-а, это я на трассе подобрал... Ну, что смотришь? Шел впереди фургон, и выскочила из него курица.

— Выскочила! — повторила Катя, глядя на него с глумливым презрением. Теперь она не сомневалась: было у него с этой курицей в пути какое-то приключение — потому и опоздал.

В последний раз сверкнула на мужа взглядом и захлопнула за собой дверь. Семен Иванович схватил лежавшую на тахте подушку и с силой вlepил ее в кресло. Будьте вы все неладны, что за жизнь такая пошла! Сплошные сказки идут в ход, а чистой правде никто верить не хочет. Походил по комнате, как бы примериваясь, что бы еще швырнуть или пнуть. Немного успокоясь, выволок из коридора на кухню мешок с картошкой, вывернул его прямо на пол. Порченную бросал в мусорное ведро, чуть тронутую — в миску, на текущие кухонные расходы, а хорошую, годную для посадки — в плетеную корзину.

Да, продолжал он думать, не приготовил я сыну ни «Жигулей», ни квартиры. И ничего страшного. Зато, вона, не успел Пашка снять шинель, как на новую машину зовут. Людей, может, где и не хватает, а на новые БелАЗы уже давно очередь выстроилась. Так что, Петровна, не говори: хорошая фамилия — это тебе не фунт изюму!.. Но кто же это, интересно, приходил? Не Дымов ли кого подо-
слаб?

В коридоре застучали крепкие шаги Павла. Вошел — богатырь, румянец во всю щеку, заулыбался радостно, стаскивая тесную в плечах и рукавах нейлоновую куртку. Веселый — это хорошо. Но с чего? Парень не шибко откровенный, поди угадай, чему он рад, — то ли с подругой встретился, то ли принял какое-то решение.

— Ты погоди раздеваться, — пытливо посмотрел на него отец. — Сходи в сарай, сними с коляски запасное колесо. Надо камеру залатать.

— Ясно. А чего ты такой серьезный?

— С вами тут будешь серьезным!.. Сынок, не телись, а то мамка вернется, головы нам поотрывает. Через час нам как штык надо быть на огороде.

— А мама не поедет?

— Она прибудет потом как народный контроль. Дуй, сынок!

Чтобы не идти с пустыми руками, Павел поднял доверху нагруженное мусорное ведро и, подмигнув отцу, вышел. Ишь ты, сам догадался. Хозяйственный парень, степенный, осмотрительный. И чувствуется, что цену себе понимает не ниже настоящей... Как бы половчее спросить его о разговоре с утренним гостем? Сам-то он почему молчит? Так и не набравшись решимости, Семен Иваныч ополоснул руки и принялся мыть и резать мясо.

— Поторапливайся, поторапливайся! Уже первый час!— оглянулся он на сына, когда тот вошел с камерой и клеем.— Вижу, мало тебя гоняли на службе.

— Нас не гоняли. Нас, папа, учили не суетиться.

Павел поставил в углу кухни маленький стульчик, сел, застелил колени старым полотенцем, сверху пристроил камеру и стал не спеша зачищать место заплаты рашпилем. Что ты скажешь? Молодец! Приятно было смотреть на его большие руки, ровно загорелые, с могучими венами, проступающими под молодой кожей. Рашпиль умеет держать и к зачищенной резине старается не прикасаться: знает, что иначе клей не возьмет...

— Говорят, к тебе приходили из гаража,— не вытерпел Семен Иваныч.— На работу, что ли, приглашали?

— Ну!— усмехнулся Павел.— Сватали на БелАЗ.

— На какой?

— На сорокатонный. Пригнали пять сорокачей. Хотят организовать новую бригаду.

— А ты?

Павел нагнулся, сдул с камеры резиновые крошки и снова налег на рашпиль. Почему-то хмурился, медлил с ответом.

— Не тяни душу! Чем кончили разговор? К чему пришли?

— Да пришли!.. Чего ты нервничаешь? Дал я согласие. Семен Иваныч просиял.

— Ну, это другой разговор! Правильно сделал, молодец!— Он брякнул на плиту кастрюлю и, присев перед сыном, крепко ухватил его за щиколотки.— Молодчага, сынок! Три часа драки!

В прежние годы был у них такой обычай — всякую неожиданную хорошую весть отмечать веселой возней и потасовкой. Но сейчас Семен Иваныч только слегка его встряхнул:

— Знаешь, как мать обрадуется! Другое дело, если бы тебе предлагали какую развалюху. Новая ж машина, Паша! Новая! Там одна гидравлика чего стоит!

— Машина толковая,— не стал спорить Павел.— Для

рудника в самый раз. А на трассу уже не выскочишь...

Отец поднялся.

— Во-он чего захотел: на трассу! Выбрось из головы и забудь. Сейчас по трассе ездить, что плоты по горной речке гонять! Я этой зимой сколько ее клял, трассу эту! Шел раз в Багерово за трубами и решил проскочить покороче — есть там проселочек такой поперечный, — смотрю, черт, так и знал: картер потек! Старая ж машина... Вытекло все масло, пришлось остановиться. Хорошо, откуда ни возмись, скачет по проселку милицейская, тоже на трассу выбирается. Я — туда. «Браток, погибаю, выручай!» А если б я его не встретил? Так бы и загнулся на трассе. Тут, брат, не до шуток. — Семен Иванович покрутил головой. — А вот, к примеру, еще была история, когда мы с Колей Калюжным ездили весной...

Но тут задребезжала крышкой, запыхтела паром на плите зеленая кастрюля, и Семен Иванович принялся снимать пену с бульона.

— Все! — сказал он. — Выключаем газ, и шабаш разговорам. У тебя готово?

— Готово.

— Тогда убирай все причиндалы, ставь камеру в запаску и выводи из сарая Харитона.

Семен Иванович еще успел залить в миске водой мороженую рыбу, убрать со стола и протереть мокрой тряпкой пол на кухне. Поволок на улицу мешок с картошкой, но подоспевший Павел молча схватил мешок правой рукой за гриву, левой за угол, поддал снизу коленом и, красный от натуги, завалил его в коляску мотоцикла. Отец только головой покрутил. Здоров-то ты здоров, но таскать такие мешки одному тоже не годится.

Пристроили, чтобы не стучали, лопаты, ведра, грабли. Застегнули шлемы на крутых журавлевских подбородках. Сели. Мотоцикл затарахтел, окутался синим дымом.

— Папа! — сказал Павел из-за плеча. — Небось, сегодня опять два раза мясо поперчил и ни разу не посолил?

Семен Иванович резко дал по тормозам. С испугом оглянулся на Павла. И оба рассмеялись. Действительно, был такой случай в прошлую субботу. Но сегодня он не солил и не перчил. Придет мать, пусть действует сама.

Они перековыляли малой скоростью по выбоинам переулка и вихрем понеслись по улице. Миновали стадион, базар, аглофабрику. Под колесами замелькали щербатые плиты бетонки. Открытый простор полоскал лица запахами

моря и весенней пробудившейся земли. Больше всего угадывался запах свежих огурцов, хотя никаких огурцов, понятно, не было еще и в помине. Из залитых водой обочин только-только начали вытыкаться стрелки тростников, и дальние холмы едва зеленели.

— Ты не забудь рассказать, как ездили с Калюжным! — прокричал Павел на ухо отцу. — Чего было интересного, все Расскажи. Добро?

— Добро! — отвечал отец. Он дорожил своей репутацией рассказчика и был доволен, что сын интересуется, как здесь жили без него. Было случаев ой-ой! Вот даже сегодня — встретил Соколика. Паша его наверняка помнит... И так захотелось рассказать сыну о сегодняшней встрече, что он даже скорость сбросил. Но тут же охладила мысль: зачем наводить Пашку на горькие размышления? Ведь того праздника с Соколиком уже не вернешь. Найдутся другие истории, повеселей...

Снова прибавил скорость, одолел на вираже крутой подъем и выскочил к проливу. Берега, очерченные неровной линией обрывов, выпускали его в морскую, залитую солнцем ширь. Под кручей прятался, лишь антеннами себя обнаруживая, рыбацкий поселок Эльтиген. Полосой до самых круч тускло золотилось прошлогоднее жнивье. Дальше темнела пахота.

Припоминая свою делянку, Семен Иванович свернул к высотке, обложенной, словно воротником, купами сухого перекати-поля. Должно, эта и есть, все уже успели свои огороды засадить, одна только журавлевская делянка осталась неухоженной.

— Дальше, — командовал за спиной Павел. — Вон табличка!

— А эта, по-твоему, чья? — возразил отец, кивая на белую фанерку, в которую мотоцикл чуть не уперся колесом. На ней синими чернилами было написано: «Журавлев С. И.»

— Хо! А дальше глянь!

На следующей табличке, метрах в пяти от первой, тоже красовалась их фамилия. Только инициалы были другие — П. С. Семен Иванович прочитал вслух, оглянувшись на сына, удивленный и обрадованный.

— Когда же ты успел, ПээС?

— Чего успел?

— Заявление на огород написать? Ой, хитрюга ты, сынок! — Семен Иванович вырубил мотор и отстегнул ремешок на подбородке.

— Да честное слово, не писал я никакого заявления!

— Ладно. Может, и мамка... Но ты понял, Павел Семенович? По комбинатовскому списку ты уже считаешься семейным человеком! 2

— Понял, понял!— смеясь, отвечал сын.— Работы прибавилось вдвое. Восемь соток! Нам теперь и картох не хватит на посадку!

— Ничего, найдем чем засадить. Тут же, сынок, не земля, а золото. Эльтигенский краснозем! Я думал, тебе дадут на отвалах, там тоже неплохо родит, а профсоюз, вишь ты, догадался свести наши огороды вместе... А земля, где ты еще такую найдешь, а, Пашка?

— Сушняка много.— Павел озабоченно оглядывал борозды, забитые прошлогодним кураем и сурепой.

— Пять минут делов!— отозвался отец.— Бери грабли!

Сам принялся сгребать в кучу сухой бурьян лопатой и голыми руками.

— Папа, ты ж руки поколешь!

— Ничего подобного! У меня, сынок, руки никаких колючек не боятся. Они железные!— Он и впрямь чувствовал в себе немалую силу.

Нагребли целый стог. Семен Иванович бросил спички:

— Зажигай! Дадим знать комбинату, что у Журавлей субботник!

Слежалый, влажноватый бурьян густо задымил, потрескивая. Потом взялся невидимым пламенем и загудел, закрутился смерчем. С костра полетели ввысь клубки охваченного огнем курая.

— Смотри, смотри, лисица!— закричал Павел.

Из-за высоты, метрах в пятнадцати от места, где они стояли, выскочила черноухая лиса и, оглядываясь, где рысцой, где вприпрыжку побежала к темневшим вдали овражным зарослям.

— Ай-ай-ай!— поморщился и потянул руку к затылку Семен Иванович.— Зря мы так близко костер зажгли. Совсем забыл!..— Они подошли к норе, вырытой у подножия высоты. Сыпучая красноватая глина около норы была вся в свежих следах, замусорена птичьими костями и перьями. Были тут и отнорки, поодаль и на разном уровне от главного входа.— А вот здесь живет утка,— отец показал лопатой на верхний отнорок.— Белая утка, галагез.

— Ну да!— Павел не поверил, засмеялся.— Лисица и утка рядом, чуть не в одной норе? Это ты, батя... Сам, что ли, видел?

— Да разве я один? У Дымовых спроси, если не веришь.

Прошлым летом, в июне, они с Катей и Димкой пололи картошку, и вот так же выбежала из-под высоты лиса. Подошли к норе — что-то попискивает. И увидели: в одном из отнорков, в этом самом, скребутся, пищат, никак не могут вылезти штук шесть маленьких коричневых утят. Позвали Дымовых — они рядом работали, те так и ахнули!

— Глядим — над нами летает взрослая утка. Летает кругами и гудит, гудит! Голос у нее звучный, как из медного рожка. Тогда я лопатой быстренько ковырнул раз, другой, чтобы им легче выбраться, и мы с Дымом — ходу. Стоим все и смотрим издалека. Старая утка села. Что-то они меж собой покалякали и всем семейством пошли к озеру. Уже пора им было учиться плавать, и она их, значит, повела. До озера отсюда вона сколько, с километр. Так друженько шли цепочкой, вперевалочку, то пропадали в ложбинках, то снова показывались. А лиса эта самая, она, понимаешь ты, тоже недалеко сидела и наблюдала, только не за ними, а за нами. Лису заметила Витькина девочка...

— Брось, папа! Такого не бывает! — дивился Павел. — Чтобы лиса и утка... Это какое-то чудо природы!

— Еще бы не чудо! — отвечал Семен Иванович, ничуть не обиженный недоверием сына и даже радуясь ему. — Я потом узнавал у наших охотников. Оказывается, не одни мы такое видели. Но бывает это только у нас, с этими нашими галаге-зами. Видать, в таком соседстве им спокойней жить, и утке и лисе. Приспособились!

— А где ж она, утка? Чего ее не видать?

— Не время. погоди, летом с Олей придете полоть, сами увидите... Оля-то как, тяпку держать умеет? Земли не боится?

— Чего это она будет земли бояться? — обиделся Павел за невесту. — У нее родители тоже не дворяне.

— Э, сынок! Не дворяне — это теперь мало значит...

— Ладно, па! Как-нибудь разберемся.

Не любил Пашка, прямо терпеть не мог, когда отец или мать расспрашивали об Ольге. Оборвал разговор, с силой рассек лопатой нераспавшуюся грудку земли, ударил вторую и пошел бить, ровнять, разбрасывать по ложбинкам. Работал без лишнего зла и суеты, вкладывал в каждое движение ровно столько силы, сколько требовалось. Наткнулся на камень — присел, посмотрел, с одной стороны откопал, подвдвдвил и вывернул. Всадил лопату в землю, легко поднял серую глыбу — а в ней не меньше пуда — и понес к высоте.

Правильно, там все равно не пашут. И будет для высоты прибавка. Это же не простая высота — одна из тех, где проходил передовой рубеж эльтигенцев. Огненная земля!.. Много осколков, стреляных гильз, ржавых пружин от ручко́й гранат попадалось тут и сейчас. Работая, Семен Иванович выбирал их в кучу на пробитый осколком шмат железного листа. Сюда же стал сносить свои находки и Павел.

— Смотри, пап,— подошел он с патронами на ладони.— Трех сортов попадаются. Наши — железные. Медные — немцев. А вот прямые, без обжима, интересно, чьи это? Тут и пистолетных гильз навалом. Ох и сильная была драка!

— Да, сынок. Да...

— И надо же: лисица с уткой тут поселились!

Холодок познабливал потную спину, чувствовалось, что еще ранняя весна. Солнце небольшим белым шаром проглядывало сквозь слой медленно скользящих по небу облаков. Но вот синева опять распахнулась, все затопили ослепительные лучи, сразу стало жарко, и запорхали желтые бабочки. Море за кручами сверкало и переливалось. И так же блестели глаза Павла, цвело румянцем его лицо, перекачивались под рубашкой мускулы. У отца в груди щемило, когда он взглядывал на сына. «Каков парень! А давно ли я его на мизинцах крутил...»

Комья раскинули по низинкам, прошлись граблями. Отец копал ямки — один ряд копал, другой закидывал, а Павел кидал в каждую ямку по картофелине, по две. Дело шло споро. Засаживали чуть не половину огорода, когда прикатил на велосипеде Димка.

— Ну как, работнички? Я думал, они уже все кончили, а тут еще сколько вкалывать! Видать, не хватает вам хорошего командира. Слушать мою команду!.. Но, но, но! — с угрозой добавил он, отступая перед Павлом, который, похоже, собирался его сцапать.— Отставной сержант Журавлев, вы что, на губу захотели?— Тут Павел кинулся к нему, и Димка, увернувшись, побежал к морю.— Папка, держи его! — вопил он на бегу.

Один за другим они сверзлись с сыпучего обрыва и начали гонять по пляжу вокруг старых маслин, росших посреди пустого берега. «Кончай баловство!» — хотел крикнуть Семен Иванович, но наткнулся взглядом на маслины и — молча пошел с лопатой поближе к обрыву. Смотрел на корявые сучья, на ветви с черными бусинами прошлогодних ягод,

свисавшие до земли. Первый раз он увидел эти изувеченные деревья еще совсем пацаном, младше Димки был, летом сорок четвертого года, в тот день, когда здесь хоронили убитых десантников. Тримя длинными рядами лежали под маслинами на песке их останки, собранные со всего побережья. На месте иных лежали только изодранные бушлаты, шинели и бескозырки. И много было цветов, мелких роз, в тугих, едва распустившихся бутонах. На каждом бушлате и бескозырке поверх сохнувшего песка алели розы. Их нанесли камыш-бурунские мальчишки со Старого Карантина, с бывшей сад-базы, где в тот год обильно цвели одичалые плантации. Женщины сплели из роз большой венок, и моряки опустили его со шлюпки в море. И долго потом стояли с непокрытыми головами, смотрели, как течение уносит венок и на нем бескозырку.

Пусто было здесь в этот час. Только одинокий рыбак качался в отдалении на крохотной надувной лодке да бегали, хохотали Димка с Пашкой. Меньший схватил какую-то корягу и гатил по воде, отбиваясь от Павла брызгами. Наконец Павел поймал выдохшегося братца, взвалил на плечи и сбросил отцу под ноги.

— Сдаюсь,— пролепетал с земли Димка.

— Бери ведро. Будешь бросать картошку, а мы — копать.

Очень скоро Димка заскучал и вообразил себя снайпером: стоя с ведром на одном месте, кидал картошку за пять, за шесть метров. Одна картошка попадала в ямку, две — Паше по спине.

— Придется мне взяться за тебя самому,— пообещал отец.— А ну, быстро пособирай! И кончай гуляшки!

Чуть не целый час работали молча и сосредоточенно. Димин русский чубчик взмокрел и прилип ко лбу, рубашка выдернулась из штанов. Когда из-за пригорка показалась мать, приехавшая рейсовым автобусом, Димка первый ее заметил и сорвался навстречу.

Семен Иванович доставал из сумки хлеб, кефир, яйца и горячий суп в зеленой кастрюле, завернутой в полотенце.

— Ну-ка, еще чего тут есть? Пивка не купила, мама? Это зря...

— Не много же вы наработали.— Екатерина Петровна, подбоченься, озидала огород.— И бурьян кругом. Батюшки, сколько бурьяну!

— Где ты видишь бурьян?— взвился Семен Иванович.

— А вот! А вот!— Екатерина Петровна выдернула из земли зеленую травку, одну, другую.— Что вы себе думаете? Это ж пырей, вы и оглянуться не успеете, как он забьет вашу картошку. Работники!.. А долины эти кому оставили? Чтoб озеро тут налилось? Надо забросать!

Семен Иванович прищурился на сыновей и поскреб затылок:

— Я ж говорил — придет народный контроль!.. Ладно, мама, не шуми. Тут вот такая проблема: картошки осталось от силы полтора ведра. А еще вся Пашина пайка не засажена. Что будем делать?

— Какая пайка?— не поняла Екатерина Петровна. Перевернула озабоченный и суровый взгляд на огород и увидела фанерку с надписью: «Журавлев П. С.» Подошла поближе и долго смотрела, будто не веря глазам своим. Потом оглянулась. И не было уже на ее лице никакой суровости, а была та несмелая, недоверчивая, со слезами радости улыбка, которая всегда у нее появлялась, когда кто-нибудь из них подносил ей подарок. Слишком редко получала она от них подарки...

Павел подошел к ней:

— Мам, ты чё?

Она обхватила его, прижалась.

— Родной мой, кормилец драгоценный, работник!.. Когда ж ты... Растила я тебя, растила, а теперь... Что же ты не сказал, сыночек?

— Да я ж, мам, ни сном, ни духом! Разве это не ты постаралась?

Тут заходил гоголем Семен Иванович.

— Люди постарались! Люди!— сказал он.— Понимать надо! Кому ни попадя такие вещи не делают. А ты говоришь, хвостун! Ну? Что теперь скажешь?

— Ой, а то не хвостун!

Они расстелили на земле принесенное Екатериной Петровой байковое одеяло, нарезали хлеба, разложили яйца, зеленый лук, расставили тарелки и сняли крышку с кастрюли... Хорошо обедать на воздухе! На сиялой равнине пролива, выстилавшей горизонт поверх невысоких эльтигенских холмов, бродили солнечные острова. С моря наискосок по облачному, в ярких просветах небу летели вразброс и скрипучими голосами перекликались чайки.

— Слышите, кричат: Керчь, Керчь, Керчь!..— с набитым ртом сказал Димка.

— Чудило!— хмыкнул Павел.— Это они на тебя кричат!

Помнишь, как они тебя голого по косе гоняли? За то, что яйца у них воровал?

— Неправда! Я был в трусах. И не воровал я ничего...— Димка привскочил на колени.— Гляньте, гляньте, наши утки!

Пара бело-коричневых галагезов со звучной своей погудкой, нагибая головы, низко пролетела над Журавлевыми, будто хотела им что-то сказать. Пронеслась по второму кругу, повернула к морю, становясь все меньше, меньше, пока не затерялась в переливчатом блеске водной поверхности.

— Вернутся, никуда не денутся,— сказал отец.

V

Вечером, снеся в сарай ведра и лопаты, Семен Иванович отпросился минут на десять в «стекляшку». Выпил две кружки разливного и еще бутылку чешского взял домой. Сначала хотел сунуть в карман, а потом, по старому обычаю, запихнул за ремень брюк, под рубашку: благо, при его тощем животе бутылка не выпирала.

— Что, Журавль, решил под танк бросаться?

Все тут были свои люди, слесаря с аглофабрики, водители с автобазы, а этот шутник Костя Селезнев когда-то стажировался у Журавлева на Соколике.

— Да, брат,— ответил Семен Иванович.— Душа просит подвига! Сегодня я встретил свою старую машину. Помнишь, Костя, КрАЗик, на котором со мной ездил?

— Это которого ты из Кременчуга привел? Голосистого?

— Ну! Посмотрел бы ты на него сейчас. Вдвое моложе моего Сивого, а с виду — подыми руку и брось. Калека!

— Так ты все на Сивом едешь? А чего на БелАЗ не сядешь? Сейчас вон сорокатонные пришли. Бери любой!

— Не,— сказал Семен Иванович.— Душа не лежит. У меня сын стажуется на БелАЗе.

— Павел?

— Ну! Я с полуторки начинал, а он, понимаешь ты, с БелАЗа!

— Да, Иванович, отошло наше с тобой время,— поддержал разговор слесарь Комаха, толстыми пальцами присаливая свое пиво по ободку кружки.— Тебе сколько лет?

— Сорок шесть.

— Ну вот. А грамоты два класса?

— Пять!

— Хоть бы и пять. Сорок шесть и пять — с такой арифметикой сегодня не попляшешь.

— Ничего,— усмехнулся Семен Иванович.— Ты погоди на мне крест ставить.

— Я и не ставлю.— Комаха шумно отхлебнул пива, маленькие его глазки выражали грусть пополам с насмешкой.— Ты еще, милоч, повкалываешь. Будешь на своем Сивом развозить уголь для жэковских котельных и песок для детских площадок, а орден тебе уже не светит — с орденом шабаш!— Тихим голосом Комаха вкатил в Журавлева эту пилюлю и смотрел, как он ее проглотит. И правда, загорчило, но Семен Иванович не подал вида.

— Кто знает!— сказал он.— Если твой способ перенять, то орден не орден, а благодарностей я бы имел навалом.

Однажды в «стекляшке» Комаха рассказал, как его командировали из цеха слесарить в новый комбинатовский пансионат и как он там учил отдыхающих уважению к рабочему человеку. В один прекрасный день все водопроводные краны жалобно засипели и смолкли. Скоро целая делегация явилась к нему спросить, почему нет воды. До вечера он лазил с важным видом то в одну, то в другую колонку, сидел там в прохладе, покуривал и побрякивал ключами. Потом открыл нужный вентиль. Вода пошла. Вытирая пот и размазывая по лицу ржавчину, он героем выбрался наружу. Все наперебой кинулись его угощать сигаретами и персиками, написали в книге отзывов пламенную благодарность, а один столичный инженер даже пригласил посидеть вечером в компании. Об этом-то случае и вспомнил со зла Семен Иванович. Комаха хохотал, его глазки сначала совсем исчезли, а потом выбрались из складок и, как два краба, вцепились в Журавлева:

— Давай, давай! Может, еще чего скажешь?

Семену Ивановичу было что сказать. Бог знает, чем бы все кончилось, если бы в «стекляшку» не зашел Дымов. Он зашел — коренастый, с улыбкой на полном лице — и взял старого друга под руку.

— Пошли!

— Витек!— просиял Журавлев.— Какими судьбами?

— Да вот, тебя увидел. Домой идешь? Пошли, пошли... Ты чего это завелся?— Дымов вывел Журавлева из «стекляшки» под темное, усыпанное звездами небо.

— Черти бы его побрали, Комаху этого! О рабочей чести рассуждает, а сам такая гнида! Да ну его... Ты-то откуда взялся?

— Говорю, тебя увидел.

— Ну молодец твой отец, на полу спал, ни разу не упал!— Семен Иваныч вытащил из-за пояса бутылку, в темноте на ощупь об сучок сдернул пробку:— Попей, Витя, свеженького! Сегодня у меня знаешь с кем была встреча? С Соколиком! Да, да, с тем самым. Побитый, обшарпанный — узнать нельзя. Ты его хоть помнишь?

— Как не помнить триста первый!— воскликнул Дымов.— С номерами на бортах? Конечно, помню. Ты ж, гад, смазал ему двери салом, а малярша молоденькая, ей невдомек, я и говорю: ладно, не мучайся, рисуй, как Журавель хочет, на бортовых пластинах!

— Так ты знал?— изумился и растрогался Журавлев.— Н-ну, дела! А я-то... Эх, Витя! Друг лучше старый, а машина лучше новая!

— Вот и шел бы на БелАЗ.

— Нет,— сказал Журавлев.— Пустой разговор.

— Зря. Машинка для работы очень даже подходящая. Сказали бы мне сейчас — бери новый КрАЗ!— не взял бы. Ну, а ты, конечно, человек трассы... У тебя несовместимость!

— Смеешься?

— Да нет... У многих сейчас несовместимость с новой техникой. А куда денешься? Жизнь говорит: держись!

— Ладно, корешок,— Журавлев помрачнел.— Оставим эту тему.

Они пересекли улицу, дошли до поворота в переулоч, и Семен Иваныч пожал маленькую, крепкую руку Дымова.

— Хороший ты, Витя, парень... Да, слушай!— вспомнил он.— У тебя посадочной картошки не осталось? Ведра полтора? У нас, понимаешь ты, теперь две пайки огорода рядом — моя и Паши, и на Пашкиных полкуса не хватило.

Картошка у Дымова была: всем белазистам выдали в конце зимы семенной картошки, кто сколько просил, осталось для кухни. Договорились, что Семен утром подскочит к Дымову на мотоцикле.

Вишь ты, белазистов как обеспечивают, продолжал думать Семен Иваныч, шагая дальше один. Пересек малолюдную в этот час главную улицу и пошел напрямик через пустынные темные дворы. Лишь кое-где окна еще освещали телевизорной изменчивой голубизной. Возле одного из подъездов, урча мотором, стоял крытый фанерой «газон». Парень с папиросой в зубах поспешно забрасывал в кузов

чемоданчик с инструментами. «Готов?»— кричал из кабины шофер. Парню протянули руку, вдернули в кузов, и машина с ходу помчала. Из кузова, крутясь, полетели в темноту красные искры... Надо полагать, где-то что-то случилось,— машина собирала аварийную бригаду... Поселок отходил ко сну, но все основные цехи комбината, рудник, аглофабрика продолжали работать, и Семен Иванович со вздохом и завистью посмотрел вослед шустрому этому «газону». «Давно уже за мной так не гоняли!»

Окно его кухни светилось, бросая сквозь ночь яркий сноп света в палисадник. В этом свете видна была спящая, нахохлившаяся на ветке белая курица, его «стажерка». На ветке пониже сидел рыжий соседский кот, жмурился и передними лапами поскребывал кору. Семен Иванович его шуганул. А курицу, спросонок панически заклохтавшую, снял с ветки и, успокаивая, сел с нею на крыльцо. В коридоре скрипнула дверь. Катя спросила сзади напористым шепотом:

— Ты чего тут шумишь? Иди спать!

— Да вот кура-то наша,— ответил он.— В дом бы ее забрать, а то кот уже к ней подбирался.

Катя взяла курицу из его рук, присела рядом.

— Опять?

— Не, Катенька, ты что? Я кроме пива ни-ни... Между прочим, с Дымом договорился насчет картошки. Бери, говорит, хоть три ведра.

— Правда?— обрадовалась Катя.— Ну, ты у меня хозяин, цены тебе нет. Завтра и заберем. Главное, Сеня, ты ж, смотри, не забудь в понедельник зайти в профком. Может, для начала нашим молодым хоть какую-нибудь комнатенку выделяют в общежитии!

— Не забуду, Катенька,— сказал он и, притянув ее вместе с курицей, поцеловал в висок у корней волос.



Р. Киреев

ПАВОДОК



осмотришь — туман вроде бы и не густ, а большой сопки за Миляем не видать. Как и вчера... Как и позавчера... У дальней Алтуфьевской палатки игриво затыкал Матрос. С чего только веселится поутру? За день лишь парочку вафель получит (от людей оторви, а дай — член коллектива) да миску вареного гороха. Веселится, однако. Или, может, правда собаки на расстоянии чувствуют горе и радость? — и Бабака, весь высунувшись в майке наружу, только босые ноги оставались на холодном жердевом настиле, с надеждой огляделся. Какая там радость! — взглядом не продерешься, и даже Миляй, до которого рукой подать, журчит, словно за тридевять земель отсюда. Мирно так журчит себе — будто не по его милости сидим на горохе да вафлях «Снежинка», от которых в горле першит. Бабака зябко передернул плечами. Отпустил тяжелый, в крапинках росы брезент, к раскладушке пошел. Ступни совсем заковчели, но не спешил, стеснялся спешить, телу своему угождать, когда вон в каком положении люди, за которых он, Бабака, отвечает.

Натянул поверх трикотажных штанов брюки, неторопливо застегнул на плоском животе солдатский ремень, который, демобилизовавшись осенью, отдал ему сын. «Раньше, отец, я за тебя донашивал, а теперь...» Прочь, прочь! И месяца не прошло, как из дому, а он уж и расскучаться готов. Эдак разве продержишься полгода?

Бабака сел на табуретку, стал наматывать портянки.
— Туман? — равнодушно спросил с раскладушки Кап-

линский. Он лежал, не открывая глаз, мешок молнией задернут. Аккуратный куль, из которого торчит рыжебородое молодое лицо.

— Все то же...

И больше ни слова. Человек думает — зачем мешать? Золотая голова у парня, в институте кто не знает этого, даже Трушицын поздравил: «Лучшего инженера отхватил, Николай Иванович». А Каплинскому, в свою очередь, Бабака откомендовал как опытнейшего начальника партии. Дипломат! Бабак, однако, не обольщался на свой счет. Ну, есть опыт, ну, двадцать пять лет мотается по изыскательским партиям, четырнадцатую сотню километров разменял, и на тысяча ста из них уже барабанят поезда — что с того? Когда человеку за пятьдесят, какой-никакой да будет опыт. Что-то ведь делал, как-то зарабатывал на хлеб насущный. А вот призвания, таланта, так сказать, — такого, например, как у Кости Каплинского, — нету. Тот — прирожденный изыскатель. Еще не вымерили толком, еще теодолит не установили, а он уже: «Станция не впишется, маху дали на предварительных изысканиях». И оказался прав: излучина Миляя мешает, зараза. «Так что же, — озабочился Бабак. — В институт радировать?» Костя pokrивил губы. «Подождите. Помозговать надо». И мозгует, и наверняка придумает что-нибудь, как было с зажимом на сто тринадцатом. Верил Бабак в Костю Каплинского — не случайный человек тут, а вот о самом Бабаке этого не скажешь. Кабы не война, и понятия, может, не имел бы об изыскательской работе. Война заставила. В несколько недель не только рассчитали, но и построили тридцать восемь километров пути. Тридцать восемь! А уж дальше, встав на дорожку, жизнь и покатила, и покатила по ней, не сворачивая. У себя же в Светополе мог найти работу по специальности — землеустроителем, например, но так и не собрался с духом уйти из института. И никому уже не казалось странным, что живет в одном городе, работает в другом, а полжизни вообще проводит у черта на куличках.

Пригнув голову, Бабак вышел из камералки. В лагере было тихо, даже Матрос уgomонился. Сквозь туман донесся запах дымка — Вера уже раскочегарила печь, хотя что готовить-то? Опять горох с постным маслом, ну и чай — весь завтрак. В обед — жидкий суп из скумбрии в томатном соусе, а на ужин — снова чай да пачка вафель на двоих.

В тумане слышались шаги. Зина Недомова... Бабак торопливо поздоровался. Зина ответила сквозь зубы и — мимо. Да-с! Паводок паводком, никто, конечно, не ожидал, что затопит вертолетную площадку, но начальник партии (права Зина!) обязан предвидеть любую случайность.

Бабак предвидел. Не слезал с рации, бомбардируя Алексеевку, там клялись: да-да, понимаем, завалим продуктами, но откладывали со дня на день, и вот дооткладывались. Бабак ускорил шаг. Сейчас все выложит Трушицыну, только бы на связи был.

В палатке радиста сидели на нарах Измайлов и Шлыкин, молча следили за Лавровым — тот с рацией возился. Оба со сна только, Измайлов даже рубашки не натянул — прямо на майку накинул полушубок. Повернул обросшее лицо, насупленно глянул на начальника партии.

— Не помешаем?

— Нет... Пожалуйста.— А сам неприятно чувствовал, что тоже небрит.

Пустой эфир завывал и посвистывал. Сосредоточенно глядел Бабак на рацию. Не выйдет разговора... Не сможет при посторонних — особенно при Измайлове! — наседать на Трушицына. Смотрите, дескать, какой заботливый начальник у вас! Не сможет...

А они неспроста здесь. (Особенно Измайлов!) Затевают что-то.

Бабак хитрил, говоря себе «что-то». Наперед знал, что затевает Измайлов. Уволиться решил и улетит первым же вертолетом да еще Шлыкина прихватит.

Шлыкин — бог с ним, бичей в Алексеевке хватает, со всех концов прут, наивно полагая, что раз большая стройка, то и рубли большие. Измайлова жалко. Специалист, технику знает. Но и цену себе знает тоже. За полторы недели поставил на ноги вездеход, на который даже Ткачук махнул рукой. За полторы недели, и без ремонтной базы — какая база в изыскательской партии! Не часто жалуют кадры такими людьми, а тут выкопали, дали — повезло, можно сказать, но, как всегда у Бабака, что-то да пойдет юзом. Если Измайлов даст деру, останется на оба вездехода один водитель. А конца-то два! В одном — геологи бурят, в другом — нивелировка и закрепление трассы, туда и сюда надо утром подвезти людей, а вечером забрать — пешком по мари не находишься. Неделью простояли из-за паводка, теперь — туман, но пятьдесят шесть километров, отваленные на сезон, вынь да положь. Кровь из носа, а должны встре-

таться осенью с идущим навстречу Самохиным. Иначе до конца октября застрянут в тайге, а приспичит — и шматок ноября захватят, в ноябре же здесь может ухнуть минус тридцать.

— «Сотый», «Сотый» в эфире,— проснулась рация хриплым и неожиданно близким голосом Лидии Владимировны. Бабак вскинул голову.— Доброе утро всем. Очередность связи: «Шестой», «Третий», «Пятый»...

Дальше Бабак не слушал: в нарушение традиции на связь первым вызывали не Авазяна, самую дальнюю партию, от триста восьмого километра идет на запад, а его, Бабака, который всегда был «Третьим». Стало быть, понимает Трушицын, как тяжело им, а если понимает человек, то что же махать понапрасну кулаками. И сразу отлегло от сердца: не надо распинаться на глазах Измайлова.

Лавров переключил на прием.

— «Шестой» в эфире,— тихо, в самый микрофон, проговорил он.— Слышу вас хорошо, передаю погоду.— Пальцем придвинул к себе листок.

Бабак знал: все начальники партий затаили сейчас дыхание. Сочувствуют: вон как поприжало Бабака на Миляе! Сочувствуют, да, но в глубине души сквознячком пролетает облегчение. Прижало-то не их — Бабака, а нас пронесло, слава богу.

Лавров, закончив, поставил на прием. И сразу — голос Трушицына.

— Здравствуйте, Лавров. А где там Николай Иванович? Бабак торопливо взял микрофон.

— Доброе утро, Владимир Егорович. Слушаю вас.— И сам переключил.

— Что ж меня слушать? У нас все нормально, сытые сидим. А вот как вы там? С двенадцати дня вертолет наготове стоит. Тоже туманит, но взлететь-то взлетим, только бы посадили.

— Пока невозможно.

— Понимаю. Давайте так: на связь каждый час выходим. Батарею не экономь, подбросим. Что народ? Не побили еще?

Бабак медлил с переключением, всем телом чувствуя сзади затаившихся Измайлова и Шлыкина. Что он мог сказать, когда этот самый народ — за твоей спиной, жадно ловит каждое слово?

— Чего молчишь-то?— снова заговорил Трушицын.— Если уж непременно поколотить хотят, пусть меня подождут.

У меня кожа дубленая. Первым рейсом вылетаю к тебе.

Затем выходили на связь другие партии, Бабак слушал вполуха, но взгляда от рации не отрывал, пока Лавров не выключил ее. Измайлов только и ждал этого. За пазуху полез, достал вырванный из школьной тетрадки лист. Помедлив, Бабак взял его. Очки остались в камералке, но он и без очков знал, что там написано.

— Имеете право продержат нас еще две недели.

Нас... Повернулся, требовательно посмотрел на маленького Шлыкина. Тот засуетился, в руках у него тоже затрепетал листок. Бабак и его взял.

— Но это же временные трудности,— промямлил он. Не по себе было ему, будто это он, а не Измайлов бросал товарищей.

— А все временно. Постоянного ничего нет. Оформляли — горы золотые сулили. Трехразовое горячее питание. Заработок — две с половиной.

— Так заработок...— оживился было Бабак, но Измайлов перебил.

— Плевать мне на ваш заработок. Уж два-то куса я как-нибудь везде сделаю. И буду жить как человек. В тепле, баба под боком и жратва — не ваш горох. У меня, может быть, язва, товарищ Бабак. Я, может быть, три месяца валялся, пока зарубцевалась, а здесь ее в три дня откроют.

Бабак поднял глаза.

— Ну тогда... Зачем же вы с язвой? Это очень серьезная болезнь.— Не понаслышке знал — Валя, родная дочь, который уж год мучается. Как весна, так обострение. В нынешнем году пронесло вроде, но весна-то не кончилась еще.— Вам молоко надо.

— Надо,— с издевкой согласился Измайлов.— А мне, между прочим, расписывали в кадрах, что чего-чего, а уж молока залейся в партии. Порошковое, ну да черт с ним, какое-никакое. А тут не только молока, тут хлеба нет.

Что ответить на такое? Опять — временно, опять — стихийное бедствие? Но это уже выложил раз, не подействовало, а взывать к сознательности, как пишут в газетах, Бабак не умел. Сказал, что заявления подпишет, сунул оба в карман и, ссутулившись, вышел из палатки.

Язва... Конечно, с этой болезнью нельзя в тайге... Не то что нельзя — вон Посохов сколько уже мыкается с желудком, а ни одного сезона не пропустил,— но тут нужна

особая закваска. Сознание нужно. Где оно у Измайлова? Нету. А воспитывать — не выходит у Бабака. Не умеет... Тюх-матюх — правильно Лиза говорит. Тюх-матюх...

Бабак зашел на кухню к Вере и, молча выдержав ее каждодневную бурю — чем людей кормить, к черту, варите сами эту баланду! — сказал, чтобы приготовила Измайлову молока. Его оставалось на складе две пачки, НЗ на случай болезни, и вот такой случай настал.

— А что с ним, с Измайловым-то? — подозрительно спросила Вера. На плите зашипел, застучал крышкой чайник, но она не стронулась с места.

— Желудок, — проронил Бабак и направился к камералке.

Каплинский все так же лежал с закрытыми глазами. Дремал? Думал, как втиснуть станцию? Бабак не мешал ему. Молча взял бидон, к реке спустился. Вода все еще была мутноватой — значит, снег не везде сошел. Умывался под рукомойником, а мысли все о том же — кого на вездеход теперь? Хоть сам садись — благо, освоил за столько лет водительскую премудрость.

— Что Алексеевка? — равнодушно спросил с раскладушки Каплинский.

Бабак вытирал полотенцем горящее от ледяной воды лицо.

— Алексеевка нормально. Вертолет держит. — И прибавил, не утерпев: — Измайлов заявление подал.

Каплинский не пошевелился и не открыл глаз.

— Смывается?

— По состоянию здоровья, — сказал, оправдываясь, Бабак. — Язва...

Сквозь туман донеслись удары — Вера била в подвешенный к дереву пустой бидон. Завтрак. Обычно три или даже четыре раза лупасила, а тут двумя ограничилась — стеснялась, видать, что такие харчи. Бабак понимал ее.

Достал из-под самодельного кульмана механическую бритву, завел и долго брился, потом долго протирал одеколоном холодное лицо. Странно, но есть что-то не хотелось. Каплинский вот тоже не думает выбираться из мешка.

И тут — внезапно, без шагов — у палатки возник из тумана Измайлов.

— Разрешите?

По голосу, по сузившимся глазам Бабак понял: что-то случилось.

— Пожалуйста...

Измайлов вошел. Начальник партии подвинул ему раскладной стульчик.

— Благодарю... Больно уж заботливые... Мягко стелете.

— Не понимаю,— пробормотал Бабак.

— Не понимаете? А теплого молочка не угодно ли — это вы понимаете? Кого сделать хотите? Да я вас насквозь вижу, со всеми вашими штучками. На психику давите? Уезжать собрался, а я тебе молочка, из последних запасов. Чтобы ты падлой себя почувствовал. Сукой последней. Чтобы сидел и не рыпался. Так, да?

Бабак понял, и его бросило в жар.

— Да, я... Что вы! Я совсем не имел в виду.

— Не имели! Верка сама додумалась.

— Я сказал ей, я не отрицаю, но я...

— Без умысла без всякого, да? По доброте душевной. Просчитался Николай Иванович! Молочко только зря поистратил. Меня этим не возьмешь, поздно! Вон Сеньку Дражлева воспитывай, он еще, может, клонет на твою доброту, а я уже вышел из этого возраста.

— При чем здесь!..— с отчаянием вырвалось у Бабака.— У меня у дочери язва, я знаю, что это. Как приступ, молоко пьет. Маленькими глотками. Сам сколько раз подогревал. А заявление... Да я не собираюсь держать вас... Вот, пожалуйста...— Он шарил по карманам, пока не нашел листки, торопливо развернул, торопливо и наугад, без очков, подмахнул оба.— Вот, пожалуйста. С первым же вертолетом. Может, сегодня будет. И Трущицын будет, вы слышали. Я скажу, он подпишет...

Измайлов, оттопырив губу, молча смотрел на протянутые бумаги. На обросшем подбородке застряла хлебная крошка. Так и не проронив больше ни слова, повернулся и вышел. Бабак не останавливал его. Как-то разом устал он, сесть хотелось. Обидел человека — ни за что ни про что. А хотел ведь как лучше. Так всегда у него — через пень-колоду.

Взглядом скользнул по раскладушке Каплинского. Глаза инженера были открыты. Серьезно и с пытливостью смотрел он на начальника партии.



А. Троханов

**РАЗНОЦВЕТНОЕ
ПЛАТЬЕ**



дар ножа под плавник, хруст пробиваемой чешуи, стук о глубокую кость. Белое, стекающее соком рыбье мясо. Роман подкинул ломоть язя, гла-застую отсеченную голову, и собака в тяжелом прыжке поймала ее, стукнув по жабрам зубами.

Жевала, наклонив морду, давясь и хлюпая, распу-шив на загривке грязно-серебряную шерсть. Нацелила вы-пуклые глаза на Романа, а тот зло кромсал рыбину на изрубленном чураке, красные плавники прилипли к мокрому скользкому дереву.

— Выметайся, держать не стану! — крикнул он в раство-ренную дверь под закопченными бревнами. Плюнул далеко, через голову пса, в сторону лодок, где безветренно и огромно сияло озеро и хребты чуть голубели ледниками. — Самолет сядет, грузись и выматывай!

Жена его Клавдия выскочила на крыльцо, неубранная и босая, с гневными рассыпанными волосами, комкала пестрые мятые тряпки, запихивала их в суму.

— Не ударишь! Хоть прикуй, а уеду! Измучил, сил моих нет! Извел, всю извел!

— Как же, стану тебя ковать! Дверь открыта, плакать не станем!

— Все ждала, образумится! Ну еще раз, еще! Думала, ну последний! Сам обещал: давай в Тулу съездим, рыба-ками устроимся, а там отстанем. Кончим места менять, дом заведем, поселимся! Будем семьей жить!.. Поверила, в последний раз поверила! Обманул, шатун! Нигде тебе не сидится! Нету места для тебя на земле! Так и будешь

весь век шататься, волчище бездомный! Ни копейки не скопишь, все промотаешь, дуром в водку спустишь!

— Деньги-то любишь, знаю! Бабы все деньги любят! Я этими руками денег сколько хошь заработаю! Да лучше в печке сожгу, чем тебе в чулок!

— Другие-то люди по-человечьи живут! Свой дом, семья, ребятишек растят, со знакомыми знают, к отцу с матерью в гости ходят... А меня? Десять лет с тобой протаскалась, как хвост. А ты всю меня обломал, всю состарил! Ни угла своего, ничего! Мать родную не дал схоронить, так без меня умерла, все ждала, когда я приеду!.. А когда хотела родить... Ромочка, миленький, ну давай же родим, давай!.. Нет, не дал, не позволил! Не время, не время, все ехать надо! Все дороги детьми моими вымостил! Всю меня изрезал, теперь родить не могу!

— Сможешь! Я ходил к врачу, узнавал,— сможешь! Мужиков много на свете. Родишь еще!

— Кому я нужна-то такая! Всю красоту мою загубил, изморозил. Всю меня высосал! Пожить без тебя, отдохнуть! Чтоб не видеть тебя, не слышать! Забыть тебя насовсем! Чтоб ты умер тут и пропал!

Над лесом гудела темная точка. Выпустила из себя четыре тонкие крылышка. Увеличилась, косо идя на посадку. Биплан опускался на луг у рыбного склада, трещал и чихал мотором, гасил свой бег. Встал у озера, поворачиваясь черными цифрами, весь в водяных чешуйчатых отсветах.

Жена, ахнув, исчезла в избе, выскочила, торопясь, надевая на ходу стоптанные начищенные туфли. Боком побежала по лугу, волоча набитую сумку. Роман смотрел, как она удаляется. Как из склада вышел бригадир в болотных сапогах, задернутых по колено, неся связку вяленой рыбы. Протянул пилоту, принимая взамен блеснувшие на солнце бутылки.

Жена подбегала к самолету, и пилот, смеясь, помогал ей забраться. Дверца захлопнулась. Затрещал, закрутился винт. Самолет побежал, вырываясь из солнечной ячеи. Оторвался от цветущего луга, уменьшаясь, исчезая, превращаясь в темную точку.

Роман знал, что машина летит теперь на хребты, к белым ледникам. Тайга зеленеет внизу. Огромная сияющая струя Енисея. Размытые зеркала озер. Жена сидит, прижавшись волосами к стеклу. Ноги ее дрожат от гула обшивки.

Роман отвернулся заросшим светлой щетиной лицом, зло рассекая рыбу, кидая собаке кровавые ошметки.

Подходил бригадир, лениво переставляя по берегу огромные сапожища, коричневый от водяного загара, криволицый, с крохотными голубыми глазами.

— Улетела?— усмехнулся он на Романа.

— Вернется.

— Сказала, что навсегда.

— Других баб много.

— Я думаю,— бригадир ударил носком консервную банку. Она пролетела с грохотом, блеском, ударившись о стену избы. Собаки шарахнулись с лаем, а потом подошли обнюхивать рваную кромку жести.

— Ты вот что, сплавай-ка, сетки проверь,— сказал бригадир.— К обеду самолеты придут, бортов пятнадцать. Будем рыбу грузить. А то по жару-то вот-вот бочки задохнут. Сегодня отгрузим, и баста. Ты рыбки свежей достань, а водка на крылышках опустится,— и он хлопнул себя по оттопыренным карманам с бутылками.

— Неводить-то сегодня когда?

— А к вечеру.

Бригадир двинулся дальше к другим полуразрушенным избушкам, у которых бледно краснели костры, сидели собаки, рыбаки варили еду.

Роман натянул рубаху на гибкую голую спину, захватил канистру с бензином. Двинулся к лодке. А пока отпихивал ее, налегая грудью, заскакивал через борт, усаживаясь, дергал резко стартер, были в нем раздраженье и злость. Но с первых ударов двигателя, мягко колыхнувших ладью, толкнувших ее в озерный разлив, он почувствовал себя беззаботно, сжал счастливо глаза в узкие зеленые щели.

Лодка уродливая и прекрасная. Длинная и дощатая, грубо, накрепко сбитая из еловых досок. Прошита насквозь гвоздями, загнутыми, как железная шерсть. Верткая и устойчивая, приспособленная для бега по бешеным рекам востока. Построенная без чертежей, по одному глазомеру, по выкройке древних бородатых людей, пришедших сюда с топором и пищалью. На корме драгоценно сияет компактный двадцатисильный мотор, вгрызаясь в воду маленьким грозным винтом. На носу мешок с зачерствелой буханкой, вялым жирным язем. Брошен на дно грубо скованный, стертый до блеска багор. Пахнет тухлой, сдохшей здесь рыбой, пропитавшей борта своей слизью, молокой и кровью, усыпавшей их металлической сухой чешуей. Деревянный гроб для несметного скопища рыб,— для тех, что

забиты уже в соленые бочки и взмоют сегодня в небо, понесутся через ледяные хребты в раскаленную рыжую степь, и для тех, что хлюпают вяло, сверкая боками в воде. Лодка плывет, обгоняя медленный круг, в мягкой синеве, среди зеленых островов, отражений, голубых осиянных гор, оставляя длинную серебряную струю.

Роман сидел за рулем. Голова его кружилась от выпитого утром стакана водки. И он язвил:

— Хотите лететь — не держим. В небе всем места хватит. Но нас тянуть погодите. Мы покамест люди озерные. Люди мы беспризорные. Письмо написать — гишите, рыбки вам вышлем с приветом. Только мы скоро нырнем отсюда, а вынырнем на Курилах, а то и подальше. Так что торопитесь с письмом-то! А то она дом себе захотела! Корову себе захотела! Что мне, корову с собою возить? С тобой одной натащился, сыт. Ладно, как-нибудь выдержим! Одному-то вольней, хлопот меньше. А то денег она захотела! Да захлебнись ты со своими деньгами! Квартиру она захотела! Да захлебнись ты своей квартирой! Во у меня квартира, углов не видно!

Он озирался на воды и небеса с быстрым пролетом чайки, на горы, поросшие розоватыми, в дымке, лесами.

— Не, нас не скоро купишь!

На зеленом отраженьи горы белела бахрома поплавок. Роман заглушил мотор, побежал к бесшумно скользящей лодке, схватил багор. Зацепил за шнур с поплавками. Натянув, погасил бег ладьи. Захлопал сетью, у черного борта, приподнимая ячею в перламутровых водяных пленках. С легкими брызгами отпускал обратно.

Первый язь висел у поверхности, застряв головой, намотав на хвост капроновый ворох, и Роман, выпутывая его, сорил чешуей, выламывал с хрустом перья, тыкал пальцы под жабры, выдавливая крутящиеся рыбы глаза. В воде, под его руками, распускалась темная кровь. Выдрав рыбу, он пустил ее биться в лодку. Язь поднялся на голову, заплясал, балансируя вверх хвостом, раскрывая крохотный младенческий рот, будто целовал вонючие доски. Подобрался к башмакам Романа, чистил их, лакировал сияющими боками. Роман наступил на язя, и рыба затихла, лежала под грязным его башмаком, как горящая на солнце звезда.

Лодка двигалась вдоль сети. Роман вынимал красноперых яззей, змеевидных зеленых щук, бросавших радуги слизи. А сам приговаривал:

-- Для чего живет человек? Дура, да ему приходится жить!

Он осмотрел свои сети, набросал на днище гору затихающей рыбы. Присел, отирая со лба приставшую чешую. Ветер тихо гнал лодку по зеленому отражению. Пестрело сквозь воду дно. Рыбы глаза мерцали, как угли. И Роман вдруг подумал, что жена идет сейчас по городу со своей нелепой набитой сумкой, растрепанными белесыми волосами, в стоптанных старых туфлях. И ему вдруг стало не по себе среди сияющих вод.

Он старался представить, как она выглядела давно, в их первую зиму, и что там сокрылось под выцветшими ее волосами, за недоверчивым постаревшим лицом.

Он вспомнил северный кольский совхоз, где после армии водил гусеничный трактор. Цистерну с горючим, размалеванную красными буквами, которую возил по снегам, одетый в танковый ватный костюм. Ледяные струйки мороза, разноцветные сполохи.

Он останавливал трактор у магазина, где работала она продавщицей. Беловолосая, круглолицая, с тихим смехом, металась целый день среди банок с наклейками, брусков желтоватого масла, зубастых замороженных рыб. Хватала с полки прозрачные бутылки с водкой, ставила перед заиндевелыми краснолицыми мужиками. Сыпала коробки спичек. Кидала на весы ледяную оленину. И Роман, слыша, как грохочет за стеной его трактор, принимая от нее пачки чая и сахара, не мог оторваться от мгновенного румянца на ее синеглазом лице.

Они мчались на лыжах по твердым блестящим снегам, петляли в сосняках, в карликовых гнутых березках. Перескакивали через наледь, через слепающие живые ручьи. Он видел, как бьются, трепещут впереди ее лыжи, она не бежит, а танцует, оборачиваясь на бегу, взмахивая маленькой пестрой варежкой.

Они поднимались в гору, выпугивая белых куропаток, в синей низкой метели, осыпающей их по пояс. И он чувствовал ее сквозь легкую голубую поземку, ее движения, взмахи, ее брови в холодном сухом серебре. И у дымного чума стояли нарты с оленем, охотник в поношенных шкурах свежевал росомаху, и олень смотрел на убитого рыжего зверя, недвижимый, седой и кроткий.

Они вышли на перевал и стояли, опершись на палки, глядя на горы в вечернем солнце, будто ставили перед ними цветные стекла, глаза ее казались лиловыми.

Их бешеный спуск под уклон, ураганный посвист в ушах. Их сметало по отвесной горе в белых хвостах, и на мягком снегу сшибло, кинуло в сторону. Они катились, как растрепанные сбитые птицы, обдираясь о наст. Рухнули вниз, в долину, поднялись, перепуганные, облепленные снегом, с запечатанными глазами. Ее лыжи разломаны в щепки, слезы бегут.

Она обнимала его сзади за пояс, наступала на его лыжи, и они шли вдвоем на одних его лыжах, выбираясь из безлесой долины, спасались от гаснущих ледников и ночного мороза. Они шли, застывая под огромными раскаленными звездами, и он верил и знал, что они не погибнут, а будут вместе об этом помнить многие-многие годы.

В сторожке у озера он растопил жарко печь, засовывая в огненный зев огромные ледяные поленья. Стены горячо было трогать. Она сидела на нарах в одной рубашке. Дымилась паром одежда. И он, проходя, неся смоляную охапку, вдруг присел перед ней и стал целовать ее босые ноги, холодные пальцы, колени, и она сжала ногами легкую прозрачную ткань. Они лежали во тьме, по низкому потолку бежали черно-красные тени. И он звал ее ехать с собой, манил в Сибирь, на необъятные степи и реки, и она согласилась.

Сколько же с тех пор прокатилось? Неужели эти руки, почернелые, изрезанные ножами и чешуей, мокрые от слизи и крови, лежали тогда у ней на груди? Скользили по ней, и она словно плыла у него под руками?

Роман очнулся, рванул стартер. Кинулся по озеру в дыме и бурунах.

Роман сидел перед домом, разделявая язя. Распорол брюшко, выбросил дрянь, развернул его надвое. Посыпал перламутровое рыбе нутро крупчатой солью.

К нему подходила маленькая смешливая баба Нюрка, неся на груди ворох тряпок и большие заржавелые ножницы.

— Ром, а Ром, да ты язя кроишь?

— Ну, крою!

— А мне платье скроишь? Хвастал, говорил, диплом портняжный имеешь.

— Много чего я имею.

— Вот и скрой, а, Ром!

Нюрка хохотала, блестя маленькими зубками, кивала на дверь. Нюркин муж, угрюмый глуховатый мужик, подался работать с озера в леспромхоз. Рыба ему опостылела, и он

сгружал теперь с трелевочников лиственничные смоляные хлысты, вязал плоты, цеплял за буксиры, отправлял красноватый лес по горящим водам взбухшего от паводков Енисея. Нюрка не захотела с ним ехать. Побродила с неделю с заплывшим малиновым глазом, браня мужиков, и продолжала ходить с рыбаками, вытягивала сырой, тяжелый невод, напрягаясь маленьким круглым телом.

Они вошли в дом. Нюрка вывалила на кровать свой ворох, смешливо оглядывалась.

— Ты мне скрой. Хоть какое платьице поновее сшить. В магазин все не выберусь. Во, в журнале чертеж нашла. Ты разберешься.

— Примерить надо.

— Хотишь, чтоб разделась?

— Не на кофту же мерить.

— Ты портной, как скажешь,— захихикала Нюрка, растегнула кофту, открыла сиреневую сорочку.— Кланька-то теперь далеко. И чего было ей надо, Кланьке? Все ругалась, все не так да не так. На такого мужика и ругаться!

— А ты б не ругалась?

— Да я б тебя, Ром, на ручках носила!

Он положил ей лапищу на плечо. Скользнул вниз ладню, на горячие мягкие груди с торчащими твердыми сосками, на выпуклый дышащий живот. Она смеялась, не мешая ему, смуглолицая от водяного солнца, с белыми морщинками у глаз.

— Уж ты мне скрой, Ром,— сказала она, выворачиваясь.— Я к вечерку приду. Ой, и до чего у тебя все сорно, не прибрано! Сразу видно, нет бабы в доме. Приду к тебе, уберусь. Крупы принесу, кашу сварим.

Поигрывая плечами, она застегнула кофту. Выскользнула из избы, ласково щурясь на Романа. А он присел у стола, на котором со вчерашнего вечера стояла закопченная керосиновая лампа, валялись рыбы кости.

— Платья ей захотелось! Ну, нюх бабий! Бежит, как соболев на падаль... Скрою ей, скрою. Я и пекарь, я и аптекарь... Ну, бабы!..

Тогда он работал шофером в казахстанских степях, гонял по трассам свой грузовик, забирая попутные грузы. То в его кузове золотилось литое, укутанное брезентом зерно. То дымилась медная зелень руды. То ревели быки, растянутые на мокрых цепях. То лежали в прозрачной смазке роторы электромоторов.

Кланю он брал с собой, сажал в кабину. И было им прекрасно вместе нестись, слыша рев ветра в моторе, брызги дождя по кабине, смотреть, как фары захватывают струю асфальта и ночные насекомые умирают, разбиваясь о стекла.

Она удивлялась огромной степи и синему небу с белыми облаками, и ходящим по пшенице красным неуклюжим комбайнам, и ночлегам у маленьких степных речушек, пахучим кострам из сухих кизяков, на которые выходили отары, смотрели сотнями овечьих мерцающих глаз. А в цветном тазу дымился, благоухал бешбармак, и казах брал парное мясо узкими смуглыми пальцами.

Однажды в крохотном магазинчике, в безымянном степном селе они увидели за прилавком яркое платье, в шелковистых переливах, разводах, полупрозрачное, как крыло бабочки. Она загорелась, потянулась к нему навстречу, и Роман, смеясь, радуясь, что может ее одарить, купил ей платье.

Они остановили в степи грузовик. Она, сбросив блузку и линялую юбку, касаясь шелка губами, нарядилась в новое платье. Будто вошла в него, длинноногая, белолицая, светлая, сквозь прозрачную ткань, застегивала пуговицы на спине, оглаживала груди, бедра, живот, целовала Романа.

Они неслись вдоль синего озера, по узкой косе. Ее платье горело рядом. И вдруг у воды, вдоль дороги, возникло стадо сайгаков. Мчались самцы-рогачи, высланные в степь дозором, за которыми двигались в отдаленье несметные стада самок и молоди, уходя от волков и ненастий. Звери бежали, сжатые дорогой и озером, вишневыми, гладкими, отливали на синей воде.

Роман прибавил скорость, и сайгаки надали. Они скакали перед самым радиатором, круглотелые, плотные, словно бомбы, с хрупкими, напряженными ножками, носатыми мордами и рогами. Он чувствовал горячий рев двигателя и бешеную работу звериных сердец, мерцанье глаз и копыт и огненно-яркое платье. Она прижималась к стеклу задыхаясь, на щеках и на шее — румянец. И, прибавив газу, он медленно провел через стадо грохочущий грузовик, и табун, распавшись, сомкнулся, козы давали высокие свечи, взмывали, поджав под брюхо копыта, и, разворачиваясь, исчезали.

Они лежали у речки. Их грузовик чуть виднелся за плетеньем кустов. У глаз их недвижная тихая заводь. По горячему песку пробегает малая птичка. И платье ее раз-

вешено на твердых вянущих травах, светится тонко на солнце...

Роман крутил за столом керосиновую сальную лампу, выдавливал холодный обгорелый фитиль. Ньюкино тряпье ворохом темнело на кровати.

Он всколыхнулся от рева над крышей избы. Вскочил и увидел самолет, садящийся на луг, удары колес и подпрыгиванье, разворот машины у самой воды. Ждал, на что-то надеясь, когда раскроется дверца. Появился пилот в белой рубаше, с галстуком, стал вышвыривать ногами ошметки бумаги.

Рыбаки уже бежали к складу. Роман заторопился со всеми.

Отворили дверь на скобах, входили в полутьму, где пахло сыростью, тухлой рыбой, мерцал оплавленный лед, стояли рядами бочки.

— Эй, кто-нибудь! Давай к порогу подкатывай, а другие — кати к самолету! — приказал бригадир, опрокидывая первую бочку.

Роман подхватил катящийся на него пузатый бочонок, ловко перебросил через порог и, пихая ладонями, погнал по траве, по солнцу, давя хрустящие стебли, пачкая руки о ржавчину, соль, рыбий сок. Оглянулся — рыбаки катили бочки, крича, весело сквернословя. Пилот устанавливал трап из досок. И Роман, крякая и пыхтя, вкатил в самолет распертый бочонок, с гулом пустил его в фюзеляж. А другой пилот, брезгливо, стараясь не запачкать щегольских брюк, остановил бочонок вычищенным штиблетом, поставил его на попа.

— Замараешься, в квартире душ вымоет! — подмигнул ему Роман.

— Домой придешь, опять жена скажет, в рыбьем жире плавал, — ответил пилот.

— Ничего, мы тебе ща тухленькой добавим. Чтоб жена любила.

— Все рейсы снимали, бросили к вам за рыбой. В порту пассажиров битком. Ждут, когда с вами покончим. Ее самолетами через горы таскать, золотая рыбка получится.

— Для вас, товарищи, стараемся. Вы для нас постарайтесь. Пива хоть привезите ящичка два, за свеженькую язынку.

— В городе пива нету. Когда завезут, доставим.

Другие рыбаки закатывали бочки по трапу, пуляли их внутрь, словно желали разнести машину. Пилот отбивался,

направлял бочки в нос самолета, а рыбаки бежали обратно, крепкотелые, крикливые, кривляясь на ходу.

— Рыбешка озерная, ешь твою мать!

— Эй, водки привез, крылатый?

— В кино, что ль, с ними слетать! Фильм просмотреть про любовь!

— Нинка тебе фильм устроит, багром по морде!

Дверь в самолете захлопнулась. Он побежал тяжело, оторвался, косо ушел над озером, распугав из травы маленьких черных уток.

Другая машина, бросая волнистую тень на лес, опустилась на луг. Роман снова бежал, подгоняя бочонок, задышался, кричал со всеми, возбужденный от ревуших, садящихся самолетов. Машины забили тесный луг, разворачивались и трещали. Пахло дымом, цветами, рыбой.

Бригадир, мелькнув синим шальным глазком, протащил мокрый, наполненный свежими язями мешок. Сунув пилоту, получил взамен бутылки.

— Рыбка плановая и сверхплановая,— ухмыльнулся он мужикам.— Поневодим да согреемся!

— Хорошо, черт!— радовался Роман, пробегая у самолетных крыльев, сквозь которые чисто светлело озеро.— Чего еще надо? Какой ей дом подавай? Это же дом? Воля! Не мы к ним, а они к нам! Кум королю, сват министру! От черт косорылый!— он беззлобно ругнул бригадира, стоявшего руки в боки, наблюдавшего работу других.

Когда взмыли последние самолеты, оставив разбитый, растревоженный луг, Роман не пошел к всеми. Вышел к озеру на мелкую воду. Ополоснул грязные, в ржавчине, руки со свежей кровавой царапиной. Опустился на берег перед желтым одиноким цветком, распустившим остролистое соцветие, за которым синели тихие воды, хребты нависли ледяными шатрами.

Сколько он гор повидал? Сколько раз маячил ему из пустыни сиреневый хребет Копет-Дага, и он сидел у ленивой зеленой воды канала, глядя на пьющих верблюдов, слушая звон колокольцев. Урал поднимал свои черные округлые лбы, когда подплывали по Оби к Салехарду, и он наводил бинокль на ртутные вздутые струи, на волнистые тундры и на горы, опушенные сверкающим инеем. Яблонный хребет под Читой в розовых взрывах багульника, когда летишь на самолете к эвенкам над цветными подушками гор с дымом далекого лесного пожара. Твердые башни

Хингана, стиснувшие стремнины Амура, летящие обломки дубов, туманные звезды, тоскливый рев самоходок, и наутро медведь плывет с китайского берега, башкастый, с прижатыми плотно ушами. И эти Саяны, голубые, томящие, с барсами в ледниках, козлами на цветущих лугах, и за ними — жаркие тувинские степи с блестящими невесомыми ковылями, с одиноком всадником на белой лошади.

Может, это отнимает покой? Многоцветье и неповторимость земель, непохожесть названий, пестрота несметных народов, рисунки звезд над их головами? Вдруг что-то толкнет легонько, то ли в грудь, то ли в темя, какое-то предчувствие, предвкушение нового знания, и ты уже снова едешь, меняешь место, гонишься неизвестно зачем.

Он работал тогда в Армении взрывником, на молибденовом руднике. А Кланы в столовой разливала борщи и супы, тут же в карьере, обслуживая горняков.

Канатная дорога через темную пропасть с белой кисеей водопада, слюдяной прожилкой реки. Вагонетки срывались с площадки, как с палубы авианосца, шли непрерывными эскадрильями над бездной, сливаясь в сплошную скользящую карусель. Будто бомбили орлов, водопад, прилепившийся в горах монастырь. Снизу били по ним зенитки глубокой горной грозы, и они возвращались пустые, ободранные, с вмятинами и пробоинами, дымясь и обугливаясь, приземлялись на палубу.

Он лазил в карьере над скребущими экскаваторами, оплетая скалу шнурами. Ощупывал ее цепко и пристально, как врач, различал под ребрами дыхание, оленье сердце, соединение позвончиков и костей. Закладывал заряды взрывчатки.

Шипящая струйка шнура. Шофер-армянин двигается на сиденье, давая место ему. Торопливое бегство по крутым дорогам карьера. Унылый гудок сирены. Они выезжают на гребень, глядя на скалу, на безлюдную технику, считают секунды, щуря глаза, зная, что фитиль подползает к шнурам. И вдруг глухо качнуло землю тупым ударом, приподняло скалу, опушив ее остриями взрывов, опустило, расколов на огромные глыбы. И снова надо мчаться обратно, осматривать взрыв. Она, его Кланы, выскочив из столовой, гордясь им, машет несущейся мимо машине. На месте взрыва — пахнувший камень, гроздь и жилы руды, блестящие ручьи молибдена, как мозг в земляных костях. Он держит на ладони кусок руды, думает, как переплавят его в треугольник крыла, в сверхпрочный космический конус.

И после, находя в небесах маленький спутник, он думал, что в нем светится капля его молибдена.

Куда она дела серебристый кусочек руды, который долго возила с собой, вспоминая их комнатку в Каджаране? Она убирала ее салфеточками, занавесками. Они купили новый буфет и диван, завели полосатую кошку. Она говорила, что хочет остаться здесь жить, что, кажется, будет ребенок. Ночью он проснулся от удара земли, жуткого мяуканья кошки, падения сухой штукатурки. Горы трясло, звенела посуда, зеленые кошачьи глаза горели во тьме. Но она не проснулась, дважды закинув локти, в свете уличного, за окном, фонаря, красивая, дышащая. И он смутно чувствовал таинственность жизни, соединившей их среди колыхания гор, с глубоким подземным огнем, а тут она, перед ним, исчезающая с каждым вздохом. И куда она потом задевала кусочек серебряной руды?

За спиной Романа сигналил гудок. Неслышно, по траве, подкатил грузовик. Знакомый ему тувинец Солчак скалил белые зубы на коричневом испеченном лице.

— Тебя искал, где Роман? Дома смотрел, нету. Лодка смотрел, есть. Бригадир казал, тут сидишь, гадаешь. Пойдем со мной!

— Далеко?— лениво отозвался Роман.

— Зачем далеко? Сапкоз! Управляющий посылал, вези Романа, крюка варить надо. «Елочку» сапкоз привезли, собрать не могут. Два крюка оторван. Управляющий гонял, зови Романа, бутылка будет!

— Бутылка будет!— скривился Роман.— У меня две под столом стоят, да и глядеть не могу. Что ж сами собрать не можете?

— Били, били, еще больше ломали. Зови Романа крюки варить.

— Эх, охотнички-звероловы,— качал головой Роман.— Пора к технике приучаться. Я тебе в прошлый раз показывал, как шов варить. Взял бы аппарат, поработал.

— Не могу еще!— радостно закрутил иссиня-черной пышной макушкой Солчак — Ты хорошо варишь, техника понимаешь. Управляющий сказал, давай Роман.

— Отдохнуть не дают, замотали!— ворчал, поднимаясь, Роман.

Они въехали в тувинскую деревню с ровным рядом домов, с клубом под красной вывеской, под которой толпились круглолицые женщины и старухи, провожали взглядом несущийся грузовик.

Роман вышел у машинного двора, захламленного ржавым железом, остовами сеялок и машин. Среди отработанного металла нарядно мерцала краской новая доильная установка. Тувинец в ковбойке колотил кувалдой, выпрямляя согнутый борт.

— Здорово, — Роман пожал управляющему руку, а тот приподнял фетровую, размоченную дождями, выжженную солнцем шляпу с волнистыми опущенными полями. — Да вы бы на нее прямо бульдозер пустили. А то бьете кувалдой по мелочам.

— Се аккуратно делиаем, — виновато, с облегчением глядя на Романа, сказал управляющий. — С завода такой дрянь поступил. Крыло помят, сцеплений оборван. Варить надо.

— Понежней, понежней, милок! — Роман оттеснил тувинца в ковбойке, отбирая у него кувалду. Поднял с земли молоток и, подставив под железо чурак, стал легонько и точно постукивать, выпрямляя борт, стараясь не сдернуть краску.

Пока готовили ему сварочный аппарат, он зорко, остро рассматривал установку, постигая ее несложный, но тонкий закон, сцепления переборок и трубок, любясь новым, выпущенным с завода изделием. При перевозке по зимнему замерзшему Енисею, от удара или падения, стенка погнулась, лопнул соединительный стык.

Ему подали трезубец держателя. Он медленно, важно зарядил электрод. Встал на колено и начал варить тонкий и сложный шов на жести, готовый прогореть от неверного движения руки. Он варил без очков, всматриваясь в белый слепящий пузырь, чувствовал слабое дрожание металла, пульсацию и биение дуги, кипение на конце электрода. Он наслаждался этой работой, применяя одному ему известные тонкости, будто варил не пустяшную «елочку», а громадную трубу нефтепровода среди расплавленных почернелых снегов или арматуру плотины, сидя на бетонной отвесной стене, над зияющим котлованом.

Приварив стык, он смотрел, как остывает серый металл. Глаза болели от сварки. Он их стиснул, выжимая из-под век две слезы.

— Хорошо варить можешь, крепка, — хвалил управляющий, — иди к нам сапкоз механиком. Дом жить дадим.

— Мне дома не надо, я холостой. — Роман вытирал слезы огромными, испачканными железом пальцами.

— Тувинка тебе найдем, женим. Красивый тувинка! — смеялся управляющий.

— От меня русские бабы, и те бегут, — ухмыльнулся Роман.

— Тувинский женщин верный. Русский женщин может бежать, тувинский — никогда!

Управляющий извлек из пиджака бутылку, отодрал зубами фольгу. Налил полный до краев стакан, поднес Роману, держа кусок холодного мяса. Роман хотел отказаться, но передумал. Вдохнул, принимая стакан, оттопырил губы и медленно, двигая горлом, выпил водку, чувствуя ее мерзкую горечь. Выплеснул остатки на землю.

— Давай обратно меня вези, — сказал он управляющему.

— Зайдем ко мне, допить надо. Вечером клубе кино смотреть будем.

— Не хочу! Неводить надо! Скажи ему, чтоб отвез!

Он чувствовал, как в нем разгорается пьяное солнце. Ему стало хорошо и свободно. Он ощущал себя молодым, гибким. Отобрал у шофера руль, гнал грузовик по черной мягкой дороге среди лиственниц и берез. Вылетал на поляны, усыпанные жарками, выстилавшими тайгу оранжевыми ворохами. Погружался в тенистые кущи, где у толстых стволов мощно краснели одинокие, на сочных стеблях, марьины коренья. Летел вдоль опушек, бледно желтевших отцветающей сон-травой, в серебристом пуху. Он смотрел на цветы, ловил на себе их отсветы.

— Слышь! Чуть что — Роман да Роман! — хвастал он шоферу. — Роман, привари! Роман, скрой! Роман, печку сложи! Я что хошь могу! Я половик соткать могу, который бабе не снился, и мотор на сто киловатт перебрать могу. Я все двигатели наизусть знаю! Тракторный знаю! Судовой знаю! Самолетный, считай, тоже знаю! Мне скажут, Роман, почини ракету, — и починю. Я везде нарасхват, понял! На любой завод, милости просим! В автоколонну — пожалуйста! На буровую поммастером — встану! За мною повсюду гоняются: иди к нам, иди! Да только что слышал! А почему? Знают, что верный! В огонь полезу и не сгорю! В воду кинусь и не утону! Отвечать не придется! Да на таких, как я, весь Союз держится! Мы и в атаку, и костями, если что... А они говорят, летуны! Да мы не летуны, мы летчики! Потому что легкие, зла не помним! Без шуб на снегу спим и денег не берем, разве что полстакана... Оттого от нас и бабы сбегают!..

Он мчался в мелькании цветов, вглядывался в мали-

новые лопасти распутившихся диких пионов, и глаза его слезились, обожженные цветами и сваркой.

Они плавали на танкере по Оби, он — мотористом, она — поварихой. Возили горячее на север, до самого Карского моря, где сновали катерочки геологов, по узким тундровым речкам, трещали вертолеты, забирая вахты на дальние буровые, и первые скважины свистели от нефти и газа.

Он пропадал в машинном отделении среди звона и грохота нарядной, блестящей махины, среди стука цветных кулачков, дерганья стрелок в манометрах. Любил эту потную живую громаду, мерный рев дизелей, переводивших горенье материи и мощное вращение винта. И сам казался себе могучим и медным.

А она целый день жарила, пекла и варила, у газовых гнезд, среди начищенных жарких кастрюль. Поила и кормила команду.

Они встречались в маленькой каюте, которую она оклеила открытками с изображением кошек, цветов и детей. Смотрели на движение разливов, проблески холодного солнца. Проплывали сенокосы со стогами лугового зеленого сена. Двигались навстречу баржи с гроздьями труб. Пенили воду нарядные белые самоходки. И пахло то травой, то пиленным лесом, то далекими сырыми борами.

И однажды от искры в насосе взорвался отсек с бензином. Вырвало у палубы клок, скрутило шпангоуты, и танкер встал на дыбы, превратился в огненный столб. Ревело железо, сбрасывая красные плавающие языки. Сыпались люди за борт, маленькие, в пылавших одеждах. Он, обгорая, кинулся к ним в каюту, неся на спине ворох огня, нырнул в воющий рыжий вихрь и вынес ее как факел, кинулся в реку.

Он плыл, загребая, чувствуя ожог во всю спину. Держал ее на себе, хлюпающую и недвижимую. Молил, чтобы доплыть, чтоб она уцелела, чтоб ее пощадила судьба. Ткнулись в заросший берег, в холодные луговые травы. Он укладывал ее, слипшуюся, в обгорелых одеждах, прижимался ухом к ее груди. Страшно, зеркально горел на реке их корабль. Сновали вокруг катера, а он лежал с нею рядом, и комары, вылетая из трав, садились на них плотной тучей.

Он ходил к ней в больницу, и она сквозь белые марли звала его в забыты, и он дежурил ночами под синей лампой, мыслями своими переливая в нее свою силу, здоровье, и она поправлялась. И сейчас еще кожа на ее груди и на бедрах в переливах от прежних ожогов...

«Не горим, в огне не горим!»— бормотал Роман, проносясь в разноцветье тайги.

Роман валялся в траве перед домом, пихнув под голову робу, перелистывая замусоленный, с выдранными страницами журнал. Собаки подходили, обнюхивали и лизали его босые ноги. Он читал неправдоподобный, без конца и начала, рассказ, казавшийся ему сплошным обманом, с ненастоящими, выдуманными людьми, их словами, делами и отношениями. Он пугался: а вдруг и правда существует такая жизнь и такие люди, и это-то и есть настоящее, а он ослеп, сбился с пути в своих вечных метаниях.

«Кто бы про меня написал!— подумал он в беспокойстве.— Мою бы жизнь кто описал, кто б ее понял! Я б ему рассказал,— сиди да записывай!»

Он представил себе человека с внимательным чистым лицом, раскрывшего тетрадь. И себя, сидящего перед ним, доверяющего, желающего заинтересовать человека своей судьбой. Было много интересных историй, можно прямо в журнал. Как поймал на уду тайменя в рост человека и, укрощая, плыл на рыбе верхом, колотя ее в череп ножом. Или про соболиные ловушки, когда в сруб заносили туши убитых лосей, и соболи сбегались на падаль со всей округи,— так и брали их разом полсотни, подымая кол, опущенный в сруб через крышу. Или про то, как сидели в пургу на заимке, карабины на лавках, и они с напарником, забив в бочонок дрожжей и сахар, катают его ногами друг к другу, а вечером пьют допьяна шипящую брагу. Пиши, публикуй в журнал.

Но нет, не об этом хотелось ему рассказать. А о том, зачем он живет и кто он такой, Роман, как он себе представляет: всю свою жизнь, и страну, и людей. Что думает он про работу, про деньги, про мужиков и про женщин, как понимает совесть и какая ему цена. Он пробовал сейчас все это обдумать, чтоб изложить по порядку, но не мог. Все путалось, оставалось невысказанным, а там, откуда должен был появиться рассказ, что-то болело и мучило.

Он работал сварщиком в разъездных бригадах на севере Казахстана. Варил трубопроводы в бетонной громаде ГРЭС в Ермаке в пусковые бессонные ночи. Запускал конвейер на тракторном в Павлодаре, глядя, как движутся зубастые блестящие гусеницы. В Экибастузе на разрезе наваривал на корончатый ротор победитовые насадки, дробившие породу и уголь. Мотался по степи, по совхозам, радуясь белым снегам, черным пятнам пасущихся лошадей.

Однажды его позвали варить давшую течь водонапорную

башню. И он, как был, сгоряча, в резиновых сапогах, пиджачке полез с аппаратом в гулкую черную емкость. Стоя по колено в воде, обкалывал лед, обнажая разрыв, озарял ржавое нутро вспышками сварки. Заварил огреху, выбрался мокрый, продрогший. А вечером слег в жару и бреду.

Его колотил озноб, в глазах взрывались белые звезды сварки, и сквозь вспышки — лицо его Клани, шепчущее, утешающее, и руки ее, кладущие на лоб холодное полотенце. Она растирала его водкой, раскалила печь докрасна, а потом разделась и легла, грела его своим телом. И он, прорываясь сквозь бред и озноб, чувствовал: она здесь, прижимается к нему, глаза ее все в слезах.

Да как же оно так случилось? Что с тех пор подменило? Выдуло их молодость, тепло, красоту. Утомило в метаньях по огромной стране. Очерстило, огрубilo их души. Как им опомниться, как понять и вернуть?

Роман вскочил. Собаки шарахнулись с визгом, поджав хвосты. Он стоял, крутя головой, держа замусоленный старый журнал, порывался куда-то бежать. Но из домов уже выходили люди, натягивали робы и сапоги, двигались к лодкам. Летели над озером их зычные выкрики.

...Лодки, как черные перья, веером расходились по озеру. Рассекали столб вечернего и едкого солнца. Роман сидел на носу, подставляя ветру плечо, смотрел на проносящиеся острова. Бригадир правил к поросшей кустами тоне, ткнулся в плещущий берег, где в воде, со вчерашнего дня, колыбался огромный невод.

Рыбаки не вылезали из лодки, хлюпали тяжелой капроновой снастью, вытряхивали из нее дохлую, начинающую тухнуть рыбу, — зеленых шершавых окуней, белобрюхих сорог. Отшвыривали их далеко, и они всплывали, утопив хвосты. Прилетел огромный озерный коршун, взмахивал пышными крыльями, прицеливаясь, нависая над рыбой, но хватать не решался. Попадал на солнце растопыренными выгнутыми перьями, становился оранжевым.

Рыбаки выбрали снасть, сложив ее в лодку пахнущей влажной горой.

— Здесь, что ль, бросать-то будем? — спросил Роман, глядя на коршуна, на загнутый клюв, мерцавшие бусинки глаз, треугольный расширенный хвост.

— Оглядеться надо. Пришел, нет косяка, — сказал бригадир, пуская лодку от берега. Они сделали круг и застыли на вечернем заливе. Бригадир вытягивал жилистую крученую шею, косил подбородком, вглядываясь в залив, искал на нем плески.

Солнце ушло за лес. Высокое недвижимое облако розовело над озером, отражаясь в белесой воде. Хребты парили невесомые в заре, с голубыми прожилками ледников. Бледная, размытая, круглая, вставала луна. Роман замер, глядя на прозрачное мерцание хребтов.

— Тута! Пришел косяк!— присвистнул бригадир, кивая на мелкие острые брызги убежавшей серебристой молодежи, за которой, невидимые, гнались щуки и окуни.— Тут бросать станем!

Они высадились на берег. Роман вылез из лодки и обмотал за ствол конец веревки, придерживая выползающий через борт невод. Лодка удалялась на малых оборотах, тихо стуча, ясно чернея на малиновой воде. Невод сыпался бахромой, оплетая отражение розового облака, в котором стоял косяк. И Роман не мог оторваться от вод и далеких гор, чувствуя сладость и муку, не умея ее объяснить, свою безымянную жизнь, красоту азиатской зари.

Лодка вернулась. Рыбаки вылезали, становились один за другим, перенимая концы, упирались, тянули. Натягивали жилы на руках и на шеех, взбухали кулаки. Хрипели и охали. Невод вяло шел, и Роман, напрягаясь, бросал под ноги волны набегающей ячеи.

Облако гасло, уходило из невода. Луна поднималась, наливаясь светом и белизной, волновала озеро легчайшим своим отражением.

Они работали, дышали паром. Луна горела в потемневших небесах. Катился по озеру лунный свет. Они вытягивали тяжеленный кошель, колыхнувший их, потащивший обратно в озеро. Но они в натуге, с руганью, упираясь в дно сапогами, выволакивали его за кусты и на травы. Он грохотал, колотился, словно в нем работал огромный сияющий ротор, отливая синими молниями.

Они распускали шнуры, рыба растекалась, как лопнувший гигантский пузырь, текла лунными пылающими ручьями. И они перебрасывали ее в лодку, будто отливали в бортах сияющую длинную форму.

Мокрые, продрогшие, возвращались назад, обдуваемые ледяным ночным ветром, рассекая ладьей ртутный блистающий столб. Остальные уже были дома. Горели костры. Слышались бабьи крики и песни.

Разгрузились у склада. Бригадир толкнул Романа в плечо:

— Айда ко мне. Баба уху сготовит. Маленько согреемся.

— Переоденусь, приду,— ответил Роман, глядя вслед бригадиру, уносившему мерцающих слизистых шук.

Он приблизился к дому, и дверь была настежь, как оставил ее уходя. Из избы тянуло теплом, и ему показалось вдруг, что кто-то есть в доме. Он шагнул во тьму и позвал:

— Клания!

Никто не ответил. Роман стал шарить по столу, нащупал лампу, старался отыскать спички. Но наткался на рыбы кости.

Он вспомнил, что спички, целый запас, лежат под кроватью в ящике, вместе с солью, рыболовными крючками, патронами для карабина. Выдвинул ящик на ощупь, наткнулся на какое-то тряпье, швырнул его на пол и выловил спичечный коробок. Запалил лампу.

В избе было пусто, неприбранно. В бревнах торчал старый мох. Печка небеленая, в частых трещинах. Клеенка задрызгана. Под ногами валялось тряпье. Он нагнулся, поднял, поднес к свету. И увидел, что это ее старое платье, засаленное и изорванное, то самое, что когда-то, в бесконечно далекие дни, ослепительно яркое, как крыло разноцветной бабочки, она держала у глаз, примеряла, смеялась. И степь была серебристой, мчались сайгаки, и она, его любимая, задыхалась от счастья. И он вдруг остро и ясно понял: все, что он делал все эти годы, метания, погони, яростная радость и сила,— все было во имя нее, вместе с ней. Он держал на руках ее платье, глядел и не мог наглядеться, слезы текли, и он повторял:

— Клания, ах Клания моя! Что ж мы так с тобой, Клания!

Он вышел из дома. Луна светила высоко и огромно. Собаки лежали, свернувшись, на освещенной земле серебряными глыбами снега. Хребты чуть видно мерцали льдами. Роман смотрел на них, уносясь к ним всей своей страдающей, любящей силой, и знал, что станет ждать ее возвращения до самых вьюг и буранов. А если она не вернется, то кинется вслед за ней, будет искать ее по огромной стране, меняя города и дороги, заглядывая в лица людей, и найдет ее, в горах ли, в степях ли, ибо нет ему жизни без ее любимого навеки лица.

Он стоял на крыльце. Костры горели по берегу. Бабий голос выводил высокую песню.



Г. Василевский

**ВЕСНА
НА УСТЬЕ
ИЛИМА**



о вечерам в зимовье о чем только не говорили. На ночь кочегарили печку и, напившись чаю, все лежали поверх спальников, и огоньки папирос светились в темноте. Когда Вадим был свободен от ночной смены, разговаривали больше о жизни, в высоком, философском смысле этого слова. Если сменялся Яша, вспоминали, кто где когда работал, какие были заработки, какой начальник. Когда приходил с работы Петро, обязательно говорили о бабах. Сам Петро больше всех и говорил, прибавляя всякий раз: «Все это из жизни, братцы», и когда начинал очередную историю, коллекторша Тоська, единственная в зимовье женщина, просила его подождать, забиваясь с головой в спальный мешок, и оттуда слышался ее сдавленный смех.

Но все очень удивились, когда однажды она выскочила из зимовья, и думали, что она смеется, а потом поняли, что плачет,— все удивились, а Вадим сказал:

— Что же вы хотите? Бабе скоро тридцать, всю жизнь по экспедициям, без мужика...

— Эх, боюсь, жинка узнает, а то бы я давно,— сказал Петро.

Все это были семейные мужики, и жены их, оставшиеся на той стороне реки, в деревне, отлично знали Тоську, и она их знала. Только Андрей был не женат, и Петро говорил ему: «А я бы на твоём месте давно сказал: Тосенька...»— и добавлял, что именно он сказал бы. Андрей верил, что он так и сказал бы, если бы не боялся, что узнает жена,— Андрей видел ее в деревне и трех Петровых ребят-

шек, — а потом представлял, как сам говорит эти слова, и не мог представить. Неужели надо говорить именно эти слова, интересно, а те ребята в Братске, которые рассказывали ему про Тоську, тоже так говорили или по-другому? Один, правда, сказал, что пел ей песню «Ах, эта девушка, полумесяцем бровь, на щечке родинка, в глазах любовь», но он признался также, что у него ничего не вышло.

А у Андрея могло выйти, еще зимой, в деревне, на 8 Марта, когда гуляли у фельдшерицы Томки — она разбавила самогон мятой, чтобы отбить привкус, — и Андрей танцевал с Тоськой, а она то и дело прижималась к нему грудью, никогда он еще не танцевал так ни с кем. В школе, правда, бывало, с девочками, но мимолетно, и оба вы сразу делали вид, что ничего не заметили, но сейчас уж никак нельзя было не заметить ни ему, ни ей. Все снова сели за стол, а они еще танцевали.

Потом не хватило выпивки, и Андрей вызвался сходить к продавщице на дом, у нее всегда была водка, по вечерам она везла ее из магазина на санках.

— И я с тобой, — сказала Тоська.

Был сильный мороз и много звезд. Тоська толкнула его и заскользила вперед по ледяной дорожке, и он знал для чего, — для того, чтобы он ее догонял. Голова его прояснилась, и он, не торопясь, шел следом, все понимая, — почему она пошла с ним и что означает, что она его толкнула, — и в душе его было какое-то умиротворение и мысль, что, несмотря на все это (что — это?), Тоська — хорошая. Недавно, в жаркой избе, ему хотелось танцевать и танцевать с ней, и он даже боялся, что все заметят и станут смеяться, а теперь все прошло, лишь назавтра и позже, вспоминая, он жалел, думал, что надо было за ней побежать, догнать, схватить, а потом они непременно поцеловались бы. Наверное. Ведь если бы она не хотела этого, она не пошла с ним. Ведь о чем-то она думала. Но, вспоминая, он всегда удивлялся тому, что в такие минуты на него находила какая-то суровость, или ему становилось стыдно своих мыслей, или вот такое умиротворение, когда ему казалось, что он старый и мудрый и все понимает.

И еще могло получиться весной, когда по реке стало плохо ходить и всем пришлось перебраться в зимовье, рядом с буровой, и жить там. Река еще стояла, и возле нее было прохладно, а в тайге было жарко, как летом. Снег по сопкам сошел, остался только в распадках, и тайга вся полна была птичьей возней. Возле самого зимовья свистели рябчики

и трещали какие-то яркие, пестрые большие птицы — их называли кукуши. И в первый раз Андрей услышал, как кричит самец кукушки, глухо и отрывисто: бу-бу-бу. Крик его почему-то раздражал, и Андрей все пытался выследить и убить этого самца, но он был очень осторожен, не подпускал близко. А рябчики, наоборот, были доверчивы, и Андрей целыми днями лазил по тайге, охотясь за ними, стараясь не бывать в зимовье, когда там Петро со своими разговорами.

— Знаешь, где Тоська загорает? Прямо над нами, на сопке, — сказал однажды Петро, когда Андрей собирался на охоту.

— Мне-то что? — ответил он, но все-таки не выдержал и пошел в ту сторону.

Подходя, он заметил сквозь кусты что-то белое, выстрелил вверх и увидел, как она заметалась там, натягивая одежду. Потом она увидела его и успокоилась. Она сидела на одеяле, с книжкой.

— Что читаешь? — спросил он, наклоняясь. Он видел ее тело, близко, и теперь оно почему-то не возбуждало его, как в одежде, а, наоборот, оно его даже отталкивало, и он почувствовал облегчение.

— Садись, — сказала она.

— Да нет, я на охоту, — ответил он, повернулся и пошел, и, отойдя, выстрелил, и, как только выстрелил, почувствовал всю неубедительность, неправдоподобность того, что казалось ему таким правдоподобным (шел человек на охоту), и уж она-то, конечно, поняла, зачем он шел. «Хоть бы не сразу я выстрелил», — подумал он.

Да, конечно, она поняла, потому что в другой раз, когда они собрались втроем: Яша, Вадим и Андрей, договорившись, кто в каком направлении пойдет, Тоська крикнула: «Подождите, я с вами»; «с вами» — крикнула она, но Андрей знал, что она увяжется за ним, и полез, не оглядываясь, в сопку.

«Значит, теперь», — думал он, слыша, как она тяжело дышит за его спиной, и нарочно шел быстрее, но она не отставала.

Они взобрались на самую вершину, и тут она взмолилась, сказала, что не может больше.

— Ну вот, — проворчал он недовольно, как будто только и думал что об охоте.

— Пойдем здесь, — отдышавшись, сказала она, указывая на ровный сухой хребет, уставленный редкими соснами, между которыми внизу виднелась река.

— Еще чего?— сказал он.— А рябчики?— И полез вниз, в распадок, на дне которого темнел частый ельник и лежал снег, темный, зернистый, весь в иглах и кусочках коры, и местами аккуратные кучки рябчикового помета. Это было самое настоящее место для рябчиков, но, конечно, они как провалились все.

— Какая уж теперь охота,— сказал он, продолжая делать вид даже для себя, и поднялся обратно.

Было жарко, она сняла телогрейку и осталась в ковбойке и лыжных брюках.

«Теперь, значит»,— стучало у него в голове.

Они вышли на Крест, старую разрушенную скалу над рекой. Она села, прислонившись спиной к сосне и закрыв глаза, и он не мог не смотреть на ее торчащую под ковбойкой грудь, тут же отводя взгляд, потому что знал, что если она вдруг откроет глаза и увидит, то сразу все поймет.

Вдруг он заметил внизу, метрах в полутора под обрывом, цветы. Все называли их здесь подснежниками, но один приезжий корреспондент сказал, что это анемоны. Очень красивые цветы — лиловые и желтые, на коротких пушистых стебельках.

— Хочешь цветы?— сказал он и начал спускаться. Потом он посмотрел вниз, крикнул ей, чтоб она захватила ружье, и полез дальше. Скала была вся в уступах, и спускаться было не очень трудно, лишь в одном месте ему стало страшно, когда камень вырвался у него из-под ног...

Тоська вышла из-за поворота, он отдал ей цветы, а один воткнул в ружье и засмеялся. Она тоже засмеялась и сказала:

— Какой ты еще мальчишка!

И он вдруг, как тогда, 8 Марта, почувствовал свое превосходство, потому что он знал, отчего она так говорит, отчего они так говорят в таких случаях, а если знал, то, следовательно, он и не мальчишка. А главное, он теперь мог смотреть на нее совершенно свободно, потому что прошло смятение, которое было в нем там, на скале.

Они вернулись в зимовье, и почему-то ребята сразу поняли, что у них ничего не вышло. «Ничего у Тоськи не вышло»,— сказал Петро, так и сказал — «у Тоськи», а не у него, Андрея.

Но смятение это возвращалось к нему не раз в ту весну, и в такие минуты он чувствовал, что ему хочется словно отомстить ей за что-то, и как-то вечером он все приставал: «Хочешь, я расскажу, какой ты была в семнадцать лет?»— пока

она не сказала: «Ну, Расскажи, Расскажи». Тогда он стал описывать, как она рано начала обращать внимание на свою внешность и не хотела учиться, а по вечерам, отправляясь на танцы, завивалась между двух зеркал, как, он видел в детстве, это делала его старшая сестра. Тоська слушала спокойно, не перебивая, будто заранее знала нечто, и, когда он кончил, сказала:

— Вот и не так. Я понимаю, ты, конечно, очень хотел бы, чтобы это было так, но была война, ты забыл или вообще не помнишь, и мама болела, а я работала, и все было не так.

Тут Андрею стало стыдно, он был еще так молод, что достаточно было какой-то мелочи, чтобы ему стало стыдно и все начинало казаться сложным, и достаточно было какой-нибудь мелочи, чтобы снова стало просто и все нипочем. Как они сидели однажды вдвоем в зимовье и Тоська у окна что-то делала, а он читал и вдруг увидел очень чистую линию ее виска и щеки. Достаточно было тогда этой чистой линии, чтобы ему стало стыдно. Вот и сейчас тоже.

...Когда лед на реке прошел, сразу же наступило лето, кончилась в тайге вся эта возня и неистовство птиц, и не слышны были крики гусей и уток на Сосновом острове, где у них были гнезда, и рябчики стали осторожны: вспугнутая птица снималась и летела далеко в чащу. Пришел катер, и все уехали из зимовья в деревню. В деревне Андрей встретил топографа, знакомого еще по Братску. Они выпили у хозяев самогону и пошли на танцы. Они сидели на лавке, у стены, глядя на танцующих. Топографу надо было уходить в тайгу на все лето, и сейчас он был возбужден и разговорчив.

Он наклонился к Андрею и сказал, кивая на Тоську:

— Я все смотрю, не подвалиться ли мне к этой девке?

— Я и сам смотрю,— ответил Андрей.

И снова все стало казаться ему проще простого.



МИТИНА СВАДЬБА



еще запомнил Андрей ту весну из-за Митиной свадьбы. Митя в экспедиции был радистом. На майские праздники, когда Андрей пришел в деревню, они вместе ходили за глухарями. Ток был километрах в четырех, в сосновом бору, на вершине сопки. Показал им это место Григорий Сизых, у которого Андрей останавливался на квартире. Первый раз он сам пошел с ними, а накануне сделал себе особые заряды: разломал несколько малокалиберных патронов и порох из двух гильз ссыпал в одну, а кроме того, крестообразно расщепил ножом свинцовую пульку и кончики слегка развел в стороны. «Чтобы рон был лучше», — сказал он, но Андрей сразу не понял, что такое рон, и Григорий пояснил: «Простой пулькой попадешь, да не убьешь, а этой пулькой стрелишь — убьешь, сронишь птицу». И точно, он убил глухаря, а Митя с Андреем, которые ходили с дробовиками, не убили. Но теперь они знали место и на завтра снова сговорились идти, одни.

Митя зашел за Андреем рано, часа в три. Андрей взял тозовку Григория и обул его чирки. Головки у них были сшиты из кожи, а голенища из мешковины и обвязывались крест-накрест бечевкой. Внутри была постелена сухая трава, да еще пододевались крипотки — толстые чулки, сплетенные из конского волоса, так что ноге было тепло, легко и мягко.

Луна стояла за Ангарой, низко над сопками, и лес на их вершинах серебрился, а у подножий отливал угольной чернотой. Повсюду еще лежал снег, но ветер, гулявший вдоль реки, был влажным и теплым. Где-то на деревне от этого ветра

скрипели ворота и взлаивала собака. Андрей и Митя перелезли через огороды, пересекли поскотину и сразу попали в лес. Они поднимались на сопку по неширокой дороге, проложенной здесь, чтобы вывозить из тайги дрова. Вчера, когда возвращались с охоты, снег на ней раскис и по колеям бежали ручейки, но за ночь дорога снова подмерзла. Они взойшли наверх, сели на поваленное дерево и стали ждать. Над деревьями уже чуть светлело, а внизу еще стояла серая мгла, и было тихо, но по-весеннему, с какими-то шорохами и вздохами. И вдруг раздался звук, точно сухие деревянные палочки стучали друг о друга, а потом — будто спичкой водили по коробку. Митя подтолкнул Андрея и молча показал в ту сторону, откуда, по его мнению, этот звук донесся. Андрей кивнул. Снова стало тихо, но ненадолго, и вот они начали петь в разных местах, и слышалось тяжелое короткое хлопанье крыльев, когда перелетали они с дерева на дерево. Митя не вытерпел, встал, и, держа тозовку наготове, пошел в чащу. Андрей ждал, что вот-вот раздастся выстрел, но выстрела не было. Он колебался, идти ли ему и в какую сторону, и тут совсем близко послышался новый звук: так иногда задумчиво квохчет курица, расхаживая в одиночестве по двору. Это была копалуха, самка глухаря, и Андрей увидел ее. Она сидела на вершине сухого дерева, четким силуэтом на фоне светлеющего неба.

Андрей хотел было стрелять, но решил подойти к ближайшему дереву, чтобы прислониться, — он волновался. Копалуха, видимо, тоже раздумывала, в какую сторону ей лететь, но щелчок выстрела отвлек ее, она замолкла, вытянула шею и склонила голову набок. «Спокойно», — сказал себе Андрей, вставляя новый патрон. Пули у него тоже были расщеплены. Он выстрелил, копалуха кинулась вперед, потом резко вниз. Андрей уронил тозовку, рукавицы и побежал. Птица металась по кругу, волоча крыло. Андрей поймал ее, и снова вспомнилось ему из детства, как помогал бабушке ловить кур, чтобы узнать, с яйцом они или нет, и отчаянно кудахтавшая курица вдруг обмирала в бабушкиных руках и глаза ее задергивались серой пленкой. Копалуха тоже притихла, только была потяжелее курицы в несколько раз, и расцветка ее была дикая, лесная. Но вот она очнулась и забилась снова, так и не осознав, что с ней случилось, — все еще в той жизни, когда собиралась она лететь на сухое и звонкое шелканье и бормотанье. Из-за деревьев вышел Митя, тоже с глухарем, крича еще издалека: «С тозовкой-то лучше! Я выстрелил,

он только голову пригнул. Ага, думаю, обвысил. Пониже взял — как раз! Сам показывает!» От Митиного крика, показалось Андрею, в лесу сразу стало светло, и он услышал, как поют маленькие птички.

Митя был на несколько лет старше Андрея, но совместная охота — неудача, а потом удача — сблизила их. Митя жил за речкой, где был экспедиционный поселок, в маленьком, разделенном надвое домике. В одной комнатухе у него стояла рация, а в другой койка и чемодан. Вечером Андрей пришел к нему, они распили бутылку, и Митя рассказал ему про свою жизнь. Раньше он тоже был радистом — на пароходе, плавал по Ангаре. Однажды он познакомился с девушкой. То есть с девушками Митя знакомился часто, — он с облегчением человека, освободившегося от кошмара, поведал, как затягивали его пустые пароходные знакомства, — но эта была особенная, непохожая на всех. Она осудила его образ жизни, и, благодаря ей, он стал исправляться: бросил пароход, устроился вот в экспедицию и здесь окончательно исправился. Он показал Андрею ее письма и последнее письмо, в котором она соглашалась приехать к нему после того, как он написал ей, что со старым покончено. Митя достал из чемодана и показал «старое» — альбом со множеством фотографий, среди которых была, однако, и ее, Люсина, фотография. Теперь вот геофизик Худышкин поехал в отпуск и собирался быть в Иркутске, где жила Люся. Митя дал Худышкину адрес и деньги и сказал: «Вези...» Андрей смотрел на рассказывающего Митю, и вот еще почему он потом, вспоминая его, всегда вспоминал и глухариную охоту: он вдруг увидел, что Митя с его коротким горбатым носом и круглым сосредоточенным глазом очень был похож на бормочущего глухаря.

После праздников Андрей снова ушел на свою буровую, где работал коллектором, только работать ему теперь оставалось совсем немного — пока не пройдет река и не наладится дорога, а там он собирался уволиться и уехать. Андрей готовился поступать в институт и постоянно возил за собой учебники и другие книги. Он читал их на буровой, между подъемами снаряда, когда коллектору делать нечего, и в зимовье по ночам, когда все засыпали, — читал и выписывал в тетрадь, усердно занимался все свободное время, вот только весна и охота отвлекли его. Когда река прошла, Андрей вернулся в Карапчанку, где была контора, —

увольняться. От экспедиции в Братск собиралась баржа, и надо было на нее успеть.

В деревне мать Григория, баба Саня, первым делом сообщила ему, что Митя женится на фельдшерице Тамаре, и Андрей не удивился: всю зиму к тому шло, всю зиму их сводили, настырно, как это умеют только в деревне,— за столом в праздники сажали обязательно рядом и на танцах пары разбивались всегда так, чтобы Тамара и Митя танцевали друг с другом. Особенно старалась завхоз экспедиции Дашка. Андрей вспомнил: на май, когда собрались большой компанией на Тамарином крыльце, подъехал кто-то верхом на лошади, и всем загорелось кататься. Митя с Андреем заспорили, кому первому, и тут Дашка — Андрей еще подумал о ней с благодарностью — вдруг заступилась за Андрея: «Пусть он, пусть он!» Но когда, прокатившись и потеряв шапку, Андрей вернулся, оказалось, что все уже разошлись, а на Тамариной двери висит замок. Но он почему-то еще заглянул в окно и увидел, что Тамара и Митя сидят друг против друга и о чем-то серьезно разговаривают. Андрей сгоряча, сдуру — ему и до сих пор стыдно — постучал по стеклу и крикнул что-то веселое, но они даже не взглянули. Стало быть, Дашка замкнула их, чтобы им не мешали. Так вот почему она вступилась, догадался Андрей, досадуя на нее, что обязательно ей надо во все влезть, сунуть свой нос, и вот своими интригами испортила такую хорошую компанию...

Но все-таки он и удивился, что Тамара выходит за Митю, потому что планы у нее были совсем другие. Когда Андрей еще жил в деревне, он часто заходил к ней, приносил какую-нибудь книгу, и Тамара говорила, что мечтает учиться дальше, на врача, и весной она тоже собиралась уволиться и уехать. Да и тщедушный Митя — Тамара была здоровая румяная девка с простым лицом — ей не нравился, всю зиму она над ним смеялась и, только подвыпив в каком-нибудь деревенском застолье, затягивала отчаянным голосом свою любимую: «Называют меня некрасивою, так зачем же он ходит за мной», и тут все опять же смекали, что «он» — это Митя, кто ж еще... Теперь в деревне только и говорили, что о женитьбе, рассказывала баба Саня, да еще болтали, будто Митя отбил Тamarу у него, Андрея, — ведь все знали, что он с Тамарой дружил, — и это Андрей хоть и возмутило, но тут же он почувствовал себя даже польщенным, потому что тем самым как бы признавалась его причастность к той стороне жизни, о которой он еще

не задумывался. «Да, а Люся?!» — вдруг вспомнил он и не успел подумать, знают ли о ней в деревне, как баба Саня выложила последнее: оказывается, Худышкин с Митиной девушкой уже в Нижне-Илимске и ждут только, когда подсохнет площадка в Невоне, чтобы прилететь первым самолетом...

Из Невона в Карапчанку можно было добраться только на лодке, и лодку эту заприметили еще издалека. Вся деревня сбежалась к бабе Сане в избу, потому что из окон ее хорошо был виден подъем от речки к Митиному дому. Андрей сидел, по обыкновению, у себя за перегородкой, читал литературно-критические статьи В. Воровского, но все хорошо слышал и мог представить себе, что происходит. Митя вышел из дому и спускался по тропинке, а девушка поднималась ему навстречу, и вот они сошлись. «Целуются!» — истошно завопила какая-то баба, и тут Тамара, тоже оказавшаяся у бабы Сани, не выдержала, прибежала к Андрею за перегородку и, навалившись сзади, заглядывая через плечо, забормотала: «Ты чего читаешь-то? Чего читаешь-то?» Тогда Андрей вышел, посмотрел в окно и сказал громко: «Где ж целуются? Стоят и разговаривают». Потом Митя взял Люсин чемодан и они вошли в дом.

Теперь в деревне гадали, на ком женится Митя, и с одобрением передавали друг другу слова, якобы сказанные Худышкиным о Люсе: «Митя не возьмет — я возьму». Но тем не менее все сочувствовали Тамаре, и Андрей тоже, хотя вообще не одобрял, что она выходит замуж, но если уж дошло до того: Тамара или эта никому не ведомая девушка, то Андрей был за Тамару. У всех сразу нашлись какие-то дела за речкой, в поселке «экспедишников», и переправлялись туда по несколько раз на дню, но как и о чем происходил Митин разговор с Люсей, узнать не удалось, да и сама девушка не показывалась. Таким образом, ничего особенного будто не произошло, и свадьба состоялась в тот день, в какой и была назначена, — как раз накануне отхода баржи.

Тамара жила в таком же маленьком домике, что и Митя, а потому гуляли у катериста Леши. Водка на Андрея тогда почти не действовала, зато ему нравилось наблюдать это первоначальное состояние, когда все начинают очень хорошо понимать, прямо проникать один другого, взгляды-вая с необыкновенной зоркостью, разгадывая друг друга

с полуслова, полужеста, а он понимал их всех. Вон Дашка сияет, добилась все-таки своего, и она моментально почувствовала его взгляд и поняла его, подмигнула. Вон Тамара и Митя, и он понимает их лучше, чем они себя, и все это — сама жизнь, в которой не надо ничего менять. Говорили, что Митя приглашал Люсю на свадьбу, но она не пошла, и Андрею казалось, что опять-таки он один понимает всю эту обоюдную тонкость и сложность: Митя должен был ее пригласить, а она должна была отказаться... Андрей встретился взглядом с Лешей-катеристом, и они тоже мгновенно поняли друг друга. «Ты, Андрей, промеж нас как ежовая рукавица: все уж пьяные, а ты трезвый!» — крикнул Леша и налил ему полный стакан самогонки. Андрей выпил, и Тамара внимательно и как-то значительно на него посмотрела. Мысли его приняли другое направление: «Почему она так посмотрела?» Он сосредоточился на себе и вдруг подумал, что Митя в самом деле отбил у него Тамару, и вот теперь он, Андрей, несчастен, да и Тамара, наверное, несчастна — установилась этим взглядом между ними какая-то связь. «Пойдем танцевать», — сказал он ей, и они вышли на улицу. Патефон стоял под деревьями, которые начинались сразу от дома. Андрей поставил танго, и после первых же звуков ему стало так хорошо от своего несчастья. «Как же ты?» — спросил он, и она догадалась о чем. «Понимаешь, — сказала она, — увидела я его глаза. Его такие умоляющие глаза!» Андрей печально покивал головой. «Мне так плохо. Если б ты знал, как мне плохо», — сказала она со слезами в голосе. «Я знаю! — воскликнул он и добавил: — И мне плохо тоже». И тут его пронзила мысль, что он ведь тоже должен был отказаться прийти на эту свадьбу, как Люся. Тамара и Митя его пригласили, а он должен был отказаться, почему он сразу не сообразил! Но раз уж он пришел, то полагалось ему теперь выпить. Он вернулся в дом, выпил еще стакан чего-то, и Тамара спросила: «Тебя проводить?»

Наутро Андрей очнулся на своей койке за перегородкой, одетый, ощущая смутный стыд перед собой за вчерашнее, смутный оттого, что не помнил точно этого вчерашнего, и со страхом ожидал, что баба Саня объяснит ему, но она ничего такого не сказала. У самого Андрея всплывало только обрывками, будто ходили они с Тамарой вдоль темной, спящей деревни, и Андрей очень убедительно говорил, что это — не все, что жизнь-то на этом ведь не кончается, и что она, конечно, еще поступит учиться и все

будет у нее хорошо. А Тамара отвечала, что он умный и все понимает и «если б он знал, как ей помог». И вот тут-то Андрей, кажется, сказал, что свадьба не имеет никакого значения, если Тамара сама чувствует, что не любит Митю. «Главное, чтоб ты сама это чувствовала», — почему-то настаивал Андрей, и что в таком случае она не должна сейчас туда возвращаться, а идти ночевать к бабе Сане и завтра же ехать. Ей жаль Митю, Мите будет плохо, ведь он ее любит, говорила Тамара. Не будет ему плохо, возражал Андрей, у него останется Люся, и здесь Тамара внезапно протрезвела и сказала, что надо ей возвращаться. И еще Андрею казалось, будто он ее проводил, но как потом один переправлялся через речку и шел домой, он уже не помнил...

На барже собралось несколько человек: механик с женой, Андрей и Люся. «Денег ей на дорогу дал», — одобрительно говорили о Мите в деревне. Теперь Андрей мог разглядеть Люсю — она в точности походила на свою фотографию в Митином альбоме: очень тоненькая девушка с черными глазами, выражения которых сейчас не было видно, потому что она сразу, как тронулись, достала не то вязанье, не то вышиванье и сидела над ним не отрываясь. Совсем не была она похожа на шумную и веселую Тамару. Теперь, когда Тамара добила своего и была счастлива, сочувствие Андрея обратилось на Люсю. Он вдруг сообразил: Митин дом был рядом и она слышала, как они орали и плясали на свадьбе, но никто о ней тогда не вспомнил и не подумал, каково ей было слышать все это. Уж не могли потерпеть со свадьбой! А что Тамара добила своего и должна быть счастлива, Андрей вывел из рассказа бабы Сани о том, что случилось, когда они с Тамарой, он не помнит как, расстались. Оказывается, Тамара, воротясь, заперлась в своем доме и, «как сидела вся», никому не открывала и не слушала ничьих уговоров, а редела так, что в деревне было слышно. Митя постоял-постоял, махнул рукой и сказал, раз так, он пойдет к Люське, и ушел. А тут из Бадармы приплыл на моторке Вадим, буровой мастер. У жены его начались схватки, и он приехал за Тамарой. Вадим стал стучать к ней, но она думала, что это все Митя, и не открывала, только редела еще пуще. Наконец через окно ему удалось до нее докричаться и объяснить, в чем дело, тогда она быстро собралась, вышла и тут хватилась, где Митя. Не разошедшиеся еще гости объяснили, Тамара велела

его сыскать и передать: без него не уедет. Вадим уж начал выходить из себя, но тут Митю нашли, привели, и они поехали. Все у Наташки обошлось благополучно, родился мальчик, и наутро Тамара с Митей воротились на лодке: Тамара сидела на руле, а Митя на веслах, или, как здесь говорили, «в гребях»... И вот потому-то и рассудил Андрей, что она своего добилась, хотя и плакала, и не пускала сначала Митю, но все-таки хватилась его и без него не поехала.

Теперь Андрея раздражали механик с женой — они, как в вагоне, сразу начали есть, а главное, все приставали к Люсе с расспросами. Они приглашали ее закусить с ними («И приглашали-то для того, чтобы приставать», — думал Андрей) и расспрашивали о родных, да сказала ли она им, куда едет, и все жалели ее, ахали, как это она вот вернется. А Андрей полагал, что самое лучшее сейчас было бы — вести себя с этой девушкой так, будто ничего не случилось, но у него не хватало решимости заметить им это.

В Банщикове сел Банщиков, меднолицый парень лет двадцати семи, потомок того Банщикова — казака или беглого каторжника, что оказался здесь первым лет триста тому назад. А нынешний работал в экспедиции, ходил с топографами по тайге, и теперь ему зачем-то понадобилось в Братск.

На ночь все устраивались на корме, в спальных мешках, и места Андрея и Люси были рядом. Банщиков все это сразу высмотрел разбойным своим оком и на следующий вечер предложил Андрею меняться местами. «Нет», — ответил Андрей. Банщиков нахмурился. «Ты, паря, за борт хошь? У меня живо», — сказал он. Но Андрей все-таки лег на свое место, и Банщиков ничего не предпринял, зато наавтра все подсаживался к Люсе и вел с ней какие-то тихие и долгие беседы, и она что-то отвечала ему, изредка вскидывая глаза от своего рукоделья.

В Ершове под порогами пришлось стоять — ждали встречной баржи из Братска. Делать было нечего, и все купались и загорали, а механик с женой целые дни пропадали в деревне, закупали яйца и рыбу, молоко и сливки. И вот однажды Андрей увидел, как Банщиков и Люся сошли с баржи — парень шел сзади и весело так подмигнул — и пошли по лугу, вдоль берега, в ту сторону, где луг сужался клином между рекой и постепенно подступающим лесом. Они скрылись в лесу, а Андрей все смотрел им вслед с чувством горечи и невозможности что-либо

ему, Андрею, сделать. Вот если бы Банщиков открыто приставал к Люсе и она бы противилась, тогда Андрей имел бы право за нее заступиться, а теперь он чувствовал, что у него нет такого права...

Поздно вечером, когда все уж легли спать, а он сидел на берегу возле костерчика со своей книгой, из темноты со стороны деревни пришел Банщиков. Он сел, разулся, вытянул к огню босые ноги и сказал примирительно: «Ты же там окарауливал-то? Дарма́ ты, паря, окарауливал». Андрей наклонился над книгой не отвечая,— он столько раз уже повторял про себя слова, которые собирался сказать Банщикову при первом удобном случае, а теперь, когда случай этот представился, он почувствовал, что не сможет сказать как надо, каким надо голосом, и Банщиков вместо того, чтобы рассвирепеть, начнет вдруг смеяться.



А. Курчаткин



1

Время шло к концу рабочего дня. Совсем немного осталось до звонка — какие-то минуты. Ладонников, сидя за своим столом, отрываясь глазами от листа бумаги обдумать очередную формулировку в месячном отчете лаборатории, видел, что вокруг уже собираются. Вскочить затем по звонку и бежать. Не все, конечно. Есть кто не торопится, просидит еще и полчаса и час, заканчивая начатое дело, — и все это всегда одни и те же. И те, кто сейчас сорвется по звонку и понесется по лестнице сломя голову вниз, — тоже всегда одни и те же. И ничего невозможно поделать: одни будут сидеть, другие нет, одни тянут воз изо всех сил, других нужно понукать на каждом шагу, и главное, нисколько их не заботит, что о них будут думать, как отзываться о них в разговорах, они — от сих и до сих, и до остального им дела нет.

Звонок зазвенел, и сразу все сидевшие наготове рванулись к двери, на ходу кивая Ладонникову: «До свидань, Иннокен Максим... До свиданья...» — мгновенно возле двери образовалась небольшая толкущаяся толпа, рассосалась, Ладонников смотрел в опустевший дверной проем, ожидая, чтобы дверь захлопнулась, и тогда снова можно будет обратиться глазами к тексту отчета, но дверь, начав закрываться, распахнулась, и из коридора в комнату с кипой висевших машинных листов у него на сгибе локтя вошел Ульяновцев.

— Что, «трасса»? — поинтересовался Ладонников.
Ульянцев молча кивнул.

— А ну-ка, а ну-ка,— не удержался Ладонников и по-манил его, попросил положить распечатку к себе на стол.

Года два назад он предложил для определения усталостной прочности деталей в дробилках совершенно новую методику расчетов, сейчас впервые применяли ее в обachte реальной конструкции, но пока что результат на выходе получался совсем не тот, что можно было бы ожидать. Программисты клялись, что с программой у них все в порядке, десятижды-десять раз проверили-перепроверили, и выходило, что изъян то ли в самом методе, то ли в постановке задачи. Чтобы выяснить это, нужно было составить «трассу»— затребовать от ЭВМ промежуточные результаты решения задачи и после копаться в них, искать место, откуда решение пошло вразнос. Хотелось быстрее обнаружить это проклятое место, разгадать загадку, чтобы не висела над душой, однако две недели не могли получить машинное время, и вот сегодня наконец получили.

— Пусть пока у меня побудет,— сказал Ладонников, прижимая кипу листов у себя на столе ладонью.— До завтра. Завтра получите.

— Да Иннокентий Максимович! — засопровтивлялся Ульяновцев.— Это ж не ваше дело. А я бы прямо сейчас...

Он был старшим группы, формулировавшей задачу для ЭВМ, Ладонников понимал, как Ульяновцеву не терпится нюхнуть «трассу», засунуть в нее скорее нос, но ему самому тоже не терпелось скорее нюхнуть ее. Ладно, если ошибка в постановке задачи, а вдруг в методе? Он был абсолютно уверен в нем, на все сто процентов, но все же холодок опасения оведал душу, не без того.

— Нет-нет, сегодня у меня побудет,— решительно пресек он пререкания Ульяновцева.

Ладонников собирался просто глянуть распечатку, скользнуть по ней поверхностно взглядом — и все, удовлетворить свое любопытство и нетерпение, но увлекся, не заметил, как полез вглубь, начал листать складчатые широкие бумажные простыни, пробитые по обеим сторонам частыми круглыми дырочками, уходя все дальше и дальше от начала, стал искать его, это место, откуда решение пошло вразнос, и ведь знал, что невозможно так вот с маху взять и отыскать,— тут теперь недели, может быть, и недели придется просидеть всей группе Ульяновцева, пройти всю «трассу» от точки до точки, пропахать ее носом вдоль и поперек, но вот зацепило — и поехало; сидел, листал, знал, что впустую, а не мог оторваться... Очнулся от телефонного звонка.

Звонила жена.

— Ты что, все на работе?— изумилась она.— Да я тебе просто уж так звоню, просто не знала, что другое подумать. Тебе же у Катюхи на собрании через двадцать минут быть.

— Через двадцать?— Ладонников глянул на часы: да, семь без двадцати трех. Это надо же, полтора с лишним часа просидел как одну минутку.— Чего раньше не позволила?— подсадовал он.— Теперь домой не успею, чтобы поесть.

Жена помолчала.

— Ну давай я, что ли, пойду тогда,— с виноватостью предложила она потом.— А ты домой тогда, у меня тут готово все.

— Нет, о тебе никакой речи. Придумаю что-нибудь. По пути перехвачу где-нибудь,— быстро сказал Ладонников.— Все, пока, не задерживай больше, побегу. Ребята дома, все нормально?

— Да, дома, все нормально,— с торопливостью проговорила жена.

— Ну все, пока.

Ладонников опустил трубку, поднялся и уложил гармошку распечатки в одну стопу. Надо же, полтора часа — как одна минута. И о собрании забыл.

На родительские собрания и к сыну, и к дочери вот уже года четыре как он ходил сам. Изредка жена, а так, как правило, он. Для авторитета. Чтобы знали: отец пошел, не мать, сам все узнает, что у них там в школе, и если что — поблажек не будет.

Никого из подчиненных в комнате уже не осталось, все ушли. Ладонников снял с гвоздика у двери ключ, закрыл ее и внизу, выходя на улицу, сдал ключ дежурному.

— Поздненько, поздненько,— улыбаясь похвально, сказал свою обычную фразу сивошетиный старик вахтер, принимая ключ. Ладонников помнил его еще много моложе, хотя и в ту пору уже стариком. Вахтер был прежней закалки, из литейщиков в прошлом, и хорошим работником, по его понятиям, являлся тот, кто уходил с работы основательно спустя после звонка. Чем больше спустя, тем лучше.

— Да уж вот так,— обычно же ответил Ладонников, улыбаясь ему ответно.

Последнюю пору он засиживался именно до этого времени. Прежде засиживался и дольше — и до восьми, и до девяти, без всякой на то особой нужды, а просто хотелось

побольше сделать, скорее результат увидеть, пощупать его, так сказать, руками, но последнюю пору приходилось довольствоваться сверх звонка этими вот полутора часами. Желудок что-то стал пошаливать. Раньше мог сутками крошки не взять в рот — и ничего, аппетит только после зверский разыгрывался, а теперь не поест вовремя — такие рези, хоть на стену лезь. Сегодня же планировал уйти вообще в половине шестого, заскочить перед собранием домой, поужинать, — и вот на тебе: досиделся...

Для желудка, чтобы заглушить уже начавшую прорезаться боль, Ладонников купил стаканчик мороженого. Думал, может быть, в булочную зайти по пути, схватить какую-нибудь сдобу, но перешел через площадь — стояла на углу мороженщица с лотком, и взял мороженое.

Мороженое оказалось подтаявшее, текло, и шел — маялся с ним, слизывал снизу, со дна стаканчика, натекающие белые капли. Сам как школьник. Успеть бы съесть до школы. А то попадешься кому-нибудь знакомому на глаза. Идешь — и шею вытягиваешь, как страус, чтобы на тебя не капнуло.

Однако и не капнул на себя, и не встретил никого, и все успел съесть до школы, — и начавшаяся было резь утихла. Не сняло ее совсем, но как заглушило, придавило словно, и она там замерла.

Большинство родителей на собрании, как водится, были матери. Классная руководительница похвалила Ладонникова:

— А вот у Ладонниковой всегда отец ходит, можете передать своим мужьям. Поверьте, это очень важно, чтобы отцы ходили. Конечно, у всех разные семьи, но все-таки слово отца больше значит, как правило.

Ладонников сидел за одной из последних парт, на него оглядывались с улыбками, замечание классной руководительницы было ему приятно, но он делал каменное, спокойное лицо: да ему все равно.

Дела у Катюхи оказались в порядке, четверки и пятёрки, один грех — книги по-прежнему читала на уроках, устали отнимать. Ладонников вслух пообещал пробрать ее как следует, чтоб впредь неповадно, про себя же похмыкал с усмешливостью: э, разве от этого отучишь. Раз с учебой нормально, пусть читает. Ничего тут не сделаешь. Это она в него. Тоже в свою пору читал под партой, вся школьная библиотека под партой прочитана, и что проку,

что отнимали да наказывали: на страсть запрет не наложишь. Никогда после не читал столько, сколько в школе под партой.

На улицу после собрания выходили, как обычно, вместе с женой Ульянцева. Сын Ульянцева учился вместе с Катюхой, потому, когда встречались на собраниях с его женой, неловко было просто поздороваться, не перемолвьясь никаким словом, и после собрания шли вот до перекрестка, где дороги их расходились, вместе.

— Гляжу на вас, знаете, Иннокентий Максимыч, и так, знаете, обидно становится,— говорила Ульянцева на ходу, заглядывая Ладонникову в лицо.— Ведь своему сколько говорю: сходи, посиди, послушай, что говорят, тебе же самому как отцу полезно будет,— нет, как об стенку горох. Чего, говорит, не вижу надобности, вот если бы, говорит, какое ЧП, тогда бы я да. А так, говорит, раз все нормально, никакого, говорит, смысла.

Сын у Ульянцева ходил в отличниках, Ладонников слышал о нем от Катюхи чуть не в каждом ее рассказе о школе, сам Ульянцев как работник тоже ему нравился, сумрачный, правда, несколько тип, молчаливый, всегда несколько настораживают такие — ну, как они там таят про себя что недоброе,— но хороший работник, и думающий, и добросовестный, что главное, и Ладонников не стал брать на себя грех перед ним, поддакивать его жене.

— Ну, Галина Степановна, это, вы знаете, все индивидуально. Слышали, классная руководитель говорила? У всех разные семьи. Может быть, это самое правильное для вашей — что вы ходите.

— Ага, правильно, конечно. Себе, как легче, выгадывает. Лишнюю чтоб на себя обязанность не взваливать. Чтобы поспокойнее жить ему.

— Ну уж, ну уж, Галина Степановна.— Ладонникову вовсе не хотелось вступать в семейные отношения Ульянцевых, и он решил перевести разговор на другое.— Весна вот такая нынче. Конец мая, а все уже кругом в какой зелени. Совсем лето. Скоро, глядишь, земляника всюю пойдет.

— А вы ягодник, да?— спросила Галина Степановна.

— Да нет, не особо. Так, с детьми, знаете, надо ведь, чтобы в них чувство природы развивалось. Мы в городах тут очень что-то существенное в себе утрачиваем из-за того, что от природы оторвались. Человек — часть природы, и отрыв от нее... так просто отрыв этот ему не проходит.

Наше-то с вами поколение еще не так это ощущало, не так еще все урбанизировано было... вы где росли?

— Я здесь, я потомственная заводская, — отозвалась Галина Степановна. — Но правда, согласна: сейчас вон как все позастроили, громада на громаде, а раньше выше трехэтажного не было. И в лес пойдешь — рядом. Коров, помню, еще держали, свиней, куры по улицам бегали. А сейчас только машины кругом.

Ладонников покивал:

— Вот видите. А я-то лично вообще в тайге вырос, пристанционный поселочек такой небольшой. На железной дороге. «Москвич» свой, — кстати, вы вот сказали, что одни машины кругом, — знаете, почему купил? А вот на эту самую природу детей вывозить.

Они дошли до перекрестка, распрощались, и Ладонников, оставшись один, ускорил шаг. Желудок последние минут пятнадцать снова начало скручивать изнутри жгутами, надо было торопиться домой, заесть скорей эту боль. Что у него вообще такое с желудком? Надо бы сходить в заводскую поликлинику, записаться на прием, пройти обследование... да ведь смешно сказать, все некогда. Уж сколько раз собирался и раза два записывался даже, а не сходил ни разу — все что-то не давало. Со стороны глянуть — да неужто до такой степени некогда, не мог час выкроить? — а начини разбираться — получается, не мог.

2

Жена дома ждала Ладонникова с горячим ужином.

— Перекусил? — спросила она, только успел войти.

Знала ведь его. Сказал, что перекусит, а как это успеть за двадцать минут? А и как не знать: восемнадцать лет вместе прожито. Восемнадцать, ой-ё-ё-ёй! Чуть не вся взрослая жизнь.

— Мороженое съел, — сказал Ладонников.

Катюха уже крутилась тут же, в прихожей. Все-таки с ее собрания, с последнего в нынешнем году, родителям, как всегда, объявляются уже отметки — интересно же!

— Мороженое! — фыркнула она. — Еда тоже. — И спросила с любопытством: — Чего там Вер Александра?

— Будет у нас с тобой разговор! — с нарочитой угрозой в голосе пообещал Ладонников.

— Какой? А что такое? — дочка забеспокоилась. — У меня ничего, я все нормально, а двойка там у меня была по ал-

гебре, так это мне не за ответ вовсе, и она сама же мне ее потом переправила...

— Поговорим, поговорим!— снова пообещал Ладонников. Говорить ему, кроме как о чтении под партой, было больше не о чем, и он просто так припугивал дочь, для остротки.

Валерка в дальней комнате сидел слушал магнитофон, ревущий песней Высоцкого, и не вышел.

— Давай мой руки и садись сразу,— сказала жена.— Я тебе накладываю.

На кухне, когда он пришел из ванной, она первым делом спросила о Катюхе:

— Ну что у нее? В самом деле такое что-то — разговаривать надо?

Ладонников махнул, усмехаясь, рукой:

— Да ну что ты!

Жена успокоилась и села за стол напротив.

— А что ты вдруг так засиделся сегодня?

— А распечатку «трассы» той вот задачи, что по дробилке, с машины принесли. Не мое дело вообще, а принесли — и полез, так и не заметил, как просидел столько.

— Конечно, не твое дело,— тут же подхватила жена.— Ты начальник лаборатории, руководитель, твоя обязанность — задачу поставить и контролировать после. Зачем ты на себя чужие функции возлагаешь?

Ладонников с женой работали на одном заводе, прежде, до того, как он начал «расти», в одном даже отделе, и она знала все заводские порядки отнюдь не со стороны.

— Ну, не мое, не мое, а вот забрало меня, вдруг, думаю, сейчас выловлю ошибку. Повезет — и выловлю,— Ладонников почувствовал раздражение. У жены было в характере — понаставлять его, поучить уму-разуму на ровном месте, и он это в ней терпеть не мог. Главная, может, причина, из-за чего в свою пору всё боялся на ней жениться, хотя она уже с Валеркой ходила, и потом, когда женился и даже Валерка родился уже, первые года два все убегал от нее. Казалось тогда: на задалась жизнь, всю перековеркал себе, не нужно было жениться, ведь знал, зачем же!— смешно сейчас и вспоминать те свои мысли.

— Нет, я просто о желудке твоём беспокоилась, и больше ничего. Ведь ты муж мне. Близкий человек, ближе нет.— Жена улыбнулась ему коротко, пожала плечами. Все-таки она тоже прожила с ним эти восемнадцать лет и тоже обмялась, приладилась к нему; оба они друг к другу приладились, притерлись, а если б нет — разве бы сейчас у них была семья?

Ничего б не было. И Катюхи бы не было, еще б до нее расшвыряло в стороны, и рос бы Валерка при живом отце полусиротой. Как вон у многих, глянешь по сторонам.

— Чудная пшенка, божественно сварила, — Ладонников, в свою очередь, тоже пошел навстречу жене. Обычная получилась каша, чуть пересолена даже, если по его вкусу.

Жена и знала, что каша совершенно обыкновенная, такая, как всегда, но готовила — и ей стало приятно.

— Старалась, — сказала она с пренебрежительно-довольной улыбкой.

Перед сном, как делал без исключений каждый вечер, Ладонников вышел прогуляться. Прогулки эти он положил себе за правило пять лет назад — с той поры, как выписался из больницы после сердечного приступа. Никогда прежде до того раза не знал, есть у него сердце или нет, не кололо там ничего, не болело, надо было для массовости — и стометровку рвал за отдел, это в тридцать восемь-то лет, и десять камэ на лыжах, причем за очень недурное время, ну, а в волейбол уж за отдел в общезаводском турнире — это сам бог велел как бывшему разряднику. И на одной вот такой игре, взлетев над сеткой, чтобы срезать поданный мяч как следует, вдруг ощутил в груди горячую тугую боль и, не ударив по мячу, так с высоты и свалился кулем на площадку.

Приступ стенокардии — поставили после, в больнице уже, диагноз. И оказалось, что с каких-то пор, несмотря на все твое спортивное прошлое, сердце у тебя болезненное, ишемическая болезнь сердца называется, да еще, оказалось, на фоне так называемой вегетативно-сосудистой дистонии, нервишки, в общем, успели пообтрепаться, — и нельзя никаких подобных нагрузок, вроде стометровок и волейбола, легко еще отделался таким вот приступом, могло быть и хуже.

Дни стояли теплые, жаркие даже, но земля еще не прогрелась, и вечера бывали холодные. Ладонникову нравилась эта вечерняя свежесть — пыль и гарь, поднятые днем, из-за резкого перепада температур в какой-нибудь час прибывало к земле, воздух становился чистым, прозрачным, и каждый вдох доставлял наслаждение.

Гулял Ладонников, как правило, пятьдесят минут. У него было разработано несколько маршрутов ровно на это время. Когда-то, когда маршруты еще не отлились в окончательную форму, прогулки были интересны самим процессом разработки путей, как бы постоянным открытием нового, затем какое-то время ходить на них стало тоской смертной, но Ладонников сумел одолеть себя, по-прежнему заставлял себя

выходить из дома каждый вечер, и в конце концов прогулки сделались не привычкой даже, а чем-то вроде рефлекса, вроде дыхания, — просто не мог не пойти. Единственное нерелексивное действие было в них — выбрать на данную прогулку маршрут.

Нынче Ладонников выбрал самый простой: по скверу, что тянулся посередине улицы, разделяя ее на две части, все прямо, до трамвайной линии, кольцом опоясывающей заводской поселок, развернуться там — и снова по нему же, по этому скверу. Шел к трамвайной линии — впереди красно-пепельно горел, догорал закат, на глазах угасая, все обужаясь и все ниже прижимаясь к горизонту, повернулся — и оказался лицом к сумеречной лиловой тьме другого горизонта, и сразу увиделось, как уже непрозрачен воздух, как налился лиловой мглой, дойди до дому — и падет ночь.

Всю нынешнюю прогулку Ладонников прислушивался к сердцу — не ворохнется ли вдруг какая-то боль в нем — и все время держал стеклянный пенальчик с нитроглицерином в руке. Желудочная боль, если дать ей разойтись, переходила после на сердце, этим-то она пуще всего и пугала его.

Но с сердцем на этот раз обошлось, а боль в желудке все истончалась, все ужималась и уже к трамвайной линии, еще когда только подходил к ней, исчезла совсем.

«Пронесло», — подумалось Ладонникову с облегчением.

Тьма вокруг быстро густела. Перед тем как сворачивать со сквера к своему дому, Ладонников оглянулся — закат уже сгорел дотла, и только еще оставалась на его месте высветленная размытая полоса.

Когда-то сквер, еще даже лет десять назад, был обнесен литой чугунной оградой, потом ее сняли, он остался без всякой загородки, и Ладонников ходил от дома и к дому по тропке между кустами акации. Он свернул на нее, поднырнул под сомкнувшиеся вверху кусты, и, когда вынырнул из-под них, ему послышалось, что из травы внизу тихо, с какою-то словно бы молящей жалобностью мяукнули. Он на ходу мельком глянул туда, в сторону звука — в молодой еще, но уже окрепшей, быстро идущей в рост траве смутно виднелся маленький, месяцев где-нибудь полутора котенок, вставший на задние лапки, его бы и вообще так вот, с беглого взгляда, было не различить в траве по этой предночной темени, если бы не белая манишка на груди.

«Потерялся, что ли», — мимоходом подумалось Ладонникову. Он, не останавливаясь, дошел до края сквера, поглядел, нет ли машин, и ступил на дорогу.

Он не любил кошек. Прежде, в детстве, жил рядом и с кошками, и с собаками, собак тех отец берег и холил — кормилицы были, на охоту с ними ходил, белку, соболя бил, всю семью они содержали, а кошка что — кошке от мышей охранять, их, помнится, неделями не кормили даже: пусть сами себе пропитание мышами добывают. Так такое отношение к кошкам и осталось в Ладонникове.

Дома жена сказала, что звонил какой-то Боголюбов. Ребята уже спали, она сама тоже ходила уже в ночной рубашке.

— Боголюбов? — удивился Ладонников, не сразу и поняв, кто же это. Потом сообразил: — А, это из бюро карьерных экскаваторов, наверное. Странно. И что ему нужно было?

— Не знаю. — Жена, видимо, была недовольна поздним звонком. Устала к ночи, хочется отгородиться от всего, побыть немного в своем личном, а вот не выходит. — Я сказала, что ты минут через двадцать будешь, через тридцать, поздно ведь уже, в общем, а он говорит, можно ли перезвонить.

— Странно, странно. — Ладонников почувствовал недовольство жены как укор ему. — Я его и не знаю толком. Так, сталкивались. Замначальника бюро, кажется. Молодой, года тридцать три. Какое у него может быть дело ко мне? Да еще домой...

— Ладно, может, не перезвонит. — Жена, в свою очередь, почувствовала, что не имела никакого права на недовольство — при чем здесь Ладонников-то? — Двенадцатый час, кто станет звонить в такую пору.

Но телефон зазвонил.

Ладонников снял трубку: это был тот самый, Боголюбов.

— Вы меня извините, Иннокентий Максимович, что в столь поздний час и домой, — заговорил Боголюбов, когда назвался и Ладонников коротко ответил ему: «Слушаю вас, да». — Но дело, понимаете, такого рода... это по работе дело, самое непосредственное касательство. К вам, однако, это отношения не имеет, это скорее личного свойства просьба... апелляция к вашему авторитету, так, что ли, назвать... как к начальнику расчетной лаборатории... ученому...

— Давайте покороче, Олег Глебович, — попросил Ладонников.

— Что-что? — переспросил на другом конце провода. — Я вас не понял.

— Ближе к делу давайте, — уже раздражаясь, чуть громче повторил Ладонников.

Громко он говорить не мог. Телефон стоял в прихожей, шнур короткий, на кухню не уйти, ребята, и Катюха и Валер-

ка, спали в большой, проходной комнате, дверь в нее была тут же, рядом, и говорить громко — обязательно разбудить их.

Но Боголюбов на этот раз понял.

— Дело такого рода, Иннокентий Максимович, я уже, собственно, и хотел о нем... Вы ведь, наверное, знаете историю с аттестацией на Знак качества четырех с половиной кубового экскаватора.

Он умолк, ожидая, очевидно, подтверждения Ладонникова, и Ладонникову, как ни хотел побольше молчать, пришлось сказать:

— Ну да, да, не вполне, но в общих чертах...

— В общем, стыдная история, согласитесь, Иннокентий Максимович. Ведь практически условно аттестовали, на слово нам поверили, что мы по ходу серии усовершенствуем. Не стыдно разве, нет?

Опять, получалось, он вынуждал его отвечать, когда Ладонниковов вовсе не был к этому расположен, и теперь Ладонникову это уже не понравилось.

— Слушайте, Олег Глебович,— сказал он, не отвечая на его вопрос.— Дело, я вижу, все-таки сугубо рабочее, давайте на работе мы его и обсудим. Звоните мне завтра с утра, и поговорим.

— Давайте не по телефону, давайте я к вам подойду,— быстро проговорил Боголюбов.— Я, собственно, к тому и вел, по телефону это так просто не объяснишь, мне бы хотелось, чтобы мы встретились.

— Ну давайте, звоните, и сговоримся, когда нам обоим удобно. До свидания,— попрощался Ладонников и, не ожидая ответного прощания, положил трубку.

Станный звонок, во всех смыслах странный. Если бы еще ему Ульяновцев позвонил тот же самый или кто другой из лаборатории, ну, из непосредственного начальства кто-то, что-то там срочное вспомнилось из текущего и чтоб не забыть,— одно дело, а когда вот так, со стороны да непонятно с чем... ведь есть же определенные правила рабочих отношений, не просто так они возникли, за ними опыт старших товарищей, замначальника бюро — положение ответственное, должен понимать, чувствовать должен такие вещи.

Ладонников закрыл до упора замок на входной двери, замкнул ее на цепочку, выключил бра над телефоном и, открыв дверь в большую комнату, на цыпочках прошел через нее. Близкие уличные фонари наполняли комнату блеклым ртутным светом, Катюха спала, по-кошачьи свернувшись

под одеялом клубком, Валерка — вытянувшись во весь рост, выставив наружу ногу, с закинутыми за голову юношескими худыми руками. Год еще ровно — и все, на старт, внимание, марш, школа закончена, в институт нужно будет, взрослая жизнь начинается, как он в ней? Голова вроде есть на плечах.

Жена лежала в постели с зажженным ночником, читала, надел очки, заводскую многотиражку.

— Смотри,— сказала она, взглядывая на него поверх очков, и тряхнула газетой,— Скобцев ваш, начальник бюро стандартизации экскаваторов, выступает. Огромная такая статья. Кисельные реки обещает. И металлоемкость уменьшить, и трудозатраты, и производительность поднять, и долговечность увеличить.

— А!— хмыкнул Ладонников.— Обещать он мастер.

— Ну, так я и говорю.— Жена сняла очки, положила вместе с газетой на тумбочку рядом.— Что там по телефону?

— А,— снова сказал Ладонников, только теперь махнув рукой.— Рабочий какой-то вопрос, почему домой — непонятно. Я попросил завтра созвониться.

— Правильно,— поддержала жена.

Ладонников лег, и она щелкнула выключателем ночника, погасила его.

Ладонников положил ей руку на плечо, потянул легонько к себе — она повела плечом:

— Нет, давай спать, я устала.

Ладонников тут же снял руку и лег на спину, как всегда любил засыпать. В нем тоже не было никакого желания, и, кладя руку ей на плечо, он просто совершал супружеский ритуал, проявлял готовность к своим обязанностям. Прожитые восемнадцать лет, взрослеющие дети — они оба больше уже отцом с матерью были, чем мужем с женой. Вполне естественно, вполне нормально, давно оба осознали это, и ни одного это уже не угнетало.

3

Боголюбов пришел, как договорились, после обеда.

Ладонников помнил больше фамилию, чем самого Боголюбова,— не приходилось никогда иметь с ним дела, фамилия-то на слуху, а Боголюбов ли тот человек, с которым связывала зрительная память,— не был уверен. И точно: оказывается, не с тем связывала. Казалось, Боголюбов — это высокий, видный, с печатью эдакой породистой значительности на лице, в длиннополом, хорошей выделки черном

кожаном пиджаке, а это был совсем другой: и среднего роста, и в заурядном, фабричного пошива грубоватом костюме, с невыразительным, простофильским, круглым лицом, — разведчика бы ему играть в фильме про шпионов, до самого б конца фильма ни один зритель не заподозрил его. Глаза вот только выделялись: какие-то очень живые, с весенним таким, промытым блеском.

Никакого кабинетика, пусть самого условного, у Ладонникова не имелось, стол его стоял в общей комнате, чуть, может быть, на отшибе от других, чуть-чуть полегче протискиваться к нему — и весь комфорт. И только Богомолов зашел в комнату, увидел, какая теснота и скученность, тут же, заметил Ладонников, заметался внутренне, запрыгал глазами по сторонам, удобно вести разговор, неудобно, — и, едва поздоровались, пожали друг другу руки, предложил:

— Может быть, ко мне перейдем, Иннокентий Максимович? А то у вас тут...

— Да нет, что бегать туда-сюда, присаживайтесь. — Ладонников указал на стул возле своего стола. — Рабочая наша обстановка, какая есть. Не беспокойтесь, ни нам никто не будет мешать, ни мы никому.

Говоря это, он снова отметил про себя: странное нечувствование правил рабочих отношений. У Боголюбова к нему дело, а не у него к Боголюбову, почему он должен бежать куда-то. Пусть даже и неудобная обстановка. Что ж поделаться? У кого дело — тому и принимать условия, а не диктовать.

— Да, ну ага... ну давайте... ага, — пробормотал Боголюбов, опускаясь на предложенный стул. Положил на край ладонниковского стола принесенную с собой пластмассовую папку, забросил для удобства ногу на ногу и глянул на Ладонникова этими своими живыми, промытыми глазами: — Дело вот какое, Иннокентий Максимович. Я вам вчера начал по телефону... про эту историю с аттестацией. И такое у нее, понимаете, продолжение...

Продолжение было самое обычное, заурядное. Бюро разработало мероприятия, должны были довести качество машины до уровня, действительно соответствующего Знаку качества, директор утвердил их приказом, а когда мероприятия стали согласовывать с различными заводскими службами, все застопорилось и уже целый год не двигалось с места. Приказ приказом, а мероприятия шли вразрез с теми указаниями и всякими другими приказами, которыми руководствовались службы, и они не подписывали документацию. Отдел метал-

лов и отдел материально-технических нормативов не подписывали, потому что увеличилась металлоемкость, отделы главного сварщика и планово-производственный — потому что увеличивали трудозатраты, а еще не было разговора в отделе главного технолога, в отделе экономических обоснований. А уж какое там увеличение металлоемкости, какое увеличение трудозатрат — смех один! Стороннему наблюдателю ясно, что формальность все это, а вот однако же! Ни с места, и все!

Боголюбов еще говорил, Ладонников перебил его:

— Так. Ну, мне ясна ситуация, так. Только мне непонятно: я-то тут при чем? Какое все это имеет отношение ко мне?

— Ну, ведь вам очевидна вся нелепость этого сопротивления нашим мероприятиям? — не ответив на его вопрос, спросил Боголюбов. — Вроде бы борются за экономию металла, за снижение трудозатрат, а по сути-то — прогрессу мешают! Ведь если бы там на тонны счет, так ведь нет, на килограммы буквально. И трудозатраты — около двадцати нормо-часов на весь экскаватор увеличение, это мизер, две с половиной смены одного рабочего!

— Видимо, видимо... Так наверно, нелепо, — согласно покивал Ладонников. — Но только вы мне объясните все-таки, какое это имеет отношение к моей лаборатории? Хотите, чтобы мы расчеты сделали, на каких-то других узлах металл сняли?

Боголюбов отрицательно замахал руками.

— Нет, Иннокентий Максимович, нет, помилуй бог. Что могли, мы уже сами сняли. А фундаментально все заново обсчитывать — это нереально, машина в серии, об этом и речи нет. К вашей лаборатории как таковой мой разговор — никакого отношения. К лаборатории — нет. Лично к вам. Ваш авторитет нужен. Ваш вес. Ваше слово как ученого. Вы уж меня извините, у нас с вами никаких раньше контактов, а я так сразу... но такая уж вот ситуация критическая...

Ладонников смотрел на него и думал: кто он — полный наивняк, за какого и можно принять, судя по его простофилистому лицу и этим ясно-чистым глазам, или же матерый авантюрист, ловко маскирующий свою внешностью? И то может быть, и другое. Хотя наивняки в его годы в замы начальников бюро не выбиваются. Разве только семи пядей во лбу. А впрочем, и тут все может быть.

— Я все-таки не понимаю, — сказал он, вклиниваясь в паузу в боголюбовской речи. — Ситуация критическая у вас, я к ней не имею ни малейшего касательства, а пришли вы ко

мне. Я люблю ясность, знаете. А слова про авторитет, про вес... У Тимофеева — вот у кого вес и авторитет. Его и нужно привлекать, раз вы с Мишиным на своем уровне не можете вопрос решить.

Тимофеев был главным конструктором, Мишин — начальником Боголюбова, у него, у Мишина, ходил Боголюбов в замах, вот уж с кем-кем, а с Мишиным-то Ладонников прекрасно был знаком, чертову уйму работы вместе провернули, пуд соли верный вместе вычерпали, и, помянув его сейчас, Ладонников так вот заглазно как бы укорил его: есть если действительно какая-то нужда в нем, сам бы и подошел, кому и подходить, как не самому.

Но то, что Боголюбов ответил ему, удивило Ладонникова, и, пожалуй, впервые со времени вчерашнего ночного звонка у него появился интерес ко всей этой истории.

— Видите ли, Иннокентий Максимович... — сказал Боголюбов, глядя на него слишком уж пристально и как-то слишком медленно выговаривая слова, — видите ли, я сейчас занимаюсь данным вопросом по личной инициативе, без ведома Мишина. Мишин поставил на нем крест, и не в малой степени, вы прямо в яблочко тут попали, из-за позиции Тимофеева. Конечно, как только начались всякие сложности, мы прежде всего к Тимофееву пошли. К нему, естественно. И он нас практически не поддержал. Предложил остаться в пределах прежних норм. А это нереально.

— Нет, ну почему нереально, — перебил Ладонников. — Реально, если пройтись по всем узлам, все заново просчитать. Время только нужно. Другое дело, что вы не имеете такого времени.

Боголюбов обрадованно взмахнул руками.

— Ну, конечно! Именно. Этот обсчет сейчас в десять раз дороже обойдется, чем то удорожание, которое наши мероприятия дадут. Я обо всем об этом в нашу многотиражную газету написал. В завтрашнем номере уже публикуют. Тимофееву, само собой, придется вернуться к обсуждению ситуации. Надо же реагировать. И вот я бы хотел просить вас принять участие в обсуждении. Все-таки вы ученый, в отличие от нас от всех у вас определенная репутация. Просто, собственно, выскажете свое мнение. А то ведь вон Скобцев во вчерашнем номере черт-те чего через пять лет не обещает — и то на уровень мировых стандартов поднять и се. А что через пять лет, когда уже сейчас половину того реализовать можно!

Не помяни Боголюбов имени Скобцева, Ладонников от-

казался бы взять его папку. А что папку он принес неспроста, что для него, Ладонникова, принес, что там, в папке, всякие бумаги, всякая документация заготовлена — это Ладонников давно понял, сразу, как разговор начался. Цели только не понимал, смысла разговора, а про папку понял.

— Да, Скобцев мастер пыль в глаза пускать, — сказал он. — Это верно, мастер... — И протянул руку: — Бог с вами, давайте, что вы мне принесли.

Скобцев лет десять назад, еще совсем молодым парнем, еще учась в заочном институте, работал у него в лаборатории, и ленив был, и бездарен, поздно только, к сожалению, обнаружилось, когда уж не избавиться: уцепился за общественную беготню, пустил корешки — нужным стал человеком. Стыдно вспомнить: чтобы отделаться от него, сбавил его к тому же Мишину с повышением, руководителем группы, с руководителями группы Мишин перепихнул его на освобожденную должность в завком, а тот, сидя в завкоме, наверху, откуда все видно, возьми да сумей протолкаться в начальники нового бюро, к ним же обратно в институт. И ведь даже на морде написано: лентяй, дурак, глаза свинячьи, ни мысли в них — а вылез, и получается, всем скопом и подсаживали.

«Наивняк или авантюрист?» — снова подумал Ладонников, провожая Боголюбова взглядом до двери.

Боголюбов дошел до двери, занес ладонь, чтобы толкнуть, и так, с поднятой рукой, обернулся, кивнул с улыбкой Ладонникову. Ладонников кивнул ответно и решил, глядя уже на вновь закрывавшуюся дверь: а видно будет. Надо посмотреть, что там в папке. Против совести не пойду. Как есть, так и скажу. Хоть кто он, хоть наивняк, хоть авантюрист, с меня только правду получит, ее одну. Окажется прав — ну что ж, дай бог, а нет — так нет, пеняй, брат, на себя, нечего было интриги заводить.

4

О статье Боголюбова в многотиражной газете Ладонников забыл, достал, возвращаясь с работы, почту из ящика, центральную и областную прочитал, а многотиражку не тронул. О статье Боголюбова сказала жена. Она смотрела многотиражку регулярно, вернулся с прогулки — опять как раз лежала в постели с нею и, только вошел в комнату, тряхнула газетой:

— Слушай, как ваш институт разошелся. Прямо в каждом номере. Боголюбов, замначальника бюро карьерных экскаваторов, пишет. Это не тот, что тебе звонил тогда?

— А!— вспомнил Ладонников о статье.— Напечатано уже? Тот, тот самый. И что — дело, нет?

— Да, ты знаешь, такие примеры, просто убийственные. И все по существу, все дельно. Не то что Скобцев этот.

— А ну-ка,— попросил Ладонников газету у жены.

Он взял ее, включил верхний большой свет и, сев на край кровати, стал читать. Статья называлась «Чувство хозяина». Название было как бы пафосом статьи: «До тех пор пока каждый из нас не научится смотреть на свои обязанности не узкоспециально, а с подлинно хозяйским чувством ответственности за все дело, мы не сможем покончить с неумной и недаленовидной практикой, при которой сознательно придерживаются или вообще игнорируются мероприятия, имеющие лишь одну, прямую цель — технический прогресс в отечественном экскаваторостроении».

Этими пафосными словами статья заканчивалась. Ладонников дошел до них — и невольно закачал головой, дочитал — и сам собой вырвался вздох: «Охо-хо!..» Если все так, как говорил ему вчера Боголюбов, быть скандалу. Тимофеев такого не снесет. Не назван здесь, ну да мало ли, что не назван,— ретивое разыграет в нем, непременно разыграет, тут уж надо совсем не знать его, чтобы сомневаться в этом. Наверняка вернется теперь к тому вопросу, как того и хотел Боголюбов, наверняка — это да, чем вот только кончится все для Боголюбова?

— Ты чего разохался?— спросила жена.

Ладонников протянул ей газету, она взяла, но не оставила в руках, положила на тумбочку.

— Дельно-то дельно написано,— сказал Ладонников,— только напрасно так он в конце. Про хозяйское чувство, я имсю в виду. Красивость одна — и лишь. Дело изложил — и ладно, зачем он в конце?.. Тактически неверно.

— А знаешь,— жена сняла очки и положила их сверху газеты,— я, по-моему, отца этого Боголюбова знала. Когда еще в институте училась, практику в цехе проходили. Мастером был... ох, испортил нам нервы. Нас к нему двоих прикрепили. Так уж так все по правилам, так гонял... Как отчество этого Боголюбова?

Ладонников постарался припомнить.

— Глебович. Олег Глебович.

Жена всплеснула руками.

— Сын! Он. Того — Глеб Иванович. Гляди-ка. Отец, кстати, тоже в каких-то правдоискателях ходил. Какие-то все

докладные подавал, на собраниях выступал, о чем точно — я не помню, давно было! Гляди-ка! Сын, значит, в отца?

— В правдоискателях, да?— Ладонников начал было расстегивать ворот рубашки и не расстегнул, поднялся с кровати, прошел к письменному столу, стоявшему у окна, сел за него, раскрыл боголюбовскую папку. Он еще не брался за нее. На работе полным-полно своих дел, успевай поворачиваясь с ними, и знал, что на работе не займется ею, принес вчера домой. Но дом есть дом, и с Катюхой нужно о летних ее планах поговорить, и с Валеркой партию в шахматы сыграть для контакта,— ни вчера не дошли руки до боголюбовской папки, ни сегодня.— В правдоискателях, вон как,— проговорил он вполголоса, для себя, доставая из папки стопу бумаг.

— Чего-чего?— спросила жена.

— Нет, это я не тебе,— отмахнулся Ладонников.

Не наивняк, не авантюрист, правдоискатель — вон кто. Не тот, не другой, а похоже скорее всего этот вот, третий. Больше всего похоже, да. Недаром все сопротивлялось внутри, когда пытался определить: так кто же он? А он ни тот, ни другой.

— Ты что, надолго засел?— подала голос жена.

Ладонников поднял от бумаг голову.

— А, мешает, да? Сейчас я...— Он включил настольную лампу, встал, прошел к выключателю и погасил верхний свет.— Вот так вот.

— Подойди,— поманила жена рукой со своей особой, какую у нее никто, кроме него, не знал, словно бы стесненно-лукавой улыбкой.— А я тебя сегодня жду,— шепотом сказала она, когда он наклонился к ней.

Но Ладонников уже раскрыл папку, начал уже смотреть бумаги, и ничего важнее их для него уже не было.

— Ладно, иди,— оттолкнула его жена в ответ на его молчаливую винящуюся улыбку. И вздохнула:— Я не обижаюсь, нет. Иди. Я понимаю.

Ладонников знал: и в самом деле понимает.

Жена повернулась на другой бок, спиной к нему, он все так же повинно поцеловал ее в мочку уха и вернулся к столу.

Ладонников просидел за столом часа два, просмотрев всю папку, хотя нужды в этом не было. Уже из докладной на имя Тимофеева вся картина сделалась ясна до мельчайших деталей, да плюс примеры из статьи в газете,— но просто уж хотелось заглянуть в каждый документ. Все верно ему

говорил Боголюбов — чисто формально резали заводские службы их мероприятия. В том увеличение, в этом увеличение — и нет, не проедете, а ведь и в самом деле смешно; ну пункт пятнадцатый взять: смазочные трубки для блоков двуногой стойки. Какое удобство для эксплуатационников — залезай на крышу и заливай масло оттуда; и все увеличение трудозатрат по одному цеху — ноль двадцать семь нормо-часов, по другому — ноль двадцать восемь на экскаватор, а главный сварщик резолюцию: нарушение приказа такого-то по министерству о недопустимости увеличения... Идиотизм! Полный и явный... Непонятно вот только, почему Тимофеев не взял на себя улаживание конфликта. По всем статьям вроде бы должен был. Непонятно.

Впрочем, его, Ладонникова, дело ясное — высказать, если потребуется, свое мнение, и он его выскажет. Кто бы там ни был этот Боголюбов, зачем бы ему всю эту кашу ни потребовалось заваривать. Есть такое понятие, как профессиональная честь, пусть Боголюбов сколько угодно рассуждает о каком-то там абстрактном чувстве хозяйской ответственности, что сие значит — поди-ка еще разберись, а профессиональная честь — это профессиональная честь, никакой абстракции, голая реальность, и уж без чего нельзя, так без нее. Чего ты стоишь без нее? Ни гроша! Подстилка для каждого, положившего на тебя глаз.

Ладонникову вспомнились эти свои ночные мысли, когда на следующий день в физкультурную паузу — только поднялись со своих мест и потянулись в коридор — к нему подошел Ульяновцев.

— Читали, Иннокентий Максимович, в многотиражке вчерашней? Статью Боголюбова?

— Ну?— Ладонников удивился: с чего вдруг Ульяновцев спрашивает его о статье Боголюбова.— Читал. А что?

Они один за другим, придерживав по очереди дверь, вышли в коридор, и Ульяновцев сказал:

— Я понимаю, это он в связи с этими вот делами второго дня к вам приходил.

— Почему вы так думаете?— Ладонникову стало неприятно, что Ульяновцеву откуда-то известно, в связи с чем приходил Боголюбов. Нет, никакая, конечно, не тайна, и ничего страшного, что известно, но все же — словно бы подсмотрели за тобой, выслеживали тебя.

— А высчитал.— На сумрачном, замкнуто-угрюмом лице Ульяновцева появилось что-то вроде улыбки.— Мы же соседи

с ним. На одной лестничной клетке, дверь в дверь. Ну, встречаемся по-соседски. Курим вместе, перила подпираем.

В коридоре, с хрипом выдираясь из репродукторов, еще играла музыка, призывавшая выходить на физкультпаузу. Ладонников встал на свое обычное место, слева от двери лабораторской комнаты, место Ульянцева было у противоположной стены, но он остановился рядом с Ладонниковым.

— И что из того, что соседи?— спросил Ладонников. Он опять не понял Ульянцева.

— Так ведь курим — не молчим же стоим,— ответил Ульянцев.— О том, о сем, о работе, о начальстве... о вас от меня Боголюбов достаточно наслушался.

Вот так, подумалось Ладонникову. Вот тебе и репутация твоя. Такова, значит, что полагают годным на роль третейского судьи. С усмешкой подумалось, но и всерьез где-то в глубине — оказывается, не все равно было, что о тебе говорят твои подчиненные. И вспомнились тут те свои ночные мысли о профессиональной чести. Да, правильно все.

— А по каким вы признакам высчитали,— спросил он Ульянцева, — что именно с этими он делами, о которых в газете, именно с ними приходил?

— А с ними?— переспросил Ульянцев.

— С ними.

— Ну так счет тут простой. Второго дня — возле вашего стола сидел, вчера — газета, а до того все меня последние несколько дней на разговор о вас наводил.

Ладонникову снова стало неприятно. Конечно, ясно было, что, прежде чем человек пришел, он где-то что-то услышал, разведal и так далее и тому подобное, но узнать вот в такой подробности: на лестнице, прислонившись к перилам, между сигаретными затяжками... Но он тотчас же пересилил себя.

— А что за мужик?

— Хороший мужик.— Ульянцев опять словно бы улыбнулся.— Из таких, знаете... ну, вроде: если не я, то кто же? Очeнь по-святому к своему делу. Чего он только, я не совсем пойму, от вас хочет?

Музыка в репродукторе оборвалась, и голос физкультурработника произнес с бодрым хрипом и свистом: «Добрый день, дорогие товарищи! Исходное положение заняли? На месте ша-агом марш!»

— Да ничего особенного не хочет,— сказал Ладонников, механически начиная маршировать под вновь зазвучавшую музыку.— Высказать свое мнение, если потребуется.

Не совсем, как говорится, по профилю, но я что ж, пожалуй-ста. Все ясно там, как дважды два.— Он поймал себя на том, что марширует, а Ульяновец стоит рядом, слушает, и ему сделалось смешно и неловко.— На зарядку становись,— с невольной улыбкой кивнул он Ульяновцу в сторону его пустующего места у противоположной стены.— Взбадривайтесь. А то, между прочим, ошибку из «трассы» еще не выловили.

— Выловим, куда денется,— отходя, сказал Ульяновец.

— побыстрее нужно.

— Нет уж!— Ульяновец занял свое место и отрицательно покачал головой.— Ловля блох, да не тех. Тут нужно без поспешности.

Ладонников не стал больше ничего говорить ему. «Блохами» с чьей-то легкой руки называли в лаборатории вот такие, как, судя по всему, нынешняя, скрытые ошибки в формулировке задачи, и ловить их, он знал это сам лучше других, действительно нужно было неспешно. Так уж это вырвалось насчет быстроты, чисто по-начальнически. Для острстки.

5

Тимофеев появился в лаборатории в конце дня, перед самым звонком.

Ладонников сидел с инженером проекта новой серии мельницы для производства известковой муки, смотрели вместе поданную тем заявку на расчеты. Предполагалось без особого изменения конструкции повысить надежность и долговечность машин, судя по всему, это было вполне возможно, но заявка оказалась составлена то ли наспех, то ли инженер проекта передоверил ее составление кому-то непонимающему и после не проверил — здесь не хватало данных, тут вообще ничего не понятно было,— и сидели, ковырялись во всех этих цифрах, значках, формулах, ставили галочки, вопросительные знаки. Инженер проекта жарко, до пота раскраснелся, собирались сидеть еще долго: раз уж взялись наконец — так до конца.

— Иннокентий Максимович!— услышал Ладонников над собой высокий, со стариковской хрипловатой фальцетиной голос Тимофеева.

На-ка вот: так засиделись, что и не обратил внимания, кто это там скрипнул дверью, и не заметил, как Тимофеев подошел к самому столу.

Он встал и пожал протянутую руку Тимофеева. Спросил шуткой:

— С инспекцией, Владимир Борисович?

— С проминажем,— в тон ему ответил Тимофеев.— Знаете, нет, что такое по-русски? Ноги, значит, размять. Вот разминаю. Заявку прорабатываете?— уже к инженеру проекта обращаясь и уже без шутливости в голосе, кивнул он на бумаги на столе.

— Заявку,— коротко отозвался инженер проекта.

— А чего так птичек с кобрами много?

«Птички»— общепотребительно, а «кобрами» Тимофеев называл знаки вопроса.

— Уточняем,— снова так же коротко ответил инженер проекта.

— Не уточняем, а в соавторстве составляем.— Высокий голос Тимофеева разносился по всей лабораторской комнате, и все слышали его слова.— Иннокентий Максимович,— снова обратился он к Ладонникову,— у вас что, своей работы мало? Подготовьте-ка мне кратенькую записку, в каком виде к вам подобные заявки поступают. Мы это проработаем.

Ладонников подивился про себя: и глаз у старика! И цепкость какая. Мало что увидел, так тут же и перевел в масштаб всего института. И главное, по-настоящему большое место зацепил. Раз — и скальпелем по нему.

Затрезвонил звонок.

Как водится, большинство в комнате сидели уже наготове, с расчищенными столами, с собранными сумками и портфелями, не главный бы конструктор — рванули бы к двери по первой трели звонка, а так стали подниматься, пошли между столами словно бы нехотя, не торопясь, даже пропуская вперед один другого, однако, когда звонок оборвался, все равно все уже толклись в дверях. Во всей комнате, кроме Ладонникова с инженером проекта да Тимофеева, осталось еще человека три.

— Долго сидеть собираетесь?— спросил Тимофеев Ладонникова.

Ладонников развел руками.

— Да хотели б закончить. Ну, час, может быть, чуть, может, больше...

— Тогда я вас попрошу, перенесите вашу встречу,— посмотрел Тимофеев по очереди на Ладонникова и инженера проекта.— У меня к вам, Иннокентий Максимович, кое-какой разговор есть. Я у себя, подходите.— Не стал он ждать ответа Ладонникова и пошел к выходу из комнаты, в летнем уже тонком костюме, свободно играющем складками на каждый шаг, и было видно со стороны, что ему доставляет

удовольствие ходить в этом не ношенном всю зиму, хорошо сшитом, влитом сидящем на нем костюме. У Ладонникова, например, никогда костюмы не делились на сезонные. У Тимофеева, у того еще сохранились какие-то правила прежних времен.

Когда Ладонников вошел в кабинет главного, Тимофеев сидел не за рабочим столом и не за совещательным, как иногда делал при разговорах наедине — чтобы в равном как бы положении, — он сидел в одном из двух кресел в углу кабинета, разделенных пальмой в толстой, схваченной обручами бочке, и, когда Ладонников затоптался было, не зная, куда ему сесть, махнул рукой на другое кресло.

— Давайте сюда.

Ладонников сел, войлочный мохнатый ствол пальмы оказался между ними, но он не мешал видеть друг друга, а наоборот, как бы даже объединил, создал такую интимную обстановку. Сколько Ладонников работал на заводе — а уж слава те, господи, сколько он работал на нем, — столько лет он помнил эту пальму в кабинете Тимофеева. Завод расширялся, модернизировался, конструкторские бюро и лаборатории объединили под вывеской института, выстроили для него особое здание, кабинет Тимофеева внушительно увеличился в размерах, и как стояла пальма в прежнем кабинете, так стала стоять и в новом. Тимофеев, главный конструктор, и пальма у него в кабинете — всегда были связаны в сознании Ладонникова. И ощущалось за этим что-то словно бы вечное, неизблемое, неизменное. И в самом ведь деле: пришел на завод после студенчества — Тимофеев уже был главным конструктором, и стояла пальма у него в кабинете, сколько лет минуло — по-прежнему был главным конструктором, и так же все стояла пальма. Вот у него, у Ладонникова, весьма многое изменилось за прошедшие годы. Кто был тогда, когда пришел со своими предложениями к Тимофееву? Мальчишка со всякими идеями, от которых отмахивались, не давали тебе ходу, осаживали на каждом шагу. Что, расчеты на усталостную прочность, исследование механизма старения конструкции? Да у нас производство, у нас производственные задачи, пошел-ка ты подальше со всякой теорией! Ну, старший инженер был, вот как Ульяновец тот же сейчас; так ведь им был и остался со всякими своими идеями, выше бы и не прыгнул. А теперь и степень ученая, и завлабораторией, вроде бы и немного — завлабораторией, да ведь

смотря какой. А эту по твоей докладной создавали, специально для тебя, можно сказать, создавали — такое ты направление движения дал. И кандидатская твоя — не липа какая-нибудь, как у половины институтских, а дело, самое настоящее, немало уж воды утекло, как защитился, а все, глядишь, то в той статье, то в другой сошлется на нее...

— Как жизнь?— своим стариковским фальцетным голосом спросил Тимофеев.

— Да как, Владимир Борисович,— сказал Ладонников.— Видели как. В трудах.

Тимофеев осаживающе махнул рукой.

— Я не об этом. Это само собой. Как свои, личные дела?

— Дома как в смысле?— спросил Ладонников.

Он чувствовал в себе напряжение ожидания: не ради же того, чтобы спросить о жизни, позвал Тимофеев. Так собаки, помнилось из детства, настораживались и настораживали уши при близком звере.

— Ну и дома, да, конечно,— подхватил Тимофеев.

— А ничего, нормально. Здоровые все. Дочка пятый кончает, сын девятый.

— Девятый?— с неподдельным удивлением воскликнул Тимофеев.— Девятый уже!— Он сцепил старческие костисто-сухие пальцы на животе и большими несколько раз постучал один о другой.— Я ж его еще до школы помню. Быстро как время летит.

Ладонников с улыбкой молча пожал плечами: летит, летит, что ж тут поделаешь.

— А чего вы мне о проблеме о своей квартирной ничего не сказали?— укоризненно проговорил Тимофеев.— Подали заявление, и лежит столько лет. Все в двухкомнатной?

— В двухкомнатной,— невольно напрягаясь еще сильнее, ответил Ладонников.

— А уж сын девятый заканчивает! И я только совершенно случайно узнаю... Что они там обещают вам сейчас?

— В нынешнем году, может быть. Но уж третий год так.

— Получите в нынешнем году, Иннокентий Максимович.— Тимофеев, сплетя пальцы, все так же постукивал большими один о другой.— И раньше получили бы, что ж вы не подошли? Я узнал — просто возмущен был. Вы что, говорю, не понимаете, с кем имеете дело? Два доктора наук у нас в институте, вы третьим станете — да что они?!

— Ну уж, стану. Разве здесь можно загадывать.— В Ладонникове, едва Тимофеев сказал про нынешний год, так все и полыхнуло радостью, однако он тут же притушил ее. Слово Тимофеева — сталь, не слово. Причем не простая сталь, а легированная, пообещал насчет квартиры — так и будет, уж ему ли не знать Тимофеева. Только вот из-за чего он позвал, не из-за квартиры же, ясно. Ему ли не знать Тимофеева!

— Станете доктором, станете. Я ведь слежу за вашими публикациями, вижу, куда дело клонится. Заслуженно станете, по справедливости... Ну, постучите по дереву по нашей русской привычке, это не возбраняется.— Тимофеев усмехнулся, помолчал и затем спросил, глядя на Ладонникова в упор:— Что там к вам Боголюбов приходил?— Глаза у него были умные, цепкие, с некоторой даже пронзительностью во взгляде, но уже с мутноватой, иссеченной красными прожилками склерой,— тоже старческие.

Ладонников потерялся. Вон что оказывается — Боголюбов! Никак он не ожидал, что о нем пойдет речь. Понятно, что после боголюбовской статьи Тимофеев волей-неволей думает обо всем том, о чем там написано, и раздражен, безусловно, ее концовкой, но что с ним, с Ладонниковым, заговорит о Боголюбове, да еще так вот: зачем приходил...

— Приходил, верно,— не зная, как ответить Тимофееву, проговорил он.— Откуда вам известно?

— Да от него самого,— спокойно ответил Тимофеев, продолжая глядеть на Ладонникова в упор.— Разговаривали с ним нынче. Что, в связи с четырех с половиной кубовым?

— В связи,— сказал Ладонников.

— И чего он хотел от вас?

— Да ничего особенного. Просто попросил ознакомиться с материалами.

— Чтобы потом, на обсуждении, вы его позицию поддержали?

Ладонников улыбнулся. Он уже пришел в себя, зачем вызвал Тимофеев — стало ясно, и напряжение отпустило его.

— Да ну почему же, Владимир Борисович, я Боголюбова непременно поддерживать стану?

— А нет?— Тимофеев расцепил пальцы, откинулся словно бы в удивлении на спинку кресла и взялся руками за подлокотники.— Ну, если нет, я вас плохо знаю тогда. Что, разве доводы Боголюбова, они не убедительны?

— Убедительны.

— Ну, так а в чем же дело тогда? Почему вам тогда его не поддержать?

Ладонников подался в кресле на сторону, ближе к Тимофееву.

— Что его поддерживать или не поддерживать, Владимир Борисович? Просто есть объективная картина, и она говорит сама за себя. Вот, если хотите, в самом таком сублимированном виде мое мнение.

— Сублимированном... ага. Сублимированном,— с расслабленностью произнес Тимофеев.— Словечко-то какое. Сразу видны научные склонности...— Быстро нагнулся вперед и вновь сложил руки, переплетая пальцы на животе.— Ну так вот, Иннокентий Максимович, обсуждение, которого Боголюбов так добивался, я ему устрою, и вы должны выступить на нем не со своим сублимированным мнением, а резко против. Он полагает, Боголюбов, он один за дело болеет, а объективно-то глянуть — он просто всю ситуацию не видит. Сидит на своей кочке — и с нее судит. А ситуация такова, что нечего нам за эти мероприятия, что их бюро предлагает, так уж биться. По всем статьям.

Ладонников, как свернулся в кресле на сторону, так и сидел в неудобной, неловкой позе, не в силах переменить ее. Он вдруг услышал, как с тяжелым туком работает, проталкивая сквозь себя кровь, сердце.

— А что, почему нечего биться? По каким по всем статьям?— с трудом выговорил он.

— Да ну, даже если взять ситуацию со службами. Это сколько крови и нервов положить надо, чтобы их одолеть! А смысл? Из-за двух, из-за трех лет стараться, пока бюро стандартизации свое не внесет и вся самостоятельность этих никому не нужна станет?

— По-моему, там не на два, на три года, по-моему, то, что они сделали, никакими разработками бюро стандартизации не отменится.

Тимофеев, ничего не говоря, глядел на Ладонникова своими старческими прожилчатými глазами, может быть, с полминуты. Потом расцепил пальцы, оперся о подлокотники и встал. Он прошелся до своего рабочего стола, постоял спиной к Ладонникову и повернулся:

— Давай, Иннокентий Максимович,— сказал он, обращаясь к Ладонникову на «ты»,— будем совсем начистоту. Что нам с тобой в жмурки играть... меня бюро стандартизации беспокоит. Бюро создано, скоро с них спрашиваться

будет, а что они нам выдадут — дело, нет? Кто поручиться может?

— Ну, Скобцев же вон чего только в газете не наобещал,— не удержался Ладонников.

— Моя бы воля, он бы на бюро не сел. Тоже не всегда того, кого хочется, могу поставить.— В высоком голосе Тимофеева появилось нервное дребезжание.— Скобцев наобещал, а спрашивать что, с него одного будут? Подстраховаться мне нужно? Нужно. Нужно, чтобы у них задел был. Вот все эти боголюбовские мероприятия и будут для них заделом. Время у Скобцева есть, они там поскоблят кругом, да под их работу как целевую министерскую и легированные марки получают — без всякого увеличения металлоемкости обойдемся. По всем статьям в выигрыше будем. И к аттестации в грязь лицом не ударим, и за бюро отчитаемся.

Он замолчал, Ладонников сидел, все так же свернувшись набок, неудобно было, начало уже тянуть в позвоночнике, но не мог заставить себя пошевелиться.

— Но ведь там, у Боголюбова,— принудил он себя наконец говорить,— там в основном всё облегчения условий труда и обслуживания касается. Все мероприятия. А у бюро стандартизации... У него же другие задачи, более обширные, фундаментальные...

Тимофеев, казалось, ждал такого возражения.

— Ничего,— сказал он, не дожидаясь, когда Ладонников закончит.— Для подстраховки и это сгодится. Чтобы было отчитываться чем. А там, глядишь, Скобцева перепихнем куда-нибудь, кого толкового на его место посадим. Того же Боголюбова, может быть. Талантливый парень, с головой. Только шальной еще. Надо ему хорошую выволочку устроить. Обязан он понимать, когда начальство ему знак дает? Что я, весь расклад ему объяснять должен? Мишин, тот понял, дает ему команду, а Боголюбов — нет, видишь, он один о деле заботится. На весь завод об этом прокричал.

Он вновь умолк, с цепкой пронзительностью глядя на Ладонникова, требуя взглядом от него ответа, сидеть дальше, свернувшись набок, стало невозможно, и Ладонников, морщась от боли в позвоночнике, выпрямился и увел глаза от взгляда Тимофеева в сторону.

— Нет, я не могу, Владимир Борисович,— сказал он, стараясь, чтобы вышло как можно тверже.— Вы, наверное, правы, так, видимо, стратегически и верно, как вы решили... но против я не могу. Я могу просто свое мнение, а дальше уж...

Что значит «выступить резко против», Ладонников понял, только Тимофеев произнес эти слова. Значит, признать справедливость требований служб, рекомендовать бюро экскаваторов остаться в рамках прежней металлоемкости и трудозатрат. А это нереально для бюро с его текущей работой, тут уйму времени нужно убить на расчеты. А значит, директорский приказ не будет выполнен. За невыполнение директорского приказа руководство бюро получит по шапке со всей силой, ответственный за эту работу Боголюбов, Мишина — минует, а Боголюбов и получит. И в конечном итоге выйдет, что Боголюбов — с открученными ушами, а Скобцев за его счет годика два спустя еще и лавры пожнет. Хорош расклад.

— Ну, пожалуйста, что ж, пожалуйста,— после новой, долгой паузы проговорил Тимофеев. Нервное дребезжание в его голосе сделалось много заметней.— Я вас не принуждаю, нет, упаси бог.— Он снова перешел на «вы».— Нет так нет. Обсуждение завтра в двенадцать ноль-ноль. У меня в кабинете.

Ладонников поднялся с кресла.

— Хорошо. Я понял. Завтра ровно...

— Однако же вы подумайте, Иннокентий Максимович,— перебил его Тимофеев.— Не первый год вместе работаем, и еще вместе работать, вы меня знаете — мог бы я по-другому, я бы вас не просил.

Когда Ладонников шел коридором в свою комнату, он почувствовал: скручивает болью желудок. Должно быть, заболело еще в кабинете Тимофеева, но там до него даже не дошло, что болит.

Он глянул на часы. Было около половины шестого, в эту пору желудок у него никогда еще не давал о себе знать. Где-то за половину седьмого обычно.

И тут же, только успел удивиться, Ладонников почувствовал: болит и сердце. И желудок и сердце — разом, так странно, сердце позднее, как правило... и понял со страхом: нервы. Нервы это дали о себе знать, вот что. И если теперь каждый раз так вот нервы... инфаркт — от нервов, и язва желудка — тоже от нервов.

Он остановился, достал из кармана пакетик бесалола, извлек изнутри, проглотил таблетку, достал стеклянный пеньальчик с нитроглицерином и положил крохотный белый камыш под язык. Спустя несколько мгновений в виски ударило, в них запульсировало.

Ладонников постоял с минуту, ожидая, когда утихнет

первая, самая тугая волна в голове, сердце тоже отпустило, и он пошел.

Уходил с Тимофеевым — в комнате оставалось человека три, теперь сидел один Ульяновцев. На столе перед ним лежала складчатая стопа листов с «трассой», он работал, но, только увидел Ладонникова, поднялся и пошел между столами к нему навстречу.

Спрашивать о разговоре с Тимофеевым будет, что там Боголюбову светит, с надсадностью проныло в Ладонникове.

Но Ульяновцев сказал совсем другое:

— А выловил «блоху», Иннокентий Максимыч! — И Ладонников увидел, какое у него лицо: так и светилось все, ну будто солнышком оплеснуло, ни тени обычной угрюмой мрачности. — Коэффициент напряжения, не там запятую поставили. Черт знает как получилось. Вроде чистили все, вылизывали... Сейчас уж, раз взялись, пройдем «трассу» до самого конца, проверим еще раз, но мне кажется, в этом деле, теперь все ладом должно быть.

— Так-так, хорошо. — Ладонников и обрадовался, но и какую-то больно вялой была радость, обрадовался — но вроде как не проняло его, так лишь, слегка задело. — Не поздравляю, не с чем пока поздравлять, пусть вот машина результаты выдаст.

— Ну, тогда уж шампанским обмывать надо будет, — сказал Ульяновцев. И теперь спросил: — Не по поводу Боголюбова приглашал?

— По поводу, Александр Петрович, — сказал Ладонников. И не стал дожидаться уточняющих вопросов Ульяновцева. — Давайте только не будем предвосхищать событий. Главный разговор впереди. Завтра.

Но Ульяновцев все же стал уточнять:

— Ну, а настрой? Настрой какой, почувствовали?

— Какой и должен быть. — Ладонников не хотел рассказывать Ульяновцеву что-либо — зачем это, чтобы он передал Боголюбову? Ни к чему. И, словно такого ответа вполне достаточно было Ульяновцеву и можно перейти на другое, пожаловался: — Сердце сейчас что-то схватило в коридоре. Желудок и сердце, все вместе. Пришлось лекарство принять.

— Сердце? А что такое? — Ничего Ульяновцеву не оставалось другого, как задать этот вопрос. Ладонников увидел — лицо его на глазах приобретает свое обычное выражение угрюмой, тяжелой мрачности.

— А пойдй разберись, что такое. У меня с той поры, как на волейбольной площадке схватило, постоянно случается.

Он вовсе не для того сказал Ульянцеву о сердце, чтобы пожаловаться, просто так уж вышло — о чем думалось, о том и сказалось, — он хотел уйти от разговора о беседе с Тимофеевым, и на этот раз Ульянцев понял его.

— Ну да, сердце... конечно. Беречься надо, — пробормотал он.

Перекинулись еще парой слов — домой, не домой, остае-тесь, не остаетесь? — оба уходили и в молчании уже собра-лись, закрыли двери на ключ, молча спустились по лест-нице.

Внизу нынче снова дежурил тот сивошетиный старик вахтер. Принимая от Ульянцева ключ, он глянул на круг-лые настенные часы напротив и с укоризной покачал го-ловой:

— Раненько, раненько...

— Да уж вот так, — обычной своей фразой ответил ему Ладонников, но улыбнуться старику, как всегда улы-бался, не получилось.

Асфальт площади перед институтским зданием был уже по-вечернему иссечен длинными тенями от высаженных вдоль бокового тротуара тополей. Молодая их, яркая листва ве-село трепыхалась на слабеньком, еле ощутимом теплом ветерке.

«Должно быть, до того самого перекрестка, на котором с его женой расстанемся после родительских собраний, вместе идти», — с прежней надсадностью подумалось Ладонникову. Ему хотелось сейчас остаться одному. Минут десять до перекрестка. Неблизко. Разговаривать о чем-то придется. Это не с лестницы спуститься, не будешь же десять минут идти и молчать.

Абсолютно все равно было, о чем говорить, всплыло в памяти родительское собрание, о нем и заговорил:

— Ходил тут на родительское к дочери, очень вашего сына хвалили. Просто зависть даже взяла, так хвалили.

— А, между прочим! — с каким-то, похоже, удоволь-ствием отозвался Ульянцев. — А мою жену зависть к вашей берет. Все мне в пример вас ставит. Что я, мол, такой и сякой, на родительские собрания не хожу, а вы вот по всем статьям выше положением, вы — всегда. После собра-ний дня три вам икаться должно — все она говорит об этом.

— Да нет, не икается,— не сразу ответил Ладонников. Опять, в какой уж раз за последние дни, обдало мыслью: вот так живешь себе и живешь, ведешь себя, как полагаешь необходимым, а где-то там, помимо твоей воли и желания, творится и расходится кругами, как по воде, мнение о тебе.— Почему должно мне икаться? Выдумал кто-то первый такую глупость.

— Да просто шутка, наверное. Так я думаю.

— Наверное. А ваша жена, кстати, мне жаловалась на вас, что никак на родительские собрания не ходите.

— Само собой.— Ульяновцев, показалось Ладонникову, хмыкнул. Ладонников глянул на него, Ульяновцев глянул ответно, взгляды их встретились, и Ладонников вдруг открыл для себя, что впервые за много лет совместной работы видит глаза Ульяновцева по-настоящему так близко.— А только я, Иннокентий Максимович, на эти собрания еще до того ходил, как вы стали. А потом плюнул. Закрыв это дело, и все. Почему, любопытно, ходите вы?— Глаза у Ульяновцева были умные, добрые и слабые, никак не вязались эти глаза с той ожесточенной характеристикой, что давала тогда, по пути с собрания, его жена: «Себе, как легче, выгадывает. Чтобы поспокойнее жить ему».

— Да ничего особо любопытного, Александр Петрович,— сказал Ладонников.— Хожу и хожу. Взял себе просто за правило. Авторитет отца есть авторитет отца, родительскому собранию в глазах детей особый вес придается.

— Придается?— Ульяновцев снова хмыкнул.— Фикция это одна — придается. Придешь домой — и все жене пересказываешь, и все-то ты, получается, не так услышал, и о том-то не спросил, и то-то не выяснил... Фикция одна, авторитет наш. Сейчас женщины хозяева жизни. Времена такие. Подмяли бабы мужика. Женское главнее мужского стало. Мужчина — вроде приложение к женщине. Матриархат! Форменный. Не заметили, как наступил. А он — вот. Так что чего тужиться, как та лягушка, надуваться без толку. Уж кто ты есть, тем и быть.

— Нет, вы не правы.— Ладонников постарался, чтобы в тоне его не было никакой резкости. Не хватало только вступить по этому поводу в спор.— Все неоднозначно. Все от людей зависит. Как они себя друг с другом поставят.

Он понял, увидев глаза Ульяновцева, что всегда грешил на него, настороженно полагая, что при всей его исполнительности и порядочности за его угрюмой молчаливой мрачностью может скрываться что-то недоброе. Ничего там

такого нет и в помине. Просто все в нем выедено слабостью воли, отсутствием вкуса к жизни, неумением подчинять ее себе — оттого и эта мрачность в выражении лица, оттого и ни почему больше.

Ульянцев в ответ на его слова пробормотал что-то нечленораздельное. Ладонников ждал — может быть, выразится яснее, но Ульянцев молчал, ничего не говорил, Ладонников сам больше не заговаривал, и получилось, что весь оставшийся путь до перекрестка снова шли в молчании.

Когда перед тем, как разойтись, приостановились на мгновение, пожали друг другу руки — и уже пошли было каждый в свою сторону, у Ладонникова вырвалось как-то против воли, будто само собой сказалось:

— А у Боголюбова, Александр Петрович, раз он так вас интересуется, дела нехороши.

Сказал — и повернулся, и пошел скорым, как бы нацеленным шагом, и ощущал внутри себя и желудочную, и сердечную боли — не исчезли ни та, ни другая, а только словно бы затаились, припрятали на недолгое время свои когти, готовые в любой момент вновь выпустить их.

6

— Да не ходить завтра на работу, и все, — сказала жена.

— Ну как так не ходить, — отозвался Ладонников. — Что у меня за основания?

— Основания? — голос у жены стал возмущенным. — Какие тебе еще основания нужны после сегодняшнего? На бюллетень, и неделю покоя — в любом случае. А раз еще завтра обсуждение это — тем более! Ты что, хочешь пойти?

— Да нет, как пойти? Не выступать же против. Мерзавцем себя последним буду чувствовать.

— Ну вот. А «за» тоже нельзя. Как ты будешь «за», когда ты стольким обязан Тимофееву.

Ладонников не ответил. Он лежал на супружеской постели с тремя подушками под спиной, не лежал, точнее, а полусидел, мог, наверное, уже и лечь — после укола, сделанного врачихой со «Скорой», прошло уже больше часа, и он больше не ощущал в себе никакой боли, — но все еще оставался внутри страх ее, и он пока не в силах был перемочь его. Скольким он обязан Тимофееву? Может быть, и не столь уж многим он обязан ему, но хорошо относя-

щийся к тебе начальник, справляя свои начальнические обязанности, всегда в чем-то, получается, помогает тебе, а ты в итоге выходишь ему обязанным. За хорошее к тебе отношение обязанным.

— В конце концов,— сказала жена, не дождавшись от Ладонникова ответа,— речь идет не о человеческой жизни. О металле всего лишь. Если бы о жизни...

— Этому металлу мы и отдаем наши жизни. Он и есть наша жизнь. И твоя тоже. Такие профессии.— Ладонникова все время тянуло перечить жене, что бы она ни говорила, и он получал от этой своей поперечности какое-то странное, мстительное удовольствие.

— Ой, ну не знаю, чего ты хочешь. И идти не можешь, и не идти не можешь.— Жена сидела на краю постели, держа его давно уже согревшуюся после укола руку, отпустила ее, встала, дошла до письменного стола и, повернувшись, оперлась о него.— Нельзя тебе идти. Нельзя, и точка, нечего дальше обсуждать. От этого и танцуй. Другой бы на твоём месте выступил против, как ему велено, а ты — вот, пожалуйста, «Скорая» понадобилась. Твое здоровье, в конце концов, не только тебе самому нужно. У тебя дети, в конце концов, и ты в первую очередь о них думать должен.

И точно на эти ее слова закрипела, отворяясь, дверь, и на пороге встал сын. Он был без рубашки, в одной майке, и брючный ремень распущен.

— Ты как, пап?— спросил он оттуда, с порога, глянув по очереди и на Ладонникова, и на мать.

— Нормально,— ответил с подушек Ладонников.— Отпустило.

— Ну, я ложусь,— сказал сын.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Спокойной ночи,— в один голос отозвались Ладонников с женой.

— Мудрых снов!— подмигнув, добавил еще Ладонников.

Сын хмыкнул — спасибо, но уж какие приснятся,— затворил дверь и тут же открыл вновь.

— А у меня завтра, забыл совсем, тоже родительское,— сказал он.— Кто пойдет? Ты сможешь, пап? Вообще у меня вроде все о'кэй, так что вроде...

— Схожу, схожу,— улыбаясь, покивал Ладонников.— Посмотрю, как о'кэй.

— Ага. Ну, спокойной ночи,— разулыбавшись ответно, еще раз сказал сын, и дверь за ним плотно вошла в косяк.

«Славные вроде у меня дети», — счастливо и умиротворенно подумалось Ладонникову.

— А Катюха спит уже? — спросил он жену.

— Давно уже. Валерка не лег — какую-то передачу по телевизору смотрел.

«Нет, никак невозможно против, никак. А за — полная бессмыслица, полная, полнейшая, ничем не помочь, так что...» — Ладонникову вспомнилась эта страшная, вне предела человеческого терпения боль, стотонным грузом плющившая грудную клетку, ни в какое сравнение не шедшая с той, что проняла вместе с желудочной, когда вышел от Тимофеева, и от одного лишь воспоминания о ней ему сделалось жутко. Та, принесенная с собой с работы, весь вечер тихонько корябалась в груди, однако совсем тихонько, едва заметно, порою даже и исчезая. Играли после ужина всей семьей в «чепуху», передавая по столу друг другу специально нарезанные узкими тетрадные листки, писали в них, подворачивали край, закрывая написанное, раскручивали завертыши, в которые превращались листки, читали, что получилось, — и смеялся от души, протрясло всего, но никак внутри ничего не отозвалось, не ворохнулось по-новому. А пошел в прихожую собираться на прогулку, нагнулся завязать шнурки — и не смог распрямиться.

— Завтра с утра к врачу, пусть электрокардиограмму сделают, — сказала жена. — И без кардиограммы не уходи, обязательно, чтобы завтра же.

— Давай попробую лечь, помоги, — не ответив ей, через паузу попросил Ладонников.

Жена торопливо перебежала через комнату, придерживая Ладонникову голову, вытащила из-под него одну подушку, другую и осторожно опустила его вниз. «Ну, что?» — тревожно спрашивали ее глаза над ним.

Ладонников помолчал, прислушиваясь к себе. Никаких неприятных ощущений внутри не появлялось.

— Все нормально, — сказал он.

Назавтра с утра он пошел в поликлинику. Участковый врач принимала во второй половине дня, он добился приема у дежурной, дежурная направила его на кардиограмму, и на кардиограмме обнаружился какой-то новый зубец, которого не имелось на предыдущей.

Дежурная, когда прочитала в карточке заключение кардиолога, сделалась как шелковая. До того она не хотела

даже принимать Ладонникова, передавая ему через выходящую в коридор медсестру, чтобы он ждал свою участковую, теперь она сказала, что не нужно вообще было приходить в поликлинику, нужно было вызвать врача на дом, и на дом бы приехали с аппаратом, ладно, что сейчас это все неврозоподобного, видимо, характера, но могло быть и хуже, и впредь он должен это иметь в виду.

Домой Ладонников возвращался с бюллетенем на пять дней и лекарствами в карманах.

Телефон зазвонил, он только переступил порог, не успел еще закрыть дверь. Трубку сняла подскочившая Катюха, поздоровалась, послушала и протянула Ладонникову:

— Тебя. Не мама. Дяденька.

Ладонников думал, кто-нибудь из лаборатории — узнать, что в поликлинике, — но это звонил Боголюбов.

— Да, Олег Глебович, слушаю вас, — сказал Ладонников, прекрасно понимая, почему звонит Боголюбов, но не лезть же с объяснениями, с извинениями, со всем прочим, пока ни о чем не спрошено, потому и сказал вот так, словно бы у самого совершенно ничего не имелось для Боголюбова.

— Что с вами такое, Иннокентий Максимович? — спросил Боголюбов. — Сердце, мне передали?

— Да, стенокардия, — сказал Ладонников.

— И что, здорово прихватило?

— Здорово.

Боголюбов в трубке помолчал.

— И значит, на совещании у Тимофеева... — наконец произнес он с запинкой, — что, не сможете быть? Или сможете?

— Нет, не смогу. — Ладонников нарочно говорил коротко, чтобы Боголюбов по одной уже его речи понял бы, что он, Ладонников, не союзник ему, ни в каком виде, и решение окончательное и бесповоротное.

Боголюбов какое-то время снова молчал.

— Зарежет мне Тимофеев все это дело к чертовой матери, — сказал он потом — будто пожаловался.

«Безусловно», — ответилось в Ладонникове.

Но вслух он не произнес ничего.

Боголюбов в трубке помолчал-помолчал еще и проговорил:

— Ну, ладно тогда, Иннокентий Максимович. Всего доброго. Поправляйтесь.

— Да, спасибо,— по-прежнему коротко отозвался Ладонников.

Он положил трубку и с минуту стоял над телефоном, не двигаясь. На душе было пакостно. Не оттого, что ему трудно дался толькошний разговор — да нет, без всякой трудности,— а оттого, что вчера утром, еще до разговора с Ульянцевым на производственной гимнастике, позвонил Боголюбову, высказал свое мнение и пообещал, возникнет такая необходимость, высказать его где угодно. Дал, получается, слово и вот не сдержал. Самое скверное, когда дал слово — и не сдержал. Хуже нет. Если бы вот не дал. Не дал бы — так и ничего, а вот дал и не сдержал — эту ту самую свою профессиональную честь не смог соблюсти, уронил ее, и знает один — будут знать и другие.

Однако ничего уже невозможно было переменить, надо смириться, что так произошло, занять себя каким-нибудь делом, и это тягостное чувство недовольства собой рассосется — не заметишь как. В любом случае Тимофеев зарежет Боголюбову затеянное им дело. Будет он, Ладонников, там или не будет. И даже если, придя, подержит.

— Катюха! — позвал он дочь. Дочь появилась на пороге комнаты с книгой в руках — первой каникулярной, — и Ладонников, залезши в карман, достал бумажник: — Отложи-ка чтение. Сбегай на рынок, купи зелени, салат, укроп, петрушку — все, что есть. Удивим маму: придет на обед — а на столе лето совсем.

— Па-а!.. — просяще протянула дочь. Ей не хотелось так вот срываться и бежать, хотя рынок был совсем рядом, три минуты до него, не больше. — Такая книга интересная...

— Ничего, ничего, у тебя сейчас полно будет времени. — Ладонников забрал у нее книгу и, не закрывая, положил на столик рядом с телефоном. — Побалуем маму, раз оба дома. Она к вам бежит тут с Валеркой на обед... давай обрадуем.

Жена и в самом деле каждый день бегала с работы в обеденный перерыв домой, чтобы быть уверенной, что и Катюха уйдет в школу сытой, и Валерка, вернувшись, тоже поест, жаловалась последние несколько дней, что на рынке появилась первая, парниковая зелень, надо бы купить, начать витаминизироваться, но по дороге домой всякий раз забывает вот забежать на рынок.

— Давай, давай, ноги в руки — быстро, за одну минуту туда-сюда, — дал Ладонников дочери деньги и под-

толкнул ее на кухню.— Сумку нди возьми. Порадуем маму. Рынок — твоя забота, салат сделать — я на себя беру.

Он проводил дочь, захлопнул за ней дверь и пошел в комнату переодеваться в домашнее. Дело, чтобы занять себя, было придумано, начало крутиться, он с удовольствием думал о том, как поразится жена, как будет ахать, как будет рада, и от одних уже этих мыслей делалось на душе счастливо и тепло.

7

Пойти вечером на родительское собрание к сыну жена Ладонникову категорически запретила и пошла сама. Вернувшись с собрания, покушалась и на обычную прогулку Ладонникова перед сном, но за целый день у Ладонникова нигде ничего ни разу не болело, и уж прогулку он отстоял.

Жена хотела было пойти вместе с ним, но он отказался:

— Да ходил же я в поликлинику сегодня. Что ты, в самом деле!

Если бы жена попробовала настаивать на своем, он бы, наверное, не пошел лучше совсем. Как бы ни слились они за прожитые годы, ни спаялись в единую плоть, а все же эти предночные прогулки, с тех пор как стал ходить на них, стали как бы его заповедником, куском его жизни, принадлежащим ему лишь и никому больше. В эти прогулки часто вспоминалось детство, умершие отец с матерью, годы студенческой жизни, когда жизнь чудилась постоянным открытием все новых и новых дверей с притаившимися за ними все новыми и новыми тайнами, а не хомутом каждодневных забот и дел,— нет, доступа в эту закрытую зону, кроме него самого, не могло быть больше ни для кого.

Дни удлинялись на глазах: вышел в то же время, что и обычно, а полоса заката в стороне трамвайной линии много выше поднималась над горизонтом, чем даже еще позавчера. Воздух уже очистился от дневной грязи, был свеж, чист, прозрачен, и Ладонников шел, вбирал его в себя, смакуя каждый вдох.

Сегодня он пошел по давно им нехоженному, зимой невозможному из-за снежных завалов, извилистому маршруту по дворам, и оттого, что давно не ходил этим маршрутом, с осени считай, всю прогулку душа томила не-

отчетливым, но явным, тем самым юношеским чувством просторности и каждодневной новизны жизни.

На обратной дороге к дому Ладонникову нужно было пересечь сквер, по которому, до трамвайной линии и назад, он ходил пятого дня. Пересечь его можно было сразу же, как вышел к нему, а можно было дойти до той тропки, которой сворачивал к дому прошлый раз, и Ладонников решил дойти до тропки. Ему нравилось ходить сквером. Все вокруг с годов молодости изменилось обликом — новые дома, целые новые улицы, — а сквер остался прежним. Чугунную вот ограду только снесли.

Ладонников дошел до тропки, поднырнул под кусты акации, вынырнул, и, когда распрямлялся, взгляд поймал в траве справа какое-то смутное белое пятно. От заката на западном горизонте осталась узкая бритвенная полоска, воздух вокруг делался все сумеречней, и пятно было едва различимо в траве.

Ладонников прошел мимо, уже ступил с бетонного бордюра на дорогу, и что-то в нем заставило его вдруг повернуться, пойти назад, вновь отыскать глазами белое пятно в траве и пригнуться к нему. Это был тот самый маленький черный котенок, что пятого дня — когда так же вынырнул из-под сомкнувшихся ветвей — стоял здесь на задних лапах и мяукнул навстречу ему с какою-то словно бы молящей жалобностью, а белое пятно в траве оказалось белой шерсткой манишки на груди. Теперь котенок лежал на боку с заколевшими вытянутыми лапами, с ощерившейся, разорванной до уха пастью, молодая сильная трава, подмятая им, успела подняться, и несколько стрелок ее упруго торчали между крохотными клыками.

Ладонников выпрямился. С полной, ясной отчетливостью он вспомнил сейчас, что, проходя тогда, видел еще боковым, периферическим зрением какое-то темное большое пятно со стороны кустов, но как-то не отметил его сознанием, видел — и не увидел, не осознал. А то, значит, собака была, и котенок, выходит, помощи у него просил, заступничества, а он прошел мимо, даже не остановился.

Ладонников сошел с бетонного бордюра, отделявшего сквер с его зеленью от проезжей части, медленно пересек дорогу, с трудом, словно не десять сантиметров нужно было одолеть, а все полметра, поднялся на тротуар и, шаркая, побрел к дому. Ноги еле-еле двигались, совсем не шли, на душе было до того отвратительно, что Ладонникова буквально мутило.

Этот ощерившийся в мертвом оскале котенок со стрелами травы между клыками соединился в нем с Боголюбковым, с его ночным нелепым звонком, с его отчаянным и тоже нелепым звонком сегодняшним, и Ладонников увидел себя, как, может быть, никогда не видел, даже и в пору юности. Какая там профессиональная честь, какое там профессиональное служение и подлинно хозяйское чувство ответственности, как писал в своей статье Боголюбов. Может быть, что и было когда-то, да наверно было, было — да, но давно уж нет ничего, ничего не осталось, вытрусилось все, как песок из дырявого мешка. И давно такой, не сегодня стал и не вчера, и не раз уже поступал, как нынче, не так лишь явно, может быть, не так открыто. Был мальчишка — не знал, что она, семейная жизнь, что значит быть хорошим мужем, хорошим отцом, — стал им, нет греха на совести: стал, дотянулся до лучшего в себе, выжался до него. А там, в другой жизни, что от звонка до звонка, даже прихватывая после звонка, много после него прихватывая, — опустил, оказывается, до самого низкого в себе. Не нарочно, конечно, вовсе не стремясь к тому, но что из того, что не стремясь, какая тут разница. Свой грех на другого не переложить. Своя вина — она своя.

И что же, с отвращением к себе и гадливостью, подумал Ладонников, так я и буду жить дальше, вот помучаюсь, попереживаю сейчас, успокоюсь, приду домой, приму лекарство, лягу спать — и буду жить дальше, какой есть, ничего уже не изменить в себе, не переделаться, не стать иным, поздно? Закостенели хрящи, омертвели ткани — не повернуться к себе другому, не дотянуться до него?

Он думал об этом и чувствовал, что похож на ненавистного, отвратительного Скобцева, что из того, что тот дурак, а ты вон, может быть, даже до доктора дотянешься, — похож; и от чувства этой схожести было особенно скверно.



Н. Шитлов



рошлую ночь Александр не ночевал дома. Вечером после смены он встал во дворе и с полчаса стоял, глядя на свет в своих окнах. Одно в комнате — оранжевое от абажура, другое на кухне — голубое от занавесок. Окна как все другие. Лиза, конечно, дома на кухне: к его приходу горячий ужин всегда стоял на столе. Дверь открыл своим ключом, еще не зная, что сказать. Вообще он любил, чтобы ему открывала Лиза. «Здравствуй, котик», — обычно говорил Александр. Лиза скупой, пасмурно улыбалась и говорила по-молодежному: «Чао, бамбино, чао».

Александр вошел и зачастил с порога:

— Слышала, котик? Ночью резкое похолодание до минус сорока — сорока трех! Штормовое предупреждение передали! Шторм, Лиза! Шторм, котик. Горячая вода есть?

Медлительная Лиза топталась в проеме кухонных дверей, смотрела на Александра строго, тщаься что-то вспомнить но штормом из ее головы это «что-то» вышибло.

— Что за шторм еще? — Она ждала ответа, глядя, как муж разувается. Разувался он медленно, вникая в обстановку.

— Я говорю: горячая вода есть? А то, может, опять в котельной перекур... Кто их знает? А бриться надо? Мыться надо? Эх, жизнь шоферская...

Он ослабил напряжение, и Лиза вспомнила, что муж не ночевал дома.

— Ты...

— А то промерз, как... Ну-ка, Лиза, глянь, что я купил...— В одном валенке он промахнул к порогу, развернул кусок мешковины в углу.— Полы-то летом будем красить? Будем! Запас — он не тянет... А цвет! Ты глянь, котик, какой цвет!— Александр держал две жестяные банки, по одной на каждой ладони.— Цвет — первое дело...

Лиза снова забылась, кося на банки сурово и недоверчиво:

— Что за штуки? Краска, что ли?

Александр лучился, смеялся глазами, ртом:

— Краска, котик... Нитроэмаль...

Лиза подошла, взяла банку, понюхала через крышку. Поскребла ногтем этикетку и спросила, смягчившись:

— Нитра или ималь?..

— Нит-ро-э-маль,— терпеливо, как любимому ребенку, объяснял Александр.— Тут написано так. А цвет — желтый! Половой, значит...

— Дак ималь или нитра?— Лиза злилась, если что-то не понимала. После укуса энцефалитного клеща ее характер очень изменился.

Саня улыбался уже бесконечно долго:

— Котик, это ни-тро-э-маль! Все вместе! Эмаль на нитро-основе. Поняла?

— Фу ты, беда!— Лиза осмотрела банки, потом мужа. Глаза ее округлились и потемнели от гнева:— Будь ты трижды неладен! Ты скажи: нитра или ималь? Вот Вера-то Фадеева нитрой покрасила — заглядишься! А сверху — лак!

— А сверху лак,— поддакнул Александр.— Лак дает блеск. Сверк такой дает. Дае-ет!

Тут Лиза вспомнила и главную обиду:

— Ты где сегодня...

Но Александр уже весело скинул второй валенок и глянул на часы: надо торопиться.

— Иди, Лиза, жарь-парь, а я тебе такое расскажу — ума не приложишь...

Сброшенный валенок успокоил Лизу. Послушно и все же со свирепым лицом она продолжила жарить лещей. Их румяные корочки вызывали у Александра хорошие чувства, но нужно было беспрестанно отвлекать Лизу от желания задать ему вопрос о ночлеге. Александр заговорил:

— Значит, стою я у переезда с грузом. Ну там еще Колькин Ленька...— Саня уже жевал хлеб с горчицей.

— Какой-то Колькин, Ленькин! А ну не хватай! Не дождешься никак!

— Ну, не знаешь, что ли, шофера из «скорой»? В пятом подъезде живет, на медсестре женатый!

— Однорукий!

— Кто однорукий?— Саня даже перестал жевать. У него в голове не укладывалось: как может быть одноруким шофер? И он пошел напролом, еще раз глянув на часы:— Ага!— сказал он, доставая из холодильника капусту:— Там убили...

— Кого?— Лиза отпрянула от сковороды и стала утирать передником руки.

— Однорукого, кого... Вот я шел, а его из ледника привезли! Баб понабежало — море! Твоя там... Эта... Которая мужика-то бьет? Кто?

— Фадеева,— Лиза уже мыла руки над кухонной раковиной и жалостливо глядела на Александра: живой, слава богу!— Хтой-то убил, Шура?

— Мне не доложили... Шпана... Кто ж еще?

— Ой!— кручинилась Лиза, накидывая шубу.— Однорукого... И у кого стыда хватает...

За ней захлопнулась дверь. Лиза любила ходить на похороны после перенесенной тяжелой болезни. Она там грустила и плакала.

Александр сгреб со стола несколько жареных подлещиков и, как был, в тапочках, побежал к соседу по площадке Алексею. Не терпелось рассказать другу о событиях минувшей ночи, но как бы невзначай.

Алексей шил унты и сказал, даже не взглянув на гостя:

— Дверь не закрыта была или как?

— Не закрыта...— ответил Александр. Поглядел на шкуру.— Опять собаку убил. Это Тузик?

— Нет,— скривился Алексей,— это не нашего района... Бобик-Шарик, на сухарик...— Он был маленьким и гордым. Тюбика крема для бритья ему хватало на полгода.— А ты, буян, иди к чертям...

— Уже на экспорт шьешь?— подначивал Александр. И вдруг выпалил:— А то я седня дома не ночевал... Расстроился!.. Надо как-то Лизу объехать, а завтра она позабудет. Ты ж ее знаешь...

Алексей поднял все же от работы лицо:

— И з-за борт ее брос-сает в близлежа-ащую волну-у!— И не бросая шитья, поинтересовался:— Где был-то?

— Любовь!— Александр улыбнулся и глянул на Алексея, как из-под очков.

— Родит же земля уродов...— мотнул головой тот и еще яростней принялся сучить дратву. Помолчали. Александр не выдержал первым.

— Подкальмить ездил в Верх-Тулу, шкаф повез. Ну, обратно еду в двенадцатом часу — девчонка голосует. Лет семнадцать.

Алексей злобно засмеялся: ври, ври.

Александр продолжал:

— Нет, думаю, не на того напала, я тормозну, а из кустов — еще пяток гладиаторов! Но ближе подъезжаю — вижу: холодом ее пробрало, спасу нет. Эх, думаю! Чем я не мужик!..

— Ты-то? Да у тебя морда, как растоптанный белаш...— хмуро поддел Алексей, на что Александр ответил могучим приступом смеха.— Ну-ну? Взял ее, что ли? Тянешь тягуна...

— Взял. Едем. Справа — полная луна и она. Дрожит девчонка. Я говорю: куда тебе? До площади, говорит, Станиславского. Губки такие — мм! Ну и все остальное на месте. Меня тоже потряхивать начало. А почему, спрашиваю, ночью? С матерью, мол, поругались...

— Тебе сколько годков-то?— поинтересовался Алексей, хотя знал.— Сорок? Сорок! А ума — воз да маленькая тележка!

— Зато у тебя на головушку шапка не налазит — умный такой!— смеялся Александр, откинувшись головой к стене.

— Сидишь тут еще. Ты давай рассказывай свою сказку, а то мне скоро спать. Без сказки плохо...

— Лады. Там у нас в гараже фургон стоит на яме. Я фуфайчонок из раздевалки натаскал, соорудил все как надо. В гараже жарко: грейся, говорю, а я сейчас. Пошел к Симбирцеву, вахтеру, поесть взял. Прихожу. Она в фургончике лежит, притихла, глаза закрыты. Ну я ей: разденься, в гараже тепло.

Александр вдруг остановился, посерьезнел лицом впервые за этот вечер. Взгляд стал невидящим и уткнулся в стенную панель чуть выше склоненной над работой лохматой головы Алексея.

— Слышь, Лешка,— сказал он почти шепотом,— как их родители-то в город отпускают?.. На погибель-то?

— Закрой рот — ворона залетит! Родители... Им ро-

дители — тьфу! Мой возьми: купи, бать, баян! На баян! Купи, бать, гитару! На гитару! А сел... Или я его бил мало? Лупил, как персидский коврик. Ну? Много они родителей слушаются. Дурацкого кина насмотрятся — и давай им того же! Возьми моего: ты, говорит, меня плохо воспитывал! Да когда мне было воспитывать его? А нас кто воспитывал? Ломик да гаечный ключ, голод да болезни! Тебе вот, пентюха, взять... Женился на беспамятной, на восемь лет она тебя старше... Детей нет...

— У нас Валька!..

— Дак твоя она, что ли, Валька-то эта?

Александр не любил рассуждений, он снова улыбался:

— Что это тебя понесло юзом? Мне Валька все равно что родная... И внучка вот теперь, тоже моя... А насчет беспамятства Лизино: я сам виноват. Повез-то ее на Кубовую я. Там ее клещ и тяпнул. Погуляли...

— Ну, арап... А что золото наценили, не ты виноват?..— исходил желчью Алексей. Губы его вело в кривую усмешку, а кулак, тянущий драгву, побелел в суставах.

Александр ответил:

— Кто ее знает... Насчет золота я не виноват...

— Нет?— переспросил Алексей.— А вот и виноват!

— Как так?

— А как мак... Не ездил бы, не калымил бы, а на производстве пахал как следует, оно, может, и покрепче бы жилось...

— А ты зачем Полкана убил, а?— Александр стал отнимать шкурку у Алексея, дразня его. И тот облегченно сменил тему разговора, смеясь:

— Да уди ты... Уди... Слушай, я те шило засажу под шкуру...

Послышался голос жены Алексея:

— Ну? Чего, как дети?..— Она прошла на кухню и поставила на стол авоську с продуктами.— Иди домой,— сказала Александру.— Не мешай мужику деньги зарабатывать.

— Прощай, и ничего не обещаю, и ничего не говори...— встал Александр.— Ну, бывайте!

Алексей пошел закрыть за ним дверь и в прихожей спросил шепотом:

— Ну а что с девчонкой?

Александр пожал плечами:

— Отогрелась — ушла... Дите еще, овечка...

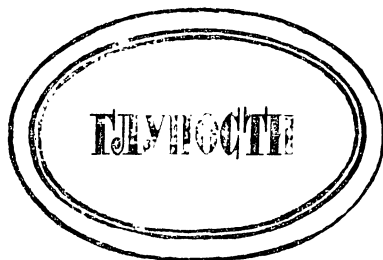
Алексей радостно засмеялся, толкнул Александра ладошкой в лоб:

— Иди! Овечка...

...Когда пришла домой Лиза, Александр лежал в постели, притворяясь спящим. Лицо его было прикрыто листом бумаги, исписанным крупными буквами. Разъяренная обманом Лиза схватила этот лист и негромко прочла:

«Лиза — котик, Лиза — цвет, Лиза — розовый букет... Лизу-котика люблю. Не буди меня. Я сплю».





ончалась зима.

В подполе кончалась картошка, а в угольных лажах — уголь. С утра, отслушав «Пионерскую зорьку», Саня стал перебирать картошку на едовую и полевую и одновременно следил, чтобы жирный кот не вспрыгнул на братишку, который лежал двухмесячным невольником в качке и пищал, просыпаясь, как мышь.

С портрета на стене строго глядел отец.

— Надоело...— говорил ему Саня.

— Глупости!— хмурился отец.— А как мы воевали?

Взрослые рано, по гудку, уходили на работу. Отец на свой «Воронеж», а мама — на грохота в камнедробилку. Вечером приходили, смеялись чему-то, внимательно слушали радио, патефон, вой ветра в печной трубе и засыпали под скрип одинокой сосны на огороде, так и не передумав всех своих дум.

Вечером же, засветло, Саня брал черное ведро и шел к железной дороге собирать уголь, свою норму. Пальто его было перешито из отцовской шинели, а шапка осталась на улице после драки фэззушников с местными, и Саня ее взял себе: голова у него была не по возрасту большая и умная. Потому и прозван был в школе Голованом.

В один из вечеров он набрал угля очень быстро — недавно на угольный склад приходили разгружаться вагоны — и тащился домой неприступный и гордый. Он знал, что мама даст денег на кино «Серебряная пыль». Эта пыль уже три дня витала над рабочим поселком, а Сане все то некогда, то не на что. Но получилось не по его.

— Глупости,— сказал отец.— В баню собирайся, и фиоп...

Ну что ж... Можно и в баню, кипяток этот терпеть. Одна радость — клюквенный морс в буфете да ручка банной двери из зеленого стекла в рубчик. «Все надоело»,— думал Саня, а тут мама:

— Я вам, мужики, новые рубашки купила... Сегодня завозили в магазин... Только вы их не завозите смотрите... Эфиопы...

И достала из топорной работы гардероба большую белую — отцу, а вторую, с мелкими розовыми ромбиками, Сане.

«То-то!»— подумал Саня, отец же сказал:

— Спасибо, Аня... Я первую и последнюю белую сорочку еще до войны сносил...

— Тебе личит, Коля...— мама с какой-то сонной улыбкой смотрела на рубаху, на отца.— Теперь булгактерша-то вовсе ума решится...

Отец сказал:

— Глупости!— и полез на чердак за веником.

Потом пошли в баню, к центру поселка, где горел ряд фонарей типа «шляпа на нищем» и который назывался на местном языке не центром, а пупом.

Отец шел впереди, Саня чуть сзади, и вдруг — хлоп!— нет отца. В темном проулке ребятишки натянули через тропу проволоку. Отец сдавленным голосом сказал:

— Дай-ка руку-то...— и встал, легко и коротко просто-нав:— Варначье же карьерское, а?!

Саня отряхнул снег с его парадного пальто, а когда задел левую руку, отец ойкнул.

— Что, больно?— спросил Саня.

— Глупости...— буркнул отец.

Возле банного пруда, на дамбе, стояла старуха в телогрейке и нещадно стыдила голого Федю Николаева, который купался в проруби. Он увидел отца и заорал:

— Никола-а-ай! Уб...б...б...ери ст...т...ар...р...уху... За-мммммерзну я тут-а!..

Отец стал похож на мальчишку. Он хохотал и, размахивая веником, бежал к старухе. Та покачала головой, сплюнула в сторону Федя, подалась за плевком всем телом, будто поклонилась, да и пошла себе домой или в гости к другим старухам. Федя скачками, повизгивая, понесся в баню. Отец еще смеялся, молодец в смехе, а Саня взялся

за дверную ручку из зеленого стекла и потер ее вязаной варежкой. Ручка отозвалась ему мгновенным сиянием далекой луны и померкла на морозе.

В раздевалку доносится хохот, и банщица, хромая тетя Ариша, сказала:

— Ух, шваброй бы да по спинякам-то жеребьячье племя-то, а?— завдыхала, подтирая пол.— Провдоль бы хребтища-то, а?

— Глупости...— все еще посмеивался отец.— Чо ты, Ариша, ну? Лучше бы спела: «Где ты, хме-е-лю, зиму зимувало-о-о...»

— Ты-то бабник известный... Глю-у-пости, господи прости... Матерь божия, троеручница... Глю-у-пости...

— Письма Федька пишет, а, Ариш?— спрашивал отец, раздеваясь сам и успевая помочь Сане.— Или собакам сено отбыл косить?.. Эк ты!— Он посмотрел руку:— Вроде распухла? А ну глянь, Ариш!

— Язык бы у тебя бы не распух...— Тетя Ариша смотрела на руку и ждала розыгрыша, потом прислонила швабру к синей кабинке и легонько помяла отцову руку. На лбу его выступили капельки пота, как на банном полке. Отец взмыкнул и рванул руку на себя.

— Ну так все, Микола. Поломка... Это где ж так, а, Коля? Ох, мамонька! А полбока-то вырвано! На войне а, Колюшка?

— Под Москвой.

— Ба-а! Весь, поглянь, израненный... И за что тебя бабы-то любят?

— А вот щас!..— пригрозил отец, хватаясь за пуговики.

Тетя Ариша смешливо взвизгнула и захромала прочь со своей помощницей-шваброй.

В банном тумане сновали свободные от роб тела каменоломов, взрывников, коногонов... Тут же тихонько мылись фэззушники.

— Здорово!— крикнул отец звонко.

Отозвались довольные:

— ...О-о-о-в!.. Коля-а-а, у кого нос доле-е-е!.. Колька... сколько...

Подошел Иван, который вне бани все время ходил в промасленных брюках и телогрейке, за что был накрепко прозван Сыром.

— Слушай: кто у нас кабанчика может выкласть? Ты не спец?

— Могу,— согласился отец.— Только вместе с хозяином... Такой я коновал, не обессудь...

Тогда Сыр дотянулся до уха отца и стал что-то шептать. Слышно было Сане только: Наташка... Галка... Верка...

— Глупости!— спокойно ответил отец и покосился на Саню.— Хочешь, Сыр, я из тебя щас клоуна сделаю?

— Смотри сам,— крикнул Сыр, подымая тазик на пуп, и поплелся в парную.

В этот раз мысли долго — отцу мешала больная рука, то есть ему не хватало ее здоровой. Мылись, шутили, препирались.

— Чо ты, Коль?— спрашивали мужики.— На инвалидности?

— Бюллетень придется,— уже без смеха отвечал отец и досадовал на руку:— Ах ты, весна ж вот уже, а тут!..

Саня с радостью думал: весна! Он видел цветенье черемух и водопады на лесных полянах, желтые цветы мать-и-мачехи на склонах любимого оврага и птичьи гнезда в буйной траве, каникулы, мяч...

Отец знал: кончается барда для коровы — ее осталось чуть на донышке треугольной шахтной вагонетки, кончается уголь — его надо выписать, привезти на лошади, вывалить у ларя и лопатами — в ларь; Сане надо сапоги или калоши на валенки, а пальтишко еще хорошее, продюжит весну — сколько ее, весны-то той; поросенка на откорм купить — тоже надо, не последнюю зиму живем... Надо. Много чего надо. Ламповый приемник хотел взять, а какой теперь приемник после болезни...

Отец мрачнел, и тут открылась дверь из раздевалки и Сыр крикнул:

— Коля! При прямо сюда! Быстро!..

— Разогнался...— буркнул отец, но встал и опрокинул полтазика воды на Саню и полтазика на себя.— Пошли, Голован, а то чайная закроется... Видишь, не могут без Николая Сомова...

— Быстро!— еще раз повторил Сыр, с головой, повязанной вафельным полотенцем.— Вора спымали! Ага!

Кружок полуголых в раздевалке расступился, разомкнулся, но гомону прибавилось при виде отца. Отец и сын шли, прикрываясь тазиками, к центру круга, где на мокрой деревянной решетке для ног сидел мальчишка-фэзэушник с надранными красными ушами. Сидел, ни на кого не глядя,

одной рукой придерживая на коленках Санину новую рубаху, а другой ковырял решетку.

— Стыд-головушка!— говорила банщица.— А? Вот, пока еще на решетке сидишь, а не за решеткой, проси прощенья!.. Скажи: простите меня, люди, мол, больше никогда в жизни чужого не трону! А?

— Простите меня, люди...— подняв со скуклю брови, начал повторять было мальчишка, да Сыр замахнулся и сквозь стиснутые зубы выдавил решительно:

— Щ-щ-щас кэ-э-э-эк... Сур-р-раз-з-зенок ты... с-с-с...

— Что за шум?— отвел его руку отец.— Пропал мальчишечка... А ну, встань!

Тот встал, голова опущена. Публика притихла.

— Моя рубаха!— с обидой заметил Саня.— Новая. Мама сяди только...

— Оставь ему,— сказал отец.— Ты про Олега Кошевого читал? Про Гришу читал?

— Читал...— сдерживая слезы, Саня тер нос.

— Хлю-ундик!— уколол отец.— Одевайся, пошли. Чайная закрывается.

— Дак, Николай!— воскликнул Сыр.— Дак это как жа?

— Глупости,— сказал отец.— Пошли на пуп, в чайную, ребята...

И все оделись в новые белые рубахи, которые только вчера завезли в орсовский магазин.





ы говоришь мне, Расскажи о своем детстве, ну Расскажи. А о нем не Расскажешь, как и о любви. Это и есть любовь; когда оно идет, Любишь будущее; когда будущее становится настоящим — Любишь прошлое. Скажу еще: детство такая страна, которую не исходишь за всю жизнь, это оставленная Родина, и счастлив тот, кто, мужая, не стареет. Я люблю свое детство.

Итээровский дом — одно название. Их, итээровцев, в поселке было-то полтора десятка, да и те перебрались в степенные особнячки с палисадниками — там цвел мак, а по мягким стволам черемухи вился хмель. В итээровском доме — два этажа — жили: клубная кассирша Елизавета Поликарповна (сколько ее помню — все старуха с папиросой и в очках); Комарниccione — бухгалтера из конторы и двое их детей; старик с австрийским штыком по фамилии Манн, он охранял школу, и ресницы его были седыми; сто человек Забодаевых (так говорили потому, что у них каждый год рождалось по ребенку), портной Блам, выписывающий газеты, и его жена Женя-пианистка; кладовщица аммонального склада Зина, огромного роста с прозрачными, испуганно выпученными глазами на тонком лице, скандальная и отходчивая до слез холостячка; семья радиомонтера Круминьша: он сам, жена Нюра, двое сыновей моего роста, а значит, лет семи-восьми; да учитель Геннадий с женой-продавщицей и ее бабкой, которой очень много лет.

В этом же доме была наша квартира, стены с накатом, трафарет вдоль стен под потолком, восемнадцать квадратных метров на четырех. Вот и весь итээр в эпоху энтээр. Поселок строил заводы, а потом уже дома.

Город был в двух часах ходьбы, а у нас по утрам звучал пастушеский рожок с наконечником-мундштуком из красной резины, и пожарный с каланчи отдавал пастуху честь, говоря:

— Гонишь, Макарыч?

— Гоню-у,— отвечал пастух, монументально восседавший на кобылке, сам одетый всегда в шапку и плащ-палатку.— Цы-ы-ы-ля-я!— и оглушительно хлопал бичом, а потом останавливался, чтоб скрутить сигарку.— Чо там? Дождя не видать?

— Чисто, Макарыч... Чо эт у тебя Нелькина Зорька: стельная?

— Стельная...

— А мож быть, клеверу объелась?

— Давай, давай свисти... Чо там в Москве-то? Люди на улицы ишо не вышли, глянь-ка?

— Не... Только-только коров выгоняют...

Оба хохотали.

Лето само по себе было островом малого покоя в стремнине рабочих послевоенных будней.

Однажды утром, когда взрослые были на работе, меня разбудил друг Жека. Он зашел с куском хлеба, а поверх — слой маргарина, протянул мне его, надкушенный, и сказал:

— Откуси разок!

Я откусил. Потом отрезал кусок от своего хлеба, полил его постным маслом и дал откусить Жеке. Тот не признал наше масло вкусным:

— Мазута! Пока ты тут спишь, к Бламу приехали врачи... Он, наверно, умрет. Пошли? У него сыпь по всему телу, а тела почти нет: волосищи-и!

В доме царила паника. Объявили, что Блам заболел тифом, сыпняком, и что срочно вызвали машину из санэпидемстанции, и что не менее срочно всем жильцам нужно эвакуироваться в сарай, с вещами.

Блама увезли и привезли обратно. Выяснилось, что сыпь на волосатом теле — это реакция на пенициллин, но право на дезинфекцию осталось в силе.

— Клопам сделаем карачун,— сказала собравшимся

приземистая женщина, вся в завязочках и перчатках.— Завтра-послезавтра начнем...

— Господи!— бегал от одного к другому Блам и всех теребил за пуговицы, просительно смотрел в глаза:— Осрами-и-или уже ни за пошух! Где начальство? Это позор! Кто мне ответит: вы?— он страшно смотрел на приземистую женщину. Она отвечала:

— Чо дергасси? Не дергайся...

Тогда он бросался к соседям, но соседи бросались от него, и Блам рыдал:

— Кто таки вернет мне заказчика? Тифозная вошь?! Пе-ни-цил-лин?!

В субботу к вечеру возле сараев выросли малые летние печки и вкусно задымили. Выросли они не сами по себе, клали их Круминьш с моим отцом на пару и никому не отказывая. Сторож Манн управился сам, но в последний момент у него пропала плита. Он подумал-подумал, сходил на завод и пришел оттуда с таганком в руках... Так на таганке и готовил все летечко. Жека видел, что плитку спер отец Забодаев, но забодайчата были нашими друзьями, а старик Манн и по-русски-то говорил, как бредил.

Потом теща учителя, которой было миллион лет в обед, спускаясь со второго этажа по крутой деревянной лестнице, оступилась и сломала ногу в щиколотке. Она была уже слепая, кругом говорили, что «нога ее высосет, помрет Ждановна»...

Как чувствовали себя взрослые в связи в эвакуацией, сказать не берусь, а нам все это нравилось: как же — переезд! В общей бестолковости и неразберихе Жека умыкнул у Поликарповны три пачки «Звездочки», а я — банку пороха «Сокол» у своего отца. И все это мы спрятали в песчаном высохшем русле ручья на дне лога, что начинался за сараями. Нам, охваченным неудержимым востром новизны, хотелось путать и л о м а т ь, мы лишились привычных представлений об играх, о доме и улице. За это лето я увидел, услышал и узнал, как беззащитны бывают взрослые, как одиноки и... сильны.

Потихоньку привыкли к проживанию в сараях. Все сблизилось, повеселели и, поливая огороды на закате солнца, дружно разводили дымокуры, грозили дезинфекцией комарью.

По утрам взрослые уходили на работу, а вслед за ними лошаденка Люстра везла в забой телегу с буфетом-ящиком.

Учитель пристроил гамак между сарайками и читал, спал до полудня, ходил за ягодой в лес, иногда рисовал в альбоме Женю Блам, березку в огороде и наш дом из коричневых шпал.

Женя Блам играла на аккордеоне полтора часа — с десяти до половины двенадцатого, потом брала стеклянную банку из-под химикатов и шла за утрешним молоком, возвращалась, брала купальную шапочку и уходила до вечера на пруд с книжкой килограмма в три весом.

Изредка возле дома появлялся Круминьш, отяжеленный монтерскими когтями, мотками проволоки, сумкой с инструментом. Он забирался на столб и будто бы засыпал там.

Забодасевские дети нянчили один другого.

Манн приходил с дежурства утром, шаркал на полусогнутых старческих ногах через двор. Из его полевой сумки торчала щепка, или обломок доски нес он на плече. Потом отстегивал штык от пояса, у своего сарайчика щепал лучину, разводил под таганком костерок и готовил еду, шевеля губами по-немецки и грустно хлопая седыми ресницами.

Ждановна таяла. Когда ее выносили на улицу, то мы видели, что лицо старушки похоже на ладонь, если ладонь долго держать в воде. Дочь — продавщица Лида — вызвала из города священника, и в то утро незанятые работой люди не отходили далеко от сараев, ждали интересного события и дождались.

Священник приехал в красивом автомобиле. Выйдя, перекрестился сам, перекрестил дом, двор и проплыл в сараюшку, где умирала Ждановна. Лида повязалась платочком по-старушечьи и утирала его кончиками сырые глаза. Учитель на время ушел в лес.

И вот, пока народ был занят догадками о шансах Ждановны, пока гадал о таинствах церковных обрядов и слушал богохульные речи кладовщицы Зины, у старика Манна кто-то спер штык. Он оставил его у таганка, когда поддался общему порыву и дал любопытству овладеть собой, а штыка лишился. В тот час мы едва ли не впервые услышали голос Манна. Он с жалкой улыбкой (дескать, я понимаю шутку) шаркал по двору, усыпанному битым стеклом, куриными перьями, ржавыми кусками проволоки, он против обыкновения наступал на редкие островки травы, он держал

в руках ивовый прут, как миноискатель, и не сводил глаз с кончика этого прута.

— Кто-то шутиль...— говорил он забодаевским детишкам, что ходили, и ползали, и носили друг друга на загорбках вслед за стариком.— Пропаль наш Манн, Анюта... Нет штик... Дети шутиль... Маленький кнабе...

Когда вышел священник из сарая Ждановны, и распрянул огромную спину, и, крестясь, глянул на небо, то мы с Жекой увидели, как Манн, спотыкаясь, кинулся к нему и поцеловал протянутую руку священника.

— Господи!— испуганно сказал священник.— Оружие на дьявола крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его...— И перекрестился, глядя на жалкую человечинку, что предстала перед ним, лопоча:

— Штик... поп... Дети шутиль: пряталь мой штик... Пропаль... Са какой крех стари... айте Манн пох накасываль?..

Двое из старших забодаевских катались по земле, держась за животики, и пулеметно хохотали.

Зина, минуту назад поносившая попов, елейно сказала своим гибким голосом:

— У него, батюшка, хозяйства — один штык был, а ребятишки украли, пока вы, батюшка, Ждановну исповедовали!

Манн подтвердил, глядя в живот священника.

— Так, поп... Так, поп... Покросі репятёшкам... Я стари Манн...

Священник осмотрел двор ясными карими глазами. Присутствующие замерли. Круминьш в полной тишине чихнул на столбе и стал спускаться вниз. Мы стояли кучкой: Жека, Толя, Круминьш, сын монтера и я. Священник остановил на нас взгляд. «Страшно...» — не шевеля губами, шепнул Жека. «Ага...» — тихо отвечали мы.

— Эй вы, трое! Сюда!— сказал нам священник и помянул перстом.

Мы переглянулись между собой, как молчаливые собаки, и подошли.

— Душа у вас есть?— спросил священник, глядя почему-то на меня.

Я пожал плечами: не знаю, мол. Круминьш увидел отца и в три прыжка удалился с допроса. А Жека рос без отца и был заводной, он ответил священнику:

— Чо надо-то? Не брали мы штык Адольфа Карлыча... Душа-а! У него штык пропал, а у меня папка! Я сураз, понял?

— А где же твой родитель?— растерялся священник и потянулся погладить Жекину голову. Но тот отдернулся резко и сказал:

— Собакам сено косит — вот где!— А потом, сунув руки в карманы своих обносков, пошел, заспешил, побежал куда-то к оврагу.

— До свиданья,— вежливо сказал я священнику и пошел тоже, слыша тяжелый вздох за спиной и слова:

— Я не смею угадывать, но только прошу премилосердного бога: да не узрит душа моя грядущего царства тьмы...

К нашим сараям стекались чистенькие старушки, а я уходил искать Жеку. Я знал, где он: он курит в зарослях лопухов и болиголова на дне оврага... За мной некоторое время тащился Манн и на что-то надеялся.

Жеки на месте не было.

Я откопал нашу тайную банку, открыл ее — записки нет. От скуки я проверил клад — все на месте. Где же он? Я оглядел заросшие дикой зеленью склоны оврага, тогда мне показалось, что кто-то смотрит на меня от полынного острова у старой бани. Играть так играть: я затаился и, маневрируя с огромным удовольствием, тропами, ведомыми только мне, подполз к баньке на расстояние двух скачков. Тут кто-то быстро схватил меня сзади, прижал к себе и волосатой рукой зажал мне рот, говоря:

— Тихо... Тихо... Это я, Изя Блам... Не бойся...— Он шептал мне это прямо в ухо, но в ужасе я ничего не понимал, мычал, бился в его руках.— Тихо... Слушай же, мальчик... Тихо... Слушай: это мой позор.

Он повернул к себе мою голову. Я увидел Блама, его плачущие глаза; он прижал палец к своим губам: тс-с!— и одними глазами показал на развалины бани. Он убрал ладонь с моих губ, и рот мой, наверное, остался раскрытым: я услышал голос Жени Блам, а потом и увидел ее голову, клонящуюся на плечо мужчины, обтянутое синим спортивным трико. Мужчина стоял спиной к нам, притулившись к срубу.

— Учитель...— шепнул Блам.— Учитель Геннадий Кузьмич, географ. Тихо... Ах, как она хороша!

Женя говорила:

— Родной мой Генка... Знал бы ты, какой ты хороший... чистый... Маленький мой... Прощай и прости меня... Израэличик пропадет без меня, маленький мой...

А Изя обнял меня, задрожал, заплакал с восторгом на лице:

— Ты слышал? Это не позор, это уже счастье мое! О-о! Какая она великодушная, моя жена Женя... О-о! Что занесло нас сюда, в эту Сибирь! Скажи мне, Ваня...

— Я же не Ваня...

— Да-да-да!.. Прости покорно, прости... Конечно же, ты не Ваня, но завтра же, завтра же утром мы с моей женой уедем... далеко, туда, где все еще нужны настоящие портные и музыканты! Да, Ванюша. Блам — это не Блам-блам-блам... Ха-ха-ха! Гео-гра-фи-я!.. Куда ты? Постой, смотри... Что я тебе скажу...

Но, отскочив в сторону, я схватил ком земли и швырнул его в сторону баньки, а сам побежал вдоль по склону оврага. За мной, повизгивая: «Ой, лихо... ой, лихо...» — бежал Блам и вскоре догнал, схватил меня за ворот рубашонки, и древняя ткань ее затрещала.

— Пусти, черт волосатый! — чужим голосом, горлом, свирепо крикнул я, покрывая страх и брезгливость. — Рубаху порвал!

Блам покорно кивал, пучил глаза и отпыхивался.

— Я... я... о-о! Я пошью тебе... две рубашки... Но послушай! Послушай меня, что я таки хочу тебе излить... Кому же я поплачу, Ваня?..

Две рубашки меня убедили, и я разрешил ему говорить. Тогда он достал из кармана пиджака, который носил в любую жару, зеркальце, расческу, потертый штопанный гомоток и выразил лицом крайнее изумление; он взял пиджак за плечи, потряс его так и этак, осмотрел вокруг себя суглинок, крутясь на каблуках, взъерошил пух на голове.

— Где штык? Где он, боже ж ты мой?.. Он был завернут в пиджак... Я взял его у немца, чтобы зарезать — о-о! — какой несчастный дурак — свою жену Женю и учителя... Я взял его возле трехногой немецкой печки, а потом забабахал штык в пиджак и пошел мстить! Мстить! А где он теперь?.. Кто мне скажет, кто?

Из-за поросшего кустарником глинистого мыска к нам шел учитель. Он шел быстро, одна рука его была упрятана в карман брюк, а второй он подносил к зубам травинку и грыз ее, бросая на нас редкие взгляды исподлобья.

— Посмотрите, люди, — тихо сказал Блам, — он идет и не боится! Романтик Алеко! — Громко: — Что это вы тут делать изволите, многоуважаемый учитель? Или уже для прогулок

лучше места нет в наших бесподобно симпатичных окрестностях карьера?..

— Ну-ка, иди отсюда,— сказал мне учитель.— Иди...

— Нет!— Блам стал подпрыгивать на месте, поддерживать, пританцовывая, потянулся ко мне руками.— Пусть мальчик останется! Что вы от меня хотите, хулюган вы, дай вам бог здоровья, да еще какого! Пусть мальчик видит, что вы от меня хотите!.. Стой, Ваня-а!

Я пошел, не оборачиваясь. Глупые, если б я захотел, то вы бы и не заметили, что я устроился поблизости и все вижу и слышу: это же наш овраг. Но жизнь детства, думаю я теперь, полна событий, и мне тогда было неинтересно единоборство учителя и портного. Я думал, как найти сначала Жеку, а потом штык. Или: сначала штык, а потом Жеку?

В мечтах я уже был весь увешан блестящими, острыми, красивыми штыками. В конце концов, если найду штык, то он будет моим по праву: ведь утащил-то его Блам!

...Наверху шуршали шланги дезинфекции, и во дворе нашего дома пахло так, что не подходи. Потому, наверное, было пусто. На всякий случай я свистнул и прислушался, но никто мне не отозвался. Только продавщица высунулась из сарая, по-куриному, боком, глянула на меня и погрозила пальцем.

Хотелось поесть и — на пруд.

Я пошел к своему сарайчику, там пошарил рукой в тайничке, куда обычно клал ключ. Кроме ключа, в тайничке лежала записка, начертанная на лиловой тетрадной обложке: «Я на чирдоке». Дальше уже наспех: «С чирдока миня турнули. Пашол исть канаплю Жека».

На самом деле я нашел его в коноплянике за насыпью старого Московского тракта и дал ему хлеба с сахаром. Он жевал хлеб, перевернувшись со спины на живот, а я обдирал со своих плеч обгоревшую на солнце кожу.

— А ты яблоки любишь?— спросил Жека, весело двигая челюстями.

— Еще как,— ответил я.— Но виноград больше...

— Виноград? А ты его ел? Ботало ты — вот ты кто!

— Наелся б, дак не любил... А вот не ел и люблю...

Жека облизал пальцы и задумался.

— Давай убежим, а? В город. И наедемся винограду до отвала! Во так!— он провел по горлу ребром ладони.

Я сказал:

— А на что? У меня всего сорок копеек...

Тогда Жека разгреб небольшой холмик из гальки в своем изголовье, я увидел выемку в земле, а на дне ее — штык старика Манна. Штык-красавец радужно отражал солнечный свет и сам просился в руки. Я потерял свой мизерный апломб и потянулся к нему, но Жека сказал, стукнув меня по руке:

— Не лапай! Сперва поборемся, салага!

Мы поборолись, как теперь говорят, на грани фола. У Жеки из носа выглянула кровь, а у меня саднили ссадины на локтях. Потом сели и стали думать: унести штык в город и продать? или оставить его себе на веки вечные? или обменять на породистого щенка? или за выкуп отдать Манну?

— А где ты взял штык?— вдруг подумал я вслух, и Жека засмеялся. Когда он смеялся, то брови его озорно шевелились:

— Его же Блам потерял, когда за тобой гнался... Я все видел!

— А где ты замаскировался?

— Место нашел — во!— у моего носа помелькал загнутый, как санный полоз, Жекин большой палец.— Слышь...— он понизил голос и притишил его:— Блам его раз ронял на самом том месте, где наш порох зарытый... Я увидел и стал следить... Учителя с Женькой видел... Как ты крался, видел, да свистнуть боялся...

Я был до небес восхищен товарищем.

Вечером, когда задымили печки и запах дыма пробудил в нас с Жекой неумный аппетит, мы пошли домой с сосновыми посошками, украшенными незатейливой резьбой и фонариками из молодой древесной кожицы. Странные звуки встретили нас на подходе к двухэтажке — это Блам ломал пианино, выкатив его из сарая на середину двора. Моя мама плакала, отворачивалась от сцены, но все ж не уходила. Круминьш с сынами стояли совсем рядом и молчали, отец мой отбивал литовку, не обращая внимания на происходящее. Кладовщица Зина всплескивала ладонями, хохотала приседаючи и оглядывала всех призывно: веселитесь со мной! Забодаевские детишки носились вокруг пианино и Блама, как вокруг костра, и визжали хрипыми уже глотками.

Старик Манн отсутствовал. Зато явилась Ждановна со своего смертного одра. Она шла, опираясь на табуретку, и ее поддерживали с обеих сторон учитель и продавщица.

Посадили ее на ту же табуретку, и она, ничего не видя, отогнула беленький в крапинку платок за сморщенное ухо. Надо сказать, что потом Ждановна жила еще с десяток лет...

Блам бушевал. Он вдохновенно ломал пианино. Как великий мастер, он отскакивал от творения, ревностно оглядывал дело своих рук, утирал заливающий глаза пот и вновь неся на грудку обломков с ломиком из противопожарного инвентаря...

— Где были?— для проформы спросила Жекина мать.

— Бегали...— для проформы же ответил Жека и направился к ристалищу.

— Чо это вы делаете?— осведомился он.

— Не подходи-и!— выкрикнул Блам.— Я тебя! Не тронь!..

— Лучше бы мне отдали,— словно и не слышал его Жека, присел и стал набивать карманы обломками пианино.

Блам озабочено бросил ломик наземь и сказал:

— Я тебе-таки уши откручу!— но поздно: к трофеям уже прильнули забодаевцы, кладовщица Зина тянула к сараю черную полированную доску. Я тоже было кинулся, однако отец, вроде бы не обращающий взора на удивительное событие, рывкнул:

— Не смей, щенок!— И гневно глянул прямо мне в глаза.— Горе у человека...

Мама прижала мою голову к своему мягкому животу:

— Его Женя бросила, сынок...

— А учителя жена не бросила?— спросила я, думая: что же будет ломать учитель? Может, выбросит глобус на помойку...

Мама удивилась:

— С чего бы?— и посмотрела на меня с хитринкой.

— Так...— ответил я, пожимая плечами.

— Нет... Учителя не бросила. У них вон и Ждановна поднялась... Пошли-ка вечерять, зови отца...— И сама же позвала его:— Пошли, отец, суп простынет...

У входа в сарай она обернулась, посмотрела на замершего Блама и сказала:

— Интересно: сколько стоит пианино? Интересно...

Начали есть молча. Отец был мрачен, мама как-то биновато суетилась, я едва доносил ложку до рта и застывал. Отец сердился:

— Ешь, ладбм! Бездомовник!..

Я делал обиженное лицо и работал быстрее. Тогда, спасая меня от отцовского гнева, заговорила мама:

— Это что же сегодня за день-то такой? Ну, Женя, она вернется. Изя ей заместо отца. А наш Адольф-то слег... И печку свою топить не выходил: неужто из-за штыка этого, отец?

Отец с отвращением глянул на меня:

— Шенки... Архаровцы... Этому Адольфу без радости на чужой-то земле помирать... Он, мать, еще в империалистическую в плен попал, а тут женился на русской. Дальше — в Сибирь, жену-то зарыл перед финской... сам так и живет при могилке, сам с собой бормочет что-то. Анюта да Анюта... Чем уж этот штык ему родной? Кто знает...

Мама утирала слезы, оправдываясь:

— Что слезки на колесках, как листочки на березках... Ветер приспешил — мои слезки осушил... Пойди, сынок, отнеси ему горяченьких щей... Вот я сейчас ему щей в чугунок отолью — отнеси, миленок!

— Ладно! — буркнул я.

— Чо ладно?! Чо это за ладно?! — побелел отец и бросил ложку.

— Отец! — сказала мать ласково. — Не сердись... Устал парнишонка. Побегай-ка целый день, правда? — улыбнулась она. — Да и еще, поди, бегать надо, а?..

Отец посмотрел на меня, будто вспомнил что-то далекое, вздохнул глубоко и сказал:

— Балбес ты у меня... Хоть бы на гармошке играть мог!

А я ответил:

— Добра-то! Гармошка! Я военным буду... — потому что совсем не боялся его угроз: он ни разу не тронул меня и пальцем.

Вскоре я понес Манну щи.

В сарае горел светец, кованый из металлических прутьев. Сам старик лежал на топчане, голубые глаза с серебристой ошупью скользнули по мне взглядом и снова расфокусировался. В маленьком оконце без стекла виднелось сочно-фиолетовое небо.

— Дедушка, — сказал я. — Мамка щей горячих прислала... Ешьте...

— Заболель, — сказал старик и часто замигал. — Заболель... Финофат Манн-дедушка... Плагодарю твоя мама, но польше никогда нье надо... Педно... Кушайт сами... А ты, Сережа... — он встал, скинув на пол солдатский бушлат, прикрывающий ноги, — ...постой-покоди...

Манн прошел босиком по земляному полу, достал с полки плоскую круглую баночку из-под монпансье, трудно открыл ее. Потом посмотрел в нее, закрыл и протянул мне со счастливой улыбкой:

— Укости сфоих! Бери — она полным-полна корбушка...

Я вышел от Манна с непонятным ознобом по телу, мне казалось, что я узнал какую-то красивую тайну, поймал птицу с необычным оперением. Я не мог объяснить себе, что произошло, да и не думал об этом.

Ночью я подбросил штык в сарайчик Манна, Адольфа Карловича.

Теперь обрыв подошел совсем близко к этому дому, где уже никто не живет. Он стоит без оконных переплетов, в нем сорваны полы. Лишь стены с многочисленными слоями, годовыми кольцами синьки и ультрамарина хранят следы детских ногтей, снятых портретов, гвоздей, ушедших со шляпками глубоко в середину века.

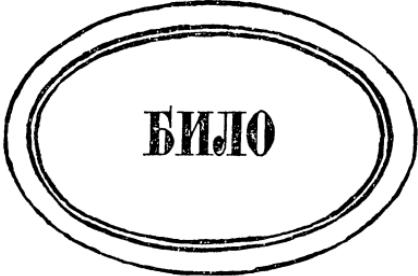
И когда я рассказывал о любимом своем детстве одной женщине, то она вежливо выслушала все и искренне сказала:

— Как ты можешь любить это ничтожное поселение? Эту серость?

С обидой я хотел уйти от нее тогда, да ее же и пожалел...



С. Лыкошин



БИЛЮ



Люба уж почти прошла те полкилометра, что отделяли от станции путейский пост, и всматривалась в снежную круговорот, надеясь вот-вот увидеть его сторожку. Ветер с шорохом и присвистыванием срывал с надутых вдоль полотна косых гребешков снежные дымки. Только этот шорох да свист, да звук легко утаптывающих белое крошево Любиных шагов тревожили ночную тишину. Последняя электричка прошла, и поселок засыпал, прогретый домашним теплом. Даже злые дворовые собаки, в иную погоду перебрехивающиеся без устали ночь напролет, молчали, попрытавшись от февральской выюги по своим будкам.

Вышедший из недалекого леса тягучий колокольный удар заставил вздрогнуть, сердце сжалось. Следом за первым, неровным диньканьем донеслось еще несколько. Будто кто-то размахнулся, ударил в тугую колокольный бок раз, а потом не сдержался и еще раза три уже почти без сил пристукнул. Любу от этих странных звуков как в спину толкнуло. Не помня себя, на одном дыхании, спотыкаясь и скользя на краях шпал, пробежала она оставшийся путь. И только у выросшей из снежной пелены белой кирпичной кладки домика остановилась и перевела дух. Стоящее на семи лихих железнодорожных ветрах строенье пряталось от них, прижимаясь к железнодорожному откосу. У ската шиферной крыши стояли жестяные путейские знаки на длинных, для приметности крашенных в черно-белые полосы, шестах. Валялась сползшая от стены угольная лопата, темнел красный, занесенный снегом дощатый ларь за низенькой

железобетонной оградой. Все это обнаруживало нехитрое назначение сторожки, поставленной не в поле, не на бугре, а так, сбоку, меж чередой электрических мачт и перепутавшимся ветками елок и осин редколесьем.

Люба заглянула в теплившееся желтым светом окно и увидела, как тяжело, через силу, поднялась от красного мерцающего зева печки высокая, плотно сложенная женщина. Обутая в подшитые серые валенки и обвязанная поверх линялого солдатского бушлата клетчатым платком, она со спины чем-то напомнила оставшуюся в далеком Сердобске бабушку.

Обрадованная таким сходством, а кстати, и тем, что напарником в это первое ее ночное дежурство оказался не мужчина, Люба начисто забыла о дорожных страхах, бойко потопала у порога и, стукнув в дверь, весело крикнула:

— Мамаш, откройте! Помощь застынет...

Лицо, показавшееся в дверном проеме, оказалось неожиданно старым и вовсе не приветливым. Жесткое, обветренное до красноты, потрескавшееся глубокими морщинами, оно таило в глазах строгость и недоверие. «Нет, это не бабушка, а старуха!» — мысленно отметила Люба и сбивчиво объяснила, кто сама есть и зачем пожаловала. Оглядев хрупкую помощницу, пожевав губами, старуха, наконец, соизволила Любе протянуть мягкую, рассыпавшуюся, как показалось Любе, при пожатии на косточки, ладонь и резким, с хрипотцой голосом назвалась бабой Дашей. Почувствовав, как неуверенно и робко ведет себя Люба, она зянула потуже узел платка, взяла черное ведро.

— Ты, дочка, устраивайся, грейся, а я угля принесу... Идолы, принести не догадались!

Скинув куртку на поставленную вдоль стены скамью, Люба осмотрелась.

Комната небольшая, но чисто прибранная. Печка облупившаяся и давно не знавшая побелки. Кроме скамьи и на вид даже заметно шаткого табурета, здесь были покрытая серым шерстяным одеялом лежанка и дощатый, на козлы поставленный стол. Его черная, до блеска вытертая по краям локтями столешница освещалась единственной, оправленной в колпак фонарного отражателя лампочки. По всему видно, что комната эта служит приютом многим и остается при этом ничьей. Все здесь слажено, на скорую руку, лишь бы грело да светило и, как водится, существовало уже далеко не первый год.

«Зря приемник не взяла...» — грустно подумала девушка и зевнула, представив, что всю ночь придется сидеть в этой неудобной, холодной комнате, да не одной, а с пожилой неприветливой напарницей. Слышалось, как та скребла на дворе стенки поставленного вплотную к сторожке угольного ящика, скалывала смерзшиеся комья угольной крошки. «И поговорить-то не о чем. Сердитая... Хорошо, что часы есть...» В полумраке едва различила на циферблате начало первого, и это, увы, означало, что дежурство в самом начале.

Разгоравшаяся печка жужжала и потрескивала сырыми углями, наполняла комнату кисловатым дымным теплом.

— Ну вот! Едва наскребла! — ухнула по жестяному коврику полным ведром баба Даша. — Сейчас подсыплем, чайник поставим и пойдем.

— Куда пойдем? — удивилась Люба.

— Куда же еще? На стрелку пойдем, чистить. На дворе-то метет.

Про то, что во время ночного дежурства надо чистить стрелку, Люба знать не знала. Еще утром ночное дежурство представлялось ей чем-то вроде дежурства у диспетчерского пульта, в ярко освещенной комнате, с телефоном на столе и цветами на подоконнике.

Заметив недоумение напарницы, баба Даша улыбнулась.

— Ты здешняя ай приезжая?

— Приезжая...

— И что так?

— Что — что так? — не поняла Люба.

— Что, говорю, на дорогу-то к нам пошла? Беда какая?

— Да нет... какая там беда. Мне удобней показалось. Я вообще-то учиться приехала, а поступила на вечернее. Ну, подумала и решила, что ночью дежурить удобней: весь день потом свободный...

— Вона как... — покачала головой баба Даша, — студентка ты, значит. — Опустившись на колени, она, кряхтя, вытаскивала из-под стола огромный, каких Люба не видала, чайник, побултыхала его и, к своему удовольствию обнаружив в нем достаточно воды, веселей добавила: — А сама-то откуда будешь? С каких мест?

— Из Сердобска... это под Пензой. Я здесь в дядином доме живу. Он с семьей в отъезде, за границей работает. Ну, а мне здесь жить разрешили. Все-таки город близко...

— И где же это ты? В дачном, что ли? — выпрямилась, прихватившись за больную, видимо, спину баба Даша.

Она пристально и с любопытством смотрела Любе в глаза, стараясь определить, что за помощница ей досталась. Взгляд оказался острым и не по-старчески цепким.

— Да нет... В поселке,— коротко ответила девушка, испытывая раздражение, вызванное бесконечными вопросами, и понимая, что провести ночь, так ничего и не сказав о себе, не удастся.

Как ни странно, но баба Даша перестала спрашивать, села на лавку, прикрыла рот рукой, шептала что-то свое и уставилась на печную дверцу. Выглядела она теперь ко всему безразличной и, казалось, давала понять Любе, что та может делать что захочет. В подтверждение тому хлопнула она ладонью по лавке и вполне равнодушно предположила:

— Садись, девка, за ночь еще находимся!.. У меня сосед парнишка тоже учится. По два раза в год в Москву ездит. Инженером будет. А сейчас — механик на фабрике... Я говорю, чего, Миш, мучаешься? Шел бы в техникум, ездить никуда не надо, тут он, в поселке, а кончишь, все при том же при своем деле будешь. Кой ляд разницы? Что инженер — что техник-механик? Смеется. Говорит, скучно весь год на месте сидеть. Чумовой. Ты ноги-то не шибко легко одела?— без всякого перехода, не отводя глаз от печки, с сомнением спросила вдруг она Любу.— Возьми за печкой пимы. Они большие, правда, но зато уж жать не будут... Да не там, у лежанки. Так-то оно верней...— Посидев и пожаловавшись на «слабую спину», «на худую погоду» и на снежную зиму, баба Даша, наконец, поднялась и, добавив к Любину обмундированию свои запасные рукавицы, предложила пойти на стрелку, пока снега «не подвалило».

Люба только вздохнула, спросила, далеко ли стрелка, и, услышав, что «минут на тридцать ходу», поежилась. Уж очень не хотелось снова выходить на мороз и представлять лицо злему ветру...

Женщины шли полусогнувшись, навстречу ветру и вдоль уходящего в глубину леса железнодорожного пути. Снег мел встречными вьюжными зарядами, забивался под платки, мешал дышать и говорить. Теперь они были почти неразличимы по возрасту. Только по легкому шагу впереди идущей и по шаркающей, тяжелой походке шедшей сзади можно было предположить разницу в летах.

Баба Даша несла выдавшую виды метлу, а Люба широкую фанерную лопату и проволочный крючок, который неловко пыталась пристроить то на плечо, то под мышкой, а он выскальзывал, цеплялся за землю, мешая и без того нелегкому движению.

— Будь ты неладен! — не выдержала девушка, резко остановилась, швырнула и лопату и крюк под ноги.

Тяжело дыша, встала и баба Даша. Подобно Любе, она повернулась спиной к ветру, перевязала куколь платка так, что остался виден из-под него один лишь кончик носа да широко посаженные глаза, подышала на пальцы рук и после этого только спросила.

— Уходилась?

Люба готова была расплакаться, но тон вопроса был миролюбив, а в голосе старухи слышалось участие. Захотелось пожаловаться на жизнь, сказать, что не хотела она идти на вечернее — все-таки школу хорошо закончила — пришлось. Родители старые и два брата еще учатся... Однако сдержалась и, шмыгнув носом, умоляюще спросила:

— Далеко еще, а, баб Даш?

— Как в лес войдем, так тут она и будет. Под ноги смотри, не то пропустим, вишь, как лихоманит, — в голосе послышалось не то сочувствие, не то желание утешить девушку. — Пойдем, что ли? Скорей дойдем — скорей вернемся. Я вперед пойду.

Люба нагнулась уж было за лопатой, как вдруг раздался уже знакомый колокольный удар. Но теперь он шел от земли, раскатывался уходящей с ветром тугой волной. Звон стоял в ушах, и колени свело холодом, а баба Даша словно не слышала, уходила мерными скрипучими шагами в сторону леса. Подхватив и крюк и лопату, прижав их к груди, Люба бросилась догонять ее, лишь бы не остаться наедине с этим непонятным, похожим на стон звуком. Идти сзади, чувствовать спиной чей-то неведомый взгляд Люба вовсе не хотела. Она обошла бабу Дашу, так и не решаясь спросить ее о колоколе. «Может, церковь где-нибудь? Колокол ветром качает... Что еще-то может быть! — успокаивала себя Люба, до боли в глазах вглядываясь в стальное течение рельс и отыскивая в нем стрелочную развилку. — И кому эта стрелка нужна? На кой ее чистить? Неужели и так по ней поезд не проскочит?»

Старуха шла тяжело, но твердо. Снег даже не скрипел, а чуть пискнуть успевал под ее ногами. От клетчатого платка клубами срывался пар.

«Старая-старая, а идет, что твоя лошадь! — оглядываясь, подивилась Люба. — Мои дома спят, десятые сны видят, мама, наверное, и не думает, где я сейчас. Сидит на кухне и читает... Так случись — и не почувствует. Эх, и занесло же меня на эту «железку»!»

— А ты, дочк, одна здесь живешь? — раздалось где-то у плеча. Люба и не заметила поравнявшуюся с ней бабу Дашу... На ветру голос ее звучал глухо.

— Одна... — довольная возможности поговорить отозвалась Люба и, не дожидаясь следующего вопроса, продолжила: — У нас в этих местах никого, кроме дяди, нет. Мы все из Пензы... Хотя отец-то здесь, говорил, воевал.

— Воевал? А где ж он воевал-то? — заинтересовалась и баба Даша. — Здесь все больше партизанили?

— А он с партизанами и воевал. В окружение попал, а потом до самого ранения с партизанами... у него ноги нет, раненный на снегу лежал. Говорит, и рана-то пустяковая была, а ногу отморозил.

— Хуже бывало, — покачала головой баба Даша.

— Конечно, война! — как бы понимая, о чем говорит значительно согласилась Люба.

Баба Даша помолчала, а потом все-таки спросила:

— А где партизанил-то, не сказывал?

Люба пожала плечами:

— Не то Кречетово, не то Коршуново... Не помню.

— Не Корчевино? — как бы надеясь на что-то, одной ей ведомое, переспросила старуха.

— Нет. Птичье какое-то название. Помню — не то коршун, не то кречет, — уверенно отсекала девушка.

— Ну да. Откуль тебе и знать-то... У меня мужик-то под Корчевино партизанил. В лес отседова верст шесть будет. Думала, может, знакомый какой. Твой отец-то...

За разговором идти стало легче. И ветер словно стих, и дышалось, как ни странно, но ровнее. Баба Даша молчала, шла, еще круче согнувшись, подставляя ветру макушку платка.

— А вы с партизанами встречались? — Любе никак не хотелось молчать.

— Ну раз мой-то с ними был... Конечно, виделись. И сама ходила, и ко мне ходили. Всяко бывало... Все, девка, пришли! Рассупонивайся, — остановилась внезапно баба Даша. — Вот она, стрелка.

Люба за разговором и не заметила, как вошли в лес.

Здесь было тише и ветер дул ровнее. Снег стлался на землю ровными косами и наращивая сугроб по всему полотну дороги. Лишь редкими, неохотными порывами схватывало и тянуло вдоль него тонкую поземку.

— А ты говоришь! — утрамбовывая валенками снег, шутиливо заворчала баба Даша.

— А я и не говорю! — весело откликнулась Люба.

— Да нет, я так просто. Мужики у нас, дорожники, при словие такое придумали: «А ты говоришь, купаться! А вода холодная!» Что значит? Леший его поймет, однако смеются. А дурное слово, оно прилипчивое, сам не заметишь — повторишь... Вишь, снегу, снегу-то насыпало! И не разгробишь! Сейчас мы с тобой, Любава, согреемся. Ты давай с краю отбрасывай. И смотри в оба, скорый из леса выскочит, сметет и не пикнешь!

За работу принялись молча. Девушка сноровисто сгребала лопатой снег, а старуха привычными ровными движениями обмахивала рельсы метлой. Получаса не прошло, как очистили они метров двадцать пути вокруг двоящего его распада стрелки. С непривычки Люба устала. Тяжело приседая, подхватывала цокавшую о бетонные шпалы обитым краем лопату и отваливала набок под откос сыпучее снежное крошево. Хоть и в рукавицах, но руки задубели, пальцы нестерпимо ломило в суставах и под ногтями. «Моченьки моей больше нет, — подумала Люба, но рассердилась на себя же, фыркнула и загадала: — Если на десятом шагу стрелку пройду, тогда передохну».

Баба Даша все так же мерно и однообразно скребла метлой рельсы и шпалы, и Любе казалось, что не живое существо, не человек, что-то механическое, медлительное подкрадывается сзади. От мысли такой она поежилась и забыла счет шагам. «Спать совсем не хочется. Странное дело! — думала девушка. — Весь поселок сейчас спит. Спит, кажется, весь мир. А мы, вдвоем, ночью, в лесу, скребем эту железную стрелку. То есть, конечно, не мы одни. Может, на этой же дороге десятки людей заняты тем же самым. И все-таки кажется, что мы одни. Скребем, царапаем, чистим от снега, которого к утру будет столько же...»

Сзади тяжело ухнуло, загрохотало и, ослепив женщин желтым, резавшим темноту лучом, пронеслось долгое железное чудище.

У Любы язык отнялся, а когда пришла в себя, почувствовала, как насмешливо смотрит на нее баба Даша. Лопата лежала в стороне. Вдали, исчезая, качался красный фонарик

последнего вагона скорого поезда, дрожью в рельсах затихал его тяжелый ход.

— Вот так и сдует! Охнуть или что другое не успеешь! — сказала, как видно, не меньше Любиного напуганная, но быстро пришедшая в себя баба Даша. — И как не жила!

— Нагнал страха, проклятуший. У-у, зараза! — погрозила вслед уже скрывшемуся поезду Люба. — И налетел прямо, как зверь какой! Давайте, баб Даш, передохнем, а то ноги не держат...

— Давай постоим, — равнодушно согласилась старуха. — А то закончим, может? Пить хочется, сил нет! Там у нас чайник, поди, выкипел, а? Я, правду сказать, третий день уже спиной страдаю. Изломало всю...

— Да вы бы в больницу сходили, листок больничный взяли! Что надрываться-то? — удивилась девушка. — Разве можно так?

— И то верно. Надо бы... Да вот подменить некому. Не тебе же, девка, одной полуношничать. Такого страху натерпиться смолоду-то.

— Дали б кого-нибудь. Не заставят же одну работать!

— Должно, дали б... По правде сказать, скучно мне ночью. Одной, дома-то. Не спишь, сидишь газеты читаешь, их у меня на полпенсии выписано. Все наизусть выучишь, а перемолвиться не с кем. Кот Васька, да и тот спит — только свист стоит! В голову всякое лезет... Как начнешь думать-вспоминать про жизнь свою... Не приведи господь! В дежурстве и спасаюсь... Какое-никакое дело. Не смотри, что железная-то дорога, глаз ей тоже нужен. По ней люди ездят...

Люба пожала плечами, поудобней облокотилась на лопату и назидательно произнесла:

— По-вашему, баб Даш, всю себя в эту железную дорогу и вбухай. А в один прекрасный день товарняк свистнет-дунет-поддаст и собирай косточки по лесу.

— Оно, конечно... Так, должно, и будет. У меня в прошлом году, ровно в это же самое время, голову закружило, я возьми и упади. Сколь лежала на путях, и знать не знаю! Может, час, а может, минуту. Только живой осталась. А придись поезд — так бы и разметало по лесу... как ты говоришь. По лесу-то еще ничего, здесь в нем все знакомые косточки лежат, да сколько...

— Скажете тоже! Смерть-то нелюдская какая! Бр-р... — Люба с отвращением передернула плечами.

— А какая она людская? Смерть-то?!— с горечью спросила баба Даша.— У меня в этом лесу мужик миной взорванный лежит, он разве по-людски помер. Ведь железку-то, мину, на которой он подорвался, человек собрал. Своими, чай, руками! Другой такой же в землю заложил... По-людски это? А вон мальчонка в пруду на той неделе утоп. Шесть лет не было... В лунку остутился и утоп. По следочкам и отыскиали. Это что, по-людски? И-и, девка, когда надо, она нас всех подберет...

Люба шмыгнула носом, посмотрела в черноту непроглядного неба.

— Ой!— вскрикнула она и замерла.— Ой, что это?

В морозном воздухе четко и гулко, раз за разом раздавались колокольные удары. Звук из леса взрывал тишину и пугал своей вязкой неторопливостью.

Баба Даша молча послушала, вздохнула и тогда только ответила:

— Било это...

— Чего?— не поняла Люба и на всякий случай ближе подвинулась к старухе.

— Било,— повторила та и, угадав Любин испуг, пояснила:— После войны это появилось. Здесь война страх какая была. В лесу отряд стоял партизанский... Дорога-то под немцем, ну, а наши, полушкинские, свищевские, да корчевинские, да всякие еще разные, кто приبلудился, значит, собрались и воевали. Мои там тоже были... Мужик Григорий Иванович — взрывником, а сыны, детки мои, Павлуха и Серенька, царствие им небесное, с ним... Ох, девонька моя! Вспомнишь, душа рвется... Пацанята совсем. Павлуха — тот старше, а Сереньке — тринадцатый годок и был всего... Недолго воевали... Как немцы за них взялись, так всех и повывели. Лесто у нас какой? Это ночью в темь густой, а днем отсюда гляди и насквозь все до самого Корчевина увидишь... Раз дорогу взорвали, другой немца на станции сожгли, в вагоне заперли и спалили, тогда уж и взялись за нас... Немец черных нагнал...

— Каких это черных?— почти шепотом переспросила Люба.

— Ну, такие, в черном лесу, на мотоциклах, да в машинах... Как пошли по лесу палить. Три дня треск стоял... Потом лес минировали, пробредали, жгли. Мороз лютый вышел, деревца, что твои свечи, горели... Одним словом, изживали как могли. Набедовались... Я бы к ним ушла, к своим, да в ту пору отец наш уж подорвался и свекровка моя, считай, от

слез ослепла, за малым приглядеть не могла. А немец тот возьми да и наскочи на землянки-то. Там в лесу кладбище и церковь брошенная с барского еще времени. Они, партизаны, вырыли себе под церковью вроде как жилье... Да так хитро все сделали, что не догадаться. Как уж их нашли, не знаю! Немцы, значит, постреляли и ушли. А я себе думаю, сходить надо, наведаться. Собрала какую-никакую еду и пошла. Иду, а сердце кровь точит. Лес пожженный стоит, посеченный весь, снег истоптанный, черный... Как они там, думаю? Иду и ног не чую. Пришла, а там, матушка-царица! Ни одной живой души — все как есть постреляны. И девки, и парни, и церква взорвана... Что со мной было, и не помню!

Старуха замолчала. Дышала она теперь часто, чувствовалось, что трудно дается ей этот рассказ. Люба стояла и не знала, что сказать.

— Так вот, значит, попечалилась я, поплакала да и схоронила всех, как смогла. Сила тогда еще была... Там сейчас памятник стоит, полянка прибранная. Иной раз кажется, помирать пора, а пойдешь над детками поплачешь, попрощаешься и все живешь...

— А било-то? Что это такое?— не удержалась Люба.

— Било? А кто его знает... В поселке поначалу пугались, потом привыкли. У нас мужик один есть, дотошный такой... пенсионер, дядя Коля, так он ходил искал. Весь лес исходил, в Москву в академию написал — и все ничего. Сам-то он говорит, что это вроде поющих песков, где-то там в Африке есть такие... По мне било и есть било. У нас в селе на площади лемех такой с колотушкой висел. Билом называли. Как где пожар или сход какой созвать надо, в него бьют, а все уж знают... А здесь вроде как колокол. Слышь?

Ветер снова донес певучий долгий удар.

— Такое вот било,— повторила баба Даша и, выдернув из снега метлу, постучала ею о рельс.— Давай, девка, заканчивать работу, а то от мороза околеем. Вон уж и стрелка кончается...

Люба в нерешительности взяла лопату, повернулась спиной к бабе Даше, но не выдержала и спросила:

— Так вы, баб Даш, и живете здесь с тех пор?

— А куда ж я, милая, денусь. Здесь и дом, и работа, и могилки. Куда ж я еще подамся? Видно, здесь и доживать.

Баба Даша выпрямилась и посмотрела на лес. Невольно глянула туда и Люба. Деревья стояли неподвижно. Но чем больше всматривалась, тем больше казалось, что там, в переплетении стволов и веток, шла своя таинственная жизнь, что

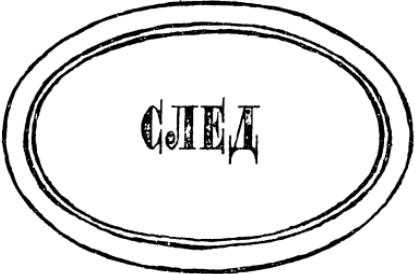
стоит взглянуться пристальней, и увидишь движение фигур и теней... Заснеженный лес казался живым, разбуженным в этот ночной час урочными ударами спрятанного в чаще железного своего сердца.

— Давай, дочка, кончать. Что на лес смотреть. А то до утра не выберемся.

Хриплый голос бабы Даши вывел из оцепенения. Люба выдернула из снега лопату и скоро пошла отваливать в сторону сыпучие пласты снега. Сзади, принаравливаясь к ее ходу, аккуратно проскребывала метелкой каждый болт, каждую гайку железнодорожного бесконечного полотна баба Даша...



С. Рыбас



СЛЕД



авным-давно мама разбудила меня: «Смотри, Виташа! Белый всадник на снежном коне скачет!» Я подбежал к окну: вчера земля лежала черная и слякотная, а увидел я блестящий на солнце снег. Но где оно теперь, счастливое бодрое утро? Меня мобилизовали в 19-м году деникинцы.

Я еще не успел закончить гимназии.

Мой отец Иван Григорьевич был штейгером на руднике. А дед пришел на шахтерский промысел из Орловской губернии, сколотил артель углекопов, потом самоучкой сделался механиком. Я его почти не запомнил. Белая борода и белые глаза. Конечно, глаза были просто выцветшие. Однажды дед выпорол меня, трехлетнего, тонким кавказским ремешком. За что? Я шумно играл, а он дремал после обеда...

Мой отец закончил Лисичанскую штейгерскую школу. Там, в Лисичьем овраге, петровский дьяк Григорий Капустин открыл донецкий уголь. Я всю жизнь связан с горным делом, шахтами, с тем, что в частушке определено так: «Шахтер рубит со свечами, носит смерть он за плечами». Отец ездил на пролетке, у него был револьвер. С шести лет меня отдали учиться, отвезли в дом директора частной гимназии Миροнова, который держал для иногородних детей пансион. Вместе со мной жили сыновья русских инженеров и техников. Их отцы служили на окрестных шахтах, в большинстве принадлежавших русско-бельгийскому акционерному обществу.

У отца на шахте произошла забастовка. Человек сто собрались возле конторы и требовали повысить зарплату. Отец приказал остановить подъемную машину, чтобы подземная

смена не смогла подняться на-гора раньше времени. Он ходил среди шахтеров, уговаривал разойтись. Его не трогали, потому что он был очень горячий, в прошлом у шахтеров с ним были стычки, в которых он показал смелость. Но шахтеры — отчаянные люди, а в России может случиться все. Толпа направилась к металлургическому заводу, увлекая отца. Навстречу ей выехали конные англичане, вооруженные железными прутьями с железными шарами на концах. Они рассеяли шахтеров и гнались за ними по степи. Поймали, заперли в сарае человек тридцать. В схватке были раненые. Отец стрелял в англичанина, который замахнулся на него, и, кажется, контузил Джека. Потом к нам приезжал уездный исправник, и они с отцом ругали бесстыжих Джеков и их консула в Бердянске, пославшего жалобу на избитых шахтеров.

Отец рано умер. Директор гимназии вызвал меня и сказал, что мне надо ехать домой, но не сказал зачем. На вокзале я купил чугунную статуэтку Ермака в кольчуге и шлеме. В подарок. Но отец уже лежал на столе в гробу.

Сколько раз после смерти отца снег укрывал землю, и скольких людей приняла земля? А я все живу, хожу в институт, читаю студентам свой курс. Я доктор технических наук, профессор, еще работаю консультантом на кафедре. Я живое ископаемое.

Примерно неделю назад кто-то позвонил к нам в дверь. На пороге стояла полная молодая женщина и быстро-быстро объясняла, что она наша соседка с девятого этажа, что забыла кошелек и ей срочно нужно десять рублей. Вышла моя внучка Люба, и женщина обратилась к ней: «Оля, дай десятку, после обеда верну». Я сказал, что это не Оля, а Люба. Тогда женщина поправилась. Мы с внучкой смотрели друг на друга, понимали, что нас хотят обмануть. Но Люба все-таки дала деньги. Когда женщина ушла, я предположил, что она больше не придет. Ко мне вернулась способность логически рассуждать: ведь странно, что, забыв дома кошелек, человек не идет за ним домой. Люба согласилась со мной. Однако легче было отдать десятку, чем испытывать неловкость из-за своей подозрительности. Вот какое я ископаемое.

Когда у меня нет лекций, я уезжаю за город. Этот город тоже вырос на моей памяти из заводских и рудничных поселков. Один из них назывался Лукьяновка, там были мастерские моего деда Григория Лукьянова. Он смог выкарабкаться из землянки в каменный дом. Как я понимаю, он шел по чужим головам. Я этого не умею, но не берусь его осуждать.

Многие смерти витали над ними. Я их даже вижу: внезапный обрыв подъемного каната, обломка воротов, испуг лошади, поднимающей человека, взрыв гремучего газа, обвал, пожар... Его страница в книге судеб перевернута, накрыта тяжестью других страниц. В бытовой речи горожан еще можно услышать «Лукьяновка», но память о том Лукьянове исчезла...

Раньше у меня были аспиранты, дружили со мной. Только один из них до сих пор присылает к праздникам открытки. Нечего сетовать, требовать, чтобы все помнили про меня. Я заурядный профессор. Единственное, что после меня останется, — это электрический двигатель, отличающийся от других несколько более высоким КПД. Учеников нет, школы не создал, жил замкнуто, сторонясь знакомых.

В мае того года, когда все в моей жизни перевернулось, я был гимназистом седьмого класса. И красный бант у меня был, и я надеялся на что-то грозно-прекрасное, чему я поклонялся. Мой отчим Федор Гаврилович Кузнецов принадлежал к рабочей социал-демократической партии. Но поселок заняли отряды генерала Май-Маевского, объявили мобилизацию, и в числе студентов, окончивших курс гимназистов, реалистов, выпускников коммерческих училищ, учительских институтов, духовных семинарий, торговых школ, консерваторий Русского музыкального общества, — среди тысяч недоучившихся юнцов, пополнивших ряды контрреволюционных армий Юга России, оказался и я. Можно ли было мне уклониться от мобилизации? Этот вопрос в разных вариациях я часто задавал себе. Все-таки можно было. Я струсил.

Мы с внучкой Любой и правнуком Виташей возвращались на электричке домой. Мальчик сидел между нами. Люба читала книгу; у нее в сумке всегда какая-нибудь книжка.

Я показывал за окно и говорил:

— В прошлый раз было уже темно, а сейчас еще светло. День быстро растет.

Виташа откликается на любые разговоры о природе, потому что она изменяется заметнее, чем вся остальная жизнь.

Он дернул Любу за рукав, чтобы и она поглядела на выросший день, но она лишь улыбнулась углами губ и продолжала читать.

В наш вагон подсели два шумных молодых человека, у них были хмельные глаза. Они прошли мимо нас, посмотрели на Любу. Потом оглянулись и снова посмотрели.

— Люба, а наш парень растет,— сказал я Любе.

— Что?— спросила она.

Но пьяные отошли — видно, поняли, что она не одна, и я успокоился. В сущности, мы беззащитны. Я старик, она женщина, а Виташа ребенок. «Старики, женщины и дети», — когда я слышу эти слова по телевизору или читаю в газете, то думаю о нас, хотя не нас обстреливают, бомбят, выгоняют из дома. Вojют где-то далеко.

Жалко Любу и Виташу, когда они останутся без меня. Она еще молодая, но мужа вряд ли уже найдет. Она не знакомит меня со своим любовником: то ли предполагает, что я потребую, чтобы он немедленно женился на ней, то ли оберегает мой покой.

Впрочем, пьяные вернулись. Один из них без позволения взял из Любиных рук книгу, полистал и стал спрашивать наглым тоном. Я попытался его урезонить, но он не поглядел на меня. Люба громко и решительно потребовала вернуть книгу. Он нарочито покачнулся и оперся на ее плечо. Я встал, крикнул:

— Немедленно оставьте нас!

— Заглохни, старик,— усмехнулся он.

Люба тоже встала. Послышались сдержанно-возмущенные голоса наших попутчиков. Пьяный парень вдруг охнул и упал на пол. Она постояла над ним полминуты, он не шевелился. Тогда она сказала второму:

— Скоты!

Тот угрожающе двинулся к ней, но поднялся такой шум, что он стушевался и утащил беспамятного дружка в тамбур.

Тут я понял, что моя внучка повергла хулигана. По-видимому, она ударила его коленом в пах. Она защищалась в одиночку, зная, что вряд ли кто поможет ей. Мне стало жалко ее. Как можно довести женщину до такого состояния?

— Надо было бы сперва убедить его словом,— посоветовал я.

Зато Виташа простодушно восхитился своей жестокой матерью.

Потом она объяснила мне, что брала уроки по самозащите, что знает несколько сильнодействующих приемов, один из которых я наблюдал. Люба была напряжена и своим резким тоном как будто обвиняла меня. Думаю, она понимала, что не ее дело — бить людей. Однако боюсь, что другого выхода у нее не было.

Строили наши дачи артельно, дружно. Земля была болотистая, рядом лесок, высоковольтная линия, поля. Сперва приезжали навьюченные рюкзаками, весело шагали от шоссе к участку и часто пели. Каждый на своем клочке в шесть соток сооружал временку-сарай, еще не существовало никаких заборов, а в обед собирались на большой поляне. Женщины варили в огромном котле борщ, мужчины обеспечивали костер дровами, дети... им было лучше всех. Тогда и Люба была ребенком. Где ты теперь, худенький заморышек?

А где моя жена Вера? И сын Николай? Унесли вы с собой всего меня, да Виташа потом вернул.

По дачной улице вдоль канавы бежим мы с Виташей за низко стелющейся крушинницей. Она порхает желтыми крылышками, то поднимается на высоту забора, то снижается к стрельчатым подорожникам. Потом Люба ворчит, чтобы он выбросил ползадохшуюся бабочку, зажатую в его кулачке.

Однажды я перебирал старые бумаги и нашел свидетельство о моем крещении. Бумага, во время последней войны несколько месяцев пролежала в земле, куда Вера спрятала все документы, и покрыта желтоватыми разводами. Из нее следует: «По указу Его Императорского Величества Донская духовная консистория вследствие прошения крестьянки Анны Кузнецовой по первому браку Лукьяновой о выдаче свидетельства о рождении и крещении сына ея Виталия, надлежащей подписью и приложением казенной печати свидетельствует, что в метрической книге Троицкой церкви поселка Лукьяновского Донской епархии за 1899 год в I части о родившихся под № 46-м мужеска пола значится так: рожден первого, а крещен двадцатого марта Виталий, родители его: города Таганрога мещанин Иван Григорьев Лукьянов и города Бахмута мещанка Анна Михайловна Лукьянова, воспитанники: города Чернигова дворянин Петр Иванов Шахуцкий и города Тулы мещанка Антонина Дионисова Грозденская; крещение совершил священник Андрей Иванов Деревянко...»

Зачем и для кого я храню это свидетельство? В бога я не верю, хотя предполагаю, что душа, возможно, и живет после смерти тела: честно говоря, это обычный стариковский страх. Но как бы там ни было, я тешусь надеждой, что после моей смерти на бумаге останутся имена моей матери, отца и отчима. Поэтому не могу расстаться с этим листком. И с другими пожелтевшими и кое-где размытыми листками.

За свидетельством о рождении следует служебная харак-

теристика от 20 января 1935 года: «Дана Начальнику 1-го района шахты № 8 Хакасского рудоуправления «Кузбасс-уголь» — тов. Лукьянову В. И. в том, что во время его службы, т. е. с 20 марта 1934 года, он своим умелым руководством и знанием дела вывел первый район из самых отстающих в наилучшие по руднику. При конкурсе шахта № 8 получила областное Красное знамя и от себя передала его лучшему первому району.

Ежемесячно перевыполняя производственные показатели по угледобыче, производительности, снижению себестоимости и зольности угля, тов. Лукьянов В. И. был неоднократно премирован: веломашинной, креп-де-шином, пальто, виктролой, ботинками и деньгами в сумме 800 рублей.

Кроме того, как ударник, занесен в альбом и Красную Книгу Героев. Рудком угольщиков премировал тов. Лукьянова В. И. грамотой ударника.

Рудоуправление оценивает тов. Лукьянова В. И. как хорошего администратора-ударника, вполне знающего свое дело».

Когда-нибудь Виташа улыбнется, читая про крепдешин и ботинки для его прадеда. И ничего другого, кроме его улыбки в воспоминаниях обо мне, в этих бумагах давно нет.

Возле того дружного костра у меня была роль, которую я играл с удовольствием. Я рассказывал сказки. С детьми мне интереснее, чем со взрослыми. Когда малыши становились совсем неуправляемыми, я начинал таинственные сказки. Например, такую. Жили в старые времена два друга. Одного звали Ваня, другого Петя. Они крепко дружили и никогда не расставались. Потом они выросли и пообещали друг другу, если кто-то из них умрет раньше, то второй в самый счастливый день придет на могилу и расскажет о своем счастье. И вот Петя заболел и умер. Ваня горевал, плакал. Потом Ваня встретил хорошую девушку, полюбил ее и забыл про друга. Он решил жениться. Едет с невестой к себе домой, а по пути — кладбище. И он вспомнил Петю, остановился, велел подождать минутку. А сам пошел к могиле. «Здравствуй, Петя». Петя отвечает ему: «Здравствуй, Ваня. Ты не забыл меня?» — «Нет, не забыл. Сегодня у меня свадьба». — «Хорошо. Давай выпьем вина. Спускайся ко мне». Ваня спустился. Они выпили вина, и он хочет идти к невесте. «Подожди, Ваня. Давай еще выпьем». И снова выпили. Снова Ваня собирается, Петя просит последнюю рюмку допить. Допил Ваня и выбрался из-под земли. Видит — кругом распаханное

поле. Ни деревьев, ни кустов. Даже тропинки нет. Стал искать невесту. Спрашивает у людей, а они только головами качают, не знают ни про какую невесту. Потом отыскивали старого-престарого старика. Он в детстве от своего деда слышал, что в давние времена какой-то молодой парень ехал с невестой мимо кладбища, зашел туда и пропал.

Эту сказку я не придумал. Она народная, как и многие другие, например, про шахтерского черта, старичка Шубина, который под землей сбивает людей с дороги. Но Шубин Шубиным. В нем страх и суеверия обреченных на неизбежную смерть горняков. А что в сказке про Петю и Ваню — не знаю. Покойница Вера не любила, чтобы я рассказывал такое детям. Но им нравилось. И трехлетние дикарята, и первоклассники, и даже некоторые взрослые слушали меня. Наверное, смысл этой сказки в нашей незащитности перед временем?

«Сам ты Шубин!» — сказала Вера. И стал я чертом Шубиным. На дачных участках меня за глаза уже давно так кличут.

Вокруг каждого деревянного домика высокий забор. Дома покрашены в зеленое и голубое. Через канаву наведены мостики для въезда машин во дворы. И весь поселок огорожен забором из железной сетки. Теперь я не всех дачников знаю: умирают одни, а приходят новые, уже не ведающие о прошлых песнях и кострах.

Вот Виташа бежит по нашему огороду между кустами смородины и грядкой земляники. У меня перед глазами мелькает в столбе утреннего света другой русоголовый мальчик, лезет вверх по пологой земляной террасе, на которой разбит аккуратный огород. Наверху у калитки стоит высокий мужчина с закрученными усами. Он в шляпе, длинном сюртуке-рединготе и узком черном галстуке. Мой отец. Мальчику теперь не добраться до него. За огородом — войны, смерти, рождения, годы. А отец все стоит и стоит. Штейгер, сын крепостного крестьянина... Господи, сколько жизней было во мне? И Виташа бежит между смородиной и земляникой.

Кусты посадила Вера. Вот и она, рядом с засохшей яблоней, не выжившей после морозной зимы. Поэтому я не спилил сухое дерево с залохматившейся пыльной корой.

У давешнего мальчика был огород возле штейгерского дома, внизу бурлила речка.

И у нас в конце марта по канаве вдоль улицы журчит

большой ручей, порой хлещет через мостки. И тогда заливают дворы и огороды.

Если бы не Виташа, я бы продал дачу.

У меня был друг, мы построились рядом, и до сих пор между нашими домами нет забора. В пятидесятом или пятьдесят первом году у Тимошенко случились крупные неприятности. Он стал готовить к производству новый электродвигатель. Нет, еще не мой, но с более высокими характеристиками, чем прежний. Причем почти вся научно-техническая публика, имевшая хоть малое касательство к электроприводу, возражала против нового двигателя. Сильнее всего сами разработчики старого, а уж от них разошлись широкие круги сомнений. А Тимошенко готовил на своем заводе перемену, которая потом нависла над ним как глыба. Уже не помню, что случилось с первыми образцами, но результаты были неважные. И пошла на Тимошенко цидуля, что, мол, он подрывает экономику и ведет в тупик. По тем временам, когда в городе разбирали еще не все руины и когда военные раны еще дышали под тонкой пленкой жизни, ему грозила беда. Решили составить комиссию. Она должна была неотрывно находиться на испытаниях двигателей в течение месяца. Ни на минуту не отлучаться, наблюдать за напряжением, нагрузкой и т. д. Кому же была охота идти в такую неудобную комиссию? Многие уклонились.

До сих пор вижу три железные кровати, застеленные солдатскими одеялами, стол с контрольным журналом, пепельницей и шахматами, перегородку, за которой работал двигатель...

Испытания прошли удачно. Некоторые влиятельные в то время люди стали на меня коситься, словно я перешел им дорогу.

Когда начиналось строительство садовых домиков, Тимошенко предложил мне быть его соседом. Он был высокий, цыганистого типа, очень шумный. Называл меня другом. Конечно, друзьями мы не были. Редко кто в зрелые годы может похвастаться, что у него есть настоящий друг.

«Что ты за молчун?» — спрашивал Тимошенко. А я молчал. Он рассказывал о своем детстве в шахтерской землянке, о разудалом отце. Однажды Тимошенко сказал: «Ты мог бы быть замечательным человеком». Он вообще смотрел на меня по-особому.

В тридцатые годы один десятник заметил мне: «Виталий Иванович, вот мы оба в чумазах спецовках и под землей, а сдается, будто вы не в шахтерках, а в дорогом костюмчике».

Я был с рабочими тверд, даже жесток. И себе спуску не давал. Я не испугался слов десятника, хотя он намекал на лежащую между нами пропасть.

Нынче соседний дом принадлежит дочери Тимошенко и ее мужу. Но они живут в нем редко. На деле там хозяйствуют свекор и свекровь. Они числятся сторожами всего поселка, завели парники, кур и кроликов, привозят навоз и удобряют скудную почву. Времени у них много, они умеют и любят работать.

Виташа бегаёт к ним смотреть на крольчиху и крошечных крольчат, а сторожа иногда пользуются нашим душем, обращаются ко мне с разными вопросами по поводу ремонта того или иного электрооборудования. Сторож называет всех дачников неумехами. Как-то так вышло, что мои электродрель и паяльник остались у него, и я не могу забрать их обратно. То есть беру, но затем сторожиха снова просит: «Они нам нужнее. Да и целее у нас будут». Если в мое отсутствие Люба приезжает на дачу с другом, то сторожиха считает обязанной поведать мне о Любином госте, как бы я ни отмахивался. Любу она недолюбливает, а Виташу жалеет. Прошлым летом сторожиха познакомила меня со своей подругой, которая приехала к ним на субботу и воскресенье и работала на огороде в резиновых перчатках.

Сторожиха вызывает меня на крыльцо и протягивает тарелку с пирогом.

— Аврора Алексеевна испекла, угощайтесь.

И тут на крыльце появляется сама Аврора Алексеевна. Я кланяюсь, знакомимся. Одета опрятно. Глаза как будто добрые, живые.

— А Виталий Иванович тоже вдовый, — говорит сторожиха. — Можете вместе на кладбище ходить, когда вздумаете проводить Веру Петровну. А Аврора Алексеевна — к своему мужу. Вдвоем веселее.

Я что-то пробурчал и ушел. Некоторое время спустя Аврора Алексеевна позвонила мне на городскую квартиру, спросила: не собираюсь ли я на кладбище? Сходили. Я положил Вере букет, посидел на скамеечке. А Аврора Алексеевна пошла к своей могилке. Мы условились встретиться на главной аллее.

Это старое Троицкое кладбище. Где-то здесь стояла Троицкая церковь, где меня крестили. От нее не осталось и фундамента. Пахло нагретой землей, сухо молотили кузнечики. Я вспомнил, что местный священник был совладельцем какой-то шахты. И он лежал в этой земле.

Но где ты, Вера? Та семнадцатилетняя кареглазая девушка не здесь. А я хочу жить. Стыдно признаться ей в этом, словно обманываю ее.

Мне надо было еще сходить на могилу сына. Я закрыл глаза.

Его засыпало в забое. Я примчался на ту шахту, когда горноспасатели уже пытались пробиться сквозь завалы. У начальника шахты Зинченко шло совещание. Завалило двоих. В кабинете были закрыты окна, но с улицы доносился шум толпы. Обрушилось шестьдесят метров. Зинченко старался не смотреть на меня. Если они и уцелели в спасательных нишах, то пробиться к ним не было возможности. Я тогда был главным механиком комбината, меня нельзя было выпроводить, я сидел и слушал. Горноспасатели уточнили: не шестьдесят, а восемьдесят метров. Это меня погребли живым в узком колодце без воды и еды. Я обшаривал лучом лампы искрящиеся стены, стучал, задыхался. Коля мог прожить без воды восемь дней, а для того, чтобы пробиться к нему, требовалось полтора месяца. Он взывал ко мне из-под земляной толщи. Мы спустились в шахту. Я уперся руками в глыбы, раздавившие костры крепления, как спичечный коробок. Горноспасатели воздвигали новую крепь.

— Ты только нам не мешай, — попросил меня Зинченко. — Мы сделаем все невозможное. Вдруг там прорвало водоносный пласт? Тогда у них будет вода.

На поверхности к нам подошла жена второго шахтера. Ее лицо было мертвым. Оно отражало лишь прошлое: физический труд и страдание родов. Она ни о чем не спросила и молча смотрела то на Зинченко, то на меня. Как будто она уже лежала рядом со своим погребенным мужем.

Зинченко окружало много руководителей, спорили, искали лучший путь. Я считал, что надо вести взрывные работы, опираясь на технику. Если бы повезло, был бы шанс. Но Зинченко решил прорубаться сверху отбойными молотками. Сперва с ним спорили, потом стали грозить всеми карами. Но он не изменил решения, потому что хоть его путь и был более долгим, да все-таки надежнее нашего. Он выбрал восемнадцать лучших забойщиков. Восемнадцать человек из народа. Работали по двое в смене, сменялись через три часа. Их молотки раскалялись. Брали новые. Потные черные оскаленные лица содрогались от передающейся детонации.

В первые сутки прошли двадцать метров, а самая высокая норма равнялась всего шести. На вторые сутки — еще двадцать. Вскрыли первый уступ. В спасательной нише было пусто. На третьи, четвертые, пятые сутки — ниши пусты. Но ниши устояли везде в каменном хаосе катастрофы. И обнаружилась вода.

Еще не поздно было начать взрывные работы. Пусть в этом был риск нового завала, но я не видел другого способа достать живых, а не трупы. На шестые сутки я в душе похоронил сына, потому что одна смена не продвинулась ни на шаг. Люди потеряли веру и лишь имитировали работу.

Зинченко ворвался в комнату шахтоуправления, где отдыхали забойщики, и кричал: кто? Поглядите в глаза его отцу! Значит, вы хотите, чтобы любой из нас с этого часа был обречен? Теперь мы не спасаем ни его, ни себя?

У каждого свои человеческие пределы. Я знал, что столкнемся с ними.

Я окончательно простился с Колей.

На седьмые сутки сына нашли. Его вывели наверх с завязанными глазами, напоили бульоном. Через четырнадцать часов подняли и второго шахтера.

Когда три года спустя Николай умер от сердечного приступа, это для меня означало, что он все же умер от того завала. Это я послал его в шахту, чтобы он был ближе к людям. Ближе, чем я...

Я поговорил с покойницей и поклонился могиле Николая. Аврора Алексеевна сидела на скамейке главной аллеи, в пятнистой светотени кленов. От жары она разругалась. Яркие блестели замок ее сумочки и черные лакированные туфли. Я сел рядом.

Ее муж был агрономом, любил круговорот земледелия, но они переехали в чужой город. И потом он заболел. Их дети, сын и дочь, простились с отцом. Не было смысла, решили они, расходовать на обреченного свои силы.

— Природа устремлена вперед, — вымолвила Аврора Алексеевна учительским тоном. — Это естественно, что плоды не заботятся о корнях.

Но сама она стала бороться за жизнь мужа теми способами, какие были ей доступны. Нашла в Москве родственников, устроила мужа в радиологическое отделение, была готова лечь рядом с ним облучаться, лишь бы помогло. Истратила все сбережения. Порой думала: дура, ну зачем

мучиться? Добро, жила бы с ним по-людски, а то ведь сколько слез пролила, когда он по другим бабам таскался! Но утром бежала в больницу, мучаясь стыдом. Почти пять лет прожил ее муж после лечения. И это были самые трогательные, светлые годы.

— У меня и Вера была такая чуткая,— сказал я.— Умирала, а все думала, как бы нам облегчить...

— У вас, наверное, железный характер,— предположила Аврора Алексеевна.— Вы все держите в себе.

— За десять дней до смерти Веры я увидел в ванной на трубе воробья... Я понял, что она умрет.

— А как он залетел в ванную?

— Не знаю. Но я все понял. И что она умрет, и что наша дочь не приедет на похороны. Так и вышло.

На похоронах Веры были ее брат Антон да мы с внучкой Любой. Моя дочь Ирина прислала лишь телеграмму.

С Антоном мы давно не виделись и разговаривали допоздна. Он был зеленым пареньком, когда его старшая сестра стала моей женой. У их отца до революции и при нэпе был кожевенно-обувной магазин в Таганроге. Мой тесть Иван Иванович был предпринимателем необыкновенным. И видом похож на грека или турка, а не на донского казака, каким был по рождению. А его отец был сапожником, любил кулачный бой — его и убили в драке. Тесть начинал с мальчика-зазывалы в магазине армянского купца, вырос до старшего приказчика, потом и до компаньона. Но он ликвидировал торговлю, потому что я прямо сказал ему: либо магазин, либо мы с Верой. Старик пошел в шахту плитовым, и мои шурины взялись за горняцкий обушок, а потом, как дети шахтера, поступили учиться в горный институт. Второй мой шурин, Виктор, погиб в войну при обороне Севастополя.

Это мы и вспомнили с Антоном. Он добыл много угля и теперь живет возле Феодосии, ковыряется в своем винограднике. А не уломай я тогда тестя, что бы с ним было? Часто тесть бранил меня: все-таки ему поздно было привыкать к подземной работе. Выходило, будто я виноват в этом.

Впрочем, жизнь смеется над нашими попытками разграфить ее на квадратики. Оставшись на оккупированной территории, мой тесть прокормил Веру с двумя детьми и спас одного военнопленного. Рядом с шахтой «Иван»

немцы устроили лагерь для наших солдат. Люди лежали на земле, как скот. Умерших сбрасывали в ров с известкой. Стояло лето сорок второго года, оно сулило Гитлеру победу под Сталинградом, и поэтому немцы иногда отпускали пленных, если за них просили жены или родители. Но где взять на всех жен и отцов, если за забором томились тысячи людей из разных мест страны? Пленные перебрасывали записочки с адресами, умоляли спасти. Одна записочка попала к тестю. Какой-то кубанский казак просил привезти из станицы его жинку и обещал за это мешок продуктов. И предприимчивый старик, у которого на руках была моя семья, отложил кормившее его сапожное дело и подался на Кубань. Рассказывая мне о своем подвиге, он гордился тем, что на обратном пути его вместе с жинкой, ее сестрой и тачкой с харчами немцы везли на грузовике больше ста километров. За банку меда. Он купил эту немчурку с потрохами. Но человека все-таки спас.

— А не страшно тебе было?— спросил у меня Антон.— Ты ж белогвардейцем был?

Даже спустя целую вечность, за которую российская телега сделалась космическим кораблем, шурин видел разницу между нами.

— Ни черта не страшно,— ответил я.— После чужбины я спокойно бы принял и пулю.

— Ну уж!— усмехнулся он.— Это сперва-то, после чужбины. А потом? Если бы взяли тебя по новой? Думал же об этом?

— Не помню.

— А я думал, что тебя загребут,— признался Антон.— Даже мыслишка была катнуть на тебя письмецо, чтоб потом меня не трогали. Рука, слава богу, не поднялась.

Он улыбался, здоровенный загорелый мужик, а Веры уже не было с нами. Наверное, ему хотелось облегчить душу. Живая сестра мешала бы признаться, а мертвая будто и помогала. А ведь мог шурин катнуть письмо?

Детское воспоминание: по ночному поселку идут две тысячи человек с горящими бензиновыми лампочками. Страшная и завораживающая картина. Забастовка. Неизвестность. И желание выбежать из дома к тем грозно текущим огням.

Уехал Антон, и вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся. На прощание он посоветовал пригрозить моей дочери Ирине лишением наследства, если она забудет отца. Это в нем мой тесть отозвался. Чем я могу распоряжаться? Побрякушками моей жены? Ее шубой? Или дачным домиком? Я временный владелец всех этих вещей. Они ничтожны.

Я познакомил Любу с Авророй Алексеевной. Люба — статная, сильная, большегрудая. И Аврора Алексеевна восхищенно смотрит на нее.

Когда Виташа услышал имя «тетя Аврора», он засмелся и спросил:

— А где дядя крейсер?

На его личике отразилось Любино выражение превосходства.

Дети разрешали Авроре Алексеевне бывать у нас, но приняли ее на своих условиях, как самую младшую в нашей семейной иерархии. Однажды мы с ней собрались вечером в кино, и Любе пришлось изменить свои планы и остаться дома с Виташей.

— Не хочу с мамой, хочу с бабушкой! — закапризничал мальчик. — Мама со мной не играет!

— Бабушке сегодня не до нас, — объяснила Люба. — Он тоже хочет развлекаться. И не хнычь, а то отшлепаю.

Виташа в слезах ухватился за мою ногу. Я уговаривал его. Люба утащила мальчика в комнату и захлопнула дверь.

— Может, не пойдем? — предложила Аврора Алексеевна виноватым тоном.

— Давай завтра, — согласился я.

И мы остались с Виташей, а Люба ушла. Однако после этого она охладела к Авроре Алексеевне. Я должен был задуматься: к чему это нас приведет?

Люба заговорила о том, что скоро выйдет замуж и хочет, чтобы муж жил у нас.

Его звали Денис. Ему тридцать пять лет, лицо живое, хорошее. Не старался понравиться, но часто оглядывался на Любу. Я выпил с ним рюмку водки, вспомнил, что в годы войны был знаком с директором института, в котором он работает. Мне польстило, что этот парень знал меня как ученого. Правда, в его годы не следовало так

критически оценивать работу всего института, как он делал.

Потом Люба спросила и я ответил, что Денис мне понравился.

Он переехал к нам. С Виташей у него началась дружба. Денис играл с ним в коридоре в футбол большим резиновым мячом, сперва поддавался и пропускал много голов, но когда счет становился 9 : 0, быстро отыгрывался, и оба кричали, толкались, смеялись, стараясь забить решающий мяч. Несколько раз Денис выиграл, и Виташа плакал от обиды. Однажды разгоряченный мальчик укусил его за палец, и Денис, улыбаясь, похвалил его. За спортивную злость.

Иногда в воскресенье Денис уходил проводить своего сына к первой жене. Тогда Люба нервничала, злилась на меня и Виташу. Но мы оставляли ее, уходили гулять за шоссе.

Вдоль шоссе шло поле сизовато-зеленого ячменя. Оно полого опускалось к небольшой балочке, заросшей шиповником и терном. По дну бежал ручей. Он выходил из глинистого бугорка и через сто — сто двадцать метров исчезал в расселине. Ручей был нашей тайной. Подземный водоносный пласт, обнажившийся в одном месте, приоткрыл нам невидимую сторону природы. Виташа назвал ручеек Бабушкиным. Потому что бабушка жила с нами и куда-то ушла. Умерла, Виташа? Нет, не умерла, а просто мы перестали ее видеть.

Я сказал, что в старину, когда еще жил мой дедушка, в ручьях и реках водились водяные, а в лесу лешие. Виташа шепотом показал мне у кустика молочая степную дыбку, крупного зеленого кузнечика, и стал к ней подкрадываться, держа ладонь горстью. Но на буровато-сером плоском песчанике что-то мелькнуло, зеленоватая ящерица схватила дыбку и прокусила ей длинноусую голову. Мальчик застыл, потом быстро присел. Но ящерица ускользнула от него. Он раздвинул стебли молочая, оглядел склон.

Когда-то немало прытких ящериц побывало в моих руках, оставив узенькие хвосты. И ящерицы, и бабочки-адмиралы, ленточницы, нежно-лимонные подалирии и десятки обыкновенных боярышниц, и жуки-бронзовки, и рогатые жуки-олени, и разные стрекозы, от большого голубого дозорщика-повелителя до маленькой лютки-дриады,— сколько их всех было мной поймано и с увлечением замучено в неугасимом желании познать, как они устроены.

Не найдя ящерицы, Виташа вспомнил мои слова о том,

что у меня был дедушка, и удивился этому. Я удивился вслед ему. Неужели у меня был дед, который верил в леших, водяных и домовых, который родился крепостным, стал шахтером и потом механиком? Я изумился некоему чуду, таившемуся в явной близости давно ушедшей жизни. Дед всегда держал огород, и мой отец тоже держал, и я, куда бы меня ни заносило, и в Нарыме, и в Кузбассе, и на донецких шахтах, заводил грядки.

— В Бабушкином ручье тоже водяной? Какой он?

Но не я отвечал мальчику, а дед Григорий:

— Водяной — это лысый старик. Живот у него надутый, лицо пухлое. Он ходит в высокой сетяной шапке, с поясом из водорослей. С левой полы капает вода. В руке зеленый прут. Ударит им по воде — вода расступается...

А я молил: запомни меня, Виташа! Запомни все: и этот день, ящерицу, ручей, водяного... Я был! Я любил тебя, нашу землю, вот эти кустики молочая и полыни. Запомни меня, мальчик.

— В Бабушкином ручье — маленький водяной.

Мы стали строить плотину из глины, галечника и обломков породы, похожей на аллевролит. В обнажениях склона угадывалось древнее морское дно. Эту же глину могли месить когтистые лапы тиранозавра.

— А дядя Денис говорит, что теперь тебя надо женить, — сказал Виташа.

— Он пошутил, — ответил я, раскачивая плоский камень, сидевший глубоко в земле.

Ночью я плохо спал. Шел сильный дождь, тяжелые струи стучали по крыше. Сквозь шум раздавались мерные удары капель об пол: где-то прохудился шифер. Такие ливни порой случаются в наших краях, но этот казался особенным, потому что бог обращался только ко мне. Может, не бог, но кто-то другой, настолько могущественный, перед кем я был одинок и беспомощен. Почему они захотели женить меня? Чем я им мешаю?

Утром было солнечно и сыро. Над огородами курились туманные дымки. Пахло мокрой землей. Громко кричали воробьи, и с короткими промежутками стучал дятел. Я вышел за калитку и ужаснулся. Что наделал ливень! Осевший прошлой осенью мостик занесло песком и грязью; вода перехлестнула через него, прорыла через соседский участок овражек и разметала грядки клубники.

Мне стало неловко, ведь мостик был наш. Однако я вспомнил, как Аврора Алексеевна рассказывала, что осенью сторожа через этот мостик завезли на свой участок два самосвала с навозом и что мостик поэтому вдавило в землю. Они были сами виноваты.

Наш огород не пострадал. Грядки смотрели упруго и сочно. Искрились капли на траве. Кольчато поблескивали дождевые черви. Лишь голые сучья замерзшей яблони чернели среди живого сада.

Я не заметил, как подошла сторожиха. Она с горестной улыбкой обратилась ко мне, ища сочувствия.

— Вас-то совсем не задело,— сказала она.— Даже ни единого корешка не унесло. А ведь мостик-то ваш виноват.

— Его давно надо отремонтировать.

— Вот видите! Я и говорю, что все из-за вашего мостика... Слабосильный вы хозяин, Виталий Иванович!

Я не спорил, и на этом мы разошлись.

— А что, Аврору Алексеевну не приглашаете?— вдруг спросила она, обернувшись.

Я молча развел руками.

— Характерами не сходитесь?— с настойчивым простодушием продолжала сторожиха.— Или Люба боится, что после вас придется наследство делить? Пусть не боится. Аврора Алексеевна очень деликатная женщина. На молодых сейчас нечего надеяться, а она верная и преданная.

— Мне с богом пора разговаривать,— ответил я.— Напрасно хлопочете.

— Стараюсь, чтоб вам же было лучше.

— Нет, напрасно, честное слово,— повторил я.

— Виталий Иванович, может, вам неловко сделать ей предложение, так я могу от вашего имени.

— Она не в моем вкусе!— отрезал я.

Сторожиха осуждающе покачала головой. По-видимому, моя фанфаронская фраза поразила ее.

Днем меня окликнул сторож. Он возился у размытых грядок. Рядом стояли железная тачка с землей и лопата.

— Хороший денек, Виталий Иванович!

Глаза шестидесятилетнего крепкого мужчины. Я не знаю, что в них таится. Он трет ладонью загорелое плечо, улыбается мне:

— Не повезло нам, Виталий Иванович. Мы люди небогатые. Вот клубники думали отсюда взять ведра три. А что теперь?

— Ну у вас много грядок,— утешил я его.

— Много-то много, да они не с неба свалились. Жалко... Рублей пятьдесят, как? Полсотни вам не убыток?

— Не убыток?— переспросил я.

— А разве убыток! Поди, сотен пять получаете. И опять же все из-за вашего мостика.

— Вы хотите, чтобы я заплатил?— удивился я.

— Не заплатил,— поправил сторож.— За что тут платить? Вроде бы компенсируете. Пусть не полсотни. Можно меньше. Сколько сможете.

— У меня нет денег,— холодно ответил я.— Если угодно, пусть ко мне обращается владелица участка, ваша сноха.

— Я, конечно, не владелец, Виталий Иванович. Юридически! Но фактически... Земля принадлежит тому, кто на ней трудится. Какая вам выгода ссориться со мной? Близкий сосед лучше дальнего родственника. Люди сейчас не ценят друг друга. Отсюда всякое зло. Вот я знаю случай: пропала в одной семье маленькая девочка. Нашли ее через несколько лет у соседа в подвале. Он ее на цепь посадил и держал как собаку. Почему такое зверство? Из-за мелкой ссоры. Я, конечно, ничего худого против вас не сделаю, но откуда вы знаете, что за мысли у меня в душе? Неужели душевный покой не стоит тридцатки?

А что я мог ответить? Дело было не в деньгах, а в моей старческой беспомощности. Объяснять, что он же сам прошлой осенью поломал мостик?

* * *

По радио в конце последних известий сообщили, что один латиноамериканец попытался перелететь на дельтаплане пролив Бурь, но через пятнадцать минут после старта с ним прервалась связь, вероятно, порыв ветра сбросил его в море.

Я представил, как этот человек пристегнул крылья, прыгнул с обрыва и полетел навстречу гибели. Впрочем, навстречу гибели летят редко. Не к ней он летел.

Мне приснилось, что это был Лобанов.

Кажется, у Ивана Бунина есть рассказ «Пароход «Саратов»— о любви, ревности и убийстве на этой почве. 15 ноября 1920 года я в последний раз глядел на родную землю Севастополя, на Сапун-гору, Малахов курган, Северную сторону... Пароход «Саратов» отошел от берега. Все палубы, каюты, коридоры, трюмы были забиты людьми.

Кого здесь только не было! Офицеры, сестры милосердия, осваговцы, купцы, жандармские чины, промышленники, священники, старухи, дети. И среди них — инженеры, агрономы, землеустроители, служащие почтово-телеграфных контор, врачи. Те, кто не был ни дворянами, ни буржуазией. И я с ними.

Шли черепашым шагом. В первый же день кончилось продовольствие. Воды в перегонных кубах не хватало. Трупы умерших от тифа сбрасывали в море. Несколько раз я слышал невыносимые женские крики — кричали роженницы.

Сама обреченность плыла на «Саратове». Однако ее не замечали, пусть умерли бы и тысяча человек. Обреченность плыла сейчас, спустя более полувека, когда я не имею ничего общего с прапорщиком Виталием Лукьяновым. Она пришла позже, а тогда в спокойном теплом море... Что же было тогда? Ожидание, надежда, что скоро корабли вернутся назад. И еще плыла на «Саратове» ненависть.

Вот полная старуха пытается протиснуться на верхнюю палубу. У нее пропала собачка. Чей-то бас объявляет: «Сожрали вашу псину, мадам! Одесский маклер Грамматикати сожрал. Сам видел!» Это веселое «сам видел!» до сих пор слышится мне. И еще вижу выбритое молодое лицо врача Лобанова и даже сейчас удивляюсь: ведь воды практически не было! Лобанову двадцать восемь лет, он — красный. Был мобилизован в Красную Армию, служил главным врачом полевого госпиталя, потом помощником дивизионного врача. Был взят в плен под Ростовом. Служил у белых как военнопленный врач сперва в деникинской, затем во врангелевской армии. При эвакуации из Крыма принудительно мобилизован на «Саратов» для сопровождения раненых и больных. Три мобилизации за два года. И еще год — полковым врачом на Западном фронте.

И ни в кого ни разу не выстрелил. Неужели остались такие? И они имеют право бриться, когда нет воды?

В Севастополе Лобанов делал мне перевязку и напевал, кажется, так: «Эх, не сносить тебе, казаче, эх, да буйной головы». В таком-то незатейливом смысле. У меня на шее гноящаяся рана. Один гранатный осколок из нее вытащили, а второй затаился под сонной артерией, и никак его не выколуешь.

Значит, этот осколок и по сей день во мне.

— Вы еще в возрасте чувств, а я уже в возрасте

мыслей, — посмеиваясь, ответил Лобанов на мой вопрос, почему он поет.

И еще сказал: вот сейчас другой доктор, тоже из рязнчинцев, тоже в лазарете, но на той стороне, перевязывает раненного в ашей пулей русского мужика. Выходит, я и там, и здесь. А где вы? Интеллигенция пятьдесят лет добросовестно подрывала основы монархии... Ваши родители на той стороне?

Моя догадка-испуг: «Его заберет контрразведка!» Потом — стыд, признание, что меня принудительно мобилизовали.

Бритое лицо Лобанова. Затекие ноги в приросших к ступням сапогах. Крысы в трюме. Череп и кости на погонах. Заломленные фуражки офицеров. Что еще? Того Лукьянова нет. Что толку оживать его? Туман оседает на палубу, брезент, канаты. Сквозь дымку — зимний день восемнадцатого года, казачий погром в шахтерском поселке, рабочая самооборона. Бесстрашно-морозные глаза моего отчима Кузнецова, который выбивал казаков... Может, мама знает, что я живой? Отпущенный мной пленный красноармеец, шахтер с Берестовского рудника... Нет, вряд ли он стал разыскивать мою мать, чтобы передать весточку от меня.

Провал в памяти. Не снимаемые неделями сапоги. Каменная корка на сердце. «А я ведь могу вас застрелить, доктор!» — «Дурачок. Я такой же, как и ты».

Он произнес эти слова не в Крыму, а на другом полуострове, Галлиполийском, в «долине роз и смерти». Дельтопланерист летел над прозрачно-зеленым морем. Он снизился над берегом и побежал по белесой известковой земле, накренив крылья.

Голубоватые очертания Стамбула, купол Айя Софьи, мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя. «А сэрэд поля гнётся тополя, та й на козацьку могилу...»

— Дурачок, — снова сказал дельтапланерист Лобанов. — А ты постарел, Витаха. Совсем старый хрыч. И тебя не расстреляли красные?

— Вроде нет. Я даже дослужился до генерала по шахтерскому ведомству.

— Не верится, Витаха. Ты давно сгнил в каком-нибудь бездонном болоте.

А наш «Саратов» и другие корабли, высадив гражданских беженцев, выходят из гавани. Впереди — заброшенный городок на каменистом берегу Дарданелл. Галлиполи.

Солнце, тепло. Неосязаемые души русских солдат, погибших здесь в плену в войне за освобождение Болгарии. И души запорожских казаков, ходивших на султана. И грозный Ксеркс, который велел высечь эти морские волны, разметавшие его корабли... И аргонавты, плывущие в Колхиду.

Я понимаю, что сплю, что вижу сон, но иду вдоль белых палаток в «долине роз и смерти», марширую, играю в футбол, читаю лагерную газету «паршивку» и боюсь, смертельно боюсь кутеповской контрразведки. Расстреляли двух офицеров Дроздовского полка.

Я поднимаюсь на холм, а на других холмах, окружающих долину, стоят такие же молодые люди, как я, и мы с тоской смотрим на узкий дарданелльский коридор, по которому плывут огромные белые пароходы. Впереди — гористый берег Малой Азии, налево — сизая даль Мраморного моря с грядой островов на горизонте. За островами Босфор, Черное море, родная земля... На холме впереди меня человек подносит к виску револьвер, и негромкий звук выстрела проносится над долиной. Я хочу сделать то же. Я не хочу умирать, но душа так болит, что рука с радостью поднимает револьвер. Только быстрее! На мгновение меня останавливает серая ящерица, замершая на камне.

— Сказать, кто ты? — опять видится мне Лобанов. — Лучше повернись на другой бок.

Я переворачиваюсь, и в августовский день 1921 года турецкий пароход «Рашид-паша» швартуется в порту Варны, я уже в Болгарии.

Лукьянов — дорожный рабочий. Мы роем дорогу в горах. Братья болгары, бедные, веселые. «Пей, Иван, кисло млеко! Русия — наша майка», мать.

«Кон до коня, мила моя майньо льо, юнак до юнака...

Бой да правят, мила моя майньо льо, със неверни турци...»

И я пою с ними эту старинную воинскую песню про поход царя Ивана Шишмана, похожую на наши песни своим грозным мужеством.

Мои болгары погибли в сентябрьском восстании. Наша гражданская война настигла меня, поставив в один ряд с теми, против кого я воевал.

Село широко раскинуло белые глинобитные дома вдоль пыльных улиц, оно было беззащитно против колонны правительственных войск, хотя крестьяне и дорожные рабочие отстреливались из-за низких каменных заборов. Я не вмешивался, сидел в корчме вместе с хозяином, корниловским

офицером Бойко, который недавно женился на дочери корчмаря. За час все было кончено. Нас с Бойко вытолкали на улицу, не слушая, что мы русские и держим нейтралитет. Черноусый, рослый, одетый по-болгарски, Бойко в своих суконых шароварах, белой рубашке, безрукавке и кожаных сандалиях-царвулях казался вылитым болгаринном. Я же был в дешевом костюме и старой фуражке без кокарды. Но вдруг мы услышали родную речь.

— Господа!— крикнул Бойко.

Нас вытащили из толпы пленных. Подпоручик Бойко и прапорщик Лукьянов не были расстреляны, как животные.

— Опустились вы, господа, в Задунайской провинции! — сказал один каратель.— Молитесь богу, что встретили нас.

И вот я говорю лекарю болгарской сельской больницы Лобанову:

— Я возвращаюсь домой. Давай вместе.

Дельтапланерист в моем сне парит над строящейся дорогой, улетает и возвращается. По сухой земле скользит быстрая орлиная тень.

Лобанов, ты еще жив?

Я проснулся, лежу и слушаю ночные звуки. Я дома. Я давным-давно дома. Живой, старый, навидавшийся смертей. В проеме тяжелых штор уже зеленеет небо.

Полуправда сна все еще держит меня. Я медленно вспоминаю возвращение, арест, проверку. Отчим поручился за меня. Мне выдали паспорт.

В июле сорок первого года я был призван в Красную Армию и оставлен в распоряжении Наркомата тяжелой промышленности. В августе эвакуировал из Донбасса шахтное оборудование и взрывал шахты. Несколько дней над городом стоял гулкий стон взрывов.

Однажды мне пришлось уничтожить немецких десантников. Я лежал с винтовкой на железнодорожной насыпи, и вдруг почудилось: галлиполийские камни, ящерица, далекая гряда островов... Я задержал дыхание и тщательно прицелился...

Поздней осенью сорок третьего года я вернулся из Кузбасса на пепелище. Города не было. Я мог его угадать, лишь читая промокший от дождя транспарант на закопченной стене: «Из пепла пожарищ, из обломков развалин возродим тебя, родной город!» Это была клятва с сжатыми зубами. Донбасс был мертвый. И я стал одним из солдат восстановления. Друг мой Лобанов, мы работали под землей по двое-трое суток, но это тебе ничего не объяснит. «На то

и война», — скажешь ты. Вот что, душа Лобанов, представь группу шестнадцати-пятнадцатилетних девочек, детей по нынешним меркам. Они расчищали шахтный двор. Мороз, ветер. Несколько направляют к стволу помочь мужикам. Из глубины поднимается грузовая клеть с вагонеткой, им надо вытолкнуть ее на рельсы. Они толкают и режут в голос — в вагонетке полуразложившиеся трупы казненных. Толкают и режут...

Мы с Любой читаем мальчику на ночь. Я чаще, Люба реже. Виташа лежит в красной пижаме, умытый и причесанный. Он вытягивается, кладет руки под голову, показывая, что приготовился спать, и с радостным нетерпением смотрит, как я сажусь перед ним на низенький стул. Сна нет ни в одном глазу.

— В русском царстве-государстве жил богатырь Илья Муромец. Он был большой и сильный, только ноги у него не ходили. И сидел он беспомощный на печке. А на русское царство-государство напал Соловей-разбойник и побил все русское войско. Земля сделалась красной от крови, даже листья на деревьях росли красные. Отец Ильи Муромца был старый дедушка. И он стал собираться на бой с Соловьем-разбойником. Хочет поднять меч, а сил нету. И плачет. Позвал он свою молодость, чтобы вернулась к нему хотя бы на один день и дала ему силу сразиться.

Я останавливаюсь и думаю: а что же дальше? Хочется рассказывать о старике, а не об Илье Муромце. Виташа серьезно глядит на меня, словно все понимает. Но проторенная колея не позволяет уклониться. Богатырь совершает свои подвиги, а о старике больше речи нет.

Побежден Соловей-разбойник, отрублены головы дракона, посрамлен спесивый киевский князь — и я встаю со стульчика, иду гасить свет.

— Уф! — огорченно говорит мальчик. — Спокойной ночи. Что останется у него от моих сказок?

Спустя несколько дней мы сидим на тахте и играем в морское сражение. Вражеский флот окружает наш крейсер, помощи ждать неоткуда. Что делать, Виташа?

— Убегать?

— Нет, на войне убегать нельзя. Будем драться.

Палим из всех пушек, маневрируем машиной, тушим пожар. Виташа спрыгивает на пол и рубит пластмассовым молотом воздух. Враги отступают.

Вообще-то он часто отвлекает меня от работы. Я хочу издать свои лекции по курсу «Основы научных исследова-

ний», сижу над рукописью, а дверь запираю на защелку. Когда Виташа начинает стучать, я строго говорю ему, что он мешает.

— Поиграй со мной, — просит он.

Вряд ли я заменяю ему отца. Скоро он спросит об этом человеке, у которого есть и семья и ребенок и который никогда не был Любе мужем, хотя она обычно говорит, что она разведенная. Семь лет назад Люба ответила мне, что решила рожать, потому что уже сделала один аборт и не хочет остаться бесплодной. Когда Виташа родился, я позвонил его отцу, и мы встретились. Он держался твердо и обещал усыновить мальчика. Но не усыновил, а лишь каждый месяц дает Любе по сорок рублей. Столько, сколько может. Когда-то он защищал кандидатскую диссертацию, она попала мне на отзыв. Я собрался было отказаться, а затем взял: не с тем, чтобы навредить. Наоборот — хотел помочь. Стыдно признаться, но мной руководили соображения денежной выгоды для Виташи, ведь я вряд ли дотяну до его совершеннолетия.

На лекциях я призываю студентов смотреть на жизнь своими глазами. Вспоминаю классические примеры — от Архимеда до современных исследователей. Порой я рассказываю древнегреческие мифы. Мне нравится миф о Сизифе. Почему о нем, а не о Прометее? Потому что бунтуя, титан Прометей знал все наперед: и ожидающие его муки, и освобождение от них. Сизиф же был смертный человек.

— Напомню вам эту старую историю, — говорю я студентам. — Он был любимцем богов, Зевс приглашал его на олимпийские пиршества. А Сизиф был бодрым, крепким стариком, и ему хотелось жить. Случилось так, что он узнал об очередном любовном приключении громовержца: Зевс похитил дочь речного бога и держал ее на острове. Отец всюду искал пропавшую. И Сизиф решил рассказать речному богу о его дочери и взамен получить надежный источник воды для своего города. Причем наверняка знал, что придется держать ответ перед всемогущим Зевсом. Так и получилось. Жена Зевса устроила скандал, и разгневанный Зевс послал к Сизифу маленького крылатого мальчика с факелом в руках, бога смерти Танатоса. Однако Сизиф устроил засаду, заковал Танатоса в кандалы и запер в подвале. И люди перестали умирать...

И так далее.

Но вот незадача — заведующий научно-исследовательским сектором против издания моих лекций отдельной бро-

шюрой. Он пожимает плечами: что мол, с того, что я собирал свой курс по крохам, по искоркам вдохновения, рассыпанным в различных источниках?

— А где вы родились?— спрашиваю я его.

— Я местный, из Лукьяновки. Но не все ли равно, Виталий Иванович, где я родился?— Он хлопает по моей рукописи крепкой ладонью с выпуклыми квадратными ногтями.— Надо дорабатывать. Надо построже. И побольше о наших разработках. И поменьше лирических отступлений.

— Вы позволите оспаривать ваше мнение?— спрашиваю я.

— О чем речь, Виталий Иванович!— улыбается заведующий.— Помните, как вы драли меня за уши? Мы дергали морковку на вашем огороде. Я и попался вам под руку. Правда, потом вы повели меня в дом и накормили. Но уши все-таки надрали... Ну, вспомнили?

— Не припоминаю. А где вы жили?— Я спрашиваю только из вежливости.

— Во вторых бараках,— оживает он.

Те бараки я помнил. Летом двадцать шестого я приходил туда, чтобы заступиться за мальчишку, у которого отнимали зарплату, обыгрывая его в карты. Обыгрывал Комаров, задорный шахтер-отчаюга. Он пригрозил мне ножом и посоветовал: «Катись-ка в свои Аргентины!»

— Во вторых бараках жили упорные люди,— говорю я.— Вряд ли мне доведется увидеть вашу визу на моей рукописи.

Через несколько дней он попросил меня принести греческие мифы, сказал, что ими заинтересовалась его жена. Я дал ему старую книгу, сохраненную моей матерью. На обложке стояла надпись: «Ученику четвертого класса Виталию Лукьянову за отличные успехи и отличное поведение».

И больше я не увидел этой книги. Его жена дала почитать подруге, а у той украли из письменного стола.

Сообщив обстоятельства пропажи, заведующий погладил щеку. На щеке была черная пухлая родинка размером побольше горошины, окруженная розовой воспаленной кожей. Мне было жалко книгу. Я представил, как заведующий утром брился, косоротился, мучился с этой родинкой. Потом я подумал, что теперь он несомненно завизирует мою рукопись. Другого выхода у него не было. И жена, и ее подруга, и похититель опровергли его утверждение, что мои лирические отступления интересны только младшим школьникам.

— Я виноват,— сказал он.— Потерю компенсирую в трехкратном размере.

— Оставьте,— отмахнулся я.— Неужели вы в состоянии снова наградить гимназиста Лукьянова? Это не в ваших силах.

Все-таки заведующий принес мне современное издание мифов. Правда, без всяких надписей.

— А вот согласиться с вашими лекциями никак не могу!— заметил он со вздохом.— Не в моих правилах.

Вполне порядочный принципиальный человек. Можно ли его осуждать? Еще он выразил желание посмотреть мою библиотеку. Не хочу ли я кое-что ему продать?

Лобанов больше не снился.

Дельтапланериста не нашли.

Я стал его забывать, но вспомнил других.

— Катись ты в свои Аргентины!— послал меня Комаров.— Нету у меня денег. Прогулял.

Он обыгрывал в карты мальчишку-шахтарчука. В бараке его боялись. На месте того деревянного барака давно построена школа. А Комаров и мальчишка погибли у меня на глазах. Они сажали лаву; кровля пласта не опустилась даже после того, как были выбиты последние стойки крепления. Оставлять у себя за спиной нависший корж невозможно. Прихлопнет не только выработанное пространство, но и забой вместе с людьми. Комаров выскочил из лавы, когда начало трещать, а мальчишка замешкался. Я и Комаров поглядели друг на друга и кинулись за ним. Он оттолкнул меня. Меня отшвырнуло воздушной волной. Я протер запорошенные пылью глаза, поднялся и стал разгребать комья. Там, где исчез Комаров, земля была увлажнена, а вокруг — сухая. Я застонал от бессилия и горя.

Но вот ночью я увидел сон: по снежной дороге Комаров ведет маленьких детей. Это зима сорок первого года, понял я, строим новую шахту в Кузбассе. Но почему Комаров? Откуда? Дети идут колонной. Скрипит дорога, звенят под топорами деревья. «Это не дети,— сказал Комаров.— Это души».

Утром я раздумывал: что бы это означало? Большинство тех, кого я знал в своей жизни, могут разговаривать со мной только в снах. Да, вот что. Неужели я пойду жаловаться на заведующего, доказывать, что написал достойную работу?!

Я пошел в детский сад. Виташа что-то строил из песка. Воспитательница, робко-улыбчивая женщина, сказала мне,

что с ним легко, что он покладистый ребенок. Я думаю, покладистых детей не бывает.

— Тебя обижают?— спросил я у мальчика.

— Да,— вздохнул он.— Хотят поломать город.

Перед ужином он делал гимнастику. Я держал его за ноги, и он ходил по полу на руках. Нужно быть сильным.

Виташа запыхался, положил голову на кресло и стал подтягиваться, чтобы залезть в него. А я крепко держал его за тонкие лодыжки.

— Давай я сяду на тебя верхом,— предложил он.

— Нет, пройдем еще круг.

— У! Тогда не буду!

Он вырвался, а я в ту минуту стоял, согнувшись, и его пятка угодила мне в губы. Не больно, но неожиданно. Убежал, хлопнув дверью.

Я пошел за ним.

— Что же ты в саду не даешь сдачи, а против меня воюешь?

— У!

Я взял его за плечи, повернул. Лопатки остро торчали, как крылышки. Он исподлобья глядел на меня.

— Обидчиков надо бить. Дай ему в нос. Все мужчины должны уметь драться.

— А мне жалко,— буркнул Виташа.

И мне эту жалость надо из него вытравить?

— Вот ты ударил меня ногой, а мне больно.

— Тебе больно?— спросил он. И заплакал.

Я стал утешать мальчика.

В России сила может многое и не может многого.

Все же это была хорошая мысль: покой стоит тридцать рублей. Я отдал деньги сторожу. Мы посидели, поговорили о наступившем лете.

— Хотите, почию ваш мостик!— смущенно предложил он.

— Спасибо.

— Что там! Сделаю, Виталий Иванович. Свои люди. Между нами даже забора нет.

Все, что есть у меня, скоро исчезнет. Точнее, все останется, но только без меня. Но кто обладает этим миром вечно? Короткой жизни хватает, чтобы узнать его свет, горечь, надежду.

В яблонях переливались солнечные лучи.

— Господи, как хорошо!— сказал сторож.

Виташа увидел меня и показал на солнечное сито листьев:

— Дедушка, смотри. Зеленый всадник на солнечном коне скачет.

— На снежном коне,— тихо ответил я, повторив слова моей матери, которыми она разбудила меня давним зимним утром.

И на мгновение они встретились, мальчик и прапрабабка...



**И НА РАДОСТЬ
И НА ГОРЕ**



де звездочки?¹ — спросил Егоров с раздражением у бригадира Игнатьева.

— Не дали.

— Опять! Ты скажи, что мы еще спокойные ребята. Работать не на чем, а мы молчим.

— Вижу, что спокойные, до того спокойные, что карьер даже не зачистили.

— Сальники накрылись, не успеваем масло заливать.

— Заливать вы мастера. Вскройте-ка, Егоров, посмотрим бортовые...

Вскрыли, действительно, и сальники ни к черту не годятся, и зубья, как бритвенные лезвия.

— Наш экскаватор, как старый слон, сейчас бы ему в самый раз хватило силы дойти до кладбища, — размышляет Егоров. — Он свое, Игнатьев, оттрубил, отпахал, и тут ничего не поделаешь. Износился. Это тебе не человек — машина. Человек износился, а сколько-то еще дюжит, через силу, а дюжит. Ты думаешь, мне его не жалко? Я, можно сказать, на нем состарился. — Егоров похлопал по обшивке экскаватора.

— Разве я не понимаю, но из кубиков складываются гроши. Работать-то надо.

— Я не к этому, — с продыхом сказал Егоров. — Уйду я, Игнатьев. Не хотелось бы, но придется. — Он отвернулся и стал смотреть за реку, туда, где в солнце разгорались макушки деревьев.

Игнатьев обескураженно молчал. А что тут скажешь?

¹ Звездочка — ходовая шестерня экскаватора.

Значит, человека подточило, подмыло, тут уж недалеко до душевного обвала. Вон как в прошлом году на Бахапче рухнул берег, и все не к месту вспомнил Игнатьев.

— Ладно, зачищайте забой, Егоров, там видно будет, не паниковать.

Игнатьев вернулся в карьер к обеду.

— Слушай, Егоров,— сказал он, устало приваливаясь на ковш,— принимай новый экскаватор. Экипаж подбери сам.

На стройке давно уж ждали новый экскаватор, но, по слухам, его сулили самому Ложкину... Но раз бригадир говорит, стало быть, знает, что говорит.

— В таком случае,— сказал Егоров,— зачем подбирать других людей...

Игнатьев уехал, а Егоров ходил вокруг своего экскаватора, как он это делал двадцать лет, когда что-то ломалось, и костерил машину последними словами. За эти долгие годы Егоров так свыкся с машиной, что не раз вел с ней беседу, когда смазывал подшипники, или драил, или их красил. А вот теперь ему дают новый экскаватор. Не верилось, и душу точило беспокойство.

— Ах ты, передрыга старая,— ощупывал Егоров болты. Подтянул стремянку.— Если бы ходовую заменить, еще бы поползал сколько-то, а так...— Егорову назойливо лезла в глаза то одна, то другая изработавшаяся деталь.— Ну, ты, старикан, не думай, что вот так Егоров взял и бросил тебя.

Он подбирал слова поокатистее, повнушительнее для этого момента. Он пытался убедить себя и машину в чистоте намерений. Смешно, но ему обязательно нужно было получить от себя изнутри одобрение. Но наедине с экскаватором его голос звучал отчужденно и потерянно:

— Помутил ты мне душу, пора и честь знать, отработал свое. А я вот теперь с козы и на самолет. Видишь, как твоему хозяину подфартило.

И сам не зная зачем, Егоров протер прожектор.

— Ну, вот и разул бычий глаз.— Он задумчиво постоял на гусенице и прыгнул на землю. Резанула мысль: «Вроде как из-под полы суют мне новую машину. У нас раньше так не делали, не-е. А что подумают механизаторы, что скажут? С какой стороны, за какие такие заслуги Егорова посадили на новый экскаватор? Почему Егорова, а не Вострякова? Ну, на самом деле, почему, чем хуже Востряков?— саднило нутро Егорова.— А другие машинисты чем хуже? Если Егорову, то почему заглазно, а не при всем народе, как полагается, обсказать все честь честью».

Не потому ли Егоров и заспорил с Игнатьевым, когда вы-
бирали площадку под монтаж нового экскаватора.

— Ну чем тебе не площадка,— доказывал Игнатьев,—
мастерские рядом, выточил, высверлил...

— Тесно тут, да и глаза на людях мозолить. Воздуха
нет,— выставлял свои доводы Егоров.

— Ты, Егоров, не мудри. Может, тебе кислородную по-
душку подать? Так ступай в больницу, там тебя накачают,
не будешь ерепениться.

Егоров только откашлялся.

— Правда, хоть подушку с кислородом.— А подумал:
«Лучше бы уж на своем работал, черт дернул за язык. Вот
и Афанасий косится, сквозь зубы сегодня поздоровался».

— А ну тебя,— отмахнулся бригадир,— выбирай сам
площадку, где нравится. По мне, хоть за поселком, на пусты-
ре, монтируй.

— На пустыре, говоришь? — Егоров даже обрадовался
такому решению: от глаз подальше. Но тут же сник. Куда от
людей скроешься, работаем-то вместе.— Лучше всего монти-
ровать у старой машины,— вырвалось у него.

Дома Глафира сразу поняла состояние мужа:

— Тебя что, переехало?

— Ты мне, Глаша, робу почище дала бы,— уклонился
Егоров от ответа.

— Куда это выражаться, перед кем? Не молоденький
ведь.

Пока Егоров мыл под краном руки, в дверь сунула свое
остренькое личико Зина. Увидев Егорова, отпрянула. «Эта
кикимора знает уже,— подумал Егоров.— Без этой нигде не
обойдется».

— Чего тебе?— спросила Глафира и прикрыла дверь.

Егоров задержал дыхание, но Зинка так тараторила, что
ничего было не разобрать.

— Мой пока молчит,— Глафиру Егоров различал хоро-
шо.— Ложкин на моей памяти три экскаватора заездил...
гребет деньгу...

— С кем ты это?— отдуваясь, громко спросил Егоров.

— Зинка, за солью,— хлопнула дверью Глафира.— Копи
соляные, Баскунчак у меня тут,— притворно заругалась
она.— Садись ешь, который раз грею.

Глафира налила тарелку щей, поставила ближе к Егорову
и сама присела к столу, не спуская пытливых глаз с мужа.

— Как тебя выбелило,— вдруг сказала она и протянула
руку к его голове.— Виски-то как мукой взялись.

— Ладно, Глаша, — отвел руку жены Егоров и взял ложку. — Ты бы мне робу чистую дала, что ли?

— А я что, не даю? Запираю на ключ? Надевай. А правда, Ложкину опять новый экскаватор? — зашептала Глафира. — Что же это вы, мужики, хуже баб. За себя постоять не можете... И как это люди ухитряются, ни стыда, ни совести...

Егорова и вовсе сожгли эти слова.

— До каких это пор будет? — пошла вразнос Глафира. — Что хотят, то и творят. Развели подхалимов, лодырей, знаем, за какие такие заслуги дают новое...

— Мелешь черт-те что, — отложил ложку Егоров и встал из-за стола.

— Гляди на него, и не поел. — Глафира сбегала в комнату, принесла брюки. — На, чистые. Раздумал, что ли?

— Раздумал. — Егоров надернул телогрейку и — в дверь. Закурил уже на улице. Такая вот свистопляска. Интересно, что бы Глафира запела, если б правду узнала. Ох уж эти бабы! Но сколько Егоров ни рассуждал, все равно мысль вела его прямой дорожкой в русло Глафириногo сказа. И выходило вместо радости, гордости огорчение. «Ну почему так получается? — Егоров даже приостановился. — Достоин — так дайте на людях, на глазах всего коллектива... Есть ведь машинисты не хуже его, Егорова, есть!» Опять пошла мысль по старому кругу. «Ну а я чем провинился, — рассердился на себя Егоров, — дают, значит, начальство сочло нужным. Знает, кому давать, — хватается Егоров за эту мысль, как маляр за кисть, падая с крыши. — Теперь так — не спрашивают рабочего... Подхалимы — везде подхалимы, — лезут на язык Егорову слова Глафиры. — Сами плодим, мне хорошо, а другому как придется. Интересно узнать, что скажет Зуев?»

Егоров уже прошел было перекресток, но круто повернул к карьеру в забой, где стоял экскаватор Зуева, его старого приятеля. Егоров походил по карьеру, подошел к Зуеву.

— Ты чего, Егоров, как дородная якутская лайка, ходишь, нюхтишь?

— Трос пропал, — зачем-то соврал Егоров.

Машинисты «восьмерки» подняли Егорова на смех.

— Не тут ищешь, Егоров. Вон к точковщице загляни, но она сегодня в штанах.

«Не знают еще про экскаватор», — решил Егоров, положил на валун рукавицы, достал сигареты.

— Слыхали новость? — спросил с нарочитой веселостью.

— Скажешь, знать будем, — переглянулись экскаваторщики.

— Кому вы бы думали, дали новую машину?

— Известно кому — Ложкину, кому еще?

Егоров появился.

— А по-другому никто не мыслит?

Машинисты «восьмерки» тоже взялись за сигареты и, сбиваясь, называли еще другие фамилии, но Егорова даже не упоминали.

— Не угадали! — сказал Егоров.

— Где уж там. Машина одна, а нас вон сколько, — подвел черту Зуев. — И кроме Ложкина есть ребята, это ты знаешь не хуже нас. Ложкин тоже достоин, ничего против него не скажешь...

— И я говорю, — вздохнул Егоров и стал отряхивать рукавицы, глядя на зуевский экскаватор. Хорошая машина, а на много ли младше моей? Может, на одну стройку. А сколько переверотил, перепахал на ней Зуев!

Зуев не ставил рекордов. Егоров не мог припомнить, чтобы фамилия Зуева гремела все двадцать лет, но работает ровно, хорошо. Машину бережет. Тут уж ничего не скажешь. Егоров зашел с другого бока экскаватора, рабочие ремонтировали ковш: наваривали лист железа на днище.

— Ага, — усек Егоров. — А мы целиком меняем — выбрасываем металл.

Егоров еще постоял, а из карьера направился прямо на стройку каменного квартала. Пока шел, все думал: «А мою фамилию так и не называли зуевцы. Я тоже хорош — в жмурки играю, не сказал, ну это, может, и не к худу: если так считают, то мне и ни к чему новый». Егоров обогнул строящийся дом и сразу угодил к младшему Зуеву. Тот на своем «Воронежце» вытаскивал из траншеи валунник. Увидел Егорова, застопорил машину.

— Егоров, махнемся тачками? Выплакал, да?!

— Все ты знаешь... — буркнул Егоров. — Загадил машину... Не видишь разве, что сальник гонит?

— С лица воду не пить, в душу гляди!

Нутро у Зуева-младшего жидкое — вроде одна кровь в жилах у братьев, а натуры разные.

— В душу, так в душу посмотрим. — Егоров полез на экскаватор, одолел цепную лесенку, перевел дух. — Значит, так, Зуев. Если в главном подшипнике масла под пояс, отдаю тебе свой новый экскаватор, если нет уровня, идешь ко мне в масленники. Вскрывай!

— Да ладно тебе, — отработал задний ход Зуев-младший. — Уж и в масленники.

— Нет, не ладно. Слово есть слово, честь есть честь... Егоров порылся на верстаке, нашел ключ и вскрыл крышку.

— Ну вот! Смотри,— ткнул ключом.— Масло едва достает нижнюю риску, гrobiшь машину... Черт с тобой, с паршивой овцы не наскребешь и клока шерсти,— сплюнул Егоров и спустился с экскаватора.

Зуев молча пошел за маслом.

Зинке, соседке Егоровых, дома не сиделось. Сбегала на почту, в столовку, заскочила в магазин. Увидела Зуиху, сразу к ней.

— Слышала, кому экскаватор посулили?— коротко, громче спросила Зинаида Зуиху.

— Вроде бы твоему,— откликнулась Зуева.

— Как же, моему, держи шире карман. Мой-то полоротый,— запричитала Зинаида,— будет колматить на этой дрыгалке до скончания века, кто ему даст. Живет с начальством, как собака с кошкой. Мой ведь любит правду, а кому она, правда, нужна. Господи, люди на книжку деньги — деньга деньгу родит, а мы последние копейки — вчера сотню снесла...

Вокруг Зинаиды гудились бабы.

— Мы-то, олухи царя небесного,— взвизгнула какая-то женщина.— Наши-то мужики языки съели, а мы, бабы, что смотрим!..

— А что делать? Экскаватор не унесешь в сумке — не маргарин.

— Видали ее,— вздернула Зинаида остренький подбородок, словно намереваясь тяпнуть за нос сказавшую невпопад женщину.— Ты бы молчала, у тебя Иван годен только доски тесать...

— Чего будут давать?— протиснула в круг голову глуховатая Ефросинья, теща Ложкина,— колбасу?..

— Черта лысого, бабушка,— рыкнула в лицо старухе Зинаида.

— А свежую не привезут?

Бабы захохотали, засмеялась и Ефросинья.

— Глухая я, бабоньки, смолоду еще отужела на ухо — в клепальном цехе работала, вот и отужела. Вы уж меня простите, глухую тетерю.

— Небось как твоему Ложкину сунули экскаватор, так сразу услышала,— нападала все Зинаида.

— Господь с тобой, пошто ты, девка, мелешь, что ни попадя,— оттопыривая шаль, округлила глаза бабка Ефро-

синья.— Пошто так, откель у людей такое зло, не приведи бог. Савелий нонче сам отказался от машины, настоял, чтобы Егорову отдали. Сказал, мужик двадцать годов как рыба об лед бьется. Пошто так-то, не узнавши — народ смущаешь...

Зинаида завертелась и, словно вода сквозь песок, просочилась из магазина, побежала к Глафире.

А Егоров уже обошел добрую половину экскаваторов и уже направился было в парк тяжелых машин, но остановился; начнут приставать с обмывкой. Какая обмывка! Если бы все по уму — разве плохо, и сам бы за милую душу сотку пропустил — почему бы с товарищами не посидеть, Глаша и пельменей налепила бы. Хариус вяленый есть и сорога копченая. Сам летом на Ахтаранде коптил, под белую куда с добром пойдет. Пусть и машинисты, и помощники, всем места хватит, хоть и с женами придут. Ведь не каждый день новые экскаваторы. Слова хорошие поговорить. Егоров и сам по такому случаю скажет, как не сказать. Егоров стал придумывать слова, чтобы поскладнее вышло, но как вспомнил, как это все не так, — опять нехорошо стало. Повернулся и пошел к своему экскаватору. Парни встретили своего старшего машиниста весело. Тут же у старого экскаватора, на снегу, детали от нового. Значит, Игнатьев решил, что лучше всего монтировать на своем месте. Что ж, правильно. Егоров смахнул рукавицей снежинки с ближайшего блока.

— Егоров, где патефон? Какая без музыки жизнь...

Не было на стройке человека, который бы не знал про егоровский старенький, но вполне исправный патефон.

— Патефон принесу, — сказал Егоров. — Но а что стоять так, лясы точить, Матвей Денисович.

«Да, постарел Матвей, — вдруг замечает он. — Тоже скоро на слом, на пенсию. Был мужик, нет мужика. Экскаватор тоже, пока был новый, земля под ним дрожала, а постарел — «ложку» донести до кузова, не расплескав, не может: трясется, как паралитик какой, но был, да свой. — Егоров взялся за домкрат. — Нет, не поднимается рука, — бросил домкрат. — Схожу к Ложкину, что он скажет...»

— А ты, Матвей, ступай-ка затопи печку, лишнее из будки повыбрасывай, наведи марафет.

— Ладно, а сколько брать? — по-своему понял Матвей.

Егоров медлил с ответом.

— Дело говорит дядя Матвей. Как же на сухую? Экскаватор не соберем.

Матвей подставил шапку.

— Ну, старшой! Отмерзнут уши.

— Да погоди вы!

— Не с той ноги встал,— сказал Матвей уже в спину Егорову.

Егоров спустился к реке. Где же должен стоять экскаватор Ложкина — в забое на канале или на второй полке карьера? А может быть, Ложкин дома, интересно, в какую он смену? Подвернулся самосвал, Егоров остановил его.

— К Ложкину?

— К нему и еду,— сказал водитель.— Поворотную цапфу везу. Садись,— водитель открыл дверку.

Егоров сел в кабину. Еще издали он увидел ложкинский экскаватор. Ходовая была разбросана, траки валялись в стороне.

— Растележился?— поздоровавшись, кивнул Егоров на ходовую.

— Грешен. Цапфу надо поставить, крана нет. Не допросишься, сам бы побежал, так тут надо кому-то. Кремнев захворал, Санька зуб пошел выдергивать.

«Не знает, наверно, Ложкин насчет новой машины»,— решил Егоров.

— Давай схожу за краном.— Егоров как будто за этим приехал.

— Если можешь, Егоров, подмогни,— согласился Ложкин.

Егоров с Ложкиным были одногодки и по возрасту и по стажу работы. Вместе они получали и удостоверения экскаваторщиков. Тогда Ложкин был парень загляденье: пышная шевелюра, кареглаз, рассеченная губа немножко подводила, а так — огонь парень. И теперь он еще ничего, только поседел, и намного раньше Егорова, да глаза малость припухли, да плечи стали поуже — ватник сзади обвис. Интересно со стороны поглядеть, а какой я?

— Ну так что?— спросил Ложкин.

— Бегу, бегу...

Егоров возвратился к Ложкину с двуногой стойкой, тракторным краном КП-25, прозванным «кочергой».

— Куда ты эту холеру,— завозмущался Ложкин, но, увидев за «кочергой» тягач с бревном на тросу, подошел вплотную к Егорову.

— Хочешь базу поднять этой загогулиной? Да ты знаешь, Егоров, сколько весит основание экскаватора?

— Знаю, сорок шесть тонн.

— Ну вот. «Кочерга» твоя только на двадцать пять тонн рассчитана. Так что от колес только ошметки полетят.

— Разговорился. А мы не будем давить на колеса.— Егоров велел бревно подтянуть поближе к «кочерге».

— Поглядим, поглядим,— отошел Ложкин.

— Глядеть потом будем, несите пилу, распускайте хлыст...

— Понятно. Вместо колес чурки, ловкач ты, Егоров.

— Ну что ты, Ложкин. Ставь вот сюда «кочергу».— Егоров рукавицей промел землю. Потом замахал, приглашая кран.

Поставили «кочергу», подмостили под балку чурки, подбили клинья. Ложкин еще поползал под краном, попинал чурки.

— Так,— сказал он, вылезая из-под крана,— в ажуре,— и подозревал крановщика.

— Оцени-ка, Витюха.

Крановщик поприседал, позаглядывал под кран.

— Грободелы, первый раз так вижу...

— Опускай так,— насупился Егоров.— Разговорчивый шибко...

Крановщик опустил стропы, Ложкин уложил их как следует в зев на гак, закрыл замок и подложил дощечки, чтобы не порезало трос.

— Ну вот и хорошо,— одобрил Егоров.— Вот и ладно. Корову на баню потащим. Прибавь-ка обороты,— крикнул он крановщику. А когда тросы натянулись, дал отмашку рукой.

— Стоп!

«Кочерга» задрожала от напряжения. Опорная балка вошла до упора пером в чурки.

— Ага, «закусила»,— радовался Егоров.

— Насухо-то, Егоров, горло драть будет...

— Размочим, Ложкин, обязательно.— Егоров забыл, и зачем он приехал к Ложкину.— Ты следи за трактором, Витюха, смотри прямо на меня, больше никуда!

— А куда еще,— высовывается крановщик,— начальству в рот.

Егоров скрестил над головой руки. Казалось, стало слышно, как работает вечная мерзлота. Будто сквозь землю стального ежа протаскивают, а земля вздрагивает.

— Вира!

Запели шестерни, под нажимом стропов хрустнуло дере-

во. Загудел металл. Егоров впился в «кочергу» глазами. Похожая на огромного жука, база поползла, отделилась от земли.

— Трейлер давай!— закричал Егоров.— Ну что же ты,— подскочил он к трактористу.

— Оседают.

— Ах, ты! Пропал замах. «Закуски», Ложкин.— И Егоров бросился подставлять под базу чурбаки. Еще добавили нарезанные доски.

— Давай еще рывок,— сказал крановщику Егоров.— А ты не лови мух,— предупредил он тракториста...

И тут подрулил «газик», вышел начальник парка тяжелых машин.

— Ну-ка, ну-ка, похвастай, Ложкин, чем ты тут занимаешься? А ты чего здесь, Егоров? Помогает? Молодец!

— Вира!— подал команду Егоров.

Начальник замахал было руками, но осекся на полуслове. Теперь, как только увеличился просвет между землей и грузом, трактористы тут же подсунули под базу трейлер.

— Оппа!— вырвалось у Егорова.

— Мудро,— сказал начальник парка, осматривая «кочергу».— Чья это работа?

Ложкин с Егоровым переглянулись.

— Оба, значит. На первый раз лишаю премиальных, чтоб не насиловали технику. А тебе,— погрозил он крановщику,— месяц крутить гайки.— Сел в машину и укатил.

Ложкин засмеялся:

— Заработал, Егоров.

Засмеялся и Егоров:

— Подсунуло его ни раньше ни позже, будто за углом подглядывал...

— Ну а когда ты свой начнешь собирать?— спросил Ложкин.— Когда обмывать будем?

Егоров сник.

— Когда? Не знаю когда. Что-то у меня душа не лежит.

— Во как! Мы за него лбы расшибали...

— Как лбы?

— Да так. Сегодня утром Игнатьев машинистов собирал. Не было, кажись, только Зуева-старшего, зато младший горло драл...

— Решали, что ли?

— Семь — за, против — один.

Егоров сразу приободрился.

— Ну ладно, я побежал...
— Зачем приходил-то, скажи хоть...
— На пельмени позвать, приходи вечером. И ты приходи, — обернулся Егоров к крановщику. — С бабами приходите.

— Придем, — понимающе кивнул Ложкин, — не подведем...

А когда Егоров скрылся за поворотом, Ложкин сказал:

— Хороший мужик Егоров, настоящий.

— Ничего, — согласился крановщик, — крутой только...



Г. Екимов

**КАЗЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК**



парнишка был небольшой, но крепкий, плечистый, и голова у него была крупная, лобастая. Как вошел он, так и стал у двери, голову опустил, набычился.

— Ты что, бодать, что ли, меня собрался? — усмехнулся Трубин. — Проходи, садись.

— Я постою, — зыркнув глазами, пробубнил парень.

— Ну, стой, — и, еще раз взглянув на парнишку, Трубин похвалил: — А голова у тебя хорошая... лоб... гомеровский, что ли? Так говорят? Большой.

— Сократовский, — усмехнулся парень. — Только вы, Дмитрий Палыч, не надо. Вы прямо сразу наказывайте, а чего зря говорить.

— Ха! — восхитился Трубин. — Значит, сразу, — и, обхватив большими пухлыми руками круглую свою голову, которой редкие и пушистые седые волосы придавали сходство с одуванчиком, замолчал.

— А что сразу?! — перемолдав, спросил он громко и потянулся к парню. — Что сразу-то? Ведь не о чем мне с тобой говорить! Понимаешь, не-е о-о че-ем...

Телефонный звонок снова усадил его на стул.

— Ага. Здравствуй. Не-ст, Василий Алексеич. Это не телефонный разговор. Сегодня у Павлова будешь на совещании? Ну вот. Я захвачу технологию, и все будет ясно. Ага? Да-а, стой, — и, посмотрев на все еще стоящего парня, Трубин удобнее развалился на стуле и, скособочив голову, прижал ею к плечу телефонную трубку, освободив руку. — Тебя здесь не хватает, Василь Алексеич. Здесь такая ком-

пания собралась. У меня здесь Эдик находится. Ну, какой Эдик... Твой альпинист-перворазрядник, а наш... прогульщик. Ага. Ну, конечно... вот когда отпустить его на соревнования надо, это ты знаешь. Да отпуск удлинить, подбросить лишнюю недельку, чтоб у парня путевка не пропала,— это ты тоже знаешь... Ну как же, спасибо, успокоил, ты разберешься,— с неприкрытой язвительностью окончил он разговор.— Спасибо. Будь,— и, сбросив с плеча трубку, ловко поймал ее и уложил на место.

— Иди, иди сюда,— поманил он Эдика большими пухлыми руками.— Иди, не бычься. Иди садись.

А когда тот сел возле стола, все так же не поднимая головы, Трубин обратился к нему проникновенно:

— Ты думаешь, я для красного словца говорил про то, что не о чем мне с тобой говорить? Нет, я точно говорил. Ты же прекрасно знаешь, что я тебе ничего сделать не могу. Ну, что я тебе могу доказать!— поднял он вверх руки, будто сдавался.— Заработок я у тебя не отберу. В уборщицы не переведу. Ведь на линии-то работать некому будет? Нет замены ведь? А?

— Нету,— ответил Эдик, поднимая голову.

— Вот видишь!— словно бы обрадовался Трубин.— И тринадцатой зарплаты я тебя не могу лишить,— сказал он Эдику.— Она тебе и так не положена. Ведь у тебя трехлетнего стажа нет.

— Нету.

— В очереди на квартиру ты не стоишь. Опять не ухватить тебя. Да и вообще, ты же не слепой, видишь, что у нас в цехе артисты есть — по неделе в месяц гуляют. И ничего... Так ведь? А вон Плещеев явился. Целый месяц где-то шлялся. И все равно взяли. Так, для порядка, он покаялся, и взяли. Ты же знаешь про это?

— Знаю,— вздохнул Эдик.

— Ну вот,— как-то растерянно развел руками Трубин.— Видишь... Вроде бы гнать надо их. А как прогонишь? Нет людей. Нету. Вот так.

И он замолк, сгорбилась, нагнул к столу голову, и стало видно, что за пушистым частоколом белых волос скрывается плешь в добрую ладонь величиной. А зазвеневшему телефону он ответил зло:

— Слушайте. Я у вас месяц назад не наметки просил, а сроки. Сроки. Вы их дали. Вы? Вы. Все! Ни-чем помочь не могу. Будьте здоровы.

Поднявшись со стула, он шагнул к небольшому шкафу-

чику, стоявшему в углу, вынул оттуда папку с синими матерчатыми завязками и протянул ее Эдику.

— Вот посмотри. Потом вернешь.

— Что это?

— А-а-а,— махнул Трубин рукой,— коллекция. Хобби, как сейчас говорят. Вот и у меня тоже хобби. Собираю я вырезки из газет, из журналов. Как где наш завод ругают — я сразу в папочку. Прочитаю, что в колхозах тракторы стоят без запчастей — опять в папочку. В общем, черным делом занимаюсь.

— И всем прогульщикам читать даете? — улыбнулся Эдик.

— Нет,— без улыбки ответил Трубин.— Не всем. Таким, как Плещеев, не даю. А тебе дам. Ты же, как он... Сократ, что ли? Ты — альпинист, студент. Словом, как говорят газеты, современный молодой человек. Так? Вот ты все это и почитай, почитай. Я вот читаю. Заставляю себя читать.

Эдик покрутился на стуле, вздохнул, проговорил:

— Да, знаете, Дмитрий Павлович... А вообще-то,— вдруг махнул он рукой,— чего зря оправдываться. Виноват, значит, виноват.

— Ну, ладно, иди. Смотри папочку не затеряй. Да-а, как там приятель-то твой, Маркушев? Ходит в техникум?

— Ходит. Трудно ему, у него же ребенок. Да вы сами, наверное, знаете? Вы вечерний кончали?

— Нет, Эдик. Мне было легче, я учился на дневном.— И, обойдя стол, он проводил своего гостя до двери, говоря: — Да, тебе, конечно, труднее, и Маркушеву. Но...— сжал он руку в кулак и поднял его к лицу и потряс.— Достойнее надо, достойнее, Эдик... Без этих всяких...— он поморщился, ища слово, и не нашел его.— А! Иди. А то я тебе морали начну читать.

Эдик ушел, и Трубин еще стоял возле двери, почесывал поясницу, морщился, досадовал на себя: «Чего я плел, господи... ни черта я не умею с людьми говорить. Проработал, называется. Папочку дал. Да он сейчас за дверь выйдет и посмеется надо мной». Трубин пошел к столу, но на полпути остановился и, прищулив один глаз, посмотрел через плечо на дверь.

«Так посмеется он надо мной или нет... прочитает эти бумажки или не прочитает? — думал он, пытаясь поставить себя на место Эдика.— Я бы прочитал, хотя бы из интереса. И смеяться бы погодил».

Телефон позвал его к столу.

— Да, помню. Ладно, найду, пойдем вместе. Опять излают как черт те кого,— тяжело вздохнул он.— Найдут за что! У Павлова не заржавеет.

Выйдя из кабинета, Трубин спустился в цех. Но не успел он и шага шагнуть, как ухватила его за рукав худая женщина в синем застиранном халатике.

— Это безобразие, Дмитрий Павлович!— тонко крикнула она ему на ухо.— Это безобразие!

— Что случилось?— поднял он голову.

— Час цельный станок стоит, и не могу концов найти!— всплеснула она тонкими жилистыми руками.

— Сюда,— поманил он ее за собой и шагнул назад в коридор и захлопнул дверь.— А то не слышно ничего. Я слушаю.

— Станок стал!— снова крикнула женщина, словно была по-прежнему в шумном цехе и боялась, что Трубин не услышит ее.

— К слесарю пошла! Пришел, покопался, это, говорит, не моя причина, электрика нужно. А электрика позвала — тот гидравлика, говорит, зови, а того, бегала-бегала, еле нашла, а он говорит: слесаря зови, пусть он мне вот эту железяку снимет, она мне мешает, а слесарь говорит: мне некогда, пусть сам снимает — руки не отвالتها — во какая смехота, Дмитр Палыч. И я между ними, как курьер какой, ношуся. Во какое безобразие!

— Пойдемте со мной,— мотнул головой Трубин, засопел и почти побежал в отдел механика.

Там, в слесарной мастерской, одиноко пел токарный станок, да поцвиркивал строгальный, да молотки стучали, и говор несмолкаемый шел, и дыму табачного было столько, что вентилятор с ним не справлялся. Несколько слесарей, тесно сбившись возле газетки, лежащей на столе, обсуждали какие-то новости.

С приходом начальства говор стих, люди от стола и газетки потянулись к верстакам, а кое-кто к двери. Но Трубин стал у порога, большим телом своим дверь заслонил и проговорил зло:

— Не спешите, митинг я сейчас у вас буду проводить.

— Про китайцев, Дмитрий Палыч?!

— Механика позовите.

Механик цеха Топилин, человек худой, с вечно виноватой улыбкой на лице, вышел из своей конурки, поправил черный захватанный галстук и воротник красно-зеленой

клетчатой рубахи поправил, а тогда уж и руку подал Трубину.

— Слушайте,— объявил Трубин и кивнул женщине:— Говорите.

Женщина повторила свой рассказ, а Трубин курил, прикрыв глаза, и уговаривал себя: «Спокойнее, спокойнее, не надо кричать. Крик — последнее дело. Слабость — крик, как жена говорит». Но широкая жирная грудь его вздымалась высоко, и живот колыхался.

— Ну, вот,— открыл глаза Трубин.— Ну, вот.— Он был почти спокоен.

— Вот она час простояла. Ей надо деньги зарабатывать,— покрутил он в воздухе толстым пальцем.— У нее дети.

— Двое,— тихо произнесла женщина.

— Двое детей!— крикнул Трубин.

— И мать старая...

— И мать у нее старушка!

— А мужа нет.

— А кормить ее некому!— вскинулся Трубин.— Она — кормилица! А вы ее гоняете! стыда никакого! Она на гильзе работает. У нас гильзу из-под рук хватают. И на запчасть гильза идет, тоже не хватает. А станок стоит целый час. Это как понимать?! Вы вот здесь газету сидели читали. Я не пойму,— огорчился Трубин,— вы что там, только программу телевидения смотрите? Такая зима была. Сколько пересевать надо. Сельское хозяйство просит: дайте запчасть. Вы сами на собрании принимали обязательство: закроем план по запчастям до двадцать пятого. И вот закрываем. Ур-а-а!— Он повернулся к Топилину:— Вместе с энергетиком сейчас же разберитесь. Выявите виновного и подготовьте проект приказа. Простой за его счет, и лишит премии. Вывесим на доске ба-альшими буквами! Вот так.

И он ушел, и, закрыв дверь, услышал, как заговорили и закричали там, за дверью, все разом.

Совещание у Павлова заводоуправления не пошел: хоть и готовят там получше, но, как пить дать, заловит кто-нибудь, и уж тогда в цех раньше пяти не вырвешься. В своем буфете он взял винегретику, колбаски да молочка бутылочку и, расставив все это на столе, спросил у буфетчицы:

— Таня, вот ты посмотри, ем я, как воробей,— и он показал на свой тощий обед,— а во-о гляди,— хлопнул

он себя по мягко колыхавшемуся животу,— растет, проклятый. Это мне сейчас сорок. А что дальше будет? А?

— Ну, значит, характер у тебя, Палыч, такой,— махнула рукой Таня.— Я вот тоже, работа у меня, сам знаешь. нервная, а я на ней спокойная. И ты, значит, близко к сердцу все не принимаешь.

— Да-а?— удивившись, перестал жевать Трубин.— Вот это ты дала. Значит, близко к сердцу не принимаю? Это, если хочешь знать, прямо-таки оскорбление. Так я это понимаю. Не-ет,— вздохнул он,— никакой из тебя сердцевед, Таня.

Он доел и пошел к себе в кабинет и, усевшись на стуле, сладко закурил, поднял телефонную трубку.

— Не приехал? Ну, ладно... Я иду в РМЦ, а потом в ремонтно-литейный, а потом приду.

Он пошел было к двери, но звонок телефона остановил его. Трубин постоял, секунду подумал, но к телефону все же вернулся и, поздоровавшись в трубку, минуты две только и поддакивал да соглашался: «Да... да... Знаем, знаем... Обеспечим. Сделаем, сделаем»,— а когда трубка замолчала, он набрал номер:

— Рубанюк, из парткома мне звонили. Когда ты себе телефон поставишь? Пора бы уже. Сегодня будут проверять занятия комсомольского кружка. Давай обеспечить. Ну, конечно, забери пропуска и не отдавай. Пусть посидят. Там полчаса какие-нибудь, не умрут. Да-а-а, еще втык мне дали за эти, ну, за марки медицинского этого общества.... Ага, Красный Крест. Что это, проблема? Ну, брось ты, не берут. Ты как маленький. Они у тебя? Ну, пусть принесет их завтра на рапорт. Мастера распространят. Разговору больше. Давай. Я в РМЦ пошел.

Но он опять никуда не ушел, потому что появился Топилин и развел руками:

— Нету подшиппников. Везде ходил, везде звонил, не дают.

Трубин на механика посмотрел выразительно, но ругать его не стал: и без того у человека вид убитый. «Хороший ты мужик, Топилин,— подумал он.— А вот своего взять не можешь».

Усевшись возле телефона, Трубин битых полчаса требовал, упраскивал, торговался и грозил, добрался до главного инженера, но проклятые подшиппники все же раздобыл.

А потом он ушел в РМЦ, в ремонтно-литейный, в энергоцех и вернулся к себе в начале шестого. В конторском

коридоре было тихо: ни дневной суеты, ни беготни. Двери комнат замерли до утра, только крайняя из них, там, где находился кабинет начальника цеха, была открыта, и голоса неслись оттуда по гулкому пустому коридору.

«Приехал все же Анатолий Василич», — отметил про себя Трубин и открыл свой кабинет. Он остановился на пороге и недолго подумал: идти ему к начальнику или нет? Но срочных дел, кажется, не было, а мелочи — до завтрашней планерки. Он переступил порог, но заметил идущего по коридору электрика Петровича.

— Ко мне, что ль, Петрович?

— К тебе, если не прогонишь, — приоткрыл тот в улыбке полосу стальных зубов.

— Заходи.

Трубин любил этого старика, чем-то похожего на отца-покойника. У Петровича было узкое худое лицо с вдавленными висками и мощно рубленными вертикальными морщинами: от крыльев носа — к уголкам блеклых мятых губ, от жиденько светлых глаз — к костистому подбородку.

— С чем пожаловал? — спросил Трубин и подсадовал на себя: не надо было торопить старика.

— Понимаешь, Дмитрий Палыч, вот будем новые немецкие ставить, протяжные. Ты их видел?

— Ну а как же. Добрые станки.

— Как бы нам, Дмитрий Палыч, не сбраковать. Они, станки, слов нет, хорошие, но не по нашему делу. У нас будет верх — низ, верх — низ, и никакой больше работы. На автомате будут стоять. Так?

— Да.

— Ну вот. А у них там и полуавтомат, и ручной привод, и ножной, и цикл — полная станция аппаратуры. Думаю, нужно эту сложную машину разрушить, оставить две релюшки и два пускателя. Работать начнут — дежурному не надо костоломиться, да и зачем эта техника будет гнить.

— Переделать, говоришь? — переспросил Трубин.

— Конечно. Я с Алексеем Ивановичем говорил, он согласен. Только твое, говорит, разрешение надо.

Петрович замолчал и положил на стол руки, вылезающие из рукавов серенького, заношенного пиджачка. Руки его были небольшие, вялые, плоские пальцы кончались большими, круглыми, как скорлупки грецкого ореха, панцирями ногтей. А кожа на руках поношенная. Не по нынешней плоской кости, а по прежней силе кожа была выдана, а теперь сила ушла — кожа осталась. Трубин отвел глаза

от рук старика и на свои невольно взглянул — большие, мясистые — и сказал:

— Ну, добро, подавай раци. Схемку набросай и оформи у Анны Тимофеевны.

— Зачем, Дмитр Палыч, — вяло отмахнулся Петрович. — Это прям стыдно. Технику поломать — рационализация.

— Ну, ну, скажешь тоже — поломать, — успокоил его Трубин. — Переделать. Экономия аппаратуры — раз, простота в обслуживании — два, и надежность. К празднику и выпишем тебе на вино, а Матвеевне на конфеты. Также мне — миллионер...

Они докурили, и Петрович, придавив сигарету, сказал:

— Ну, пойду, не буду тебя от дела оттягивать.

— Да сиди, Петрович, — Трубину и в самом деле было жаль отпускать старика, чем-то напоминал он ему отца: и немного лицом, и, кажется, разговором, и совестью. — На отдых, что ли, скоро, Петрович? Садом заниматься, внуков нянчить...

Старик поскреб небритую щеку, ответил не сразу:

— Думаю, с садом ничего не получится.

— Почему не получится? — удивился Трубин. — Копайся себе. Воздух, зелень, вода — рай, одним словом.

Петрович покусал своими железными зубами серые губы, усмехнулся:

— Она, знаешь, и тюрьма крепкая, да никто туда не идет. Дай-ка еще одну твою вкусную закурю, — и, затянувшись, продолжал: — Знаешь, раньше лошади были шахтерские, под землей работали. Иные там и подыхали, а иных, вроде за ненадобностью, наверх выводили, вроде на заслуженный отдых. Так вот. Выведут ее, она от солнца ошалеет и помирает. Так и я: привык всю жизнь на заводе майнать, и выведи меня в твой этот самый рай — я сразу и того, — мотнул он головой. — К раю тоже привычку надо иметь, а я уже прирос здесь и без всего этого, — развел он руками, — сразу и заскучаю. Так что я уж все обдумал: на пенсию пойду, к сыновьям съезжу, а потом снова сюда. Пригожусь еще.

— Да-а-а, протянул Трубин. — Время-а-а... Я вот тоже вроде недавно на завод пришел, а посчитать... семнадцать лет уж тут.

— Ну-у, заплакал, — поднимаясь, засмеялся Петрович. — Ты еще, как юбилейный рубль. Блестишь. Лет сорок всего?

— Да.

— Ну, пойду, — тодал он Трубину легкую холодную руку. — А протяжные мы переделаем. Будь уверен.

— Матвеевне от меня привет передавай, — вспомнил Трубин.

Старик ушел, а Трубин сидел, обхватив большую свою голову, и вздыхал и думал: «Эх, старина, молодец ты, старина, все бы такие были, как бы работалось хорошо... Веку бы надо таким людям прибавлять. А у них его отнимали: и войной, и голодными годами, и работой такой. Все они на своей шкуре испытали, а не озлобились, добрее стали и честнее. Сколько вот, вот уже сколько лет его знаю, а чтоб хоть раз увидел его без дела... Было? Нет, не видел. В выходной надо выйти — выйдет, остаться надо после смены — останется. Сам останется, просить не надо. Сам нужду видит. И на станок стать в конце месяца — станет. И ни слова никогда. Знает — нужда. И слов ему никаких не надо. Да и чего я ему могу объяснить — он сам мне все объяснить и втолковать может. Его цех. Когда-то еще мой будет, а сейчас его. Без громких слов его».

И путались мысли Трубина, и уже неизвестно, о ком он думал: то ли о Петровиче, то ли об умершем в прошлом году отце.

Вышел Трубин из заводских ворот в половине восьмого, когда уже густо засинело вокруг, хотя темноты еще и не было. Он перешел пустынную площадь и остановился на тротуаре возле газетного киоска. Какой-то приятный знакомый запах учуял он и завертел головой, шумно втягивая воздух, и наконец понял, что тревожит его дымок, тот, что тянется жидкой светлой струйкой из огромной каменной урны. «Бумага горит, — подумал Трубин, — а пахнет костериком. Ну, прямо костериком пахнет, и все». Он постоял еще немного, прижмутив глаза, сладко и шумно тянул в себя этот дымок и кряхтел от удовольствия. Но потом он вдруг увидел себя со стороны: стоит посреди тротуара толстый мужик, и сопит носом, и чмокает губами, и башкой вертит, и в урну заглядывает; увидел и рассмеялся и пошел прочь.

Возле шумной и по-вечернему принаряженной троллейбусной остановки Трубин даже не замедлил шага. Он предпочитал пройти свои две остановки пешком. По утрам он ездил: спешил, а вечером шел пешком. Эти пятнадцать — двадцать минут были его личным временем. Это

были единственные минуты в сутках, когда он оставался один. Дома были жена и дети, хорошая жена и хорошие дети, на работе была работа, а здесь был только он — не муж, не отец, не начальник, не подчиненный, не вечно спешащий работяга, а просто Дмитрий Трубин — независимый, ничейный и неторопливый человек. И в эти минуты Трубин становился другим. Он становился веселее и легче. Он шел и глядел по сторонам, и все видел, и всему удивлялся.

Вот недавно он, например, заметил, что женщины стали красить губы какой-то очень светлой помадой. И она очень не идет им. Рот казался недавно обожженным. Словно обгорела старая кожа и слезла, а новая, свежая, неприятно резала глаза. «Некрасиво», — подумал тогда Трубин. А вчера он стоял минут пять возле витрины «Детского мира». Там, за стеклом, висели детские рисунки. Акварельные, карандашные. Космонавты, салюты, улицы. Одинаковые своей радостной непохожестью. А среди них был портрет. Да никакой не портрет, а просто серокарандашный рисунок. Совершенно неумелый: руки — палки, ноги — палки, голова — круг. А вот глаза были черт те какие. Человеческие глаза. Да не обыкновенного человека. Странно, как сумела эта шестилетняя Саша Торлова (под рисунком подпись была) нарисовать такое. Странно и удивительно. Трубин вчера домой пришел и перебрал все рисунки своих детей, но ничего похожего не было. И сегодня, вспомнив об этом рисунке, он даже чуть прибавил шаг, торопясь к нему. Но возле магазина, перечеркнувшего чуть не целый квартал своей неоновой надписью «Гастроном», Трубин замедлил шаг. Здесь было шумно, людно. У магазина было три входа: от первого пахло селедкой и плохим вином, и подвыпившие мужчины настойчиво приглашали «строить»; ко второму устремлялись женщины и выбирались оттуда, нагруженные пузатенькими молочными бутылками и снедью; для Трубина же существовал третий. Уже от самого порога принимал в себя Трубин крепкий запах молотого кофе, дразнящий ванильный дух тортов и конфет и еле различимый запах табака. Иногда он покупал сигареты или сладости, но чаще просто ходил по залу, глазел на людей, и глубоко тянул в себя этот праздничный воздух, и завидовал девчонкам в синих халатиках, которые живут здесь с утра до ночи.

Но пора было идти домой. И он ушел.

Он звонил у двери и слышал, как бежит ему открывать

Витька и как он возится с замком, отталкивая мать, и бормочет: «Я сам, я сам». Открыв дверь, сын тотчас ухватил Трубина за руку и потащил в гостиную.

— Быстрее, быстрее! Я уезжаю! Уже машина заведенная.

— Погоди,— остановил его отец.— Дай раздеться.

— Ну, скорей. А во дворе мальчишки голубю оторвали голову. И он теперь летать не может. А у Игоря отец летчик.

— У какого Игоря?

— Ну, у нашего. А еще...

И еще, и еще, и еще. Трубин иногда удивлялся: как в маленькой Витькиной головке умещается столько всякой всячины: от сказки, прочитанной ему в детсаде, до грязного слова, услышанного от какого-то дядьки.

Часам к десяти ребятня уgomонилась. Трубин сидел у стола, оборачивая дочкины учебники толстой бумагой, и иногда смотрел на жену, которая сегодня была не в настроении. Он не затрагивал ее, он ждал. Но жена все ходила по комнатам, возилась на кухне и молчала. И от этого молчанья Трубину было не по себе. Он знал, что в душе она и ругает его, и стыдит, и ему казалось даже, что он слышит ее слова, укоряющие, всегдашние.

— Что случилось? Чего надутая ходишь?— не выдержал наконец Трубин.

— Ничего не случилось,— холодно отрезала жена, но вдруг, бросив на стол тряпку, которой она вытирала пыль, шагнула к мужу, села в ноги его на низенькую скамеечку и попросила жалобно:— Митя, ну уйди ты с завода, уйди...

И в глазах ее были и мольба, и слезы.

— Ну, что, что опять стряслось?— Трубин отвел взгляд от жены, потому что он лгал, спрашивая: он все знал. Пусть не сегодняшнее, но главное-то он знал.

— Ну, что стряслось?— повторил он.

— Опять я сегодня с Таней на лечебную гимнастику не успела,— шмыгнула жена носом и вытерла глаза рукой.— Пришла, а они уже почти кончили. С работы бежала, а в магазине мясо, и очередь вроде небольшая была, а вот... опоздала. Врачиха меня выругала, а потом сказала, чтобы мы Таню в какой-нибудь спортивный кружок записали, лучше в гимнастику. И вообще, Митя, я забегалась...

Она примолкла, прижавшись к его ногам.

В детской заворочался и забормотал что-то Витька, и жена хотела вскочить, но Трубин остановил ее.

— Я сам.— Он подошел к кровати. Сын ворочался,

дергал ручонками застрявшее под ним одеяло. Но, почувствовав руку отца, успокоился, приоткрыл на мгновение глаза и, уже снова засыпая, пробормотал скороговоркой:

— Голову мальчишки голубю оторвали, не летает теперь,— и засопел ровно, спокойно.

Через открытую дверь Трубин видел тень жены, она была так же неподвижна, как и тень кресла, стоявшего рядом. Надо было идти. Туда. К жене. Но Трубин стоял у Витькиной кровати. Какая-то детская надежда не оставляла его: может быть, сейчас жена уйдет, ляжет спать, а он посидит еще, читая. И все обойдется, сегодня разговора не будет. Трубину не нужен был этот разговор, потому что он все знал, и знал, что жена говорит правду. Она забегалась. У нее тоже была работа, да еще надо было и сына забрать из садика, и купить, и сготовить что-нибудь, и убрать, и трижды в неделю сходить с Танюшей в поликлинику на лечебную гимнастику, и помочь дочке уроки приготовить. Ей все нужно делать одной. А он уходил на работу и приходил в восемь, в девять, в десять, в одиннадцать — когда как. Иногда случалось, что жена и не видела его, он заставал ее спящей. И выходными днями он их не баловал: в выходные дни самая работа: перестановка оборудования, переналадка, монтаж. Да мало ли чего. Вот и получалось: никудышный он, Трубин, семьянин. Дрянной.

Она просила его перейти в какой-нибудь проектный институт или в контору какую-нибудь, чтобы работа была от и до. Трубин говорил ей: «Подожди. Вот дадут нам хорошую квартиру, и тогда...» Жена замолкала: квартира была нужна. В однокомнатной не развернешься. Потом они переехали в большую трехкомнатную квартиру. Жена снова принялась за свое. «Подожди,— успокаивал ее Трубин,— неудобно. Вот скажут, только и работал из-за квартир. Дали ему, а он бежать. Годик хоть поработать, а потом...» Вот до сего дня это «потом» и длится. Уже вон Витька какой большой стал...

— Что там?— обеспокоенно спросила жена.— Жар у него?

— Нет,— ответил Трубин, выходя к ней.

Он снова уселся в кресло, а жена спросила его:

— Я не понимаю, за что ты любишь ее, свою работу?

— Люблю?— криво усмехнулся Трубин и заворочался в кресле, скрипя пружинами.— Черти пусть ее любят... как собака палку я ее люблю. Придумаешь тоже.

— Ну, так в чем же тогда дело...— жена утопила голову в острых плечах и застыла в этой неестественной позе, и на лице ее, узком и белом, удивленно блестели серые глаза и растерянно похлопывали светлые короткие реснички.— В чем же дело? Наверно, просто ты... сидень. Боишься стронуться с места. Куда тебя жизнь сунула, ты и сидишь.

— Ну, не совсем так,— выдавил из себя Трубин.— Я, конечно, не против уйти, да, знаешь, положение сейчас такое... Трудно. Неудобно в такой момент.

— Да у вас на заводе всегда трудно. Перед заводом тебе неудобно, а вот перед семьей... передо мной, перед детьми... Они растут, им отец нужен. И не только кормилец... Мне не надо твоих ста восьмидесяти. Пусть сто двадцать, пусть сто... Вот так...— голос ее дрогнул.— Мне муж нужен. Вот так,— и она прикрыла глаза, и нижняя губа ее выпятилась, и Трубин понял, что она сейчас заплачет. И, испугавшись этих неприятных для него слез и своей беспомощности перед ними, он погладил ее по вздрагивающему плечу и сказал то единственное, что могло ее успокоить и в то же время не было ложью.

— Я понимаю. Я сам понимаю, что так нельзя. И я... я обещаю тебе подумать и... и что-то сделать. Я сегодня же, вот сейчас сяду и подумаю.

— Тебе не надо садиться. Ты уже сидишь. Вот сиди и думай. И пока не придумаешь — не вставай. Ладно? И потом скажи мне все. Я должна знать. Ты взрослый человек...— она хотела еще что-то сказать, но голос ее снова дрогнул, и она быстро пошла в спальню.

Трубин понимал, что там, в спальне, она сейчас заплачет, но этих слез он не видел и потому мог думать о них спокойно: «Ничего: поплачет и заснет. А я буду думать».

Но, странное дело, как только приказал он себе думать, ничем не отвлекаться и думать, так сразу же неодолимо захотелось ему посмотреть, что показывает телевизор. Поерзав в кресле, Трубин потянулся к листку телепрограммы и взял его в руки, а узнав, что сейчас транслируют хоккейный матч, даже охнул от огорчения, хотя обычно был равнодушен к подобным вещам. Но и сейчас его так и подмывало повернуть выключатель, и он даже оглянулся на дверь спальни — не смотрит ли жена — и привстал в кресле, но в последний момент пересилил себя. И книга, что лежала рядом с ним, вдруг показалась такой интересной и нужной, что смертным грехом было бы не взять ее сейчас в руки,

не почитать. Он перелистал книжные лощеные странички. Названия главок разжигали его любопытство: «Значение измерений в программе бездефектности», «Оценка показателей индивидуальной работы», «Координация специальных мероприятий». Но и книгу пришлось отложить, с опаской оглянувшись на дверь спальни.

В конце концов Трубин разозлился. «Вот тоже умная! — обругал он жену. — Сама спать пошла, а здесь сиди, думай. А я, может, не могу думать один. Вместе бы посидели и решили. А один я не могу».

Но, закрыв глаза и успокоившись, он трезво и холодно подумал: «А если без дураков и не ребячиться. Ведь в конце концов надо решить что-то. Затем играть в прятки. Ведь это же я. И мои Витька с Таней, и моя жена — все это я. И моя работа — это тоже я. И разбираться надо мне».

И вот тогда он потушил свет, лег на диван и не боялся, что уснет...

«Действительно, люблю ли я свою работу? Какой нормальный человек может любить такое сумасшествие: тебя ругают каждый день, и ты тоже; с утра до ночи беготня, и из-за дела, и просто из-за того, что кто-то не сработал, а ты вылизываешь за ним... полдня выбиваешь какой-то несчастный подшипник; с пеной у рта доказываешь в ОТЗ, что слесарю Иванову нужно повысить разряд, иначе он уйдет, — им-то все равно, а тебе этот человек нужен, — вертишься как белка в колесе, и знаешь, что занимаешься чаще всего не своим делом, не своей специальностью, а сведением концов с концами, слепливанием их на живую нитку».

Нет, свою работу Трубин не любил. Слишком редкими были в ней минуты удовлетворения, те благостные лавры, которыми дарит судьба всякий черный труд. Когда было радоваться? В последний день каждого месяца, когда цех все-таки выполнял план? Нет, Трубин ясно видел, как давалось это выполнение. С криком, с кровью, с «давай-давай», с искажением всех элементарных инженерных и просто человеческих истин. Такой порядок был ему ненавистен, но он не мог отрицать его необходимости, потому что не в силах был изменить его. И Трубин ясно понимал, что появившись вдруг такая возможность — и он поднял бы руки вверх: он честно признавал — не его голове управиться с этой производственной какофонией. Он был умен и нужен лишь как один из оркестрантов этого сумасшедшего оркестра, но стать за пульт и скомандовать оркестру: «Молчи!» и дви-

жением руки начать новую музыку, стройную и ясную, он был не в силах.

Так когда же он радовался в работе? Может быть, когда пускали новый станок или линию? Нет. Он облегченно вздыхал в такие минуты: «Гора с плеч. За это уже втыка не будет», — и тотчас же его захватывали другие дела, большие и малые, но все одинаково неотложные. И так день за днем, день за днем, без перемены.

Нет, не любил он свой труд и нес его как бремя.

«А раз так, — думал Трубин, — то почему бы мне и вправду не уйти с завода. Меня ведь приглашали в институт. И сейчас возьмут. Я ведь уйду туда работать, а не валять ваньку. И польза от меня будет — это факт. Но там нормированный день, и я буду видеть детей.

А то ведь и не заметишь, как упустишь их. Им нужен не только кормилец, но и отец, который может что-то растолковать, в чем-то поддержать. Говорят: дети должны прожить свою жизнь, свою! Со своими ошибками, со своими синяками. Со своими. Это верно. Но не с нашими! Грош цена мне, отцу, если мой сын будет биться в ту же дверь, что и я бился. Я голову расшиб, пока узнал, что за этой дверью пусто и идти надо не туда. Так пусть сын другую дверь пробует, а про свою я ему должен втолковать, чтобы он времени зря не терял. Отцы и дети? Господи. Да ведь все мы — люди и на земле живем. Просто не находим мы времени с ними говорить по-человечески. Понять их не успеваем. Нам же все быстрее, быстрее. За десять минут успеваем и отметки узнать, и дела, и планы, и настроения. Все нам некогда. И оправдываем себя: дескать, все для них, для наших детей стараемся, для нашего будущего. А им не только хлеб нужен».

В детской спальне заворочался и забормотал Витька. Трубин подошел к нему, положил свою большую руку на его голову. Сын не успокаивался, бормотал что-то.

— Ну, что ты, сына, что? — шепотом спросил Трубин.

— Зачем голубю голову оторвали, не летает теперь... Мальчишки оторвали, — бормотал Витька сонно, и худое, теплое, тростиночное тело его व्यюном билось под рукой у отца.

— Спи, сына, спи... Завтра мы мальчишек поругаем и голубя найдем.

— Не летает... теперь... — прошелестел и замолк сын.

Трубин постоял еще немного, а потом пошел на кухню, открыл форточку и закурил.

Он стоял в темноте, тяжелый, угрюмый, и глядел на темные соты соседнего дома. Там спали люди, и Трубин завидовал им.

Утром он сказал жене:

— Ты права. Сегодня потолкую с начальником.

— Митя, только подтверже. Решил — значит, подтверже, — ласково и осторожно попросила жена.

— Ладно, — нетерпеливо перебил ее Трубин и тяжело пошел к выходу.

На улицах было еще пустынно, и в троллейбусе всем мест хватало, и через заводские проходные сочились тощие струйки людей.

А в заводе утренней сонливости не было: разработанными дневными голосами говорили цеха, сновали в проездах автомобильчики и автокары, паровоз с сипом тянул платформы, уставленные свеженькими лобастыми тракторами.

У ворот сборочного цеха Трубин приостановился, уступая дорогу скатившемуся с конвейера трактору. Новорожденный вел себя как все новорожденные. Он истошно вопил, стоя на месте, будто ошарашенный новым для него светлым миром. Но через мгновение младенец огляделся, приглушил свой восторженный голос и весело поскакал к стаду своих собратьев, что сгрудились возле «обкатки».

Трубин поглядел ему вслед и пошел к себе.

Желтый душноватый воздух цеха был напоен масляной гарью, запахом горячего железа, пара. Потолочные лампы купались в дымных облаках. Потно поблескивали крашенные тела станков. И всполошенно трезвонил колокол мостового крана, с трудом перекрикивая сбитый воедино сотнеголосый вопль цеха.

И будто какой-то выключатель щелкнул в Трубине, и отбил ему память ко всему, что осталось за порогом цеха. и приказал, словно одному из этих сотен станков, приказал делать свое дело.

В мастерской электриков было тихо. За столом сидя подремывал дежурный. Трубин осторожно потянул из-под его рук журнал. Дежурный поднял голову.

— Здравствуйте, Дмитрий Павлович, — и начал, побряхывая, тереть занемевшую, придавленную головой руку.

— Ну как, порядок? — спросил Трубин, не отрывая глаз от журнала.

— Да ничего. Протяжной только стоит на кронштейне. Мотор сгорел. Заменить-то есть чем, да шпонка разбита. А руками-то ее не сделаешь, здоровая.

— А в запасе нет?

— Какой запас, Дмитрий Палыч,— махнул рукой дежурный, и костистое веснушчатое лицо его с особенно яркими веснушками на бледной коже носа сморщилось презрительно.

— Ну ладно, доброго отдыха,— поднялся Трубин и пошел к выходу. В дверях он столкнулся с энергетиком цеха Харабаровым.

Ростом бог Харабарова не обидел: голову нужно было задираТЬ, когда с ним говоришь, что тотчас же и сделал Трубин, спрашивая:

— Почему у тебя шпонок в запасе нет? Станок стоит из-за шпонки. Стыд.

— Не знаю, кому стыд,— вздохнув, задрал и без того далекую от Трубина голову Харабаров.— Я механику месяц назад заказ давал. А он: завтра, завтра, и до сих пор.

— А ты и успокоился. Молодец!— отрывисто бросил Трубин.— Вот если б тебе зарплату не дали, ты бы нашел концы. Выбил бы. А вот шпонки несчастные добыть не можешь.

— Но ведь, Дмитрий Павлович,— глядя поверх головы Трубина, рассуждал Харабаров.— Существует определенный порядок...

— Нету порядку,— оборвал его Трубин.— Вот когда будет, тогда все будет по первой бумажечке делаться. А пока... В общем, чтоб на той неделе шпонки больших размеров были в запасе. Зайди в отдел снабжения, может, они готовые лежат, ждут тебя. В общем, не проблема шпонки. Вот так,— проговорил он, глядя в подбородок Харабарову и злясь оттого, что не может заглянуть этому человеку в глаза и понять, что там: согласие, обида или сплошное безразличие.

А из слесарной мастерской Трубин выскочил как ошпаренный. Он почти бежал к третьему участку, неловко перелезал через груды деталей, оскальзывался на замасленном полу, здоровался на ходу и бежал. И, увидев мастера Алешу Сибирякова, еще издали закричал ему, хотя знал, что в плотногрохочущем цехе не будет слышно его голоса, но все равно не сдержался и закричал:

— Доигрались, Алексей Васильевич, доигрались?!

Алеша Сибиряков, молодой парень с пшеничными усами, увидев спешащего к нему Трубина и злое лицо его и открытый в крике рот, глубже натянул кожаную щегольскую фуражечку и принялся суетливо вытирать ветошью уже вытертые руки.

— Что, доигрались?!— крикнул Трубин, подбежав.— Я сколько раз говорил: проверяйте, проверяйте и проверяйте!

Последнее слово Трубин крикнул так громко, что рабочий, убиравший станок, повертел головой и сочувственно подмигнул мастеру.

Но Сибирякову было не до моргушек. Шоркая ветошью по уже чистым рукам, он говорил:

— Дмитрий Павлович, я проверял. Все время проверял. А здесь второй день сталефасонка шкивы не подает по-человечески. Идешь туда, контролера прямо за шиворот держишь, чтоб разбраковку делал, и сам везешь. Вот и получилось так.

— Алексей Васильевич,— сочно и значительно проговорил Трубин,— что вы меня пытаетесь разжалобить. Дета-а-лей не дают,— и широкое полное лицо его искорежила не то насмешка, не то обида.— Так ведь их почти каждый день плохо подают. Что ж, теперь можно станки гробить? Ведь это не за день и не за два маслопровод грязью зарос. Ох, Алексей Васильевич...— пробормотал уже по инерции Трубин, и лицо его стало обыденно спокойным, потому что забыл он уже про мастера Алешу, а думал лишь об одном: что делать с гидроголовкой? или где достать ее?

Он шагнул было от мастера, да не вовремя попалась ему грудa «стаканов» под ноги. Трубин остановился и на «стаканы» смотрел-смотрел, щурил глаза, дергал себя за мочку большого мясистого уха, словно пытаясь понять: что это перед ним. И наконец понял и спросил:

— Почему не отправлены?

— Внутренняя плоскость нечисто отфрезерована. Волнистость.

— Почему?

— Фрезы плохие.

— Ну, господи,— скорее не рассердился, а расгерьлся Трубин,— что, разве в инструменталке фрез нет? Я не понимаю.

— А они все там такие, уж меняли-меняли...

— Ну, а в других-то сменах как же?..

— В других, в других!— обозлился Алеша и швырнул в сторону ветошь, которой дотоле руки были заняты.— Я и сам целую неделю контролера уламывал да уговаривал. А сегодня она уперлась — и ни в какую.

— А ты говорил кому про фрезы?

— Я Ухову каждый день говорю, а он: другие не жалуются, один ты, мол, привередничаешь. А я не могу!—

сорвался вдруг на петушиный крик Алеша.— Я еще не могу, как другие, на контролера жать!

— Учись,— пожал плечами Трубин.

— А я не хочу этому учиться! Разве ценность мастера пропорциональна площади раскрываемого рта? А? Скажите, Дмитрий Павлович?— Глаза Алеши были злы.

— Какого мастера,— усмехнулся Трубин.— Не хочешь жать на контролера — жми на себя. Докажи, что фрезы плохие, добьемся других. Но деталь, дета-а-ль,— протянул Трубин значительно и пальцем Алеше погрозил,— сборке дай. Ей, брат, безразлично, чем ты берешь — площадью рта или мозга. Ей деталь дай, вот так. Ее наши этические проблемы не интересуют. Ей нужен результат. Вот так. Ну, ладно,— вспомнил он про головку,— со «стаканами» сходи к Казарину, у него площадь хорошая, сдаст. А вот за станок мы с тебя спросим. Это же надо так безответственно...— и с трудом оборвав себя, потому что снова поднимался в нем гнев, от которого дело-то в конце концов не двигалось, Трубин ушел.

День заваривался крутой. Только к десяти попал Трубин к себе в кабинет, наскоро просмотрел дефектные ведомости, одну из них отложил и глядел на нее с понимающей усмешкой, качал белой своей головой, толстыми губами чмокал и думал: «О-хо-хо, добрый ты человек, Летунин, ох какой добрый. Сорок фланцев козе под хвост. Пушкин, видите ли, в браке виноват и господь бог. А Летунин — добрый, он рабочего не обидит. Дефектную ведомость вот написал. Отец родной, душа-человек Летунин. И не подпиши — опять Летунин добрый, он не хотел рабочего без зарплаты оставить, а Трубин — подлец и жила — все испортил, не подписал».

Трубин закурил и, дунув струей дыма в лист бумажки, сообщил ей: «Вот так-то. Не пролезет. И ты, уважаемый Летунин, тоже по карману получишь за такие номера. Это я тебе твердо обещаю», — и, припечатав бумажки к столу тяжелой ладонью, поднялся.

— Можно, Дмитрий Павлович?— заглянул в дверь Эдик.— Я вот папочку вашу принес,— и усмехнулся, и, чтобы спрятать усмешку, нагнул голову, показывая Трубину аккуратную прическу.

— А-а-а... Давай. Читал?

— Читал.

— Ну и...

— Веселого мало. Лают, дай бог... Да что толку ругать,—

вскинул Эдик лобастую свою голову.— Ругать всякий может. Пришли бы поработать! Я б на них посмотрел!

— А они работают. Ты помнишь письмо того паренька, который новый трактор получил? Из Казахстана.

— Да,— сразу остыл Эдик.— Там он нам по первое число врезал,— и заторопился:— Ну я побегу, Дмитрий Палыч.— И, выбежав уже за дверь, вдруг вернулся и, не переступая порога, спросил Трубина:— Дмитрий Павлович, а вам вот за эту папочку не пришьют чего-нибудь? А? Очернительство... Ведь у нас все больше достижениями велят гордиться.

— Что?— не сразу понял его Трубин, а поняв, протянул огорченно:— Здра-а-встуй, милый... Вот ты как меня понял...

— Да я-то понял вас, Дмитрий Павлович, понял,— торопливо перебил его Эдик и даже к Трубину через порог шагнул,— я-то знаю, что вы пожизненно заводской. А вот другие...

— А другие не глупее нас.

— Не глупей-то не глупей,— упрямо в глаза Трубину посмотрел Эдик, махнул рукой.— Ладно!— и ушел.

Трубину тоже идти надо было. Он слышал, как по коридору люди идут, на «рапорт» собираются, но он стоял. Оперся о дверной косяк и стоял. Не думал он о той глупости, что сморозил сейчас Эдик, а совсем другое у него в голове было. Пытался он представить, что скажет этот самый Эдик, когда узнает, что он — Трубин — с завода ушел. «Пожизненно заводской» — похвала это или ругательство? Обязательно ведь вспомнит он про эту мою папочку и, наверное, криво усмехнется: «Вот, дескать, мужик был, строил из себя черт те кого, боли заводские собирал, за свои их выдавал».

«И никого я из себя не строю. Не приучен. А ухожу с завода, потому что невозможно мне дальше здесь быть! Невозможно. У меня жена мучается, и Эдики свои растут. Вот так».

И, толкнув дверь, он вышел из кабинета, насупившись, поглядел по коридору в одну и другую стороны, словно увидеть хотел того человека, который его черт те в чем обвинял. Но в коридоре было пустынно. И Трубин, заложив руки за спину, пошагал к начальнику и людей мимо проходящих не видел.

И на «рапорте» он сидел нахохленно, пофыркивал да побряхтывал и все думал.

— Что это вы, Дмитрий Павлович, как столетний дед, стонете,— шепнул ему сидевший рядом начальник БИХа Кузнецов.

— А я и есть дед,— ответил Трубин,— лысый и седой,— погладил он свою плешь,— да и дочери целых восемь лет. Невеста.

И снова тяжело завздохнул и забыл, что хотел на этого самого белобрысого и слишком веселого Кузнецова «полкана спустить».

И он остался сидеть, когда все разошлись. По-бабьи рукой подпер мягкую щеку, так что глаз почти закрылся, и сидел.

— Зуб, что ли, у тебя болит, Дмитрий Павлович?— спросил у Трубина начальник цеха.— Сидишь, молчишь, вздыхаешь.

Решительно поднявшись, Трубин подошел к начальнику, расстегнул на себе куртку и у рубахи две верхние пуговицы расстегнул, так что обнажилась его белая грудь с неожиданно рыжими и, не в пример голове, густыми волосами, и сказал, страдальчески морщась и глядя в сторону:

— Знаешь, Анатолий Васильевич, только ты меня не уговаривай. Не уговаривай и моралей мне не читай. Я — не мальчик. И не с бухты-барахты я. Я же обдумал все. Нельзя.— Он сел за стол и почти лег на него и, глядя на начальника виноватыми и жалобными глазами, проговорил: — Была бы другая возможность, я бы разве стал.

— О чем ты?— спросил начальник.

Трубин путано, сбивчиво и горячо рассказал ему все: и о жене, и о дочке, и о ее болезни, и об отметках, и о кружке спортивном, и о Витьке, и даже о голубе, и о своих ночных мыслях.

И, замолчав, опустил голову, начал бессмысленно водить пальцем по черному дерматину стола.

— Значит, хочешь уходить,— не то спросил, не то утвердился в мыслях начальник.

— Ты пойми меня правильно,— снова сорвался в галоп Трубин,— я вот недавно встретил однокашника. Вместе институт кончали, вместе на завод пришли. Он год проработал — и ходу. В институт пошел. А сейчас диссертацию защитил. Кандидат. А дуб порядочный. Но ты не думай, не думай!— перегнулся он через стол.— Не думай, что я ему очень-то позавидовал. Нет,— мотнул он решительно головой.— Нет. Я на него посмотрел, хороший он, ухоженный.

Да дело-то не в этом. Он свое искал, а я свое делал. Де-елал. Впрягся и...

И вдруг трезвая мысль пришла в голову Трубину: «Чего это я все говорю, говорю, говорю. Вроде оправдываюсь, что ли? Цену себе набиваю».

Трубин умолк и долго прикуривал. Прикуривал и исподлобья наблюдал за начальником: тот снимал свои, в золоченой оправе, очки, вертел их в руках, и обнаженные глаза его становились большими и мягкими, а когда очки усаживались на место, то глаза мгновенно преображались: маленькие, холодные, пронзительные.

— Ну и что? — спросил начальник и улыбнулся, и снова снял очки, и, глядя на Трубина мягко и укоризненно, смешком проговорил: — Вылился? Что случилось? Из-за чего ты сорвался?

— Как что случилось? — вскинулся Трубин. — Я же сказал тебе.

— Значит, ты серьезно?

— Вполне, — отрезал Трубин.

Начальник снова надел очки и сказал:

— Вот ты как проявился. Интересно. Теперь я вспоминаю и сопоставляю. Вспоминаю твой отказ принять цех. И прозревать начинаю.

— Это другая тема.

— Почему другая, это все вместе.

— Не сейчас об этом говорить.

— Ведь ты уже уходишь. Давай откровенно и поговорим напоследок.

— Да я же об этом сто раз говорил, — отвернулся и уперся взглядом в пол Трубин. — Цех я не хотел принимать, потому что это — не мое дело. Я — механик, администратор из меня дерьмовый. Тебе ли это объяснять.

— А как же...

— А вот так же, как и раньше! — разозлился Трубин. — Как и год назад, как пять лет назад! Впрочем, тогда тебя не было.

— Я помню. Ты не был оригиналом и говорил как и другие: слаб, не подготовлен и прочее.

— Не знаю, как другие, а у меня именно так.

— Ну, да. И я должен этому верить? — усмехнулся начальник. — А не тому, что с поста начальника цеха труднее уйти, и ты, предвидев сегодняшний день, не хотел лишней преграды.

Трубин замер на стуле, не позволяя себе ни шевель-

нуться, ни рта раскрыть. Он сидел так, неподвижной мумией, недолго, а когда потом поднялся и пошел к окну, то на лице, обычно бледноватом, с коричневыми серпами подглазй, была разлита какая-то болезненная желтизна. Он раскрыл окно, вздохнул глубоко холодный воздух, напоенный дымной горечью чугунолитейки, стоявшей напротив, и сказал не зло, а даже мягко, с удивленной насмешкой:

— Зря все-таки, я считаю, дуэли отменили. Это был выход. Ты вот меня сейчас... — он подумал, и не нашел слова, и просто цокнул языком. — А я тебе что? Дураком тебя назвать — неправда. Ты — мужик умный. Ударить тебя — смешно как-то. Да и не получится, наверное. Хлопнуть дверью и уйти — опять вроде ты прав, раз я сбежал. А такие слова... Это хорошо, что я ухожу, — вздохнул он. — Я с тобой теперь работать не смог бы.

— Ты что, всерьез обиделся? — поднялся начальник и подошел к Трубину, снял очки и принялся протирать их.

— Хм, обиделся? Нет. Если это правда, то чего на нее обижаться. А коли неправда, то тут обидой не отделаешься. Ну, я пошел, — двинулся он к двери. — Считаю, что я тебя предупредил. Будешь сегодня у Шаликовского, скажи ему, — и ушел.

Он постоял возле своего кабинета, а потом медленно спустился в цех.

Там было тихо — обеденный перерыв. Только ровно гудели трудяги-вентиляторы, да сипел и свистел сжатый воздух, да где-то совсем рядом поцвиркивал сверчок. Тихо было в цехе. А стук костяшек домино да редкий говор еще более подчеркивали эту столь непривычную тишину.

Трубин медленно и бесцельно побрел между станками. Ему вдруг пришло в голову, что через какое-то время, пусть не сегодня, не завтра, но очень скоро, все это: и цех, и станки, и люди — станет для него чужим. Трубин остановился: его очень удивило, даже поразило это открытие.

«В самом деле, — подумал он, — вот эта линия ведущей шестерни. Это же обыкновенная, средненькая, не очень удачная линия для каждого, кто на нее посмотрит. Это для меня она — любимое дитя, потому что первой была в цехе, а без нее какая мука была, да и с ней мы помаялись, пока пустили. А этот — четырехшпиндельный...»

— Чушь, чушь, — пробормотал Трубин вслух. — Чушь,

сентименты. Еще начну сейчас целоваться с этими железками, мало они крови у меня попили.

И, выпрямившись, Трубин быстро пошел назад.

«Привычка,—думал он,— просто привычка. Собака и так цепи своей привыкает». Но где-то в глубине души он понимал неправду этой своей мысли и ее браваду и, понимая, злился на себя. И потому, когда увидел перед собой Трубин мастера Алешу Сибирякова, то сразу решил вспомнить утреннее, отругать Алешу хорошенько. Но он себя переборол и спросил почти спокойно, может быть, чуть грубовато:

— Чего, Алексей Васильевич, домой не идете?

— Да фрезы эти проклятые смотрел,— потупился Алеша,— думал, может... А оказывается...

— Выходит, нормальные?

— Да.

— Материал «стакана»?

— Нормальный.

— Значит,— прижмурился Трубин и дернул себя за ухо.— А что же, значит... а? А это значит, что я технолога подклячу. Вот с ним и будете разбираться. Идет?

Алеша молча кивнул головой.

— Ну и добро. Приспособление проверьте тщательней. До завтра.

Алеша пошел к выходу. Походка у него была легкой, будто и не было позади изнурительной ночной да и дневной маеты. И Трубин, глядя на Алешу, приосанился, животик убрал и шел как-то неестественно, словно крадучись; и ему казалось, что походка у него так же легка и красива, как и у Алеши.

Зазвонил телефон. Дмитрий Павлович взял трубку.

— Здравствуй,— послышалось в ней,— с тебя причитається. Вопрос с линией головки решен окончательно в вашу пользу. Мелочовку передаете Бурдину. Ясно? Так что теперь место есть, разворачивайтесь.

— Добро-о-о-о,— удовлетворенно промычал Трубин, а отойдя от стола, расхохотался. Еще бы не радоваться, ведь целый год лежит эта линия. Автоматическая линия головки. Лежит, а ставить ее некуда. И вот теперь, наконец...

Трубин шел к начальнику медленно и улыбался во весь рот: полное лицо его округлилось еще более, а пушистые белые волосы поднялись дыбом. Он здоровался со всеми

встречными чрезвычайно, необычно радостно; здоровался и улыбался, и долго жал руку.

А в кабинет начальника войдя, он остановился, на мгновение притушил радость, заговорщицки подмигнул, качнул головой в сторону и спросил:

— Звонили?

— Зво-онили,— ответил начальник и хохотнул мягко:— Хо-хо-хо, ох Бурдин сейчас беснуется. Позвонить, что ли,— и поперхнулся тихим тоненьким смехом и закашлял в кулак.

— Брось,— тоже рассмеявшись великодушно, махнул рукой Трубин.— Не трогай уж его.

Начальник встал, и они встретились с Трубиным на середине кабинета, как раз на той светлой солнечной полосе, что падала из окна. Здесь было тепло, и поднять глаза на солнце было нельзя: ярко уж очень.

Но они все равно лица к солнцу поднимали, жмурились и только что не мурлыкали от удовольствия.

Хорошо было на душе у Трубина: солнце, весна, а главное, конечно, линия. Сколько ждали ее. Сколько крови попорчено из-за этой проклятой головки, сколько сил она отнимает. Что ни говори, а деталь в цехе самая трудоемкая и самая капризная. И самая дефицитная. И по плану ее давай, и сверх плана. А теперь...

Конечно, Трубин прекрасно понимал, что не через месяц и не через два, а дай бог, чтобы через полгода-год вошла линия в строй. И знал он, что будет с ней ой-ой-ой сколько мороки, и муки, дневной и ночной, и не однажды еще будет матерно клясть он эту линию — все это он знал. Но сейчас он легко перешагивал через это время черной работы и видел тот день, когда пойдет по линии головка, одна за другой. И это будет, ясно же, что будет! Трубин знал это и оттого был счастлив.

— Ну, а как, Палыч,— осторожно спросил его начальник,— я так понимаю, что Шаликовскому про твой уход пока не говорить.

— Что? — не сразу понял Трубин.— А-а-а... Пока молчи, конечно, я же сейчас не побегу. А то ведь и работать не дадут, затаскают ведь по начальству,— и разом ушло от Трубина его счастливое настроение.

А тут как раз и солнце за тучи скрылось, и пропала яркая теплая полоса, резавшая кабинет с угла на угол. Стало вдруг зябко, и Трубин поежился, застегивая ворот рубашки, и сказал не столько начальнику, сколько себе:

— Что ж ты думаешь, что я сейчас брошу все на чьи-то руки и побегу? Так, конечно, не получится. Я вот прикинул,— прокашлялся он и начал загибать пальцы.— Значит, во-первых, добыть внутришлифовальный станок. Он же мой, так сказать. Да и осталось-то пересмотреть суппорта, жесткость увеличить. И с приспособлением там кое-что сделать.

— Ну, еще комбайновые детали,— подсказал начальник. Трубин покосился на него, подумал: «Я-то без тебя не знаю, политик».

— Ну, и комбайновые,— шумно вздохнул Трубин.

— Ну и...

— Ну и, ну и!— разозлился Трубин.— С твоим «ну и» я и до пенсии отсюда не выберусь. Еще вот с линией головки разберусь. Вот перетащим мелочовку Бурдину, начнем монтаж. Дело пойдет хорошо, так я, может, и дожидаться пуска не буду,— отвернулся он, сердито нахмурившись.— Вот тебе и все. Ну и... Ладно, я пошел, посмотрю, что нам дают для комбайновых...

И снова покатился день, такой же, как вчерашний, и такой же, как год назад, и такой же, как всегда. Только погода сегодня стояла настоящая весенняя. Проглядывало солнце, и сразу жарко становилось, и люди, выходящие по своим делам из цехов, обратно возвращаться не спешили. Стояли, курили, толковали о дачах, о лодках, о рыбалке.

И даже вечером, когда Трубин домой возвращался, было тепло. И на тротуарах тесно было, и во дворах, несмотря на темноту, «козлятники» сражались, и под фонарями весело скакали на одной ноге девочки в пальтишках нараспашку.

Трубин шел как всегда неспешно, и чем далее уходил он от завода, тем медленнее становился его шаг. Ему и хотелось домой, и не хотелось. Он представлял, как встретит его жена: она слова не скажет, но посмотрит так выразительно, что сразу придется выкладывать все или притворяться, воровато отводить глаза.

Он вошел в «Гастроном», в свой любимый отдел, но еще от входа почувствовал, что чего-то здесь сегодня не хватает. Он принюхался: пахло ванилью, сладким тестом и конфетами и ничем более. А там, где еще вчера на прилавке высился большой стеклянный конус, наполненный черными зернами кофе, там было пусто. И кофейной мельницы тоже не было. Трубин потоптался возле прилавка, хотел

спросить, где продают теперь кофе, но передумал и вышел на улицу.

«Еще не хватало, чтобы убрали ту девчонку, тот рисунок», — подумал он и заспешил.

Но рисунок висел на прежнем месте. Кудлатая девчоночка с несуразно большой головой и тонкими, спичечными руками-ногами глядела на Трубина так же диковато и так же пристально, словно хотела о чем-то спросить, да боялась.



О. Жуан

КОНЕЦ НЕДЕЛИ



Почная смена оставила неисправным тельфер, которым вешали на конвейер покраски крупное литье, и пока Антон Воробей бегал за электриками, а потом стоял у них над душой, оперативка началась. Открыл дверь кабинета начальника цеха с надеждой пристроиться у входа незамеченным, но, как на грех, в кабинете растеклось тяжелое молчание, места у двери не оказалось и пришлось топать по ковру прямо к столу.

Все присутствующие — человек двадцать мастеров, начальников служб и участков — с любопытством ждали, чем поприветствует его Шерементов за опоздание. Но Шерементов, начальник цеха, не повернул от окна головы. Что он там выглядывал каждый день — загадка. Ничего из окна, кроме цеховой столовой, не видно. Разве что неясные очертания белых халатов поварих и посудниц?

Тишина была знакомая и означала, что все выговорились, а сейчас заговорит он, Шерементов. К воплям и тычкам Сухоручко, заместителя по производству, давно привыкли, научились пропускать мимо ушей, огрызались или безадресно посмеивались, но когда поднимался вежливый и жестокий Шерементов с подергивающимися губами, мухи переставали жужжать.

За прошедшие сутки цех недобрал двадцать тонн годного литья, и не было среди покорно ожидающих обвинительного заключения человека, который сказал бы: «Не виновен». Воробей тоже чувствовал себя неудобно.

Вчера утром вышел из строя электромотор принудитель-

ной вентиляции, всю смену над участком висела земляная и наждачная пыль, и многие рабочие недобрали до нормы. Вроде не его вина, электромоторы — дело энергетика, но, как известно, важна не причина, а результат.

Однако начальник цеха не шевелился, будто вовсе не собирался говорить.

— Ну что ж...— вдруг усмехнулся Сухоручко.— Дадим слово опоздавшему или как?

— Дадим, дадим!..— зашевелились мастера.— Пусть скажет.

Неясное, однако, произошло шевеление — будто перед застольным тостом. «Вот мормоны,— подумал Воробей.— Обрадовались. Откупиться хотят. Ладно, сейчас я кое-кому...»

Он поднялся, откашлялся и почувствовал, как мышцы лица против воли принимают виноватое выражение. Знать бы, кто и о чем говорил до него, кого обвиняли и кто оправдывался, но ведь не спросишь...

— Вентиляцию надо ремонтировать!

Хотел для убедительности сообщить, сколько наждачницы наточили заготовок до того, как сломался электромотор, и сколько после, но все дружно засмеялись. Особенно радостно Монышев, мастер участка очистки.

— Чего ржешь?— сказал ему Воробей.— Твоих мужиков хоть из ворот обдувает, а мои бабы...

Засмеялись еще веселей. Обычно Шерементов и Сухоручко пресекали смешки, но тут и они улыбались, с удовольствием глядели на него. Только старший мастер Тимофей Иванович Гурзо беспокойно покусывал свою трубочку — не любил, когда кто-либо из подчиненных попадал впросак.

Да еще Зимогор не смеялся. Этот одним и тем же мучился на оперативках: «Вы тут ржете, языком молотите, а там, может...» Мало ли что может случиться за тридцать минут!

Воробей тупо уставился на мастеров.

— Мы, Антон, о дополнительной смене говорим,— сказал Гурзо.— На завтрашний день.

— А-а,— уразумел Воробей и сел.— Ясно. Приду.

— Он придет,— сообщил всем Сухоручко, будто перевел с немецкого.— Спасибо!

Опять рассмеялись. И ведь смешного не было ничего. И так всегда: самая заваливающая шутка, которую не заметил бы в другом месте, на оперативках вызывала дурацкий хохот.

Собственно, зловредным смех не был. Радовались не тому, что кто-то оказался глупей, а что произошла разрядка. Слишком много дополнительных смен было в последние месяцы, мастера начали роптать, сегодня, видно, тоже напряженным получился разговор, и вот — Сухоручко разрядил атмосферу за счет опоздавшего. Настроение на производстве — личное дело каждого, но поскольку речь о дополнительной смене, полезно, чтобы оно было хорошим.

И опять Монышев возрадовался больше других и глядел при этом в лицо ясным взглядом. Так всегда: чем крепче разносили на оперативках его, Воробья, тем сильнее радовался он, Монышев. Тоже, понятно, не в зловредности дело, а в надежде, что чем больше достанется одному, тем меньше останется другому: ругательский энтузиазм не бесконечен даже у Сухоручко... Кроме того, у них были особые счета — именно с участка Монышева поступает литье к Воробью, и на оперативках Воробей не забывал сказать какое: хоть снова в барабаны чистить загружай.

Промах Воробья был в том, что ответил за себя, а не за участок. Должен был сообщить, сколько примерно выйдет на работу людей, какой наберут тоннаж.

Смех уравнивает начальника с подчиненными, и Сухоручко нахмурился: от смеха до ропота один шаг. Демократия демократией, а план выполнять надо.

— Списки подать к двум часам,— сказал он и закончил оперативку.

Мастера затолпились у выхода, подталкивая друг друга коленками, напирая на передних, как дети, весело поглядывая на Воробья: «Так что твои бабы? Запылились?.. Ты бы помыл которую. И тебе хорошо и производству». Защититься можно было лишь тем же приемом: «Я бы помыл, только из-за этого плана... Свою жонку и то помыть некогда».

Жена Воробья была завидная женщина, все знали ее, и юмор у мастеров погас.

После цеховой оперативки старший мастер Тимофей Иванович Гурзо собрал своих мастеров на трехминутку.

— Начинайте с утра,— сказал он.— Люди все вышли?

— У меня Соломенко отпросился,— сказал Воробей.— Сын из армии приезжает.

Соломенко — подсобник, невелика беда.

— Ты обрубщикоз смотри,— сказал Тимофей Иванович.

Понятно. Обрубишки — главная сила на участке. И самая большая задача.

— Дополнительная по всему заводу, так что и грузчиков не прозевай... Монышев, — чуть заметно повысил голос, — чтоб барабаны работали как часы.

В прошлый раз Монышев подвел: из десяти очистников пришли двое.

Не дай бог на дополнительной смене оставить людей без работы. Мужики — ладно, а бабы устроят концерт.

— И ты, Колосов...

Колосов — мастер термического участка, ему проще всего. Работа не пыльная, придут. Однако вид у Колосова самый недовольный.

— Не могли хотя бы вчера сказать.

Обо всем этом говорилось уже на оперативке, но Колосов в вечерний техникум поступил на старости лет — не может не поворчать. Когда уйдет на пенсию Тимофей Иванович, скорее всего он займет его место.

Держится, как полковник в отставке.

— С завкомом договорились? А то прошлый раз...

Прошлый раз договоренности с завкомом не было, нагрянула комиссия и отменила смену. Попало начальству с двух сторон, особенно от рабочих.

— Договорились. По пятерке на человека после работы. Отгулов не обещай. Все... — Тимофей Иванович жадно пососал потухшую трубку, поискал спички в одном кармане, в другом, третьем и вдруг забил руками, как старыми крыльями: нет спичек. Минуты не мог без трубки, даже на оперативках Шерементов разрешил ему курить.

Воробей протянул ему спички. Глотнув дымка, Гурзо с облегчением спросил:

— Ты чего опоздал?

— Тельфер не работал.

Давняя приязнь объединяла их, хоть были разного возраста. Благодаря ему он, Воробей, и мастером стал. «Сколько у тебя классов?» — спросил Гурзо несколько лет назад. «Десять».

«Учиться надо, браток».

Работал Тимофей Иванович последний год: исполнилось шестьдесят. И без того перешагнул цеховой пенсионный возраст на десять лет.

— Давай, Антон, начинай.

Начинать, конечно, следовало с утра, но чрезмерно торопиться не следовало. С утра у многих людей неважное

настроение — кто не выспался, кто в автобусе поругался, к кому родная жонка с вечера повернулась спиной. Не хочешь остаться при своих интересах — учитывай. Рабочий человек — свободный человек. Не понравится — сунет руки в карманы: «Иди-ка ты, Воробей, знаешь куда?..» И пойдешь. А что делать, если ума, как следует вести разговор, не хватило? Сам простоял за подвесным наждаком десять лет, знает не с чужих слов.

Не все, разумеется, так безвыходно. Есть у каждого мастера свои люди, есть должники. Одному брак не показал в ведомости, другому небольшенькую премию выписал, третьего с работы отпустил на денек в деревню, четвертый просто не против заработать лишнюю пятерку-две.

Но с обрубщиками — так. Обрубщики — ребята молодые, свободные, зарабатывают хорошо, и никакие долги их не тянут, с ними говорить — что по проволоке ходить. Это твое, мастера, состояние никого не интересует, а настроение тех, кто ниже тебя и выше, — ого.

Хитрить и сваливать вину на начальство повыше и вообще пытаться облегчить себе жизнь — тоже безнадежное дело. Во-первых, дураков среди рабочих ничуть не больше, чем среди мастеров или инженеров, во-вторых, всякие хитрости оборачиваются против хитреца. Совершенно ясно, например, почему — не первый раз — провалил смену Монышев. «Так и так, хлопцы, — говорит с рабочими. — Опять начальство дополнительную смену устраивает, так их и разэтак, туда-сюда и обратно. Сами руки в брюки, а мы пашем. За что деньги получают? Институты покончили, а работать не научились. Моя бы воля, я... всех метлой. Выйдете?» — «Выйдем...» Глядишь — никто не пришел. Поддавки — это не игра.

Он прошел по участку — работа шла нормально. Можно и начинать. С грузчиков. Разъедутся по цехам — лови их потом за хвост. Да и отношения хорошие установились с грузчиками. Пять раз поменялись люди в цехе, но грузчики те же.

А подсознательно — с победы, а не с поражения хотелось начать нелегкий разговор.

— Ну, мужики, кто хочет заработать пятерочку? — спросил, входя в конторку начальника смены.

Как раз все были в сборе — Митя, Гриша, Степанович. И женщины здесь же. Достал замасленный блокнотик, в котором помечал выработку.

Когда-то завод показался ему адом, пеклом. Его прописали в общежитии, направили сюда, в обрубку, дали в руки пневматический молоток. Утром следующего дня он с кровавыми мозолями, испуганный и униженный пришел в конторку участка. «Дядька, — сказал, — не могу работать, руки болят...» Дядька — Тимофей Иванович Гурзо — взглянул на его ладони, поморщился: «Да, браток...» И повел сюда, к грузчикам. «Принимайте помощника...» Оглядели Антона — парень как парень. Увидели руки — «о матка боска, погляди на него!..» Это Зина была. Неглядова. Толстушка, кубышка, девушка немногим старше его. «Еще один явился городского счастья хлебать!..» Сама она уже пригубила. Сидела как ослепшая перед работой и в обеденный перерыв.

Медпункта в цеху не было. Зинаида разодрала какую-то хустишку, перевязала изуродованную ладонь. А Гриша Ходосов сбегал в раздевалку, принес пару новых рукавиц. «Мягкие», — застенчиво произнес он.

Вчера это было, вчера.

Отсюда Воробей ушел в армию, сюда и вернулся, правда уже не к грузчикам, а на подвесной наждак. Но долго еще опасливо косился на пневматические молотки.

Вчера.

Вера, Егорка, двухкомнатная квартира хозспособом, школа мастеров — и вот сегодняшний день.

Вышел из конторки начальника смены с хорошим настроением: эти не подведут. Отказалась только Катерина: не с кем оставить сына, а в детском садике выходной.

Пора было двигать к обрубщикам.

Однако, подойдя к рольгангам, увидел, что ребята разделись до пояса и так колотят, что искры летят из-под зубил.

— Р-р-работай, Сонька! — азартно кричал Малюгин контролеру, незамужней молодящейся «сороковке», что стояла рядом и наслаждалась их молодостью и наготой.

Контролеру стоять над душой вовсе не обязательно, приемка происходит партиями, но нет, не отходит Соня. Перманент, газовая косынка, нос сливой. Баба противная, сварливая и скандальная, но и ей, невезучей, нужна любовь. Что ж, может, и имеет когда-либо успех. Ребята молодые, жадные, никто, кроме Малюгина, не женат.

— Эх, малокровные!..

Самое время поговорить с ними, да побоялся сбить темп. Пускай поработают еще полчаса. Пошел на выбивку.

Здесь работал тоже совсем молодой парнишка, Витя Круговой. Работа тяжелая — как из скорострельной пушки лупит станок-нокаут, но прокаленная земля высыпаться из отливок не хочет, надо добавлять кувалдой. Рабочий день на выбивке шесть часов, но все равно никто больше полугода не выдерживает. Так и существует выбивка: то одного переведут на месяц, то другого, то найдется какой-либо новичок. Витя — парень славный, послушный, жаль, однако, не выполняет норму, физически слабоват. Приходилось, когда напирала лента, посылать кого-либо на подмогу, а то и самому становиться рядом и добавлять кувалдой с другой стороны.

Кивнул Вите. Выключил станок. Показал, чтобы вытащил вату из ушей.

— Витек... — Обнял за плечи парня, повлек к воротам — на чистом воздухе доверительней разговор. — У тебя какие планы на субботу?

— Субботу?.. — Приостановился, растерянным стало лицо. Догадался, не первый раз. Такие уроки усваиваются быстро.

Славный парень. Планы на субботу у него, конечно, были и есть. Ну если не планы — надежды. Отоспаться, на озеро съездить с приятелями, на девчат поглазеть. Но как скажешь о таких планах? А соврать не умеет. Расстроился, смотрит в землю.

— Надо бы поработать, Витек, часиков пять. А может, меньше, там видно будет. Дополнительная смена по всему заводу... А? Я тебе на той неделе отгул дам.

Дополнительные смены случались и в те времена, когда он сам начинал работать. Прекрасно помнил, как ждал того воскресенья и как не хотелось идти на завод. Это теперь два выходных в неделю, а тогда — одно, неразменное воскресенье, золотой денек. Чем-то похож был Витя на него в молодости. Так же ковырял землю ногой, когда Тимофей Иванович подходил: «Надо поработать завтра, Антон».

— Эй! — подтолкнул плечом загрустившего парня. — Ты что?

И Витя вдруг улыбнулся, хорошо посмотрел на него:

— Ладно, приду.

Золотой парень. Вот он уже и доволен, что может сделать приятное. «Когда-нибудь в ночной на две смены отпуска его...»

Возвращаясь с выбивки, опять остановился у ролганга

обрубщиков. Теперь работали двое — Малюгин и Кропотов, а остальные стояли рядом и орали, как на футболе. Понятно: соревнование. Малюгин работает давно, ему уже за тридцать, лучший обрущик в цеху, а Кропотов в прошлом году из армии, но работа у него пошла сразу — ловок, крепок, режет чугун зубилом, как дерево долотом. Ничего не скажешь, тоже завидный обрущик, только слишком уж независим, насмешлив, на всех ему наплевать. Посмеивается над инженерами — «мафиози» называет их, над мастерами — «эй, участковый!», над девушками, что бегают мимо них в туалет. («Рыжая! Замуж хочешь?»), над Малюгиным — за плохие сигареты, дешевое вино, за жадность к деньгам и большую семью (трое детей), едва не каждое утро спрашивает: «Ну как? Четвертого смастерил?» Малюгин огрызается, ответить как следует не умеет, другой натуры человек. Каждый день Кропотов втрачивает его в какое-либо соревнование — не с молотком, так на руку (кто кого к столу прижмет) или на палец (кто кого перетянет), — и всегда Малюгин проигрывает и обижается. Однажды, чтобы отомстить за Малюгина, Воробей сам связался в перетягивание и тоже проиграл, как пацан. Куда уж им обоим против Кропотова.

Вот и сейчас Малюгин вдруг швырнул молоток на рольганг и пошел к автомату с газированной водой. Кропотов рассмеялся.

— Пить надо меньше! — крикнул вслед.

Контролер Соня тоже рассмеялась, обласкала взглядом крутые плечи. Что ей Малюгин? Кропотов — это да.

Воробей Кропотова недолюбливал. Но на субботу заполучить его надо... Однако прозевал момент, Малюгин теперь не в духе, может отказаться. А без Малюгина с ними говорить нельзя: как-никак бригадир. Придется повременить.

И Воробей направился к наждачникам.

Наждачницы особенного тоннажа не дают — мелочовка. Но поскольку смена организуется по всему заводу, значит, надо и их. Из-за какой-нибудь стойки валика или отводки может застопориться сборка. Это не игрушки. Сам будешь точить, в зубах носить. Да и лишние три-четыре тонны к плану — дело.

Наждачниц пятеро. Женщины семейные, старательные, деньги нужны всем — ни на минуту не угасают пучки искр из-под наждаков. Но что касается субботы — тут все сложнее. Мужчина может хоть двое суток рыбу ловить, семейное благополучие не дрогнет. Женщина... По себе знает.

Вроде и помогает своей жене, не сидит сиднем за столом во дворе, где мужики хлещут ладонями, а поехала она в деревню — за две недели такой порядок навел, что самому тошно. В воскресенье приедет. Надо хоть полы подмести, тряпкой по углам протянуть...

Станки стоят в один ряд, но говорить следует с каждой в отдельности. С женщинами компанией такой вопрос не решается.

Первой от прохода работала Тамара Огородова, по прозвищу Томтя, к ней и шагнул прежде других. Незамужняя, но несемейной не назовешь: четыре сестры в доме, она пятая, старшая из всех. Две, правда, уже работают, но какие-то проблемы — слышал стороной — у них есть: то ли воюют друг с другом, то ли кто-то вышел замуж, развелся, то ли что-то еще. Два человека в доме — уже проблема, а пять... Ого.

Бригада наждачниц довольно дружная, только Климиха иной раз затевает скандалы, если, к примеру, кому-то попадала лишняя бадья шестьдесят пятой крышки — выгодной заготовки, а ей лишняя бадья сорок второго стакана — невыгодного. Томтя очень просто погасила свару — представляла тельфером бадью: «Ешь!» Ну а другие... «Что вы, бабы? — приходилось вмешиваться мастеру. — Клим из дому ее прогонит, если на бормотуху не заработает». Клим — известный пропойца в цехе. Впрочем, и Климиха не прочь тяпнуть стакан. «С пьяницей живешь — разве не разопьешься?» — оправдывалась она.

Однако вот случай, когда и такая слабость или болезнь на руку производству, пятерка плюс выработка для Климихи — ого. Тут ясно все.

А с Томтей не ясно. Ей деньги нужны, судя по всему, не меньше, чем Климихе или другим, но сверхурочно работать чаще всего отказывается. Какие-то дела.

— Что, Томтя, не выйдешь завтра в первую смену работать?

Улыбнулась, покачала головой:

— Нет, Михайлович.

Красивая, дьявол ее возьми. Может, на чей вкус и толстовата, а на его — в самый раз. «Могла бы и Антоном меня звать, а не Михайловичем, — сказал однажды. — Не такой я старый». Рассмеялась. «Знаю я вас, мужчин, — ответила. — Сперва за пуговку, потом за резинку».

Видная женщина Вера, его жена, не променял бы ее даже на двух сразу, но жаль все-таки, что у человека одна жизнь...

Недаром этот технолог Белкин, алиментщик несчастный, крутится у наждаков, чтобы ему на ровном месте споткнуться. Да и не он один...

— Понимаешь, Томтя, смена по всему заводу организуется... Не знаю, как на сборке, а у нас отставание двадцать тонн. А завтра последний день месяца.

Опять улынулась — сочувственно, будто Воробей на любовь намекал.

— Или у тебя свидание завтра утром?

— Свидание сегодня вечером, — ответила. — Утром прощание.

И не понять, в шутку говорит или всерьез.

А может, и выбегал что-либо Белкин? Или этот Солодилов Юрий Юрьевич из техбюро, забодай его козел? Уж этому совсем делать нечего на участке — нет, приходит...

— Ладно, — сдался Воробей. — Гуляй.

Шагнул к Климихе.

— Здоров, тетка, — сказал. — На бормотуху еще не наколотила?

— У тебя наколотишь! — сразу закричала Климиха. — Всю смену стакан идет! Заразы! Чтоб вам...

И пошла-поехала. Будто с нее лыко дерут черти. Воробей, посмеиваясь, поглядывал вокруг себя, дал ей выговориться. То была своего рода тактика — раздраконить Климиху и тем развеселить остальных.

— Выходи завтра в первую смену, — сказал, когда Климиха исчерпалась. — Отгул дам.

— Иди-ка ты, Воробей, со своим отгулом знаешь куда? — Ну?

Сказала.

Девчата — кто рассмеялся, кто покачал головой.

— Пятерку после работы — приду.

Что и требовалось доказать. Есть голубушка!

— Будет тебе пятерка.

Шагнул к другим.

— Как она меня, а? Что наждаком. Представляю, как она с Клима заусенцы снимает.

Теперь можно было говорить со всеми тремя. Чувствовал, скандал с Климихой в его пользу.

Так и получилось. Из пяти наждачников выйдут четверо. Это хорошо.

Мостовой кран медленно катил над цехом, и Воробей пошел следом, покуривая и гипнотизируя взглядом кранов-

щицу Зосю. Когда-то Зося работала у него подвесчицей, но уже лет пять как окончила курсы и взобралась на кран. Первая матерщинница была в цеху — куда Климихе! — только Сухоручко мог бы против нее выстоять, а теперь кричи не кричи там, под крышей, никто не услышит. Можно, конечно, спуститься вниз на землю, но пока причалишь к площадке да слезешь... Лучше уж промолчать.

Нет, не отзывалась на гипноз. Ездила взад-вперед, переставляя бадьи, раздраженно позванивала стропальщикам.

Удивительно все-таки: не успеют мастера вернуться с оперативки, рабочие уже знают, о чем шла речь и о чем будет здесь разговор. А сердится Зося потому, что понимает: без крана никак нельзя, придется выйти на смену, хочешь или не хочешь, есть личные планы на завтра или нет.

Наконец не выдержала, выставилась на Воробья: чего тебе? Воробей усмехнулся, положил голову на ладонь и показал один палец, то есть «завтра в первую смену». В ответ Зося сорвала рукавицу и сунула ему фигу, да не просто сунула, а перевесилась с крана до пояса, вот-вот грохнется оземь. Воробей засмеялся и пошел дальше. Не было случая, чтобы она отказалась.

Из-за шума в цеху, а еще потому, что работало много глухонемых, язык жестов был хорошо развит и всем понятен. Постучать кулаком о кулак — работать, ребром ладони по боку — бездельничать, по животу — обедать. Погонь на плечах — начальник, высокая грудь — женщина, две ладони — дитя. И тому подобное. «Хорошо работаешь. Денег будет полный карман» — тут все просто. Мысль равна словесному выражению, словесное — жесту. «Лентяй, попадет тебе от мастера» — сложнее. Чаще всего — погонь и движение, имитирующее насилие над женщиной. Добрая мысль — добрый жест, злая — вдвое грубей и злей.

В смене Воробья тоже работали двое глухонемых: один на пескоструйке — Степан Толкачев, второй на пресс-Брюнеле, установке для определения твердости металла, — Сережа Кильчак. Оба были молоды, трудолюбивы, окончили школу глухонемых и хорошо считывали слова с губ. Не только не отказались выйти в субботу — обрадовались. Хотя, пожалуй, радость относилась не столько к работе, сколько к минуте общения. Просьба мастера подтверждала их равноправие в цеху и полезность.

У Сережи Кильчака Воробей год назад был на свадьбе. Не хотелось поначалу идти... Все же, думалось, люди не-

нормальные, с порушенной психикой, дьявол их знает. На смене три-четыре человека, а как соберутся все вместе?..

Оказалось, свадьба как свадьба: и пили, и танцевали, и «горько» кричали, посуду на счастье били, как все и везде. Все учились, знали простые обычаи, большинство умело и говорить. Воробей, выпив рюмку, освоился и даже произнес тост — сказал, что Сережа хорошо работает и его уважают в цехе, — все понимали, улыбались, подходили с рюмкой чокаться за счастье молодых.

Недавно у Сережи родилась дочь. «Слышит» — первое, что сообщил Сергей всем.

Дальше откладывать было нельзя, и Воробей направился к рольгангам обрушников.

Они ковырялись в блоках неохотно, стук молотков был короток и вял.

Что ж, подходящий момент упустил — придется вести разговор в неподходящий.

Они заметили его издалека и положили молотки.

— Как, хлопцы, идет работа?

Кто головой повел, кто пожал плечами: идет помалу.

Может, состояние их было следствием размолвки между Малюгиным и Кропотовым, а может, просто устали: у Сережи Кильчака Воробей узнал, что блок идет твердый, лунка от пресса четыре и пять десятых миллиметра, то есть на пределе допустимого, очень трудно такой рубить. Но об этом лучше помалкивать, пока сами не скажут. Да если и скажут, надо молчать. Помочь не может, разве что выругается по адресу шихтовиков.

— Когда это кончится, Антон? — спросил вдруг Малюгин. — Тебе самому не надоело?..

Значит, и эти знают. Плохо. Настроились друг от друга, каждый заготовил причину.

— График для кого составляется? Для начальства?

Кропотов и вовсе насмешливо глядел на Воробья: дескать, ко мне лучше не суйся. Два других начали пятиться, отступать подальше: мол, разговор идет с Малюгиным, их не касается.

Следовало срочно сменить тактику. Что ж, имелся у Воробья и на такой случай прием.

— График начальство составляет для начальства, — усмехнулся он. — А сознательный рабочий...

— Хватит, Антон, про сознание. Из-за того, что они не умеют работать...

И тогда Воробей нанес удар в спину:

— А ты что, умеешь?.. Видел я, как Кропотов дал тебе прикурить. И сейчас еще уши мокрые.

Малюгин даже заморгал белыми ресницами от такого предательства.

— Это ты мне, Антон?.. Ты что?..

Зато все остальные заулыбались, даже на лице Кропотова смягчилась, перестраиваясь, усмешка.

Эх, не Малюгина надо бы приносить в жертву, а его, этого красавчика, этого умника и чужака... Поздно, надо добивать.

— Это тебе не на перине воевать. Намнет жонку спроне, а потом на начальство жалуется. Бедная баба!

— Это он бедный,— сказал Кропотов.— Ей на пользу идет.

Жена Малюгина была в два раза толще его самого.

Если одному Кропотову Малюгин не сумел ответить, то им двоим подавно. Плюнул безответно, схватил зубила, пошел к наждаку точить. Спинай стал, чтобы и не видеть пустых насмешников и горлохвотов.

Теперь и вовсе поздно жалеть.

— Эйш, как она его любит,— кивнул вслед.— Все ребра видны... Ты чего его загонял?— обратился он к Кропотову.

Кропотов хохотнул: дескать, надо, пусть знает.

Простая арифметика вела Воробья. Бригадир — Малюгин, но Кропотов — лидер. Согласится он — смена есть.

— Ну так что, хлопцы?— круто переменил тему.— Выйдем завтра?

Ребята из армии, должны ценить прямоту. И высокие слова обязаны понимать.

— Если честно, родина на вас смотрит. Ну если не родина, то завод — точно. А?..

Однако молчали. Кропотов непроницаемо глядел на него, двое других, Дашкевич и Мону, на Кропотова.

Нет, что-то не то сказал и не так.

— Цех двадцать тонн недобирает до плана,— добавил менее уверенно, но чувствуя — что-то надо добавить. Невыгодно сейчас молчать.— А?

— В прошлом месяце тоже говорили — двадцать,— усмехнулся Кропотов.— А потом оказалось — перевыполнили на пятьдесят.

— Нет, хлопцы, точно. До вчерашнего дня шли по графику, а вчера... С металлом задержка получилась.

Дашкевич и Монус пока молчали, но явно разделяли слова приятеля. Хорошая бригада, если все хорошо, а чуть похуже — и... Тот случай, когда Воробей предпочел бы послабей, но сговорчивей.

И тут лошадиная физиономия Монуса оскалилась:

— Понавешали на каждом углу: «НОТ!»... А мы до половины девятого без работы!

Да, порвалась лента в тоннеле, блоки пошли с опозданием на полчаса.

— Малюгин прав! Есть на заводе рабочий график или нет? Мы для кого работаем? Для государства или начальства?.. Хватит! Обойдутся без премии пару раз.

Обычно у Монуса слова не вытащишь, а тут — на тебе, целый доклад. Значит, бригадное обсуждение уже состоялось.

Вся тактика полетела к чертям. Еще одного в жертву принести? Воробей умел окатить холодной водой горячих, но с кем работать?

— Ну, ты, Монус, если честно, для себя работаешь, а не для государства, — сказал мирно, требовалась минута для размышления. — Если бы все для государства работали, как ты, мы бы уже опять на быках пахали. Ты вроде Малюгина. Тот жонку обнимает и говорит: «Для государства стараюсь».

Дашкевич рассмеялся, и Воробей с надеждой поглядел на него.

— Верно, Леня?.. Старатель!

Но Леня Дашкевич уже смутился и виновато глядел на Кропотова.

— Нет, мастер, — Кропотов ответил за всех, — все решено. Сколько можно?.. Вот я на комсомольской конференции подсыплю кое-кому... Хватит.

Вот когда раскаялся Воробей, что предал Малюгина.

— До твоей конференции далеко, Семен, а план...

Нет, не то говорил, не то.

— Ничего, подождем. Государство переживет, даже и не заметит ваши двадцать тонн, а если начальство разгонят — тем лучше. Может, кого поумней пришлют.

— Почему на станкостроительном без авралов? — тихо спросил Леня Дашкевич. Славный парень, он бы, пожалуй, вышел, если б не Семен.

Да, такой атаки не ожидал Воробей. И что скажешь? Справедливые слова говорили ребята. Мастера в своем кругу не раз толковали о том же...

А в самом деле, почему на станкостроительном без авралов?

Этот станкостроительный мастерам как гвоздь в ботинке, нет-нет да и вопьется. Все у них лучше: и зарплата выше, и премии регулярно, и квартир больше... Перейти бы туда, да жаль, столько лет проработал. И не исключено, что у них, на станкостроительном, говорят обратное: вот там, на тракторном... Известное дело, в чужих руках слаще.

— Подожди, хлопцы...— заторопился Воробей, уже совсем не понимая, что же такое сказать, чтобы повернуть разговор.

— Все, мастер, все. Поговорили, хватит.

И они взялись за молотки.

Воробей постоял еще минуту и пошел по цеху.

Давно такого не было с ним. Но ведь должно было случиться, должно...

Что же делать? Двух человек на смену надо только. Черт с ним, с цеховым планом, но если остановится главный конвейер...

Ох и попляшет на нем Сухоручко. Сухоручко — ладно, дело привычное, вот Шерементов... Начальник цеха ни разу еще не повысил голоса, но всегда казалось — вот-вот сорвется и... Унизительно будет и непоправимо. Впрочем, и это не страшно. Станет за наждак — будет жить спокойней. Рабочие позубоскалят день-другой — и забудется.

Перед Гурзо неловко.

Не хотел он, Шерементов, подписывать ему характеристику для школы мастеров. Тимофей Иванович уговорил. Знать бы вовремя, что не хотел! Ни за что не пошел бы в эту школу...

Он вышел за ворота, намереваясь пройти вокруг цеха и поразмыслить, но увидел Монышева и Колосова — друзья, не разлить водой. Что-то они обсуждали, скорей всего куда поехать в воскресенье на рыбалку — оба рыбаки.

— Ну как?

Воробей неопределенно пожал плечами.

— А я уже договорился,— сказал Монышев.— Все выйдут.

Что очистникам и термистам! Их работа по сравнению с обрубкой — курорт.

Колосов ничего не сказал, только посмотрел строго. Такой человек. Полковник.

Пошел назад в цех.

И тут, как на грех, попался на дороге Селих, под-

собник. Ни в коем случае нельзя было к нему обращаться. Вообще тяжелый человек, а тут его напарник, Соломенко, не вышел, и сегодня Селих работал за двоих.

Даже рассмеялся от радости, когда Воробей обратился к нему. Вспомнил и телогрейку, которую он ему якобы не выписал зимой (не положена телогрейка подсобникам, хотя работать приходилось на сквозняках), и что ни одной премии в год не дал, и те три рубля, что списал с его зарплаты за брак — подсобники тоже давали брак, бой, но уследить и доказать это было трудно. И даже когда Воробей плюнул и пошел от него, Селих следом пробежал еще несколько шагов, посылая в спину мат за матом.

— Крепко он тебя оттянул!— Это стропальщик Буртенков вышел навстречу.

Воробей махнул рукой:

— Ненормальный...

— А чего хотел?

— Работать некому завтра... Может, выйдешь?

И еще не ответил Буртенков, а Воробей понял: выйдет, для того и шел навстречу. Что-то ему надо, скорее всего отгул. Оставалось только ритуал соблюсти.

— Сам знаешь, в долгу не останусь.

— Та-ак... В субботу, говоришь?.. В четверг на той неделе отпустишь?

— Ясно, отпущу.

— Договорились,— обрадовался Буртенков.— Выхожу!

«Поспешил,— подсадовал на себя Воробей.— Не стоило обещать отгул. Буртенков мужик сговорчивый, вышел бы и без отгула. Ладно, там будет видно». Любые проблемы, что крылись в грядущих днях, казались просты.

Работал у него в смене маленький старичок Пахомыч. Когда-то, говорят, рубил, за наждаком стоял, позже отпросился в подсобники, теперь подметает и поливает из шланга проходы, площадки у рольгангов и станков. Этот только прослышит про дополнительную смену — напрашивается сам. Дома делать нечего, и лишняя пятерка не повредит.

Подошел и сейчас.

— Не нужен ли?— спросил робко.

— Ясно, нужен,— ответил Воробей.— Что за вопрос? Мы ж без тебя задохнемся, Пахомыч. Гляди не подведи.

Старик заулыбался, отошел довольный.

Славный дед. Хлопцы измываются над ним. На днях приходил жаловаться: кто-то в гардеробе завязал морским узлом его рубашку и штаны. Еще неделю назад насыпали

ему в столовой в суп сахару, в компот соли, а когда рассерженный Пахомыч вскочил из-за стола, оказалось, что за ногу привязали стул. Вот такие шуточки у некоторых комсомольцев, будь его, Воробья, воля — лыко бы с них надрал.

Смена начинается в восемь, Пахомыч на работе в семь. Подметает, поливает — такое бы сознание молодым...

Время между тем шло.

Как быть с обрубщиками?.. Поговорить поодиночке? Нет, один на один можно говорить с Костей Малюгиным, а с остальными — напрасный труд. Да и Малюгин обижен, откажется...

До обеда оставалось несколько минут, неохотно вошел в конторку участка.

— Как дела?— Тимофей Иванович осторожно взглянул из-под очков.

— Плохо. С обрубщиками промахнулся. Говорят — хватит.

Тимофей Иванович покусал трубку, поразмышлял.

— И Малюгин?

Воробей промолчал, и морщины на лбу Гурзо немного разгладились. Понял, что не только в обрубщиках причина, но и в нем, Воробье. Не исключено, что этому горю можно помочь.

— Ладно... Сам поговорю.

Очки Тимофей Иванович, садясь за стол, надевал уже двадцать лет, но все не мог привыкнуть. Видно, казалось, что от неосторожного взгляда слетят — и вдребезги.

Было Гурзо лет сорок с небольшим, когда Воробей пришел на завод, но, похоже, все изменения в нем произошли прежде, до сорока — мало переменялся за эти годы. Все так же, сутулясь, ходил по цеху, не обращая внимания на то, что происходит кругом, так же сосредоточен и замкнут — никакое красное слово или дурная выходка не тронет морщинистое лицо.

Когда-то Воробей недоумевал и обижался на него. Поздороваешься — не ответит, обратишься — воркнет что-то под нос и пойдет дальше. Что за человек?

Отслужив действительную, Антон вернулся в цех с надеждой на особую встречу. В самом деле, их воинская часть в полном составе махнула на одну из громких комсомольскихстроек — с подъемными, с музыкой, с песнями, едва ли не он один вернулся на свой завод. А Тимофей Иванович, осторожно надев очки, сказал: «А, Воробей...

Попробуй-ка опять рубить». Преодолев разочарование и поразмыслив, Антон подивился уже тому, что Гурзо вспомнил фамилию. В самом деле, кто он ему?

За годы службы Антон развернулся в плечах и в силе не уступил бы сегодняшнему Кропотову. Однако опять не пошла у него обрубка. Через три месяца появились признаки профессиональной болезни — дрожали и стыли пальцы, — а на другую работу Гурзо не переводил. В те времена он был решителен. «К черту», — сказал себе.

Но хитер и многоопытен был Тимофей Иванович. Точно угадал минуту, когда Антон собрался увольняться, и перевел на подвесной наждак.

На наждаке тоже не сахар, но тут он познакомился с Верой, будущей своей женой... Был и еще период, когда затосковал Антон в городе, хоть все вроде устроилось в его жизни не хуже, чем у людей: и квартира имелась, и жена хорошая, и сын послушный. Лет пять назад это было и началось после одного из отпусков. Их разнесчастный колхоз вдруг начал набирать силу, строиться, люди оживились, а старый приятель, колхозный шофер, однажды сказал: «Был я в твоей обрубке... Тьфу!» Они сидели вчетвером на молодой травке на опушке леса, солнце садилось, птицы пели, женщины переговаривались на деревне, ручеек бормотал в двух шагах. Кусок сала лежал на газете, и в бутылке оставалось на доньшке. И, разлив остатки, ополоснув в ручейке стаканы, Воробей сказал: «Подаю заявление. Через две недели буду здесь».

Однако через две недели не получилось, а там однажды Тимофей Иванович отозвал его в сторону и спросил: «У тебя сколько классов, Антон?» — «Десять». — «Надо учиться, браток».

И два года назад Воробей принял смену.

Теперь уже все кончено. Городской человек. Год назад вбил в ту родную землю последний крест. Дом заколотил: старый, покупателя не нашлось. Пускай стоит, может, когда с сыном съездит. Жена — нет, та в свою деревню, к своим старикам каждый праздник и выходной. Отец болен. Скоро, видно, придет и ее пора ставить кресты. Проклятушая все же эта жизнь.

Начался обеденный перерыв.

У входа в столовую на цеховой доске объявлений приколот листок: «Кто нашел часы «Победа», прошу передать

в табельную». А ниже — другим почерком и карандашом — значилось: «Часы нашел, но не отдам». И подпись: «Воробей».

Несколько рабочих стояли у доски, посмеиваясь. Воробей тоже прочитал, пожал плечами. Как в бочку захохотал рядом подвесчик Грушак:

— Часы, мастер! Часы!

Понятно, его работа. Всегда носил в кармане мелок или карандаш. «Перегон» — написано на машине, Грушак добавляет: «Из ада в рай». «Убежище» — значит на подвале. Грушак домалевывает: «От начальства». «Добро пожаловать» — красуется на двери мужского туалета. На женском — «Переучет».

— Писатель...

— Часы, мастер! Часы!

Грушак высок ростом, толст и не вполне нормален. Однако как это он забыл о нем?

— Ты, писатель, чтоб завтра в первую смену вышел. Ясно?

Опять захохотал. Понял его слова как успех шутки. Хрен с ним и с его шуточками, главное — в работе безотказен, придет.

— Выйдешь — отдам часы.

Аж затрясся от удовольствия.

Лет пять назад, когда в цехе проводилась очередная кампания по страхованию жизни, застраховался и Грушак на тысячу рублей. А через несколько дней — ходить нормально не может, носится как угорелый — попал под машину на выходе из цеха, повредил голову. Три месяца провалялся в больнице. Пришел счастливый: «Ох повезло! Ни за что семьсот рублей страховки получил».

А и в самом деле повезло. Дурней, чем был, не стал, а по требованию цехкома перевели его с обрубки на легкую работу — съёмщиком литья с сохранением прежнего заработка, — вот и начал толстеть, чувство юмора пробудилось.

Между прочим, мелькнуло в голове, если договориться с обрубщиками не удастся, выход есть: поставить с молотком Грушака и еще пару ребят. Нормы без привычки не сделают, но все же... Основное — чтоб не остановилась сборка. Главный конвейер. Главный конвейер — пугало для мастеров: «Что вы себе думаете?! Хотите главный конвейер остановить?...» Каждый день слышат они эту фразу. Будто стоит ему остановиться — и все, рухнет миропорядок, наступит светопреставление.

Мастера на главном конвейере как сумасшедшие: «Что? Кто? Откуда?.. Давай-давай-давай!..» Да и рабочие. Понятно... На станке, если не успел, в обед время прихватишь или заработаешь меньше — дело личное, выбирай. Там не личное. Там — ого. Не конвейер, самое Время движется перед тобой неизменно, неустанно, днем и ночью с одной и той же скоростью — вперед, вперед! Попробуй не успей. Ого!

Над головой огромное электрическое табло отсчитывает секунды. Телекамеры с двух сторон.

П л а н. П л а н! П л а н!

Нет, не хотел бы работать на главном конвейере.

Странное дело: когда-то свой цех казался смрадным пеклом, теперь — лучшим из всех. Как только не называл его в молодости: «дымовуха», «душегубка», «яма», «котел». Теперь обидно, если те же слова повторяет кто-то из молодых.

В столовой Воробей расположился так, чтоб видеть обрубщиков.

Кропотов, Монус и Леня Дашкевич сели за один стол, Малюгин за другой. Малюгин в очереди не захотел стоять, купил бутылку кефира в буфете, пил из горлышка, рассеянно поглядывая по сторонам. Бригада его — наоборот, хлебали сосредоточенно, хотя обыкновенно тут, в столовой, веселились вовсю. Кропотов девчат задирал, Монус хохмил. Это он насыпал сахару и соли Пахомычу, он привязал старика к стулу.

Леня Дашкевич оглядывается на одну из раздатчиц, Тоню. Она ему, как обычно, двойную порцию гарнира ухнула, так что в очереди смеются — начинается у них любовь...

Интересно, что им, обрубщикам, скажет Гурзо? В конфликтных случаях он остается один на один с рабочими, без свидетелей. Так и с очистниками прошлый раз, когда они не вышли на дополнительную смену. Направлялись в конторку независимые и злые, вышли через пять минут как из бани. Посмеивались, головами покачивали: видно, до печенок Гурзо донял. А ведь и на оперативках не говорит больше десяти слов подряд... Что-то у него есть про запас.

Тошновато было на душе у Воробья. И не только в завтрашной смене дело. Посмеялся над Малюгиным, зная, что безответен, пихнул в спину, когда уже Кропотов унизил его. Прямо говоря, предал земляка.

Был Малюгин из соседней деревни. До завода знакомы не были, а выяснили однажды, что земляки, — так стало хорошо. Дружить не дружили, но и поговорить иной раз, называя

имена общих знакомых или просто ближних лесов и рек, было отрадно...

Поедет теперь Малюгин в деревню, люди спросят: «Как там Воробей?» — «Воробей?» — удивится, что интересуются таким человеком. — Скотина». Именно таковым чувствовал себя Воробей.

И не собирался ведь предавать. Наоборот, бесцеремонностью шутки хотел подчеркнуть их землячество, близость, союзничество, хотел изобразить так — б у д т о б ы предает и обоим это понятно. Но не получилось, не вовремя. На большое место сыпанул.

Ребята поели, отнесли посуду на мойку, пошли к двери. А ведь обычно тут-то и начинался концерт. Садись с ложками к девушкам: «Покорми, красавица, замуж возьму».

Видно, и у них скверно было на душе.

Гурзо поговорить с обрубщиками в тот день не пришлось.

Принимая после обеда партию блоков, Соня что-то сказала Малюгину, Малюгин — Соне, Соня — Кропотову, Кропотов подумал — и ей. Соня кинулась от них по цеху, но через минуту вернулась и как на метле пронеслась над блоками, тыча проволоочной указкой:

— Рубить... Рубить... Рубить!..

— Дура, — ответил на это Малюгин. — Как тебя земля носит?

А Кропотов добавил от себя.

Соня зарыдала, понеслась в конторку.

— Бросай молотки, хлопцы! — сказал Малюгин. — Будем разбираться...

И началось.

Пришли Гурзо, Сухоручко, начальник БТК Берковский — тихий, всегда озабоченный своим двойственным положением в цеху старик, — мастера со стержневого участка и шихтового двора.

Блоки и в самом деле оказались рублены хуже обычного: шел твердый чугун — тверже допустимого на несколько единиц.

Ходили от блока к блоку, толпились у пресс-Брюнеля. Что делать? Отдать в переплавку? Немалая роскошь в конце месяца, если уже утром отставание на двадцать тонн.

В конце концов Сухоручко и Берковский уединились, вышли за ворота цеха. А когда вернулись, шли быстро, и Сухоруч-

ко озабоченно посмотрел на Тимофея Ивановича: надо рубить,— а Берковский на Соню: надо принимать...

Вот такой выдался день.

А завтра ожидался потрудней...

...Нет, не в том дело, что их разнесчастный колхоз начал строиться и крепнуть, что солнце садилось, что птицы пели и переговаривались на деревне женщины. Не в том, и что сидел среди старых приятелей, а на траве стояла опорожненная бутылка. Все это лыко в строку.

А в том, что однажды увидел себя посреди цеха и подумал: «Это я?..» В такой же непримечательный день.

Легко поднялся в то утро, шел на работу рядом с женой, за проходной простились и, не оглядываясь, пошагали каждый в свой цех. Прошло то время, когда оглядывался, бегал на свидания в обеденный перерыв. Эта женщина сроднилась с ним. Никуда не денется ни он от нее, ни она. Пройдет восемь-девять часов — откроет ему дверь.

Легко взбежал в гардеробную на второй этаж, быстро переоделся — и в цех. И полетели минуты, как обычно. Гремело, звенело, грохотало впереди, сзади, над головой. Обычный день.

И вдруг словно очнулся: «Это я?..»

Отпустил ручки наждака, содрал с лица защитные очки. Забыв выключить наждак, попятился, наткнулся на перевернутый ящик, сел. Абразивный круг бился о блок, высекал искры. Пыль и солнце столбом.

«Зачем я здесь?» Никогда в жизни не испытывал такой бессмысленной и необъяснимой тоски. Отчего она?

Подумал, сколько лет прожил,— поежился. Много. Сколько осталось?.. Не так уж мало.

Опять увидел себя со стороны. Маленький человек на ящике с прижатой к левой стороне груди рукой.

И так — дальше? И это все?

В нескольких шагах упирался в наждак, как в ручки плуга, его ученик Тимка, парнишка семнадцати лет. Слабоват еще парень, узок в плечах, пот льет с носа, с ушей, ерзают под мокрой рубашкой лопатки, и пока у него только одна мысль: успеть, успеть, успеть...

Ну а другие? Вот они: чистят, точат, рубят, красят... Склонили головы, стараются, торопятся, будто в этом и есть смысл — побольше покрасить, обрубить, сдать.

Однако думают и они — каждый в свой час.

А что, если вдруг подумают вместе, в одно мгновение? Что поднимется к небесам — смех или плач? Нет, не к небесам — к темным фермам, шиферной крыше.

Изо дня в день? Во веки веков?..

— Эй! — крикнул изо всех сил.

Кто услышит тебя в таком громе?

Однако бывают, видно, и такие мгновения: заглохли в ту минуту очистные барабаны, опустили молотки, обрубщики, наждачники отвели от заготовок наждаки.

Тимка услышал крик и, конечно, не понял, в чем дело, доверчиво улыбнулся ему:

— Что-нибудь не так, дядя Антон?..

Старик Пахомыч заинтересованно обернулся.

Малюгин приветственно поднял молоток.

Гурзо Тимофей Иванович вынул трубку изо рта, беззвучно пошевелил губами: ты что?

Отлегло от сердца и души.

— Давай-давай, — сказал Тимке, — поливай!..

А на травке было уже другое.

Вот оно, вечное солнышко, вечные птицы и голоса. Сосуд вечности. Смысла все равно нет, но есть что-то другое. Вроде как смысл ручья у реки. Звенит на камешках, бежит в согласии с берегами — и ладно. Чистая вода — вот и смысл.

Мать тихо радуется приезду сына — ни вопросов, ни ответов в глазах. Отец ходит в подштанниках по двору, прислушивается: что там делает сын? Катаракта поразила его глаза, ищет солнце лицом. Вгляделся в слепые глаза. Разве не так, отец?

Так.

Ночью вышел покурить, увидел какую-то звездочку в прорве облаков, поежился. Торопливо докурил, швырнул окурок в кусты. Черта с два.

Но переехать все равно надо. И поскорей.

«Мама, — сказал утром, — я поеду сегодня. Срочное дело есть».

Хорошо, что больше ничего не сказал.

Вопреки ожиданиям дополнительная смена получилась удачной.

Если всегда можно сказать, почему смена не задалась, то почему особенно удалась, никогда не ясно. Тут всегда ряд совпадений и причин. Где-то на шихтовом дворе началась эта счастливая цепочка, не оборвалась на стержневом, укрепилась на формовке, заливке и счастливо завершилась у них, на обрубном участке.

С вечера Воробей и Гурзо решили поставить на обрубку блоков Грушака и еще пару ребят с других участков, а не пойдет работа — перебросить сюда обрубщиков среднего литья.

Но за пятнадцать минут до смены Воробей вдруг увидел, что идет к рольгангам со шлангом и молотком на плече Малюгин, идет и улыбается во весь рот, приветственно машет рукой: здоров, земляк! И только Воробей открыл рот, чтоб сказать: «Знаешь, Костя, я вчера...» — как увидел Кропотова, а еще через минуту Монуса и Леню Дашкевича.

— О-о! У-у! Ы-ы! — приветствовали друг друга.

То есть пришли не сговариваясь.

И такая пошла работа, что любо смотреть.

Не вышли на смену только Тамара Огородова, Зина Неглядова — что-то, видно, у нее случилось, — да Селих, слава богу, не пришел.

Начальником на дополнительную смену остался с ночной Зимогор. Жаден, захотел приплюсовать себе лишних восемьдесят — девяносто тонн, хоть ему ни пятерки не заплатят, ни отгула за сверхурочные не дадут.

Распределив людей, Воробей и сам стал к наждаку. Блоки, что обточил за смену, записал на бригаду, и хоть это, если разбросать, копейки, все довольны, а сам больше других.

Работали до двух, но сделали много. Между одиннадцатью и двенадцатью часами устроили перерыв, объединили бутерброды, а Малюгин неожиданно вытащил из сумки бутылку дешевенького вина. Неправильно, конечно, нехорошо, но к стати. Да и что значит сто граммов для серьезного человека.

Правда, сунулся вдруг в конторку Сухоручко, но увидел стол и выскочил как ужаленный. А что скажешь? Смена дополнительная, спасибо, что пришли. Да и пусть докажет. Может, она для красоты стояла, эта бутылка, для вдохновения. Запах? От настоящего мужчины должно винцом пахнуть, как духами от женщины. Кто не согласен, может подать на увольнение.

Потом Малюгин вспомнил, как однажды обедали в ночной и тут явился Сухоручко, дня ему мало, наверно, жонка из постели вытурила за несамостоятельность, вошел и говорит: «Здравствуйте!» На что Малюгин, не оборачиваясь, ответил: «Это какой дурак среди ночи здороваётся?» Скорее всего не узнал начальника по голосу, хотя... Малюгин такой.

Наждачницы тоже работали хорошо. Шла шестьдесят пятая крышка, «валюта». Раньше всех стали к станкам, позже кончили. Климиха всех обогнала на сотню крышек, если б не длинный язык — хоть в бригаду комтруда принимай.

Витя Круговой, Буртенков, Зося — все шевелились, старались, будто торопились на праздник. Ну а с грузчиками и подвесчиками проблем не было никогда.

И, говорят, в других цехах работа тоже шла хорошо.

К двум часам помылись, и когда собрались в конторке, там уже сидел Синкевич, председатель цехкома, с ведомостью и мешком денег.

— Часы! — закричал Грушак, увидев Воробья. — Давай, мастер, часы!

Воробей отстегнул ремешок.

— На!

Грушак захохотал, запрыгал, больно ударил по плечу. Правда, слегка подпортил настроение Витя Круговой:

— Антон Михайлович... Как бы это... в понедельник...

— Ну что ты говоришь, Витя? — расстроился Воробей. — Кого я на твоё место поставлю?

Витя смутился и пошел получать свои пять рублей.

Буртенков почувствовал в этом разговоре угрозу для себя.

— Смотри, Антон, — напомнил. — В четверг. Как договорились!

— Ладно, ладно, — недовольно проворчал Воробей.

До четверга еще далеко.

Домой шел вместе с Монышевым и Колосовым. У проходной их догнала Зося — напарившаяся в душевой, розовая и веселая.

— Ну что, мастер, план есть?

После работы она всегда становилась разговорчивой и веселой — намолчалась, отзлилась в одиночку там, наверху.

— Есть.

— А ты боялся!

Побежала дальше. Чувствовала, что сзади смотрят, и бежала «елочкой», старалась. Ноги у нее кривоватые, но толстые, крепкие, и Монышев подтолкнул Воробья плечом.

— Староваты мы с тобой, — ответил Воробей.

— Это я староват?

Сделал движение, будто сейчас догонит Зосю одним прыжком, и... передумал. Мол, всем не докажешь.

— Да я при случае...

Это другой разговор. При случае каждый.

За проходной попрощались. Монышев кинулся к автобусу, Колосов к трамваю, Воробей жил на поселке, пошел пешком.

А дома ему была приготовлена неожиданность — Вера. Он еще не вытащил ключ из кармана, а уже понял, что приехала. Открыл дверь и сразу ее увидел: улыбалась и шла навстречу.

— Ты где это ходишь? — спросила.

— Да по девкам.

В квартире уже было чисто, свежо. Вкусные запахи доносились из кухни.

— Иди, кавалер, обедать. Выголодался небось?

Не спеша переоделся, вымыл руки, вошел.

Жена сидела за столом и, улыбаясь, ждала его.

Впереди был еще долгий субботний и огромный воскресный день.



А. Шабкута



ВОЗВРАЩЕНИЕ



х было шестеро, и каждый хотел только одного: быстрее закончить работу.

База, которую они строили, находилась в таежном поселке, в трехстах километрах от места их постоянной командировки, и эта двойная неустроенность, длившаяся вот уже около полугода, угнетала их больше всего остального. А остальным было: каждодневные сорокаградусные морозы, самое худшее общежитие из всех, где им приходилось жить, отсутствие приличной столовой и редкая даже для этих глухих мест слабость строителей — тех, кто готовил им фронт работ. Все это, вместе взятое, давно бы выбило из колеи нормальных оседлых людей, но они были представителями кочевой профессии, а значит, способными вынести все, что им подсунет командировка. Холодно в общежитии? Нет проблем! Час нетрудной знакомой работы — и вот уже печка-буржуйка с длинной трубой дымохода, выставленной в окно, в жестяной квадрат фрамуги, весело трещит и накаляется, радуя тех, кто сидит возле нее. Плохо с продуктами? Но тайга вокруг, а значит, в поселке охотники, и нет ничего проще, как договориться мужику с мужиком, таким же хватким и сноровистым и таким же в своей основе простым, независимым и приспособленным к жизни в любой точке этой планеты. И женщины вились вокруг них, крепкие, звонкоголосые, искони любопытные — по молодости лет, по неудовлетворенному брожению крови — ко всему, что отличается от привычного, скучного быта, влюбчивые и жалостливые, готовые пойти вслед за своим расцветающим праздничным чувством хоть на край света. Все это было, как

и в любой предыдущей командировке. Но теперь им хотелось только одного: уехать отсюда как можно быстрее туда, где их ждали такие же женщины, но свои, прикипевшие к сердцу, и точно такие же мужчины, но родные по избранному делу, по судьбе, по шумному табору крупных строек,— туда, где была их личная, все их существо себе подчиняющая жизнь.

Всего лишь месяц назад у Ластовенко родился сын, и он ездил домой — какое там ездил!— летел, бросив все, забыв обо всем, а возвратившись, счастливый, радостный, оживленный, несколько дней рассказывал, что сын у него — три кило восемьсот, мужик, настоящий, наследник, похож на него, крикун... Все о нем рассказывал и теперь каждый вечер, засыпая, представлял себе крохотное это создание, настоящее чудо творения, собственного своего сына Алешку, хрупкого, трогательного в своей беззащитности, с поразившими его игрушечными, миниатюрными ручками. «Надо же!— думал с восторгом.— Пальцы такие маленькие, в микроскоп их рассматривать, а по форме такие же, как у взрослых людей, как у меня, точный слепок... Чудо, ей-богу, чудо!»

Федорова ждала невеста. Познакомились год назад, на танцах в доме культуры. Обычная история, разговор ни о чем, он только что вернулся из Средней Азии, о тех краях и рассказывал, какая там летом жара: бетонные плиты положат, и за лето эти плиты, всего за три месяца, белыми становятся, выгорают... Виноградники вспоминал: какие они бесконечные — до самого горизонта, кисти — по три килограмма каждая, сорт «люстровым» называется, потому что как люстра висит, нависает над головой; если упадет, запросто покалечить может... Историй, конечно, тут же сообщил великое множество и казался себе при этом бывалым, неотразимым парнем, так что, прощаясь, без колебаний обхватил ее, облапил, снисходительно поцеловал... Но она — и как это ей удалось? — каким-то не то что умом, а женским, природою ей отпущенным сверхтонким чутьем сразу увидела за всем этим шумом и самоуверенностью здорового рабочего парня, всю его непригодность к быту, все его не осознаваемое им самим одиночество, усилившееся до самой своей крайности после недавней смерти матери. И жгучее его желание поверить во что-то прочное, крепкое, не меньшее, чем любовь матери, чистое и навечное... Почувствовала, поняла его, полюбила и привязала к себе крепче самой крепчайшей нити.

У каждого были свои резоны быстрее попасть домой. И горькие причины тоже. У Абсальмова болел отец. У тще-

душного, хилого, болезненного Чеплакова загуляла жена. Как тут домой не стремиться?

Работали они по двенадцать часов подряд. Выходили из общежития рано, задолго до медленного двухчасового рассвета. Быстро проходили по вымершим улицам поселка, добирались до стройки, разводили огромные дымные факелы и отогревали заиндевевшие механизмы. Гром и стук ожившего железа радовал сердце и как будто бы согревал. Начиналась работа. Они собирали резервуар для бензина. Работа велась по русскому способу, изобретенному вскоре после войны. Заключался он в том, что на стройплощадку привозили большие стальные рулоны, ставили их на попа и раскручивали, накрывая сверху треугольными щитами кровли. Способ отличный для северных мест, быстрый, в несколько раз быстрее, чем прежний, когда емкость собиралась из отдельных небольших листов и окружалась строительными лесами, чтобы с них подгонять и варить стыки. Им, шестерым, он подходил как нельзя лучше.

Шел декабрь, двадцать девятый его день, и еще день оставался, чтобы закончить последний резервуар из десяти собранных ими, сдать заказчику и подписать акт приемки работ. Они спешили. В случае удачи каждый из них получал премию размером в трехмесячный заработок, и они уезжали отсюда, а так как дела у них складывались хорошо, то никто и не сомневался в удаче.

Загорался рассвет. Молча монтажники хватали трос и, оскальзываясь, танцующей походкой бежали к отвесной громаде рулона. Солнце вставало оранжевым столбом, и справа и слева от него поднимались трехцветные обрывки радуг. Начинался день. Птицеголовая стрела крана волокла по воздуху над их головами щит. Прихватчики торопливо поднимались вверх по стремянке, трактора вертелись вокруг рулона, раскатывая его, и бригадир оглушительно свистел и ругал зазевавшихся грозными словами. Работа близилась к концу, и каждый был счастлив от этого.

И вдруг случилась авария. Поднимая последний щит, крановщик услышал встревоживший его неприятный посторонний стук в двигателе. Стук разрастался, терзал ему душу — плавился подшипник коленчатого вала. Крановщик выключил мотор. Кран, добрый и верный, всегда согревавший хозяина теплом кабины, слушавший каждое малейшее движение его руки, стоял теперь мертвый, и тепло уходило из стального громадного тела. Крановщик чуть не заплакал.

Монтажники окружили его, глядя с надеждой, но всем было ясно, что кран больше не заведется.

— Все?— спросил бригадир, просто так спросил, для других.

— Все,— ответил крановщик виновато.— Кончен бал...— Он безнадежно махнул рукой.— А как ты хочешь? Год без ремонта...

— Щит на место поставишь?

— Рядом положу, Петрович...— В голосе крановщика не было твердости. Он как бы просил понимания, не за себя просил, за мотор своего крана.

— Ладно,— сказал бригадир.— Опускай его рядом.

Треугольник щита — лепесток, на котором без труда разместилась бы волейбольная площадка,— висел высоко над кровлей, раскачивался, колеблемый воздушными течениями, парил. Но не щит привлекал внимание бригадира. Шахтная лестница, стоявшая в стороне на снегу — пятнадцатиметровый вертикальный цилиндр с маршами лестниц внутри,— вот что его беспокоило. Замыкающий вертикальный стык резервуара нужно было варить с этой лестницы, поставив ее на фундамент, но ставить ее теперь было нечем.

Уже смеркалось: короток северный день зимою — в три часа пополудни наступает вечер. Закат догорал. Тихонько задувал ветер, перегонял с места на место жестко шуршащие снежинки, резал огрубевшие от мороза лица. Щетинилась вокруг по холмам заснеженная тайга, далеко простиралась на запад и на восток, на юг и на север. Розовый дым поднимался над поселком, откуда они, чужие в этих краях, только что были полны надежд уехать.

— Ладно,— сказал бригадир, что-то уже обдумавший и, верно, нашедший выход, как и положено ему, бригадиру.— Сеня, бери лебедку, да вон там уголки лежат у склада, натаскивай щит на место.

— Есть!— обрадовался Федоров. Он повернулся и, взрывая валенками снег, двинул к складу — за уголками.

Ластовенко, низенький, коренастый, в черной шубе до пят, присланной родителями со Ставрополя, неторопливо пошел за ним следом.

— А ты, Степаныч, ставь указатель уровня. Сегодня что-бы закончил.

— Закончим, чего там.— Чеплаков потому и держался в бригаде, что при всей своей нездоровости и малосильности мастер был отменный, и самая тонкая работа поручалась всегда ему. На душе у него отлегло. Что бы там ни было,

а работа всегда отвлекает. Обо всем остальном пусть бригадир думает, у него голова большая.

Оставшись один, бригадир долго стоял у стыка, размышляя. Тронутая легким налетом изморози, стенка резервуара выгибалась круто и, выгибаясь, исчезала из поля зрения справа и слева, как бы убегая от взгляда. Стык уходил вертикально вверх от самой земли и до крыши резервуара. Он как бы склеивал кромки развернутого полотнища: отсюда начали раскручивать рулон, здесь и закончили. Оставалось всего ничего: подобрать недоделки, заварить этот стык и тем самым поставить точку. И вот тебе — незадача.

Как хорошо сделать работу всю, целиком, от первого ее тревожного мгновения и до последней, радостной операции. Совсем ведь недавно ставили первый щит. Днище было развернуто и свободно пузырилось, еще ничем не прижатое к песчаному основанию. На нем в центре — стойка, высокий столб с короной наверху, и с краю, метрах в пятнадцати, рулон с раскрученным полотнищем. Щит соединял их, как мост временной какой-то переправы. Он никак не попадал ловителями на стенку, и бригадир с Федоровым, самым отчаянным парнем из всех, провели наверху, наверное, полдня, то опуская щит, то опять поднимая и болтаясь на нем, как при качке. А затем дело пошло. Рулон скользил по промерзшему днищу легко и красиво, щиты ложились на редкость удачно. Любо-дорого было смотреть на работу и на лицо ребят...

Кто-то гулко ударил кувалдой по кровле, и металл загремел, отозвался на этот удар каждой своей частичкой. Бригадир огляделся. Что ж, придется идти на поклон к заказчику. Не оставлять же ребят без премии. Сумма большая. Все зависит теперь от заказчика. Подпишет — не подпишет...

Снег, мороз, бесконечность тайги... До чего же охота уехать отсюда. Просто сил никаких не осталось.

В конторе у заказчика тепло и светло. Чисто, спокойно в конторе. Самый главный заказчик — Мальцев, рыхлый, безвольный, стареющий, в этот день особенно радостный.

— Брось! Не говори об этом! — журит он кого-то по телефону. — Ты же знаешь: я о работе сейчас ни-ни, брат! Ни слова. Я в отпуск ухожу, да! В санаторий поеду... У тебя жена есть? Привет жене! А дети? Ну-ну. В общем, давай... ага... до свидания... вот-вот... спасибо... хо-хо-хо... поправляться, говоришь?.. До свидания, до свидания... того, значит...

Хорошо в конторе. Фикусы поблескивают жестяными листочками. Фотографии висят на стене привлекательные — жаркие страны на них отпечатаны. Теплом от батарей пышет. Если с мороза посидеть там часик, запросто можно заснуть. Впрочем, Мальцев, тот и не с мороза спит. Старый человек, услуги лет ждет, чтобы уйти на пенсию. Дела за него решает Теплов, точный, расчетливый инженер, строгий парень. Вот и сейчас отфутболил Мальцев бригадира к Теплову: пусть он решает. Подпишет акт — хитрый Мальцев пенять ему будет: «Опять недоглядел, Андрей Макарович!» Не подпишет — тоже хорошо. Так и так хорошо.

Теплов выслушал бригадира, нахмурился, пальцами по столу забарабанил.

— Заварите стык — акт подпишу. Не заварите — не обижайтесь.

— Но ведь люди... — сказал бригадир не очень уверенно, понимая, что прав Теплов. Мало ли что, только отпусти поводя — быстро на шею сядут. — Премия к Новому году...

— Вот что, Петрович, — рассердился Теплов, — не морочьте мне голову! Премия, она ведь за дело дается. Это вам не тариф, не оклад: лишь бы время прошло.

— Ладно, — сказал бригадир, выходя из конторы. — Заварим мы с вами этот стык. Придумаем что-нибудь... Обойдемся!

Разозлившись на себя, он сразу стал уверенней, подумав, что так оно, впрочем, и лучше вышло: не зависеть ни от кого и не оставлять недоделок, чтобы сюда до лета, до испытания резервуаров, не возвращаться.

В этот день они работали допоздна, при свете прожекторов, и Теплов, задержавшийся в конторе, с удовольствием понаблюдал за ними, перед тем как уйти домой. Больше всего на свете его радовала хорошо организованная работа строителей, он и чувствовал-то жизнь по-настоящему только на стройке, где труд реален, где на глазах все растет и приобретает законченный вид. Он отдыхал здесь душою. И высоко ценил умение бригадира поставить работу красиво. Но баловать их не хотел, не было в этом нужды...

Вечером в общежитии у монтажников разговор все время возвращался к работе. Как заварить этот стык.

Все знали, что сварщик Сергеев — единственный, кто мог заварить шов прочно и быстро, — боится работать без надежной опоры с тех пор, как три года назад разбился, упав с установки. Знали и не осуждали его за отказ. Но и смириться не могли с неудачей.

Желчный Чеплаков, поигрывая желваками скул, на чем свет стоит клял строителей, не сделавших вовремя фундамент под лестницу. На что надеялись, зачем тянули? Давно бы стояла лестница на месте. Дубины стоеросовые! Только о себе и думали. Все сейчас только о себе думают. Эпидемия пошла такая. Да и Теплов тоже хорош. Долбак! Поборник справедливости! Такую работу сделали! Как ненормальные пластались — десять резервуаров за полгода раскрутили. На чистом месте, где раньше тайга стояла да волки бегали. А теперь из-за пустяка дерьмового лишать их заслуженной премии? Совести нет у него и у Мальцева! Перестраховщики! Души чернильные!

Всех помянул Чеплаков. Об одном умолчал: сварщик Сергеев, сидящий с ним рядом, мог заварить этот стык с люльки. Мало ли что он боится? Все мы боимся, на то здесь и монтаж, работа на высоте, не пансионат благородных девиц... Может, и думал об этом, но смолчал. Пожалел Сергеева. Слишком хорошо помнил, что случилось с ним раньше. Разве забудешь такое?

Тогда, три года назад, упав с высоты и чудом оставшись в живых, Сергеев долго не мог вновь подняться наверх, а потом втянулся и опять стал работать там, как и прежде. Но, видимо, поторопился. Однажды в пылу работы он взобрался на самый верх установки — на восемьдесят шестую отметку, но не по лестнице туда поднялся, а по стремянке; если правду сказать, так просто по пруткам, приваренным косо к вертикальной балке, — лестницы там еще не было поставлено. Влез, оглянулся назад... и не смог сдвинуться с места — оцепенел, задохнулся от испуга. Снимали его затемно, подогнав стотонный кран с длинной стрелой. Подняли плиту железобетонную, из тех, что кладут на перекрытия в пролетах зданий, положили на эту плиту Сергеева, а сверху лег на него бригадир — придавил, заслонил собой от опасности и держал, пока опускали... С тех пор, после вторичного своего потрясения, Сергеев стал бояться подниматься туда, где нет ограждений и надежной опоры для ног. Чеплаков знал об этом, да и все это помнили, и никто не решился бы осудить Сергеева. Лишь Федоров, улучив момент, когда ребята вышли из комнаты, подошел к Сергееву и жарко зашептал:

— Слышь, Серега? Вот бы ты не боялся, а? Ведь деньги, сам знаешь, тю-тю... Да и задержат нас здесь, ей-богу! Если на следующий год останемся хоть на день, хана нам будет, вот увидишь: вмиг работу найдут. Я уж знаю! Не подведи, Серега!

В последней его фразе, сказанной со всем пылом, так, что даже рыжие усы встопорщились, было столько горячей просительности, что Федоров, наверное, и сам не понимал, как он сейчас расписывается за свои будущие поступки в такой вот, как эта, трудной ситуации. А если бы и знал, так что? Он за ребят всегда все отдаст. Федоров — человек честный.

Сергееву сделалось жарко — не от тепла разогревшейся печки, от этих бесхитростных слов.

Бригадир вошел, обнял за плечи:

— Не переживай! Где наша не пропадала! — Голос у бригадира мягкий, глухой, улыбка на усталом лице ободряющая. — Знаешь, что я придумал? Я сам его буду варить. С люльки. Скорость, правда, не та. Но за праздники управлюсь.

Сергеев посмотрел признательно. Молодец бригадир! Все берет на себя, хоть и варит впятеро хуже.

— Нет, Петрович, я сам заварю. Я вот и Федорову уже обещал.

— Живем! — радостно закричал Федоров и подбросил к потолку подушку.

— Уймись! — сказал бригадир.

— Есть уняться! — голос Федорова звенел, и лицо светилось. Молод... Громкая у него радость...

— Мороз очень сильный, — озабоченно произнес Сергеев. — На пределе.

— Да, мороз — не дай бог.

Гудела, раскаляясь, печка, тепло шло от нее по комнате волнами. Велся перед сном неспешный разговор. Говорили обо всем сразу, как это обычно бывает: начнут с одного, а кончат другим, даже не задумываясь о связи разговора.

— Он, знаешь, Гагарин, — слышался восторженный голос Ластовенко, любящего отыскивать в жизни высокие примеры духа, — он перед полетом как лег спать, так и уснул сразу. Доктора под окнами у него ходят, целых восемь докторов, уснуть не могут, на приборы разные смотрят: как там пульс, кровяное давление... за него, значит, волнуются, а он хоть бы хны, будто и не ему лететь...

Обычный разговор, нормальный. За полгода привыкли к такому. Столько переговорили — ни в какой книге не записать. Сиделись вот так возле печки, когда не было иных дел, чаще в непогоду, и говорили, спорили, рассуждали.

Сварщику Сергееву стало грустно. Сделалось жаль этих длинных вечеров, этих бесед у пылающей печки. Вот и еще

полгода их жизни ушло, промелькнуло. Как быстро время лстит, как безвозвратно... Так ли тянулось оно в больнице? Пятеро давно уже спали, кто на боку, кто укрывшись с головою, кто похрапывая или посвистывая носом, кто видя сны или без них, в темной пропасти ночного забытья, в полном выключении сознания. А он лежал с открытыми глазами, весь во власти воспоминаний, нахлынувших на него внезапно, с забытой им силой реальности. Память болела, не давала ему заснуть...

Он упал с тридцать второй отметки, но налетел на кислородные шланги, натянутые от колонны к колонне, разорвал их и этим погасил скорость падения. Сложно-осколочный перелом позвоночника, сотрясение мозга...

Первые дни он не помнил себя, а когда пришел в сознание, горько ему стало. Лежал он в белой тесной палате, на высокой кровати, концы которой поднимались и опускались винтами, лежал на деревянном твердом щите, тела своего ниже пояса не чувствовал вовсе. Через каждые три часа переворачивали его и перекладывали неподвижные ноги. Массажист приходил, работал над ним до потери сил, говорил, что надежда есть, просто нерв прижало осколками при переломе, а если точнее, то не нерв, а спинной мозг сдавило.

Боль была ужасная. Но что она представляла в сравнении с тем, что он остался калекой навеки?

Он то падение свое с высоты вспоминал до мельчайших подробностей, то прежнюю жизнь, до больниц. Зачем жил, не знает. А зачем человек вообще живет? Умрет — ничего не останется. Мысли такие, хоть в гроб с ними. Но жить хотелось, ах как хотелось жить! Словами той жажды не выразить. Перед этой жаждой двигаться, смеяться, дышать взахлеб, быть здоровым меркло все иное. Жить — вот что главное. Остальное можно потом решить. Больной человек никаких других вопросов не решает, он жить хочет. Он мучительно хочет жить. Все — и богатство, и власть, и знания — теряет здесь силу. Все, кроме любви и сострадания.

Сергеев детдомовцем был. Он не надеялся на чью-то любовь и жалость. У каждого свои заботы.

То, что к нему приходили монтажники, удивляло его, и он думал, что все это временно. Но дни шли, а они о нем не забывали. То бригадир забегал, то крановщик Абсалимов. Он счастливо жил, их крановщик. Трое детей, тихая, заботливая жена — пирожки Сергееву, ватрушки раз-

ные присылала. Его, Сергеева, оказывается, помнили многие. Мысль эта помогала ему.

Вскоре сестры и нянечки подружились с ним. Сергеев не скандалил, не требовал к себе повышенного внимания и заботы. Иногда о нем забывали, не переворачивали вовремя, и тогда он молча перекатывался с боку на бок через живот и терпеливо ждал, когда к нему подойдут и перевернут безжизненные его ноги. При обходе врачей он не задавал лишних вопросов, не вылезал со своей болезнью, не канючил: «Доктор! Скажите, я буду ходить?»

Он молча смотрел на врача, но глаза его загорались такой надеждой, что врач отводил взгляд, не в силах ответить ему, как другим, полуправдой-полуложью. «Стоящий парень! — сказал о Сергееве хирург. — Хорошо, если ему повезет». «Стоящий парень», — говорили о Сергееве сестры и нянечки.

Они понимали, конечно, что не все люди одинаково устроены и не все одинаково могут переносить боль и мысли о смерти; разная жизнь у людей, разные причины болезни. Но им, близко и ежедневно видящим смерть, сделавшимся к иной, несмертельной боли бесчувственными, им легко было отличить мужество и силу от слабости. Тот, кто борется сам с болезнью, кто не сдается ей, не полагается на других, не выливает свою боль и тоску на окружающих, тот поневоле становился объектом их забот и сочувствия, хоть как раз на сочувствие не рассчитывал, не домогался его и не требовал.

К Сергееву подходили все, кто оказывался с ним рядом. Тот подушку или постель поправит, тот напиться подаст. Чтобы он не завалился случайно на спину, под лопатки ему положили ряд плотных высоких подушек, следили, чтобы они не сбивались, оттирали Сергееву затекшие места, делали из марли тугие кольца и подкладывали ему под пятки, так как именно пятки быстрее всего отмирают при неподвижном лежании.

Прошло три с половиной месяца. Сергеев боролся за жизнь, но ему это становилось не под силу. Он знал: должно пройти полтора-два месяца, чтобы у такого, как он, больного появились в пораженных местах первые признаки жизни: начинают дергаться ноги, резкая боль пронизывает их от пятки до бедра, выздоравливающий кричит иногда от боли, хоть она — сигнал о спасении. Но время шло. Месяц прошел, второй и третий — ноги оставались безжизненными. Сергеев отчаялся ждать. Пережив самую жгучую, самую неутолимую

и неутешную тоску, он понял, что положение его безнадежно, и, осознав это, успокоился. Он что-то придумал такое, что не спасает от смерти, но и не подчиняет ей, не повергает сердце и ум в постыдный животный страх и помогает человеку оставаться человеком. Он примирился, сделался еще более тихим, спокойным, задумчивым.

Однажды, недели через три после самых тяжелых своих раздумий, Сергеев лежал, рассматривая, по обыкновению, ветви дерева за окном и кусок голубого неба, как вдруг острая боль пронзила все его тело, и он увидел, что нога его быстро и мелко дергается.

— Сестра!— закричал он что есть силы.— Сестра! Быстрее сюда! Сестричка!

Испуганная сестра подбежала к нему.

— Ноги!— сказал Сергеев, и слезы заблестели у него на глазах.

— Господи!— сказала сестра с радостным изумлением.— Сереженька! Родной ты наш! Жить ты теперь будешь! Жить!— и неожиданно для себя заплакала.

Наступили мучительные дни преодоления неподвижности, но Сергеев был готов ко всему. Он жил как бы в тумане, в каком-то немыслимом для себя напряжении и подъеме, в побеждающей все решимости. Казалось, скажи ему, что нужно претерпеть самые страшные, самые адские муки для того, чтобы быть здоровым, и он с радостью пошел бы на них.

Каждый день, не дожидаясь прихода врача-массажиста, он растирал ноги, сгибал и разгибал их до изнеможения, до того, что пот застилал бледневшее лицо, и слабость, и тошнота охватывали его. Он отлеживался, отдыхал, слушал, как гудят мышцы, как боль в них сражается с покоем и смертью, и вновь принимался за дело.

Вскоре ему разрешили встать. Держась за кровать, налегая всем телом на руки, он встал на ватные, нетвердые, как у ребенка, ноги и постоял с минуту. Уверенность окрыляла его. Он знал, что будет жить, что будет опять здоровым, как тогда, до рокового падения с высоты. Никакие сомнения не приходили ему в голову. Он отмел бы их с горячностью, если бы они возникли.

Через год он вышел из больницы и, отдохнув в санатории, приехал на свой участок.

Но с тех пор он не мог варить в люльке или повиснув на ремне. Мнилось ему, что он обречен упасть и ничем от этого не спасется. Ну что может сделать человек, если

он висит в люльке и оборвался трос? Иное дело — пройти, например, по балке. Там ты волен сделать свой выбор — идти по ней или нет, там ты можешь помочь себе: поставить твердо ногу, сбалансировать руками... А люлька что? Ты сидишь в ней, и вся твоя жизнь висит на волоске троса, и держаться за него — все равно что за ремень своих брюк держаться, проку нет. От чувства беспомощности, от ощущения бездны под ногами мутилось у него в голове, и он ничего не мог с собой поделать.

Наползала ночная жуть, вспоминалась палата, тяжкие стоны увечных. И страшная его тоска, от которой у него до сих пор осталось такое приблизительно воспоминание: будто разбухает он, увеличивается, до потолка достает в нереальном своем разрастании, и ни закричать, ни помощи попросить — кто поможет? Ночь, и вокруг одна боль, одно сплошное страдание, будто и живого мира уж нет, только бред, только стоны и жуткие шорохи.

«Прочь, прочь», — прошептал Сергеев, отгоняя воспоминания. Он давно уже не в палате. Бригада спит рядом крепким, здоровым сном. Остывает раскаленная печка. Запах сохнувших портянок назойливо лезет в ноздри. Вот треснуло дерево за окном — от мороза. Вот кто-то всхрипнул богатырски, шевельнулся, разметав одеяло, забормотал во сне. Проскрипели чьи-то торопливые шаги.

Сергеев подумал о завтрашнем дне: «Хоть бы мороз отпустил чуть-чуть». Увидел лицо бригадира, голос его как будто услышал: «Не переживай, Сергей!» — улыбнулся ему признательно и провалился в сон.

Вот и ночь прошла. Закончился отдых. Позавтракав и одевшись как можно теплее, они вышли из общежития.

Сумерки утра окутали их. Мороз резанул по глазам, высек слезы. Застонал под ногами снег, насквозь пронизанный стужей. Поселок дымился от мороза. Там и сям виднелись тревожные огни факелов, согревающих водопроводные колонки. Толстые линии заиндевеливших проводов нависали над головой. Фантастический лес из светлого мягкого дыма поднимался над домами, разрастался, сплетая кроны, заставлял ветвями небо.

Окутанные клубами выдыхаемого воздуха, они добежали до стройплощадки и развели костер. Начался последний день их работы здесь.

Пока заводили трактор и сварочные агрегаты, Сергеев и бригадир нашли и осмотрели люльку. Она лежала в снегу,

брошенная за ненадобностью, и, как всякая заброшенная вещь, производила жалкое впечатление.

— Хорошая люлька,— сказал бригадир, вытаскивая ее из колючего, жесткого снега и отряхивая рукавицей.— Сам варил, для себя. Отличная люлька!

Он выволок ее к костру, и снег на ней быстро растаял, обнажив заблестевшие темные прутья каркаса.

— Прекрасная люлька!— повторил бригадир, осмотрев ее при свете костра и быстро отпилив несколько плашек из толстой доски для настила под ноги.— Сам бы варил с нее, да грехи не пускают.

Сергеев рассмеялся. Люлька была крепкой, конечно, но такой неказистой, маленькой, неудобной, что, кажется, ни в одной стране ее не сделали бы так — быстро, тяп-ляп, лишь бы прочной была.

Они подтащили ее к стенке резервуара, привязали к тросу и подняли трос наверх, к блоку, а оттуда, с крыши, протянули стальную свивающуюся нить каната к трактору, выполняющему роль лебедки,— подъемный механизм был готов.

— Карета подана!— сказал бригадир.— С богом, Сережа!

Сергеев подошел к сварочному агрегату, покрутил регулятор тока, послушал работу мотора. «Ты-то хоть не подведи». Дизель всхрапнул, выдохнул на него теплый воздух солярового своего дыхания, зарокотал успокаивающе: «Не подвед-ду-у!...»

Взяв маску, колчан с электродами и молоточек для оббивки шлака, Сергеев залез в подъемник. «Поехали!» Трос натянулся, люлька дернулась рывком, оторвалась от земли и пошла наверх, вдоль шва, который ему предстояло заварить.

Небольшая высота, всего с семиэтажный дом, не более, а вот поди ж ты, захолонуло у Сергеева сердце. Он ухватился рукой за трос, сжал его крепко, так что пальцы заболели,— страшно стало. Только отпустил, полез в колчан за электродом,— люлька качнулась, поплыло перед глазами у Сергеева, нахлынуло все, что когда-то измучило,— боль, бессонница, страх искалеченности, сама смерть взглянула опять в глаза неотвратимым своим, гнусным взглядом. «Не-ет!— сказал Сергеев, встряхнувшись.— Не поддамся! Там не поддался, а здесь и подавно!» Оглянулся. Утро было все еще темным, сумеречным, но уже засветились на востоке желтые полосы рассвета и дым над поселком порозовел. «Скоро солнце встанет».

Вспыхнула ослепительная дуга электросварки, рассыпалась, засияла, оживила все вокруг золотистым своим огнем.

— Порядок, ребята!— закричал бригадир.— Давай все наверх!

И, радостно возбужденные, почти счастливые, они взлетели наверх по стремянке: кто ограждения ставить, кто кровлю поправлять, кто затянуть болты... заканчивать работу. Скоро стук поднялся и грохот такой, будто их здесь не шестеро было, а целая рота, может быть даже полк.

И каждый думал потаенно о том, как он придет домой, какие привезет подарки. Как обрадуются его возвращению те, кто соскучился по нему, кто ждет его не дожидется...

Сергеев не думал о доме. Не было у него никого.

Тогда, три года назад, не дождался он своей невесты. Не пришла она в больницу. Долго он ждал ее. Сначала думал: она ничего не знает, ей побоялись сказать. Потом решил, что, наверное, она уехала. Наконец, дошло до него, что она не придет никогда, испугалась его несчастья. И все, что их соединяло,— решительно все померкло. Все лучшие его воспоминания. Встречи их, запах цветущих лип, поцелуи под липами... И она в белом платье, с узким синим пояском, чистая, стройная, строгая... И ошеломляющее чувство счастья...

Не было у него никого — ни семьи, ни любимой. И деньги для него ничего не значили. Это в то время, когда он свои далекие планы строил, тогда они были ему нужны. Он счастья хотел: машину купить и квартиру иметь, цветы чтобы были всегда на столе, музыка чтобы играла. Кто знал, что он выживет, и вернется назад, и устроит отходную своему несчастью в том самом ресторане, в котором мечтали они когда-то сыграть свою свадьбу? Кто знал об этом? А если бы знали, то был бы он сейчас женат и счастлив и ни о чем бы таком не думал...

Люлька медленно опускалась, тянулся сверху ровный, отливающий маслянистым блеском шов. Плавился электрод, и падала вниз красивой дугой раскаленная лента шлака. Страх, сжимающий сердце Сергеева, отступал постепенно. Всплескивала иногда тревожная волна, туманила голову, леденила душу, но он все же так же варил, не отрывая глаз от стыка и ни на секунду не прерывая работу. Он должен был успеть к вечеру. Во что бы то ни стало.

Багровое, воспаленное солнце поднялось над верхушками елей, над тонкой полосой тумана у леса, тускло осветило

здания стройки и темные громады резервуаров. И, странное дело, солнце взошло, а стужа сильнее разгорелась. Будто другие здесь были законы физики. Стужа упала на землю дьявольская.

Скоро Сергеев почувствовал холод. Зазябли колени, застыл, замерзая, палец на ноге. Пробрал до костей сквозящий между резервуарами, знобящий такой ветерок. Сорвались сверху, с крыши, чуть заметные колючки снежинок и забились за воротник. Началась пытка холодом.

Ребятам было полегче. Они двигались, стучали кувалдами, размахивая руками, спускались на землю, вновь поднимались наверх... Их горячило их собственное движение, так что порою они забывали о стуже. А он висел, неловко согнувшись, прислоняясь невольно к раскаленной морозом металлической стенке емкости, и со всех сторон — сбоку, снизу, сверху — давил на него холод, окутывал его мертвым облаком, сжимал в своих твердых объятиях. Инстинктивно он жался поближе к огню электросварки — то плечо подставлял, то грудь, то лицо придвигал вплотную, но это его не спасало: мороз доставал до сердца. «Еще немного, — уговаривал он сам себя. — Еще метр, вот до той зазубрины...» И опять: «Полметра еще... всего лишь полметра... а там отдохну, согреюсь...» Но, согревшись у костра, такую почувствовал смертельную неохоту снова залезать в люльку, так тотчас же поддался набросившемуся на него морозу, что чуть не застонал от сковавшей все его тело судороги. Будь проклято все, будь проклят тот день, когда он впервые взял в руки держатель!..

В шесть часов вечера он закончил варить стык. С трудом ступая окоченевшими ногами, оттирая вмиг покрывшееся тонкой коркой льда, разгоряченное сваркой лицо, он устало добрал до костра и опустил на услужливо представленный кем-то ящик. «Все! Можете звать Теплова!» От костра веяло жизнью, блаженством... Не было ни холода больше, ни страха упасть. Только живые языки пламени, желтый свет костра и чувство смертельной усталости. «Зовите Теплова! Пусть приходит и смотрит».

Теплов разговаривал по телефону. Он собирался уже уходить, когда раздался звонок, и, подняв трубку, он услышал взволнованный девичий голос. «Андрей Макарович?» — «Он самый». — «Я не отвлекла вас от дела?» — «Да нет».

Каждый день происходил у них этот разговор, в котором так неотвратно, пядь за пядью, шаг за шагом сдавала

она свои позиции. Каждый день он ждал его с легким волнением игрока и совершенно твердой уверенностью, что никуда она не денется и скоро наступит день, когда она придет к нему, в холостяцкую его квартиру, и останется в ней до утра. Сколько бы она ни билась и ни пыталась отвоевать себе, оговорить заранее какие-то там права, обозначить границы, согласовать с ним совместные чаяния и надежды, сколько бы ни артачилась... «Все или ничего... и никаких надежд! А там посмотрим...»

Бригадир вошел в середине их разговора. Теплов молча показал ему на стул: присаживайтесь. Бригадир осторожно сел. «Не помешаю?» Теплов махнул рукой: «Бросьтè» — и улыбнулся трубке.

— Нет, миленькая! Мужчине нужна сабля, конь и струна... Зачем ему что-то еще? — он опять улыбнулся: твердо, уверенно. — А женщина для мужчины — перевязочный материал, комната отдыха между боями. Если я не смогу без женщины жить, даже если люблю ее, значит, дела мои плохи и нужно мне идти к врачу.

«Хорошо говорит, красиво...» — подумал бригадир, взглянув на Теплова, и вдруг поразился портретному сходству его и Сергеева. Тот же точный овал лица и сжатые узкие губы. Те же серьезные серые, отливающие сталью глаза. «Однако!.. Как же я раньше этого не заметил?»

— Ну что? — весело спросил Теплов, положив трубку и вставая. — Хочешь сказать, что все закончили?

— Да, — ответил бригадир, тоже вставая. — Теперь можно и акт подписывать.

— Ну, это мы еще посмотрим! — все так же весело возразил Теплов. — Это мы еще поглядим!

Клубы пара ворвались в дверь коридора, когда они вышли на крыльцо.

— Мороз! — с радостным удовольствием здорового, крепкого молодого человека воскликнул Теплов. — Однако, мороз какой!

Он легко сбежал с крыльца и пошел по визжащему снегу дорожки к резервуарам, отражающим выпуклыми цилиндрическими боками красноватый дрожащий свет костра. Бригадир поспешил за ним.

Ровной линией тянулся шов по синеватой поверхности металла, не успевшего еще поржаветь. Четкий, хорошо обозначенный, с нужной высотой наплавленного сверху валика.

— Подрезов нет? — спросил Теплов, нагибаясь и всмат-

риваясь в места соприкосновения шва и основного металла.— А, черт!— он дернул рукой и потряс ею в воздухе.

Бригадир рассмеялся: он и сам вчера, забывшись, прикоснулся голый рукой к заиндевавшему от мороза железу.

— Чего смеешься?

— Да так...

— Кровлю всю заварили?

— Всю.

— Не врешь?

— А зачем мне врать? Можно ведь и проверить.

Теплов подошел к стремянке, решительно взялся за прут, но как будто раздумал подниматься, приостановился.

«Да он робеет»,— догадался бригадир, мигом вспомнив, что еще и раньше-то Теплов не особенно рисковал собою, еще с лета, когда и скользко не было, и металл не покрывался коркою льда, а солнце не заходило: не то, что теперь — постоянные сумерки.

— Ладно,— примирительно сказал Теплов.— Ты не обманешь, я знаю.— И, догадываясь, что бригадир заметил его колебание, добавил искренне:— Скользко лезть и темно. А я непривычен...

— Да уж без привычки тут точно плохо,— согласился бригадир, радуясь искренности Теплова и понимая, что теперь он не станет мучить его и выискивать мелкие недоделки.

— Смотри,— строго сказал Теплов.— Перед испытанием все проверю.

— Ну а как же!— подхватил бригадир.— Кто же его испытывает, не проверив.

Теплов засмеялся:

— Хитрый ты!

— Да уж куда хитрее!

Посмеиваясь и перебрасываясь короткими фразами, они возвратились в контору.

— А ведь испугался начальник-то лезть по стремянке наверх!— с торжеством произнес молодой Федоров, глядя им вслед.

— Да нет,— равнодушно возразил Сергеев.— Зачем ему лезть было?

— И то верно,— согласился Федоров.— Нужды нет. Значит, работу принял? Можно и собираться?

— Можно. Отчего же нельзя?

Они встали и принялись прибирать инструмент — шлан-

ги, резаки, сварочный кабель. Костер догорал. Уже не взмывались над ним высокие красные языки пламени, не освещали странным колеблющимся светом лица, предметы, снег за спиной. Подступали из тьмы все ближе и ближе смутные очертания резервуаров. Будто стадо слонов сгрудилось вокруг — грозное, молчаливое.

— Все, ребята! Собирайся! Домой пора!

Вечером, часам к десяти, за ними приехала летучка: с утепленным металлическим кузовом, с сиденьями по бокам и электрической печкой — все как полагается. Сварщика Сергеева посадили рядом с шофером: он промерз и его слегка знобило. Остальные полезли в кузов.

Как легка дорога домой! Как быстра она и приятна! Заветный акт лежит в кармане у бригадира, и он в эти минуты счастлив. «А что? — думал он, воодушевляясь. — База сделана, десять резервуаров... Машины какие! С обвязкой, с установкой оборудования — по первому классу! И всего шесть человек работало. Не двадцать и не тридцать, как всегда, а шесть. Вот что такое артель! Молодец начальник, что дал нам подряд. Здесь, на Севере, иначе нельзя — ни техники, ни людей...»

Монтажники шумели, переговаривались. Настроение у всех было праздничным. И то сказать, не шутка — такую работу сделали в срок, заработали столько. Будто с ярмарки возвращаются, только бубликов нет и платков кашемировых. Ну да завтра они купят подарки. Федоров невесте — кольцо с аметистом. Ластовенко пацану — импортную коляску. А жене — шубу! Заработала — сына ему подарила! Наследника!..

Машина катила без помех: дорога ровная, зимняя, накатанная. Прозрачная темень виднелась в окошке, прорезанном над кабиной. Ровно гудел мотор.

— А скажи, Петрович, — спросил у бригадира Федоров, продолжая начатый в общежитии разговор. — Страшно тебе в море было?

Бригадир, прошлым летом ходивший в Атлантику за сельдью, просто так, чтобы мир посмотреть и денюжат зашибить, ответил охотно:

— Да как сказать... Боялся, что спишут. Веришь, когда вышли в океан впервые, ни есть, ни пить не мог. Все назад выходило. В самолете летишь, встречаются ямы. Попадал в них? А представь такие же ямы, только в десятки раз больше. Попадешь в них — все внутри отзывается.

Он сморщился и помотал головой с отвращением: беда как плохо было.

— А потом привык я, заправский матрос, да и только. В шторм попали — двенадцать баллов. Вылезли с другом наверх в рубку, посмотреть. Интересно нам! Азарт! Волна идет метров в тридцать высотой, нависает над нами как гребень, а воду под нее усасывает. И наш кораблик тоже. Ну, думаешь, все, накроет, не выскочим!

— В океане так, — поддакнул Абсалямов, желающий участвовать в разговоре.

— Стой, не мешай! — воскликнул бригадир, увлеченный своим воспоминанием. — Девятый вал, значит, идет — так он называется, даже если там и не девятый, а, скажем, пятнадцатый. Накрывает нас, бьет, ночь наступает темная, все кругом — вода. Нет нашему кораблику выхода. Затопило, его, придавило, на дно тянет. Амба! И вдруг, смотришь, выскочили. Вылетели на божий свет, проскочили девятый вал. А там следующий идет, еще страшнее. «Держись, Сашка!» — другу кричу. «Держусь!» — отвечает. Глаза горят, хохочет. Матрос настоящий. А до этого моря в жизни не видел.

— Да-а, — протянул восхищенно Федоров. — Красота!

— Что ты! — воскликнул бригадир. — Стихия! А после шторма тихо так, ласково, вода изумрудная. В Стамбуле особенно было красиво. Вот город! Дворцы, минареты, дома богатейшие!.. По набережной стулья расставлены плетеные. Садись, отдыхай... В море — яхты. Тысячи яхт. Музыка, смех, песни. Выходной у людей, праздник... Рыбу стали ловить, для себя, на ужин, а она вся разноцветная. Вот как в аквариуме, только размером побольше.

— В Стамбуле оно так, — вздохнул Абсалямов.

— Да ты хоть был там? — вскричал бригадир.

— Нет, не был, — сокрушенно сказал Абсалямов. — Я, брат, нигде не был, кроме как в Башкирии.

Все рассмеялись громко.

— Знаешь, у нас как в Башкирии? — сказал Абсалямов. — Речка течет Белая, березы над речкой стоят. Хорошо!..

Все опять рассмеялись. Весело было им ехать.

Сварщик Сергеев ехал молча. Он вообще очень редко вступал в разговор, такой у него был характер. А тут и вовсе был замкнут. Шофер, наскучавшийся за баранкой по дороге в поселок, попробовал было заговорить с ним, но Сергеев отвечал так скупой и так неохотно, что шофер принял это за пренебрежение и, обидевшись, замолчал надолго. Сергееву после этого стало и вовсе хорошо — никто не

сбивал его с мыслей и не мешал посматривать в стекло кабины с тем особенным настроением, какое у него возникло после событий дня.

Тусклая зимняя ночь чем-то отличалась от подобных ночей. В небе, он видел, как будто мела поземка, струились серебристые снега. Затем вдруг мощные прожекторные коридоры света зажглись над землей и уставились в горизонт, медленно-медленно перемещаясь. Пропали внезапно, потускнели, рассыпались, вновь разгорелись. «Откуда такие прожекторы?— недоумевал он.— Зачем они там?» И вдруг понял обрадованно: «Сияние».

— Стой!— закричал он шоферу.

Тот с недоумением взглянул на него, притормаживая.

— Стой, говорю!— вновь крикнул ему Сергеев и, едва дождавшись, когда машина замедлит ход и остановится, выпрыгнул из кабины, забарабанил по кузову.— Ребята, сияние! Вылезайте, ребята!

Они не поняли сразу, в чем дело, а когда вылезли из летучки и подняли головы, то застыли, пораженные тем, что происходит в небе.

Прямо над их головами, над машиной, над близкой тайгой висел, как огромный айсберг, невиданный белый, сверкающий куб. Хрустальные его грани позванивали, чуть трепеща, а в центре, немыслимо как глубоко, высоко, отдаленно, светилось чистое, вовсе не земное пламя.

— Вот диво-то!— выдохнул кто-то и вновь замолчал, замороженный зрелищем.

— Люди, поехали!— недовольно заметил шофер.

— Что ж, поехали...

Белое пламя светилось чистым, мерцающим светом, отдалялось, вновь приближалось, освещало их лица трепетно... Постояв еще миг и взглянув на сияние и запомнив его, они вновь забрались в машину.

— Поехали!

Плавню тронула с места машина, разогналась, набрала скорость. Полетела тайга по сторонам дороги, в тайге — тени деревьев, от сияния почти невидимые, лишь ощущаются незримо, так слабы они на белом снегу, так легки. Дикie звери стоят в лесу очарованно и смотрят вверх, склонив свои головы набок, удивляются тайне природы...

Закружил железный ящик по сопкам, загредел на ухабах. Подбрасывает монтажников на жестких сиденьях, мотает из стороны в сторону. Но хорошо им сидеть в теплом кузове, ехать домой, стремиться куда-то...

Вновь интересный пошел разговор:

— А правда, что Сергеев «Волгу» пропил?

— Да нет,— в голосе бригадира послышалась досада.— Вовсе и не пил он тогда. Просто гулянку устроил по случаю возвращения.

— Пир был!— восторженно произнес Абсалимов.— Целых три дня в ресторане одни монтажники гуляли. Никого других не пускали. На всю жизнь запомню! Денег пять тысяч заплачено было!

— Не пять тысяч, а две,— вмешался в разговор скептически настроенный Чеплаков, тот, у которого гуляла жена.— Две тысячи рублей как одна копейка. И то ребята потом их собрали и Сергееву отнесли. Так что и не пропил он их, коли взял.

— А ты попробуй не возьми, если Павлюков тебе их принес,— возразил бригадир.— Павлюкова знаешь? Упрется — хоть кол на голове теши. «Я за справедливость!» Так что взял Сергеев деньги, как не взять. Но не себе их оставил.

— А кому?

— А ты помнишь Белова?

— Ну, помню.

— Вот ему он их и отдал. Туберкулез у Белова начинался, лечиться нужно было. А денег не хватало, семья — четыре человека, Сергеев ему деньги и отдал.

— Чушь какая-то,— передернул плечами Чеплаков.— Зачем тогда было деньги пропивать? Отдал бы их сразу, и все. Результат один и тот же.

— Так ведь жизнь это, а не арифметика.

— Какой пир был!— восхищенно цокнул языком Абсалимов.— Век буду жить — такого не увижу. Праздник был, ей-богу! Человек с того света вернулся!..

Между тем Сергеев, о котором только что, неведомо для него, говорили бригадир с Чеплаковым, давно уж согрелся и испытывал теперь ровное, блаженное состояние покоя. Давно не испытывал он такого охватывающего все его существо чувства. Он понял вдруг, что вновь ничего не боится, и это был не восторг, не внезапный прилив отваги, способный проходить так же быстро, как и возникать. Ровная спокойная уверенность наполняла его, вытесняя то тяжкое чувство зависимости от внешнего мира, которое так терзало его все эти годы. Он будто родился заново. И как-то иначе представилось ему прошедшее, сделалось понятнее, хоть ясность эта почему-то и печалила. С этим ровным, все проясняющим чувством уверенности связывалась как-то и память

о ней — с предавшей его возлюбленной, без которой так осиротел его мир тогда, и жизнь на мгновение вдруг потеряла устойчивость. Отходила эта память в небытие, отрывалась от него навечно. И ему почему-то, впервые за это время, сделалось жаль ее — ту, что его предала. Отстраненно, печально жаль. Чисто по-человечески. Вспомнилось, как она приходила к нему после его возвращения из больницы, как он ее не простил. Да что там не простил! Обида и гнев охватили его. Разве мог он ее простить?

Случилось это на той самой гулянке, о которой говорили бригадир с Чеплаковым. В те самые дни...

Как много он думал в больнице о миге своего возвращения на участок. Как ярко представлял себе этот день и встречу с людьми, дорожке которых у него никого не было. Он жил там когда-то, работал там. Там были его друзья. И вся будущая его жизнь была там, на монтаже, среди верных и простых людей...

И надо же было случиться такому, что первым из всех, кого он мог повстречать в день приезда, оказался Полотер — Кудрявцев.

Радость возвращения так преобразила все вокруг, что даже Кудрявцеву он обрадовался.

— Здравствуй, Саша! — сказал он прерывающимся от волнения голосом. — Рад тебя видеть!

Кудрявцев с недоверием посмотрел на него, но, не найдя подвоха, а лишь радость и непосредственность, улыбнулся:

— Здорово, здорово! А мы тебя совсем было похоронили. Тень набежала на лицо Сергеева:

— Жив я, как видишь.

— Вижу, вижу, — ответил Кудрявцев. — Счастливый. «Волгу» теперь купишь.

— Какую «Волгу»? При чем здесь «Волга»?

— Не притворяйся — какую! — засмеялся Кудрявцев понимающе. — Самую настоящую. Денег-то небось набежало! Пять тысяч, говорят. Вот ведь как повезло! Счастливый! И жив-здоров, и «Волга» в кармане.

Лицо его засветилось такой неподдельной завистью, что Сергеев только рукой махнул. Забыл, что ли, Кудрявцева? Полотер — он и есть Полотер.

Но чем-то задела его эта встреча, что-то такое застряло — никак не мог освободиться. Будто тянулось его несчастье за ним и даже таким вот образом, в таком искаженном чьей-то глупостью виде возвращалось к нему. «Значит, счастлив я, — с горькой насмешкой думал он, мысленно продолжая свой

разговор с Кудрявцевым.— А если бы целую жизнь провалялся там, то еще больше был бы счастлив, так, что ли?»

Тут еще накладка получилась: придя в общежитие, он не застал самых близких своих друзей, разбежались кто куда — тот на свидание, тот по делам... не знали, что он придет.

Встретился кое-кто, но из отдаленно, чисто внешне знакомых. Так... узнали... не обрадовались очень уж сильно... и не опечалились, конечно. Два-три вопроса, улыбки. Две-три дежурные фразы. Будто ничего и не случилось.

Он оставил чемодан в общежитии и вышел на улицу. День был зимний, чистый, свежий. Солнечный день был, праздничный. А ему вдруг сделалось плохо. Не посчастливилось ему с возвращением. Думал нагряться внезапно, а тут никого... И ее, конечно, не было, просто не могло быть рядом. Тут еще этот Кудрявцев. «Счастливый»... Вся его боль, все его мучения ударили ему в голову от этого слова, всколыхнули ему душу. Он вдруг подумал, что и друзья могут ему не обрадоваться так, как он воображал это. Просто сделают вид, и только. И снова он будет один, как и раньше, на всем белом свете.

«Устрою праздник! — подумал он неожиданно и обрадовался: — Отмечу этот день!.. Нельзя, чтобы он от других не отличался...»

С какой-то лихорадочной поспешностью, боясь упустить хоть минуту, он бросился в общежитие разыскивать нужных ему ребят, лица которых тут же всплыли у него в памяти. «Эти сделают все как надо». И успокаивался по дороге все больше и больше, как всегда, если вдруг находил решение, снимавшее с души его тяжесть.

Закупили ресторан — тот самый, где хотели они когда-то сыграть с нею свадьбу. Оповестили ребят участка: пусть все приходят, Сергеев вернулся, он хочет видеть друзей, он просит их прийти с женами, с невестами, с друзьями, со случайными знакомыми — всех без исключения, до единого всех. Иначе обидится насмерть. Пусть приходят на часик-другой... по желанию. Посыпались гости, разговоры пошли, расспросы, рассказы... Тосты, конечно, шум, музыка, оркестрик самодельный. Кто-то платить пытался. Сергеев не дал, не позволил. Кто-то зашумел, охмелев с первой рюмки, ребята его успокоили. Как-то мощно все начиналось, с дальним прицелом, с длинной дистанцией. Несуетно, неспешно, не на бегу. Молодые и старые, опытные мастера и начинающие салажата, зеленые, необстрелянные, — все вдруг почувствовали себя свободно, раскованно, выбились из колеи ежедневных забот,

расслабились. Им и повода-то не очень нужно было искать в другой раз, с пол-оборота иногда заводились — душу распахнуть, высказать, ощутить свое братство... А тут случай такой! Вот он, Серега, живой сидит. С ними со всеми, на равных. Сказочно повезло парню! В кои веки случается так. Вот она, судьба монтажника! «Шампанского! Я плачу! Нет, Серега, позволь! Я ведь такой же, как ты, мы с тобой братья!.. Я как тебя увидел, веришь, плакать мне захотелось. Я ведь и сам — видишь?» — под Наро-Фоминском... Мальчишкой еще был тогда, сосунком... А это уже на монтаже — видишь?» — вмятина». «Здорово, Сережа! Рад тебя видеть на этом свете! Штрафную? А мы с удовольствием! Пей тут, там не дадут. Счастья тебе, Сергей!»

Веселье разгоралось, набирало стихийную силу, выходило из рамок обычной гулянки... Праздник охватил участок. Нечаянный праздник, внезапный, так любимый в народе... Что-то большее было, чем простое застолье. А что — не сказал бы никто. Какой-то гимн товариществу был, общности и причастности к настоящему делу. Радостно было, возвышенно-хорошо. Как будто никто с ним и не прощался навеки, и не разделяли их долгие месяцы, и не уезжали они от него в своих поездах срочных дел и важных событий, а были рядом все время. Как будто домой он вернулся и в этих родных ему стенах забыл все тяжелое и гнетущее душу.

Вот тут и позвали Сергеева и сказали ему, что она его ждет внизу, в вестибюле ресторана. Праздник для него вдруг сделался черным, померкло все и осталось одно: он и она, предавшая его и ждущая теперь внизу. Налившись внезапной болезненно-темной тяжестью, он едва смог сказать, чтобы ей передали: пусть уходит. Передали. Возвратились назад. Отозвали в сторону. Сказали, что ничего она не просит, только плачет там горько и все повторяет, чтобы он ее простил. Не вернулся, нет... не полюбил бы ее снова, подлую... пусть простит, ничего не надо. «Вот что, — сказал он упрямо. — Оставьте меня в покое. Поняли?» — «Поняли, — ответили ребята весело. — Чего ж тут непонятного?» — и отошли в сторону. Застолье продолжилось дальше.

В получку монтажники собрали по тридцать рублей с человека и принесли эти деньги Сергееву. Сумма получилась изрядная, что-то около двух с половиной тысяч.

Сергеев подумал немного и деньги взял. Ему показалось неудобным препираться с ребятами, которые конечно же стояли бы на своем.

Как раз в это время заболел Белов, и нужно ему было

ехать на море, в Крым, надолго, чтобы поправить здоровье. Вот к нему и пошел Сергеев и уговорил его взять деньги. Ну хотя бы в долг на неопределенный срок. Скажем, лет на десять — пятнадцать. Белов сначала стал отнекиваться, но много ли нужно силы убеждения, чтобы уговорить человека принять в дар то, чего ему недостает для самого главного — для жизни? Уехал Белов в Крым насовсем, в город Судак. Перед отъездом, прощаясь, звал к себе.

А вскоре и она уехала, о чем передали Сергееву тут же. Взял он командировку и поехал с ребятами на Север, на отдаленный монтажный участок, — чтобы забыть обо всем.

И все это припомнилось ему сейчас, но впервые без боли, без чувства обмана и обиды, а так, будто это случилось с другим человеком, очень ему знакомым и дорогим, или как эпизоды безвозвратно минувшего детства. «Кто же знал, что все так получится?» — с грустью думал он, припоминая, что и сам он тогда, в больнице, решил запретить ей к нему приходить, — пусть живет, пусть поплачет и будет без него счастлива, там, в прекрасном, здоровом мире. Твердо решил, бесповоротно. Разве только хотелось услышать, что приходила она. Так хотелось это услышать!

Горит, горит над их головами белый хрусталь сияния. Все сильнее разгорается, пылает неистово чистым, холодным пламенем. Нависает, тревожит... Для чего это чудо, зачем? Машина под ним — атом, пылинка, мчащаяся без цели. Лучше и не смотреть на него.

А впрочем, пусть светит.

— Скажи, Петрович, — вновь спросил у бригадира Федоров. — А приходилось тебе падать так, как Сергееву?

— Так не приходилось, — ответил бригадир, покачав головой отрицательно. — Но пережить пришлось. Поседел даже от этого. Вот, осталось с тех пор... — он прикоснулся ладонью к виску.

— Как поседел?

— А так, за несколько минут. Как от страха седеют?

— Разве ты поседел не от жизни? — спросил Абсалямов, удивившись. — Вот уж не думал...

— Э-э, брат! — воскликнул бригадир насмешливо. — И ты бы поседел, ей-богу. На волоске жизнь висела.

— На ремне повис?

— Нет, хуже. Да вот послушай! В Омске было, на ТЭЦ. Я работал на шестидесятой отметке, а в середине ее ствол до

самой земли был пустой — шахта. Внизу, на земле, на днище ствола, тоже работали люди. И понадобилось мне перетащить через шахту трубу. По правилам, конечно, предупреждать надо людей, уводить их оттуда, снизу, а затем трубу подавать. А я молод был, горяч. Ни о чем таком не думал. Что людей отрывать от дела? Подумаешь — труба! Зацепил ее сверху тросом, оторвал от пола и с наклончиком подаю медленно, как с горки. И пошла у меня труба вразнос, потащило ее к шахте. А там, на дне ее, — люди! Вдруг она из стропа выскочит? Раздавит, как муравьев! Держу я ее, не отпускаю, а в ней весу три тонны да инерция, — где мне ее удержать? Так до проема и дотащило меня. Полетела она над шахтой, как маятник, а я на ней повис. А внизу ствол бездонный. Выскочила на ту сторону и назад — как на качелях. Так и мотало туда-сюда над шахтой, пока не остановилась. Ну тут я уже ничего не помню. От трубы меня ребята втроем отдирали. Как я за нее держался, за скользкую, — в фуфайке, в варежках, зимой! — ума не приложу. Не в обхват ведь труба, руками не обцепишь, просто прилип к ней. От страха и поседел.

— Да-а... — протянул Абсаямов. — Сильно, видать, ты жить хотел, если смерти так испугался.

— А то, — усмехнулся бригадир. — Еще бы не хотеть. Тридцать лет мне было. Жизнь только начиналась!

— А Теплов-то, — вдруг с торжеством сказал Федоров, — побоялся сегодня наверх лезть. Не захотел, страшно стало! Бригадир сердито нахмурился:

— У него свои дела. Мы их не знаем.

— Эт-то точно! Мы их не знаем.

Машина въехала на гору, с нее открылся внезапный вид на огни города, подковой опоясывающие залив, смутные силуэты сопки за городом и справа — на плотину электростанции.

— Приехали! — радостно закричал Федоров, выглядывая в переднее оконце. — Дома, ребята! Там, где нас ждут.

— Кого ждут, а кого и нет, — тихо произнес Чеплаков, с тоской вглядываясь в вечернюю зимнюю темень.

Федоров его не слышал. Еще полчаса — и его ненаглядная выскочит из дому, поправляя на ходу полушалок, и, звонко и счастливо смеясь, обнимая его, целуя в небритую щеку, ласково скажет: «Радость моя приехала!» Дома они! Ура!

Все оживились. Ради этого мига встречи пластались они на морозе, совсем не щадили себя. Ради этого, и ничего дру-

гого. Вот он — временный их дом. Там, в Москве, — настоящий, родимый. Здесь — монтажный.

— В Москву махну! — вдруг неожиданно для самого себя сказал Федоров. — А что? Деньги есть. Пусть Анюта Москву посмотрит.

«Точно, Москва, — метнулось у Абсалимова. — Отца туда везти нужно, в спецполиклинику. Вот она, мысль...»

О Москве подумал и бригадир. Слетать, что ли, туда на недельку к внукам? Счастье его — внуки. Когда-то все дочку хотел. Сыновья подросли, он их почти и не видел — школа, походы, улица. А дочка была бы в радость. Но появились внуки, и только тогда и узнал он настоящее счастье. Наверное, нет большего счастья, чем когда рождаются внуки. Как будто ты сам рождаешься заново. Ведь ты уже даже не в детей переходишь, а дальше еще, в глубь времен...

«Поеду в Судак, к Белову», — думает Сергеев, и грезится ему почему-то старшая дочь Белова — нежная, милая, податливая. Сергеев отгоняет видение, но она стоит перед глазами как живая: детские припухлые губы, тихие мерцающие глаза. Над прямым пробором вьется нимб тонких, еле видимых волос, нос чуть вздернут, стройная фигура напряжена. «Это она оттого, что я смотрел на нее, напряглась», — сообразил Сергеев и радостно улыбнулся.

Вот и город. Свет фонарей, темные фигуры прохожих. «Приехали!» Монтажники собирают нехитрые свои пожитки и выбираются из машины. Мороз все так же резок, и снег блестит под электрическим светом. Дымится воздух, замерзают ресницы, и давит в груди от холода. Задерживая дыхание, они бегут по визжащему снегу, переливающимся тысячью искр, смеются, перекликаются, договариваются о празднике, торопятся к себе.

Полночь. Последний день старого года. Хрустальный куб над их головами распался, рассыпался, будто его и не было, и играли теперь над тайгою привычные гармоника полярных сияний.



А. Трапезников

**СОТЫЙ
ПО СПИСКУ**

В номере районной гостиницы разместились четыре человека. Двое, лет по сорока пяти, заняли две койки у окна и, разложив на тумбочке картошку, лук, хлеб, вареные яйца, ужинали, неторопливо разговаривая. Они оба невысокого роста, кряжистые, с выгоревшими на солнце белесыми волосами.

Двое других, помоложе, заняли свободные койки у двери. Они бросили на них свои спортивные сумки и вышли в коридор.

— Слушай, Боб,— сказал один из них, широкоскулый,— Не нравится мне что-то этот городишко. Нет в нем ничего особенного. Поедем-ка лучше дальше, а?

— Завтра решим,— ответил второй.— Все равно уже поздно. Как ты думаешь, Алик, нам здесь удастся где-нибудь перекусить?

— Сомневаюсь,— сказал Боб. Он кивнул в сторону двери.— Видишь, тут все на самообслуживании.

— Пошли, поищем где-нибудь столовую, что ли...

— А они не залезут в наши сумки,— засомневался Боб,— пока мы будем отравлять желудки?

Тот, кого звали Аликом, посмотрел на дверь номера.

— А даже если и залезут,— сказал он.— Брать-то все равно нечего...

Они были студентами столичного вуза. Это уже был пятый или шестой городок за время их путешествия в каникулы.

Когда они вернулись обратно, соседи лежали на койках и продолжали неторопливую беседу монотонными глухими голосами. Речь у них шла все об одном и том же — о каком-то

доме, крышу которого они будут перекрывать, шифере, досках, гвоздях, заклепках,— и все так размеренно, обстоятельно, словно тема была эта неисчерпаема на долгие, долгие годы.

— Я зажгу свет?— спросил Алик, глядя на них.— Темно.

— Давай,— отозвался один из соседей.— И верно, чего впотьмах сидеть? Как, Толич?

— Конечно, давно надо,— отозвался другой.— Мы-то с тобой заболтались, не заметили, как стемнело.

Лампочка на длинном облезлом шнуре осветила неуютную комнату, где из всей мебели было только четыре койки да столько же деревянных тумбочек. На той тумбочке, что ближе к Толичу, стояли две фотографии, прислоненные к кружкам. На одной был запечатлен он сам в матросской форме рядом с круглолицей смеющейся девушкой в простом ситцевом платье. На другой — они же, но лет через пятнадцать, с застывшими, напряженными лицами, и рядом — два подростка в школьной форме.

Алик незаметно толкнул своего приятеля. Тот же посмотрел на разложенные фотографии и усмехнулся.

— Это называется устроиться с комфортом,— тихо сказал он.

— Нет, в самом деле забавно,— шепотом сказал Алик.— Зачем это?

— А ты спроси у него...

— Обидится, неудобно.

Соседи курили папиросы, стряхивая пепел в консервную банку, стоящую на полу между ними. Студенты слышали одно и то же: шифер, стропила, толь, крыша...

— Ладно, Алик, давай читать,— сказал Боб и улегся с книжкой на койке. Он как-то сразу отключился от всего — от номера, соседей, приятеля,— с головой ушел в книгу.

Алик лежал на кровати и прислушивался к разговору у окна. Он чувствовал какую-то странную неприязнь к соседям, непонятную и совершенно не оправданную ничем, граничащую с обидой за них перед чем-то важным в жизни, недоступным их пониманию.

«Что они видели и знают, кроме своего места где-нибудь в глуши да таких вот случайных поездок в районный центр, который и в самом деле является для них центром всей жизни,— думал он.— Это непостижимо — всю жизнь простоять на какой-то одной точке, не двигаясь с места. Они как бы застряли в придорожном пункте, где нет ничего, кроме вихря проносащихся мимо поездов. Весь мир для них сжат до

предела, до размера дома, родной деревни. Сейчас у них все мысли вертятся вокруг крыши, которую будут перекрывать. Вернутся обратно — тоже какая-нибудь чепуха вроде этой. Страшно... Ни мировой литературы, ни настоящего искусства, ни политики. Маркес и Гессе — для них непонятный набор букв, бессмыслица. Вознесенский — бухгалтер из соседнего колхоза. Итальянский неореализм — просто чертовщина какая-то... Гоголь и Гончаров — смутные, далекие тени. И все-все, что составляет золотой человеческий запас мысли, — все это где-то на другом краю света. Даже земля для них как бы плоская. Спроси у них, что происходит в мире, и они начнут рассказывать про то, как в соседнем колхозе сгорела конюшня. Уотергейт для них — бред сивой кобылы... Ну, может, слышат иногда что-то по радио, видят по телевизору — и все... Вот интересно, сколько раз в течение пяти минут они произнесут слово «шифер»?

Он посмотрел на часы и засек время.

— Боб? — позвал он немного спустя.

— Ну? — недовольно оторвался от книги.

— Знаешь, что страшнее смерти?

Боб посмотрел на него с любопытством.

— Существование, — сказал Алик.

— Это что? — спросил Боб. — Рассуждения о бытии в районной гостинице.

— Страшно жить просто потому, что родился, — сказал Алик. — Проходить цикл, не мечтая больше ни о чем, как кукла. Быть сотым по списку. В самом конце. А знаешь, сколько раз в разговоре можно употребить произвольно одно и то же слово в течение пяти минут? Без ущерба для здоровья... Восемнадцать раз!

Боб усмехнулся, посмотрев в сторону окна.

— Если бы мне сказали, — продолжал Алик, — что я буду всю жизнь вкатывать на гору один и тот же камень, но буду жить вечно, как Сизиф, я бы придавил себя этим камнем.

— А мне всегда казалось, — сказал Боб, — что даже свой камень он каждый раз вкатывал по-новому. Главное, зачем — только ли для того, чтобы достичь вершины горы, или каждый раз по-новому пробовать преодолеть путь.

— Эй, ребята, — окликнули вдруг студентов. Они повернулись к соседям.

— Вы ребята грамотные, — сказал Толич. — Помогите в одном деле. Я тут письмо написал. Жене. Она у меня учительница.

— Ну и что?— спросил Алик.

— Проверили бы ошибки в письме,— он широко улыбнулся им.— Она у меня строгая на этот счет, ругается.

— А то двойку ему влепит,— рассмеялся второй.

— Двойку не двойку, а ворчать будет,— сказал Толич.— А у меня с запятыми всегда что-то непонятное происходит — прыгают с места на место, как блохи.

— Я чужих писем не читаю,— ответил Алик. И вдруг сказал неожиданно для себя:— А впрочем, давайте.

У него появилось какое-то жгучее любопытство к ним, особенно к этому Толичу, с его шифером, фотографиями на тумбочке и теперь вот каким-то нелепым письмом к жене, хотя через неделю, как он слышал, они уже собираются возвращаться обратно.

Толич протянул ему листок бумаги, мелко исписанный карандашом.

— Это ваша жена?— спросил Алик, кивнув в сторону фотографий.

— Супруга,— подтвердил Толич. Он с каким-то трудом оторвал взгляд от ее лица.— А это — дети. Колька и Лешка.

Алик сел на койку и развернул листок.

«Здравствуй, жена Катя!— прочитал он.— Здравствуйте, Колька и Лешка! Как вы там живете одни? Что делаете? Как здоровье? Не болеете? Соскучился по вас сильно, очень хочу видеть, прямо скорей бы домой. А в остальном все нормально устроился хорошо. Мы с Петро в гостинице живем, с нами два студента. Ребята хорошие. Были у заказчика завтра приступим. Работа нетрудная думали хуже будет, а так ерунда одна. Если он шифер завтра завезет, то в неделю управимся. Будем снова все вместе. Сильно соскучился по вас, жду не дожусь когда приеду. Скоро уже потерпите может через неделю. Крепко обнимаю вас всех.

Анатолий Егоров».

— Ну как?— спросил Толич, видя, что его письмо прочитано.

— Исправил,— сказал Алик, протягивая листок обратно.— Не так уж и много. А зачем вы письмо пишете, если через неделю уже дома будете?

— Ну как же?— удивился Толич.— Уехал ведь, надо написать, как и что.

— Я бы стиль исправил,— сказал Алик.— Обороты речи... Повторов много. Можно покороче.

— Нет,— сказал Толич.— Короче никак нельзя. Семье пишу.

Студенты переглянулись.

— А вы, ребята, наверное, холостые?— спросил Толич.— Невест нет?

— Нет,— сказал Боб.

— Вот то-то и оно. Женитесь — сами поймете. Верно, Петро?

— Так,— отозвался тот.— Да только и баловать так вот, как ты, тоже нечего. Он наверняка денька через два еще письмо накатает, я уж знаю.

— Ну и что?— рассмеялся Толич.— Ну и напишу, раз пишется.

— Вы, видно, очень любите свою семью?— спросил Алик.— Мне показалось, вы вроде бы давно женаты. Что, чувства к жене не остыли еще?

— Нет,— отозвался Толич.— Не остыли. Мы их на огне поддерживаем. А если честно — то как что, сразу вспоминаю, как она мне лет пятнадцать назад, можно сказать, с боями местного значения досталась. Я же ее из-под венца увел.

— Как?— удивленно спросил Алик, совершенно не ожидая такого необычного поступка от этого такого обычного человека.

— А вот как,— сказал Толич, очевидно, и сам испытывая удовольствие от этой истории.— Давно я ее любил, еще со школы. Только не знала она... Не говорил я. А тут вдруг начал к ней агроном один свататься, приезжий. Девушка она была видная, красавица... Да и он из себя — статный, высокий... Ну и дрогнуло у нее сердечко. Потянуло ее к нему. Охмурил он ее, короче. Они уже и свадьбу назначили осенью. Сыграли бы свадьбу — и увез бы он ее в город. «Ты,— говорил агроном,— не для такой жизни создана. А в городе я для тебя и работу найду, и квартира у меня с телефоном, и все как у людей будет».

Толич помолчал, глядя на фотографию.

— Что я только ни говорил ей тогда, как ни разубеждал — ничего не слушала. Заладила одно и то же — мне там лучше будет, и все. Ну, думаю, раз такое дело, раз помутилось у ней в голове, надо иначе делать. С другого конца зайти. Потому что знаю — уедет она, и мне жизни не будет. Узнал я через ее подругу, когда они в сельсовет пойдут расписываться. Позвал агронома этого, словно показать что-то хочу, в баньку. Ну и запер там. «Кричать будешь,— говорю,— спалю к такой-то матери». Вышел — и напрямик к ней. Пойдем, говорю, хоть напоследок по нашим местам побродим, все равно уезжаешь ведь, может, не увидишь больше. Время

есть, говорю, жених твой пока баньку принимает. А мы с ней, ребята, часто бродили... И места у нас свои любимые были... И знал я, главное, что любит она все это, что не сможет потом жить без своего края, мучиться только будет.

Пошли мы — и так хорошо вокруг, словно природа сама мне в этом деле помогала. А тут еще и я говорить стал. Не знаю уж, откуда у меня слова-то только такие нашлись, словно молчал, молчал — и вдруг прорвалось. Послушали бы вы меня тогда — удивились. Я и сам не меньше удивлен был, казалось мне тогда, на всю оставшуюся жизнь наговорился... Тронул я ее чем-то, не выдержала она, заплакала. «Дура я, дура,— говорит.— Такую красоту на пыльную квартиру променять хотела...» Смолчал я тогда, что и меня чуть не променяла.

Вернулся я потом к агроному и говорю: «Даю тебе три часа на сборы, и уезжай немедленно, а чтоб к Катерине даже не заходить». Он драться было полез, да только передумал быстро.

— Ну а может, он тоже любил ее?— спросил Алик.

— Если б любил, не уехал,— сказал Толич.— Видел я, что не она ему нужна, а лишь красота ее.— И он добавил, помолчав немного:— Ну а через год мы с ней свадьбу сыграли... Так вот.

— Интересно,— сказал Алик.— И что же, вы так ни разу не поссорились?

— Были и размолвки,— сказал он, насупившись отчего-то.— Да что говорить, то уж прошло.

— Это когда он вольной жизни захотел хлебнуть,— сказал Петро, усмехнувшись.— В торговый флот подался...

— Куда, куда?— изумился Алик.

— В торговый флот,— ответил за Толича Петро.— Он ведь и в армии на флоте служил, пока не комиссовали. Ну и захотел мир посмотреть, что там, в других-то краях. Жена-то его не пускала, да он все равно на своем настоял.

— Молодой был,— как бы оправдываясь, сказал Толич.— Думал, много вокруг всего, чего у нас нет. Вот видишь, как получается,— посмеялся он.— Сам жену в город не пускал, уверял, что нет ничего краше, чем здесь, а через несколько лет сам пустился...

— Так вы, что же,— словно не веря, спросил Алик,— по морям, что ли, плавали?

— Плавал,— неохотно ответил Толич.— Наплавался... А надо было дома сидеть. Тогда бы этот,— он кивнул на фотографию,— старший-то, моим бы был, кровным.

— Погодите,— сказал Алик, ничего не понимая.— Вы что, хотите сказать, что один сын не ваш?

Толич молчал, не отвечая. Видно, не хотел просто.

— Тут такая история,— сказал Петро.— Старшего-то она без него родила. Ну, разругались они тогда, он и уехал по морям своим плавать. А баба, она и есть баба, думала, наверное, по дурости, что уж и одна осталась на всю жизнь. Как уж вышло — никто не ведает, а только уехала она все ж в город. Да, видно, не очень-то сладко ей там пришлось, потому как года через полтора вернулась. Да не одна, с ребенком. Говорят, что видели ее в городе как раз с агрономом этим. Вот тебе и агроном.

— А только прав я был,— сказал вдруг Толич.— Не было бы у нее с ним счастья, раз он ее уже потом с ребенком отпустил. А теперь он мой сын, и точка,— добавил он, как отрезал.

— У нас в деревне уговор,— пояснил Петро.— Не должен сын знать, что другой у него отец... Ну вы-то люди посторонние, не разнесете... Да и у нас не скажет никто — нет таких...

Алик непонимающе смотрел на них.

— И вы ее простили?— спросил он у Толича.— Как же так?

— А что же ее, распять за это?— ответил тот.— В землю закопать?

— Нет, конечно,— сказал Алик.— Но — простить! Я этого не понимаю... Она же вас предала, подумайте!

— Э, браток,— сказал Толич.— Предают-то не так. Здесь другое — отчаянье у нее было. А оно от меня шло. Если кого и казнить — то только меня и надо было. А еще лучше,— добавил он, широко улыбнувшись,— вообще никого не казнить, а просто жить как живется... Если жизнь-то без наказаний, то это — счастье...

— Да-а...— задумчиво проговорил Алик, глядя на приятеля. Тот давно отложил книжку и слушал их разговор.

— Ну а где же вы плавали?— спросил Боб.— По каким морям?

— Да везде,— сказал Толич.— Только давно это уж было. Словно в другой жизни. Я ведь, ребята, как только домой вернулся, тут и подумал, что дурак был, если счастье за морями искал. Вот же оно — здесь, вот — жена, вот — дом. Речка, лес, друзья рядом. Что еще надо? А та жизнь, плавание-то,— вроде и не со мной вовсе было. И хоть повидал много, а не помню. Смутно все, будто выбросил, как хлам лишний...

— Ну а где плавали все же?— не унимался Боб.

— Ну, в Швеции, в Дании,— с неохотой отозвался Толич.— Около Шотландии раз тонули. В шторм.

— Быть не может!— сказал почему-то Алик.

— Ну как же,— отозвался Петро.— У него и фотографии есть — там он в какой-то деревушке шотландской, на скалах. Даже в газетах печатали. Где у тебя эта фотография-то?

— Что я, с собой весь альбом, что ли, должен таскать?— отмахнулся Толич.— Валяется где-то дома.

Алик в раздумье смотрел на Толича.

— Вы понимаете, что вам такое выпало,— сказал он,— что только сидеть и записывать. А вы отмахиваетесь — как будто ерунда это. Вот как, например, вы тонули в Шотландии? Помните?

— Ну, шторм был сильный,— сказал Толич.— Что еще? Налетели на скалы, так и просидели до утра, пока нас не сняли спасатели. Вот и все.

— Все?— спросил Алик.— Да если б я там был, я бы про это потом всю жизнь вспоминал.

Толич задумался.

— А я там, пока мы на скалах сидели,— проговорил он,— свою Катю вспоминал, первым делом о ней подумал. Сказал себе: только вернусь на Родину — домой поеду. Все, хватит, отплавал. Да и тогда, будь моя воля, сиганул бы в море и поплыл обратно.

Алик молча смотрел на него, будто не веря.

— Ну ладно,— встрепенулся Толич вдруг.— Заболтались мы, а нам в пять утра вставать. Спать пора.

— Да,— проговорил Петро, словно рассуждая сам с собой.— Толич у нас такой. Его копни — он много чего порассказать может. Взять хотя бы вот этот шрам.

— Какой шрам?— спросил Алик.

— Да ладно тебе,— сказал Толич.— Хватит уж.

— Чего хватит?— спросил Петро.— Покажи шрам-то.

— Все, сплю я,— сказал Толич, накрываясь одеялом с головой.

— У него шрам прямо на сердце,— пояснил Петро, поворачиваясь к студентам.— От пули. Это когда он в армии служил и во время стрельбищ его и прошило насквозь.

— Как это?— спросил Алик.

— А так,— ответил Петро.— Он сдуру к мишеням полез, а другой дурень, необученный, пальнул. Да и попал в него. Прямо в сердце.

— Около сердца,— поправил Толич.— Ладно, спи.

— Как же выжил-то?— спросил Алик растерянно.

— Да вот как-то...— сказал Толич.— Пуля-то насквозь прошла. Я сначала не понял, что произошло, а потом все как-то темнеть стало, быстро, быстро, и вдруг — опять яркий свет... Ничего, я живучий...

— Это точно,— подтвердил Петро.— Он до ста лет проживет.

— И жалеть не буду,— ответил Толич.— Ну ладно, спать давайте.

Он отвернулся к стенке и нарочно громко захрапел.

— Притворяется,— сказал Петро.— Ну ладно. Спать так спать.

Он тоже лег на койку, и студенты вернулись на свои места.

— Эх, если б у меня такое было,— сказал Алик, размышляя вслух.— Это ж уму непостижимо, сколько тут всего...

— Может, еще будет,— произнес Боб.— Искать надо...

— Да нет,— ответил Алик.— Такое само находит. Кого надо. Вот тебе и сотый по списку.

— Ты о чем?— спросил Боб.

— Черт его знает, о чем я,— отозвался Алик.— О том, что считать надо выучиться...



**ИЗ ЖИЗНИ
ЗАХАРОВА**



Он пришел ко мне в гостиницу в черном костюме и при галстукe, хотя жара стояла под сорок, как всегда в этих краях в августе, и, вылупив черные несмаргивающие беличьи глазки, напряженно представился: «Ковылев. Начальник управления. По поручению Захара Петровича», — и протянул мне квадратик голубого картона, на котором в рамочке из перевернутых набок параграфов крупным шрифтом были набраны его фамилия, имя, отчество и должность. Сроду не выдывал таких визитных карточек.

Потом он мне объяснил, что робел чрезвычайно, ибо с пишущей братией дел раньше не имел, да и о визитных карточках знал только понаслышке. Но это было несколько лет спустя, когда он выучился солидно похихатывать, заказывать визитки в Москве и завел множество знакомств среди литераторов и артистов, чем он, как всякий провинциал, очень дорожил, а Ковылев был провинциалом до мозга костей, всей душой, вполне провинциалом: провинциальность, на мой взгляд, и составляет суть его натуры.

Понятно, я говорю о провинциальности, не зависящей от места жительства. Человек может родиться, вырасти и составить на Арбате или Палихе, но при этом столицей сердца втайне считать Култуки, где у брата имеется собственная пасека. Столицей сердца считать Култуки и все же цепляться за Арбат, остро завидовать соседу, по случаю купившему потрепанный «ягуар», или увешивать старинными иконами стены прихожей — признаков жизни первого сорта не счесть, а кроме первого существует еще и высший, предел желаний

неутолимых, осуждение бессрочное. В сущности, может, это и есть провинциальность: любить гречневую кашу с молоком, но в ресторане заказывать устрицы...

И вот он пришел и сказал: «По поручению Захара Петровича». Можно было лопнуть от смеха, глядя на его штiblеты и галстук. Так и хочется выговорить по-старомодному: галстук. Ай да Захар Петрович! Ай да удружил!..

С Захаровым я уже успел повидаться. Он был злой, как черт, и серый от усталости. Я прошел к нему без доклада. Он сидел, углубившись в бумаги. Услышав шаги, поднял голову, сдвинул очки на лоб и уставился на меня, как бы не узнавая. Потом, не отрываясь от кресла, протянул руку через стол и проворчал:

— Мог бы и предупредить.

— Так получилось,— ответил я, не вдаваясь в подробности. Да ему и неинтересны были подробности.

Не дожидаясь приглашения, я сел. Сам-то он никогда не предложит. Захаров помолчал минуту и хмуро общил:

— Уезжаю в Ясногорск. С собой не приглашаю. Еду снимать стружку, тебе там делать нечего. Дня через два подгребай, я дам знать. Жить пока будешь на даче.

— На даче у вас павлины орут. И вода из бассейна спущена. Жить буду в гостинице, номер восемнадцатый. Уже устроился. На два дня дел мне хватит.

Он снова помолчал и надвинул очки на глаза:

— Как знаешь. Тогда все. Извини, занят я очень.

На этом аудиенция закончилась.

Если не знать Захарова, его можно счесть полным бурбоном. Да он и есть бурбон, чего уж тут. Один святой старик, хранитель памятников древности, русский, которого мусульмане допускали в домóвые, скрытые от посторонних глаз мечети, так и называл его: «Помпадур из Ясногорска». И не робкого десятка люди терялись перед ним. Помню, мы однажды беседовали с ним, когда в кабинет без стука вошел важный дядя и с порога недовольно заговорил о задержке монтажа телефонной станции. Захаров прервал его:

— Да ты кто такой?

Он всем говорил ты.

— Меламед. Начальник областного управления связи,— с достоинством ответил дядя.

— А-а, Меламед. Ну, обожди минутку.— Он нажал кнопку на пульте и буркнул в микрофон:— Зайди ко мне.

Вызванный явился тотчас.

— Слушай, Маламуд,— сказал ему Захаров,— вот из области Меламед приехал. Тоже связью занимается. Я думаю, вы найдете общий язык.

Меламед и Маламуд, ошарашенно озирая друг друга, вышли из кабинета.

В другой раз, в Ясногорске, ему пожаловались, что в столовой нет овощей. Он вызвал заведующую. Явилась красавица с необъятным бюстом и пшеничной косой вокруг головы.

— Здорово, Антонина,— сказал Захаров.— Все ворует? Ну-ну. А почему помидоров в буфете нет?

— Уж вы скажете, Захар Петрович,— пропела заведующая.— Да разве мы ворует? Воруют жулики да воры. А мы народ кормим. Помидорки после обеда из подсобного привезли. Вам не прислать ли?

Захаров молча погрозил ей пальцем. Антонина уплыла.

— Я бы вас за обиду к ответу притянул,— сказал я.

— Накладно ей обижаться. Ворует. Ловить некому. Приезжала тут ко мне, машину просила. А на какие шиши? С ее зарплатой не разбежишься. Ворует. Ишь, задницу-то отъела. Шестнадцать кулаков...

И все же при всей грубости, при всем бурбонстве обладал Захаров крепким обаянием. Он вовсе не был человеком черствым и бездушным, хотя вряд ли придавал большое значение качествам, столь ценным нами в обиходе,— доброте, скромности, отзывчивости; все эти качества он как бы пересчитывал по другой, может быть, для него единственно заслуживающей внимания шкале,— по шкале работы. Работник он был великий. Не просто трудяга, ломовик, покорно тянущий свой воз, не исполнитель, добросовестно следующий предписаниям и графикам, не раз и навсегда заведенный робот — сгусток страстей, интеллекта, смелости, даже дерзости. Сколько раз приходил он на пустое, голое место — в таежный распадок, в горное ущелье, в обдутую знойными летними или зимними ледяными ветрами пустыню, приходил с десятком-другим помощников, и тут же закипало, заваривалось вокруг него непонятное сперва действие: громоздились временки, машины начинали месить грязь и взбивать пыль, разгружались с платформ и трейлеров негабаритные железяки. Проходил год, и на пустоши уже просматривался поселок. Как-то незаметно пространство заполнялось людьми, поселок разрастался в город, возле города поднимался завод, по утрам к его проходным тянулись буд-

нические толпы; и когда это происходило, Захаров собирался и ехал на другое место, к другой пустоши, и все повторялось сначала. Я знаю несколько городов, построенных им,— это прекрасные города. Конечно, они появились бы на свет и без него, но появились бы не такими и, в этом я уверен, не так быстро.

Собственно, этим городам я и обязан добрыми отношениями с Захаровым. В свое время я сделал фильм об одной из его строек. Фильм, признаю, довольно средний,— правда, мне повезло с оператором, он снял несколько живых, заранее не отрепетированных, не записанных в сценарий эпизодов. С тех пор Захаров переменялся ко мне, не то чтобы подобрел (к нему это слово не приложимо), но как бы причислил меня к людям дела, и не просто дела — его дела. Отныне, зачем бы я ни приехал, я приезжал на работу.

Работа была для него единственным интересом в жизни, все остальное лишь сопутствовало ей. Если не мешало, то хорошо, он не возражал против такого сопутствования и подчинялся общему порядку: ходил иногда на стадион, но не потому, что был болельщиком, а так, своя все-таки команда играет, одно содержание в какую копеечку комбинату обходится, или в кино, потому что жена обижалась, да и надо же иногда появляться на людях. Если же что-либо работе вредило или он считал, что вредило, то обуздать его стоило трудов, он беленел от негодования. Великий конфуз произошел с ним в ту пору, когда все переходили на пятидневную рабочую неделю. На профсоюзной конференции он один самым решительным образом выступил против двух выходных дней.

— Да что мы делать-то в эти два дня будем?

— Отдыхать,— отозвалось несколько голосов из зала.

— Так ведь со скуки подохнуть можно! — искренне воскликнул он.

Мне всегда было немного жалко его жену, Калерию Ивановну, тихую милую женщину с робкой улыбкой, библиотекарку: каково, думалось, ей с ним приходится. Он мог не появляться дома и день, и неделю, и месяц. У него был не только ключ от дома, но и по заказу прорубленная дверь в свою комнату, потому что он мог приехать посреди ночи и снова уехать, не дожидаясь утра. Его всегда ждала свежая постель и чистая рубашка, большего он и не требовал. Детей у них не было. (Квартира на улице Горького в Москве, полученная в качестве премии, двадцать лет стояла закрытой.)

И к людям у него был подход однозначный: хороший работник — значит, хороший человек, а если работник плохой, то он и не человек вовсе. «Хороший человек, такой должности нет», — сказал он мне однажды. В работнике он прежде всего ценил верность слову. Да — это да, а нет — нет. Обещал — сделай. Когда его кто-нибудь подводил первый раз, он запоминал этот случай навсегда. После второго раза престиж человека резко падал. После третьего — не поднимался. «А-а, трепло», — говорил он, и переубедить его было невозможно. Как многие крупные руководители — под его началом трудились десятки тысяч людей, — в оценках он был, если так можно выразиться, консервативен, мнение изменял неохотно. Такого рода консерватизм мне кажется защитным механизмом памяти: слишком много всего приходится держать в голове. В какой-то мере он полезен. Но и вред от него велик. Около Захарова всегда заводились какие-нибудь прохиндеи. Немного, потому что обмануть его было трудно, но всегда. За свое прохиндейство они расплачивались работой и расплачивались сполна, бездельников-то он распознавал безошибочно; он же им платил цену более высокую — поддерживал, защищал, продвигал по службе, представлял к наградам, ни в чем не отделяя от круга порядочных людей. То есть они в его глазах и были порядочными, как все, а может быть, и лучше, чем многие другие, потому что в отличие от них работали напоказ.

Когда закладывали завод сплавов в Ясногорске, а закладка происходила торжественно, с духовым оркестром, флагами и речами, Захаров стоял на краю котлована и смотрел, как подносят бетон. Вдруг он снял с руки часы, тяжелый дорогой хронометр, и коротким движением, как битую в игре, бросил его в раствор. И тут же несколько человек торопливо расстегнули ремешки — полетели, как медяки, часы.

Вечером, за общим ужином, в полушутливом разговоре я сказал Захарову:

— Я бы на вашем месте этих людей завтра уволил. Или, во всяком случае, стал их остерегаться.

— Почему это? — удивился Захаров.

— Да так уж, — только и смог объяснить я.

Когда расходились, Виктор Свободин, рыжий мордатый балагур, замначальника стройки, насмешливо шепнул мне:

— И меня бы уволил?

— Тебя — первого.

— А Захар меня ценит.

— Вот и плохо, что ценит.

— Почему?

Тогда я не ответил на этот вопрос. Не знаю, сумею ли ответить сейчас.

Свободина было за что ценить. Хваткой он обладал мертвой: вцепится — не отпустит. Лет за шесть до начала Ясногорска — тогда строили химкомбинат, ГРЭС и город возле них — его сразу после института поставили инженером на участок водоочистных сооружений. Первую очередь комбината вот-вот должны были пустить, а водоочистка отставала, поэтому не вылезали из авралов, выходных не знали по месяцам. Начальник участка матерно ругаться не умел, не спать по три ночи кряду не мог, возраст не тот, а у Свободина глотка луженая и здоровья на двоих хватит. Скоро начали поговаривать, что практически участок ведет Свободин. Бог бы с ними, с этими разговорами, но однажды осенью, в день своего рождения, выпавший к тому же на воскресенье, начальник сказал Свободину:

— Отпусти меня на денек в горы. Похожу с ружьишком. Измотался вконец.

— Нет вопроса.

В это-то воскресенье принесла нелегкая на участок Захарова. Свободин все ему показал-рассказал, и Захаров как будто остался доволен, стружку, во всяком случае, не снимал, но перед отъездом, уже возле машины, поинтересовался:

— А Коноплев где? — то есть начальник.

— Я его на охоту отпустил, — ляпнул Свободин. Ляпнул, конечно, сдуру, по молодому фанфаронству, но Захаров воспринял это по-своему, зыркнул исподлобья и промолвил:

— Отпустил, значит? Ну-ну. Пусть-ка завтра зайдет ко мне.

— Экий у тебя, ей-богу, язык без костей, — досадливо поморщился начальник, выслушав на следующее утро доклад инженера. — Сказал бы: нет, не знаю, и все тут. Теперь он из меня все жилы вымотает.

И отправился к Захарову.

Тот, глядя ему в переносицу, спросил:

— У вас кто кого отпускает: ты инженера или он тебя?

— По обстановке.

— Смотри. Еще один такой случай и можешь... себя не досчитаться.

Это был верх обиды. Коноплев не сдержался:

— Работу я себе найду.

— Вот как? Что ж, ищи...

После этого начальником стал Свободин.

За несколько лет он сменил еще три руководящие должности — в СМУ, на руднике и в постройкоме. Захаров, как видно, испытывал его. Действовал Свободин всегда азартно, нахраписто, себя не жалел и других не щадил. Захаров, правда, ему попенял однажды:

— Слушай. Когда ты в профсоюзе командовал, то в столовой кормили хорошо и лагерь у ребятишек летом был прекрасный. А на руднике лагеря вовсе нет и пожрать, как полагается, негде. Это как понимать?

— Это так понимать, что каждый отвечает за свое дело, — кто за проходку, а кто за щи, — огрызнулся Свободин.

— А я?

— А вы за все сразу...

Я же так понимаю: Свободин отвечал не столько за свое дело, сколько за себя, за себя лично. Поэтому, сменив должность, он сразу начисто отрешался от забот, которые еще вчера поглощали все его время и энергию. А энергия из него перла, как из маленького вулкана.

В бытность начальником СМУ готовил он к сдаче городское кафе, «Волна» называется, как раз для этих безводных мест. Приехал Захаров и шибко ругал снабженцев за то, что не достали мрамора — облицовку пришлось делать цветной галькой, посаженной на бетон.

— Нет мрамора, Захар Петрович, даже и вы бы не достали, потому что совсем нет, фонды выбраны, и до конца года не будет, — объяснял снабженец.

— Плохо искали, — не соглашался Захаров. — Что значит: совсем нет? Где нет? В одном месте нет, так в другом есть. И ты хорош, — обернулся он к Свободину. — Почему согласился изменить отделку? Голоса не имеешь? Когда не надо, очень даже имеешь. Не одобряю...

Через неделю мрамор появился. Свободин скупил в канцелярских магазинах и на базах нескольких городов мраморные чернильные приборы и пустил их на облицовку. Он рассказывал мне об этой операции, хохоча до слез.

— Во сколько же это обошлось? — спросил я.

— Какая разница! — отмахнулся Свободин. — Главное, что Захар доволен и я на коне...

В массовом сбрасывании часов в урну истории Ковылев не участвовал. Он и не мог участвовать, поскольку в то

время еще не стоял у плеча Захарова, да и вообще не был ему известен. Его карьера была неожиданной и стремительной; впрочем, вокруг Захарова было много таких людей. На руднике, где Ковылев работал старшим инженером в плановом отделе, долго шел спор о способах добычи сырья. Технические тонкости спора я не знаю, да они тут и не важны. Разногласия со временем обострились, вышли за пределы комбината. Захаров при всей своей властности никогда не торопился навязывать собственную точку зрения, дожидаясь, когда истина станет достаточно очевидной. Один из любимых его афоризмов: «Лучший вариант — управляемый». После одного из совещаний на руднике, где вновь сшиблись разные мнения, он запросил наконец справку с изложением всех доводов. Справку тотчас принесли. Мельком взглянув на нее, Захаров сказал:

— Эту филькину грамоту можете оставить себе. У меня она уже есть, присылали. Мне не бумажонка нужна, а точный и подробный расчет. Кто у вас этим делом занимается?

— Ковылев,— сказал начальник планового отдела. Он сказал так из осторожности. Требуемого документа у него не было, за это могло и нагореть. А Ковылев, во-первых, и в самом деле занимался этой проблемой, а во-вторых, с него спрос невелик.

— Позовите его.

Пришел Ковылев, страшно робея от одного вида начальства.

— Сколько потребуется времени для анализа развития рудника в двух вариантах? Только без фантазий и без эмоций. Технология, техника, производительность, экономика. Нужен серьезный документ. Когда я могу его получить?

Ковылев оглядел всех, как бы ища совета, но встретил лишь сочувственное молчание. Тогда он проговорил тихо, прошептал:

— Сейчас принесу.

Это было настолько неожиданно, что пока он ходил за бумагами, все молчали. Молчал и Захаров, видимо, разгадав хитрость начальника планового. Ковылев передал ему папку, виновато пояснив:

— Кое-что не успел перепечатать. Но почерк у меня четкий, разборчивый.

— Ну-ну. Разберусь. Можешь идти.

Недели через две он вызвал Ковылева.

— Поедешь со мной в Москву, в министерство.ложишь в главке о своих расчетах.

— Я? В главке?— с ужасом пробормотал Ковылев.— Да я нигде ничего не докладывал...

— Лиха беда начало...

И вот он пришел в парадном галстуке и сказал: «По поручению Захара Петровича»,— и протянул визитную карточку, похожую на пропуск в ведомственную поликлинику.

— И что же?— спросил я с интересом.— Что же поручил Захар Петрович?

— Быть в вашем распоряжении.

— И какие будут предложения?

Маленькое скуластое личико Ковылева выражало такую растерянность, что мне даже стало жалко его. Но вот в глазах мелькнула искра оживления, и он спросил:

— А вы обедали?

— Не обедал.

— Тогда, может быть, пообедаем?

— А заодно и поужинаем,— согласился я.— Только, с вашего разрешения, я позвоню главному архитектору Герасименко, мы условились с ним о встрече, а места пока не назначили. Вот все вместе и пообедаем. Куда мы пойдем?

— В «Волну».

Я предупредил Герасименко, и мы отправились. В «Волне» Ковылев сперва пытался устроиться в какой-то задней комнатшке, ужасно душной и темной, чтобы, как он выразился, чувствовать себя совершенно свободно.

— А я и так себя свободно чувствую.

— Но в кафе до семи запрещено подавать коньяк.

— Обойдемся.

Коньяк нам все же принесли, в графинчике, но разговор не клеился. Ковылев потел, краснел и, как заведенный, повторял, что мы должны обдумать программу *пребывания*, словно я заявился с государственным визитом с каких-нибудь островов. Слава богу, скоро появился Борис Герасименко. Я помахал ему рукой, и он прямо с порога завопил:

— Сценарист чертов! Ты куда провалился на три года?— И, выкатив брюхо, двинулся к столику.

— Не на три, а на полтора,— сказал я.— Поздравляю тебя с премией, Боря. Извини, что не прислал телеграмму, узнал с запозданием.— Не так давно Борис получил республиканскую Государственную премию.

— Что премия?— Герасименко, не мешкая, налил себе из графина.— Много ли в ней проку, если город все равно не получается. Плоское поселение на плоской поверхности. Где вертикали? Нет вертикалей. Почему их нет? Потому что главный архитектор ничего не решает. Ты думаешь, это я главный архитектор? Ошибаешься! Главный архитектор — твой друг Захаров Захар Петрович, герой и депутат. Совсем сбрендил старик. Определяет сам, где какие деревья сажать... Ваше здоровье!

— Что же в этом плохого, если правильно определяет?— неприязненно спросил Ковылев.

— А это еще кто такой?— обратился ко мне Борис.— Новый садовник?

Я засмеялся.

— Ковылев. Георгий Михайлович. Начальник управления.

— А-а! Вон что! Значит, это ты мне высотную гостиницу зарезал?

— Пока вполне достаточно старой гостиницы,— сухо ответил Ковылев. Его явно корбила манера разговора Бориса, мятая рубашка, вчерашняя щетина на подбородке.

— Вот-вот, бухгалтера хреновы! Половину жилого корпуса под гостиницу отвели, а туда же мне: достаточно...

— Это дешевле, чем строить вашу высотку.

— Дешевле всего на улице жить, в палатке.

— В Ясногорске поставишь свои вертикали. Как там дела? Давно не был,— попытался я смягчить разговор.

— Там поставишь! Знаешь ли, кого там председателем горсовета избрали? Свободина!

— Да ну!— я невольно посмотрел на мраморный бордюр. Борис понял и усмехнулся невесело.

— Именно! Те же самые штучки, только теперь в городских масштабах. И при этом: «Захар Петрович одобрил», «Захар Петрович не одобрил». Я художника прекрасного пригласил — фрески делать для Дворца культуры. Захаров посмотрел эскизы и спрашивает: «А это не абстракцизм?» Абстракцизм — представляешь? Цирк! А рыжий смотрит с умным видом и подъялывает: «А вон на этой картинке у архара рога неправильно нарисованы». Анималист! Ватагин! В результате уехал парень, а какой-то пень на полстены страшные морды нарисовал, колбу и атом в виде погребушки. Все теперь довольны. Это уж точно не абстракцизм...

— А мне нравится,— с той же неприязненной интонацией сказал Ковылев.

— Еще бы! Захару нравится, а тебе нет? Так не бывает. Да ты сними сюртук-то, растаешь.

— Вы не возражаете, я схожу позвонить?— спросил меня Ковылев.

Я не возражал.

— Ненавижу я их всех,— сказал Борис, провожая Ковылева взглядом.— Присосались к старику, как пиявки. А старик, он хоть и человек, а самодур немалый. Знаю, пятнадцатый год с ним работаю. Ему в условиях комфорта жить противопоказано. Меня тут Калерия Ивановна просит: «Боренька, зайди ко мне в библиотеку, интерьер обновить хочу». Захожу. Плачет. «Пора нам,— говорит,— уезжать. Все почти выстроено, теперь неприятности начнутся. Да и болезни его одолевают, нога ведь не ходит совсем. Скоро, скоро неприятности начнутся...» Хоть с ней вместе плачь... Ты-то понимаешь? Захаров — человек первой борозды. Целинник он, зачинатель. Построил дом, свет включил, жильцам ключи передал — и все, уходи. Так нет! Он еще свой распорядок жизни установить хочет, а это ему не дано, тут его и ждут неприятности, потому что жизнь — нормальный процесс, а он нормально жить не умеет и другим не дает. Погоди, эти подлипалы и подведут его под монастырь. Не впервой! За свои великие дела он всегда сперва орден получал, а потом — по шапке. Причем и то и другое — заслуженно...

Ковылева не было долго, мы наговорились досыта. Борис захмелел, а во хмелю он зануда занудой, и я даже обрадовался, когда вернулся Ковылев — ну и ну!— в светлых брюках, легкой рубашке, помолодевший, раскованный.

— Дома варится плов, и жена накрывает на стол,— объяснил он.— Играю общий подъем, отказов не принимаю.

— Ну, нет,— сказал Борис.— Меня отсюда не вытащишь. Вон собираются музыканты. Я хочу танцевать с молодой красивой девушкой. И вообще мне надоели умные разговоры, а глупых от вас не дождешься. Расстанемся. Считайте, что стол держал я. Считайте, что мы обмывали премию.

— За все заплачено,— сказал Ковылев.

— Тем лучше. Значит, премию будем обмывать завтра. Адью!

Дома Ковылев и впрямь словно панцирь сбросил. Совершенно нормальный мужик, может быть, несколько излишне любопытный: с кем я знаком да с кем не знаком, и близко ли знаком, и почему не знаком, и так далее. И жена его мне понравилась: «Заставили бедную женщину отдать

билеты на новый фильм. Теперь будете весь вечер занимать меня». И сын, Алеха, сразу же взгромоздился ко мне на колени, из чего я заключил, что к гостям в доме привыкли. И плов удался на славу — черный чайханный плов с машем.

Не помню, о чем тогда завелась беседа, но не о делах, это точно. Лишь поздно вечером, когда мы остались с Ковылевым вдвоем и постепенно перешли на «ты», он вновь вывел разговор на Захарова.

— Этот Герасименко скандалист известный. Разозлился я на него сегодня. «Самодур», «темнота» — это о Захарове-то! И, конечно, кто с этим не согласен, те — подхалимы. А почему я должен быть с этим согласен? Да если бы не Захаров, протирать бы мне штаны за бумажками, пока не забыл все, чему учили. А он меня заметил, вытащил, работу дал интересную. Могу я его после этого самодуром называть?

Агитировать за Захарова меня не требовалось. Захарова я знал лучше, чем Ковылев. И подольше.

— У него что, опять нога разболелась? — спросил я.

— Да нет. Не знаю. А что?

— Ничего, просто спросил.

Ногу Захаров покалечил давно. Он и весь тогда искалечился — как только собрать смогли. В годы войны он работал на Севере — строил никелевый комбинат. В районе строительства открыли месторождение золота. Начальник и учитель Захарова вручил ему сумку с самородками, выделил гидросамолет до Красноярска и приказал доставить золото в Москву. По дороге с самолетом что-то случилось, пришлось делать вынужденную посадку, к счастью, на воду. Но самолет так плюхнулся под берегом, что пилота выбросило на землю, а Захаров, тоже выкинутый из кабины, уцепился за трос управления. Вода была ледяная, может быть, поэтому он не успел потерять сознание и сумку не выпустил. Летчик вытащил его; во лбу у летчика торчали какие-то щепки, это было последнее, что запомнил Захаров. После этого он очнулся только в Москве, перепугав сиделку вопросом: «Где золото?..»

— Так имею я право называть его самодуром? — повторил вопрос Ковылев.

— Ну, если он и в самом деле самодурствует... Ведь водится за ним такой грех...

— Не согласен!

Тут зазвонил телефон. Я взглянул на часы — половина второго. Так поздно имел обыкновение звонить лишь один человек.

— Да, слушаю вас, Захар Петрович,— отозвался Ковылев и некоторое время терпеливо слушал. Затем, покосившись на меня, возразил неуверенно:— А может быть, это неудобно? Он, наверно, спит давно.— Но тотчас же покорно согласился:— Хорошо. Выезжаем.— Положил трубку, покрутил головой.— Не знаю уж, как и сказать. Захар Петрович просит нас выехать к нему. Он освободился раньше, чем рассчитывал. («Как же, просит!— подумал я.— Знаю я эти просьбы! Собирайтесь и выезжайте, машина будет через полчаса — вот и вся его просьба».) Машина будет через полчаса,— подтвердил Ковылев.

— Пускай он провалится, ваш Захар Петрович!— взъелся я, немножко напоказ, правда.— Поезжайте, скатертью дорога. А мне спать пора.

— Прошу, прошу вас,— забормотал Ковылев, снова переходя на «вы».— Ведь он мне поручил, а что я ему скажу?— И совсем уж смешно заключил:— Ну, пожалуйста, ради меня...

— А может быть, он все-таки самодур?— спросил я.

— Нет. Он хочет свозить нас к чабанам. Мы начинаем там новый поселок. В порядке шефства. Завтра он едет туда. Другого времени у него не будет, вот он и просил приехать. А выспаться мы можем и в машине...

В машине я никогда не сплю. Не потому, что не хочу, а потому, что так себя приучил. Мне много приходилось ездить вдвоем с водителем и по разным дорогам, и я знаю, как шоферы не любят, когда рядом с ними кто-нибудь дремлет, особенно ночью. Впрочем, на этот раз мне и не хотелось спать. Ковылев похрапывал на заднем сиденье, а мы с Леней, старым шофером Захарова, мирно беседовали.

— Загонял меня Захар Петрович,— жаловался Леня.— Особенно с этим Ясногорском. Шутка ли: две с половиной сотни в один конец. Так это только дорога. Добро бы он там на месте сидел. Так нет, за день еще сотни полторы намотаешь. А к ночи: «Поехали, Леня, домой...» Известно, он двуличный, а у меня никаких сил не осталось. Прошу: «Захар Петрович, посадите меня за-ради старой дружбы на БелАЗ, не могу я больше с вами». Рассердился. Но все же взял второго шофера. Теперь один в Ясногорске, другой в старом городе... Слушай. Он к тебе с уважением относится. Поговорил бы ты с ним. Не по возрасту ему так-то вкалывать...

— А ты говорил?

— Я — что? Говорил... Толку мало... Эй, гляди-ка, лиса! Вон пошла, вон пошла...

Пустыня живет ночью. Не просто живет — кишит жизнью. Выползают на дорогу черепахи, перекатываются по ней ежи — не такие, как у нас, а на длинных ножках, ушастые, — прыгают тушканчики, мечутся в тисках света лисы и зайцы. Кусты саксаула, сухие стебли верблюжьей колючки отбрасывают длинную, поворачивающуюся к машине тень. Если заглушить мотор и постоять минуту под просторным небом, услышишь, что пустыня полна звуков, диких, первозданных: шорохов, треска, попискивания, свиста...

— В Горячем ключе купаться будем?

— А как же!

Горячий ключ — сернистый источник как раз на полпути к Ясногорску. Около него всегда стоит несколько машин. За день у озера можно узнать все главные новости комбината. На берегу и на этот раз горел, коптя, старый скат, и возле него обсуждали избрание Свободина председателем горсовета.

— Энтот может, энтот наглядную агитацию развернет, — высоким тенорком насмешливо выговаривал сухонький мужичок, уместившийся у самого огня так, что я видел только его щуплые плечи в ковбойке и вихрастый затылок. Он сидел, по-восточному подвернув под себя ноги, и почему-то держал меж колен огромную медную трубу, бас, — видно, вез инструменты для духового оркестра. — Энтот из молодых, да ранний. На сплавзаводе землю грыз, план вырывая, а в общежитии воды не было, с утра бачок нацедишь, а вечером нет. «У меня тоже нет», — вот и весь сказ. А мне-то что, есть ли у него, нет ли. Может, он и без горшка обходится. Н-да! Энтот себя покажет. Вон Тонька Карнаухова вторую квартиру меняет...

Про Тоньку Карнаухову, ту самую Антонину, заведующую столовой, и якобы особые ее со Свободины отношения Захарову кто-то однажды капнул. Захаров, побагровев, спросил:

— Как у него монтаж идет?

— На два дня опережает график.

— Ну так выделите ему еще одну бабу. — И, поморщившись, добавил: — Вольно его жене на два года в аспирантуру убегать...

Жена Свободина из аспирантуры давно уж вернулась,

а Тонька Карнаухова, похоже, с горизонта не исчезла.

— А вон, кажись, директорская «Волга» подошла, — сказал кто-то нарочито громко. — Здорово, Леня! Начальство везешь?

— Купаться приехал. А ну сыграй, что ли!

Мужичок дунул в трубу, и она ухнула оглушительно, на всю округу.

Мы искупались — я и Леня голышом, а Ковылев в трусах — и двинулись дальше. В Ясногорск приехали в восьмом часу, солнце уже палило вовсю.

Нас встретил Свободин. То есть он дожидался нас в кабинете. Чинно поднялся из-за стола, размеренными шажками двинулся по ковру к двери, на ходу медленно подымая руку. Картинка, да и только! Кино! Но выдержки довести сцену до конца у него не хватило, и он шумно полез обниматься, пыша жаром, одеколоном и здоровьем.

— Помнишь, выгнать меня советовал? А я, видишь, в люди выхожу.

— Вижу, вижу. А где Захаров?

— Захаров — птица ранняя. Отбыл час назад. Мы — следом...

На месте, отведенном для поселка, стояли несколько юрт да два глинобитных дома. В одном из них за ободраным письменным столом сидел Захаров, а напротив него — прораб, тоже в годах мужчина, в котором я не без удивления узнал Коноплева, первого начальника Свободина. Захаров тыкал карандашом в чертеж, простыней свисавшей со стола, и раздраженно говорил:

— Ты же на этой траншее две недели потеряешь, поперечная твоя душа. Дали тебе геологию, ну и веди по проекту.

— Так-то мы не две недели, а и весь месяц потеряем. Ошиблись они, Захар Петрович, с геологией, проверял я, ошиблись.

— А почему ты с этих домов начинаешь? Неудачные это дома. Надо от них совсем отказаться. Сорок пять метров площадь — разве это мыслимо? Тут у каждого ребяташек по шесть душ, а то и больше. Пока с этим проектом разберемся, ты бы начинал с больших домов.

— Это я согласен.

— И то спасибо...

За спиной Захарова сторожил директор совхоза, молодой человек в каракулевой шапке; он одобрительно тряхнул головой, засмеялся мелко и подтвердил:

— Спасибо, ай спасибо! Я сейчас нарисую, как строить надо.

Захаров тяжело повернул на стуле свое грузное тело и, угрюмо уставившись на советчика, спросил:

— Я тебя учу овечек пасти?

— Учишь, Захар Петрович, учишь! Очень замечательно учишь!

— Врешь, не учу. И учить не буду, потому что ничего в этом не смыслю. И ты меня, наперед прошу, не учи. Сам ученый.

Мы провели у чабанов полдня. Прораб водил нас по размеченному вешками пространству и, время от времени останавливаясь, без выражения произносил: «Дом быта», «Бассейн», «Интернат». На строительство отводился год. Если бы я приехал не к Захарову, а к какому-нибудь другому, неизвестному мне человеку, то усомнился бы в реальности срока. Но Захаров есть Захаров, тут, я знал, так и будет. Забегая вперед, скажу, что года через два видел поселок в натуре. Правда, с воздуха. Он показался мне нарядным, будто игрушка. И все было так, как показывал прораб: Дом быта, бассейн, школа. Но Захарова к тому времени уже не было в этих краях...

Как водится, позвали на бешбармак. Сваренный на открытом огне в большом чугунном казане из только что забитого барашка, со свежим тестом, приправленный душистым дымком саксаула, бешбармак — истинное лакомство. Еще когда мы ходили по пустырю, Свободин учуял плотный пряный запах и, досадливо покосившись на Захарова, сказал мне:

— Сейчас в юрту позовут. Откажется ведь, черт...

— А ты привяжи машину, — посоветовал я.

— Не забыл? — ухмыльнулся Свободин.

Он еще работал на руднике, я приехал к нему, и вечером он затащил меня ужинать. Отношения у нас никогда не были добрыми, хотя, пожалуй, и без особых на то причин. Просто он не нравился мне. Его похохатывание, его нахрапистость, небрежность, неосторожность в выражениях, его привычка вылезать в первый ряд, его хитрые, в рыжих ресницах глаза — все не нравилось. Он это чувствовал. Тем более неловко было не принять приглашение. И я пошел, предупредив, что часа через два хочу все же двинуться в город.

— Если машина не сломается, так двинешься, — сказал он.

И надо же, что-то случилось с машиной. Мотор был в порядке, а колеса не двигались, лишь прокручивались иногда на месте. Пришлось заночевать. А утром выяснилось, что Свободин привязал машину тросом к крюку в бетонной плите...

Захаров, против ожидания, от бешбармака не отказался, хотя обычно избегал пиршеств на кошме. Он уселся боком к скатерти, неудобно откинув больную ногу, и указал мне место рядом. Ему подали черную баранью голову. Он отщипнул кусочек кожи и сунул его в рот; потом отрезал ухо и передал парнишке, сидевшему у входа в юрту, а голову, усмехнувшись, вручил мне.

— Ты у нас гость редкий. Расправляйся.

Водку наливали из единственной, но бесконечной посуды — больше одной бутылки за раз на скатерти не появлялось. После второй стопки Захаров скомандовал:

— Убрать.

Поев мяса и выпив шулюма, густого крепчайшего бульона, который подается в конце, Захаров, обернувшись к хозяину, молча приложил ладонь к груди, а мне сказал:

— Поедешь со мной. А они,— он кивнул в сторону Свободина и Ковылева,— если хотят, пусть нас догоняют...

Леня, давно работавший с Захаровым, не однажды жаловался на его неразговорчивость; вернее, не то чтобы неразговорчивость даже, а нелюбовь к разговорам в дороге. Захаров мне как-то объяснил, что дорога — единственная для него возможность уединиться, подумать. Поэтому я немного удивился, когда он сам затеял разговор, причем на тему, которой мы раньше не касались.

— Ты за что нелюбишь Свободина?— спросил он.

— А заметно?

— Заметно.

— Не знаю. Долго объяснять. Не нравится он мне, и все.

— Зря. Из него со временем крупный руководитель вырастет.

— Сомневаюсь.

— Почему?

— Слишком заботится о карьере.

— Это делу не помеха. Молод. Пройдет.

— Не так уж молод. Вы в его годы вон какими делами заворачивали.

— Другое время. Потому и заворачивал, что больше некому было. А теперь есть. Как тебе Ковылев?

— По первому впечатлению судить трудно.
— А я его по первому впечатлению оценил.
— Рассказывал. И боготворит за это.
— Тоже не нравится?
— Чего же хорошего. По-моему, в личной преданности есть что-то оскорбительное.

— Есть. Осаживаю. Но малый, между прочим, способный. Правда, характера не хватает. С Герасименко виделся?

— Выпивали.

— То-то выпивали. Плакался?

— Роптал.

— Дурак он, твой Герасименко.

— Почему мой?

— Хорошо, мой. Все равно дурак. Ребенок. Пристал, как банный лист, с четырнадцатизэтажной гостиницей. Вертикалей, видишь, не хватает. Взял экспериментальный проект. А здесь сейсмика — девять баллов. Такие эксперименты боком вылазят. Это раз. Теперь два. Растет город, жилье нужно, без гостиницы вполне пока обходимся.

— Полдома, однако, под нее отвели.

— И опять же дурак. Кому отвели? Людям, которые у нас месяцами в командировках находятся. Их бы, по делу, на постоянную работу надо брать, а не берем, квартир нет. В гостинице им жить дорого, плохо им в гостинице: ни сварить, ни постирать. А тут за все комбинат платит и удобства домашние... Роптал! Притащил из Ленинграда мазилу какого-то бородатого, рубаха узлом на пузе завязана, на груди крест. Дал ему Дворец культуры расписывать. Тот, понимаешь, павлиньих хвостов настроил, а из них лики выглядывают, рыла косые. Абстракцизм, мистика. Я говорю: проще надо, понятнее. Рабочего, там, инженера, космонавта изобрази, чтобы ясно было, кто таков. Куда! Скandal! Поносил меня, где только мог. И даже домой приходил, пьяный. Принес диплом за премию. Забирайте, говорит, это не мой, это ваш. Выгнал, конечно... Что молчишь? Не одобряешь?

— Тяжелый вы человек, Захар Петрович. Во всем-то вы лучше всех разбираетесь. Даже в искусстве или, там, в музыке. И правило у вас одно: делай, как я. А люди-то все разные. Собрали вокруг себя молодых способных ребят. Построили прекрасный город, достраиваете другой. А ведь это не для них города. Все эти бассейны, клубы и кафе не для них. У них всегда то нулевой цикл, то пусковой

период. Вы вон позвонили Ковылеву в половине второго: выезжай, и все тут. Сами поднялись в пять и Свободина подняли...

— Насильно хомут ни на кого не надеваю. Но впрягся — тяни. А не хочешь тянуть — уходи.

— Вот-вот. Уходи. Вы так и с Коноплевым когда-то обошлись, а он с вами сколько строек поднял.

— Тут я виноват, — неожиданно спокойно согласился Захаров. — Коноплев человек серьезный и строитель хороший, со своим потолком, но хороший. Виноват, и ошибку перед ним признал лично.

— Не может быть!

Захаров сидел, как всегда, рядом с шофером. Он трудно выворотил литую шею и, насмешливо уставившись на меня, спросил:

— Ты что, меня за человека совсем не считаешь? Думаешь, я бульдозер какой-нибудь?..

За такими разговорами доехали до Ясногорска. Город был опоясан бетонной дорогой. Казалось, его принесли в собранном виде и поставили посреди бурой равнины, отделив от нее лентой шоссе. За этой границей стоял только домостроительный комбинат. ДСК возвели по приказу Захарова, незаконно. Средств не выделили, указав, что Ясногорск можно собрать из привозных панелей. Захаров финансировал стройку за счет складских помещений. Только благодаря комбинату город поставили за три года, по существу, одновременно с заводом сплавов, расположенным километрах в двадцати. На спуск первой очереди завода приехал министр. Он осматривал Ясногорск с обводной дороги. Увидев ДСК, остановил машину. Вышел, постоял, походил взад-вперед по обочине. Захаров ждал. Наконец министр подошел к нему и сказал печально:

— Седая у тебя голова, Захар Петрович. Жаль ее. — И добавил: — Включи в план следующего года...

Свободин и Ковылев появились лишь поздно вечером. Мы сидели с Захаровым в гостинице, трехкомнатной квартире, где ему была отведена комната, и играли в шахматы. Свободин, как ни в чем не бывало, весело объявил, что привез роскошный ужин и ждет всех к столу. Ковылев несмело выглядывал из-за его плеча. Захаров хмуро уставился на него, и тот исчез. За ужином Захаров нудно перечислял Свободину подмеченные им за день непорядки в городском хозяйстве, разные пустяки, а Свободин, жуя, с готовностью и даже с охотой кивал головой:

— Устраним, Захар Петрович.

Ковылева Захаров не замечал. Когда после ужина мы втроем вышли на воздух покурить, Ковылев с завистью сказал Свободину:

— И как ты, Виктор, его не боишься? У меня прямо отравление организма от его взгляда происходит. А если разобраться, то что я такого сделал? Посидел на кошке с добрыми людьми, бешбармаку поел, рюмку выпил. Так это же за месяц первый день свободный. А он неделю со мной разговаривать не будет.— И обратился ко мне:— Знаешь, как обидно?..

— Обидно себя в обиду давать,— сказал я.— Ты что перед ним, как школьник? Мало, что сам слова молвить не смеешь, так еще и другим не даешь. Зачем Захарову про Герасименко сказал?

— Спросил, я и сказал. А что тут такого?

— А что он сказал?— с явным интересом спросил Свободин.— Этот Герасименко, между прочим, ядовитый мужик, ему бы укоротить язык не мешало.

— Ты укоротишь. Герасименко не за себя бьется, он за дело болеет. И ругается он вслух, громко ругается. А вы только хвалите громко. Не знаю, в чем яду больше...

— А ты-то, ты-то здесь при чем?— сквозь зубы проговорил Свободин. И я, кажется, впервые понял, нет, почувствовал, что это все пустяки, нравится он мне или нет, а вот то, что я ему не нравлюсь,— это совсем не пустяк, не обычная неприязнь без особых причин, а глубокая вражда, которой конца не будет, и мне даже на минуту страшно стало от его свистящего голоса.— Учитель, видишь ли, педагог! Ты-то здесь при чем? Все наставляешь, проповедуешь, судишь. Это ведь только кино снимать — со стороны виднее. А ты в шкуру нашу хоть раз влез? Ты подумал, каково мне, взрослому человеку, и, слава богу, специалисту первой руки, каково мне школьника изображать? «Да, Захар Петрович, учту, сделаю, исправлю». А он чушь порет сплошь и рядом...

— Сказал бы ему об этом хоть раз. Герасименко говорит.

— Потому его дурачком и считают. Воздух он сотрясает, а не говорит. А я дурачком быть не желаю. Коноплева-то видел сегодня? Хочешь, чтобы и я до седых волос в прорабах ходил? Нет, у меня другой план...

Мы замолчали. Свободин растер подошвой окуроч, явно

досадую, что не сдержался. И неожиданно усталым голосом произнес:

— Нормальной хочется жизни. Нормальной, понимаешь? Просто нормальной... Ну, ладно. Погорячился. Извини.

И, не прощаясь, ушел...

Года через полтора позвонил мне как-то вечером домой Захаров:

— Выдали сплав.

Я вспомнил, как он показывал мне первые образцы. Тяжелый тусклый слиток больше походил на кусок мыла, чем на металл.

— Поздравляю.

— Спасибо. Что давно не был у нас?

— Да как-то не получается. Приеду.

— Видишься с кем-нибудь?

— Ковылев иногда появляется.

Захаров сказал скучно:

— Гнать, наверно, его придется. Ошибся я в нем. От работы бегаёт, только все с предложениями выступает.

Ковылев и в самом деле изменился. Глядя на него, я никак не мог поверить, что это он так недавно багровел в своем чугунном пиджаке и, протягивая голубую картонку, докладывал: «По поручению Захара Петровича». Теперь ему доставляло особое удовольствие пригласить меня в какой-нибудь закрытый ресторан, в ВТО или ЦДЛ, и, придиричиво заказывая ужин, рассказывать, кто у них в пустыне за последнее время побывал, и какие это славные ребята, и как они подружились, вот и сегодня кто-то обещал быть. И, правда, за столик присаживался известный поэт, которого я до того лишь на телеэкране и видел, или композитор, песни которого слышал только по радио, а он с ними был запанибрата и, по-свободински похохатывая, звал:

— Приезжай, старик, прекрасно проведем время.

Однажды я спросил его о Захарове, и он неприятно поразил меня, почему-то назвав его *папой*.

— Папа? Затекает очередную реорганизацию. А мы у него на побегушках.

— Смотри,— остерег я.— Услышит — выгонит.

Он усмехнулся.

После пуска завода Захарова наградили орденом. Не хочу врать: читая указ, я не вспомнил рассуждения Бориса Герасименко о печальных закономерностях в жизни

Захарова: сперва орден, а потом по шапке. Так, однако, и вышло. И лично Ковылев, чуя, видимо, что Захаров разочаровался в нем, приложил к тому руку. Случилось это вскоре после выпуска сплава. Ковылев, мастер составлять документы, написал бумагу, где перечислил все грехи Захарова, припомнив и незаконно поставленный домостроительный комбинат, и две машины, и гостиницу за счет комбината, и многое другое — всего набралось тридцать семь пунктов. Суть же сводилась к одному: превышение власти. Тут уж, и правда, крыть нечем. Подписали бумагу несколько человек, все близкие к Захарову. Знал о ней и Свободин, но подписи не поставил. Перечень грехов вышел объемистый, и проверка затеялась нешуточная. В разбирательство пытался вмешаться министр, но его осадили: ведь это он построенный ДСК велел задним числом в план включить.

Сняли Захарова со страшным треском и строгим выговором. Если бы мне не было так жаль его, то я бы ему сказал, что выговор он вполне заслужил. Но я не сказал. Я пришел к нему на улицу Горького, дверь открыла Калерия Ивановна, но, не успели мы и словом перемолвиться, он закричал из комнаты:

— Никого не хочу видеть. Гони их всех к такой матери!

Вот человек! — думал я скорее с печалью, чем с досадой, возвращаясь от Захарова, так и не повидавшись и не поговорив с ним. Вот человек, и что поделаешь, если он таков. Сколько раз в сердцах костерил я его последними словами, обзывал монстром, роботом, дуrolомом, и ведь не без оснований обзывал. Помню, Свободин собирался сдавать главный корпус Государственной комиссии, и накануне Захаров проверял готовность; вдруг остановился, зыркнул на Свободина, сказал: «Дай шапку». Тот сорвал берет с рыжей шевелюры. Захаров начертил на пыльной стене емкости бранное слово, брезгливо бросил грязный берет и похромал дальше. Ну, разве не чудовище? Да, он заслужил все обидные прозвища, чего уж тут. И все же... То-то и оно — все же... Почему, спрашиваю я себя, все эти долгие годы я и любовался им, любовался, да, и у меня щипало глаза, когда в монтажном зале я видел крупный план — его лицо, лицо совершенно счастливого человека, и эти мгновения полного счастья совпадали с пуском нового завода, рождением нового города. Это было счастье особое — счастье как продукт массового производства, счастье устройства молодой жизни на обширных еще пустырях земли.

— Иногда жаль его до слез, — сказал Боря Герасимен-

ко.— Живет в каком-то ужасном мире, без цвета и запаха, без музыки, без красоты. Бетон, железки — ну разве так можно?

Я согласился: нельзя.

Теперь думаю: мы оба не правы.

Однажды Захаров позвонил мне: «Свободен? Заеду». На заднем сиденье машины лежали цветы, красные гвоздики. Я удивился, но спрашивать ни о чем не стал. Поехали в центр. Захаров привел меня к Кремлевской стене, положил цветы.

— Учитель. Железный был человек. Я по сравнению с ним... — и он махнул рукой.

У этого человека он начинал прорабом. Работа была сумасшедшая. Захарову прислали официальный вызов с другой, тоже очень важной, стройки. Он совсем уже собрался уехать. Учитель пришел к нему в вагончик:

— Задержать не имею права. Прошу — не уезжай.

— Не могу больше. Не выдержу, надорвусь.

— Прошу.

— Не могу.

И тут — Захаров говорил об этом шепотом и озираясь, — и тут железный человек заплакал.

— Если бы кто рассказал, я не поверил бы... Да и себе иногда не верю... Но — заплакал. И знаешь, что сказал? Сказал: «Мы должны построить социализм, а без тебя я не управлюсь. Прошу...» И я остался...

Я возвращался домой, так и не повидавшись с Захаровым, и вспоминал цветы, которые он положил у Кремлевской стены.

Дома меня ждала неожиданность. Ковылев. Он сидел на кухне, пил чай и о чем-то весело рассказывал моей жене. На спинке стула висела его кожаная куртка. Ковылев обернулся и сказал:

— Привет! А я тебя дождаюсь. Говорят, ты у папы был? Ну как он? Держится?

Куртка свалилась на пол.

Каков гусь: «Держится?» Словно и ни при чем он здесь... Но не любитель я «выяснять отношения». И слов громких избегаю: «пошел вон» и прочее. Зачем это? Лучше, если он сам уйдет.

Я поднял куртку, подошел к окну, отворил его и выбросил куртку. Жена округлила глаза. Ковылев звякнул стаканом.

— Ты с ума сошел? Там же документы...

Ковылев какое-то время ходил победителем. Он пытался мне звонить, я разговаривать с ним не стал. Через год примерно его выгнал новый директор. Прислал как-то мне письмо: «Я ни о чем не жалею». А о чем ему жалеть? Что он Гекубе, что ему Гекуба, как говорил некий принц.

Захаров долго болел, думали, что и не встанет, но он выздоровел и уехал в Забайкалье, принял новую стройку. Я у него там был. Говорит: «Последний мой город». Но так он говорил и о Ясногорске.

Свободин по-прежнему работает в пустыне. Но с ним я не вижусь. До него теперь, говорят, рукой не достать. Как-то сложилась его нормальная жизнь?..



ОБ АВТОРАХ

М. А. ШОЛОХОВ

(1905—1984)

Михаил Александрович Шолохов — выдающийся писатель-гуманист XX века — родился на хуторе Кружилин станицы Вешенской области Войска Донского. Отец его — выходец из Рязанской губернии — крестьянствовал, был приказчиком, управляющим паровой мельницы.

М. Шолохов учился в церковноприходской школе, окончил 4 класса гимназии. Участвовал в гражданской войне, служил в продотряде. В 1924 г. в газете «Юношеская правда» напечатан первый рассказ Шолохова «Родинка». Затем в ряде газет и журналов появляются его произведения, объединенные впоследствии под заглавием «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926).

Перу М. Шолохова принадлежат романы «Тихий Дон» (1928—1940), «Поднятая целина» (1932—1960). Широкую известность получили его рассказы «Наука ненависти» (1942), «Судьба человека» (1956), главы из романа «Они сражались за Родину» (1943—1944).

М. А. Шолохов — дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980), лауреат Нобелевской премии (1965), академик АН СССР (1979), крупный общественный деятель, член ЦК КПСС (1961—1984), депутат Верховного Совета СССР (1937—1984).

Рассказ «Судьба человека» написан в 1956 г. Печатается по изданию: Шолохов М. Рассказы. Л., 1975.

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

(1910—1971)

Александр Трифонович Твардовский родился в деревне Загорье на Смоленщине в семье кузнеца. Учился в сельской школе, в Смоленском пединституте. В 1939 г. окончил Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ).

Темой ранних стихотворений и поэм А. Твардовского была судьба крестьянства. Крестьянству посвящены его книги «Дорога» (1938),

«Сельская хроника» (1939), «Загорье» (1941). В годы войны Твардовский — военный корреспондент. В образе героя его «Книги про бойца» Василия Теркина воплощен патриотический порыв народного духа. Исторические судьбы русского народа осмысливаются в поэмах «Дом у дороги» (1946), «За далью — даль» (Ленинская премия, 1961), «Теркин на том свете» (1963), в книге рассказов «Родина и чужбина» (1947).

Долгое время А. Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир», членом Советского комитета защиты мира, депутатом Верховного Совета СССР. Его произведения переведены на многие иностранные языки и языки народов нашей страны.

Рассказ «Печники» печатается по изданию: Твардовский А. Родина и чужбина. М., 1960.

И. А. ЕФРЕМОВ

(1907—1972)

Иван Антонович Ефремов родился в селе Вырица, ныне Ленинградской области. С 1925 г. начал принимать активное участие в научных экспедициях в Заполярье, Среднюю Азию, Якутию, на Дальний Восток. В 1935 г. экстерном закончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института.

В конце 40-х гг. И. Ефремов возглавил палеонтологическую экспедицию АН СССР в Монголию, где благодаря его опыту, умелому руководству и самоотверженности были обнаружены местонахождения «костей дракона» — доисторических ящеров, обитавших на земле миллионы лет тому назад. Как геолог Ефремов открыл многие месторождения полезных ископаемых, стер немало «белых пятен» на карте.

Литературную деятельность начал в 1942 г., написав ряд научно-фантастических новелл, вошедших в цикл «Рассказы о необыкновенном». Перу Ефремова принадлежат историко-фантастические повести «Звездные корабли» (1948), «На краю Ойкумены» (1949), «Сердце Змеи» (1959), а также социально-философские романы «Туманность Андромеды» (1957), «Лезвие бритвы» (1963), «Час быка» (1970).

Рассказ «Белый Рог» печатается по изданию: Творцы: Сборник. Л., 1984.

П. Ф. НИЛИН

(1908—1981)

□

Павел Филиппович Нилин родился в Иркутске в семье ссыльного революционера. Трудовую жизнь начал рано. Работал слесарем, кочегаром, служил в уголовном розыске, работал в газете. В середине 30-х годов напечатал свои очерки в журнале «Наши достижения».

Первая книга П. Нилина «Человек идет в гору» (1936) посвящена шахтерам Донбасса. Широкую известность получили его повести «Жестокость» и «Испытательный срок» (обе — 1956).

Рассказ «Дурь» печатается по изданию: Н и л и н П. Интересная жизнь. М., 1982.

М. М. РОЩИН

Михаил Михайлович Рошин родился в 1933 г. в Казани. После окончания в 1958 г. Литературного института в Москве занимается литературной работой. М. Рошин автор широко известных пьес «Валентин и Валентина», «Эшелон», «Спешите делать добро». Его перу принадлежат сборники повестей и рассказов «В маленьком городе» (1956), «Каких-нибудь двадцать минут» (1956), «24 дня в раю» (1971), «Река» (1978), «Рассказы с дороги» (1981), «Чертово колесо в Кобулет» (1987). Живет в Москве.

Рассказ «Мой учитель Гриша Панин» печатается по изданию: Р о ш и н М. 24 дня в раю: Повести и рассказы. М., 1971.

В. А. ЧУГУНОВ

(1937—1973)

Виктор Александрович Чугунов родился в Барнауле. Окончил Сибирский металлургический институт, а затем Литературный институт им. Горького в Москве. Жил и работал в Междуреченске Кемеровской области. Трагически погиб в автомобильной аварии.

Рассказы «Каллистратово бучило» и «Локобель» печатаются по изданию: Ч у г у н о в В. Таёжина: Повести и рассказы. М., 1980.

А. В. СКАЛОН

Андрей Васильевич Скалон родился в 1939 г. в Улан-Удэ. После окончания в 1962 г. Иркутского сельхозинститута несколько лет работал биологом-охотоведом.

В 1969 г. окончил сценарный факультет Института кинематографии. Работал на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Печататься начал с 1967 г. Автор книг «Живые деньги» (1972), «Рыжая лисица счастья» (1981), «Ровный и зеленый луг на том берегу» (1983). Живет в Москве.

Рассказ «Рно-Рита» печатается по изданию: С к а л о н А. Ровный и зеленый луг на том берегу. М., 1983.

В. М. ШУКШИН

(1929—1974)

Василий Макарович Шукшин родился в селе Сростки на Алтае. После окончания семилетки работал слесарем, служил во флоте, учительствовал в родном селе.

В 1961 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. Был сценаристом, режиссером, актером. По сценариям Шукшина и с его участием сняты кинофильмы «Живет такой парень» (1964), «Печки-лавочки» и «Калина красная» (оба — 1973). По своему роману «Я пришел дать вам волю» он создал сценарий о Степане Разине.

Первая книга В. Шукшина «Сельские жители» вышла в 1963 г. Широким признанием отмечены его книги рассказов «Там вдали» (1968), «Земляки» (1970), «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975).

В. Шукшин — заслуженный деятель искусств РСФСР, удостоен Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1967) и Государственной премии СССР (1971). Скоропостижно умер во время киносъемок.

Рассказ «Мастер» печатается по изданию: Ш у к ш и н В. Брат мой. М., 1975.

О. М. КУВАЕВ

(1934—1975)

Олег Михайлович Куваев родился на станции Поназырово Костромской области. В 1958 г. окончил Московский геологоразведочный институт. Работал в поисковых партиях на Тянь-Шане, затем руководил геологическими группами на Чукотке, на острове Врангеля.

О. Куваев автор книг «Весенняя охота на гусей» (1967), «Птица капитана Росса» (1970), «Тройной полярный сюжет» (1973), «Каждый день как последний» (1976), а также романа «Территория» (1975).

Рассказ «Здорово, толстые!» печатается по изданию: К у в а е в О. Тройной полярный сюжет. М., 1973.

А. Н. ПЛЕТНЕВ

Александр Никитич Плетнев родился в 1933 г. в пос. Трудовой Новосибирской области. Образование среднее. Окончил Высшие литературные курсы в Москве (1977). Лауреат премии им. Н. Островского. Живет в Омске.

А. Плетнев автор книг повестей и рассказов «Чтобы жила и помнил»

(1973), «Маршалы в отставку не уходят» (1974), «Отец крестный» (1981), а также романа «Шахта» (1980).

Рассказ «До утомления сердца» печатается по изданию: Рассказ-78: Сборник. М., 1979.

Г. Л. НЕМЧЕНКО

Гарий Леонтьевич Немченко родился в 1936 г. в станице Отрадной Краснодарского края. Детство, проведенное в казачьей станице, дало ему материал для повестей и рассказов о кубанской земле, о сложных судьбах в тяжелые военные и послевоенные годы.

Первый рассказ Г. Немченко опубликован в газете «Московский университет» в 1955 г., когда он был студентом факультета журналистики.

Первая книга вышла в 1961 г. в Кемерове, где более 10 лет Г. Немченко работал в газете на строительстве Западно-Сибирского металлургического завода. О сибиряках им написаны романы «Здравствуй, Галочкин!», «Тихая музыка победы», «Проникающее ранение». Г. Немченко автор сборников повестей и рассказов «Конец первой серии», «Зимние вечера такие долгие», «Отец», «Брат, найди брата!» и др. Живет в Москве.

Рассказ «Эти мамыны передачи» печатается по изданию: Немченко Г. Избранное. М., 1984.

В. Ф. КУРОПАТОВ

Владимир Федорович Куропатов родился в 1939 г. в селе Кузедееве Кемеровской области. Работал на стройке, в шахте, учился в вечернем техникуме, преподавал в горном училище. Заочно окончил филологический факультет пединститута, работал в газете. Живет в Кемерове. Автор книг «Зеленый луч» (1974), «Поживем-поработаем» (1976), «Середина жизни» (1984).

Рассказ «Таинственная душа» печатается по изданию: Куропатов В. Середина жизни. М., 1984.

А. А. КИМ

Анатолий Андреевич Ким родился в 1939 г. в Южном Казахстане. Окончил Литературный институт им. Горького в 1971 г. Работал на стройках Москвы крановщиком, мастером на мебельной фабрике, инспектором-искусствоведом в Художественном фонде СССР. Живет в Москве. Преподает в Литературном институте, ведет семинар прозы. Первые публикации — в ленинградском журнале «Аврора» (1973).

Перу А. Кима принадлежат сборники повестей и рассказов «Голубой остров» (1976), «Четыре исповеди» (1978), «Собиратели трав» (1983), «Соловьиное эхо» (1980), «Вкус терна на рассвете» (1985), а также роман «Белка» (1984).

Рассказ «Полет» печатается по изданию: К и м А. Вкус терна на рассвете. М., 1985.

А. Ф. КРИВОНОСОВ

Анатолий Федорович Кривоносков родился в 1937 г. в селе Петрятинка Брянской области. В 1958 г. окончил Киевский геологический техникум. Несколько лет работал в геологических экспедициях в различных районах страны.

Первая повесть А. Кривоноскова «Простая вода» напечатана в «Новом мире» в 1970 г. Он автор сборников повестей и рассказов «Лада» (1971), «Гори, гори ясно» (1974), «Поживем, увидим» (1978), «По поздней дороге» (1983). Живет в Москве.

Рассказ «Инженер Глосев» печатается по изданию: К р и в о н о с о в А. Простая вода. М., 1971.

В. Е. НАСУЩЕНКО

Владимир Егорович Насущенко родился в 1939 г. в Ленинграде. Мальчишкой пережил блокаду, был в детском доме на Алтае. После войны окончил железнодорожное училище, работал помощником машиниста на паровозе. Служил в авиации, плавал на судах торгового флота, работал геологом на Таймыре. Окончил Литературный институт им. Горького.

Первая книга «Мартовский лед» вышла в 1980 г. Живет в Ленинграде.

Рассказ «Хлеб с маслом» печатается по изданию: Творцы: Сборник. Л., 1984.

В. Я. МАКОВЕЦКИЙ

Василий Яковлевич Маковецкий родился в 1931 г. в пос. Ирпень Киевской области. Раннее детство прошло в д. Уйма под Архангельском, куда была эвакуирована семья. Подростком работал в колхозе, в охотзаказнике, на шахте. Пять лет служил на кораблях Краснознаменной Амурской флотилии. Там же в матросской газете «Боевое знамя» начал публиковаться: стихи, газетные очерки. После службы работал в газетах. Будучи автором двух детских книжек, окончил школу рабочей молодежи. Живет и работает в Керчи.

В. Маковецкий автор книг «Порог», «Арабатская стрелка», «Скифское золото», «Керченские повести», «Дорога на Митридат».

Рассказ «Недалеко от Эльтигена» печатается по изданию: Рассказ-81 Сборник. М., 1982.

Р. Т. КИРЕЕВ

Руслан Тимофеевич Киреев родился в 1941 г. в Узбекистане. Закончил Литературный институт им. Горького. Печатается с 1958 г. Автор романов «Продолжение», «Победитель», «Мои люди», «Апология», «Кровли далекого города», а также нескольких сборников повестей и рассказов. Живет в Москве.

Рассказ «Паводок» печатается по изданию: К и р е е в В. Ровно в семь у метро. М., 1985.

А. А. ПРОХАНОВ

Александр Андреевич Проханов родился в 1938 г. в Тбилиси. Закончил Московский авиационный институт. Несколько лет работал в НИИ. Первая книга рассказов «Иду в путь мой» вышла в 1971 г. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, а также романов «Кочующая роза» (1976), «Время полдень» (1977), «Место действия» (1980), «Вечный город» (1981), «Дерево в центре Кабула» (1982), «В островах охотник» (1984), «Африканист» (1984), «И вот приходит ветер» (1985).

А. Проханов — лауреат премии Ленинского комсомола (1981), премий им. К. Федина (1980) и им. А. Фадеева (1987). Живет в Москве.

Рассказ «Разноцветное платье» печатается по изданию: П р о х а н о в А. Желтеет трава. М., 1974.

Б. А. ВАСИЛЕВСКИЙ

Борис Александрович Василевский родился в 1939 г. в Москве. Закончил филологический факультет МГУ. Работал в Сибири на строительстве железной дороги, на Братской и Усть-Илимской ГЭС. Учителемствовал на Чукотке. Живет в Москве.

Автор книг «Где Север?», «Весна на железной дороге», «Окна», «Отчет», «Для дерева есть надежда», «Слова».

Рассказы «Весна на устье Илима» и «Митина свадьба» печатаются по изданию: В а с и л е в с к и й Б. Слова. М., 1986.

А. Н. КУРЧАТКИН

Анатолий Николаевич Курчаткин родился в 1944 г. в Свердловске. После окончания школы работал фрезеровщиком на «Уралмаше». Учился в Уральском политехническом институте, служил в армии. После демобилизации работал в свердловской молодежной газете. В 1972 г. окончил Литературный институт им. Горького. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, романа «Вечерний свет» (1986). Живет в Москве.

Рассказ «Черный котенок в зеленой траве» публикуется по изданию: Октябрь. 1985. № 3

Н. А. ШИПИЛОВ

Николай Александрович Шипилов родился в 1946 г. на Сахалине. Учился и жил в Новосибирске. В 14 лет начал трудовую жизнь. Работал плотником, бетонщиком, штукатуром, монтажником, рабочим в изыскательских партиях, артистом оперетты, корреспондентом районной газеты, областного радио и телевидения, телережиссером. Живет в Новгороде.

Печататься начал в начале 80-х годов. Автор книги «Ночное зрение», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в 1986 г.

Рассказ «Александр, крепостной Екатерины» печатается по изданию: Ш и п и л о в Н. Ночное зрение. М., 1986.

С. А. ЛЫКОШИН

Сергей Артамонович Лыкошин родился в 1950 г. в пос. Сходня Московской области. Окончил десятилетку, работал на лесосплаве, на мебельной фабрике.

Окончил Литературный институт им. Горького. Автор книг «На дорогах истории» (1983), «Сердце у нас одно» (1984), «За белой стеной» (1985). Лауреат премии Ленинского комсомола (1985). Живет в Москве.

Рассказ «Било» печатается по изданию: Л ы к о ш и н С. За белой стеной. М., 1985.

С. Ю. РЫБАС

Святослав Юрьевич Рыбас родился в 1946 г. в г. Макеевка Донецкой области. Окончил Горный институт. Работал на шахте, в научно-исследовательском институте, в редакциях газет и журналов. Живет в Москве.

С. Рыбас автор романов «Варианты Морозова», «Стеклянная стена» и нескольких книг повестей и рассказов. За книгу «На колесах» ему присвоено звание лауреата премии им. Н. Островского.

Рассказ «След» печатается по изданию: Рыбас А. Спасение. М., 1986.

Л. Л. КОКОУЛИН

Леонид Леонтьевич Кокоулин родился в 1926 г. в Канске Красноярского края. Работал кузнецом, сварщиком на заводе тяжелого машиностроения. Затем по путевке комсомола был направлен на строительство Иркутской ГЭС. В 1959 г. переведен на строительство Вилюйской ГЭС на Колыме в должности старшего инженера управления строительства.

С начала 70-х годов сотрудничает в газетах и журналах «Сибирь», «Наш современник», «Дальний Восток», «Москва». Л. Кокоулин автор книг «Табак хороший» (1975), «Колымский котлован» (1977), «Человек из-за Полярного круга» (1979), «В ожидании счастливой встречи» (1980). Живет в Москве.

Рассказ «На радость и на горе» публикуется впервые.

Б. П. ЕКИМОВ

Борис Петрович Екимов родился в 1938 г. в Игарке. Окончил среднюю школу, служил в армии, работал электромонтером на заводе. Первая книга рассказов «Девушка в красном пальто» вышла в 1974 г. Автор десяти прозаических книг. Живет в Волгограде.

Рассказ «Казенный человек» печатается по изданию: Екимов Б. Елка для матери. М., 1985.

О. А. ЖДАН

Олег Алексеевич Ждан родился в 1938 г. в Смоленске. После окончания десятилетки работал на тракторном заводе слесарем, мастером. Окончил Литературный институт им. Горького в Москве. Автор книг «Во время прощания», «В гостях и дома», «Знакомый», «Черты и лица», «По обе стороны проходной».

Рассказ «Конец недели» печатается по изданию: Новый мир. 1984. № 1.

А. Д. ШАВКУТА

Анатолий Дмитриевич Шавкута родился в 1937 г. в Ставропольском крае. Окончил Грозненский нефтяной институт, 17 лет работал мастером, прорабом, начальником участка на строительстве нефтехимических заводов, аэропортов в разных районах страны. Автор книг рассказов «Метель в Рязани» (1975), «Рассказы старого мастера» (1983), «Красоту жалко» (1985).

А. Шавкута — лауреат премии им. Н. Островского (1982) и им. А. П. Чехова (1987). Живет в Москве.

Рассказ «Возвращение» печатается по изданию: Ш а в к у т а А Рассказы старого мастера. М., 1983.

А. А. ТРАПЕЗНИКОВ

Александр Анатольевич Трапезников родился в 1953 г. в Хабаровске. Публиковаться начал с 14 лет, будучи учащимся одной из московских специализированных школ с филологическим направлением. Окончил Московский педагогический институт им. Н. К. Крупской. Работает старшим научным редактором в издательстве. Живет в Москве.

Рассказ «Сотый по списку» печатается по изданию: Т р а п е з н и - к о в А. Встречи: Рассказы. М., 1987.

Ю. С. АПЕНЧЕНКО

Юрий Сергеевич Апенченко родился в 1934 г. в Свердловской области. В 1957 г. окончил факультет журналистики МГУ. Работал в районной газете на Сахалине, в журнале «Советский Союз» и газете «Правда». Является литературным сотрудником журнала «Знамя». Живет в Москве.

Рассказ «Из жизни Захарова» печатается по изданию: Знамя. 1982 № 9

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>М. Шолохов</i>	Судьба человека	5
<i>А. Твардовский</i>	Печники	35
<i>И. Ефремов</i>	Белый Рог	62
<i>П. Нилин</i>	Дурь	83
<i>М. Рошин</i>	Мой учитель Гриша Панин	109
<i>В. Чугунов</i>	Каллистратово бучило	152
	Локомобиль	161
<i>А. Скалон</i>	Рио-Рита	169
<i>В. Шукшин</i>	Мастер	182
<i>О. Куваев</i>	Здорово, толстые!	193
<i>А. Плетнев</i>	До утомления сердца	205
<i>Г. Немченко</i>	Эти мамины передачи	222
<i>В. Куропатов</i>	Таинственное существо	233
<i>А. Ким</i>	Полет	241
<i>А. Кривоносов</i>	Инженер Глоев	245
<i>В. Насущенко</i>	Хлеб с маслом	265
<i>В. Маковецкий</i>	Недалеко от Эльтигена	277
<i>Р. Киреев</i>	Паводок	316
<i>А. Проханов</i>	Разноцветное платье	323
<i>Б. Василевский</i>	Весна на устье Илима	342
	Митина свадьба	347
<i>А. Курчаткин</i>	Черный котенок в зеленой траве	356
<i>Н. Шипилов</i>	Александр, крепостной Елизаветы	395
	Глупости	401
	Дезинфекция	406
<i>С. Лыкошин</i>	Било	418
<i>С. Рыбас</i>	След	429
<i>Л. Кокоулин</i>	И на радость и на горе	457
<i>Б. Екимов</i>	Казенный человек	468
<i>О. Ждан</i>	Конец недели	495
<i>А. Шавкута</i>	Возвращение	521
<i>А. Трапезников</i>	Сотый по списку	548
<i>Ю. Апенченко</i>	Из жизни Захарова	557
Об авторах		581

ДО УТОМЛЕНИЯ СЕРДЦА

Редактор **В. М. Курганова**

Художественный редактор **Г. В. Шотина**

Технические редакторы **И. И. Павлова, Т. С. Маринина**

Корректор **Т. А. Лебедева**

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия»
Государственного комитета РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд
Сапунова, 13/15.

ИБ № 7065

Сдано в набор 25.11.87. Подп. в печать 24.08.88.
Формат 84×108³/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Гарни-
тура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 31,08.
Усл. кр.- отт. 31,08. Уч.- изд. л. 31,98. Тираж 100000 экз.
Заказ № 598. Цена 2 р. 40 к. Изд. инд. ЛХ-29.

Фотонабор выполнен в республиканской ордена «Знак
Почета» типографии имени П. Ф. Анохина Государствен-
ного комитета Карельской АССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 185630, Петрозаводск,
ул. «Правды», 4.

Отпечатано в Сортавальской книжной типографии Госу-
дарственного комитета КАССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 186750, Сортавала,
ул. Карельская, 42.

2p498

CONFIDENTIAL

Созданием файла в формате DjVu
занимался ewgeniy-new
(ноябрь 2014)